

ГОТИЧЕСКИЙ ГОММН



ГОЛУБОЙ
ЦВЕТOK
И ДЬЯВОЛ









ГОЛУБОЙ ЦВЕТOK И ДЬЯВОЛ



ТЕРРА

МОСКВА ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ 1998

УДК 82/89
ББК 84 (4 Г)
Г62

Составитель В. МИКУШЕВИЧ

Перевод с немецкого В. МИКУШЕВИЧА

Разработка серии художника Л. ЧЕРНЫШЕВА

Иллюстрация художника И. ЛЫТКИНОЙ

Издание подготовлено совместно
с ООО СКЦ «НОРД»

Голубой цветок и дьявол: Новалис. Генрих фон Офтердинген; Новалис. Гимны к ночи; Новалис. Духовные песни; Бонаventura. Ночные бдения; Гофман Эрнст Теодор Амадей. Эликсиры дьявола / Пер. с нем. В. Микушевича; Пролог и коммент. В. Микушевича; Сост. В. Микушевич. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 512 с. — (Готический роман).

ISBN 5-300-01887-2

В антологию вошли лучшие образцы немецкой классической «мистической» прозы, переводы которых выполнены В. Микушевичем — известным переводчиком и исследователем культуры Германии.

УДК 82/89
ББК 84 (4 Г)

ISBN 5-300-01887-2

© ТЕРРА—Книжный клуб, 1998

Пролог переводчика

Казалось бы, проще простого: в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» голубой цветок символизирует возлюбленную. На это нечего возразить; спрашивается только, что означает для Новалиса возлюбленная, и ответ на этот вопрос неисчерпаем. Все написанное Новалисом — ответ на этот вопрос. Как известно, Новалис начал писать свой роман, чтобы опровергнуть роман Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Новалис полагал, что Гёте в своем романе развенчивает поэзию, и вот молодой поэт, так и не доживший до тридцати лет, признанный лишь узким кругом своих друзей, отваживается на дерзкое состязание с титаном немецкой поэзии, решив написать апологию поэта. Но, как ни странно, полемика двух гениев разворачивается, главным образом, вокруг голубого цветка. В своем научном труде «Учение о цветах» Гёте называет чистую голубизну *«прелестное ничто»* (Goetes Werke in zwölf Baenden, zwoelfter Band, Aufbau-Verlag, 1988, p.108). Новалис согласился бы с тем, что голубизна прелестна, но для поэта-романтика она, так сказать, *«прелестное все»*.

Голубой цветок заимствован Новалисом из народных тюрингских поверий, согласно которым папоротник цветет голубым цветом в Иванову ночь. Голубой цветок — цветок папоротника, цветок, которого не бывает. Строго говоря, что же это, если не *«прелестное ничто»*, как сказал Гёте. Но, в отличие от Гёте, для Новалиса все существующее так же невероятно, как голубой цветок папоротника. Провозвестником этого невероятного бытия является поэт, истинный творец мира. Бог — тоже поэт, а поэт — бог в своем роде. Вот почему роман Новалиса превращается в апологию Поэта.

Цветок папоротника показывает, где находятся клады. Удивительно, с каким художническим простодушием сохраняет Новалис это народное верование в своем сложном философском романе. Начиная с пятой главы, голубому цветку начинает отчетливо сопутствовать золото, провозвестником которого выступает старый горняк, но и его к посвящению в тайны золота приводят голубые глаза возлюбленной, чей отец становится его учителем. Согласно Новалису, золото открывается лишь тому, кто совершенно бескорыстен, ибо золото — таинственная стихия, связывающая этот мир с потусторонним, где нет смерти. Вот почему золото — король металлов, властитель мира: «Известен замок тихий мне, таится там король поныне». Власть короля Золота понимается не-

правильно, извращается корыстным непониманием. От этой извращенной власти стараются избавить человечество алхимики: «На свет выводят короля; как духи, духов изгоняют». Великое деланье алхимиков заключается в том, чтобы синтезировать золото из всего или превратить все в золото. Золотом, таящимся во всем, обозначается в романе всеединство, в котором исчезает все. С таким всеединством соотносится и одновременно не совпадает с ним голубой цветок, обозначающий многообразие мира через другого или другую, ибо голубой цветок символизирует любовь, а любви не бывает без одного и другой или, наоборот, без одной и другого. Так золото в романе — это идеал всеединства, а голубой цветок — его символ. Всеединство и многообразие, идеал и символ, голубой цветок и золото в романе неразлучны и несовместимы в своих причудливейших сопоставлениях. Как такое сопоставление идеала и символа Новалис воспринимает безвременную смерть своей юной невесты Софи фон Кюн и даже собственную смерть, которую он заранее воспеваает как блаженное единение с голубым цветком. Роман остается незаконченным из-за смерти своего автора, но незаконченность заложена в него изначально, ибо невозможно совместить всеединство с многообразием, как невозможно отказаться ни от того, ни от другого. Смерть автора вписывается в роман, предполагая его незавершенность и одновременно предвосхищая бесконечное продолжение: бессмертие.

Существеннейшее значение для Новалиса приобретает само имя умершей (бессмертной!), возлюбленной: Софи, то есть, София Премудрость Божия, которая в Книге Притчей Соломоновых говорит о себе «Плоды мои лучше золота и золота самого чистого .. Господь имел меня началом пути Своего... Тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время» (Притчи, 8, 19 — 30). Сама София сопоставляет свои плоды с чистым золотом, а древняя традиция приписывает ее одеянию голубизну. Золото и лазурь — два преобладающих цвета на православной иконе, где их соотношение удастся, о чем Новалис лишь мечтает, жертвуя собой своей мечте. Первая часть романа заканчивается строкой: «София — жрица в скинии сердечной». Этой строкой Новалис возвещает невероятное единение золота и голубизны в существе Софии, то, что Андрей Белый назовет «Золото в лазури». Для Новалиса такое единение остается недоступным и неизбежным.

Так у Новалиса впервые отчетливо вырисовывается главная тема немецкого романтизма: клад и цветок, идеал и символ, всеединство и многообразие. Новалис — гений синтеза, и потому их противостояние иногда мучительно для него, но никогда не враждебно. Новалис угадывает тайну некоего невозможного сочетания. По его замыслу роман должен был завершаться (но не заканчиваться) бракосочетанием времен года; продолжение все равно должно было следовать: «Соединим времена рода людского затем». Другие романтики переживали эту проблему острее и болезненнее. Цветок папоротника указывает, где лежит клад, а где клад, там дьявол, нечистая сила. В анонимном романе «Ночные бдения», подписанном именем средневекового католического

святого «Бонавентура», что означает «Благая Участь», мать героя рассказывает ему, что он был зачат в ночь, когда отец его алхимик решает заклясть дьявола. Дьявол является и объявляет себя крестным будущего ребенка, который, по свидетельству матери, удивительно похож на своего крестного. Мнимый Бонавентура зачат алхимиком и подкинут кладоискателю. Воспроизводится или пародируется сокровенная изнанка романа «Генрих фон Офтердинген». Алхимик синтезирует золото («на свет выводит короля»), кладоискатель ищет его, ищет цветок папоротника, обозначающий местонахождение клада, но в «Ночных бдениях» то и другое происходит в присутствии и при участии дьявола. Дьявол в романе — лицо вполне определенное, насколько может быть определенным Ничто. Именно вокруг Ничто вращаются «Ночные бдения». Так в девятом бдении сумасшедший, воображающий себя творцом мира, произносит монолог о том, что мир сотворен им по ошибке, а следовательно, мир и, прежде всего, человек — в сущности, ошибка. Ничто истиннее, реальнее и совершеннее, чем какое бы то ни было нечто. Немудрено, что поиски клада превращаются в раскапывание могилы, где похоронен алхимик, отец героя. Кажется, он цел в своем гробу, но стоит прикоснуться к нему, и он рассыпается в прах. Остается ничто. Тут же на кладбище верный возлюбленный обнимает свою умершую возлюбленную, то есть опять-таки Ничто (явная пародия на «Гимны к ночи» Новалиса и на того же «Генриха фон Офтердингена»). Ядовито высмеивается и разоблачается синтез, пророчески возвещаемый Новалисом. Всеединство и многообразие, идеал и символ, золото и голубой цветок, сопутствующий кладу, совпадают... в небытии. Роль, маска реальнее того, кто носит маску или играет роль. Настоящее имя автора, написавшего роман, — Ничто, прикрытое маской, псевдонимом «Благая Участь». Анонимность романа — его внутреннее свойство, а не литературоведческая загадка.

Та же линия получает уже совершенно запредельное преломление в романе Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Эликсиры дьявола». Это своего рода житие великого грешника, которое впоследствии намеревался написать Ф.М.Достоевский. Кстати, среди возможных авторов «Ночных бдений» упоминают иногда и Гофмана, хотя его авторство более чем сомнительно. В «Эликсирах дьявола» голубой цветок берет верх над кладом, о котором он свидетельствует. Золото затмевается голубым цветком. Самое странное и страшное в романе — двусмысленность голубого цветка, зловещего и целительного одновременно.

В романе Гофмана голубой цветок соотносится со святой Розалией и даже с Девой Марией, Царицей Небесной. Отголосок такого отождествления приписан А.С.Пушкиным рыцарю бедному: «Lumen Coelum, sancta Rosa!» Lumen Coelum, свет небес, не что иное, как золото, воспетое Новалисом, а святая Роза вполне может быть и голубой. Эзотерической традиции хорошо знакома голубая роза, спутница и противоположность сверхсущего золота. Святая Розалия и Дева Мария вместе являются гибнущему герою романа, и в храме при их явлении слышится благоухание розы и лилии. Герой романа, художник, пишет образ Святой Розалии и влюбляется то ли в этот образ, то ли в нее самое, припи-

сывая ей к тому же облик языческой богини Венеры. Так появляются «первые» двойники, определяющие дальнейшее течение романа: святая Розалия — двойник Венеры, или Венера — двойник святой Розалии, да еще картина — кощунственный двойник их обеих. Но и у картины появляется двойник (именно двойник, а не оригинал) — якобы живая женщина, которая даже родит художнику ребенка и, родив его, сразу же превращается в разлагающийся труп старухи. Двойник образа оказался дьявольским наваждением, явлением Ничто, но от Ничто родился ребенок, и от него произошло множество потомков, не знающих или не узнающих друг друга, но всегда влекомых один к другому преступной страстью, любовью-ненавистью. Это череда двойников, которые в кровном родстве друг с другом, хотя все они происходят от наваждения, от Ничто, и должны искупить этот первородный грех. Но во все попытки искупления вмешивается дьявол, и напрашивается мысль, что он сам — один из этих двойников, двойник Бога, за которого и выдает себя это вездесущее Ничто. Жертвой лукавого Ничто обречен стать монах Медардус, двойник своего предка-художника, чувствующий себя двойником Святого Антония, смертельно влюбленный в святую Розалию или в ее двойника: в свою сестру. Медардус нарушает монашеский обет целомудрия с другой своей сестрой, которая принимает Медардуса опять-таки за его двойника. Медардус, он же Франциск, убивает одну свою возлюбленную и посягает на жизнь другой, истинной и единственной. Но происходит чудо: сама святая Розалия, голубой цветок, горжествует над дьявольским кладом и дарует Медардусу истинное золото вечного спасения, которого Медардус достигает безудержным покаянием и сам ужасается: оказывается, его, отпетого преступника, считают святым Ни Новалис, ни анонимный автор «Ночных бдений», ни Гофман, автор «Эликсиров дьявола» не подозревали, что пишут трилогию о голубом цветке, изгоняющем дьявола, как бы дьявол ни пытался присвоить себе голубой цветок и золото, сопутствующее ему. Эта трилогия и предлагается вниманию современного читателя.

*В. Микушевич,
действительный член Независимой
академии эстетики и свободных искусств*



НОВАЛИС
ГЕНРИХ
ФОН
ОФТЕРДИНГЕН



Перевод с немецкого
В. МИКУШЕВИЧА

ПОСВЯЩЕНИЕ

Меня ты побудила заглянуть
В такие задушевные глубины,
Что мне страшиться в бурю нет причины:
Твоей рукой указан верный путь.

К тебе младенцу сладко было лнуть,
Узрев твои волшебные долины;
В тебе одной все женщины едины:
Высокий твой порыв томит мне грудь.

Пусть земная жизнь ко мне сурова,
Твоим останусь в горести любой,
И песня музе ввериться готова.

Искусству, вдохновенному тобой,
Здесь, на земле, другого нет покрова;
Мой тихий ангел, будь моей судьбой!

* * *

Таинственно поэзия целит
Нас всех преображеньем бесконечным;
Там награждает муза миром вечным,
Здесь юностью блаженной веселит.

В зеницы свет поэзии пролит;
Нас просветив искусством безупречным,
Отрадная, усталым и беспечным
Для сердца хмель божественный сулит.

Обильным лоном сладостно вскормленный,
Всем существом обязан ей вполне,
Воспрянул я, пространством окрыленный.

Мой высший дух дремал еще во мне.
Меня возносит ангел благосклонный,
Открыв объятья в горной вышине.

Часть первая

ЧАЯНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отец с матерью уже спали, слышался однозвучный ход стенных часов, в ставни со свистом стучал ветер, неяркий свет месяца чередовался в комнате с темнотой. Юноша не находил покоя на своем ложе, странник вспоминался ему и то, что поведал странник. «Нет, не клады пробудили во мне столь несказанное влечение, — говорил себе юноша. — Корысть от меня далека: по голубому цветку я тоскую, увидеть бы мне только голубой цветок. Мои помыслы с ним неразлучны, о чем еще мне думать и мечтать! Впервые со мною творится такое: словно до сих пор я грезил или во сне обрел иной мир, ибо в мире, для меня привычном, кого беспокоили бы цветы, а уж о том, чтобы какой-нибудь чужак цветком прельстился, и помину не было. Да и откуда, кстати, этот пришелец?»

Он ведь не из наших, на наших не похож, и невдомек мне, почему меня одного так зачаровали его речи; не я один его слушал, а больше никому ничего такого не попритчилось. Что за диво: этого даже высказать невозможно. То и дело я в каком-то блаженном восторге, и лишь тогда, когда цветок скрывается от меня, я в смятении, в глубоком внутреннем смятении, которого не с кем разделить мне. Я бы счел себя безумным, но я теперь лучше вижу, проницательней мыслю, давно знакомое мне теперь как бы открывается. Рассказывают, будто в старину звери, деревья и скалы говорили с людьми. Они, сдастся мне, вот-вот опять начнут, и по ним я угадываю, что я услышал бы от них. Судя по всему, многие слова мне еще неведомы; знал бы я побольше, мне все было бы понятнее. Раньше мне нравилось танцевать, теперь мне больше нравится размышлять под музыку». И юноша потерялся в сладостных мечтаниях, погружившись, наконец, в сон. Сперва пригрезились ему необозримые дали, глухая пустынная чужбина. Он преодолевал моря, сам не зная, как, невиданных чудовищ видел он; с разными людьми переживал он то войну, то буйную смуту. Он изведаль плен и постыднейшую нищету. Все чувствования обострились в нем сверх всякого вероятия. Он испытал бесконечную переменчивость судьбы, умер, вернулся к жизни, любил высочайшей, страстной любовью и

снова навеки был разлучен со своей любимой. Только под утро, когда за окном забрезжило, на душе прояснилось, видения стали отчетливее и длительнее. Он как будто блуждал, одинокий, в дремучем лесу. Лишь кое-где зеленая сеть пропускала дневной свет. Вскоре перед ним оказалась расщелина горы, ведущая ввысь. Взобраться можно было только по замшелым камням, которые выворотил наверху и оставил на своем пути прежний поток. Лес редел, чем выше, тем заметнее.

Наконец, юноша добрался до луговины на горном склоне. Еще выше путь преграждала круча, однако снизу виднелся как бы проем, и начало хода, прорубленного в сплошной толще Ход, позволяя идти без всяких затруднений, расширялся впереди, так что сияние издалека лилось навстречу путнику. Когда вступил он в это сияние, он увидел как бы ключ, откуда бьет неудержимый поток света, достигая свода и там дробясь неисчислимыми, огнецветными брызгами, сыплющимися вниз и скапливающимися в большой чаше, вернее, в озере; свет отливал пламенеющим золотом; все это совершалось бесшумно, благовеинная тишина облекала торжественное действо. Он остановился над озером, подернутым непрерывной, многоцветной, трепетной зыбью. Стены пещеры были увлажнены теми же брызгами, скорее студеными, чем жгучими, так что по стенам струился голубоватый отсвет. Окунув руку в озеро, он поднес ладонь к своим губам. Слово некий дух овеял все его существо отрадной бодрящей свежестью. Он желал неодолимо, он вождедел омовения и, раздевшись, погрузился в озеро. Небесное чувствование переполнило его душу, как будто вечерняя заря омывала его своим облаком, бесчисленные мысли стремились в нем блаженно сочетаться; небывалые неведомые образы зарождались в нем, сливались, и, уже зримые, носились вокруг него; и волны упоительной стихии, как нежные перси, приникали к нему. Казалось, в потоке растворены девичьи прелести, услаждающие на миг своей телесностью, стоит им соприкоснуться с юношей.

В упоении не утратил он, однако, чуткой восприимчивости; ему было легко и привольно, течение уносило его из озера вглубь скалы. Им овладело сладостное забытье, ему грезились неопишуемые события, пока освещение не переменилось, разбудив его. Осмотревшись, увидел он, что лежит на мягкой траве около другого ключа, бьющего в воздух, чтобы в воздухе расточить себя. Темноглубые утесы с разноцветными прожилками высились неподалеку; день, царивший вокруг, был светлее обычного дня, но свет был менее резким; ни облачка на черноглубом небосводе. Ничто, однако, не влекло его с такой силой, как высокий светло-голубой цветок с большими сверкающими листьями, окруженными родником. Вокруг пестрело неисчислимое множество других цветов, насыщавших воздух чудным запахом. Но, ничего не замечая, с неизреченной нежностью созерцал он лишь голубой цветок. Он вознамерился, было, подой-

ти к цветку, когда цветок затрепетал и начал преобразаться, листья засверкали ярче и прильнули к стеблю, удлинявшемуся на глазах, и цветок стал клониться к юноше, и над лепестками, как над голубым воротничком, возникли нежные черты. Изумляясь все более, он блаженно созерцал это дивное преобразование, пока голос матери не прервал его сна и не увидел он, что комната в родительском доме, где он находится, вся залита золотым утренним солнцем. Он был слишком восхищен для того, чтобы роптать на помеху; напротив, он ласково пожелал матери доброго утра, отвечая на ее сердечное объятие.

«Вот сонливец, — молвил отец, — сколько времени я здесь просидел уже с напильником; молотка мне нельзя было и в руки взять, мать не велела, пусть, мол, дорогой сыночек выспится. Да и завтрака мне пришлось подождать. Ты знал, что делал, когда выбирал себе ремесло ученого; выходит, мы бодрствуем и работаем ради науки. Правда, дельному ученому, как я слышал, тоже спать некогда, и дня ему мало, если он хочет освоить великое наследие мудрецов».

«Дорогой отец, — ответил Генрих, — не надо корить меня долгим сном, вы сами знаете, что я никогда не грешил сонливостью. Лишь поздно ночью удалось мне заснуть, к тому же беспokoйные сновиденья одолевали меня, пока, наконец, не посетило меня отрадное сновиденье; так или иначе мне долго не забыть его».

«Генрих, дорогой мой, — проговорила мать, — ты, наверное, лежал навзничь, или неуместные мысли отвлекли тебя от вечерней молитвы. И сейчас ты выглядишь не как всегда. Пора тебе подкрепиться».

Когда мать ушла, отец, работая по-прежнему тщательно, произнес: «Сны не верны, вольно господам ученым толковать их и так и эдак; не худо бы тебе отстать от этих праздных и пагубных бредней. Это в былые времена божественные виденья посещали человека, подобно снам, что для нас непостижимо; мы в толк не возьмем, каково было мужам богоизбранным, о которых повествует Библия. Тогда по-другому обстояло дело и со сновиденьями, не только с человеческими начинаниями».

В нашем веке мир не таков, и нам самим больше не дано сноситься с небом без посредников. Когда нам нужно постигнуть горнее, удовольствуемся старинными преданьями да писаньями, других источников нет; Дух Святой теперь нас не устаивает явных откровений, он вещает через разумение, дарованное мужам рассудительным и благомыслящим, через жития праведников, наставляющих нас участью своей и примером. А нынешние чудотворные образы мало что дали мне, и я не очень-то верю в те великие деяния, которые приписывает им наше духовенство. Впрочем, если кто-нибудь ищет наставления в них, пусть ищет; не подобает мне ставить в тупик благочестивую доверчивость».

«Но, дорогой отец, по какой причине вы отвергаете сны, чья

причудливая изменчивость, чей легкий нежный состав не может не волновать нашу мысль? Даже если не думать при этом о Божественном, не являет ли нам сновиденье самой своей путаницей нечто необычное, неспроста разрывая покров тайны, покров, опускающийся внутри нас всюю тьмою своих складок? В глубокомысленнейших книгах нет числа повествованиям о снах, о них повествуют люди, достойные доверия, да и вам стоит вспомнить хотя бы сон, рассказанный нам недавно высокочтимым придворным капелланом; этот сон произвел впечатление на вас же самих.

Но и без всяких повествований, когда бы вас впервые в жизни посетило сновиденье, как могли бы вы не изумиться, как могли бы вы оспаривать необычайность этого явления, допустим, примелькавшегося для нас! Сновиденье, сдается мне, обороняет нас от жизни, удручающе размеренной и привычной, освобождает узницу-фантазию, чтобы та отдохнула, разбрасывая вперемежку все зарисовки жизненного опыта, веселой детской игрой рассеивая всегдашнюю взрослую деловитость. Если бы не сновиденья, старость приходила бы гораздо скорее. Даже если греза — не откровение свыше, я склонен полагать, что она — Божественное напутствие, доброжелательная проводница в нашем паломничестве к Святому Гробу. Нет сомнений, то, что мне снилось нынче ночью, не останется в моей жизни без последствий: у меня такое чувство, что этот сон для моей души — стремительное колесо, влекущее вдаль».

С ласковой улыбкой отец молвил, глядя на мать, только что вошедшую:

«Мать, а ведь по Генриху видно, какой час привел его в этот мир. В его словах прямо-таки играет огненное италийское вино, которым я догадался запастись в Риме, и как оно пригодилось на нашей свадьбе! Я и сам был тогда молодцом, не то, что теперь. Я оттаял на юге, удаль и страсть переполняли меня, да и ты была девица пылкая и прекрасная. А как великолепно было у твоего отца; сколько скоморохов и певцов нагрнуло отовсюду; небось, Аугсбург не запомнит свадьбы веселее».

«Вы рассуждали давеча о снах, — молвила мать. — Ты мне, знаешь ли, сам тогда рассказывал о том, что тебе приснилось в Риме и впервые навело тебя на мысль вернуться в Аугсбург и посвататься за меня».

«Ты кстати напомнила мне, — ответил старик. — Я совсем было запамятовал тот причудливый сон, хоть, признаться, довольно долго раздумывал над ним тогда, но ведь он как раз доказывает, что я не ошибаюсь насчет снов. Вряд ли может присниться сон, более отчетливый и связный, так что и ныне нетрудно восстановить все его обстоятельство, и что же, спрашивается, этот сон означал? Мне снилась ты, и сразу же я пожелал, чтобы ты стала моею, так ведь нет ничего естественнее: ты была уже знакома мне. Твоя красота и твое радушие глубоко

тронули меня едва ли не с первого взгляда, и разве только потому, что меня одолевала охота проведать чужие края, отсрочил я свое сватовство. Мой сон совпадает со временем, когда любопытство мое было почти утолено и сердечная склонность могла быть своею».

«Поведайте нам, однако, то причудливое сновидение», — попросил сын.

«Бродил я как-то вечерней порою, — начал отец. — Погода стояла ясная, луна светила, и в бледных ее лучах старые колонны и стены выглядели жутковато. Мои приятели бегали за девушками, а я затосковал по родным местам, да и любовь меня влекла под открытое небо. В конце концов я почувствовал жажду и не преминул зайти на первую попавшуюся мызу в надежде выпить вина или хоть молока. Старик встретил меня, и, судя по всему, я не внушил ему сперва особого доверия. Я обратился к нему с моей просьбой, и стоило ему узнать, что я немец, то есть чужестранец, он любезно пригласил меня в горницу и достал бутылку вина. Мой гостеприимец усадил меня и осведомился, какое у меня ремесло. Горница была забита книгами и разными антиками. Мало-помалу завязался обстоятельный разговор; сколько он мне всего поведал о былом, о живописцах, ваятелях, стихотворцах! Я не слыхивал, чтобы кто-нибудь о них говорил так. Ни дать, ни взять, я вступил на почву некоего неведомого мира. А какие резные каменные печати, какие художественные поделки показал он мне, какие великолепные стихи читал, и с каким жаром! Не знаю, сколько часов слилось для меня в единый миг. И сейчас у меня на сердце теплеет, стоит мне вспомнить, какая красочная сумятица странных помыслов и чаяний переполняла меня тогда ночью. Он освоился с древностью, как будто сам жил в языческие времена, и вы не поверите, как он томился, как он тосковал по седой старине.

Потом он указал мне комнату, где мне предстояло дожидаться утра; поздний час не позволял уже пуститься в обратный путь. Сон не заставил себя ждать, и мне привиделось, будто я в родном городе и куда-то направляюсь через городские ворота. Идти мне нужно вроде бы по делу, только невдомек мне, куда идти и что сделать. Гарц привлек меня, и я зашагал такими большими шагами и так весело, будто отправился венчаться. Дорогу я вскоре потерял и пошел просто напрямик по долам и по лесам пока не вышел к высокой горе. Когда я взобрался на гору, оказалось, что внизу пролегает Золотая Долина, и вся Тюрингия видна была мне вдоль и поперек, соседние горы не мешали мне смотреть. Прямо перед собой видел я темные горы Гарца с бесчисленными замками, монастырями, хуторами. Тут я поистине возвеселился сердцем, и представился мне старик, у которого я заснул, только, думалось мне, я гостил у него когда-то, и много воды утекло с тех пор.

Вдруг приметил я лестницу, ведущую в недра горы, и уст-

ремился вниз. Долго спускался я, пока не попал в пещеру, где за железным столом восседал старец в длинном одеянии, не сводя очей с прекраснейшей девы, которая стояла перед ним, изваянная из мрамора.

В железный стол вросла борода, сквозь него пробивалась и покрывала уже ноги старцу. Вид у него был суровый, но приветливый, я, помнится, видел похожие черты, рассматривая одну древнюю голову, наемни вечером показанную мне моим гостеприимцем. Пещеру заливал ослепительный свет. Я бы все еще стоял, всматриваясь в старца, когда бы хозяин пещеры, похлопав меня по плечу, не взял меня за руку и не повлек меня прочь из пещеры в длинные подземелья. Некоторое время спустя я заметил, как вдали забрезжило, словно белый день прорывался во тьму. Я поспешил туда и вскоре вышел на зеленую поляну, правда, в Тюрингии ничего подобного мне видеть как будто не доводилось. Чудовищные деревья с крупными, сверкающими листьями росли вокруг, и тени от них падали далеко-далеко. Воздух был знойный, однако легко дышалось. Всюду родники, всюду цветы, и среди цветов особенно приглянулся мне один, которому другие цветы вроде бы кланялись.

«Ах, дорогой отец, не скажете ли вы мне, какова была окраска этого цветка?» — вскричал сын в страстном порыве.

«Что забыл, то забыл, хотя все остальное и сейчас вижу чуть ли не воочию».

«Не голубой ли то был цветок?»

«Может статься, — продолжал старик, от которого ускользнула неизъяснимая страстность Генриха. — Сколько помню, я все равно не мог бы высказать, что творится в моей душе, и мне было не до моего провожатого. Наконец я обернулся и увидел, что он пристально за мной наблюдает и улыбается мне с неподдельной радостью. Не припомню, как я покинул эту поляну. Я стоял опять на той же горе. Рядом я увидел моего провожатого, который молвил: «Чудо мира явлено тебе. От тебя теперь зависишь, обретешь ли ты величайшее счастье и достигнешь ли славы впридачу. Слушай внимательно мои слова: если ты в Иванов день, когда свечереет, снова побываешь здесь и от всего сердца помолишься Богу, чтобы Он даровал тебе уразумение этого сна, ты сподобишься высочайшего земного удела; только ты не пропусти голубого цветка, найди и сорви его здесь, а дальнейшее смиренно предоставь Провидению». И меня в том же сне окружили прекраснейшие образы и живые люди, у меня перед глазами промелькнули бесконечные переменчивые века чарующей чередой. Язык мой, что ли, тогда развязался, я говорил, а слышалась музыка. Потом все померкло, сузилось, примелькалось; твоя мать предстала мне, глядя на меня стыдливо и ласково; на руках у нее был младенец, подобный светочу, она принесла его мне, и младенец рос на глазах и светил все ярче, и, наконец взмыл над нами, раскинув ослепительно белые крылья, взял нас

на руки и так высоко вознес, что земля в моих глазах смахивала на золотое блюдо с тончайшей резьбой. Потом, вспоминается мне, опять был тот цветок, была гора, и был старец, только вряд ли я долго спал: неодолимая любовь пробудила меня. На прощанье гостеприимный хозяин пригласил меня заходить к нему, я, конечно, не возражал, и наверное, зашел бы, задержись я в Риме, но я сломя голову кинулся в Аугсбург».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Иванов день уже прошел, а между тем давно пора было матери посетить в Аугсбурге отцовский дом, пора было ей привезти к деду дорогого внука, еще не знакомого с дедом. Нашлись путчики: купцов, испытанных друзей старого Офтердингена, влекли в Аугсбург торговые дела. Тут мать решила не упускать случая и последовать своему давнему намерению, чему немало способствовала душевная тревога, так как мать не могла не видеть: с некоторых пор Генрих сосредоточен и молчалив больше прежнего. Ей думалось, Генрих заскучал, или ему нездоровится, и дальняя дорога, знакомство с новыми людьми и землями, а также, как она уповала про себя, обаяние юной уроженки Аугсбурга преодолеют сыновнюю мрачность и снова сделают Генриха общительным и беспечным, каким она его всегда знала. Старый Офтердинген одобрил это начинание, а сам Генрих был рад-радехонек посетить страну, о которой столько слышал от матери и разных путников, что давно привык считать ее настоящим земным раем, куда он порывался часто, но куда напрасно.

Генриху как раз минуло двадцать лет. Ему никогда еще не доводилось покидать пределы области, прилегающей к родному городу; остальной мир был ведом Генриху только с чужих слов. При дворе ландграфа, как тогда было заведено, избегали всякого шума и суеты, так что княжеский уют и даже роскошь княжеского обихода явно уступали бы тому благополучию, которое в позднейшие времена обеспечивал себе и своим домочадцам любовью зажиточный обыватель, не впадая при этом в расточительство. Тем проникновеннее и сердечнее была привязанность к пожиткам и утвари, окружающим человека ради разнообразных повседневных нужд. Пожитки и утварь не просто дороже ценились, они больше значили. Сама тайна их естества, состав их вещественности пленяли чающий дух; при этом склонность к безмолвной свите, сопровождающей человеческую жизнь, усугублялась особым навыком, их романтической далью, откуда они происходят, освященные древностью, бережно хранимые, нередко наследие многих поколений. Сплошь и рядом подобные предметы обретали такое достоинство, что в них начинали ви-

деть благословенные реликвии, чуть ли не талисманы, ниспосланные судьбой на благо целым державам или многочисленным разветвлениям какого-нибудь старинного рода. Отрадная бедность красила те времена своей особой, невинной и строгой безыскусственностью, и сокровища, угадываемые кое-где, тем знаменательнее поблескивали в сумерках, внушая глубокомыслию чудесные предчувствия. Если сокровенные великолепие зримого мира выявляется разве только известным распределением света, тени, красок, и при этом как бы дано отверзаться новому высшему взору, подобное действенное освещение распространялось тогда повсюду, а более позднее, более зажиточное время, напротив, являет картину вездесущего дня, бедную оттенками и смыслом. Кажется, высшая духовная мощь всегда готова прорываться в переходах, в промежутках между двумя царствами, и как в пространстве, нами заселенном, изобильнейшие богатства почвы и недр находятся на одинаковом расстоянии от пустынных бесплодных гор и бескрайних степей между теми и другими так между веками неотесанного варварства и сведущими, искусшенными запасливыми временами осталась глубоко-мысленная романтическая пора, чей возвышенный облик таится в простом облачении. Кому не по душе бродить в сумерках, когда тьма и свет как бы преломляются друг во друге величественными тенями и красками! Так и мы рады углубиться в годы, когда жил Генрих, устремляясь всем сердцем навстречу тому новому, что ожидало его. Он простился со своими сверстниками и со своим наставником, престарелым придворным капелланом, которому были ведомы обнадеживающие задатки Генриха, так что мудрый старец напутствовал его, своей тихой молитвой, сердечно тронутый. Генрих был крестником ландграфини, и всегда посещал ее будучи принят при Вартбургском дворе и теперь он отпросился в путь у своей покровительницы, которая его удостоила добрых наставлений и пожаловала ему золотую цепь, обласкав юношу на прощанье.

В печальном настроении расставался Генрих и со своим отцом и со своим родным городом. Только теперь изведаль он расставание; до сих пор, воображая себе дальнюю дорогу, он вовсе не испытывал неизъяснимого чувства, охватившего его теперь, когда, отторгнутый от своего прежнего мира, он был как бы влеком к чужому побережью. Такова беспредельная печаль юности, впервые познающей, как происходит все земное, казавшееся насущным и незаменимым, в своем переплетении с бытием неволью принимаемое за само вечное бытие. Первое предвестие смерти, первая разлука незабываема, она сначала устрашает, как устрашает ночной морок, потом, притупляя вкус к дневному разнообразию, усиливая тоску по надежному прочному существованию, она сопутствует в жизни, как дружественное указание и привычное утешение. Мать была рядом, и это успокаивало юношу. Еще не совсем канул в былое прежний мир, близкий

вдвойне. За ворота Эйзенаха выехали спозаранку, и в предрассветном сумраке Генрих был растроган еще более. С рассветом все отчетливее простирались перед ним новые неведомые области, а когда на некоей возвышенности ему открылась покинутая округа, освещенная солнцем, мелодии былого поразили юношу, вмешавшись в унылую череду его помышлений. Он почувствовал себя в преддверии тех далей, куда частенько всматривался с ближних вершин, разрисовывая недосягаемое причудливейшими красками своего воображения. Достигнув этого потока, он собирался погрузиться в его глубину. Чудо-цветок манил его, и Генрих оглядывался на Тюрингию, оставшуюся позади, охваченный несказанным чаяньем, как будто долгое странствие в направлении, выбранном ими теперь, ведет назад, на родину, куда он, собственно, и держит путь. Остальное общество, присмирившее, было, подобно Генриху, ожило постепенно, коротая время во всевозможных беседах и рассказах. Мать Генриха решила, что пора прервать мечтания сына, и не скупилась на рассказы о своей родине, об отчем доме, о веселой Швабии. Купцы вторили ей, подкрепляя ее слова новыми подробностями, превозносили гостеприимство старого Шванинга и без усталости расточали похвалы прелестным единоземкам своей спутницы.

«Вы поступаете как нельзя лучше, — сказали купцы, — вашему сыну там стоит побывать. На вашей родине обычаи не столь суровы, там больше любезности. Полезное там не в забросе, однако приятное тоже в чести. Там тоже никто своего не упускает, но при этом ценится и привлекательная общительность. Купцы там благоденствуют, снискав людское уважение. Ремесла и промыслы приумножаются, совершенствуются; прилежному работа легка, так как работа сулит немало удовольствий, и скучные тяготы, вне сомнения, вознаграждаются, позволяя разделить красочные плоды различных прибыльных предприятий. Деньги, деятельность и товар друг друга порождают, способствуя процветанию городов и весей. Если день поглощен ревностной предприимчивостью, тем безраздельнее вечер принадлежит восхитительным развлечениям в дружеском кругу. Хочется отдохнуть и рассеяться, а как при этом сочетать приличие и очарование, не предаваясь вольным играм, пренебрегая плодами совершеннейшей внутренней силы, зиждительного глубокомыслия? Нигде не поют лучше, нигде не рисуют красивее, нигде не танцуют с таким изяществом при такой приглядной стати. Соседство италийской земли дает себя знать в непринужденных манерах и в занимательных разговорах. Отнюдь не возбраняется блистать в обществе прекрасному полу, чья милая любезность без малейшего страха перед кривотолками вправе поощрять обожателей, каждый из которых старается превзойти других в надежде привлечь к себе внимание. Вместо хмурой строгости или грубой мужской развязности царит приятное оживление со своими тихими кроткими радостями, так что счастливое общество руково-

дствуется духом любви в тысячекратных проявлениях. Все это нимало не способствует распущенности или распространению дурных правил, напротив: злым духам как бы нельзя не скрыться перед лицом красоты, и, уж наверное, швабские девы самые безупречные, а швабские жены самые верные во всей Германии.

Да, юный друг, ясный, теплый воздух юга поможет вам избавиться от вашей сумрачной робости; в девичьем веселом кругу вы отешетесь и разговоритесь. Где старший Шванинг, там и веселье; вы Шванингу сродни, да еще и приезжий к тому же; этого достаточно, чтобы привлечь прелестные девичьи очи, и если вы в дедушку пошли, вы непременно осчастливите родной город, привезете туда красавицу жену, как некогда ваш батюшка».

Польщенно покраснев, мать Генриха поблагодарила купцов, красноречиво расхваливавших ее родину и добродетель ее молодых единокровок, а Генриху в его задумчивости ничего другого не оставалось, кроме как внимательно, с глубоким удовлетворением слушать описание земли, которую Генрих надеялся вскоре увидеть.

«Даже если вам неохота осваивать отцовское искусство, — продолжали купцы, — и вас, как нам говорили, больше привлекают науки, вам незачем принимать духовное звание, незачем отвергать лучшие житейские радости. Нет ничего хорошего в том, что науки сосредоточены в руках сословия, пренебрегающего мирской жизнью, и государи окружены такими нелюдими несведущими советниками. Уединение не позволяет им участвовать в мирских начинаниях, так что их помыслы приобретают бесполезную направленность, и суть мирских происшествий от них ускользает. В Швабии вам встретятся миряне, без сомнения, рассудительные и многоопытные; тогда и выбирайте, какая отрасль человеческих знаний вам по душе; за добрым советом и уроком дело не станет».

Тут Генриху пришел на память его друг, придворный капеллан, и юноша молвил немного погодя:

«Конечно, мне при моей неосведомленности во всем житейском не подобает перечить, когда вы утверждаете, будто священнику не доступно суждение и руководство в мирских обстоятельствах, однако, не позволительно ли мне напомнить вам о нашем достойнейшем придворном капеллане: уж если кто мудр, так это он; его уроки и наставления со мной неразлучны».

«Всею сердцем, — ответили купцы, — мы благоговеем перед этим превосходным человеком, но мы можем одобрить ваше мнение о нем лишь постольку, поскольку вы имеете в виду мудрый образ жизни, угодный Богу. Если вы полагаете, что его жизненный опыт не уступает его благочестию, то мы должны возразить вам, не вздыхайте. Однако, сдается нам, добрая слава святого человека ничуть не пострадает от этого; он слишком привержен горнему, чтобы изощряться в проницательном исследовании вещей, свойственных нашей земной юдоли».

«Однако, — молвил Генрих, — разве наука горнего не заключает в себе умения невозмутимо держать в своих руках бразды деяний человеческих? Разве младенчески непредвзятое простодушие не находит верного пути в лабиринте здешних обстоятельств быстрее, нежели рассудительность, подавленная и постолянно сбиваемая с толку оглядкой на собственную выгоду, ослепленная неисчислимым множеством новых превратностей и осложнений? Не берусь утверждать, но, по-моему, человеческая история познается двумя путями. Первый, тягостный, бесконечный, извилистый — путь опыта, второй, чуть ли не просто скачок, путь проникновения. Избравшему первый путь придется нудными вычислениями изыскивать одно в другом, тогда как на втором пути сразу же раскрывается сама природа всякого случая и дела, так что можно созерцать их в живых, многообразных сочетаниях, как фигуры на доске. Не сердитесь, если вы сочли мои слова ребяческими бреднями, моя дерзость объясняется лишь надеждой на вашу снисходительность, к тому же мой учитель заблаговременно явил мне второй путь, то есть свой собственный».

«Откровенно говоря, — ответили купцы дружелюбно, — ваши рассуждения для нас трудноваты, но вы говорите о вашем превосходном учителе так тепло, что это не может не нравиться нам; похоже, его уроки не пропали для вас даром.

Сдается нам, что у вас есть склонность к поэзии. Вы без труда выражаете все оттенки вашего чувства, не скупитесь на утонченные обороты и меткие сравнения. И чудесное влечет вас, а где же стихия поэта, если не в чудесном!»

«Знать не знаю, — молвил Генрих, — откуда это идет. Не в первый раз я слышу разговоры о поэтах, и певцах, но ни один из них еще не встречался мне. Их странное искусство непостижимо для меня, все бы о них слушал да слушал. Может быть, я уразумел бы свои неясные чаянья, кто знает. Ходит много толков о стихотворениях, но мне доселе не попадалось ни одно, и моему учителю не довелось приобщиться к этому искусству, о котором он рассказывал мне, только я не очень-то понимал его. Правда, мой учитель всегда полагал, что это искусство достойное и я бы ничем другим не стал заниматься, едва узнав его. В древности будто бы оно встречалось намного чаще, ведомое так или иначе каждому хотя бы понаслышке, родственное другим великолепным искусствам, ныне утраченным. Взысканные Божественной милостью, вдохновленные наитием незримого, певцы слыли провозвестниками небесной мудрости, которую своими отрадными ладами они способны были открывать земле».

Купцы ответили на это:

«Тайны стихослагателей, признаться, до сих пор не заботили нас, когда нам нравилась песня, но, быть может, звезды и вправду сочетаются необычным образом, когда поэт посещает

мир, спору нет, это искусство дивное. Да и другие искусства совсем не таковы, постигнуть их куда проще. Взять хотя бы живописцев или музыкантов, у них сразу видать что к чему, и музыка, и живопись поддаются упорной, усердной выучке. Лад-то в струнах, и требуется лишь сноровка для того, чтобы, перебирая струны вызвать сладостное чередование ладов. А что касается живописи, то в ней сама природа — непревзойденная мастерица. Природа располагает неисчислимыми, изящными, причудливыми очертаниями, расточает цвета, свет и тень, набьешь себе руку, коли глаз верен, освоишь состав и сочетание красок, и знай совершенствуйся, следуя природе. Долго ли сообразить, почему эти искусства воздействуют на нас и услаждают нас. Соловьиная песня, веянье ветра, цвета, проблески, облики радуют нас, отрадно развлекая наши чувства, в которых проявляется та же самая природа, так что нас не может не радовать искусство, верное природе. Сама природа, желая полюбоваться своим несравненным искусством, обернулась человеком, и в человеке упивается своим роскошеством, обособляет в предметах отрадное и милое, ею самой воспроизводимое в таком разнообразии, что наслаждение даровано всем временам и странам. А вот ни малейшего намека на поэтическое искусство не найдешь нигде во внешнем мире. Это ведь не рукоделие, тут снастей нет; поэзия ничего не говорит ни зрению, ни слуху; просто слушая слова, не приобщишься к чудодейственной тайне этого искусства. Тут все в сокровенном, и если другие художники услаждают наши внешние чувства, поэт привносит в святилище нашего внутреннего мира изобилие неизведанных чудных, упоительных помыслов. Ему дано по своей прихоти в нас пробуждать затаенные силы, так что нам явлен словами невиданный великолепный мир. Слово из глубочайших недр возникает в нас былое и грядущее, неисчислимые людские сонмы, неведомые области, невероятные свершения, так что мы теряем из виду обжитое настоящее. Слышишь чужое наречие, а все как будто понятно. Магическим обаянием покоряет нас глагол поэта, привычные слова выступают в пленительных созвучиях и чаруют замороженного слушателя».

«Любопытство мое благодаря вам переходит в жгучее нетерпение, — молвил Генрих. — Умоляю вас, опишите мне всех певцов, известных вам. Мне никогда не надоест слушать об этих диковинных людях. Мне даже чудится, будто я слышал о них чуть ли не в младенчестве, только все запомнил. Вы говорите, и что-то проясняется для меня, что-то распознается, и мне так хорошо от этих удивительных подробностей».

«Мы сами не прочь вспомнить, — продолжали купцы, — как весело мы проводили время в Италии, во Франции, в Швабии среди певцов, и мы довольны, если наши рассказы так захватывают вас. Когда путь пролегает, как сейчас, в горах, вдвойне приятно потолковать, нет лучше способа скоротать время. Мо-

жет быть, вас позабавят кое-какие занятные предания о поэтах, мы сами слышали эти предания в дороге. Песни мы тоже слышали, но что сказать о песнях: много ли запомнишь, когда восхищаешься, упиваясь мгновением, а среди беспрестанных торговых дел поневоле забудешь и то, что запомнилось.

В старину не иначе как вся природа отличалась большей жизненностью и осмысленностью. То, что теперь едва ли доступно животным, и движет разве только людьми, трогая и услаждая их, овладевало прежде даже безжизненными телами, так что искусник осуществлял и творил тогда такое, что мы сочли бы теперь баснословным и несбыточным. Так в стародавние времена, в землях, принадлежавших нынешней греческой империи, как нам передавали странники, еще заставшие там подобные сказанья в простонародье, обретались будто бы поэты, которые необычайным ладом чудотворных струн будили в лесах сокровенную жизнь, вызывали духов, таящихся в деревьях, животворили засохшие семена растений в пустынной глуши, расцветавшей садом, приручали хищников, прививали одичавшим племенам общежительное благонравие, умиляя души, воспитывая склонность к миролюбивому искусству, умирляли яростные потоки, и даже мертвейшие камни в согласии с песней начинали равномерно двигаться как бы танцуя. Не иначе, как подобные певцы были сразу и волхвами, и жрецами, и законодателями, и целителями, если сами нездешние силы, привлеченные колдовским искусством, приобщали певцов к тайнам будущего, являя им соразмерность и естественный состав, присущие вещам, а также сокровенную благодать и целительную мощь, свойственную числам, злкам, всякой твари. По преданию, тогда и распространились в мире многообразные лады, непостижимые узы и союзы, а прежде всюду царила сумятица, неистовство и ненависть. При этом озадачивает одно: красота, которой запечатлелось пришествие этих благодетелей, не исчезла бесследно, однако исчезло их искусство, или былая чувствительность природы притупилась. В ту пору среди многого другого и такое было: один из этих диковинных поэтов или, вернее, музыкантов, ибо музыка и поэзия почти тождественны, то есть одна другой соответствует, как ухо и уста, которые тоже ухо, только способное отвечать своим движением, — так вот некий музыкант отправлялся на чужбину, за море. Он брал с собою целое богатство: украшения и драгоценности, преподнесенные ему благодарными почитателями. У берега нашелся корабль, и корабельщики как будто охотно соглашались доставить певца за обещанную плату туда, куда ему хотелось. Однако драгоценности так блистали своей отделкой, что корыстные корабельщики не устояли перед соблазном: их всех объединил жестокий замысел схватить певца, утопить его в море, а тогда уж каждый получит свою долю сокровища. Отдалившись от берега, они набросились на певца, сказав ему, что смерть неминуема, они, мол,

порешили утопить его. Певец трогательно молил сохранить ему жизнь, пытался откупиться своими богатствами, пророчил корабельщикам великую беду, если они не откажутся от своего замысла. Все напрасно, корабельщики остались непреклонны; преступники опасались, как бы не обличил он их однажды. Убедившись в их беспощадности, он просил у них разрешения спеть хотя бы свою лебединую песнь, после чего, мол, он сам утопится со своим простым деревянным инструментом. Корабельщики не сомневались, что чарующий напев растрогает их сердца, вызвав неодолимое раскаяние, так что условились, не отказывая певцу в его последнем желании, крепко заткнуть себе уши, чтобы не слышать песни и привести свой замысел в исполнение. Так и поступили. Прекрасно и трогательно запел певец. Весь корабль зазвучал в лад песне, волны подпевали, солнце и ночные созвездия встретились на небе, в зеленой воде заплясали целые сонмы рыб и морских чудищ, выпрыгивая из глубин. Одни только злобные корабельщики стояли особняком с крепко заткнутыми ушами и никак не могли дожидаться, когда кончится песня. Сияя, певец ринулся в сумрачную глубину, не выпуская из рук своего чудодейственного орудия. Пламенеющие воды, однако, не успели коснуться его: признательное морское страшилище всплыло, приняв потрясенного певца на свой могучий хребет и устремившись прочь со своей ношей. Вскоре они достигли побережья, которого певец хотел достигнуть, отплывая, и где теперь был бережно высажен в тростниках. Певец почтил своего избавителя ликующей песней и, благодарный, удалился. Немного времени минуло, и снова пришел он, одинокий, на берег моря, умирительно и жалобно оплакивая своей песней пропавшие драгоценности, желанные ему, потому что они напоминали ему былые счастливые часы, признательность и приязнь дарителей. Он пел, а из воды весело вынырнул его старый морской благодетель, извергая из своей пасти на песок богатства, присвоенные грабителями. Едва певец исчез, корабельщики нетерпеливо бросились делить свою добычу. Раздоры привели к смертоубийству, так что выжили немногие, которым не под силу было совладать с кораблем, так что кораблекрушение постигло их у ближайшего берега. Едва-едва они спаслись, выбравшись на землю, оборванные и нищие, а сокровища, собранные в море признательным его обитателем, оказались в прежних руках».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«В другом предании, — продолжали купцы немного погодя, — чудесного меньше, да и речь идет о временах не столь давних, но, быть может, и это предание придется вам по душе, еще глубже вас приобщив к проявлениям того удивительного искусства.

Один престарелый король содержал блестящий двор. Откуда только не собирались гости, чтобы вкусить поистине королевского времяпрепровождения там, где всего было вдвойне: и пиршеств, каждый день услаждающих прихотливый вкус тонкими яствами, и музыки, и роскошных украшений, и пышных одеяний, и переменчивых игр, и увлекательных забав, отличавшихся к тому же осмысленным чередованием благодаря присутствию премудрых, обходительных осведомленных мужей, великих мастеров оживлять и одушевлять беседу, а также благодаря многочисленным юношам и девам, чья пленительная весна — истинная душа прелестных празднеств. Старый король, вообще-то, муж степенный и угрюмый, питал две склонности, дававшие повод к роскошеству придворной жизни, которая этими склонностями и объяснялась. Во-первых, король нежно лелеял свою дочь, беспредельно обожая в ней образ безвременно почившей супруги, и готов был расточить все, чем славится природа и дух человеческий, дабы для этой несказанно милой девы уподобить землю небесам. Кроме того, королю было свойственно неодолимое пристрастие к поэтическому искусству, и к мастерам, блиставшим в этом искусстве. С юных лет король упивался творениями поэтов, не жалея ни усилий, ни средств, чтобы собирать эти творения на разных языках, и давно уже больше всего дорожил общением с певцами. Из всех краев он старался привлечь их к своему двору, где окружал их величайшим почетом. Он мог без усталости слушать их напевы, так что, захваченный новой песней, частенько пренебрегал не только важнейшими начинаниями, но и первейшими жизненными нуждами. И сама душа дочери его, возвращенной среди песен, стала трепетной песнью, неподдельным выражением томления и грусти.

Вся страна и, прежде всего, королевский двор не могли не испытывать целительного влияния, исходившего от прославленных королевских любимцев. Жизнь вкушали, не торопясь, понемногу, смаковали ее как изысканный напиток, и наслаждение усугублялось тем, что дурные супротивные страсти, как докучный разлад, были удалены отрадным гармоническим строем, преобладавшим во всех душах. Покой душевный и проникновенное упоительное постижение творчески блаженного мира были уделом того чудесного века, когда ненависть, прежняя врагиня рода человеческого, обнаруживалась лишь в древних поэтических преданиях. Если бы духи песен вознамерились отблагодарить своего защитника, олицетворение их благодарности едва ли превзошло бы своею прелестью королевскую дочь, наделенную всеми достоинствами, которые сладчайшее воображение способно сочетать в нежном девичьем образе. Когда среди прекрасного празднества видели ее в блестящем белом наряде в кругу очаровательных наперсниц, чутко внимающую вдохновенным певцам на состязании, когда она, краснея, увенчивала благоухающими цветами кудри счастливец, чья песнь завоевала

награду, мнилось, будто зримая душа того великого искусства, являлась, вняв заклинаниям, так что больше никого не дивили мелодические восторги поэтов.

Но неведомая судьба как бы реяла и среди этого земного рая. Одна забота была у его обитателей: будущий брак расцветающей принцессы, бракосочетание, которое предопределило бы участь всей страны, продолжив блаженные времена или положив им конец. Король старился. Сердце его, судя по всему, живо разделяло общую заботу, однако не предвиделось для принцессы брака, желательного во всех отношениях. Подданные благоговели перед королевским домом как перед святыней, не смея даже помыслить о том, чтобы обладать принцессой. В ней видели как бы небесную деву, и невозможно было даже предположить, будто принцесса или король способны удостоить своего взора одного из чужеземных принцев, посещавших двор в надежде обручиться с нею, столь высоко над ними вознесенной. Робость перед этой недосыгаемой высотой постепенно заставила их всех удалиться, так что вся династия прослыла гордой сверх меры. Подобные слухи нельзя было назвать беспочвенными. При всей своей отзывчивости король, сам того не замечая, все больше упивался собственным величием, и ему самому представлялась невозможной или невыносимой мысль о том, что супругом его дочери окажется человек более низкого звания или менее знатного рода. Это чувство подтверждалось высочайшими, непревзойденными достоинствами принцессы. К тому же государь был отпрыском древнейшего восточного королевского рода. В лице королевы чтили последнюю отрасль рода, восходящего к прославленному герою Рустаму. Придворные поэты неумолчно сближали короля в своих песнях с былыми повелителями вселенной, отличавшимися своей сверхчеловеческой природой, и в магическом зеркале поэзии король видел своих предков еще более блистательными, а свое происхождение еще более далеким от истоков остального человечества, с которым, думалось королю, его роднит разве только избранное племя поэтов. Напрасно в глубокой тревоге искал он вокруг второго Рустама, чувствуя, что судьба его королевства и неумолимая старость настоятельно требуют брачного союза для принцессы, не говоря уже о ее сердце, переживавшем свой расцвет.

Неподалеку от столицы обитал в уединенной усадьбе некий старец, поглощенный воспитанием своего единственного сына, но при этом не отказывающий во врачебной помощи недужным поселянам. Юноша, склонный к тихому созерцанию, с детства увлекался лишь естествоведением, которое преподавал ему отец. Много лет назад из далеких краев старик переселился в эту безмятежную процветающую страну, довольствуясь тем, что здесь он мог в тишине вкушать целительный мир, исходящий от самого государя. Старик нуждался в тишине для того, чтобы исследовать силы природы, делясь этими восхищающими сведе-

ниями со своим сыном, чья редкая восприимчивость и глубокомыслие располагали самую природу открывать ему свои тайны. Можно было бы счесть наружность юноши заурядной и непримечательной, когда бы в его благородных чертах и в очах, необычайно ясных, не угадывалось некое возвышенное обаяние. Стоило всмотреться в юношу, и усиливалось влечение к нему, и расставание уже страшило, стоило вслушаться в его ласковый задушевный голос, неразлучный с пленительным даром речи. Лес, таивший в укромной долине мызу старца, вплотную подступал к садам, предназначенным для увеселений принцессы, которая в один прекрасный день отправилась без провожатых на лошади в лесную чащу, где вольготно мечталось и можно было повторять излюбленные напевы. Отрадная сень высоких деревьев заманивала ее все глубже в лес, и, наконец, она увидела усадьбу, где старец обитал со своим сыном.

Принцессе захотелось молока, она покинула седло, привязала лошадь к дереву и вошла в дом, надеясь, что там ей не откажут в ее просьбе. Сын был дома и почти ужаснулся, врасплох застигнутый чарующим видением: чуть ли не божественной выглядела величаяя женственность, наделенная всею прелестью юности и красотой, которую пронизывала несказанно влекущая, нежнейшая в своей невинности, возвышенная душа. Пока сын спешил выполнить ее просьбу, как будто пропетую духами, старец приблизился к принцессе со смиренным благоговением и пригласил ее сесть у незатейливого очага, устроенного посреди дома и освященного бесшумной пляской легкого голубого пламени. Уже когда она входила, принцессе приглянулось необычайное убранство этой обители, опрятность и благолепие во всем, приметы изысканной святыни, причем такое впечатление усугублялось благообразием старца в простом одеянии и ненавязчивой учтивостью сына. Изяществом своих манер и великолепием своего наряда гостя сразу навела старца на мысль, что она не чужая при королевском дворе. Пока сын отсутствовал, принцесса не преминула полюбопытствовать, что это за диковинки виднеются вокруг, а главное, что это за старинные своеобразные образы расположены рядом с нею близ очага, и старик не замедлил истолковать их красноречиво и обстоятельно. Вскоре юноша принес целый кувшин свежего молока, протянув его принцессе с безыскусственной предупредительностью. Проведя некоторое время в увлекательном разговоре с обоими, принцесса со всей любезностью поблагодарила за радушный прием и, краснея, осведомилась, можно ли приехать еще и не будет ли ей отказано в удовольствии снова внимать назидательным речам старца, искушенного в таинственном; потом она пустилась в обратный путь на своей лошади, не открыв своего звания, так как заметила: отцу и сыну невдомек, кто она такая. Хотя столица была недалеко, оба они, погруженные в свою науку, привыкли сторониться людского столпотворения, и придворные торжества нисколько

не влекли юношу, в особенности потому, что, если он и покидал отца, то на какой-нибудь час, разыскивая травы в лесу, выслеживая насекомых, приобщаясь к духу природы в его тихих наитиях и в многообразном зримом очаровании. И старца, и принцессу, и юношу глубоко затронуло это будничное событие. От старика не ускользнуло новое проникновенное впечатление, оставленное неведомой гостьей в душе его сына. Достаточно знакомый с этой душой, старик не сомневался, что глубокое впечатление в ней неизгладимо и овладевает его сыном на весь век. Юность сына и природа его сердца не могли противиться неизведанному чувству, которому суждено было превратиться в неодолимую склонность. Старик давно видел, как надвигается подобное потрясение. Их посетила красота столь неотразимая, что старик сам сочувствовал ей в глубине души, и как всегда, уповая на лучшее, предоставил загадочному началу развиваться своим чередом. И принцесса неторопливо ехала восвояси, охваченная чувством, ей дотоле неведомым. Одно-единственное сумеречно светлое, чудотворно зыбкое чайное новое мира подавляло в ней всякую отчетливую мысль. Магический полог застилал своими необозримыми складками малейшие проблески бодрствующей рассудительности. Стоит этому пологу подняться, мнилось принцессе, и она попадет в мир иной. Отзвуки поэтического искусства, до сих пор владевшего ее душой, безраздельно, слились в отдаленный напев, сочетавший прежнюю пору с нынешней причудливо милой мечтой. Не успела принцесса вернуться во дворец, как его роскошь и красочное мелькание придворной жизни почти ужаснули ее, тем более смутило принцессу приветствие отца, чей лик впервые поразил ее своим строгим величием. Безусловно запретным казалось ей всякое упоминание о лесном приключении. Ее мечтательная сосредоточенность, ее взор, затерянный среди фантазий и глубоких раздумий, были слишком привычны для окружающих, и никто не заподозрил ничего чрезвычайного.

Принцессе взгрустнулось; на душе было уже не так отраднo: принцесса чувствовала себя как бы брошенной среди чужих людей, и непривычная робость преследовала ее до самого вечера, когда, убаюкивая ее приятнейшими мечтами, сладостного утешения преисполнила ее веселая песня поэта, который в неотразимом вдохновении прославлял надежду и славословил веру, способную своими чудесами исполнять наши желания. А юноша, едва с нею простившись, углубился в лес. По обочине дороги, скрываясь в кустах, проводил он ее до самых ворот сада, и отправился домой той же дорогой. Шагая, он заметил под ногами яркий блеск. Нагнувшись, подобрал он темно-красный камень, одними гранями необычайно пламеневший, другими гранями являвший непостижимые эмблемы, врезанные в камень. Юноша распознал драгоценный карбункул, который, помнится, выделялся среди других камней в ожерелье неведомой гостьи.

Юноша не столько шел, сколько летел домой, как будто надеялся там застать ее, и первым делом показал камень своему отцу. Они условились, что сын поутру выйдет на дорогу и, если камень будут разыскивать, возвратит свою находку, если же нет, они сохранят камень, чтобы отдать его незнакомке в собственные руки, когда та снова посетит их. Юноша почти целую ночь любовался карбункулом и наутро в неудержимом порыве написал несколько слов, завернув камень в эту свою записку. Он сам вряд ли ведал, какая мысль выразилась в словах, начертанных им:

Ознаменован камень драгоценный:
В его крови сияет некий знак.
Так в сердце врезан образ незабвенный,
Неведомая светит в сердце так.
Сверкает камень, светоч неизменный,
Вкруг сердца ток лучистый не иссяк.
Но если пламень скрыт игрою граней,
И сердце в сердце, может быть, сохранней

Едва обутрело, он уже вышел на дорогу и устремился к воротам сада.

Между тем принцесса, снимая вечером ожерелье, хватилась драгоценного камня, в котором она видела память о матери и к тому же талисман, залог ее девичьей воли, неподвластной никакому насилью.

Впрочем, заметив эту пропажу, принцесса более смутилась, нежели встревожилась. Принцесса не сомневалась, что давеча во время конной прогулки талисман еще сопутствовал ей; стало быть, она нечаянно уронила его или в доме старца или возвращаясь лесом; дорога была ей слишком памятна, и она вознамерилась прямо спозаранку отправиться на поиски, ошарашенная этим решением, как будто самая пропажа не только не удручала ее, но, напротив, давала желанный повод вновь избрать прежнюю дорогу. Едва наступил день, принцесса миновала сад и вышла в лес, а так как она шла с непривычной поспешностью, что могло быть естественнее оживленного сердцебиения, переполнявшего грудь ее. Солнце не успело осыпаться своим золотом верхушки старых деревьев, всколыхнувшиеся, нежно зашептавшиеся, как бы силившиеся друг друга разбудить, чтобы, рассеяв ночные видения, хором приветствовать солнце, когда принцесса, вняв отдаленному шороху, бросила взгляд на дорогу и увидела: ей навстречу торопится юноша, узревший деву в тот же миг.

Остановившись, как зачарованный, он пристально взглядывался в нее, словно не верил глазам своим, явь это или марево. Они поздоровались радостно, однако сдержанно, как будто уже давно завязалось между ними знакомство и установилась приязнь. Еще принцесса не сказала ему, почему она так рано вышла

на прогулку, а юноша с бьющимся сердцем вручил ей, краснея, камень, обернутый в записку. Казалось, принцесса предчувствовала, что затаено в этих строках. Рука ее дрожала, когда она брала свой талисман, и, чтобы не остаться в долгу, в порыве благодарности она сняла со своей шеи золотую цепь и надела на юношу. Смущенный, преклонил он перед ней колени и долго не находил слов, когда она его спросила, как отец. Не поднимая глаз, вполголоса она добавила, что скоро посетит их вновь и будет очень рада присмотреться к диковинкам, которые старец ей обещал растолковать.

Особая проникновенная значительность слышалась в ее словах, когда она снова поблагодарила юношу; принцесса медленно отправилась домой и больше не оборачивалась. Юноша не мог вымолвить ни слова. Он только поклонился благоговейно и провожал ее своими взорами, пока еще можно было различить ее среди деревьев.

Не прошло и нескольких дней, как принцесса снова посетила лесную усадьбу и посещала ее с тех пор неоднократно. Незаметно так уж повелось, что юноша сопровождал ее во время этих прогулок. Он ждал ее возле сада, вел ее на мызу, а потом обратно в сад. Она по-прежнему упорно умалчивала о своем звании, хотя так сблизилась со своим проводником, что ни один помысел ее возвышенной души не ускользал от него. Величие ее рода как бы страшило втайне ее самоё. Юноша тоже предался ей всею душой. Отец и сын видели в принцессе знатную девицу, состоявшую при дворе. Она полюбила старика, как родная дочь, и осыпала его ласками, в которых угадывалась и нежность к юноше. Вскоре она совсем освоилась в причудливом доме, пела отцу и сыну, сидевшему у ее ног, чарующие песни своим неземным голосом под звуки лютни, давая юноше уроки этого упоительного искусства, а тот не оставался в долгу: из его вдохновенных уст узнавала она, как раскрываются вездесущие тайны природы. Он поведал ей, как чудная взаимность образовала мир, сочетав светила в гармонические хоры. Предыстория мира разворачивалась в ее душе, внемлющей святым повествованиям, и как она была восхищена, когда ученик ее, преисполненный своими вдохновениями, схватил лютню и, обнаружив небывалый навык, излился в чудесных песнопениях. Однажды, когда дерзновенный пыл овладел его душою близ нее и ее девичью застенчивость на обратном пути осилила могучая любовь, так что, не помня себя, они поникли друг другу в объятия и первый жгучий поцелуй навеки слил их, неистовая буря разыгралась в наступающих сумерках среди древесных вершин. Ужасающие тучи клубились над ними, сгущая ночной мрак. Он хотел скорее увести ее от жуткой грозы и бурелома под надежный кров, однако в страхе за свою любимую сбился с дороги в темноте, все глубже забираясь в лесную глушь. Он видел, что заблудился, и страх его усиливался. Принцесса думала, в каком ужасе теперь король и

двор; неизреченная боязнь порою вспыхивала в ее душе пронзительным сияньем, только голос любимого неумолчно успокаивал ее, поддерживал и ободрял, так что на сердце становилось легче. Буря свирепела, выйти на дорогу никак не удавалось, так что они сочли себя счастливыми, когда при свете молнии заметили неподалеку на обрывистом склоне лесистого холма пещеру, сулившую надежное пристанище в грозу, когда измученные путники так нуждались в отдыхе. Счастливый случай потворствовал их желаньям. В пещере было сухо, чистый мох устлал пещеру. Юноша, не мешкая, развел костер из валежника и мха, так что можно было обсушиться, и влюбленные увидели, что чудом удалены от мира, спасены от страшной бури и соединены на мягком теплом ложе.

Дикий миндаль, увешанный плодами, склонялся, достигая пещеры. Близкое журчанье позволило им найти студеную воду и утолить жажду. У юноши была лютня, которая теперь могла развлечь, развеселить и успокоить их, а костер в это время потрескивал. Казалось, кто-то свыше намеренно ускорил развязку, при чрезвычайных обстоятельствах даровав им это романтическое уединение. Невинностью сердец, колдовским ладом чувств, неотвязным, неодолимым могуществом юности и сладостно взаимным влечением на забвеньи был обречен мир, со всеми своими узами и навеян при венчальных песнопениях бури и свадебных свечках молний сладчайший хмель, когда-либо вкушаемый смертной четой. Ясным голубым утром ознаменовалось их пробуждение в новом блаженном мире. Однако слезы, жгучим потоком хлынувшие из глаз принцессы, показали ее возлюбленному, какое множество забот пробудилось в ее сердце. Эта ночь стоила для него нескольких лет; не юноша, а муж был с нею. Упоенный восторженным пылом, успокаивал он свою возлюбленную, ссылаясь на святыню истинной любви, взывая к возвышенной вере, которую внушает любовь, заклиная уповать на безмятежное будущее, в котором не откажет ей дух-покровитель ее сердца. Почувствовав, как искренне он ее утешает, принцесса призналась, что она дочь короля и ей боязно при мысли об отцовской гордости и скорби. Все тщательно обдумав, они единодушно приняли решение, и юноша поспешил к своему отцу, чтобы посвятить его в свой замысел. Юноша заверил ее, что скоро снова будет с нею и, обнадежив, оставил ее предвкушать грядущее счастливое стечение обстоятельств. Юноша скоро достиг отцовской обители, и старец был очень рад его благополучному возвращенью. Узнав, что произошло, взвесив намерения влюбленных, старик, поразмыслив, согласился поддержать их. Усадьба старика таилась в лесу, к тому же имелись подземные покои, которые не так-то просто было разыскать: подходящее убежище для принцессы. Она была препровождена туда под защитой сумерек, и в глубоком умилении старец принял ее. В одиночестве принцессе трудно было удержаться от

слез, когда она помышляла о том, как скорбит ее отец, но она не выдавала своих терзаний любимому, делаясь ими только со старцем, сердечно утешавшим ее и сулившим ей свидание с отцом в недалеком будущем.

Весь двор был потрясен, когда вечером выяснилось, что принцессы нигде нет. В полном отчаянии король велел своей челяди искать ее повсюду. Случившееся казалось непостижимым. Никто даже не заподозрил, что это некий заговор любви, да и кто мог похитить принцессу, когда скрылась она одна? Домыслы выглядели беспочвенными. Поиски ни к чему не привели, и глубокая тоска овладела королем. Лишь вечерами, когда собирались певцы, принося свои прекрасные песни, бывая радость словно брезжила перед ним: мнилось, будто принцесса недалеко, и крепла надежда узреть ее вновь. Но в одиночестве сердце его вновь разрывалось, и он плакал навзрыд. В глубине души он тогда помышлял: «Какой мне прок в могуществе моем и родословной? Я самый убогий среди людей. Без моей дочери нет мне другой утехи. Что мне песни без нее? Лишь звук пустой да бредни. Ее волшебство оживляло песни отрадой, обличем, обаянем. Быть бы мне последним из моих челядинцев. Тогда бы моя дочь не потерялась, нашелся бы, пожалуй, зять, и внуки бы сидели у меня на коленях, и был бы я заправским королем, не то, что теперь. Король не тот, кто коронован, и не тот, кто властвует. Король тот, кто взыскан избытком блаженства, кто насыщен своим земным уделом, король тот, кому больше нечего желать. Вот расплата за мое высокомерие. Мало было мне потерять супругу! Неизбывно теперь мое злосчастье».

Так скорбел король порою, сжигаемый печалью. Но временами давала себя знать его бывшая непреклонная гордыня. Он клял свой плач, он предпочитал терпеть молча как истинный король. Другие недостойны, полагал он, такой великой боли, страданье сопутствует величию, но когда смеркалось, посещал он покои принцессы, видел ее наряды, видел безделушки, расставленные по-прежнему, как будто она только что здесь была, и всякие поползновения гордости сходили на нет, и король сокрушался как любой другой несчастный, умоляя о сочувствии последних своих челядинцев. Вся столица, все королевство от всего сердца лили слезы и жаловались вместе с ним. Но, как ни странно, в народе ходила молва: принцесса-де живехонька, она придет, и с нею придет ее супруг. Всем было невдомек, откуда эти вести, но им внимали с радостною верой и в нетерпеливом ожидании уповали на близкое пришествие принцессы. Месяцы летели, и весна вернулась...

«Будь что будет, — иные вещали как бы по наитию, — принцесса не заставит себя ждать».

Сам король приободрился, не чуждаясь надежды. В предсказаниях он угадывал милость высшей силы. Новые торжества не уступали прежним, ликованье готово было снова расцвести, но

только не было принцессы. Ровно год минул с тех пор, как принцесса скрылась, и в эту годовщину вечером в сад вышли все придворные. Погожее тепло царило в воздухе, в листьях старых деревьев слышался тихий трепет, словно веяло веселье, приближаясь. Могучий водопад вознесся среди многих светочей, переливаясь бесчисленными отблесками в сумраке трепетной листвы, своим мелодическим плеском вторя неумолчным песням, доносившимся из-под деревьев.

Король восседал на драгоценном ковре, вокруг виднелся сонм придворных, разодетых по-праздничному. Великолепную картину обрамляли зрители, переполнившие сад. Король сидел сосредоточенный в глубоких помыслах. Таким отчетливым виденьем дочь впервые возникла перед ним с тех пор, как сгинула, а в памяти пронеслась череда счастливых дней, чье окончание вдруг наступило год назад об эту пору. Жгучее томление осилило короля, слеза за слезою струились по изможденным ланитам, но давно уже не было ему так хорошо. Король готов был счесть этот скорбный год лишь дурным сновиденьем и, подымая свои очи, всматривался в сумрак, словно люди и деревья благоговеяно таят ее высокое, святое, волшебное присутствие.

В этот миг поэты смолкли, и всеобщее молчанье возвестило, как в глубине души каждый тронут напевами поэтов, прославлявших счастливую встречу, весну и грядущее, как нам его рисует упование.

Внезапно тихий, неведомый, чудный голос нарушил безмолвие, зазвучав как будто бы под сенью векового дуба. Голос привлек все взоры, так что всеми был замечен юноша, одетый скромно, правда, не по-здешнему; в руках у него была лютня, и он пел, как прежде, невозмутимо, хоть не преминул учтиво поклониться королю, когда тот его удостоил своего взора. Голос юноши был хорош чрезвычайно, и напев его отличался нездешним чудным ладом. В песне говорилось о том, как мир возник и как возникли созвездия, растения, звери и люди, как всевластна природа в своем созвучии, как в древности царили Любовь и Поэзия, зиждительница золотого века, как явились Ненависть и Дикость, как они враждовали с теми благодетельными богинями, которые в грядущем восторжествуют, возвратят природе юность, и восстановится непреходящий золотой век. Старые поэты приблизились во время пенья к дивному пришельцу и сгрудились вокруг него, как бы сплоченные единым вдохновением. Неизведанный восторг напал на слушателей.

Сам король был восхищен, как будто плыл он по течению небес. Неслыханная песня всех наводила на мысль, что среди них явился небожитель, не иначе, ибо юноша преобразался, покуда пел, обретая новую красоту и новое величие, а голос его креп, как бы усиливаясь. Его золотые кудри оживляла игра ветерка. Персты юноши словно пробуждали в струнах живую душу, а упоенный взор его как будто проникал незримое. Лик его,

младенчески невинный и простой, принадлежал, казалось, иному миру.

Вот завершился божественный напев. Пожилые поэты в слезах отрадных заключили юношу в свои объятия. Проникновенное тихое ликование объединило всех. Растроганный король направился к нему. Юноша поник смиренно к его ногам. Поднятый королем, он очутился в сердечных объятиях государя, который велел ему просить награды. Ланиты юноши пылали, он ответил королю просьбой милостиво внять еще одной песне и после этой песни решить, какой награды достоин певец. Король встал поодаль, и неизвестный запел:

Певец бредет по мрачным тропам,
Терновник рвет его наряд:
Когда грозит река потопом.
Подмоги не находит взгляд.
С тяжелой лютней неразлучен,
Певец отчаяться готов,
И одиночеством измучен,
Сдержать не может скорбных слов:

«Плачевное вознагражденье!
Я бесконечно одинок.
Всем доставлял я наслажденье
И, обделенный, изнемог.
Чужую жизнь и достоянье
Воспел я, радуя других,
И разве только подаянье
За песни получал от них

Со мной прощаются пристойно,
И никому меня не жаль;
С весной прощаются спокойно,
Когда весна уходит вдаль.
Ждут в нетерпенье урожая,
Семян весенних не цена.
Всем даровал я счастье рая,
А кто молился за меня?

Всех встречных голос мой чарует,
Едва для них я запою.
Когда, когда любовь дарует
Мне цепь волшебную свою?
Нет людям дела до страдальца,
Пришедшего издалека.
Чье сердце выберет скитальца?
Кто приголубит бедняка?»

В слезах заснул он, одинокий,
И, провозвестник дивных сил,
Дух песнопений, дух высокий,
В его груди заговорил:
«Забудь, какая боль всечасно
Таилась в бедном пришлеце.
В лачугах ищешь ты напрасно
То, что найдешь ты во дворце.

Рукою верной, благосклонной
Дарован в таинстве святом,
Окажется твоей короной
Венок твой миртовый потом.
Ты шел по мрачным тропам, бедный:
Призваньем свыше одарен,
И ты, поэт, как принц наследный,
Взойдешь на королевский трон.

Пока он пел, таинственное удивление распространялось в людских сонмах, так как при звуке этих строф старец и некое виденье в образе статной жены под покрывалом с ненаглядным младенцем на руках, который приветливо всматривался в незнакомые лица и, улыбаясь, простирая ручки к сверкающей королевской диадеме, приблизились к певцу и остались позади него, но удивлению не было предела, когда вдруг из древесной листвы любимый орел короля, с ним неразлучный, ринулся вниз к юноше, ударив его по кудрям золотым венцом, вероятно, принесенным из дворцовых покоев. Неизвестный вздрогнул в мгновенном испуге; орел уже летел к своему повелителю, оставив золотой венец на золотых кудрях. Юноша протянул венец младенцу, желавшему такой игрушки, опустил на одно колено перед королем и взволнованный голос вновь зазвучал в напеве:

Певец утешен сновиденьем,
В лесах ведет его мечта;
Охвачен пылким нетерпеньем,
Он видит медные врата.
Наверно, тверже всякой стали
Вокруг дворца была стена,
Но песней, полною печали,
Была принцесса пленена.

Звон панцырей влюбленным страшен,
Прочь беззащитные бегут,
И нежным пламенем украшен
Их тайный сумрачный приют.
В своем безлюдном отдалении
Они боятся короля,

Денница будит в них томленье,
Услады новые суля.
Вселяет песня в сердце веру,
Не в силах песням не внимать.
В лесах нашел король пещеру,
Там новаявленная мать.
В испуге на него взглянула,
В раскаяньи поникла дочь,
Младенца деду протянула,
И старцу гневаться не в мочь.

На троне сердце не черствеет;
И затихает в сердце гнев,
Как только трепетно повеет
С любовью сладостный напев.
Любовь с лихвою возвратила
Все, что похитила сперва,
И всех лобзаньями сплотила,
Исполненная торжества.

Дух песен, снизойди ты снова!
Помочь любви тебя молю.
Любовь покаяться готова,
Дочь возвращая королю.
Порадуй внуком властелина,
Утешь сурового отца,
И как возлюбленного сына,
Обнимет государь певца.

Пропев эти слова, чей нежный отзвук затих под сумрачными сенями, юноша трепетной рукой откинул покрывало. Вся в слезах, принцесса поникла к ногам короля, показав ему прекрасного младенца. Певец преклонил колени рядом с нею, не поднимая чела. Никто не смел дохнуть в боязливой тишине. Несколько мгновений король хранил суровое безмолвие, потом, рыдая, заключил принцессу в свои объятия и долго прижимал ее к своей груди. И юношу тоже привлек он к себе, обняв его сердечно и нежно. Теснившиеся людские сонмы просияли в бурной радости. Взяв на руки младенца, король в благочестивом умилении вверил его хранительной власти небес, а потом почтил старца дружелюбным приветом. Не было конца счастливым слезам. Песни поэтов зазвучали, и тот вечер стал святым кануном, возвестившим всей стране нескончаемое торжество. Та земля теперь неведомо где. Лишь преданье повествует, будто Атлантида таится от глаз людских в нахлынувших водах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Путники ехали беспрепятственно несколько дней. Дорога была наезженная и шла все время посуху. Дни стояли погожие, местность вокруг была людная, возделанная, радующая глаз переменчивыми видами. Миновали жуткий Тюрингский лес; купцам доводилось проезжать здесь не однажды; их уже везде знали, так что нетрудно было найти гостеприимцев. Купцы старались не углубляться в необжитые глухие дебри, пользующиеся дурной славой по причине грабежей, а если уж поневоле пересекали такие местности, то в сопровождении надежной стражи. Обладатели окрестных горных замков благоволити к проезжим купцам. Купцы останавливались в замках и осведомлялись, не нужно ли чего в Аугсбурге. Купцов принимали радушно, женщины, охочие до новостей, не отходили от путников. Мать Генриха сразу привлекала их своей отзывчивостью и сердечностью. Все были рады видеть женщину из города, где находится двор, где, стало быть, в ходу и новые платья и новые лакомые блюда, а на подробности мать не скупилась. Рыцари и дамы вполне оценили почтительность и кроткую искреннюю учтивость молодого Офтердингена, а что касается дам, они с особым удовольствием всматривались в его обаятельный облик, подобный непритязательному слову странника, едва услышанному, чтобы потом, через много дней после прощания с гостем начал распускаться неприметный бутон, пока не появится великолепный цветок во всем красочном блеске своих тесно сплоченных лепестков, так что это слово навеки памятно и не даюест повторять его, оценив неиссякаемое неразменное сокровище. Стараешься отчетливее вообразить, каков же он был, этот неведомый гость, гадаешь, гадаешь, и вдруг тебя осеняет: он послан свыше. Купцов прямо-таки осаждали заказами, хозяева и гости прощались, от души желая скорее свидеться. Однажды вечером они приехали в замок, где шел веселый пир. Замок принадлежал старому воителю, который норовил скрасить мирное бездействие и уединение, то и дело устраивая пиршества; когда не нужно было собираться на войну или на охоту; этот господин не ведал, как еще скоротать время, если не за кубком вина.

Окруженный шумными приятелями, он встретил путников как своих родных братьев. Мать удалилась в покои госпожи. Купцов и Генриха ждал пиршественный стол, где без устали прогуливался кубок. Вняв настоятельным просьбам Генриха, ему позволили по молодости лет иногда пропускать свою очередь, купцы же, напротив, усердствовали, доблестно воздавая честь старому французскому вину. Говорили о былых воинских приключениях. Генрих не мог не увлечься новыми повествованиями. Рыцари вспоминали Святую Землю, чудеса Святого Гроба, свои приключения на суше и в море, сарацинов, чье насилие

некоторым довелось изведать, заманчивую удалую жизнь, проходящую между бранным полем и ратным станом. С большой силой они высказывали свое негодование, разгневанные мыслью о том, что Святые Места, где родилось христианство, до сих пор остаются под нечестивым игом нехристей. Рыцари превозносили великих героев, которые сподобились вечного венца, смело и неутомимо противоборствуя богомерзким ордам. Всеобщее внимание привлек меч редкостной отделки, принадлежавший прежде сарацинскому вождю, которого властелин замка сразил своей рукою, захватив его твердыню, полонив его жену и детей, так что император даровал рыцарю право дополнить свой герб таким трофеем. Все любовались великолепным мечом. Генрих тоже схватил его, охваченный воинственным пылом. С пламенным благоговением поцеловал он меч. Рыцари восхитились таким порывом. Старик обнял его, призывая навеки посвятить свою десницу освобождению Святого Гроба, принять на свои рамена чудотворный крест. Генрих был потрясен, и рука его никак не могла расстаться с мечом.

«Знаешь, сын мой, — вскричал старый рыцарь, — ведь новый крестовый поход начинается. Сам император возглавит наши рати, отбывающие на Восток. Зов креста снова разносится по всей Европе, и где только не пробуждается доблестное благочестие! Кто знает, не будем ли через год мы, счастливые победители, сидеть в Иерусалиме, в этом великом городе, лучше которого нет в мире, и поминать родину отечественным вином. Хочешь, я тебе покажу тамошнюю девицу? Нам, северянам, такие по вкусу, и если ты умеешь обращаться с мечом, на твою долю хватит пленных красоток». Рыцари во весь голос пели песнь крестового похода, звучащую тогда везде в Европе:

Поруган дикою гордыней
Гроб, где лежал Пречистый Спас.
Язычник завладел святыней,
И раздается скорбный глас:
«Кто, кто меня в такой напасти
Спасет от нечестивой власти?»

Не видно воинства Христова,
Пришли дурные времена,
Кто веру восстановит снова?
Кто крест возьмет на рамена?
Гроб Господа в цепях позорных.
Кто разгромит врагов упорных?

Просторы взволновав морские,
Святая буря на земле
Стучится в стены городские,
Бушует в замке и в селе.

Призыв доносится в тумане:
«Эй, поднимайтесь, христиане!»

Бесплотные с немым укором
Являются то здесь, то там;
Паломники с печальным взором
Подходят к запертым вратам;
И подтверждают их морщины,
Как беспощадны сарацины.

Пылает грозная денница
Над христианскою страной.
Приемлет каждая десница
Свой крест и меч перед войной.
Святому Гробу сострадают,
Очаг семейный покидают.

Сердца пылают, войско в сборе,
Отплыть готовы корабли.
Скорей бы только выйти в море,
Чтобы достичь Святой Земли.
Стремятся дети светлым роем
Сопутствовать святым героям.

Победа воинам счастливым!
Знамёнам знаменье креста!
Воителям благочестивым
Открыты райские врата.
Седые рыцари Христовы
Кровь за Христа пролить готовы.

В бой, христиане, в бой великий!
Господня рать грядет на брань.
Изведает язычник дикий
Карающую Божью длань.
Святой подвигнуты любовью,
Господень Гроб омоем кровью.

Над нами Дева Пресвятая,
И нам неведом в битве страх
Мечом сражен, достоин рая,
У Ней проснешься на руках.
Свой лик Пречистая склонила,
И торжествует наша сила.

Вновь Гроб Господень скорбным гласом
Зовет отважных на войну.
Мы согрешили перед Спасом,

Искушим же свою вину!
Господней славе порадеем,
Землей Святою овладеем!

Вся душа Генриха кипела; при мысли о Гробе Господнем ему виделись нежные черты бледного юного лица; некто сидел на камне, беззащитный среди озверелой черни, обреченный жестокому поруганию, устремив скорбный взор на крест, брезжущий светлыми полосами вдали, тогда как в бушующих морских валах нет числа таким же крестам.

Мать послала за ним, намереваясь представить его супруге рыцаря. Гости захмелели, разгоряченные предвкушением грядущего похода, так что Генрих мог незаметно покинуть пиршество. Его мать душевно беседовала с доброжелательной пожилой госпожой, которая приняла Генриха приветливо. На ясном небе солнце начинало садиться; золотая даль, проникавшая в сумрачные покои через узкие углубления сводчатых окон, манила Генриха, стосковавшегося по уединению, так что ему вскоре было позволено осмотреть окрестности замка. Он выбежал на простор и осмотрелся, весь охваченный волнением; прямо у подножия старого утеса пролегла лесистая долина, где протекал стремительный ручей, вращающий колеса нескольких мельниц с шумом, чуть слышным на этой обрывистой круче, и далее виднелись вершины, дубравы, обрывы, так что невозможно было окинуть взором гористое пространство, и покой постепенно воцарился в душе Генриха. Воинственного угара как ни бывало, его сменила безоблачная грусть, располагающая к мечтаньям. Генрих чувствовал, как нужна ему лютня, хотя едва ли представлял себе ее струны. Отрадная картина великолепного вечера навевала тихие сны наяву; цветок его сердца зарницею являлся ему порою. Он бродил в диком кустарнике, взбирался на мшистые уступы, как вдруг в ближайшей лошине послышалось трогательно-томительное пение: женскому голосу вторили чудесные лады. Сомнений не было: это лютня. Он застыл зачарованный, вслушиваясь в песню, пропетую по-немецки с безупречным произношением:

Неужели, как и прежде,
Бьется здесь в чужом краю
Сердце жалкое в надежде
Обрести страну свою?
Жить ли мне мечтою ложной?
Лишь разбиться сердцу можно.
Безутешно слезы лью.

Небеса родные шедры.
Оказаться бы мне вдруг
Там, где мирты, там, где кедры,
Где, войдя в девичий круг,

Я, нарядная, блистала.
Я бы вновь собою стала
Там, среди моих подруг.

Знатных юношей немало
Поклонялось прежде мне.
Песни пылкие, бывало,
Доносились при луне.
Верность непоколебима.
Вечно женщина любима.
Так ведется в той стране.

В той стране раздолье зною.
Пламеня близ воды,
Ароматною волною
Заливает он сады.
Суший рай в садах тенистых
Для певуний голосистых;
Там среди цветов плоды.

Но мечту мою сгубили.
Наша родина вдали.
Все деревья там срубили,
Древний замок наш сожгли.
Лютый враг нагрянул скопом,
Полонив своим потопом
Райский сад моей земли.

Пламень, вспыхнув языками,
В синем воздухе не гас;
Скачут варвары с клинками,
Час настал, последний час.
Братья и отец убиты.
Больше не было защиты,
И тогда схватили нас.

Взор мне слезы вновь застлали.
Сквозь такую пелену
Как увидеть мне в печали
Дальнюю мою страну?
Мне бы лучше, злополучной,
Жизнь прервать собственноручно,
Но дитя со мной в плену.

Донеслись детские всхлипыванья, голос теперь утешал ребенка. Генрих спустился в лощину, поросшую кустарником, и увидел, что под старым дубом сидит скорбная бледная девушка. Прекрасное дитя горько плакало, обняв ее, рядом с нею среди

травы виднелась лютия. Девушка слегка вздрогнула, заметив, что к ней идет чужой юноша, как бы готовый разделить ее печаль.

«Кажется, моя песня донеслась до вас», — молвила она приветливо. — Где я видела ваше лицо? Позвольте мне собраться с мыслями, память изменяет мне, но я смотрю на вас, и мне почему-то вспоминается былая отрада. О! Сдается мне, тому причиной ваше сходство с одним из моих братьев; он задумал посетить одного прославленного поэта в Персии и простился с нами еще до того, как нас постигла беда. Если он еще не умер, он теперь слагает скорбные песни о наших злоключениях. Вспомнить бы мне хоть какую-нибудь из тех прекрасных песен, что нам он подарил до своего ухода! Его лютия была его счастьем, при своем благородстве и нежности не ведал он другого счастья».

Ребенок оказался девочкой лет десяти-двенадцати, она пристально глядывалась в чужого юношу, прильнув к скорбной Салиме. Сердце Генриха сжалось от сострадания, он пытался дружески утешить пленную певунью и убеждал ее поведать свою судьбу обстоятельнее. По-видимому, она сама была не прочь высказаться. Сидя напротив нее, Генрих внимал ее словам, хотя слезы то и дело мешали ей говорить. Пленница не скупилась на похвалы своей отчизне и своим сородичам. Она описывала их великодушие, их неподдельную страстную готовность воспринять поэзию жизни и чудесные, пленительные тайны природы. Она рассказывала, какой романтической живописностью отличаются возделанные арабские земли, эти счастливые острова, затерянные в непроходимых песках, пристанище измученных и гонимых, как бы райские насаждения, где на каждом шагу прохладные родники, чьи воды журчат, струясь в густой траве среди ярких камней и в старых заповедных кущах, переполненных разнопёрыми, разноголосыми птахами и привлекательными останками былых незабываемых веков. «С каким волнением, — говорила она, — рассматривали бы вы явственные, красочные, невиданные черты и начертания на старинных каменных плитах. Кажется, будто это подписи на родном, хотя и забытом языке, неизгладимые по своей сути. Гадаешь, гадаешь, улавливаешь отдельные значения, тем соблазнительнее разгадка всей этой древней глубокомысленной письменности. Ее непостижимый дух вызывает нежданные мысли, и даже если искания были напрасны, удаляешься, обретая тысячи знаменательных открытий в своем внутреннем мире, так что жизнь обогащается новым сиянием, а душа многообещающими неисчерпаемыми начинаниями. На почве, давно возделанной, исстари возвеличенной заботами, трудами и преданностью, жизнь особенно хороша. Природа там как бы не чужда человечности и осмысленности, настоящее прозрачно, так что смутное воспоминание являет сквозь него четкими зарисовками свои образы, и мир в сочетании с другим миром услаждает, утратив свою тягостную непреложность, уподобляясь вымыслу, вернее, чарующей песне наших чувств. Не

дает ли себя в этом знать участливое присутствие древних, теперь невидимых соотечественников, и когда приходит время пробудится их уроченцам иных земель, не этот ли смутный зов заставляет их рваться в исконный прародительский край с таким ожесточенным вожделением, что они готовы пожертвовать душой и телом, всем своим уделом, лишь бы завоевать желанные земли».

Помолчав, она продолжала:

«Не верьте рассказням о зверствах моих земляков. Только у нас никогда не обижают пленных, и ваших пилигримов, направляющихся в Иерусалим, принимали, как гостей, жаль только сплошь и рядом это были дурные гости. Среди них замешалось много бездельников и даже преступников, чье паломничество изобиловало разными гнусными выходками, за которые нельзя не карать. А ведь могли же христиане посещать Святой Гроб мирно, не развязывая жуткой бессмысленной войны, которая сеет ожесточенье и нищету, навсегда противопоставляя Восток Европе. Не все ли равно, кому принадлежит святыня? Наши государи благоговейно хранили гробницу вашего Святого, которого мы сами почитаем как пророка Божьего, и было бы хорошо для всех, если бы его Святой Гроб оказался колыбелью счастливого согласия, где завязываются нерасторжимые спасительные узы».

Генрих слушал ее, а вокруг вечерело. Из влажной лесной чащи выплыла луна, проливая свой успокоительный свет. Они медленно поднимались в гору, туда, где высился замок; Генриха одолевали мысли, воинственный восторг совершенно забылся. Юноша заметил в мире необъяснимый разлад: образ утешительной созерцательности, луна открывала ему высоту, откуда представлялись несущественными кручи и пропасти, зловещие и непроходимые для странника. Салима с девочкой тихо сопровождала юноше. Лютня была у Генриха. Он старался уверить свою спутницу, что еще рано отчаиваться и она еще может увидеть родину; некий внутренний голос властно повелевал ему спасти пленницу, не указывая, правда, как спасти ее. Впрочем, простые слова Генриха обладали, казалось, целительным воздействием, ибо Салиме стало легко, как никогда, и она с волнующей искренностью благодарила его за участие. Рыцарям еще не наскучили кубки, мать еще беседовала о хозяйстве. Генриха не тянуло в пиршественный зал. Он чувствовал себя усталым и вскоре удалился в опочивальню, отведенную для него и для матери. Перед сном он поведал ей, кого встретил вечером, сон не заставил себя ждать и навел отрадные грезы. Купцы тоже покинули пиршественный зал заблаговременно и рано утром уже были готовы в путь.

Рыцарям было еще далеко до пробуждения, когда они уезжали, но госпожа сердечно с ними простилась. Салиме ночью не спалось, сокровенная радость не давала ей сомкнуть глаз; когда

наступило время прощаться, она пришла, чтобы проводить путников как усердная смиренная служанка. На прощанье она протянула Генриху лютню, проникновенным голосом умоляя принять ее на память о Салиме. «На этой лютне играл мой брат, — молвила она. — Это его прощальный подарок, все, что мне осталось от нашего имущества. Лютня как будто полюбила вас вчера, а вашему подарку нет цены, ваш подарок — сладкая надежда. Вот вам жалкий знак моей благодарности. Возьмите лютню и не забывайте бедную Салиму. Мы свидимся, я знаю, быть бы мне тогда счастливее».

Генрих прослезился, он отклонил подарок, понимая, как дорого ей лютня.

«У вас в волосах, — молвил он, — я вижу золотую ленту с непонятными письменами, если только она не служит вам напоминанием о ваших родителях или о вашей родне, позвольте мне взять эту ленту, а взамен примите покрывало, которое моя мать будет рада вам оставить».

Наконец, она уступила его настояниям, отдав ему ленту с такими словами:

«Мое имя обозначено на этой ленте буквами моего родного языка. Я сама вышила эти буквы, когда мне жилось веселее. Рассматривайте мою ленту, когда вам захочется, и не забывайте: ею были заплетены мои косы в долгую печальную пору, когда я увядала, а золото тускнело». Мать Генриха сняла покрывало, вручила пленнице, привлекла ее к себе и обняла, прослезившись.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Еще несколько дней они ехали, пока не достигли деревни, за которой виднелись острые вершины холмов, как бы рассеченных глубокими обрывами. Окрестности благоприятствовали земледелию и не лишены были красот, хотя безжизненные горбы холмов выглядели жутковато. На постоялом дворе было чисто, прислуга была расторопная, и в комнате собралось порядочно народу, кто остановился на ночлег, кто просто зашел выпить, все сидели и толковали о разных разностях.

Наши путешественники не сторонились людей и охотно заговаривали с другими. Общим вниманием завладел один старик, одетый не по-здешнему, который, сидя за столом, дружелюбно отвечал на вопросы любопытных. Он был чужестранец, спозаранку обследовал сегодня местность и рассказывал теперь о своем промысле и о своих нынешних находках. Старика величали старателем. Он, однако, нисколько не кичился своим опытом и своей сноровкой, хотя в его речах веяло неведомое и неприличное. По его словам, он был уроженцем Богемии.

Уже в юности он изнывал от любопытства: нельзя ли проникнуть в глубь гор, нельзя ли узнать, откуда вода в родниках, где залегает золото, серебро, самоцветы, такие желанные для человека.

Посещая ближнюю церковь при монастыре, он привык вглядываться в эти застывшие огни на иконах и на ковчегах с мощами, и как он желал услышать от них самих, камней, откуда они, таинственные, родом. Говаривали, будто их доставляют издалека, но ему всегда думалось, почему бы не находиться подобным сокровищам и драгоценностям в окрестностях. Недаром ведь горы такие объемистые, такие высокие и такие непроницаемые, да, помнится, и ему самому попадались в горах разноцветные яркие камушки. Он без усталы лазал по расселинам, забирался в пещеры и прямо-таки блаженствовал в этих древнейших палатах, любясь вековыми сводами. Наконец, один встречный надоумил его: надо, мол, идти в горняки, тогда, дескать, ему откроется все то, что так занимает его в Богемии, мол, рудников хватит. Знай иди вниз по реке, и дней через десять-двенадцать попадешь в Эулу, а там остается только сказать, что просишься в горняки. Не нужно было повторять этого дважды, чтобы на следующее утро он собрался в дорогу.

«Дорога была нелегкая, — продолжал старик, — но через несколько дней я добрался до Эулы. Не могу выразить, как прояснилось у меня на душе, когда я увидел с холма кучи камня, поросшие зеленым кустарником, деревянные постройки и дым, который застилал долину, клубясь над лесом. Отдаленный гул подкрепил мои чаянья, мне было любопытно донельзя: вскоре в благоговейном безмолвии стоял я на одной из таких куч (их называют отвалами) и норовил заглянуть в темную глубину: крутой спуск посреди деревянной постройки уводил прямо в недра горы. Я бросился в долину, и мне тотчас же встретились несколько человек в черном с лампами в руках, так что нетрудно было распознать горняков: в застенчивой робости я обратился к ним с моей просьбой. Выслушав меня дружелюбно, они посоветовали мне спуститься в плавильню и спросить штейгера, то есть мастера или старшего, а уж он-то наверняка скажет, возьмут меня или нет. Они считали, что в моем желании нет ничего неисполнимого, и научили меня горняцкому приветствию: «Счастья наверху!», с которым надлежало обратиться к штейгеру. Предвкушая успех, я продолжал свой путь и все повторял про себя непривычный многообещающий привет. Я пришел к пожилому почтенному человеку, который тоже встретил меня весьма дружелюбно; выслушав меня и узнав, как мне хочется постичь тайны его необычного промысла, он сразу же согласился удовлетворить мое желание. Должно быть, он почувствовал ко мне расположение, так как пригласил меня остаться у него в доме. Не терпелось мне спуститься под землю, и не было для меня наряда красивее горняцкой робы. В тот вечер старик достал для

меня такую робу и растолковал, как обращаться с некоторыми инструментами из тех, что хранились у него.

Вечером в доме собрались другие горняки, и я ловил каждое их слово, хотя самая речь их да и суть повествования, по большей части, не доходили до меня. Однако та малость, которую я мог усвоить, обостряла мое любопытство, и без того живейшее, даже ночью одолевая меня в причудливых сновидениях. Я проснулся как раз вовремя и не опоздал, когда к моему новому хозяину пришли горняки, готовые внять его распоряжениям. Соседняя комната была отведена под маленькую часовню. Монах не заставил себя ждать и отслужил молебен; потом он прочитал особую молитву, призывая небо осенить горняков своим святым покровом, способствовать им в опасных трудах, уберечь их от злых духов, коварно искушающих, одарить их богатыми месторождениями. Никогда я еще не молился так жарко и никогда так живо не чувствовал, что значит богослужение. В своих будущих товарищах я видел подземных подвижников, которые, преодолев тысячи опасностей, обретают завидное благо, свой чудесный опыт, и в торжественном тихом соприкосновении с утесами, этими древнейшими детьми природы, в чудотворной тьме тайников облекаются добродетелями, достойными даров небесных и блаженного вознесения превыше мирских страстей.

Когда служба кончилась, штейгер вручил мне лампу вместе с маленьким деревянным распятием и пошел вместе со мною к шахте (это по-нашему, крутой спуск в подземные сооружения). Штейгер показал мне, как надо спускаться, сообщил мне, какие правила полагается соблюдать осторожности ради и как называются различные устройства со всеми приспособлениями. Он первым скользнул вниз по круглой колоде, неся в одной руке зажженную лампу, а другой держась за канат, ходивший сбоку в петле вдоль жерди; я не отставал, и мы с немалой скоростью спустились на изрядную глубину. Душа моя переживала непривычный праздник, лампа впереди мерцала счастливой звездочкой, указующей мне путь к тайникам, где хранит свои клады природа. Недолго было и заблудиться в этих подземных дебрях; мой отзывчивый учитель терпеливо отвечал на все мои назойливые вопросы, разъясняя мне свой промысел. Слушая, как течет вода вдаль от обжитой поверхности и как поодаль работают горняки в темноте, в этой путанице ходов, я ликовал, как никогда: наконец, я, счастливый, обрел то, к чему давно уже так стремился. Неизъяснимо и неопишимо глубокое удовлетворение, когда врожденная потребность берет свое, когда удивительную радость вызывают предметы, близкие нашему затаенному существу, неразлучные с трудами, для которых ты рожден и для которых набираешься сил уже в колыбели. Другим такие труды сразу же омерзели бы, опротивели бы в своем убожестве, а по мне, без них нельзя, как нельзя груди без воздуха или желудку без еды. Моему старому наставнику нравился мой неподдельный

пыл, и он обнадёжил меня, предсказав, что при таком старании и понятливости я далеко пойду и со временем стану заправским горняком. С каким благоговением узрел я впервые в жизни 16 марта (тому уже сорок пять лет), как сам король металлов залегает нежными блестками в трещинах породы. Мнилось, будто он в своем непроницаемом заточении дружески светит горняку, а горняк пробивается к нему, не жалея усилий, не ведая страха, взламывает неприступные твердыни, чтобы вызволить его, явить его дневному свету, чтобы в королевских коронах и чашах, на ковчегах со святыми мощами он обрел почет, а в общепризнанной, по достоинству ценимой монете надлежащей чеканки, путеводительную власть над миром. Так я и остался в Эуле и постепенно дорос до забойщика, который, собственно, и есть горняк, возделывающий породу, а сперва мне поручили выхаживать бадьи в отработанных забоях».

Видно, старый горняк немного устал рассказывать и почувствовал жажду; пока он пил, чуткие слушатели весело его приветствовали возгласом: «Счастья наверху!» Речи старого горняка увлекли Генриха необычайно, и он был бы рад послушать его еще.

Остальные толковали о превратностях и причудах горного дела, не скупясь на невероятные рассказы, так что старику приходилось не без улыбки дружелюбно опровергать досужие домыслы.

Наконец, Генрих молвил: «Вы столько пережили, вы встречали столько нежданного: скажите, вы никогда не жалели, что избрали такую стезю? Не согласитесь ли вы поведать, как сложилась ваша жизнь с тех пор и куда вы теперь направляетесь? Сдается мне, что вы повидали свет, и уж наверное, вы теперь позначительнее рядового горняка».

«Я сам не прочь, — ответил старик, — припомнить прошлое, чтобы вновь прославить Господни милости и щедроты. На мою долю выпала счастливая мирная жизнь, и не было такого дня, когда бы я не ложился на покой с благодарным сердцем. Мои предприятия мне всегда удавались, и наш отец небесный уберег меня от всякого зла, так что я дожил до седых волос, неопороченный. Благодарю Бога, а еще благодарю за все моего старого наставника, давно уже отошедшего к роду отцов своих; о нем я никогда не мог помыслить без слез. Он был человек старинного склада, Богу по сердцу. Ему было даровано истинное глубокомыслие, а в своих трудах он отличался младенческим смирением. Это ему горное дело обязано своими усовершенствованиями, герцог богемский — своими баснословными сокровищами, а целая область — своим заселением, довольством и процветанием. Каждый горняк видел в нем своего отца, и, пока стоит Эула, имя его будут поминать с душевной признательностью. Он был уроженец Лаузица и звался Вернером. Его единственная дочь была еще совсем девочкой, когда я впервые переступил порог его дома. Я был старателен, добросовестен и так привязан к не-

му, что он любил меня день ото дня все больше. Он дал мне свое имя, и я заменил ему сына. А покуда девчурка подросла и стала такая резвая, такая славная, лицом нежная и чистая, как ее сердце. Глядя, как она льнула ко мне, как я сам был рад полюбезничать с нею и все не мог оторваться от ее глаз, голубых и глубоких, как небо, блестевших, словно хрусталь, старик нередко говаривал мне: станешь, мол, заправским горняком, отдам ее тебе, не откажу; и он своего слова не нарушил. Я стал забойщиком, и в тот же день он возложил на нас руки, а через какие-нибудь недели я уже входил в мою комнату вместе с моею женой. Солнце едва взошло в тот день, когда я, забойщик на выучке, врубаясь в новый пласт, напал на богатую жилу. Герцог пожаловал меня золотой цепью и большой медалью со своим изображением, а также обещал оставить за мной место моего теста. Как я счастлив был украсить этой цепью шею моей невесты в день свадьбы, так что народ смотрел на нее во все глаза. Старик еще дождался нескольких крепышей-внуков; он вряд ли думал, что его осень сулит ему такие богатые месторождения. Ему дано было с радостью исчерпать свой пласт и оставить мрачный рудник этой жизни, чтобы почить с миром в ожидании великого дня, когда все получат по заслугам».

«Сударь, — обратился к Генриху старик, смахнув слезинку-другую, — горное дело благословил Господь, не иначе. Какое ремесло, кроме горного дела, так вознаграждает и облагораживает труженика, внушает ему такую веру в мудрое небесное Провидение и сохраняет его сердце в такой младенческой чистоте и невинности. Горняк родится бедняком, и бедняком покидает он этот мир. Ему довольно знать, где государство каждого металла и как добыть этот металл; чистого сердца не прельстит ослепительный блеск сокровищ. Горняка, незатронутого пагубным умопомрачением, влечет скорее дивный состав металлов, причуды месторождений и залежей, чем обладание со своими всеобъемлющими посулами. Когда сокровища поступают в продажу, они уже безразличны горняку, который любит находить их в подземных твердынях, подвергаясь тысячам испытаний и опасностей, однако не внемлет их мирскому зову и на поверхности земли, пренебрегая уловками и ухищрениями корысти не гонится за ними. Испытания не позволяют сердцу очерстветь, горняк довольствуется своей малой мздой, и жизнелюбие в нем ежедневно возрождается, когда он вылезает из мрачных ям, где суждено ему работать. Лишь горняк знает, как хорош свет и досуг, как целителен простор и вольный воздух; лишь для горняка еда и питье — сладостная святыня, как бы Тело и Кровь Господни, а с какой любовью и отзывчивостью возвращается он к своим присным, как он лелеет жену и детей, как он упивается отрадным благом задушевной общительности!

Уединенные занятия вынуждают горняка надолго разлучаться с людьми и ясным днем. Поэтому его вкус к таким возвышен-

ным глубокомысленным явлениям никогда не притупляется, и горняк никогда не изживает детской восприимчивости, которая во всем находит неповторимую суть и первоначальное красочное чудотворство. Природа не любит безраздельно принадлежать одному человеку. Став имуществом, природа наводит на своего обладателя порчу, не дает ему покоя, заставляет все вовлекать в этот порочный круг обладания, — губительное вожеление, которому сопутствуют неисчислимые тяготы и необузданные притязания. Так природа неприметно лишает собственника почвы и погребает его в зияющей пропасти, чтобы снова переходить от одного к другому, верная своей неизменной склонности одаривать всех.

Зато как мирно работает неимуший непритязательный горняк в своих безлюдных глубинах вдали от суетной дневной толчеи, довольствуясь лишь своей наукой да покоем душевным. В своем единении он чувствует сердечную привязанность к своим ближним, снова и снова постигая, как нуждается каждый в каждом и как всех людей связывает кровное родство. Самим его призванием преподаю неистощимое терпение и сосредоточенность, несоместимая с праздномыслием. Перед ним своенравная, неподатливая, неуступчивая стихия, над которой торжествует лишь деятельное упорство да вседневная осмотрительность. Но как хорош цветок, расцветающий для горняка в жутких недрах: искренняя готовность полагаться во всем на Отца Небесного, чья рука и чей промысел изо дня в день явственно наводят горняка на путь истинный. Как часто я сидел в моей штольне и при тусклой лампе в глубоком умилении созерцал безыскусное расстяие. Вот как я впервые постиг святую тайну этого образа, в моем сердце разведав ценнейшую жилу, вознаграждающую проходчика вечной добычей».

Немного погодя, старик снова заговорил: «Сомнений нет, людям преподаю угодник Божий благородное горняцкое искусство, явив строгий символ нашей жизни, затаенный в недрах гор. Здесь жила приметная, для разработки рыхлая, но скудная, там ее сплющивает горная толща в невзрачном убогом пропластке, но именно там выклиниваются знатнейшие породы. Другие жилы портят породу, пока наша жила не слюбится со сродницей, что придает ей неисчерпаемую ценность. Иногда жила кустится тысячами отпрысков, но терпеливого не собьешь, невозмутимый упорно продолжает проходку, и не без награды: жила блещет новою любезностью и мощью. Иногда мнимый отпрыск заманивает в тупик, но горняк вскоре видит, что сбился, и силой прорубает себе дорогу в косвенном направлении, пока настоящая жила вновь не дает себя знать. Кто лучше горняка изведаль причуды случая, кто тверже уверился в том, что никакие другие средства, кроме ревностной настойчивости, не могут возторжествовать над подобным противником и отнять у него запovedные кладь».

«Вы, конечно, не обходитесь, — молвил Генрих, — без вдох-

новительных песен. Думается само ваше призвание внушает вам песни, и музыка — лучшая помощница горняка».

«Вы хорошо сказали, — ответил старик, — жизнь горняка неразлучна с напевом и ладами цитры; ни одно ремесло не располагает наслаждаться всем этим так, как наше. Музыка и пляска — излюбленные улады горняка; подобно отрадной молитве, они даруют воспоминания и упования, помогающие скоротать одиночество, так что работа не столь тягостна.

Если вам угодно, я припомню одну песню, ее очень любили, когда я был молод:

Освоивший глубины,
Землей владеет всей,
Не ведая кручины,
Не ведая скорбей.

Скалистое сложенье
И прелести земли
Тебя в твоём служеньи
Таинственно влекли.

И ты, воспламененный,
Других не чая благ,
Невестою плененный,
Вступаешь с нею в брак.

Все ближе, все милее
Она в течение лет,
Хоть с нею тяжелее:
Покоя нет как нет.

Любимого готова
Вознаградить она,
Являя без покрова
Былые времена.

В расселинах пречистый,
Предвечный ветерок;
Там виден свет лучистый,
Хоть мрак ночной глубок.

Везде земля родная,
И нет ни в чем помех;
Трудов не отвергая,
Сулит она успех.

Струятся воды в гору,
Не ведая преград;

И в подземелье взору
Открыт заветный клад.

Оттуда льется золото
Потоками в казну;
Украсил ты богато
Корону не одну.

Богатством небывалым
Монарха наделив,
Довольствуешься малым,
И в бедности счастлив.

Пускай кипят раздоры
Всегда среди долин;
Тебе достались горы,
Веселый властелин!

Генриха просто восхитила эта песня, и он попросил старика припомнить еще какую-нибудь. Тот с готовностью выполнил просьбу, сказав сперва: «И впрямь вспоминается мне еще одна песня, только такая чудная, что нам самим невдомек, откуда она. К нам занес ее издали бродячий горняк, своеобразный старатель, у которого был, якобы, жезл, открывающий клады и кладези. У нас эта песня очень полюбилась, потому что звучала она таинственно, едва ли не такая же смутная и неизъяснимая, как сама музыка, потому-то она и зачаровывала непостижимо, как будто бодрствуешь и в то же время гредишь:

Известен замок тихий мне.
Таится там король поныне,
Не появляясь на стене;
Незрима стража в той твердыне.
Там свой таинственный устав;
Ненарушим покой глубокий,
Лишь слышно, как журчат потоки,
На пестрой крыше побывав.

Ведут веками свой рассказ,
У них повествований много;
Открыто все для светлых глаз
Под сенью звездного чертога.
Властитель хрупок, но могуч,
Всегда потоками омытый,
И в материнских жилах скрытый,
Как прежде, в белом блещет луч.

Спустился сквозь морское дно
Однажды замок тот чудесный.
Задерживать ему дано
Тех, кто бежал в простор небесный.
Не чувствуют своих оков
Завороженные вассалы;
Твердыню осеняют скалы
В победных стягах облаков.

Народ бесчисленный вокруг,
Хоть крепко заперты ворота;
Изображают верных слуг,
Владыку выманить охота.
При этом каждый словно пьян
Догадываются едва ли,
В какую западню попали
И где мучительный изъян.

Лишь пронизательный хитрец,
Не избежав такой опеки,
Похоронил бы, наконец,
Твердыню древнюю навеки.
От заколдованных тенет
Избавит мудрая десница,
Тогда появится денница,
Тогда свободною пахнёт.

Пускай стена была крепка,
Наперекор любым глубинам,
Повсюду сердце и рука
Охотятся за властелином.
На свет выводят короля,
Как духи, духов изгоняют,
Себе потоки подчиняют,
Оттуда вытекать веля.

Все чаще выходя на свет,
Король бесчинствовал немало,
Но прежней власти нет как нет,
Зато свободных больше стало.
Своею вольною волной
Вновь заиграет в замке море,
И на зеленых крыльях вскоре
Мы вознесем в край родной.

Когда старик замолчал, Генриху почудилось, будто он слышит эту песню не в первый раз. Старик не отказался повторить

ее, и Генрих не преминул записать слова. Старик покинул комнату, а купцы пока рассуждали с другими гостями о том, насколько выгодно горное дело, и с какими тяготами оно сопряжено. Кто-то сказал:

«А старик-то здесь неспроста. Недаром он взбирался нынче на наши холмы, уж наверное, он приметил хорошие знаки. Надо бы расспросить его, когда он вернется».

«Слушайте, — отозвался другой гость, — он бы очень одолжил нашу деревню, если бы указал нам поблизости родник, а то мы устали ходить за водой, нам так не хватает хорошего колодца»

«А я вот что думаю, — молвил третий, — не переговорить ли мне с ним насчет одного моего сына, не пригодится ли старику парнишка, он такой охотник до камней, что дома ступить уже некуда; не иначе как мой сын — прирожденный горняк, а старик-то, вроде, добрый человек, худому не научит».

Купцы судили и рязили, не удастся ли им заключить через горняка прибыльные сделки с Богемией, где продаются металлы по сходной цене. Старик вернулся в комнату, и все спешили воспользоваться случаем, не упустить своего. Тут заговорил сам старик:

«Какой спертый воздух в этой клетушке, просто дышать нечем. А на улице луна взошла во всем своем великолепии, и я бы не прочь еще побродить. Днем приглянулись мне тут поблизости некоторые пещеры. Надеюсь, кто-нибудь не откажется сопутствовать мне, и если мы позаботимся об освещении, мы беспрепятственно обследуем их».

Деревенским жителям эти пещеры были известны, правда, заглядывать в них люди не осмеливались, напуганные рассказами, будто пещеры — логово драконов и всяких страшилищ. Уверяли, что видели их своими глазами, недаром, дескать, у входа в пещеры валяются обглоданные кости людей и животных. Кое-кто, впрочем, полагал, что в пещерах обитает некий дух, вдалеке, мол, порою виднеется таинственный облик, вроде как человеческий, а по ночам будто бы кто-то распевает.

Старику подобные толки явно не внушали особого доверия; он с улыбкой убеждал присутствующих, что с горняком они могут отправиться в пещеры без всякой опаски, горняк отпугивает всякую нечисть, а если уж дух поет, значит, это добрый дух. Любопытство придало людям храбрости, так что предложение старика многих соблазнило.

Генриху тоже хотелось пойти, и, наконец, мать уступила его просьбам, когда эти просьбы поддержал сам старик, пообещавший бдительно оберегать Генриха. Купцы тоже решили идти. Сбегали за длинными смолистыми лучинами, кроме лестниц, шестов и веревок, в которых не было недостатка, запаслись кое-каким снаряжением для самозащиты, и к соседним холмам направилось шествие со стариком во главе. Купцы с Генрихом не отста-

вали. Поселянин кликнул своего пытливого сына, тот был рад-радехонек и, вооружившись факелом, указывал дорогу.

Время стояло погожее. В нежном сиянии луна держалась над холмами, и с нею любую тварь посещали таинственные сновидения. Мнилось, луна снится солнцу, а внизу пролегла вселенная, которая сама себе снится, так что луна, размывая бесчисленные границы, уводит природу в баснословное былое, когда каждый зачаток еще жил своей обособленной грезой, одинокий, нетронутый, напрасно силясь раскрыть безграничную щедрую тьму своего естества.

Душа Генриха была зеркалом, в которое глядится сказка вечера. Генриху чудилось будто вселенная почиет в нем, расцветая, и вверяет его гостеприимству свои сокровенные прелести и клады. Его как бы окружила необозримая, доступная, отчетливая явь. Природа, думалось ему, лишь потому загадочна, что она просто осаждаст человека, расточая глубочайшее и задумывнейшее в неисчислимых откровениях. Речи старика отворили потайную дверцу в нем самом. Оказывается, он жил в пристроечке, а настоящим зданием оказался величавый собор, где былое торжественно выросло из каменного пола, а беззаботное безоблачное грядущее нисходило к былому, обернувшись певчими ангелоподобными золотыми младенцами, парящими в куполе. Трепетные серебряные голоса сливались в могучем хоре, и через широкий портал одна за другой проходили все твари, внятно выражая свою сокровенную природу в бесхитростной мольбе на родном языке.

Генрих только диву давался, как он мог до сих пор не замечать отчетливой осмысленности, теперь уже навеки свойственной существу его. Вдруг осознал он все взаимосвязи, сближившие его с пространной окрестной жизнью, ощутил, чем он обязан этой жизни и что сулит она ему, разгадал непривычные побуждения и видения, которых сподобился, наблюдая эту жизнь.

Генриху вспомнился юноша, который, по словам купцов, прилежно вглядывался в природу и стал королевским зятем; тысячи других воспоминаний, неразлучных с его жизнью, сами собой нанизывались на магическую нить.

Пока Генрих пытался уследить за своими помыслами, шествие остановилось у входа в пещеру. Скала над входом низко нависала, и старик, захватив с собою факел, проник туда первым, так что несколько каменных глыб осталось позади него. Навстречу заметно сквозило, и старик пригласил остальных следовать за ним, так как опасаться нечего. Самые робкие замыкали шествие, не забывая, что вооружены. Купцы с Генрихом шли следом за стариком, а рядом с ним бойко шагал мальчик. Проход был тесноват, однако вел он в обширную пещеру с высокими сводами, и факелов не хватало, чтобы осветить ее всю, только впереди виднелось несколько проемов, уводивших в сплошную утесистую толщу. Под ногами было довольно мягко, никто

не спотыкался, стены и своды тоже не казались шероховатыми или неровными, но всем сразу же бросилось в глаза неисчислимое множество зубов и костей, рассыпанных по каменному полу. Некоторые из них нисколько не пострадали от времени, другие как будто начали разрушаться, а кости, проступавшие в стенах, по виду не отличались от камня. Большой частью кости были необычайно крупные и, вообще, поражали своей величиной.

Старик с удовольствием рассматривал эти допотопные останки, а крестьяне робели, воображая, будто кости подтверждают присутствие плотоядных, хотя старик убедительно опровергал такие предположения, находя на костях приметы невероятной древности, и спрашивал крестьян, наблюдалась ли убыль у них в стадах, пропал ли кто-нибудь по соседству и узнают ли они в этих костях кости своей скотины или останки своих знакомцев.

Старик намеревался углубиться в недра горы, но крестьяне предпочитали дожидаться его вне пещеры. Генрих, купцы и мальчик, решив сопутствовать старику, взяли факелы и веревки. Скоро они очутились в другой пещере, где старик не преминул расположить несколько костей особенным образом, пометив ход, которым они пришли. Пещера мало отличалась от первой, звериные кости скопились и в ней.

Генрих был заворожен и встревожен, земные недра представлялись ему сокровенным дворцом, в который ведут эти пещеры. Небо и жизнь, казалось, уже затеряны вдаль, а эти просторные, мрачные палаты принадлежат невиданной подземной державе.

«Как же это так? — думалось Генриху. — У нас под ногами кишел чудовищной жизнью своеобразный мир? В неприступных подземных твердых коллобриды неведомое исчадие, вызванное к жизни сокровенным пылом темного лона в непомерных, поражающих обличиях? Что, если бы однажды среди нас оказалась эта жуткая невидаль, гонимая пронизывающей стужей на поверхность земли, а над нашими головами одновременно заговорили бы горние гости, зримые духи светил? Свидетельствуют ли эти останки о тех, кто рвался на поверхность или о тех, кого тянуло скрыться в недрах?»

Внезапно старик окликнул своих спутников и показал им довольно свежий человеческий след. Других следов найти не удалось. И старик уверился, что можно безбоязненно идти дальше, так как одиночный след не заманит их в лапы разбойников. Они бы так и сделали, как вдруг откуда-то снизу, издали, чуть ли не из бездны донеслось довольно отчетливое пение. Изумленные, они вслушались в слова:

Не найти долины краше.
Улыбнись в ночной тени.
Пью любовь я полной чашей,
И проходят в этом дни.

На целебной этой тризне
Я заранее воскрес;
Упоенный в этой жизни,
Я в преддверии небес.

Беспечально дух пирует
В созерцанье погружен;
Сердце мне свое дарует
Королева светлых жен.

Скорбь мою запечатлели
Живописцы-времена,
И теперь в моей скудели
Вечность явственно видна.

Все бывшее — миг единый:
Унесут меня вот-вот.
С благодарностью в долины
Посмотрю тогда с высот.

Меньше всего путники ждали такой хорошей песни, и всем не терпелось выяснить, кто же это пел.

Немного поискав, нашли в углу справа ход, ведущий вниз, куда вели, по-видимому, и следы. Идущих вознаградили вскоре некий смутный проблеск вдаль; чем ближе они подходили, тем явственнее был виден свет. Своды выше и вместительнее прежних открылись, наконец, взору; возле задней стены горела лампа, и можно было различить фигуру сидящего человека, который, казалось, читал толстую книгу, лежавшую перед ним на каменной плите.

Сидящий обернулся, встал и шагнул навстречу вошедшим. Трудно было бы сказать, сколько лет этому человеку. На вид он был не молод, не стар, о пережитом свидетельствовали только серебристые волосы, безыскусно расчесанные на лбу. Неопи-суемая ясность лучилась у него в глазах, как будто он, стоя на светлой горе, наблюдает нескончаемую весну. На ногах у него были сандалии, и незнакомец, казалось, не носил никакой другой одежды, кроме широкого плаща, который, окутывая его, подчеркивал благородную статность. Непредвиденное посещение словно бы ничуть не озадачило его, он приветствовал вошедших, как будто давно знал их. Так в своем доме встречают долгожданных гостей.

«Очень мило с вашей стороны проведать меня, — молвил он. — Впервые вижу друзей у себя с тех пор, как здесь обосновался. Похоже на то, что начинают пристальнее обследовать наше огромное таинственное жилище».

Старик ответил:

«Такое гостеприимство — для нас неожиданность. Мы слы-

шали о хищниках, о духах, и теперь, к нашему большому удовольствию, видим, что были введены в заблуждение. Если по вине нашего любопытства, прерваны ваши проникновенные созерцания или ваша молитва, то не взыщите».

«Что же и созерцать, — молвил неизвестный, — если не лица человеческие, располагающие нас к себе своей веселостью? Мы встречаемся в таком пустынном обиталище совсем не потому, что люди мне противны. Я искал не убежища, где можно скрыться от мира, я искал тихого уголка, где ничто не рассеет моей сосредоточенности».

«И вы никогда не сожалели, что приняли такое решение? Не смущала ли вас временами тревога, не тосковало ли ваше сердце по голосу человеческого?» «Все это прошло. Когда-то в пылкой юности я вообразил себя пустынником. Неискушенная фантазия довольствовалась неясными мечтаниями. Я думал, что в уединении мое сердце найдет себе пищу. Мнилось, мне навеки хватит источника, таящегося во мне самом. Но я вскоре одумался; оказывается, этот источник нуждается в изобильных воспоминаниях, одиночество невыносимо для юного сердца, и нужно встретить много себе подобных, пока не начнешь обретать самого себя».

«По-моему, тоже, — ответил старик, — всякая жизнь требует естественного предрасположения, и пережитое само постепенно отдаляет нас в старости от людей. Зачем и общаются люди, если не ради совместной предприимчивости, то есть сообща приобретают и сообща берегут приобретенное. Великая надежда и цель увлекают всех, кроме разве что детей да стариков. Детям еще недостает рассудительности и сноровки, а сбывшаяся надежда и достигнутая цель больше не втягивают стариков в круг общения, так что старик возвращается к самому себе и находит при этом достаточно дела: общение с внешним миром даром не дается, до него нужно возвыситься. Что же касается вас, то не иначе как необычные обстоятельства побудили вас так решительно обособиться от людей и отречься от всех преимуществ, которые доставляет общество. Сдается мне, ваша душа иногда устает и омрачается».

«Бывало и так, но теперь я, к счастью, научился избегать подобных невзгод, подчинив мою жизнь четкому распорядку. К тому же я привык укреплять здоровье движением, так что меня ничто особенно не тяготит. Каждый день я посвящаю целые часы ходьбе, не пренебрегаю воздухом и светом, насколько это в моих силах. А вообще я сижу в этих палатах, часами предаваясь трудам; ведь я теперь корзинщик, резчик; мои изделия я вымениваю в дальних селениях, добываю себе этим средства к жизни; книгами я запасся заранее, так что время проходит незаметно. В тех дальних местностях кое-кто знает меня и знает, где я нахожусь, а я всегда могу расспросить моих знакомцев, что нового в мире. Когда я умру, меня похоронят, а мои книги перейдут в другие руки».

Он повел своих гостей к стене, подле которой недавно сидел. На полу они увидели книги и цитру, а на стене полное рыцарское снаряжение, весьма изысканное даже на первый взгляд. Пять больших каменных плит, сложенных наподобие ларя, заменяли стол. На верхней плите выделялся барельеф: мужчина и женщина, изваянные во весь рост, с венком роз и лилий; по краям была высечена надпись:

«Фридрих и Мария Гогенцоллерн узрели здесь вновь свою отчизну».

Отшельник осведомился, откуда родом его гости и что привело их в эти края. Он отличался любезностью, откровенностью и не скрывал, что повидал свет. Старик молвил:

«Нет сомнений, вам довелось повоевать. Об этом говорит ваше снаряжение».

«Тревоги войны, ее переменчивость, возвышенный поэтический дух, свойственный воинству, захватили мою одинокую юность, и моя жизнь постигла в них свою судьбу. Должно быть, затяжная сумятица, бесчисленные столкновения, в которые был я вовлечен, усугубили мою склонность к уединению; да и не соскучишься в обществе необозримых воспоминаний, особенно когда созерцаешь их заново, открывая истинную согласованность, внутреннюю обусловленность их чередования, осмысленность их появления.

Настоящий вкус к человеческой истории вырабатывается с возрастом, и спокойное воздействие воспоминаний для него благотворнее сокрушительных впечатлений, оставляемых современностью. Связь между ближайшими событиями едва уловима, тем удивительнее взаимность отдаленного; и лишь тогда, когда обзираешь долгую череду, не истолковывая всего буквально, но и не подменяя стройного течения путаницей своевольных домыслов, усматриваешь в былом и в будущем звенья сокровенной цепи и видишь, как слагается история из упования и воспоминания. Но только тому, для кого предыстория не канула в забвение, дано открыть простой устав истории. Нам доступны лишь приблизительные удручающие формулы, и мы довольны, когда нам удастся хотя бы для себя самих подыскать сносное предписание, сколько-нибудь разъясняющее нам нашу собственную недолгую жизнь. Мне, пожалуй, позволительно утверждать: пристальное исследование жизни в разных судьбах всегда вознаграждается проникновенным, вечно новым удовлетворением, никакая другая мысль не возносит нас так высоко над мирским злом. В юности история возбуждает любопытство, и читают ее для развлечения, как сказку; для зрелого возраста история — небесная утешительница и благожелательная наставница, которая своими мудрыми беседами бережно ведет нас к более возвышенному и более пространному поприщу, являя нам иной мир в отчетливых картинах. Церковь — жилище истории, кладбище — цветник ее символов. Писать историю подобает лишь

богобоязненным старцам, уже изжившим свою собственную историю и уповающим только на то, что для них найдется место в цветнике. В таких писаниях не будет пасмурного уныния; напротив, луч свыше придаст всему вернейшее прекраснейшее освещение, и над этими таинственно взволнованными водами будет носиться Святой Дух».

«Как справедливо и вразумительно вы говорите, — отозвался старик, — и вправду записывать бы прилежнее и достовернее все то, чем славится наше время; так писалось бы благочестивое заветование, предназначенное для будущего человека. А то мы изо щряемся и печемся ради тысячи вещей, которые нас касаются куда меньше, и упускаем из виду неотложнейшее и существеннейшее; нашу собственную судьбу, судьбы наших присных, наших сородичей, хотя в этих судьбах и распознается тихая целенаправленность Провидения, но мы, нисколько не тревожась, беззаботно позволяем всем следам исчезнуть в забвении. Может быть потомки поумнеют и, как святыней, научатся дорожить малейшим свидетельством былых свершений, не пренебрегая даже заурядной жизнью отдельного человека: и в таком зеркале бывает видна великая современность».

«К сожалению, — сказал граф фон Гогенцоллерн, — и те, кто берется записывать свершения и перепетии своего времени, не утруждают себя раздумьями о том, как лучше разрешить свою задачу, не пытаются придать своим свидетельствам законченность и соразмерность, а выделяют и сочетают разрозненное, как Бог на душу положит. Недолго удостовериться на собственном опыте: отчетливо и связно описываешь лишь то, что сам изведал, когда видишь перед собой истоки, череду подробностей, целенаправленность и предназначение; иначе вместо описания получится беспорядочное нагромождение недомолвок. Велите ребенку обрисовать машину, заставьте крестьянина рассказать о корабле, и, разумеется, никто не найдет в их словах никакого проку, равным счетом ничего поучительного; так и большинство летописцев, среди них искушенные повествователи, прямо-таки удручают подробностями, опуская при этом как раз достопамятное, без чего история не история; и вместо воспитательного, назидательного целого остается множество бессвязных происшествий. Если толком все это обдумать, представляется, что историку нельзя не быть поэтом, так как никто, кроме поэта, не владеет искусством безошибочно сочетать события. В поэтических повествованиях и фантазиях меня всегда услаждала и умиротворяла отзывчивая чуткость, которой доступен таинственный дух жизни. Ученые хроники менее достоверны, чем такие сказки. Пусть лица со своими судьбами вымышлены, они вымышлены в таком духе, что сам вымысел приобретает естественность и достоверность. Когда урок радует нас, не все ли нам равно, существовали или нет лица, чья судьба так напоминает нашу. Мы жаждем постигнуть в исторических явлениях ясный возвышен-

ный смысл, и если наша жажда утолена, мы готовы пренебречь такими случайностями, как действительное существование внешних фигур, в которых этот смысл проявляется».

«Ради этого, — сказал старик, — и я с молодых лет питаю пристрастие к поэтам. Поэты помогли мне распознать ясность и наглядность жизни и мира. Сдается мне, к ним благоволят проныцательные духи света, которые дают себя знать в любом естестве, всех и вся различают, над каждым расстилая особый полог нежной раскраски. Я слушал песни поэтов и чувствовал, как мое естество начинает распускаться, подобно бутону; казалось, оно уже не сковано в своих движениях, наслаждается своей общительностью и влечениями, в тихом упоении трепещет всеми своими фибрами, вызывая тысячи сладостных ответных движений».

«Значит, и вашим краям не отказано было в счастье иметь своих поэтов?» — осведомился отшельник.

«И нас посещали некоторые из них, только поэту, думается, всегда охота странствовать, и обычно они не задерживались у нас. Зато когда сам я бродил по Илирии, Саксонии и Швеции, я нередко сходил с поэтами, и память о них будет мне всегда отрадна».

«Вы столько странствовали в далеких краях, столько испытали; вам, конечно, многое запомнилось».

«Искусство наше едва ли не вынуждает нас исследовать обширные пространства на поверхности земли; можно подумать, что подземный огонь гонит горняка вдаль. Одна гора указывает на другую. Всего не осмотришь, и весь век приходится осваивать чудотворное зодчество, на котором таинственно зиждется наша почва в своей соразмерности. Искусство наше древней древнего, куда только оно не проникло! Должно быть, зародившись на Востоке, оно, сопутствуя солнцу и всему нашему племени, перекочевало на Запад, укоренилось в средоточии, достигло крайних пределов. Всюду предстояло преодолевать новые препятствия, и поскольку для человеческого духа всегда соблазнительны ухищрения изобретательности, кругозор горняка везде расширяется, сноровка везде оттачивается, так что обогащаешь свою родину полезными сведениями».

«Если можно так выразиться, вы астрологи наоборот, — сказал отшельник. — Если астрологи неустанно наблюдают небо, теряясь в его бесконечности, вы всматриваетесь в земную твердь, которую вы исследуете как некое здание. Астрологи постигают мощь и воздействие светил, вы обнаруживаете мощь утесов, гор, многообразное взаимодействие земной коры и каменных недр. Астрологи читают в небесах грядущее, вам земля показывает реликты допотопного».

«Такое соответствие не случайно, — улыбнулся старик. — Светоносные провозвестники играли, быть может, главную роль в древнем действе, когда земля дивно созидалась. Дайте срок,

может стать, их действенность лучше раскроет нам их природу. А их природа позволит нам лучше понять их действенность. Может быть, великие горные цепи следуют былому течению созвездий и, стремясь окрепнуть самобытно, искали в небе собственную дорогу. Иные горы уже сравнивались высотой со звездами, за что и поплатились, утратив зеленый наряд, в котором красуются не столь высокие области. Они приобрели такую цену лишь возможность способствовать своим родителям, определяя погоду, то защищая своей пророческой сенью долины, то захлестывая грозами».

«С тех пор, как я обосновался в этой пещере, — присовокупил отшельник, — я привык подолгу раздумывать о былом. Не берусь даже описать, как занимают подобные размышления, так что мне вполне понятна любовь горняка к своему ремеслу. Стоит мне взглянуть на эти диковинные древние кости, которые разбросаны здесь в таком ужасающем скоплении, стоит мне подумать о былой дикости, когда неведомые чудовища, теснясь целыми полчищами, повалили в эти пещеры, движимые неистовым страхом, чтобы здесь встретить свою погибель, стоит мне мысленно пойти еще дальше и достигнуть времен, когда эти пещеры вращались одна в другую, а земля была дном чудовищных вод, и кажется, будто сам я — дитя вечного мира, который грезится в грядущем. Какая тихая, приятная, нежная и просветленная нынче природа после тех неистовых, непомерных веков! Как теперь ни пугает гроза, как ни устрашает землетрясение, все это лишь смутные отголоски тех жутких родовых схваток. Надо полагать, и деревья, и звери, сами тогдашние люди, если только можно было встретить людей кое-где на островках в том океане, отличались более громоздким, кряжистым сложением; тогда, по крайней мере, старые предания о великанах имеют под собой кое-какую почву».

«Приятно видеть, — молвил старик, — это неуклонное умиротворение в природе. Везде можно наблюдать, как распространяется проникновенное сочувствие, обезоруживающее дружелюбие, живительное, подкрепляющее сближение, так что, по-видимому, хорошие времена будут сменяться лучшими. Правда, кое-где еще могут бродить прежние дрожжи, давая порою знать яростным буйством, но нельзя не видеть, как неодолимо влечет единение в стройном вольном согласии, дух которого скажется в самом неистовстве, и всякое буйство скоро минует, лишь приблизив эту великую цель. Допустим, природа устает плодоносить и не производит уже сегодня ни металлов, ни самоцветов, ни гор, ни утесов; растения и животные уже не поражают столь неустойчивым ростом и мощью; по мере того, как плодovitость убывает, растет искусство образовывать, облагораживать, сочетать; природа стала отзывчивее, нежнее, ее фантазия разнообразнее, щедрее на символы, а ее рука обретает легкость истинного искусства. Природа очеловечивается, и если прежде

она была дикой горою, неумеренной в своих месторождениях, теперь она — тихое зиждительное растение, художница, немая в своей человечности. Да и зачем новые сокровища, когда они уже имеются в избытке Бог весть на сколько времени! И ходил-то я не так уж много, а какие мощные залежи обнаружил чуть ли не с первого взгляда! Их разработка останется на долю потомства. Сколько кладов заключают в себе горы на Севере, какие благоприятные приметы обнадежили меня всюду на моей родине, в Венгрии, в предгорьях Карпат, в долинах среди утесов Тироля, в Австрии, в Баварии. Я бы разбогател, если бы мог унести с собой только то, что само шло мне в руки, отскакивая из-под моего молотка. Мне довелось повидать настоящие волшебные сады. Лучшие металлы блистали таким художеством, что просто загляденье. Серебро завивалось кудрями, ветвилось, на серебряных ветвях пламенели прозрачные рубиновые плоды, массивные деревца коренились в хрустале неподражаемой отделки. Едва верилось явному свидетельству собственных чувств, все блуждал бы да блуждал в этих очаровательных дебрях. Вот и теперь я странствую, и сколько примечательного уже повидал, а ведь в других странах земля наверняка тоже изобильна до расточительности».

«Вне сомненья, — ответил неизвестный, — стоит лишь помыслить о сокровищах Востока, чтобы убедиться в этом, а разве отдаленная Индия, Африка, Испания не прославились уже в древности щедротами своих недр? Конечно, воину некогда присматриваться к жилам и расселинам гор, однако и меня занимали подчас эти проблески, удивительные бутоны, сулящие неведомый цветок и плод. Думал ли я тогда, при дневном свете весело минуя те сумрачные логова, что буду доживать свой век в глубине горы? Я гордо возносился над землей, окрыленный моей любовью, и надеялся встретить в ее объятиях поздний закат моей жизни. Конец войны позволил мне вернуться на родину, и я, счастливый, уповал на усладительную осень. Но дух войны, казалось, одушевлял и мое счастье. Моя Мария на Востоке стала матерью. Двое наших детей превратили нашу жизнь в радость. Но их цветенью повредило море и веянье сурового Севера. Едва мы достигли Европы, я через несколько дней похоронил их. Скорбный, вез я мою безутешную супругу в родные места. Не иначе, как нить ее жизни истлевала в тихой горести. Вскоре мне снова пришлось отправиться в дорогу, и, неразлучная со мною, как доселе, она вдруг скончалась кротко у меня на руках. Наше земное паломничество завершилось неподалеку отсюда. В тот же миг я принял решение. Я сподобился найти то, чего никогда не чаял обрести; божественный свет меня посетил, и с того дня, когда я собственноручно ее здесь похоронил, десница Всевышнего освободила мое сердце от печали. Потом я позаботился о надгробном памятнике. Мы склонны принимать начало за конец, моя жизнь подтверждает это. Молю Бога даровать вам всем

такую блаженную старость и такой невозмутимый дух, как у меня».

Генрих вместе с купцами не упустил ни одного слова из этой беседы; в особенности Генрих, ощутивший что-то новое в сокровенном мире своих чаяний. То мысль, то слово западали в него плодотворящей живительной пылью, и стремительно преодолевая ограниченный круг своей юности, он уже предчувствовал высь вселенной. Часы остались позади него, как долгие годы, и он уже считал эти мысли и чувства своим исконным достоянием.

Отшельник пригласил их взглянуть на книги. Это были старинные хроники и поэтические сочинения. Генрих листал объемистые рукописи, украшенные рисунками, его любопытство сильно волновало короткие строки стихов, надписи, отдельные отрывки, изящная живопись, как бы слово, явленное кое-где во плоти, подспорье для читательского воображения. Отшельник, от которого не укрылся внутренний пыл Генриха, истолковывал юноше самое причудливое. Сражения, похоронные процессии, бракосочетания, тонущие корабли, пещеры и палаты, монархи, воители, духовенство, старцы, юнцы, чужеземцы в нарядах, свойственных им, невиданные твари чередовались и сопутствовали друг другу. Генрих не мог оторваться от книг, и над всеми его желаниями возобладало одно: не разлучаться с отшельником, покориться его неодолимому обаянию, внимать и внимать его дальнейшим толкованиям.

Старик между тем осведомился, кончаются ли пещеры этой; отшельник ответил, что с нею соседствуют другие, весьма обширные, и взялся проводить старика. Старик приготовился идти, отшельник же, видя, какое наслаждение доставляют Генриху книги, убедил юношу не ходить и полистать еще, пока они ходят. Генрих был рад не расставаться с книгами и сердечно поблагодарил отшельника за позволение. Он листал в ненасытном упоении. Наконец, в руках у него очутилась книга на непонятном языке, в котсром Генрих нашел, однако, сходство с латынью и с итальянским. Он особенно сожалел о том, что язык ему неизвестен, так как был очарован книгой, хотя не мог разобрать в ней ни одного слога. Заглавия не было, однако попались рисунки. Генрих удивлялся, где он мог их видеть раньше; присмотревшись, он довольно ясно распознал себя самого среди других обликов. Генрих вздрогнул, подумав, что бредит, однако, чем внимательнее он смотрел, тем отчетливее видел совершенное сходство, так что сомнений не оставалось. Генрих не верил собственным глазам, обнаружив на одном рисунке пещеру, отшельника, старика и себя вместе с ними. Среди рисунков оказалась уроженка Востока, мать, отец, ландграф и ландграфиня Тюрингские, его друг придворный капеллан, Генрих узнавал другие образы, однако одежда на них была непривычная, словно все они жили в другом веке. Далее не всех он мог назвать по

именам, и все-таки узнавал их. Он являлся самому себе в различных обстоятельствах. В конце книги он обретал величие и знатность. Гитара покоилась у него в руках, и ландграфиня награждала его венком. Вот он принят при императорском дворе, вот он пылко обнимает стройную милую деву, вот он бьется с какими-то дикарями, вот он задушевно беседует с маврами и сарацинами. Он часто видел себя в обществе некоего величавого мужа. Этот возвышенный образ внушал Генриху глубокое благоговение. И он был счастлив, когда рядом с ним находил себя. Дальше рисунки тускнели и расплывались, но он, пораженный, в глубоком восторге все-таки распознавал отдельные подробности своего сна; конец книги как будто отсутствовал. Это удручало Генриха; больше всего на свете желал он прочитать книгу и навсегда сохранить ее при себе. Снова и снова он вглядывался в рисунки и в смущении услышал, как возвращаются остальные. Безотчетный стыд охватил его. Он испугался, не бросилось бы его открытие в глаза другим, поскорее закрыл книгу и как бы между прочим спросил отшельника, какое у книги заглавие и что это за язык. Генрих узнал, что книга написана по-провансальски. «Я читал ее, правда, очень давно, — ответил отшельник, — и порядком позабыл уже, в чем там суть. Помнится, это роман, и описывается в нем чудесная судьба поэта, а также в разных отношениях представлено и прославлено поэтическое искусство. Эта рукопись так и попала ко мне без конца, там, в Иерусалиме, где я унаследовал ее от моего покойного друга, чтобы сберечь на память».

Прощание растрогало Генриха до слез. Пещера много значила для него, и отшельник стал ему дорог.

Каждый сердечно обнял отшельника, которому все гости, кажется, тоже пришлось по душе. Генрих чувствовал на себе его благожелательный, испытующий взгляд. Особая значительность послышалась Генриху в прощальных словах отшельника. Он как будто догадался, что Генриху открылось, и намекал на это. Отшельник сопровождал их до самого выхода, где настоятельно просил всех, и особенно мальчика, не выдавать его местопребывание крестьянам, так как иначе ему не укрыться от назойливых посетителей.

Никто не отказал ему в таком обещании. Покидая пещеру, каждый вверил себя молитвам отшельника, на что отшельник молвил:

«Сколько бы времени ни прошло, мы снова встретимся, и наша нынешняя беседа вызовет у нас тогда улыбку. Сподобившись небесного дня, мы возрадуемся, вспомнив, как мы приветили друг друга среди дольных испытаний, когда сблизили нас наши чаяния и помыслы, эти ангелы, наши надежные проводники на земле. Не сводите с неба глаз, и вы всегда безошибочно найдете путь на родину». В тихом умилении они оставили отшельника, разыскали вскоре своих боязливых спутников. Бесе-

дую с ними, не скупилась на разные подробности и сами не заметили, как воротились в деревню, очень обрадовав мать Генриха, которая едва дождалась его.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тому, кто рожден для предпринимательской деятельности, не терпится все испытать и все изведать на собственном опыте. Судьба таких людей — во всем участвовать самолично, преодолевать разные обстоятельства, до известной степени теряя чувствительность среди привычных впечатлений, сколько бы невиданного не мелькало вокруг, и даже вопреки мощным потрясениям неуклонно держаться своей стези, упорно преследуя свою цель. Деятелям не подобает обольщаться посулами безучастного наблюдения. Зрелище, явственное лишь в самоуглубленности, противопоказано душе, чье призвание — беспрекословно, деловито и неукоснительно повиноваться рассудку. Такова доблесть, а вокруг нее всегда множатся задачи, требующие властного вмешательства. Любое происшествие под воздействием доблести превращается в свершение, и в жизни доблестного видны лишь вечные звенья: блистательные, незабываемые, непостижимые, неповторимые подвиги.

По иному складывается судьба тех безвестных затворников, чья вселенная — чувство, чье деяние — прозрение, чья жизнь — чуть слышное созидание сокровенных начал. Никакая тревога не гонит их вовне. Они довольствуются мирным уделом, и непомерное внешнее действо не соблазняет их выступать на поприще, напротив, осмысленным чудотворством убеждает их, что стоит посвятить свою независимость сосредоточенному наблюдению. Взыскав духа в таком действе, они не могут не оставаться поодаль, и никто иной, как сам этот дух, велит им представлять загадочное внутреннее чувство в этом очеловеченном космосе, тогда как вышеупомянутые деятели выступают в роли внешних органов, в роли ощущений и центробежных стихий.

Пестрота больших начинаний рассеивала бы внимание созерцателей. Они рождены для непритязательной жизни и разве только в повествованиях для летописца соприкасаются с неисчерпаемой сутью и неисчислимыми обличиями мирского. Жизненная буря иногда захватывает их ненадолго благодаря какому-нибудь чрезвычайному обстоятельству, и тогда им самим дано глубже приобщиться к судьбе и натуре деятелей. Правда, обостренную чувствительность волнует малейший доступнейший проблеск, в котором едва брезжит первозданное величие мира, и каждый шаг для них — ошеломляющее открытие, так как на каждом шагу мир в них самих обнаруживает свою душу и свою мысль. Они поэты, эти избранные перелетные люди, изредка

посещающие наши обители, чтобы повсюду возобновлять исконное человеческое богослужение, воздавая почести нашим первоначальным божествам: Светилам, Весне, Любви, Счастью, Плодородию, Здоровью, Радости; уже здесь поэты вкушают небесный мир, и, свободные от нелепых вожелений, лишь впивают благоухание плодов земных, оставляя сами плоды нетронутыми, чтобы не обречь себя преисподней безвозвратно. Вольные гости, они едва ступают своей золотой стопой, но, стоит им появиться, каждый в безотчетном порыве простирает свои крылья. Как благодетельный государь, поэт любит счастливыми светлыми лицами, и никто, кроме поэта, не достоин именоваться мудрецом. Если сопоставлять поэзию с доблестью, нетрудно убедиться, что песни поэтов часто пробуждали доблесть в юных сердцах, а доблестные деяния сами по себе вряд ли даруют непосвященной душе поэтическое призвание.

Генрих был поэтом от природы. Казалось, множество разных случайностей совпало, чтобы своим единением воспитать его и до сих пор его внутреннее становление шло беспрепятственно. Ставни как будто одна за другой распахивались в нем от всего виденного и слышанного, являя новые окна. Перед ним простиралась жизнь в своих всеобъемлющих, переменчивых узах, пока еще безмолвная, так как речь, ее душа, не пробудилась. Уже не за горами был поэт со своей прелестной спутницей, готовый разными ладами, упоительной лаской поцелуя, отомкнуть робкие губы, чтобы простой аккорд развился в мелодиях, которым нет конца.

Между тем наши путешественники, целые и невредимые, достигли своей цели. Вечер застал их уже в городе Аугсбурге, славном на весь мир, и, предчувствуя новую радость, они устремились по улицам туда, где высился гостеприимный дом старого Шванинга.

Генрих залюбовался непривычными видами. Лихорадочная толча среди громоздких каменных зданий смущала и зачаровывала. Про себя Генрих восторгался обителью, где ему предстояло гостить. После всех дорожных тягот мать Генриха с великим удовольствием узнавала свой милый родной город, уже готовая обнять своего отца и своих близких, которые, конечно, рады будут видеть ее сына, и ей самой удастся, наконец, забыть домашние хлопоты, на досуге задушевно вспоминая свое девичество. Купцы предвкушали здешние увеселения, а также торговые прибыли, ради которых стоило терпеть неудобства в пути.

Подъехав к дому старого Шванинга, они увидели яркий свет, и музыка радостно грянула им навстречу.

«Так и есть, — сказали купцы. — У вашего дедушки веселятся. Мы приехали в самую пору. Уж таких-то гостей ваш дедушка не ждал. Он даже не подозревает, какой праздник приближается».

Генрих оробел, мать заблаговременно оправляла свое платье, насколько это было возможно. Они спешили, купцы задержива-

лись подле лошадей, а Генрих с матерью вошли в дверь великолепного дома. Никого из домочадцев не было видно внизу. Просторная винтовая лестница вела наверх. По этой лестнице мимо них спешили слуги, которым они поручили передать старому Шванингу, мол, приезжие хотят сказать ему словечко-другое. Слуги не сразу согласились, путники, на первый взгляд, были неказистые, однако потом слуги вспомнили просьбу, и старый Шванинг не замедлил появиться. В недоумении он осведомился сперва как величать их и по какому делу они приехали. Мать Генриха с плачем упала к нему на грудь:

«И вы больше не помните родной дочери? — воскликнула она, всхлипывая. — Вот ваш внук!»

Старый отец, глубоко растроганный, — надолго заключил дочь в свои объятия. Генрих преклонил перед ним колени, коснувшись губами его руки. Дед поднял внука, и сын вместе с матерью очутился у него в объятиях...

«Что же вы стоите здесь, — молвил Шванинг, — у меня там чужих нет. А свои все порадуются сердечно вместе со мной».

Мать Генриха замялась, было, в нерешительности, но не успела собраться с мыслями. Отец повлек их за собою в зал, празднично сверкающий под своими высокими потолками.

«Ко мне приехала дочь и внук из Эйзенаха», — раздался голос Шванинга в зале, где беззаботно суетились пышно разодетые гости. Вошедшие привлекли всеобщее внимание, все поспешили к ним, даже музыканты перестали играть, и наши путешественники, еще покрытые дорожной пылью, не могли не растеряться, оказавшись в обществе, таком красочном, что в глазах рябило. Тысячи приветственных возгласов теснились на устах. Вокруг матери толпились прежние подруги. Расспросам не было конца. Каждому не терпелось напомнить о прошлом, обменяться приветствиями. Пока старшие наперебой обращались к матери, те, кто помоложе, пристально всматривались в приезжего юношу, а тот стоял потупившись, и не отваживался ответить на взоры таким же любопытным взором. Дед представил внука остальным своим гостям и принялся расспрашивать его об отце и о том, не было ли каких-нибудь приключений в дороге.

Тут мать спохватилась: купцы со своей обычной обязательностью все еще присматривали на улице за лошадьми. Едва услышав об этом, старый Шванинг заторопил слуг, просите, мол, купцов сюда. Для лошадей нашлось помещение, и купцы пожаловали.

Оберегавшие дочь старого Шванинга в дороге, купцы выслушали его искреннюю благодарность. Многих гостей они встречали раньше, что придавало приветствиям непринужденность. Мать была бы рада переменить платье. Шванинг отправился в свои покои с нею и с Генрихом, который тоже был озабочен своим нарядом.

Среди всего общества особенно поразил Генриха некий муж,

чей образ, помнится, часто сопутствовал ему в заветной книге. Этот величавый облик словно затмевал остальных. Дух бодрый и строгий угадывался в чертах его. Прекрасное, высокое, выпуклое чело, твердый взгляд больших черных, как бы всевидящих очей, что-то плутовское в уголках смеющегося рта и при этом выражение неотразимого мужества покоряли вещим обаянием. Спокойная сила проявлялась в каждом его движении; крепкий и статный, он был везде на своем месте, готовый занимать это место хоть целую вечность. Генрих обратился к деду с вопросом, кто он такой.

«Мне приятно, — ответил старик, — что он сразу же привлек твое внимание. Это Клингзор, поэт, мой прославленный друг. Гордись такой встречей; дружба Клингзора драгоценнее императорской приязни. Но где же твое сердце? Разве дочь его не прекрасна? Надеюсь, впоследствии ты предпочтешь дочь отцу И ты проглядел ее? Удивляюсь, просто удивляюсь!»

«Я же был в замешательстве любезный дедушка, — оправдывался Генрих, краснея. — Там столько разных лиц, и, признаюсь, я глаз не сводил с вашего друга».

«Это влияние севера, — молвил Шванинг. — Мы отогреем тебя. У нас наверное ты научишься ценить прекрасные глаза».

Принарядившись, Генрих с матерью поспешили обратно в зал, где гости собирались ужинать. Старый Шванинг представил Генриха Клингзору, поведав своему другу, какое впечатление тот произвел на Генриха с первого взгляда и как жаждет Генрих покороче узнать его.

Чувствуя неловкость, Генрих не находил, что сказать. Клингзор обошелся с ним дружески, завел речь о родных местах Генриха и о краях, где Генриху довелось побывать.

В речах Клингзора слышалась такая сердечность, что юноша скоро осмелел и принялся беседовать, как ни в чем не бывало. Немного погодя Шванинг вернулся к ним, на этот раз в сопровождении прекрасной Матильды, сказав ей: «Не откажите моему застенчивому внуку в своем любезном участии. Уж вы извините: ваш отец очаровал его прежде вас. Юность в нем пока еще дремлет, но, поверьте, сияние ваших очей оживит ее. У этих северян весна поздняя».

Генрих и Матильда зарделись. Они переглянулись как бы в недоумении. Она тихо, почти невнятно пролепетала, нравится ли ему танцевать. Не успел он сказать ей «да», музыканты заиграли веселый танец. Генрих молча пригласил ее, их руки соединились и еще одна пара начала вальсировать среди других пар. Шванинг и Клингзор были внимательными зрителями. Мать и купцы радовались, какой Генрих изящный и какая прелестная девица танцует с ним. Старые подруги не могли наговориться с матерью и не скупилась на добрые пожелания: статный юноша подавал, по их мнению, наилучшие надежды.

Клингзор молвил Шванингу: «Лицо вашего внука располагает

к нему. Оно одушевлено чистым богатым чувством, и кажется, само сердце говорит его голосом».

«Мне бы хотелось, — ответил Шванинг, — видеть его вашим достойным учеником. Я замечаю в нем поэтическое призвание. Да преисполнится он вашего духа! Он весьма напоминает мне своего отца, хотя как будто не столь горяч и своенравен. Тот в юности тоже подавал надежды, но ему вредила некая ограниченность. Слов нет, художник, трудолюбивый, искусный, но заурядный, того ли можно было ждать от него!»

Генрих рад был танцевать без конца. Как ненаглядной розой он любовался тою, с которой танцевал. Ее чистые очи отвечали ему без всякой уклончивости. В пленительном девичьем облике как бы таился дух ее отца. Огромные безмятежные зеницы возвещали вечную юность. Темные звезды нежно лучились в светлой небесной голубизне. Лоб и нос оттеняли сияние своей благородной хрупкостью. Лилия клонится поутру навстречу солнцу; такой лилией был ее лик; тонкая шейка в своей белизне являла голубые жилки, прелестно выющиеся возле милых ланит. Ее голосом эхо откликнулось бы издалека, и, как бы увенчивая налету это легчайшее виденье, возникала темнокудрая головка.

Больше танцевать было нельзя; накрыли на стол; кто постарше и кто помоложе сели друг против друга.

Генрих не расстался с Матильдой. Слева от него сидела юная сродница, а прямо напротив него Клингзор. Если Матильда не отличалась говорливостью, тем разговорчивее была Вероника, сидевшая слева от Генриха. Вероника сразу завязала с ним короткие отношения, в нескольких словах описав каждого из гостей. Генрих слушал не очень внимательно. Впечатления танца не проходили, и вправо его влекло больше, чем влево. Клингзор, однако, прервал Веронику, осведомившись, что это за лента с таинственными письменами и почему Генрих украсил ею свой вечерний наряд. Генрих проникновенно поведал о деве с Востока. Матильда прослезилась, сам повествователь не без труда скрывал свои слезы. Зато теперь Матильда говорила с ним; все за столом оживилось. Вероника весело щебетала со своими подругами. Отцу Матильды случалось бывать в Венгрии, и Матильда описывала Генриху эту страну, обрисовывала жизнь в Аугсбурге. Никто не скучал. Музыка победила чинную сдержанность и прельщала беззаботной утехой каждого, каковы бы ни были его склонности.

Ароматные цветы царили на столе во всем своем роскошестве; среди цветов и яств раздолье было вину, простиравшему свои золотые крылья, так что между гостями и остальным человечеством колыхалась красочная завеса. Впервые в жизни Генрих изведаль тайну Праздника. Вокруг стола виделись ему тысячи непоседливых проказников-духов, безмолвно участвующих в человеческом веселье, как будто людская отрада — для них пропитание, а людское блаженство — хмель. Блаженство жизни

представилось ему поющим деревом сплошь в золотых плодах. Зла не замечал он и не постигал, как людская склонность, отворачиваясь от этого дерева, может предпочесть пагубный плод познания или дерево вражды. Приобщившись теперь к вину и трапезе, он вкусил восхитительной сладости. Трапеза была сдобрена небесным елеем, и сама земная жизнь играла в кубке всем своим великолепием.

Шванинг принял новый венок, принесенный девушками, и, увенчанный, молвил: «Того же заслуживает Клингзор, наш друг, раздобудьте для него венок, а мы с ним вознаградим вас новыми песнями. Уж за мною дело не станет». Он махнул музыкантам рукой и во всеуслышанье запел:

Мы несчастные созданья.
Разве нам не тяжело?
День за днем таить страданья —
В этом наше ремесло.
Притворяться мы устали,
Чтобы скрыть свои печали.

Нам любиться запрещает
Наблюдательная мать.
Плод запретный нас прельщает,
Вот бы нам его сорвать!
Видит юношу юница.
Ах, как сладко провиниться!

Мысли тоже под запретом?
Знает бедное дитя:
Можно лишь мечтать об этом,
Пошлин тяжких не платя.
Избежать нельзя соблазна,
Так что греза неотвязна.

Мы не спим в тоске глубокой,
Помолившись перед сном.
На постели одинокой
Страшно в сумраке ночном.
Нестерпимое томленье!
И зачем сопротивленье?

Нам велят хранить приличье.
Ох уж эти старики!
Зреют прелести девичьи
Всем застежкам вопреки.
Юной жизни проявленье —
Это тоже преступленье?

Пренебречь надеждой нежной,
Избегать прекрасных глаз,
Быть холодной, быть прилежной,
Непреклонной напоказ,
Изнывать в уединеньи. -
Что за жизнь в таком стесненьи?

Нет с печалью нашей сладу;
Ноет сердце, жизнь пуста;
И целуют нас в награду
Полумертвые уста.
Не пора ль признать нам смело:
«Царство старых устарело!»

Старцы и юнцы ответили на песню дружным смехом. Девушки, краснея, отворачивались, чтобы скрыть улыбку. Подтруниваньям и поддразниваньям не было конца, но тут явился венок, предназначенный для Клингзора. Клингзор внял настоятельным просьбам не состязаться со Шванингом в нескромности.

«Нет, — ответил он, — у меня просто духу не хватит на людях разглашать девичьи тайны. Я спою песню по вашему заказу».

«Не любовную, нет, — кричали девушки. — Воспевайте вино, а впрочем воля ваша!»

Клингзор запел:

В горах зеленых бог родится,
Нам приносящий небо в дар;
И солнце родичем гордится,
Младенцу свой вверяя жар.

Зачат весной нежным лоном,
Он зреет медленно потом
И под осенним небосклоном
Играет в блеске золотом.

Он в колыбели спит, послушный,
Растет в подземной тишине;
Он строит замок свой воздушный,
И торжествует он во сне.

Не приближайся к подземелью,
Когда готов он сбросить гнет.
Взрывая собственную келью,
Он путы временные рвет.

Стоит у входа страж незримый,
Хранит его святые сны.

Назойливые пилигримы
Копьем воздушным пронзены.

Он словно крылья расправляет,
Зеницы светлые раскрыв;
Служить молебны позволяет,
Услышав горестный призыв.

В своем хрустальном одеянии
Он покидает колыбель;
Несет он розы, в них сиянье
Для всех народов и земель.

Всех утешает лучезарный,
Приверженцы повсюду с ним;
Народ ликует благодарный,
В сердцах восторг неизъясним.

Непостижимым излученьем
Он пронизает этот мир;
Любовь таинственным влеченьем
Он залучил к себе на пир.

Избрал недаром он поэта,
Век возвещая золотой;
Не скроет вечного завета
Хмельной напев, напев святой.

Бог дал поэту разрешение
Уста прекрасные лобзать,
И для красавиц прегрешенье —
Поэту в этом отказать!

«Милый провозвестник!» — отозвались девушки. Шванинг был рад-радешенек. Девушки пытались отнекиваться, но напрасно. Им пришлось уступить, и он целовал их прямо в сладостные уста. Рядом с Генрихом сидела сама Строгость, и это несколько сковывало его, а то бы сам он громко прославил полномочия поэтов. Среди красавиц, подносивших Клингзору венок, была Вероника. Она весело заняла свое прежнее место и спросила Генриха:

«Везет этим поэтам, как по-вашему?»

Вопрос был многообещающий, но Генрих не отважился извлечь из него то, что он сулил.

В душе Генриха разгульному задору противостояло благоговение первой любви.

Шалунья Вероника уже заигрывала с другими, и Генрих воспользовался этим, чтобы немного утишить свой праздничный пыл.

Матильда сказала, что умеет играть на гитаре.

«Ах! — воскликнул Генрих. — Если бы вы поучили меня! Я так давно мечтаю об этом!»

«Я ученица моего отца. Никто не играет на гитаре лучше него».

«А по-моему, — ответил Генрих, — ваши уроки мне будут нужней. Ваши песни восхитили бы меня».

«Не разочароваться бы вам!»

«О! — воскликнул Генрих. — Мои чаянья вполне оправданы: вы не говорите, вы поете; достаточно взглянуть на вас, чтобы постигнуть, какова горняя музыка».

Матильда промолчала. Клингзор заговорил с ним, и Генрих отвечал с живой находчивостью. Окружающие диву давались, какой он речистый и какую картинностью блещет расточительное богатство его мыслей. Матильда не упускала ни одного слова и не сводила с Генриха глаз.

Она была явно увлечена его речью, которую как бы поясняли его преобразившиеся черты. Его глаза сияли несказанно. Время от времени он смотрел на нее, и она удивлялась, как много может высказать его лицо. Разгоряченный беседой, Генрих тайком завладел рукой Матильды, и она подчас не могла не пожимать его руки, так нравилось ей то, что он говорил. Клингзор знал, как продлить вдохновение, исподволь побуждая Генриха высказывать всю свою душу. Наконец, все пришло в движение. Гости роились, подобно пчелам. Генрих не покидал Матильды. Они уединились в сторонке. Генрих не выпускал ее руки и вдруг пылко припал к ее губам. Матильда не противилась, ответив ему несказанно задушевым взглядом. Генрих не помнил себя; нагнувшись, он прильнул к ее губам. Этого она не ожидала, и, быть может, поэтому его пламенный поцелуй не остался без ответа.

«Матильда ненаглядная!»

«Генрих дорогой!» — других слов они не нашли. Еще раз пожав ему руку, она исчезла среди гостей. Генрих не успел вернуться с небес на землю. К нему приблизилась мать. Он был с ней ласков, потому что сердце его было переполнено. Мать спросила:

«Как ты думаешь, мы не напрасно сюда отправились? Аугсбург тебе по душе, верно?»

«Матушка, — молвил Генрих, — это превосходит все мои ожидания. Здесь настоящий рай».

Вечер продолжался среди неугомонных увеселений. Старики были заняты игрой и беседой, а также любовались танцами. В зале бушевало чарующее море музыки, и юность хмелела, качаясь на этих волнах.

Чары неизведанного наслаждения заодно с первой любовью томили Генриха своими обетованиями. И Матильда вверилась обольстительной зыби, едва облакая легчайшей фатою свое сер-

дечное расположение и растущую благосклонность. Наблюдательный Шванинг уже подшучивал над ними, видя, как завязывается будущий союз.

Генрих сразу пришелся Клингзору по душе, и он с удовольствием распознал его чувство. Оно не ускользнуло и от более юных глаз. Аугсбургская молодежь оценила успех своего тюрингенского сверстника и подтрунивала над скромницей Матильдой, не скрывая, что теперь сердцам привольнее, так как больше никого не стесняет присутствие неприступной свидетельницы.

На покой удалились лишь полночь.

«Я пережил торжество, впервые пережил, однажды пережил», — говорил Генрих наедине сам с собой, стараясь не тревожить мать, нуждавшуюся в отдыхе. «Разве душа моя не так же волновалась, когда мне снился голубой цветок? Матильда и цветок, что за чудная общность между ними? Когда клонился ко мне цветок, среди лепестков я видел ее черты, небесные черты Матильды, и, помню, в книге они мне встречались тоже. Неужели мое сердце тогда промолчало? Дух песнопения мне явлен ею, так что видно, чья она дочь. Она всего меня растворит в музыке. Она, моя сокровенная душа, не даст погаснуть моему огню святому. Моя верность — это вечность во мне! Мое призвание благоговеть перед нею, исполнять ее волю, разумом и чувством постигать ее. Единый смысл бытия не в том ли, чтобы видеть ее и чтить? Мне суждено блаженство быть ее зеркалом, быть эхом для нее? Недаром я узрел ее в конце пути и в торжестве отрадном жизнь моя сподобилась высочайшего мгновения. Как можно было не возликовать? При ней все торжествует».

Он глянул в окно. В небесном сумраке еще виднелась череда светил, хотя вдаль угадывался белый проблеск наступающего дня.

Преисполненный восторга, он произнес: «Вы, безмолвные скитальцы, вечные светила, будьте свидетелями моего святого обета. Я готов отдать мою жизнь Матильде, чтобы верность навеки сочетала наши сердца. Это мое утро, вечный день грядет. Ночи больше нет. Встает солнце, и ему посвящено мое саможжение, жертвенный пламень, который никогда не догорит».

В своем пылу Генрих долго не мог заснуть и забылся лишь к утру. Помыслы его души завершились дивными грезами. Полноводная голубая река струилась, поблескивая, среди зеленых лугов. По зеркалу реки скользил челн. В челне он увидел Матильду, она держала руль. С безыскусной песней, разубранная венками, Матильда плыла мимо, устремив к нему сладостномительный взгляд. На сердце у него было тягостно. Генрих не ведал, что с ним такое. На небе ни облачка, на реке тишь да гладь. Река — зеркало, лицо Матильды как небо. Внезапно челн закружило. В страхе позвал Генрих Матильду. С улыбкой Матильда спрятала руль на дне челнока, а челн все не мог выпра-

виться. Нестерпимая тревога напала на Генриха. Он поспешил на помощь к Матильде, но река противодействовала ему, течение подхватило его. Судя по жестам, Матильда обращалась к нему, челн уже зачерпнул воды, но Матильда вся сияла неописуемой задумчивостью, нисколько не боясь гибельной пучины. И пучина поглотила ее. Ветер едва касался волны, река блистала и струилась, как ни в чем не бывало. Жуткий страх омрачил ему разум. Сердце замерло в груди. Когда он очнулся, воды вокруг уже не было. Очевидно, течение унесло его в дальнюю даль. Отродясь не видал он таких мест. Что с ним совершилось, было ему невдомек. Память не возвращалась к нему. Он побрел, сам не зная, куда. Страшное изнурение угнетало его. Словно крошечный, прозрачный колокол, ключ бил на склоне холма. Зачерпнув немного влаги, он поднес ладонь к своим запекшимся губам. Тягостной грезой таился в былом пережитой ужас. Генрих блуждал и блуждал. Речи цветов и деревьев оживили его. Он воспрянул духом, как будто вернулся в родные места. Вновь доносилась безыскусная песня, он ловил этот напев на бегу, пока чья-то рука не остановила его, вцепившись в одежду.

«Генрих дорогой», — как мог он забыть этот голос! Он оглянулся, и вот уже он в объятиях Матильды. «Ты хотел покинуть меня, возлюбленный мой? — спросила она, с трудом переводя дух. — Нелегко мне было тебя настигнуть!»

Генрих не мог удержаться от слез, обнимая ее.

«Куда девалась река?» — вскричал он.

«А как по-твоему, чьи голубые волны над нами?»

Он глянул в небо и вместо небес увидел тихое течение голубой реки.

«Куда мы попали, Матильда, любимая?»

«Мы в пределе родительском».

«И мы не разлучимся?»

«Никогда», — ответила она. Их губы слились, она прильнула к нему, и уже ничто не могло расторгнуть эти узы. Она вверила его устам чудесное сокровенное слово, пронизавшее всю его душу. Он бы ответил ей этим же словом, но дед окликнул его и разбудил. Генрих не пожалел бы всей своей жизни, лишь бы вспомнить это слово.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

У своего ложа Генрих увидел Клингзора, который дружески приветствовал его. Встрепенувшись, Генрих обнял Клингзора. «Это не вас он обнимает», — заметил Шванинг. Генрих скрыл невольную улыбку и краску смущения, целуя мать в обе щеки.

«Вы не откажетесь разделить со мною завтрак в окрестностях города на живописном взгорье? — сказал Клингзор. — Утро ве-

ликолепное, прохлада улаживает. Собирайтесь! А то Матильда давно готова».

Восхищенный Генрих рассыпался в благодарностях. С неподдельным пылом прильнул он к руке Клингзора и не заставил себя ждать. Они присоединились к Матильде, которая была еще лучше в будничном утреннем платье. Она приветливо поздоровалась с Генрихом. Одна рука Матильды была занята кошёлкой, где находился завтрак, другую руку она без малейшего стеснения подала Генриху. Клингзор сопровождал их. Миновав город, уже охваченный дневным возбуждением, они достигли небольшой возвышенности над рекой, откуда под сенью могучих деревьев можно было любоваться необозримой далью.

«Хотя природа, — вскричал Генрих, — и до сих пор баловала меня своей красочностью, как добрая соседка, не скрывая различных своих богатств, такой плодотворной, такой неподдельной душевной ясности я еще не ведал. Как будто во мне самом эти дали, а вся эта великолепная окрестность — как будто моя же сокровенная греза. Внешность природы вроде бы прежняя, а сама природа такая разная. Как она преображается, когда нам сопутствует ангел или некий дух могущественнее ангела; как не похожа тогда природа на ту, которая с нами, когда мы внимаем излияниям страдальца или сетованиям крестьянина, обиженного погожими днями, так как всходы требуют скорее сумрачного ненастья. Вы, любезный учитель, даровали мне это блаженство; иначе не скажешь: блаженство. Невозможно выразить лучше то, что затаено во мне. Отрада, упоенье, восхищенье — всего лишь органы блаженства, приобщающего их к таинствам горней жизни».

Всем своим сердцем ощутил он руку Матильды, утопив огонь своего зора в отзывчивом спокойствии ее очей.

«Наше чувство, — ответил Клингзор, — относится к природе, как свет к веществу. Вещество сопротивляется свету, чьими преломлениями обусловлены различные цвета; свет вспыхивает на поверхности или в глубине вещества, и, если свет равен мраку, он пронизывает вещь; если же свету дано превозмочь мрак, излучение распространяется, просвечивая другие глубины. Впрочем, не бывает непроницаемого мрака, которого не преодолели бы вода, огонь и воздух, насытив глубину светом и сиянием».

«Я усвоил ваш урок, дорогой учитель. Наше чувство проникает людей, как свет проникает кристаллы. Естество людей прозрачно. Вас, любезная Матильда, я бы уподобил драгоценному сапфиру чистой воды. Как ясное небо, вы благоприятствуете зору, и нет ничего нежнее вашего света. Но, дорогой учитель, согласитесь ли вы со мной: сдается мне, чем глубже мы соприкасаемся с природой, тем безусловней пропадает охота и возможность о ней поведать».

«Тут следует различать, — ответил Клингзор. — Природу можно чувствовать и наслаждаться ею, но для нашего рассудка и

целенаправленного миропорядка природа совсем другая. Опасно увлекаться одной из этих двух природ в ущерб другой. Такая обедняющая односторонность частенько встречается. Но ведь обе стороны сочетаются друг с другом, и, только найдя такое сочетание, человек благоденствует. К сожалению, сплошь и рядом люди даже не догадываются, какое это искусство: свободно двигаться внутри себя самих, в соответствующем разграничении, безо всякого насилия, разумно освоив стихии собственной души. Иначе эти стихии привыкают друг другу противодействовать, так что, в конце концов, устанавливается неуклюжая косность, и когда человек нуждается во всех своих способностях, дело не идет дальше разброда и распри, пока все не рухнет в хаотическом нагромождении. Со всей настоятельностью советую вам исследовать ваш рассудок и ваши природные склонности, чтобы вы могли старательно и прилежно поддерживать закономерную последовательность и равновесие между ними. Не могу себе представить поэта, который не постиг бы природу каждого занятия, не научился бы добиваться своего разнообразными способами, и, сохраняя присутствие духа, не предпочитал бы наиболее уместные и действенные из них. Вдохновенное безрассудство бесплодно и пагубно, и поэт едва ли сотворит чудеса, если сам он дивится чудотворству.

«Но разве можно быть поэтом, не полагаясь на человечность судьбы?»

«Нельзя, что и говорить, ибо для зрелой мысли поэта невозможна судьба, лишенная человечности, однако счастливая готовность полагаться на судьбу не имеет ничего общего с пугливой подозрительностью, с гнетущим страхом незрячего суеверия.

Поэтическое чувство освежает, согревает, бодрит, и в этом смысле оно несовместимо с горячечным исступлением, от которого сердце изнемогает. Исступление проходит быстро и бесследно, оно обедняет и отупляет; поэтическое же чувство четко обрисовывает свои проявления, благоприятствует формированию различных отношений, само себя увековечивает. Трезвое самоохлаждение — вот в чем всегда нуждается молодой поэт. Настоящее мелодическое излияние свойственно всеобъемлющему, сосредоточенному, умиротворенному чувству. Разнузданный вихрь в сердце, лихорадочный озноб вместо осмысленной сосредоточенности раздражаются бессвязным бредом. Запомните: истинное чувство словно свет, умиротворенное, отзывчивое, эластичное, вездесущее, неуловимое в явственной своей действительности, как сам драгоценный свет, чья утонченная соразмерность не пренебрегает ни одной вещью, позволяя всему и всем выступить в чарующей самобытности. Природа поэта — подлинный металл, отвечающий на малейшее прикосновение, как стеклянное волокно, и при этом несокрушимый, подобно неотесанному кремню».

«Мне случалось уже замечать, — молвил Генрих, — в минуты, когда я уходил в себя, жизненность моя меньше сказывалась и давала себя знать скорее тогда, когда я просто бродил по своей прихоти, занимаясь то тем, то другим. Тогда-то во мне и обострялось нечто духовное, и я мог располагать всеми моими помышлениями, оборачивая мою мысль и так и эдак, словно мысль моя действительно воплотилась, с какого края ни возьми. Я задерживался у отца в мастерской, испытывая тихую причастность к работе, очень довольный своей сноровкой, когда мне удавалось пособить отцу, удачно завершить его изделие. Умение влечет и подкрепляет на свой неповторимый лад, и вправду, когда сознаешь свою сноровку, удовлетворение устойчивее, отчетливее и, стало быть, предпочтительнее захлестывающего, незъяснимого, беспредельно восхищающего наития».

«Поверьте мне, — ответил Клингзор, — я не против наития, только не надо накликать его, пускай оно само посетит вас. Такие посещения желательны, если редки; учащаяся, они гнетут и обессиливают. Торопятся избавиться от опойтельного дурмана, которым они сменяются; не мешкая, возвращайтесь к повседневным прилежным занятиям. Так рассвет прельщает нас грезами, чье коловращение глубже погружает нас в сон, и нужно стряхнуть этот сон во что бы то ни стало, иначе разморит истома, и весь день потом уже не преодолеть мучительной усталости».

«Поэзия, — добавил Клингзор, — по существу своему не допускает никаких прегрешений против своего строгого устава. Когда поэзия — просто удовольствие, поэзии больше нет. Поэту не подобает без дела скитаться целыми днями, не подобает подстерегать картины и ощущения. Так поступать значит идти наперекор поэзии. Откровенное ясное чувство, изощренная мысль, острая наблюдательность, навык, сочетающий все способности в длительном, отрадном взаимодействии, — таковы предпосылки нашего искусства. Если вы подчинитесь моему руководству, ни одного дня не минет без того, чтобы вы не углубили своего жизненного опыта или не усвоили бы что-нибудь поучительное. В городе много всяких искусников. Здесь можно встретить просвещенных людей, сведущих и в государственных и в торговых делах. Здесь недолго изучить все сословия и промыслы, все отношения и правила человеческой общежительности. Мне будет приятно наставлять вас в нашем искусстве, как в ремесле; мы вместе перечитаем превосходнейшие манускрипты. Матильда тоже учится, и вы могли бы учиться с нею, а в том, что касается игры на гитаре, она, конечно, не откажется стать вашей учительницей. Уроки будут вытекать один из другого, и, стоит вам вполне использовать прожитый день, вечерние развлечения, дружеские беседы, живописные окрестности всегда вознаградят вас отрадной новизною».

«Что может быть лучше жизни, которую вы мне сулите, лю-

безный учитель! Когда бы не ваша наука, я не распознал бы вышшенного удела, который влечет меня, но я не смею уповать на успех без ваших наставлений».

Клингзор сердечно обнял Генриха. Матильда подала им завтрак, и Генрих вполголоса осведомился, по душе ли ей будет его присутствие на уроках и не возьмет ли она его в учение. «Я бы остался вашим учеником на веки вечные», — молвил он, пока Клингзор глядел в другую сторону. Матильда украдкой придвинулась к юноше и вся вспыхнула в его объятиях, слабеющими губами отвечая на его поцелуй. Тихо высвободившись, она, милая в своем изяществе, как дитя, протянула ему розу со своей груди и как бы спохватилась, вспомнив о своей кошёлке. Генрих в безгласном восторге любовался девушкой; сначала поднеся розу к своим губам, потом украсив ею грудь, он обратился в сторону Клингзора, взиравшего на город с высоты.

«Какой дорогой вы ехали сюда?» — спросил Клингзор.

«Вон взгорье, через которое мы перевалили. За ним простираются дали, где таится наша дорога».

«Вы повидали много прекрасного».

«Почти на всем своем протяжении дорога была живописной».

«Местоположение вашего города, наверное, не хуже?»

«Наши окрестности могут развлечь, но они еще не возделаны, и там нет большой реки, а без потоков земля как без глаз».

«Приятно было слушать, — молвил Клингзор, — как вы вчера вечером описывали свое путешествие. Не иначе, как дух поэтического искусства был вашим дружелюбным проводником. Ваши дорожные собеседники едва ли догадывались, что это он говорит в них. Вблизи поэта поэзия бьет ключом везде. Колыбель поэзии, Восток овеял вас упоительным романтическим томлением; с вами говорила война в своем неистовом великолепии; природа явилась вам в образе горняка, а история в образе отшельника».

«Вы не упоминаете драгоценнейшего, любезный учитель, — небесное явление любви. В вашей власти даровать мне его навеки».

«Ты согласна? — воскликнул Клингзор, глядя на подошедшую Матильду. — Готова ли ты стать вечной подругой Генриха? Твой ответ — мой ответ».

Потрясенная Матильда спряталась в объятиях своего отца. Генрих трепетал в беспредельном ликовании.

«Пожелает ли он остаться со мною навеки, любимый отец?»

«Он сам тебе скажет», — молвил растроганный Клингзор.

«Да ведь моей вечности не было бы без тебя», — вскричал Генрих, оросив слезами свои цветущие щеки. Слова сменились объятием. Клингзор прижал их к своей груди.

«Дети мои! — произнес он. — Храните ваши узы вопреки самой смерти. Что же такое вечная поэзия, если не жизнь в любви и верности!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

После обеда, пока мать и дед продолжали сердечно радоваться счастью Генриха, благословляя в лице Матильды его хранительную судьбу, Клингзор уединился в своих покоях со своим новым сыном и предложил ему посмотреть книги. Потом они заговорили о поэзии.

«Не понимаю, — молвил Клингзор, — почему сплошь и рядом приписывают природе поэзию, как будто природа — сочинительница. Между тем природа поэтична лишь время от времени. Природа подобна человеку, и в ней враждебно поэзии многое: затхлая похоть, неповоротливое оцепенение, косность упорно противоборствуют поэзии. Право, стоило бы воспеть это великое противоборство. Иные земли, иные века, да и люди, по большей части, как бы всецело поработаны противниками поэзии, тогда как в своих родных пределах поэзия сказывается во всем. Эпохи подобного противоборства — вот история; запечатлеть их — задача соблазнительная и многообещающая. Этим эпохам свойственно порождать поэтов. Когда поэзия превращает неприятеля в лицо поэтическое, он терпит унижайший урон и частенько, перепутав оружие в разгаре боя, страдает от своей собственной отравленной стрелы, а поэзия, раненная поэзией, быстро исцеляется, хорошеет и крепнет!»

«Во всякой войне, — заметил Генрих, — действует, по-моему, поэзия. Люди воображают, что им надлежит биться за какое-нибудь ничтожное приобретение, а воителями втайне движет романтический дух, искореняющий в них зловредные пороки. Вооружаются ради поэзии, и оба стана осенены одною и той же незримою хоругвью».

«Война бывает, — ответил Клингзор, — когда всколыхнется изначальная стихия. Новые материки, новые племена — детища великого потопа. По-настоящему воюют лишь за веру, за нее воины готовы пасть, — вот он, совершенный образ человеческого исступления. Отсюда распри, прежде всего, распри народов, это уже доподлинная поэзия. Вот настоящее поприще для доблести, а доблесть — тот же возвышенный поэтический гений в своем роде, игра вселенских начал, в которых сама поэзия. Гений в сочетании с доблестью — удел вестника Божьего, такого героя наша поэзия пока еще не достойна».

«Как это понимать, дорогой отец? — сказал Генрих. — Неужели бывают явления, слишком величественные для поэзии?»

«Вне всякого сомнения. Впрочем, лучше сказать, не для самой поэзии, а для наших человеческих дарований и устремлений. Не только всякий поэт вынужден довольствоваться своим природным даром, не смея притязать на большее (иначе ему грозит падение и удушение), для самого человеческого творчества существует известный предел живописуемого, за которым ис-

куство теряет необходимую насыщенность и отчетливость, расплываясь в зыбкой, призрачной небыли. Всего опаснее такие поползновения в годы ученичества, когда безудержная мечта слишком легко прельщается запредельным в дерзкой погоне за сверхчувственным и невыразимым.

Зрелость убеждает нас в том, что следует остерегаться недостижимого и не стоит соперничать с философами, которые заняты выявлением простейшего и высочайшего. Искушенный жизнью поэт предпочитает в своем парении не превышать предела, позволяющего наглядно расположить благоприобретенное изобилие, всячески придерживаясь этого изобилия, откуда можно извлекать различные предметы, руководствуясь необходимыми вехами сравнений. Я бы позволил себе даже утверждать, что в поэзии всегда нужен хаос, пронизывающий пелену равномерной гармонии. Сокровища вымысла занимают и радуют лишь в ненавязчивом сопоставлении; голая правильность ничуть не лучше математической таблицы. Совершеннейшая поэзия около нас, и она частенько облюбовывает заурядные предметы. Поэт никогда не отделяет поэзии от ограниченных средств, которыми поэзия располагает; иначе поэзия не была бы искусством. Да и человеческая речь сама по себе не выходит за пределы известного круга. Язык отдельного народа еще ограниченнее. Поэт осваивает свой язык на опыте и в раздумии. Поэт, которому ведомы возможности языка, достаточно умен для того, чтобы не насыловать язык в поисках невозможного. Как можно реже стягивает он словесные стихии воедино, чтобы не изнурить языковую мощь, злоупотребляя напряжением, восхитительным, когда оно уместно. К словесным изыскам привержен лишь тот, кто горазд морочить простаков; это недостойно поэта. Всякому поэту следовало бы пойти в науку к музыкантам и живописцам. Живопись и музыка свидетельствуют о том, что нельзя расточать художественные приемы, что надлежащая выучка сказывается в чувстве меры. Зато другие художники были бы нам обязаны, переняв нашу внутреннюю свободу, сокровенную суть всякого творчества, нашу фантазию, всегда благоприятную для искусства. Они нуждаются в поэтичности, мы в музыкальности и в живописности, разумеется, сообразно с требованиями и особенностями нашего искусства.

Искусство определяется не своим предметом, а самим собою. У тебя будет случай убедиться, когда тебе лучше поется: конечно, тогда, когда воспевашь то, что сам извещал и пережил. Отсюда явствует, что вся поэзия в пережитом. Сам помню: чем отдаленнее и неведомее был предмет, тем больше хотелось мне петь о нем в юности. К чему же это приводило? К пустопорожнему, напыщенному словесному убожеству без малейшего поэтического проблеска. Вот почему сказка требует величайшего искусства и, как правило, не удается молодому поэту».

«Послушать бы мне одну из твоих сказок, — молвил Генрих. —

До сих пор я слышал сказки не часто, но всегда с неизъяснимым удовольствием, даже совсем незатейливые».

«Будь по-твоему, но дождемся вечера. Я еще не забыл одной сказки, сочиненной мною давно, так что молодость отчетливо запечатлелась в ней, но тем лучше: моя сказка, надеюсь, послужит тебе и развлечением и уроком; в ней ты найдешь подтверждение моим словам».

«Речь, — заметил Генрих, — это поистине малая вселенная в звуках и в знаках. Так же, как речью, человек не прочь располагать большой вселенной, рад бы без всякого стеснения выражать себя в ней. Через вселенную раскрыть запредельное — вот порыв, определяющий наше существование, вот упоение, которым живет поэзия».

«Немалый вред, — отвечал Клингзор, — заключается в особом наименовании «поэзия», как и в том, что поэтическое ремесло отъединяет поэтов от остальных людей. Поэзия не есть что-то особенное. Человеческий дух действует именно через поэзию. Разве найдется в человеческой жизни минута, когда человек не был бы поэтом и созерцателем? — Матильда появилась, как бы предваряя следующие слова Клингзора: — Вот любовь, например. Она явственнее всего показывает, что без поэзии не было бы человечества. Любовь немая, у любви нет голоса, кроме поэзии. Или, вообще, любовь — та же поэзия, только поэзия высокая, природная. Но стоит ли растолковывать вещи, в которых ты осведомленнее меня?»

«Разве любовь — не твоя дочь? — воскликнул Генрих, привлек Матильду к себе, и они вместе склонились к руке Клингзора. Обняв их, Клингзор удалился».

«Матильда, любимая, — молвил Генрих, заключив этими словами долгий поцелуй, — боюсь, не грезится ли мне, что ты моя, но как мне поверить, что могло быть иначе!»

«Не знаю, — ответила Матильда, — было ли время, когда ты был мне незнаком».

«И ты можешь любить меня?»

«Кто мне скажет, что значит любить, но, поверь мне, моя жизнь словно только что началась, и ты мне так дорог, что ради тебя я готова тотчас умереть».

«Лишь в этот миг, моя Матильда, я почувствовал, что мы бессмертны».

«Генрих, любимый, какой ты хороший! Что за неведомый дух в тебе вещает? Куда мне, бедной, до тебя!»

«Как мне стыдно это слышать! Только благодаря тебе стал я самим собой. Когда бы не ты, меня бы не было. Что такое дух без неба, а мое небо, моя обитель и моя опора — ты».

«Как я была бы счастлива, если бы ты мог хранить верность, подобно моему отцу. Моя мать умерла, едва я родилась, и после ее смерти, наверное, не прошло ни одного дня, чтобы отец не плакал о ней».

«Надеюсь быть счастливее, хотя не стою такого счастья».

«Я сама предпочла бы не покидать тебя подольше, Генрих, дорогой мой. Тогда мне бы удалось перенять больше твоих достоинств».

«Ах, Матильда, сама смерть не разрознит нас».

«Конечно, Генрих, там, где я, тебя не может не быть».

«Да, где бы ты ни была, Матильда, там я останусь вечно с тобою».

«Для меня вечность непостижима, но, сдаётся мне, вечность осеняет меня, когда ты в моих мыслях».

«Да, Матильда, вечность нам дарована любовью».

«Ты представить себе не можешь, любимый, как, вернувшись нынче поутру, я упала на колени перед образом Богоматери; не нахожу слов, как я проникновенно молилась. Я думала, что вся растаю в собственных слезах. Мне виделась ее улыбка. Так вот что значит испытывать благодарность!»

«Любовь моя, небо ниспослало тебя мне, чтобы я тебя чтил. Я благоговею перед тобой. Ты моя святыня, через тебя доходят до Бога мои мольбы, в тебе говорит Бог со всей Своей неисчерпаемой любовью. Глубочайшая гармония, нерасторжимый союз любящих сердец — разве не в этом религия? Он же там, где двое сошлись. Мне нужна целая вечность, чтобы тобой надышаться; грудь моя вовеки не насытится твоим духом. Ты божественное совершенство, нескончаемая жизнь таится в твоей красоте».

«Ах, Генрих, тебе ведомо, на что обречена роза: прижмешь ли ты, ласковый, как бывало, к своим устам увядшие уста и отцветшие ланиты? Не остается ли один и тот же след, когда приходит старость и уходит любовь?»

«О когда бы в моих глазах тебе было видно мое сокровенное чувство! Но твоя любовь не может сомневаться во мне. Когда я слышу, будто прелести не вечны, это для меня непостижимо. Нет, бывают вечные цветы. То, что меня постоянно притягивает к тебе, вызывая неутолимое желание, не связано со сроками нашей жизни. Когда бы ты распознала, в каком образе ты мне явлена, какое чудесное сияние торжествует в твоём облике, везде приветствуя меня, ты не боялась бы годов. Твой дольний облик — лишь твоя земная тень. Стихии здешнего в своем борении цепляются за эту тень, потому что природа еще не готова, однако таинственный целительный рай уже начал открываться мне, явив твою изначальную вечность».

«Правда, дорогой Генрих! И я, глядя на тебя, испытываю то, о чем ты говоришь».

«Да, Матильда, мы привыкли думать, что горный мир от нас гораздо дальше, тогда как мы обитатели горного мира, и созерцаем его уже здесь в сокровенном единении с нашим дольным естеством».

«Сколько еще чудес возведишь ты мне, возлюбленный!»

«О Матильда! Я возвещаю лишь то, что ты внушаешь мне. Тебе принадлежит все то, что я могу назвать своим; твоя любовь

посвящает меня в таинство жизни, и мне открывается в глубине души святая святых; какие вдохновения сулишь ты мне! Кто знает, не окрылит ли нас наша любовь пламенем, чтобы нам вознестись в нашу горную обитель, пока старость и смерть еще неведомы нам. Как же не верить мне в чудеса, если ты моя, если я прижимаю тебя к своей груди и твоя любовь готова разделить со мной вечность?»

«Для мне сейчас тоже все достоверно. Нет сомнений, что-то беззвучно во мне пламенеет; может быть, наше грядущее преобразование уже сжигает земные тенета. Но ответь мне, Генрих, близка ли я тебе так же, как ты мне близок? Ты мне ближе всех, ближе отца моего, а ведь мой отец был мне дороже всего на свете».

«Матильда, любимая, как мне больно от того, что я не в силах высказаться, раз и навсегда вверив тебе мое сердце. Впервые в жизни я открываю всю свою душу. Ничто во мне больше не укроется от тебя; волей-неволей разделишь ты любое мое ощущение, любой мой помысел. Невозможно будет различить нас в нашем единении. Моя любовь жаждет вся предаться тебе, больше ничто не утолит ее. В этом-то и таится любовь. Она непостижимо сочетает сокровеннейшее в тебе и во мне».

«Генрих, еще никто никого не любил такой любовью».

«Просто некого было так любить. Матильды ведь не было».

«Да и Генриха тоже».

«Ах, поклянись же мне снова остаться моею навсегда! Любовь не боится повторов».

«Да, Генрих, клянусь вечно тебе сопутствовать, как незримо сопутствует мне моя добрая мать».

«И я навеки твой, Матильда, клянусь любовью, в которой вечно сопутствует нам Бог».

Долгим объятием, бессчетными поцелуями скреплены были сладостные узы, навсегда сочетавшие любящих.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечером в дружеском кругу дед поднял тост за здоровье помолвленных и заверил, что свадьба будет знатная и долго ждать ее не придется.

«Зачем откладывать?» — молвил старик. — Раньше жениться, дольше любить. Я всегда замечал: в семейной жизни всех счастливее те, что рано поженились. Брак требует умиления, на которое способна только юность. Разве могут разлучиться сердца, разделившие друг с другом свою блаженную весну? Память — надежнейшая почва для любви».

После трапезы общество умножилось. Генрих на правах сына напомнил Клингзору, что тот обещал. Тогда заговорил Клингзор:

«Нынче я посулил Генриху сказку и, пожалуй, расскажу ее, если вы расположены слушать».

«Генрих знал, что попросить, — ответил Шванинг. — А то мы уже стосковались по вашему искусству».

Все разместились вокруг жаркого камелька, Генрих рядышком с Матильдой, обвинив ее стан рукою. Сказка началась:

Нескончаемая ночь едва-едва воцарилась. Древний витязь огласил безлюдную глушь городских переулков звоном своего щита. Щит прозвенел троекратно, возвещая время. Тогда внутренний свет оживил огромные расписные окна дворца, пробуждая изображения на стеклах. Они постепенно оживлялись в разгорающемся красноватом сиянии, освещающем город. Даже громоздкие столпы и стены уже выступали из мрака; наконец, они окунулись в незамутненную млечную голубизну, безмятежно играя своими оттенками. Теперь была видна вся окрестность; светящиеся облики, толчея копий, мечей, щитов, шлемов, которые со всех сторон кланялись коронам, возникающим то здесь, то там, и, наконец, вместе с ними отступили, образовав необозримый хоровод вокруг простого зеленого венка, — все это повторялось в ледяном зеркале моря, среди которого город вознесся на своей горе, и вдали до самого своего сердца кротко зарделись другие высокие горы, обрамлявшие море. Никто не распознал бы отдельных звуков; только неопикуемый шум доносился, как будто вдали работала чудовищная мастерская. Зато город явственно распознавался в своем освещении. Зеркально гладкие стены были достойны очаровательных лучей, падавших на них, так что чертоги обнаруживали в своем стройном сочетании дивную соразмерность изысканного зодчества. У каждого окна совершеннейшие образцы гончарного искусства были украшены прелестным блеском разнообразнейших цветов: это расцвели кристаллы льда и снега.

Особенно хорош был обширный сад, разбитый прямо перед дворцом; под сенью металлических ветвей виднелись хрустальные стебельки; там счету не было цветам — самоцветам и плодам — бриллиантам. Все это красочно светилось, не скупясь на обольстительные проблески, так что глаз нельзя было отвести, и оживленную красоту в средоточии сада увенчивал своей высью весь ледяной водомет. Древний витязь неторопливо ходил у дворцовых врат. За вратами послышался голос, назвавший древнего витязя по имени. Тот всем телом прильнул к вратам; врата растворились, покорно зазвучав, и древний витязь очутился в зале. Свой щит он держал перед глазами.

«Тебе все еще ничего не открылось?» — скорбно молвила красавица, дочь Арктура.

Она покоилась среди шелковых подушек на троне; трон служил крупный кристалл серы, замысловато отделанный; усердные прислужницы растирали ей тело, такое нежное, как будто в млечной белизне растворился пурпур. От этих участли-

вых прикосновений тело красавицы дивно лучилось, освещая своим чарующим сиянием дворец и всю окрестность. Ароматный ветер веял в зале. Витязь безмолвствовал.

«Позволь мне коснуться твоего щита», — тихо молвила она.

Он остановился у самого трона, где был разостлан драгоценный ковер. Завладев его рукою, она нежно поднесла ее к своей божественной груди и потрогала его щит. Раздался звон доспехов; тело витязя исполнилось одушевляющей мощи. Очи его вспыхнули, и сердце явственно отозвалось в своих латах. Красавица Фрейя просияла, и с новым жаром распространились ее лучи.

«Государь близко», — человеческим голосом возвестила ненаглядная птица, обитавшая в укромном уголке трона.

Прислужницы окутали принцессу тканью небесной голубизны, прикрыв своей повелительнице грудь. Опустив свой щит, витязь всматривался в купол, с которым зал сообщался двумя большими винтовыми лестницами. Сначала послышалась негромкая музыка, потом в куполе можно было видеть короля с целым сонмом придворных; монарх не замедлил снизойти со своей высоты в зал.

Чудесная птица распростерла свои ослепительные крыла и, плавно колебля ими, встретила короля своим пенем, достойным тысячеголового хора:

Нас посетит прекрасный странник вскоре,
Мир будет вскоре вечностью согрет;
Земля растает, и оттаит море,
Проснется королева, будет свет;
Ночь ледяная минет, минет горе,
Вновь Муза восстановит свой завет;
И в лоне Фрейи мир воспламенится,
Разрозненное вновь соединится.

Король заключил дочь в свои объятия. Вокруг трона возникли духи светил, среди них витязь встал там, где ему надлежало. Зал едва вмещал звезды, так сочетавшиеся друг с дружкой, что просто загляденье. Служительницы поставили перед королем столик и ковчежец, где было видимо-невидимо листков; созвездия угадывались в глубокомысленных, чудодейственных письменах. Король трепетно подносил к своим устам эти листки, потом тщательно перетасовал их, протянув своей дочери некоторые из них. С другими король не расстался. Принцесса брала свои листки один за другим и раскладывала их на столике, а король, внимательно всматриваясь в свои, подолгу раздумывал, прежде чем положить на столик еще один. Порой, казалось, некая сила заставляла короля предпочесть определенный листок остальным. Однако то и дело король с нескрываемым удовольствием наблюдал, как стройно располагаются знаки в предначертаньях, потому что очередной листок достигал своей цели без промаха. С самого начала все присутствующие страстно увлек-

лись этой игрой, о чем свидетельствовало выражение их лиц и необычные жесты, как будто каждый ревностно трудился, не выпуская из рук незримого инструмента. Между тем в воздухе не смолкала музыка, приглушенная, но проникновенная; это звезды как бы звучали, обвивая друг друга в таинственном ритме общего возбуждения. Звезды шевелились, то стремительно, то чуть заметно скользили в неуловимых направлениях, с несравненным искусством следуя под музыку предначертаниям листов. В своей причудливости музыка не отставала от образов, чередующихся на столике, но вопреки диковинным диссонансам и частым шероховатостям целое угадывалось в бесхитростной согласованности. Соответствие между звездами и образами с непостижимой быстротой возобновлялось и возобновлялось. Звезды то перебивались между собою в необозримом единении, то вдруг выступали отдельными привлекательными сонмами, то нескончаемая череда рассеивалась, подобно лучу, мириадами блесков, то круги постоянно ширились, контуры вырисовывались, образуя великое, поражающее сочетание. Красочные облики на стеклах застывали в это время. Роскошное оперенье птицы непрерывно колыхалось, шеголяя всеми своими оттенками. Древний витязь наравне с другими был занят своей невидимой работой, когда раздался ликующий голос короля:

«Все к лучшему, Железо, метни свой меч, дабы вселенная постигла, где обитель мира».

Витязь выхватил меч, висевший у него на поясе и, как бы намереваясь потрогать острием небо, метнул меч в распахнутое окно. Над городом и надо льдами кометою пронесся меч, рассекая воздух, и, должно быть, раскололся, врезаясь в скалу: вспыхнув с пронзительным звоном, вдали разлетелись осколки.

В это время красавец Эрос еще безмятежно дремал в своей люльке, а Джиннистан его нянчила, качая люльку и давая грудь Музе, молочной сестре Эроса. Над люлькой она разостлала свой красочный шарф, чтобы младенца не разбудила своим резким светом лампа Переписчика. Переписчик писал как ни в чем не бывало, только иногда сердито косился на детей и бросал на кормилицу злобные взгляды, а та молча отвечала на них приветливой улыбкой.

Отец то появлялся, то снова исчезал, выразив Джиннистан свое сердечное расположение. Он беспрестанно давал указания Переписчику, а Переписчик, заполнив очередной листок, вручал его госпоже, чье божественное происхождение было сразу же заметно; облокотившись на жертвенник, госпожа безмятежно улыбалась и глаз не сводила с темной чаши, где святилась влага. В эту влагу она окунала листок за листком, потом извлекала их и, убедившись, что некоторые знаки не только не расплылись, но, напротив, ярко сверкают, возвращала листок Переписчику, а тот присовокуплял его к толстой книге, частенько хмурясь, так как его старания далеко не всегда вознаграждались: сплошь и

рядом все бывало смыто. Иногда госпожа оглядывалась на детей и на Джиннистан, погружала персты в чашу и брызгала на них влагой, причем, едва брызги попадали в кормилицу или в ребенка, начинала струиться голубая дымка, в которой виднелись тысячи диковинок, неотвязных во всех своих превращениях. Если же хоть одна из брызг задевала Переписчика, градом сыпались цифры и геометрические фигуры, которые Переписчик прилежно подбирал, чтобы повесить бусы на свою высохшую шею. То и дело наведывалась мать Эроса, сама миловидность и нежность. Нельзя было сказать, что она сидит сложа руки; как рачительная хозяйка, она брала то одно, то другое; ворчун Переписчик недоверчиво косился на нее, и когда новая пропажа не ускользала от его бдительного взора, он раздражался многословными обвинениями, но никто его не слушал. Эти неуместные придирки явно всем приелись. Мать дала свою грудь малютке Музе, но ненадолго: ее окликнули, и дитя, снова оказавшись на попечении Джиннистан, сосало куда охотнее. Внезапно вошел отец с гибкой железной спицей, которая попалась ему во дворе. Переписчик стал мудрить над спицей, расторопно вращая ее так и эдак; Переписчик не замедлил установить, что, подвязанная посередке, спица на весу норовит указать на север. Джиннистан в свою очередь занялась этой спицей, испытала ее гибкость и прочность, дохнула на нее, и спица превратилась в змею, неожиданно ужалившую себя в хвост. Переписчику спица уже наскучила. Во всех подробностях предал он бумаге свои выводы, распространяясь о том, какова, по его мнению, пригодность этой новинки. Переписчик не мог скрыть своего раздражения, когда его начинание было посрамлено, так как влага вернула бумаге прежнюю белизну. Между тем кормилица не расставалась со своей игрушкой. Иногда она трогала ею люльку, так что младенец постепенно пробудился, сбросил свои пеленки, одной рукой как бы прогоняя докучный свет, другой рукой лова змею. Овладев змеею, он рванулся из люльки так стремительно, что Джиннистан отпрянула в страхе, а пораженный Переписчик едва усидел на своем месте; отрок, облаченный лишь золотом своих волос, остановился посреди покоя, с несказанным восторгом любуясь драгоценной своей добычей, которая простерлась в его дланях к северу, как бы вызывая в нем бурный порыв. Никто не успел заметить, как младенец вырос.

«София, — обратился он задумчиво к прекрасной госпоже, — позволь мне напиться из чаши».

Не заставив себя долго просить, она подала ему чашу; он пил и все не мог напиться, а в чаше, казалось, влага не убывала. Наконец, он отдал чашу, сердечно обняв прекрасную госпожу. Он приласкался к Джиннистан и получил от нее красочный шарф, которым пристойно опоясался. Маленькую Музу он принялся качать. Крошка сразу же залепетала, почувствовав к нему сердечную привязанность. Джиннистан увивалась вокруг него. Иг-

ривая и привлекательная, она льнула к нему с пылкостью невесты. Тайнственным шепотом она манила юнца за собой в другие покои, однако София строгим взглядом смутила ее, напомнив ей про змейку; мать возвратилась, юнец бросился к ней с радостным плачем. Рассерженный Переписчик исчез. Явился отец и, пока сын с матерью ничего не замечали в своем тихом объятии, подкрался, не теряя времени, к пленительной Джиннистан, которая не оттолкнула его. София направилась вверх по лестнице. Маленькая Муза вооружилась пером Переписчика и попробовала писать. Мать и сын были поглощены негромкой беседой; отец поспешил уединиться с Джиннистан в соседнем покое, чтобы она помогла ему своими ласками забыть будничные заботы. Немало времени прошло, пока София снова не спустилась вниз. Переписчик был тут как тут. Отец покинул укромный покой, чтобы вернуться к своим занятиям. Когда Джиннистан вошла, щеки ее все еще горели. Переписчик не потерпел, чтобы маленькая Муза занимала его место; он долго бранился, устраняя беспорядок в своих письменных принадлежностях. Переписчик протянул Софии листки, исписанные Музой, так как ему нужна была чистая бумага; он вконец разгневался, когда София вернула ему рукопись, которая не только не расплылась, но ярко засияла, омытая в чаше. Муза ласкалась к своей матери, та дала ей грудь, подмела покои, проветрила их, распахнув окна и накрыла на стол, расставляя роскошные блюда. В окне виднелись живописные окрестности, над которыми голубое небо раскинулось как шатер. Отец во дворе не ленился. Когда утомление давало себя знать, он устремлял свои взоры к окну, где мог видеть Джиннистан, которая потчевала труженика сладостями. Сын с матерью тоже присоединились к нему, чтобы посоветовать везде, где нужно, готовясь осуществить задуманное. Переписчик скрипел пером и постоянно кривился, вынужденный задавать вопросы Джиннистан, чья безупречная память хранила все события. Эрос вышел, блистая своим вооружением; цветной шарф он теперь носил как перевязь; юнец обратился к Софии с просьбой о напутствии. Переписчик с непростительной навязчивостью предлагал уже обстоятельный план путешествия, но присутствующим было не до него.

«Тебе незачем задерживаться, Джиннистан тебе будет сопутствовать, — ответила София. — С ней не заблудишься, она везде своя. Джиннистан обернется твоей матерью, чтобы ты ею не прельстился. Когда встретишь короля, не забудь обо мне; я твоя скорая помощница».

Джиннистан отбывала в образе матери, мать оставалась в образе Джиннистан, против чего отец отнюдь не возражал. Переписчика вполне устраивало расставание с этими двумя; он с особым удовольствием присвоил записи Джиннистан, где во всех подробностях была прослежена история этого дома; теперь только маленькая Муза мозолила ему глаза, и ему нечего было

бы больше желать, если бы она тоже присоединилась к путникам, оставив его в покое. София дала свое благословение коленапоклоненным и наполнила для них сосуд влагою из чаши; мать была очень удручена прощанием. Маленькая Муза предпочла бы тоже пуститься в путь; у отца было столько дел во дворе, что все остальное не особенно беспокоило его. Путники отбыли, когда стемнело; месяц уже взошел.

«Дорогой мой Эрос, — молвила Джиннистан, — поторопимся, ведь мой отец меня заждался; он так долго грустил по мне, обслеуя всю землю в напрасных поисках. Смотри, как исхудал он, как потускнел его лик! Ты подтвердишь ему, что это я, хоть я и предстану перед ним не в своем обличии».

Любовь идет ночным путем
И светит месяц ей;
В убранстве праздничном своем
Открылся мир теней.

Облачена в голубизну
С каймою золотой,
Спешила в дальнюю страну
С причудницей мечтой.

Душою движет смутный жар,
И сквозь ночную мглу
Ее влечет грядущий дар
В таинственном пыли.

Нахмурился мрачное чело,
Не ведала Тоска,
Что время скорбное прошло:
Любовь недалеко.

Малютке-змейке север мил,
Нет лучше проводниц;
Далекий путь не утомил
Обеих чаровниц.

Прошли пустыню, наконец,
И расступилась мгла.
С Любовью рядом во дворец
Дочь Месяца вошла.

На троне месяц тосковал,
Нахмурился скорбный лик.
Узнал он дочь, возликовал,
Счастливый, к ней приник.

Умиленный Эрос был свидетелем этой счастливой встречи. Старец, наконец, подавил свое волнение и оказал Эросу гостеприимство, затрубив со всей силой в свой большущий рог. Могучий призыв потряс вековую твердыню. Дрогнули островерхие башни, пламенеющие маковки, невысокие темные крыши. Твердыня осталась незабываемой вблизи заморских гор. Отовсюду стекалась челядь. Диковинные лица и одежда несказанно забавляли Джиннистан, а смельчак Эрос нисколько их не боялся. Джиннистан рада была встретить своих прежних приближенных; все обнаруживали перед ней новый блеск и новую мощь своего естества. Неистовая стихия прилива уступила место тихому отливу. Вековечные вихри льнули к бьющемуся сердцу пылких, порывистых землетрясений. Ласковые дожди любовались цветной радугой, которая меркла в разлуке с желанным солнцем. Гром ворчливо порицал шальные выходы сполохов, увлеченных бесчисленными тучками, которые толпились тут же, своими чарами без конца разжигая и прельщая юных обожателей. Обаятельные сестрицы, вечерние и предутренние сумерки, не могли вдоволь наamilоваться с нашими путешественниками, блаженно плача у них в объятиях. Весь этот причудливый королевский двор являл собою неопишное зрелище. Престарелый король очей не сводил со своей дочери. Она сама блаженствовала в родимой твердыне, упиваясь редкостными достопримечательностями, памятными ей. Ее радость не знала границ, когда отец позволил ей отпереть сокровищницу и позабавить Эроса игрой, пока условный знак не возвестит ему, что пора в путь. Сокровищницей оказался необозримый вертоград, изобильный и роскошный сверх всякого вероятия. Среди чудовищных туч не было числа воздушным замкам; они затмевали друг друга красотами своего ошеломляющего зодчества. Там паслось множество ненаглядных ярок; где серебряное, где золотое, где розовое руно; рощу населяли невиданные твари. Здесь и там возникали примечательные образы; торжественные процессии, невиданные выезды наблюдались всюду, так что зритель не успевал за ними уследить. На клумбах красовались разные цветы. В кладовых едва умещались различные доспехи, ценнейшие ковры, ткани, пологи, чаши; изделиям и снастям счету не было. Прямо перед зрителями возвышалась целая романтическая страна, где теснились города, крепости, храмы, усыпальницы, а красоту возделанных долин дополняло жуткое обаяние безлюдных дебрей и горных круч. Невозможно было распределить цвета удачнее. Лед и снег настоящей иллюминацией вспыхивали на горных пиках. Долины зеленели, улыбаясь. Даль облеклась переменной голубизною; над морем в тумане трепетали разноцветные вымпелы многочисленных кораблей. Корабль тонул в открытом море, а на берегу поселяне благодушествовали за своей трапезой; вдалеке ужасало своей красотой извержение вулкана или опустошительное землетрясение, а вблизи под сенью деревьев блаженствовали

влюбленные. На склоне горы жестокое сражение, а под горою сцена, где мельтешат уморительные личины. Поодаль юная покойница в гробу; гроб обнимает юноша, не находя утешения; отец с матерью рыдают рядом; а вдалеке красавица подносит младенца к своей материнской груди; ангелы сидят у ног ее, и любят ее, порхая среди ветвей. Картины без конца преображались, и вместо них уже шла единая великая мистерия. Воздушная буря потрясла небо и землю до самых оснований. Отовсюду лезли страшилища. Громовой голос возвещал битву. Скелеты с черными стягами, рать, наводящая ужас, надвигались грозною тучей с мрачных скал, застигая врасплох жизнь, чьи молодые силы беспечно торжествовали на безоблачных просторах, не предвидя опасности. Началось жуткое противоборство, земля содрогнулась, вихри завывали, падучие звезды прорезали ночь своими зловещими вспышками. С невероятной свирепостью войско упырей истребляло живых, терзая беззащитные тела. Языки огня рванулись ввысь; пламя бушевало с диким ревом, испепеляя рожденных жизнью. Внезапно из-под сумрачного пепла хлынули млечно голубые воды, распространяясь повсюду.

Перепуганная нежить попыталась, было, скрыться, однако наводнение не щадило омерзительного исчадия, настигая беглецов. Скоро никаких страшилищ не осталось. Земля и небо растворились в отрадной музыке. Чудо-цветок плавал, блистая на нежных волнах. Над водами возникла ослепительная арка; по обоим ее краям виднелись великолепные троны, достойные своих богоподобных обладателей. С чашей в руке выше всех сидела София, а рядом с ней царственный муж, чьи кудри были увенчаны дубовой листвою; пальма мира заменяла в его деснице скипетр. Чашечка плавучего цветка осенена была листом лилии; сидя на этом листе, маленькая Муза вторила струнам арфы задушевнейшим пением. Среди лепестков почил юная красавица, обняв навеки своего возлюбленного, который клонился к ней: это был сам Эрос. Соцветие поменьше опоясало обоих, словно два тела выше чресел образовали один цветок.

Эрос в своем восторге не скупился на благодарности. Пылко привлек он к себе Джиннистан, а та даже не подумала отстраниться. Изнуренный дорожными тяготами и разнообразными впечатлениями, Эрос хотел отрадной неги. Джиннистан, весьма прельщенная его юношеской красотой, не предложила ему утолить жажду влагой из сосуда, подаренного Софией. Джиннистан указала Эросу в сторонке место, где лучше выкупаться, и помогла юноше освободиться от доспехов, чаруя его своим причудливым ночным убором. Эрос нырнул в коварные глубины, откуда возвратился как во хмелю. Когда Джиннистан вытерла его насуху, юность взыграла в нем со всей своей силой. Возлюбленная привиделась ему, и в упоительном безумии он обнял прелестную Джиннистан. Беспечно уступил он своему неистовому пылу и,

утешенный всеми прелестями своей спутницы, задремал, наконец, у нее на груди.

Между тем дома все изменилось к худшему. Переписчик вовлек челядь в свои тайные козни. Неприязненный исподтишка давно готовился прибрать к рукам дом и выйти из повиновения. Переписчик улучил, наконец, такую возможность. Сперва его приспешники лишили свободы мать, наложив на нее железные оковы. Отец тоже угодил в заточение, где его держали на хлебе и воде.

Возня за стеной насторожила маленькую Музу. Спрятавшись за жертвенником, она заметила дверцу сбоку, второпях отворила ее и нашла лестницу, ведущую под жертвенник. Маленькая Муза не забыла захлопнуть за собой дверцу и начала во мраке спускаться по ступенькам. Разъяренный Переписчик вбежал, намереваясь свести счеты с маленькой Музой и схватить Софию. Ни той, ни другой найти не удалось. Чаша тоже отсутствовала, и взбешенный Переписчик ударил по жертвеннику, который разлетелся на тысячу осколков, хотя ступени так и не открылись.

Немало времени спускалась маленькая Муза. Наконец, лестница вывела ее на простор, где гордо высилась колоннада. Исполинские ворота были заперты. Очертания распознавались благодаря своему сумраку. Казалось, вместо воздуха простирается необозримая тень; черное светило распространяло в небе свои лучи. Предметы были видны совершенно отчетливо, потому что каждое очертание чернело по-своему, наделенное своим особенным отсветом; казалось тень выступает здесь вместо света, а свет вместо тени. Этот неведомый мир понравился Музе. Она улавливала все его приметы, как любопытное дитя. Потом она приблизилась к воротам, где, лежа на массивном постаменте, красовался сфинкс.

«Чего ты ищешь?» — молвил сфинкс.

«Свое достояние», — отвечала Муза.

«Откуда ты?»

«Я посланница старины».

«Ты еще мала...»

«И никогда не повзрелею».

«Кто за тебя?»

«Я сама за себя. Сестры где?» — молвила Муза.

«Их нет, и они повсюду», — произнес в ответ Сфинкс.

«Ты узнаешь меня?»

«Нет еще».

«Где Любовь?»

«Там, где Фантазия».

«А где София?»

Ответ Сфинкса был неразборчив, только его крылья зашумели.

«София и Любовь!» — раздался победный клич Музы, перед которой распахнулись ворота.

Она очутилась в чудовищной пещере и весело приблизилась к древним сестрам, занятым своими таинственными трудами при черном свете убогого ночника. Они старались не замечать своей маленькой гостьи, а та усердствовала, прилежно к ним ласкаясь. Наконец, одна буркнула с перекошенным лицом:

«Зачем ты здесь околачиваешься, бездельница? Почему тебя не задержали? Ты здесь озорничаешь, так что вздрагивает слабый огонек. Масло расходуется впустую. Неужели ты не можешь сесть и чем-нибудь заняться?»

«Прелестная кузина, — молвила Муза. — Праздность мне совсем не по вкусу. Признаюсь, ваша привратница рассмешила меня. Ей так хотелось прижать меня к своей груди, но, должно быть, она чересчур плотно покушала и, право же, тяжела на подъем. Что если я сяду к двери и начну прясть? Здесь мне темно; к тому же такая пряха, как я, болтушка и певунья, — плохая соседка для вашего глубокомыслия».

«Отсюда тебе не уйти, но там за стенкой сквозь толщу свет пробивается сверху, вот и поработай там, если ты такая мастерица. Тут страшно много старых концов, попробуй спрясть их, только смотри не отвлекайся: если ты прервешь нитку, остальные нитки тебя опутают и удавят». — Старуха за своей пряжей коварно захихикала.

С полными горстями ниток, с прялкой и веретеном обосновалась Муза в уголке, отведенном ей. Она прильнула к шелке: над ней взошло созвездие Феникса. Хорошее предзнаменование приободрило Музу; с легким сердцем принялась она прясть и запела вполголоса у приоткрытой двери:

Вам в кельях спать негоже,
Рассвет развеял сны;
Пора покинуть ложе
Вам, дети старины!

Все ваши нитки нужно
Мне воедино свить,
Чтоб сочетались дружно,
Одну составив нить.

Один во всех таится,
Быть всем в одном дано;
И сердце не двоится:
На всех оно одно.

Подобны вы химере,
Лишь призрак, лишь душа;
Играйте же в пещере
Святых старух страша!

Маленькие ноги Музы были заняты веретеном, не затихавшим ни на миг, в то время как ее ручонки сучили тонкую нить. Пока она пела, можно было видеть множество проблесков, через приоткрытую дверь проникавших в пещеру, чтобы там снова в мерзких обличиях. Сердитые старухи покуда работали в ожидании, когда маленькая Муза отчаянно завизжит, но как же они всполошились, когда кто-то, встав позади них, сунул прямо в пряжу свой жуткий нос; достаточно было бросить взгляд вокруг, чтобы убедиться: пещера кишмя кишит отвратительными образами, с которыми сладу нет. Перепуганные старухи дико заголосили, вцепившись одна в другую; они превратились бы в камень со страху, когда бы в этот миг не ворвался Переписчик и не принес корень мандрагоры. Проблески притаились в расщелинах, и пещера ярко осветилась, потому что черная лампа в сутолке опрокинулась и погасла. Старухи воспрянули духом, увидев Переписчика, но маленькая Муза навлекла на себя их гнев. Они потребовали ее к себе в пещеру и зловеще прохрипели, чтобы она не смела больше пряхсть. Переписчик издевательски посмеивался, уверенный, что Музе теперь от него не ускользнуть.

«Приятно видеть, — говорил он, — что ты теперь знаешь свое место и даже научилась прилежанию. Уж здесь-то тебе спуску не дадут. Тебе просто посчастливилось попасть сюда. Живи подольше и побольше радуйся».

«Ты мой известный доброжелатель, и я тебе очень благодарна, — отвечала Муза. — Вид у тебя самый преуспевающий. Тебе бы песочные часы да косу, тогда бы и ты выглядел, как ближайшая родня моих прелестных кузин. Хочешь моток мягчайшего гусяного пуха? У них на щечках его вдоволь, знай себе щипи».

Казалось, Переписчик приготовился напасть на нее. Она предостерегла его, усмехнувшись: «Если ты дорожишь своей прекрасной шевелюрой и смышленными очами, будь осторожен: не забудь, что я царапаюсь, а у тебя больше ничего нет».

Подавляя бешенство, Переписчик обратился к старухам, которые то протирали себе глаза, то пытались нащупать свои веретена. При погасшей лампе поиски были напрасны, и старухи отводили душу, проклиная Музу.

«Пошлите-ка ее, — посоветовал коварный Переписчик, — на охоту за тарантулами, тогда вам будет чем заправить вашу лампу. Могу вас обрадовать: Эрос мечется без отдыха, так что вашим ножницам не придется бездействовать. Его мамаша то и дело принуждала вас продлевать ваши нити, завтра ее ждет костер».

Увидев, что Муза не смогла удержать слез при последних его словах, Переписчик щекоткой вызвал у себя смех, оделил старух мандрагорой и, задрав нос, удалился. Сестры, ворча, отправили Музу на поиски тарантулов, хотя масло еще далеко не иссякло, и Муза поспешила прочь. С нарочитой громкостью она распахнула ворота, так что они с грохотом затворились, а сама уклад-

кой проскользнула в задний угол пещеры, где таилась лесенка, ведущая наверх. Муза цепко взобралась по ступенькам и быстро достигла крышки, открыв которую, оказалась в палатах Арктура.

Муза увидела короля, восседавшего в кругу своих советников. Северный венец сиял у него на челе. В левой руке у него была лилия, в правой — весы. Орел и лев охраняли его стопы.

«Монарх! — молвила Муза с благоговейным поклоном. — Твоему незыблемому трону упрочиться! Твоему страждущему сердцу вновь утешиться! Мудрости скорее возвратиться! Вечному миру проснуться! Мятущейся Любви успокоиться! Сердцу человеческого восторжествовать! Былому воскреснуть, осуществиться грядущему!»

Король тронул ее ясное чело своей лилией: «Проси и обрящешь!»

«У меня три просьбы. Если я появлюсь в четвертый раз, значит, Любовь у порога. Теперь мне нужна лира».

«Эридан, подай лиру», — велел король.

Журча, хлынул сверху Эридан, и в его сияющем потоке Муза нашла лиру. Пророчески зарокотали струны, когда Муза коснулась их; по слову короля, Музе поднесли кубок; она пригубила и, очень благодарная, поспешно удалилась. Муза пересекла скользкое ледяное море прихотливыми плавными прыжками-взлетами, а струны весело звучали, послушные перстам.

Лед отвечал на прыжки торжествующим звоном. Вняв этому звону, Скала Печали откликнулась на тысячи ладов: она думала, что это на обратном пути кричат ее дети, чьи поиски увенчались успехом.

Муза быстро достигла побережья. Там она увидела свою мать, которая как будто исхудала и побледнела, обрела степенную статность и некое величие, а в тонких чертах ее лица угадывалась безысходная скорбь и умилительная преданность.

«Что с тобой сделалось, милая матушка? — молвила Муза. — По-моему, ты очень изменилась. Только сокровенная примета убедила меня в том, что это ты. Я все ждала, что твоя грудь подкрепит меня; я так долго томилась по тебе».

Джиннистан сердечно пригрела ее, отзывчивая и просветленная.

«Я сразу подумала, — ответила она, — Переписчику тебя не изловить. Встреча с тобою целительна для меня. Мне худо, я совсем оскудела; однако вознаграждение не за горами. Я надеюсь хоть немного отдохнуть. Эрос недалеко; когда он тебя узнает, расскажи ему что-нибудь, пусть он задержится хоть немного. А пока иди ко мне; я покормлю тебя, чем могу».

Она взяла маленькую Музу на руки, та с удовольствием прильнула к материнской груди, а Джиннистан, поглядывая на нее с улыбкой, говорила: «Это из-за меня Эрос такой буйный и переменчивый. Но я, признаться, не сожалею о том, что было: в его объятиях я обрела бессмертие. Я боялась растаять от его лю-

бовного пыла. Горний насильник, он словно хотел заклевать меня, дерзко насладившись трепетом своей жертвы. За кошунственными восторгами последовало запоздалое пробуждение, и оба мы таинственно переменялись. Длинными серебряными крылами облеклись его белые плечи, его прелестное, пышное, гибкое тело. Изобильная мощь, которая, вдруг забыв ключом, увлекла его из отрочества в юность, вся как будто устремилась в ослепительные крыла, и снова вышел из юноши отрок. Безмятежное сияние лика было подменено неверным проблеском блуждающего огня, божественная сдержанность — коварной скрытностью, умиротворенная значительность — прихотливым ребячеством, возвышенное изящество — озорной неприкаянностью.

Я не на шутку прельстилась шаловливым отроком, а он мучил меня язвительной холодностью, пренебрегая моими трогательнейшими мольбами. Я сама заметила, что я стала другая. Беззаботную просветленность омрачила тревожная печаль и привязчивая застенчивость. Я жаждала уединиться с Эросом в тайном убежище, где бы никто не видел нас. Не смея заглянуть в его глаза, уничтожавшие меня, я, посрамленная, испытывала нестерпимый стыд. Ни о ком другом я не помышляла, и я охотно пожертвовала бы жизнью, лишь бы он исправился. Он не щадил моих чувств, а я не могла разлюбить его.

С тех пор, как он расстался со мной, пустившись в путь вопреки моим горячим слезам и жалобным увещаниям, я повсюду пытаюсь догнать его. Он, кажется, так и норовит поглумиться надо мной. Стоит мне приблизиться, он, лукавый, ускользает от меня на своих крылах. Его лук всем причиняет бедствия. Я не успеваю утешать страдальцев, а меня утешить некому. Я слышу печальные зовы и узнаю, где пролетел он, а когда мне надо спешить к другим скорбящим, горькие жалобы покинутых мною поражают меня в самое сердце. Переписчик бешено злобствует в погоне за нами и в отместку терзает страждущих. Порождение той непостижимой ночи — целые полчища маленьких причудников, чья внешность и прозвание напоминают их деда. Унаследовав от своего отца крылья, они не отстают от него, жестоко истязают всех беззащитных, пронзенных отцовской стрелой. Но вот летит ликующий сонм. Я не могу больше задерживаться. Прощай, моя радость! Я сама не своя, когда он вблизи. Желаю тебе преуспеть!»

Джиннистан поспешила за Эросом, который пронесся бы мимо, не соизволив даже посмотреть на нее ласково. Однако он дружелюбно обратился к Музе, а маленькие пажы окружили ее, беспечно танцуя. Музе приятно было встретиться со своим молочным братом, и она жизнерадостно запела, играя на своей лире. Казалось, Эрос готов образумиться, он даже бросил свой лук. Малыши заснули, поникнув на траву. Эрос подпустил к себе Джиннистан и беспрекословно сносил ее нежности. Постепен-

но он тоже поник на грудь к Джиннистан и забылся сном, осенев ее своими крылами. Это было величайшей наградой для усталой Джиннистан; блаженствуя, она не могла налюбоваться красотой спящего. Пока Муза пела, отовсюду выползли тарантулы, опутали стебли трав своими поблескивающими тенетами и проворно засновали под музыку на своих нитях. Муза приободрила свою мать, посулив ей подмогу в ближайшем будущем. Скала отвечала лире мягкими отзвуками, так что сонным слаще спалось. Джиннистан все еще берегла заветный сосуд, и достаточно было нескольких капель, рассеявшихся в воздухе, чтобы навеять спящим упоительные грезы. Муза продолжала свое странствие, но теперь сосуд был при ней. При этом струны не бездействовали, а зачарованные тарантулы сопутствовали ладам, проворно вытягивая свои нити, чтобы не отстать.

Вдалеке перед нею над зеленью леса вскоре вознеслось пламя: это полыхал костер. Скорбно посмотрела она в небо и приободрилась, распознав голубое покрывало Софии, колыхавшееся над землею, чтобы вовеки никто не видел ужасной могилы. В небе злобно багровело огнистое солнце; свирепое пламя питалось присвоенным светом, и, хотя солнце как будто алчно берегло свой свет, оно тускнело, и все заметнее проступали на нем пятна. Солнце меркло, а пламя крепло, разгораясь добела. Все упорнее пламя поглощало свет, насыщаясь блеском, так что вскоре исчез венец дневного светила, и остался только болезненно рдеющий диск, завистливый гнев лишь способствовал дальнейшему изнурительному излучению. Наконец, в море посыпалась черная изгарь, это были останки солнца. Пламя сверкало неопишимо. Больше нечему было гореть. Тихо охватывая высоту, пламя потянулось к северу. Муза вошла во двор, где запустение сразу бросалось в глаза; дом покуда совсем обветшал. В щелях оконных карнизов укоренился терновник, разрушенная лестница кишела червями. Слышно было, как бесчинствуют в доме; Переписчик со своими пособниками праздновал огненную смерть матери. Однако все это сборище ужаснулось, когда сгорело солнце.

Несмотря на все старания, им не удалось погасить пламя; они только сами ожглись при этом и теперь в бешенстве кощунствовали, завывая от боли и страха. Они совсем всполошились при появлении Музы и с яростным воплем напустились на нее, чтобы выместить свою злобу. Муза спряталась от них за колыбелью; ее хотели поймать, однако сами ловцы один за другим угодили в тенета к тарантулам, за что поплатились: карающим укусам не было кснца. Вся шайка заплясала, беснуясь, а Муза сопровождала эту пляску насмешливыми ладами своей лиры. Уморительные корчи плясунов развеселили Музу; она уже добралась до осколков разбитого жертвенника; прибрав эти осколки, Муза обнаружила потайную лестницу и, неразлучная со своими тарантулами, направилась под землю.

Сфинкс встретил Музу вопросом: «Что неожиданнее молнии?»

«Возмездие», — молвила Муза.

«Что ненадежнее всего?»

«Мнимое достояние».

«Кто постиг мир?»

«Тот, кто постиг самого себя».

«В чем вечная тайна?»

«В Любви».

«Кто хранит эту тайну?»

«София».

Сфинкс болезненно скорчился, и Муза вернулась в пещеру.

«Я добыла вам тарантулов», — обратилась она к старухам, чья лампа горела, как прежде, способствуя усидчивым трудам. На старух напал страх, и одна из них бросилась на Музу, грозя ей своими ножницами, не заметив при это тарантула, старуха наступила на него, и тот укусил ее в пятку. Старуха взвыла. Другие хотели, было, пособить ей, но тоже получили свое, искусанные рассерженными тарантулами.

Это помешало им добраться до Музы, они только неистово скакали вокруг нее.

«Изволь соткать нам, — яростно закричали старухи малютке, — бальные платица. Наши жесткие юбки сковывают нас, нам до смерти жарко, да не забудь пропитать нитку паучьим жиром, чтоб не лопнула, и укрась ткань цветами, взращенными огнем, не то тебе конец!» «Будь по-вашему», — молвила Муза, исчезая за стеною.

«Я попотчую вас отменными мухами, — обратилась она к паукам-крестовикам, чья легчайшая ткань облекала потолок и стены, — а вы потрудитесь побыстрее соткать мне три хорошеньких платица. Украсьте ткань цветами, цветы не заставят себя ждать».

Пауки выразили готовность и начали ткать особенно проворно. Муза проскользнула к лестнице и поспешила к Арктуру.

«Монарх, — молвила она, — злобные танцуют, добрые почивают. Пламя уже здесь?»

«Пламя здесь, — отвечал король. — Ночь прошла, тает лед. Моя супруга приближается. Моя врагиня пала. Жизнь сказывается во всем. Пока еще нельзя мне явить себя, ибо я не король, пока я один. Выскажи свое желание!»

«Я пришла, — молвила Муза, — за цветами, взращенными огнем. Они, как известно, во власти твоего сведущего цветовода». «Цинк, — крикнул король, — добудь цветов!»

Цветовод покинул сонм придворных, принес горшок, наполненный огнем, и посеял семена, подобные блестящей пыли. Долго ждать не пришлось, цветы вспыхнули. Муза возвращалась, неся цветы в своем переднике. Пауки не теряли времени даром; не хватало только цветов, которыми пауки немед-

ленно воспользовались, обнаружив немалую сноровку и редкий вкус. Муза позаботилась о том, чтобы концы остались у пауков и не рвались.

Она подала платья измученным танцовщицам, которые поникли в испарине с непривычки и несколько мгновений приходили в себя. С незаурядной расторопностью и умением переодевала Муза костлявых очаровательниц, без устали продолжавших поносить услужливую малютку; сняв прежние наряды, она облачила старух в новые, очень миленькие, да и пришлись платьица как раз в пору. Деловито выполняя свои обязанности, Муза вслух восхищалась прелестями и любезностью владычиц, а те, весьма польщенные, явно радовались щегольским обновкам. Усталость прошла, их уже снова подмывало танцевать, и они бодро вальсировали, лукаво посулив малютке долголетие и щедрое вознаграждение. Муза направилась в соседнюю пещеру и возвестила паукам:

«Теперь вы можете спокойно закусить этими мухами; я завлекла их к вам в тенета».

Паукам и так уже надоели беспрестанные рывки; ткачи не расстались еще со своим изделием, а старухи прыгали в иступлении, так что целое полчище пауков вылезло из щелей и напало на танцовщиц; старухи пустили было в ход ножницы, однако Муза под шумок захватила их с собой. Старухи не осилили своих трудолюбивых собратьев, которым давно не доставалось такое роскошное угощение; каждая косточка была высохана досуха. Муза глянула в расщелину скалы; там наверху оказался Персей, у которого был огромный железный щит. Ножницы сами собой вознеслись, притянутые щитом, и Муза поручила герою подрезать Эросу крылышки, запечатлеть сестер своим щитом и довести до конца великое начинание.

Оставив затем подземное царство, она весело устремилась в палаты Арктура.

«Льняная пряжа готова. Безжизненное вновь лишилось души. Не будет власти, кроме жизни, образующей и направляющей безжизненное. Сокровенное откроется, наружное затаится. Занавес не преминет подняться, вот-вот начнут играть. У меня еще одна просьба, и я начну прясть вечность, чьи дни мои нити».

«Блаженное дитя, — молвил король в умилении, — ты освобождаешь нас».

«Чем была бы, когда бы не София, моя крестная, — ответила маленькая Муза. — Вели, чтобы меня сопровождали Турмалин, Цветовод и Золото. Не пропадать же пеплу моей приемной матери, а древнему миродержателю время встать и поднять землю, чтобы земля больше не обременяла хаоса».

Король кликнул всех троих и приказал им сопутствовать маленькой Музе.

В городе рассвело, на улицах кипела жизнь.

Морские волны с шумом растекались по расселинам скалы,

которую Муза миновала, сидя на королевской колеснице со своими спутниками. Турмалин бережно ловил в воздухе каждую частицу пепла. Они объезжали землю, пока не нашли древнего исполина и не спустились по его плечам. Казалось, удар поразил великана, чьи мышцы как будто онемели. Золото вложило ему в уста золотой, Цветовод подставил блюдо под бедра великану. Муза потрогала ему веки и опрокинула свой сосуд ему на чело. Когда влага, смочив веки, попала на уста и, струясь по всему телу, достигла блюда, молниеносная жизнь пронизала каждый мускул. Открыв глаза, великан встал как ни в чем не бывало. Земля поднялась, Муза одним прыжком присоединилась к своим спутникам, стоявшим на земле, и приветливо пожелала великану доброго утра.

«Ты снова здесь, прелестное дитя? — молвил старец. — То-то грезилась ты мне без конца. Я все думал, ты посетишь меня, пока моя земля и мои веки не отяжелели. Я вроде бы совсем за-спался».

«Земля больше не тяжела, она никогда не тяготила добрых, — ответила Муза. — Вновь начинается старина. К тебе уже возвращаются прежние наперсники. Я наряду тебе веселых дней, ты больше не будешь трудиться один, ты разделишь нашу отраду, рука об руку с подругой сподобишься ты юности и мощи. Где наши прежние утешительницы, гостеприимные геспериды?»

«Они там, где София. Вот-вот они увидят свой сад в цвету, вот-вот повеет аромат их золотых плодов. Геспериды кружат, срывая стебли, изнывающие в одиночестве.

Муза покинула его и побежала к дому, от которого остались одни руины. Стены оплел плющ. Там, где был раньше двор, теперь высился тенистый кустарник, а на ветхих ступенях нога утопала во мху. Муза переступила через порог. Жертвенник был восстановлен. Около него стояла София, у ног ее лежал Эрос в полном вооружении; он выглядел строгим и величавым как никогда. Драгоценный светильник был подвешен к потолку. Пол сверкал самоцветами, так что жертвенник возвышался в средоточии большого круга, являвшего изящные знаменательные узоры. Отец лежал как бы в глубоком забытии; Джиннистан плакала, склоняясь над ним. Ее цветущая краса вся была одухотворена чертами молитвенной преданности. Святая София ласково привлекла Музу к себе, приняв у ней из рук урну с пеплом.

«Милое дитя, — молвила София, — усердная и преданная, отныне ты приобщена к вечным светилам. В себе самой ты предпочла бессмертное начало. Владей Фениксом! Ты одушевишь нашу грядущую жизнь! Пора тебе будить жениха. Вестник призывает: Эросу время разыскать и пробудить Фрейю».

Муза неописуемо возликовала при этих словах. Кликнув своих спутников Золото и Цинка, Муза приблизилась к лежащему. Джиннистан с надеждою ждала, что она предпримет. Расплавив монету, Золото окунуло лежащего отца в блистающий поток.

Цинк укрепил свою цепь на груди Джиннистан. Трепетные волны приподняли тело.

«Нагнись, милая матушка, — молвила Муза, — тронь ладонью сердце любимого».

Джиннистан послушалась. Она узрела множество своих отражений. Влага и цепь, сердце и рука соприкоснулись. Спящий пробудился и заключил в свои объятия упоенную невесту. Металл застыл, образовав чистейшее зеркало. Отец встал, его глаза сияли, но, хотя облик его блистал красотой и премудростью, тело его как бы отличалось вечной текучей зыбкостью; оно прельщало бесчисленными всплесками, обнаруживая своей утонченной изменчивостью любое чувство.

Блаженная чета приблизилась к Софии, та посвятила их торжественно друг другу и заповедала им обо всем вопрошать зеркало: оно показывает подлинные облики, рассеивает ложную видимость, навеки удерживает первоначальные черты. Потом она опрокинула урну с пеплом в чашу, стоявшую на жертвеннике. Влага нежно взыграла, подтверждая, что растворение совершилось; одежды и волосы окружающих пошевелил тихий ветерок.

София вверила чашу Эросу, тот поднес ее другим. Все вкусили божественного напитка, и сердца несказанно возликовали, восприняв задушевную ласку матери. Отныне каждый был с ней неразлучен и как бы просветлен таинством ее вселения.

Чаемое было обретено и превзойдено обретением. Все постигли, чем восполнена их прежняя ущербность, и оказалось, что под этим кровом собрались блаженные.

София возвестила:

«Все сподобились великого откровения, однако на веки вечные тайна неисчерпаема. Рождение нового мира совершается в муках; пепел, растворенный в слезах, — эликсир бессмертия. Небесная мать обретается в каждом сердце, из века в век родит она каждого младенца. Слышите трепет упоительного рождества у вас в груди?»

Она опустошила чашу над жертвенником. Недра земли дрогнули. София молвила: «Эрос, не медли! С твоей сестрой ступай к твоей возлюбленной. Я не покину вас!»

Эрос и Муза со своими спутниками тут же отправились. Землею овладела неодолимая весна. Все всколыхнулось и ожило. Земля льнула к покрывалу. Веселая сумятица началась в небе: месяц и облака неслись на север. Королевская твердыня ослепительным блеском переливалась над морем; на крепостную стену вышел король во всем величии со своими приближенными. Прах клубился тут и там, в клубах его угадывались незабвенные облики. То и дело возникали по пути бесчисленные сонмы юношей и дев, спешащие ко двору, и раздавались ликующие приветственные возгласы. Кое-где на холмах счастливые влюбленные никак не могли прервать своих объятий; они слишком истомились друг по другу, и, едва проснувшись, принимали об-

новленную вселенную за свою грезу, однако над этим заблуждением непрерывно торжествовала отрадная явь.

Цветы и деревья неудержимо произрастали, облекаясь листьями. Все обрело дар слова и музыки. На каждом шагу здоровалась Муза со встречными, узнавая своих давних друзей. Кроткие звери ласкались к пробужденным людям. Растительный мир услаждал всех, плодонося, благоухая, даруя людям изысканное убранство. Не было человеческого сердца, с которого не свалился бы камень; былой гнет образовал незыблемую основу.

Путники достигли моря. Корабль из гладкой стали стоял на плаву, причаленный к берегу. Они вступили на борт и отчалили. Нос корабля указал на север, как бы в стремительном полете растревожив привязчивые волны. Лепечущие тростники сдержали этот буйный бег, и корабль тихо коснулся побережья. Путешественники поспешили взойти по широким ступеням. Столица во всем своем блеске являла восхитительное зрелище для Любви. Источник ожил и заиграл во дворе; деревья трепетали, упоительно зазвучав; дивная жизнь как будто билась и вскипала, согревая стволы и листья, вспыхивая в цветах и в плодах. Древний витязь предстал путникам у дворцовых врат.

«Высокочтимый старец, — произнесла Муза, — Эросу не обойтись без твоего меча. Золотом дарована цепь, что свяжет грудь его и море. За эту цепь держись, как я, и проводи нас в зал, где спит принцесса».

Старец вручил Эросу меч; Эрос поднес рукоять к своей груди, направив меч склоненным острием вперед. Двери в зал растворились, и Эрос, преисполненный восторга, шагнул к почивающей Фрейе. Внезапно раздался громовой удар. От принцессы к мечу рванулась яркая искра; меч и цепь вспыхнули, маленькая Муза не устояла бы на ногах, когда бы не витязь. Оперенный шлем Эроса едва не слетел с него.

«Бросай меч, — закричала Муза, — буди свою возлюбленную!»

Выпустив меч из рук, Эрос подбежал к принцессе и с жаром прильнул к желанным устам. Открыв огромные темные очи, принцесса увидела своего суженого. Вечные узы были скреплены долгим поцелуем.

Король и София рука об руку снизошли с купола. Их сопровождали светила и духи стихий сияющей чередой. Неопишимо отрадный дневной свет распространился в зале, во дворце, в городе, на небесах. Несметные сонмы хлынули в просторный королевский зал; в молитвенном безмолвии все созерцали коленопреклоненную чету; король и королева удостоили своего благословения жениха и невесту. Король снял свою диадему и увенчал ею золотокудрого Эроса. Древний витязь освободил Эроса от вооружения, и король облек его своей мантией. Потом король вложил в левую руку Эроса лилию, а София связала

сплетенные руки любящих бесценным украшением, возлагая при этом свою корону на темные косы Фрейи.

«Да здравствуют наши исконные властители, — кричал народ, — они никогда не покидали нас, а мы их забыли! Какое счастье! Их власть веки не минует! Мы тоже просим благословения!» София обратилась к молодой королеве: «Вверх воздуху эмблему вашего обручения, чтобы вечные узы сочетали народ и вселенную с вами».

Драгоценность растаяла в воздухе, и вскоре каждое чело окружено было сияющим нимбом, и яркая полоса возникла над городом, над морем и над землею, где навеки восторжествовала весна. Приблизился Персей с веретеном и коробкой. Он отдал коробку молодому королю.

«В ней, — молвил он, — все, что осталось от прежних твоих недругов».

В коробке оказалась каменная плита с черными и белыми клетками, а впридачу к ней целый набор фигурок из алебастра и черного мрамора.

«Эта игра называется шахматами, — объяснила София. — Война заключена отныне только в этих клетках и фигурах; в них увековечены бывшие мрачные времена».

Персей обернулся к Музе и вручил ей веретено:

«У тебя в руках это веретено сулит нам вечную отраду. Для нас ты будешь прясть сама себя, и твоя золотая нить никогда не разорвется».

Послышалась музыка: это Феникс опустился у ног Музы, раскинув перед нею свои крыла; приняв на них Музу, он воспарил над самым тронном, чтобы никогда больше не садиться. Муза божественно пела, приступая к своей новой пряже; казалось, нить возникает у нее в груди. Неизведанное восхищение охватило народ; все залюбовались ненаглядной малюткой. В дверях уже слышались новые возгласы восторга. Сопровождаемый чудесами своего двора, переступил через порог старец Месяц, как бы предваряя триумф: следом на руках народа явилась Джиннистан со своим женихом.

Цветы оплетали новоприбывших; королевская семья радушно обласкала их, а молодой король с королевой во всеуслышанье уполномочили их править на земле.

«Пожалуйста меня, — попросил Месяц, — былой областью Парок, чьи невиданные чертоги как раз поднялись из-под земли перед самым дворцом. Там буду я услаждать вас увлекательными зрелищами; маленькая Муза посодействует мне в этом».

Король удовлетворил его просьбу; маленькая Муза дружелюбно кивнула; народ предвкушал неведомое наслаждение. Геспериды пожелали новым властителям счастливого царствования, веряя свои сады монаршему покровительству. Король не отказал им в своей милости, и счету не было другим торжествующим

вестникам. Между тем трон исподволь менялся, и вот уже вместо него раскинулась роскошная брачная постель. Феникс парил над занавесью вместе с маленькой Музой. Сзади ложе держалось на трех кариатидах из темного порфира; базальтовый сфинкс подпирал его спереди. Возлюбленная вспыхнула в объятиях короля, и его пример не пропал даром: никто в народе больше не скрывал своей любви. Ничто не заглушало упоенного лепета и поцелуев. София молвила, наконец: «С нами мать; она не покинет нас, и в этом наша отрада. Вы найдете нас в нашей обители; в том храме мы всегда пребудем, оберегая вселенскую тайну». Муза прилежно прядла, распевая на весь мир:

Владеет вечность миром с этих пор,
Любовью завершился давний спор;
Скорбь минула, как сон, в моей стихии;
Святыня сердца вверена Софии.

Часть вторая

ОБРЕТЕНИЕ МОНАСТЫРЬ (ИЛИ ПРЕДДВЕРИЕ)

ASTRALIS

Дарована мне летним утром юность.
Пульс жизненный тогда забился вдруг
Впервые для меня, — пока любовь
В свои восторги глубже погружалась,
Явь открывалась мне, мое желанье
Проникновенной цельности предаться
Усиливалось властно каждый миг.
Блаженством бытие мое зачато.
Я средоточие, святой родник,
Откуда в мир томленье излилось,
Куда, многообразно преломляясь,
Потом томленье тихое течет.
Неведом вам, при вас возник я.
Однажды разве не при вас,
Лунатик, я, незванный, посетил
Веселый вечер тот? Забыли вы
Страх сладостный, воспламенивший вас?
Благоухал я в чашечке медовой,
Покачивался тихо мой цветок
В сиянии золотом. Ключ сокровенный,
Я был бореньем нежным. Сквозь меня
В меня впадало всё, меня качая;
И мой цветок впервые опылился.
Пир поцелуем кончился, не так ли?
В мой собственный поток я впал тогда.
Не просто молния — преображенье!
Весь мой цветок тогда пришел в движенье.
Обрел я самого себя в тот миг,
Земные чувства мыслями постиг.
Я был слепым еще, но звезд немало
Во мне, в чудесных далях трепетало.
Я был далеким эхом вездесущих
Времен минувших и времен грядущих.
В томлении, в любви неугасимой

Произрастанье мыслей — только взлет;
Тогда узнал я, как блаженство жжет,
И стала боль моя невыносимой.
Был светел холм, и расцветали дали;
Пророчества тогда крылами стали.
С Матильдой Генрих приобщен к святыне,
Они в едином образе отныне.
Преображенье — вот мое рожденье;
Я в небесах земное превозмог,
Пока подводит время свой итог,
Утратив навсегда свое владенье,
И требует обратно свой залог.

Новый мир близится, настает;
Солнечный свет затмит он вот-вот.
Будущее, чей свет беспечален,
Брезжит среди замшелых развалин.
Событие, будничное в старину,
Уподобляется дивному сну.
Всякий во всем, и всё во всяком;
Бог знаменован камнем и злагом.
Божий дух в человеке и звере;
Чувство наше сопутствует вере.
Пространство и время больше не в счет,
В прошлом будущее настает.
Отныне властвует Любовь.
Прясть начинает Муза вновь.
Ведется древняя игра,
И заклинанья вспомнить пора.
Душа мировая пробуждена,
Волнуется всюду, цветет она.
Всё друг во друге прозревает,
Всё друг во друге созревает.
Каждый во всех остальных заблистал
И, торжествуя в этом смешенье,
У них в глубинах велик и мал,
Во всех находит свое завершенье,
Тысячу новых своих начал.
Весь мир стал сном, сон миром стал.
То, что, казалось, было давно,
В грядущем далью возвещено.
Явить фантазия готова
Нити свои в сочетании странном,
И под покровом и без покрова
Магическим рассеясь туманом.
Со смертью жизнь в торжестве первозданном,
С любовью боль не разлучить;
И нет числа глубоким ранам,
Которых нам не залечить.

И сердце вдруг осиротеет,
Его прозреть заставит боль;
И безнадежно запустеет
Земная тусклая юдоль!
В слезах растает быстро тело,
Мир станет сенью гробовой,
Покуда сердце не сгорело,
Во мрак роняя пепел свой.

Глубоко задумавшись, пилигрим направлялся в горы по узкой тропе. День клонился к вечеру. Голубой воздух был пронизан резким ветром. Его переменчивые неясные голоса замирали, не успев прозвучать. Быть может, ветер подул оттуда, где осталось детство? Или подхватил он говор других земель? Эхо все еще не покидало сердца, хотя голоса казались незнакомыми. Пилигрим достиг тех гор, которые сулили вознаградить его паломничество. Сулили? Никто больше ничего не сулил ему. Гнетущая тревога, леденящая сушь беспросветной тоски влекли его в жуткую гористую пустыню. Тягостное паломничество подавило изнурительную борьбу душевных бурь. Усталость его была тиха. Вокруг него уже громоздилось неведомое; однако, опустившись на камень, он предпочел всматриваться в пройденный путь. Пилигрим подумал, что грезит или грезил до сих пор. Казалось, невозможно было окинуть взором всю красоту, возникшую перед ним. Душа его не выдержала, и он сразу же залился слезами, готовый бесследно исчезнуть в этой дали, завещав ей свои слезы. Содрогаясь от рыданий, он как бы опаматовался; тихое отрадное дуновение подкрепило его; вселенная вернулась к нему, и, былые утешители, помыслы заговорили вновь.

Аугсбург являл издалека свои башни. У самого окоема зеркальные воды пугали и завораживали своим блеском. Исполинский лес кивал путнику с величавым сочувствием; горы зубчатой стеною оберегали равнину и, казалось, многозначительно вторили своими речами лесу:

«Воды, бегите, вам не избежать нас; где струи, там струги, летучие струги мои. Я сокрушу тебя, я задушу тебя, в недра мои залучу тебя. С нами в союзе ты, пилигрим; твой недруг — наш недруг, детище наше; бежит похититель, но как избежать нас?»

Скорбный пилигрим обратился к былому, но куда девалось прежде невыразимое упоение? Лучшие воспоминания едва влачили, померкшие. Широкополая шляпа не старила пилигрима, однако ночному цветку не свойственны яркие краски. Целебный нектар его весны пролился слезами, пылкий дух его изнемог в глубоких вздохах. Сумеречный оттенок пепла возобладал над богатой расцветкой жизни.

Поодаль на горном склоне под вековым дубом привиделся пилигриму коленопреклоненный монах.

«Никак это старик придворный капеллан?» — подумалось

пилигриму, которого не слишком удивила бы такая встреча. Но вблизи монах как бы вырос, и облик его вырисовывался уже не так отчетливо. Пилигрим заметил свою оплошность: перед ним возвышался всего лишь камень, осененный деревом. Однако, умиrotворенный и растроганный, он обхватил камень руками и, всхлипывая, прильнул к нему: «Ах, если бы теперь сбылись предсказания, и Мать Небесная утешила бы меня Своим знаменем! Кто еще поддержит меня, когда мне так тяжело? Или ни один святой не снизойдет к моей заброшенности, помянув меня в своих молитвах? Как нужна мне сейчас твоя молитва, забыванный отец мой!»

Как бы в ответ на его мысли дерево затрепетало. Смутно зазвучал камень, и, словно зародившись в сокровенных земных недрах, донеслись чистые детские голоса, поющие хором:

Не ведала, бывало,
Счастливая, скорбей;
Теперь ей горя мало:
Младенец милый с ней.
Младенцу беспрестанно
Целует щеки мать
С любовью несказанной,
В которой благодать.

Детские голоса, казалось, были бы рады петь без конца. Неоднократно пропели они свой стишок. Когда тишина воцарилась вновь, пораженный пилигрим внял некоему голосу, как будто само дерево заговорило:

«Когда, заиграв на своей лютне, ты прославишь меня песней, тебе явится бедная дева. Прими ее и не расставайся о нею. Вспомни меня, когда будешь у императора. Я облюбовала это местопребыванье; я здесь, и со мною мое дитя. Воздвигни мне надежную уютную обитель. Мое дитя восторжествовало над смертью. Не сокрушайся, я тебя не покидаю. Поживи еще немного на земле, утешен девой, пока твоя кончина не сподобила тебя нашей отрады».

«Это говорила Матильда», — вскричал пилигрим и в молитве преклонил колени.

Пронизав крону дерева, непрерывное сияние хлынуло ему в глаза, позволив различить преуменьшенное далью, непостижимое великолепие, перед которым бессильно описание и красочная живопись. Там царили восхитительнейшие облики; глубочайший восторг, ликование, истинно небесная отрада стали доступны созерцанию, так что даже неодушевленные сосуды: столпы, ковры, словом, зримое убранство не казалось изделием: все это словно само взошло, сочетавшись в своем природном вожделинии, как буйная растительность.

Невозможно себе представить человеческие образы совершен-

нее тех, что встречались там в благоговейном, сладостном общении. Пилигрим видел свою возлюбленную; она предшествовала всем остальным, как бы обращаясь к нему. Однако ни единого звука не доносилось до него, и оставалось только с ненасытной скорбью всматриваться в милый лик, пока она, приложив руку к сердцу, нежно приветствовала его своей улыбкой. Бесконечно утешенный и ободренный, он еще упивался своим целительным восхищением, когда все скрылось. Чудотворное сияние унесло с собою тягостные печали и горести, так что на сердце вновь прояснилось, а дух воспрянул, по-прежнему вольный. Все прошло, кроме смутной сокровенной тоски, чья болезненная жалоба еще слышалась в тайниках души. Одиночество больше не терзало, несказанная утрата больше не растревляла душевных ран; мрачного опустошающего страха, гробового оцепенения как не бывало, и пилигрим словно очнулся в обжитом, осмысленном мире. Все с ним как бы сблизилось, вещая явственнее прежнего; жизнь снова заговорила в нем, увенчанная своим же собственным проявлением, смертью; и, как дитя, в блаженном умилении созерцал он свой преходящий земной век. Будущее и былое сочетались в нем кровными узами. Настоящее покинуло его, и он в своем уединении, утратив мир, возлюбил утраченное, чувствуя себя гостем в этих просторных красочных палатах, где вряд ли суждено ему задержаться. Когда свечерело, земля показалась ему родным старым домом; скиталец вернулся, наконец, а жилище заброшено.

Ожило множество воспоминаний. Не было такого камня, дерева или пригорка, который не взывал бы снова и снова к памяти, знаменуя минувшее событие. Струны лютни вторили песне пилигрима:

1

Слезы, здесь вам время слиться,
Помолиться
В тихом таинстве напева;
В этой пустыни чудесной
Был мне явлен рай небесный,
Слезы — пчелы возле древа.

2

В грозы к ним густая крона
Благосклонна;
Вековые ветви крепки;
Благодатная в награду
Приобщеньем к вертограду
Оживит сухие шепки.

3

Упоен утес плененный,
 К Ней склоненный.
 В Ней почтил он совершенство.
 Как не плакать на молитве?
 За Нее в смертельной битве
 Кровь свою пролить — блаженство.

4

Обретает здесь томленье
 Исцеленье.
 На коленях стой в надежде:
 Будет страждущий излечен;
 Вспомнит, весел и беспечен,
 Как он жаловался прежде.

5

Строгий дух в таких оплотах
 На высотах;
 Если горестные пени
 Вдруг слышатся в долинах,
 Легче сердцу на вершинах,
 Там, где ввысь ведут ступени.

6

Средь мирского бездорожья,
 Матерь Божья,
 Свет являя долгожданный,
 Возвратила Ты мне силы.
 Ты, Матильда, светоч милый,
 Чувств моих венец желанный.

7

Возвестишь по доброй воле
 Ты, доколе
 Мне скитаться в ожиданье;
 В каждой песне верен чуду,
 Эту землю славить буду.
 Наше близится свиданье.

8

Чудеса времен текущих,
 Дней грядущих!

Вами здесь душа согрета.
Это место назабвенно.
Сны дурные смысл мгновенно
Пресвятой источник света.

Пилигрим ничего не замечал, пока пел. Посмотрев прямо перед собой, неподалеку от камня он увидел юную девушку, как будто хорошо знавшую его, потому что, радушно поздоровавшись, она позвала путника ужинать. Он сердечно обнял ее. Она сама и весь ее обычай сразу пришлись ему по душе. Девушка попросила повременить немного, приблизилась к дереву, и, откровенно улыбаясь, устремила взор ввысь, пока на траву сыпались многочисленные розы из ее передника. Смирненно преклонив колени, она быстро встала и удалилась вместе с пилигримом.

«От кого ты слышала обо мне?» — осведомился он.

«От нашей Матери».

«Кто она такая?»

«Богоматерь».

«Ты здесь давно?»

«С тех пор, как покинула могилу».

«Ты уже испытала смерть?»

«Иначе откуда же моя жизнь?»

«Ты здесь одна?»

«Старец остался дома, однако мне знакомы многие другие жители».

«Готова ты мне сопутствовать?»

«Конечно! Ты мне по сердцу».

«Разве ты меня знаешь?»

«Издавна; у меня когда-то была мать, постоянно говорившая о тебе».

«У тебя не одна мать?»

«Мать не одна, потому что Она одна-единственная».

«Как ее имя?»

«Мария».

«А как зовется твой отец?»

«Граф фон Гогенцоллерн».

«Его-то я знаю!»

«Еще бы тебе не знать своего отца!»

«Мой отец остался в Эйзенахе».

«У тебя не один отец, как не одна мать».

«Куда мы направляемся?»

«Домой, куда же еще...»

Перед ними раскинулась обширная лесная поляна, где возвышались полуразрушенные укрепления, опоясанные глубокими рвами. Цепкий подлесок льнул к древним стенам; так зеленеющий веночек окаймляет серебристую старческую седину. Можно было окинуть взором бесконечные времена и заметить при этом,

как величайшие события вмещались в мимолетные ослепительные минуты, о чем свидетельствовали сумрачные камни, молниевидные трещины, угрюмые длинные тени. Так небо позволяет нам созерцать беспредельную даль, подернутую мгlistой голубизною, и, словно в млечных перееливах, непорочных, как ланиты ребенка, неисчислимую череду своих громоздких, необъятных миров. Они миновали древние врата, и пилигрим к немалому своему изумлению обнаружил вокруг необычные насаждения, убедившись, что среди руин таятся красоты ненаглядного сада. За деревьями уютился каменный домик, отстроенный на новый лад; окна были достаточно велики, чтобы пропускать свет в изобилии. Возле дома красовался широколиственный кустарник, чьи гибкие ветви нуждались в колышках; старик стоял и подвязывал хрупкую поросль.

Провожатая вела пилигрима прямо к старику и, приблизившись, молвила: «Это Генрих; о нем ты меня часто спрашивал».

Когда старик обратился к нему, Генриху почудилось, будто он снова встретился с горняком.

«Ты у врача Сильвестра», — молвила девушка.

Сильвестр принял Генриха с радостью и поведал ему: «Твой отец был не старше тебя, когда он посетил меня; это было уже давно. Он расположил меня к себе, и я был не прочь показать ему бесценные древние клады, что завещал нам безвременно почивший мир. На мой взгляд, в твоём отце таился великий ваятель или живописец. Глаз у него был быстрый и ненасытный, именно такой глаз творит. Лицо его свидетельствовало о неколебимом, выносливом усердии. Однако он оказался слишком восприимчив к нынешней суете и не придавал значения требованиям своего глубочайшего призвания. Сумрачное угрюмое небо его отчизны не пощадило хрупкого побега, и редкостный цветок зачах в нем. Он просто набил себе руку, как всякий умелец; возможные наития обернулись чудачеством».

«Я и сам, — ответил Генрих, — нередко с горечью наблюдал в нем тайную досаду. В его неутомимом трудолюбии не чувствуется подлинного пыла, он сжился со своей работой — и только. Он словно страдает от некоего изъяна, и его не может утешить беспечное житейское довольство, преуспеяние в делах, почет и приязнь соседей, привыкших ценить его мнение во всем, что касается нашего города. Все, кто знает его, убеждены, что он счастлив; никто не подозревает, как приелась ему жизнь, как одинок он подчас в этом мире, как он стремится в другой мир, усердствуя в надежде подавить это чувство, а вовсе не ради прибыли».

«Меня поражает одно обстоятельство, — заметил Сильвестр. — Он позволил вам расти исключительно под влиянием вашей матушки, а сам как будто остерегался посягнуть на ваши искания, навязать вам то или иное ремесло. Можно сказать, вам посчастливилось: по милости ваших родителей, ваша юность не испытала ни малейшего стеснения, а на долю других обычно

выпадают разве только жалкие крохи обильного пиршества, на которое набрасывались все, кому не лень, сообразно со своей алчностью и прихотями».

«И вправду, — отвечал Генрих, — родители воспитывали меня лишь своим примером и душевным опытом, а мой учитель придворный капеллан — своими наставлениями, никакого другого воспитания я не ведал. Хотя мой отец, всегда сохраняя упорную, трезвую рассудительность, привык в любом случае различать металл и художественную отделку, он, сдастся мне, без всякой задней мысли, непреднамеренно, с богобоязненным трепетом преклоняется перед возвышенным и неизъяснимым в жизни, так что дитя для него — цветок, в который подобает всматриваться с кротким самоотречением. Неистощимый родник сказывается здесь, даруя свой чистый дух; и это впечатляющее величие ребенка, сведущего в наивысшем, несомненное хранительное участие при первых шагах этой неискушенной души, чей ненадежный путь едва-едва начинается, влияние таинственного соприкосновения, еще неизглаженного дольными водами, и, наконец, гармоническое приобщение к своему поэтическому прошлому, когда мир был для нас яснее, приветливее, чудеснее, и вещий дух, почти не таясь, напутствовал нас, — все это, как некая святыня, внушало моему отцу подобающую робость».

«Отдохнем здесь на дерновой скамье среди цветов, — прервал его старик. — Циана кликнет нас, когда приготовит ужин, а пока, если моя просьба не затруднит вас, поведайте мне подробнее о вашем прошлом. Нам, старикам, отраднее всего внимать повествованиям о детских годах, как будто вы со мною делитесь благоуханием цветка, недоступного мне с тех пор, как миновало мое детство. Правда, я хотел бы сперва услышать от вас, по душе ли вам моя уединенная обитель и мой вертоград, чьи цветы — моя утеха. Это цветник моего сердца. Вы не увидите здесь ничего, кроме сердечной взаимной любви. Здесь окружен я моим потомством, как будто я старое дерево и этой жизнерадостной юности не было бы без моих корней».

«Счастливым отец, — молвил Генрих, — вселенная — ваш вертоград. Ваши дети процветают, но их матери — руины. Красочная творческая жизнь вскормлена останками старины. Или смерть матери необходима для того, чтобы потомство не зачахло, а отцу остается в одиночестве лить вечные слезы у нее на могиле?»

Пытаясь утешить плачущего юношу рукопожатием, Сильвестр поднялся со скамьи; незабудка едва-едва распустилась; он украсил ею кипарисовую ветвь, которую вручил своему гостю. Таинственным прикосновением волновал в сумерках ветер хвою сосен, высившихся над руинами. Сосны отвечали смутным ропотом.

Генрих скрыл свои слезы, обняв доброго Сильвестра, а когда он поднял глаза, над лесом уже сияла вечерняя звезда во всем своем величии.

Вскоре Сильвестр нарушил молчание:

«Жалко, что не довелось мне наблюдать вас в Эйзенахе, когда вы играли со своими одногодками. Ваш отец, ваша матушка, ваша крестная, достойнейшая государыня, добрые друзья вашего дома и этот старец придворный капеллан, — лучшего окружения и пожелать нельзя. Их речи, надо полагать, с малых лет способствовали вашему развитию, ведь у вас не было ни братьев, ни сестер. К тому же, сдается мне, тамошние окрестности на редкость живописны и достопамятны».

«Только теперь, в отдалении, — заметил Генрих, — посетив много других областей, научился я ценить свои родные места. Для злака, для дерева, для пригорка и утеса предопределена окрестность, своеобразная, но неизменная, известный предел, дальше которого ничего не видать. Их окрестность — их достояние, под стать которому вся их природа, вся их вещественность. Другие пространства открыты лишь человеку и зверю; они владеют всеми пространствами, образующими вселенную, так сказать, беспредельный предел, и к беспредельности человек и зверь приноравливаются, что так же несомненно для наблюдателя, как приверженность злака своей узкой полосе. Поэтому путешественники среди людей, перелетные среди птиц и хищники среди четвероногих выделяются своей сообразительностью, необычными дарованиями или повадками. Но, разумеется, и среди этих избранных кто лучше, кто хуже усваивает воспитующие внушения, на которые не скупится вселенная, щедрая по самой своей гармонической сути. Далеко не всегда наделен человек уравновешенностью и наблюдательностью, необходимыми для того, чтобы уловить чередования и сочетания в достопримечательном, осмыслить и сопоставить виденное, как подобает. Теперь я все чаще распознаю в моих первых помыслах немеркнущие цвета отчизны, ее веянья, неповторимое предзнаменование моей личности, которое я постепенно разгадываю, все отчетливее постигая: судьбою и личностью называют, в сущности одно и то же».

«А для меня, — молвил Сильвестр, — неодолинее всего обаяние живой природы, земля, как бы примеривающая различные облачения. Особенно привлекает меня кропотливое исследование флоры, чьи дети так мало похожи друг на друга. Сама почва говорит всходами, как словами; в каждом новом листе, в каждой цветке по-своему раскрывается некая тайна, чья любовь, чье вожделение недвижно и безмолвно, так что образуется кроткое, безгласное растение. Когда где-нибудь в безлюдных дебрях встречается такой цветок, разве не вся окрестность причастна его красоте, разве крылатые малютки певчие не льнут именно к нему? Так и оросил бы землю блаженными словами, чтобы руки и ноги вросли в нее, укоренились, навеки закрепив благодатное соседство. Любовь даровала изнывающему миру свой непостижимый зеленый покров, и эта изысканная тайнопись лишь для любимого разборчива, недаром на востоке каждый цветок что-

нибудь означает. Тут сколько ни читай, все будет мало; день за днем обнаруживаются новые значения; когда природа любит, она не таясь, просвещает нас неизведанными восторгами, так что упиваешься без конца; вот сокровенный соблазн, влекущий меня странствовать по земле; где-нибудь найдется ключ к любой загадке; лишь постепенно постигаешь начало и цель каждого пути».

«Действительно, — согласился Генрих, — наша беседа о детских годах и о воспитании навеяна вашим садом; настоящие провозвестники детства — невинное племя цветов; цветы втихомолку оживили у нас в памяти и накликали к нам на уста свидетельство исконного союза. Мой отец тоже глубоко предан саду; нигде не бывает ему так хорошо, как в своем цветнике. Отсюда его чуткое внимание к детям: в цветах узнаешь детей. Совершенное изобилие неисчерпаемой жизни, яростные стихии последующих эпох, ослепительное светопреставление, все и вся в золотом грядущем созерцаются еще здесь в сокровенной нерасторжимости, однако уже обновленные нежно и явственно. Любовь неодолима, однако здесь любовь — произрастание, а не всеожожение. Вместо губительного пыла здесь летучий аромат; и здесь души проникновенно сочетаются в упоительной неге, но здесь не увидишь дикого иступления, алчной страсти, свойственной зверю. Первоначальное детство никнет к земле; напротив, не распознается ли в облаках грядущее небесное детство, обетованный рай, столь благосклонный к своему здешнему предвестию?»

«Спору нет, облака овеваны тайной, — ответил Сильвестр, — та или иная облачность порою приобретает над нами странную власть. Облака плывут, как бы готовые приобщить нас к своей сумрачной прохладе, чтобы мы им сопутствовали, а когда они своим изяществом и красочностью напоминают нам, как улечиваются наши задушевные чаянья, сияние овладевает всей землею, и мы предчувствуем неизъяснимое, неописуемое великолепие. Но иногда в небе распространяется хмурое, гнетущее, жуткое ненастье, как будто сама древняя Ночь ополчила против нас все свои мороки. Кажется, небо навеки омрачилось, нет больше ласковой голубизны, и медно-красная ржавчина на черно-серой тверди заставляет болезненно ныть человеческое сердце. А когда высовываются зловещие огненные жала и сокрушительный гром подобен издевательскому хохоту, унижительный страх пронизывает нас, и если не восторжествует сознание нашего духовного избранничества, мы воображаем, будто преисподняя на нас наслала свои полчища и свирепые демоны помыкают нами. Так напоминает о себе бывшая природа, чуждая человечности, но так же пробуждает нас природа высшая, наша небесная совесть. Твердыня смертной природы потрясена, зато сияет бессмертное в своем просветляющем самопознании».

«Когда же вселенная, — спросил Генрих, — избавится от ужасов, страданий, бедствий и перестанет нуждаться в зле?»

«Когда в мире будет властвовать одна только совесть, которой благонаравно покорится укрощенная природа. Теперь повсюду властвует слабость, отсюда и зло, ибо что такое слабость, если не притупленность нравственного чувства, склонного пренебрегать собственной свободой».

«Поведайте же мне, в чем природа совести».

«Об этом надо просить Бога. Познание совести — это сама совесть. Попробуйте поведать мне, в чем заключается поэзия».

«Наше сокровенное существо не поддается выявлению».

«Насколько же сокровеннее совершенная целостность. Поймет ли глухой, что такое музыка?»

«Итак, чувство всегда сродни миру, который в нем явлен, и усваивается только то, что принадлежит нам?»

«Вселенную составляют бесчисленные миры, меньший мир всегда заключен в большем. Все чувства подытоживаются единым чувством. Нет такого мира, и нет такого чувства, которому были бы чужды остальные миры в своей последовательности. Но всему присущ свой срок и свой обычай. Лишь вселенскому «я» дано постигнуть своеобразие нашего мира. Кто знает, способны ли мы, замкнутые в нашем теле, действительно приобщиться к мирам иным, обретая иные чувства, или, познавая, мы только совершенствуем наш здешний жизненный опыт новыми возможностями?»

«А не совпадают ли эти два пути, — молвил Генрих. — Для меня несомненно одно: лишь с помощью Музы дано мне освоить мой нынешний мир. Даже если чувства и миры порождены совестью, этим средоточием нашего существа, для меня совесть — лишь душа вселенского стиха, лишь проявление извечной романтической собранности, жизни, единой в неисчерпаемом разнообразии».

«Добрый пилигрим, — ответил Сильвестр, — строгая законченность, воплощение истины — всегда свидетельство совести. Совесть по-своему сказывается, преображаясь в любом побуждении, в любом искусстве, осмысленно обрисовывающем свой мир. Мы все совершенствуемся ради свободы, иначе не скажешь; только свобода — это вовсе не умозрение, это изначальное творчество, без которого нет бытия, истинное художество. Вольный замысел художника покоряет, придерживаясь размеренной мудрой постепенности. Художник располагает предметами своего искусства, он владеет ими, они не связывают и не тяготят его. Этой безграничной вольностью, художеством или властью и живет совесть, откровение божественной самобытности, первичное самосоздание нашего существа; и в каждом начинании художника явственно нисходит целостный мир вне всяких заблуждений — Слово Божие».

«Итак, то, что прежде, помнится слыло этикой, на самом деле религия, истинная наука, теология, если воспользоваться привычным наименованием? Законодательство, над которым благочестие, как Бог над природой? Воздвижение Слова, гармония помышлений, в которых читается, выступает или таится

горнее соответственно той или иной степени совершенства? Религия для пронизательности и для разума, правый суд, справедливое определение и разрешение всех жизненных вопросов, сопутствующих отдельному лицу?»

«Так или иначе, — молвил Сильвестр, — совесть от рождения сопутствует человеку и приобретает его к Богу. Совесть — как бы земная наместница Бога, поэтому для многих нет ничего выше совести. Однако учения, именуемые этическими или моральными, не сумели поныне даже приблизительно очертить совершенный облик этой благородной, пространной и такой личной идеи. Совесть человека — это сам человек в своей совершенной человечности, небесный Адам. Совесть не поддается членению, она избегает общих предписаний и не сводится к разным добродетелям. Добродетель едина; это безупречная твердая воля, не знающая колебаний, когда настает ее час. В своей одушевляющей неповторимой цельности она владеет телом человеческим, этим нежным символом; кто, как не она, движет всеми фибрами нашего духовного существа, не позволяя им бездействовать».

«О достойный отец мой! — воскликнул Генрих, перебивая его. — Ваши речи восхищают меня, просвещая! Конечно же, Музу вдохновляет сама добродетель в привлекательном убранстве; ей повинуются поэтическое искусство, чье истинное назначение — пробуждать сущее в его совершенной первозданности. Ошеломляющее своеобразие роднит истинную песню и высокий подвиг. Когда согласие устанавливается в обжитом мире, спокойная совесть — обаятельная собеседница или вечная сказительница Муза. Эти луга и замки — исконная обитель поэта, пока поэт на земле; добродетель — его проводница и вдохновительница. Если добродетель причастна человечеству, как некое божественное сияние свыше, Муза тоже такова, и поэту без всякого сомнения позволительно верить своим наитиям, руководствоваться наставлениями горних вестников, когда поэт одарен сверх земной меры, словом, по-детски кротко внимать своему гению. И в поэте вещает сверхчувственное начало вселенной, и до нас доносятся чарующие призывы обителей, более родных и более свойственных нам. Вера для добродетели то же, что наитие в заветах Музы, и если в Святых Писаниях собраны предания об Откровениях, заветы Музы, не скупясь на краски, запечатлевают нездешнюю горную жизнь в сказаниях, чей исток — чудо. Муза и предание в причудливых нарядах задушевно сотрудничают на своих извилистых стезях; Библия и завет Музы — союзные светила».

«Вы верно говорите, — молвил Сильвестр. — Сами видите: природа зиждется на одной добродетели, чей дух упрочивает ее. Он воспламеняет, живит, просвещает дольную ограниченность. От звездного свода в этой величественной твердыне до последнего завитка в цветной кайме луга все основано единым духом; он приобретает нас ко всему, являя неисповедимый путь естественной истории, чья цель — просветление».

«Да, вы уже убедили меня в том, как восхитительно сочетаются добродетель и религия. В границах пережитого, в пределах земной предприимчивости везде сказывается совесть, связующая дольний мир с мирами иными. На высотах чувства дает себя знать религия, и в необходимости, доселе как бы загадочной, в нашем сокровеннейшем побуждении, всевластном, но якобы беспредметном, обретается дивная, многоликая, желанная родина, блаженное Богочеловечество в неизъяснимой проникновенности, когда обожествляющая воля или любовь, не покидая нас, царит во всех тайниках нашей души».

«Вы провидец, потому что вы чисты сердцем, — ответил Сильвестр. — Для вас нет непостижимого; вы прочитаете вселенную со всеми бытиями, как Святое Писание; оно остается для нас образцом, бесхитростно являя единое бытие в словах и в преданиях, если не описывая, то внушая истину нашей душе, которую волнует и окрыляет восхищение.

Природа не отказала моей пылкости в том, что вы извели, упиваясь вашей вдохновительницей речью. Искусство, история были преподаны мне природой. Известная всему миру гора Этна, что на Сицилии, высилась вблизи нашего жилища. Моим родителям принадлежал уютный дом, воздвигнутый в духе прежнего зодчества; море совсем рядом разбивалось о прибрежные утесы; осененный старыми-престарыми каштанами, дом был достоин великолепного сада, где все цвело и плодоносило. Рыбаки, пастухи, виноградари расселились по соседству в своих лачугах. Под нашим кровом изобиловали разные припасы, насыщающие и улаждающие жизнь, а домашняя утварь своей продуманной отделкой угождала даже затаенным пристрастиям. Имелись многообразные сокровища, как бы предназначенные своей красотой возносить наше чувство над повседневными нуждами, чтобы мы впоследствии удостоились другой жизни, более для нас подобающей, а пока наслаждались нашим истинным призванием в безгрешных предвестиях и предвкушениях. Взор привлекали каменные изваяния людей, вазы, украшенные живописными сценами, камни поменьше, вернее, безупречные резные фигурки и другие изделия, вероятно завещанные нам былыми, счастливейшими эпохами. Множество пергаментных свитков хранилось в ларцах; письмена необозримым строем запечатлели наследие тех веков; их наука, их нравы, предания и песни оживали в оборотах речи, не утративших своей изысканной прелести. Мой отец был известен как сведущий астролог, и к нему постоянно обращались, иногда пускаясь в долгое путешествие, чтобы побеседовать с ним, а так как человечество привыкло благоговеть перед прорицателями, никто не скупился, воздавая должное столь необычному искусству; щедрые преподавания вполне позволяли отцу пользоваться всеми благами и удовольствиями обеспеченной жизни...»

Людвиг Тик о продолжении романа

Дальше продвинуться в работе над второй частью автору не довелось. Назвав первую часть «Чаяннем», эту часть назвал он «Обретением», так как в ней осмысливаются и сбываются предчувствия, еще смутные в первой части. За «Офтердингеном» должны были последовать еще шесть романов, согласно замыслу поэта, надеявшегося посвятить по одному роману своим воззрениям на физику, на гражданское устройство, на предпринимательство, на историю, на политику и на любовь, как «Офтердингена» посвятил он поэзии. Нет нужды объяснять искушенному читателю, что в данном сочинении автор отнюдь не стеснялся буквальной верностью эпохе или особе прославленного миннезингера, хотя все в романе овеяно его эпохой и его духом. Не только друзья поэта безутешны, само искусство обездолено: остался незавершенным роман, вторая часть которого превзошла бы первую своей самобытностью и величием. Ибо автор меньше всего пытался просто представить какие-нибудь обстоятельства, обрисовать одну из многих сторон поэзии, подчиняя действие и персонажей задачам истолкования, нет, он вознамерился, о чем определенно свидетельствует уже последняя глава первой части, осветить поэзию как таковую в ее глубочайших устремлениях. Вот почему природа, история, война, мирная повседневность во всей своей заурядности оборачиваются поэзией, чей живой дух пронизывает вещи.

Надеюсь, что мне удастся на основании подробностей, запомнившихся после бесед с моим другом и с помощью набросков, обнаруженных мною в его черновиках, показать читателю, какую была задумана вторая часть романа.

Для поэта, овладевшего своим искусством в самом его средоточии, нет ничего непримиримого и неприемлемого; он обрел ключ ко всем загадкам; магическими узами своего воображения способен поэт сочетать любые времена с любыми мирами; нет больше ничего сверхъестественного, ибо само естество чудотворно; таково это творение, и сказка, завершающая первую часть, поражает читателя особенно дерзкими сочетаниями; в сказке упразднены все границы времен, слившихся до сих пор обособленными в неприязненном противостоянии миров. Именно сказка, по замыслу поэта, в основном предвдварает вторую часть, где повседневность неуклонно впадает в чудеснейшее; так что повествование определяется их общением, истолковывающим и обогащающим; явление духа, возвестив-

шего стихи пролога, предполагалось после каждой главы; ему надлежало поддерживать веянье чудесного в каждом предмете. Этот прием позволял бы неразрывно сочетать зримое с незримым. Сама поэзия представлена этим великим духом, он же астральный человек, рожденный объятием Генриха и Матильды. Вот стихи, предназначенные для романа; в этих стихах со всей непринужденностью сказывается сокровенный дух, при-
сущий книгам нашего автора:

Когда в числе и в очертаньи
Не раскрывается создание,
Когда стихом и поцелуем
Над мудростью мы торжествуем,
Когда, предчувствуя свободу,
Обрящет мир свою природу,
Когда сольется тень со светом,
Сияньем чистым став при этом
И в песне разве что да в сказке
Былое подлежит огласке,
Тайное слово одно таково,
Что сгинет превратное естество.

Старец, некогда оказавший гостеприимство Офтердингену-отцу — собеседник Генриха, садовник; не он отец юной девы по имени Циана; ее отец граф фон Гогенцоллерн; Восток — ее родина, рано покинутая, но памятная; ее мать умерла и после смерти растила свою дочь в горах, где та долго жила странной жизнью; у нее был брат, уже давно скончавшийся; однажды она сама чуть не умерла, уже похороненная в склепе, однако спасенная чудесным искусством старого врача. Она довольна жизнью и ласкова; таинственное — ее стихия. Она повествует поэту о его жизни, которая известна ей со слов матери. Отправившись по совету Цианы в отделенную обитель, Генрих там находит монахов, как бы некое сообщество духов; весь монастырь подобен мистической ложе: там царит магия. Тамошние священнослужители призваны возжигать благословенное пламя в юных сердцах. Напев братьев доносится изда-
лека; Генрих сподобляется видения в храме. С престарелым чернецом беседует Генрих о смерти и магии; смерть и философский камень смутно грезятся ему; Генриха привлекают монастырский сад и кладби-
ще; последнему посвящены такие стихи:

Наше тихое веселье,
Нивы, цветники, чертоги,
Утварь нашу, скарб домашний
Славьте вспомнив нас.
Вечно длится новоселье,
К нам приводят все дороги,
В очагах огонь всегдашний,
Новый пламень, что ни час.

Ослепительные чаши,
Увлажненные слезами,
Шпоры, кольца золотые
Бережно храним;
А в пещерах сокровенных
Мириады несравненных
Самоцветов драгоценных:
Этот клад неисчислил.

Дети времени седого,
Повелители былого.
Духи звезд великим кругом
Соединены.
Здесь любят друг другом
Жены, девы, старцы, дети;
Замкнут круг тысячелетий
В мире вечной старины.

Каждый гость, как мы, беспечен
Никогда не удалится
Тот, кто радостно пирует
С нами за столом.
Бег часов песочных вечен,
Здесь нельзя не исцелиться;
Исцеление чарует:
Здесь не плачут о былом.

И в святом своем покое
Благосклонно к нашим взорам
Задушевно голубое
Небо навсегда
В одеянях окрыленных
Мы вверяемся просторам,
Где среди лугов зеленых
Неизвестны холода.

Упоенье вечной ночи,
Власть беззвучных средоточий,
Игры тайных сочетаний
Нам постичь дано.
Сладостный предел желаний:
Заиграть в потоке цельном,
Словно брызги в беспредельном,
И пригубить заодно.

Стала жизнь для нас любовью;
Задушевно, как стихии,
Слиться рады мы в потоки;

В этом наша жизнь.
Разлучаются потоки,
Сталкиваются стихии
С беспредельною любовью:
Сердце в сердце — наша жизнь

Нежный говор слышен смутно,
Мы прислушаемся чутко;
Зрелище блаженных чудно.
Пища наша — поцелуй.
Нам другой не нужно дани.
Стало все для нас плодами.
Перси нас предугадали
В жертвенном пылу.

Раствориться бы в желанном;
С ним в томленьи беспрестанном,
В сочетаньи долгожданном
Слиться бы вполне;
И прельщать всегда друг друга,
Поглощать всегда друг друга,
Насыщать всегда друг друга
Лишь друг другом в глубине.

Мы в блаженстве пребываем.
Искра тусклая мирская
Дико вспыхнула, сверкая,
Чтобы догореть;
Был могильный холм насыпан,
Догорел костер печальный,
Чтоб душе многострадальной
Черт земных не видеть впредь.

Волшебством воспоминаний
В нас тревоги зазвучали;
Жар былых очарований
В сердце не угас;
Раны вечные бывают;
Богоданные печали
Нас в один поток сливают,
Растворив сначала нас.

Сокровенными волнами
В океан течем первичный;
Богу в сердце мы впадаем
С ним наедине;
Божье сердце движет нами;
Обретаем круг привычный,

Высшим духом обладаем
В нашей вечной быстрине.

Сбросьте цепи золотые,
Изумруды и рубины;
Сбейте пряжки, звон заклятый
С блеском заодно!
Покидайте гробовые
Бездны, логова, руины.
К Музе в горние палаты
Взмыть цветущим суждено.

Знать бы людям нашу силу!
Мы причастны неизменно
Их счастливым упованиям
Помощью своей.
С беззаботным ликованием
Уходили бы в могилу;
Время бы прошло мгновенно.
Приходите к нам скорей!

Обрести бы нам совместно
Жизнь и смерть в едином слове!
Будет слово нам известно,
Будет связан дух земли.
Нам в твоих пределах тесно,
Меркнешь ты при нашем зове;
Мы пленим тебя совместно.
Век твой минул, дух земли!

Вероятно, это стихотворение, опять-таки предшествовало бы второй главе, как пролог. Здесь намечался поворотный пункт; глубочайшее спокойствие смерти приводило бы к высотам жизни; Генрих посетил мертвых и даже общался с ними; продолжение книги было задумано в драматической форме; повествование лишь оттеняло бы слегка смысл в сочетании различных сцен. Вот Генрих в тревожной Италии, сотрясаемой битвами; он военачальник, у него в подчинении рать. Стихии войны играют всеми своими поэтическими красками. Генрих врывается во вражеский город, возглавив удальцов; любовь благородного пизанца к флорентийской деве представлена как эпизод. Военственные песнопения. «Война как возвышенное, гуманное единоборство, поистине величественна в своей мудрости. Дух старинных рыцарских орденов. Конные ристания. Дух вакхического томления. Человеку подобает пасть от руки человека; это достойнее, чем умереть по произволу рока. Человек ищет смерти. Воитель жаждет подвига и славы, в этом его жизнь. Тень павшего воителя жива. Воинский дух — упоение смертью. Война обосновалась на земле. Земля обречена войне». Сын императора Фридриха II знакомится с Генрихом в Пизе; между ними завязывается

тесная дружба. Генрих также посещает Лоретто. Тут последовали бы некоторые песни.

Поэт заброшен бурей в Грецию. Древность покоряет его своей героикой и роскошным художеством. Некий грек рассуждает с Генрихом о морали. Былое уже не чуждо Генриху, он учится понимать древние изваяния и легенды. Обсуждаются государственные учреждения греков, их мифы.

Освоив героическую старину и древность, Генрих прибывает на Восток, о котором он мечтал еще ребенком. Генрих видит Иерусалим, изучает восточные стихотворения. Он сталкивается с мусульманами; таинственные события увлекают его в безлюдную местность, где находит он родичей восточной девы (см. первую часть); нравы и обычаи кочевников. Персидские сказки. Свидетельства глубочайшей старины. При всей пестроте повествования книга не должна была терять своей особой красочности, возвещая голубой цветок; предстояло сочетать многообразнейшие сюжеты иногда самого неожиданного происхождения: эллинские, восточные, ветхозаветные, христианские; веянья и отголоски то индийской, то нордической мифологии. Крестовые походы. Мореплавание. Генрих в Риме. Исторические судьбы Рима.

Генрих многое испытал и пережил. Он снова в Германии. Генрих навещает своего деда, оценив его глубокомысленную задушевность. Клингзор с ним неразлучен. Их разговоры по вечерам.

Генрих при дворе императора Фридриха, он представлен государю. По замыслу автора, двор впечатляет своей значительностью; было бы выведено собрание избранных, возвышеннейшие, удивительные посланцы всего тогдашнего мира, круг, достойный своего государя. Торжествует истинное великолепие, благородная общительность. Истоковывается германский дух и германская история. Генрих — собеседник императора. Между ними заходит речь о началах правления, о принципе империи. Смутные слухи об Америке и Ост-Индии. Воззрения государя. Кесарь мистический. Книга «*De tribus impostoribus*»*.

По-новому испытав и, по сравнению с «Чаяньем», то есть с первой частью, гораздо глубже изведав природу, жизнь, смерть, войну, Восток, историю и поэзию, Генрих обретает самого себя, как свою исконную родину. Постигая себя и мир, он жаждет просветления; сказка со всей причудливостью проникает в его жизнь, так как сердце готово ее воспринять.

В манесовской рукописи сохранилась трудная для толкования песнь Генриха фон Офтердингена и Клингзора, соревнующихся с другими миннезингерами; впрочем, автор намеревался представить не этот песенный турнир, а другое необычное поэтическое противоборство: столкновение добра со злом в песнях веры и безверия, зримое и незримое в противостоянии. «В своем вакхическом упоении поэты соперничают, прельщенные смертью». Прославляются разные науки; математика не уступает другим в своей поэтичности. Гимн индийской флоре. Индийская мифология выступает в новом свете.

* «О трех обманщиках» (лат.) — средневековый вольнодумный трактат. по-видимому, восточного происхождения, ошибочно приписанный императору Фридриху II (прим. переводчика).

Этим завершается земная жизнь Генриха, близится обретение. В этом смысл всего романа; сбывается сказка, венчающая первую часть.

Ясность и законченность устанавливаются чудом, в котором сама природа: уничтожены все преграды, истина неразлучна с Музой; былое не просто было, оно есть; вера, фантазия, поэзия ведут в святая святых задушевности.

Генрих попадает в царство Софии, постигая природу как аллегорическую возможность; перед этим он обсуждает с Клингзором разные таинственные предзнаменования и предвестия. Они осеняют его, когда ненароком он внял старинному напеву, где упоминается глубокий омут, неведомый людям. Напевом преодолено забвение; Генрих находит омут, а в омуте золотой ключ, некогда похищенный вороном, так что Генриху не удалось до сих пор вернуть свою пропажу. Сразу же после смерти Матильды старец преподнес Генриху этот ключ с таким напутствием: нужно вручить ключ императору, которому ведомо дальнейшее. Генрих так и поступает; очастливленный император показывает ему древний пергамент, согласно которому надлежит ознакомить с ним человека, нежданно-негаданно доставившего однажды золотой ключ; этого избранника ждет заповедный древний клад, приносящий счастье, карбункул, которого все еще недостает короне. Пергамент указывает приметы клада. Руководствуясь этими приметам, Генрих ищет заветную гору; в пути Генриху снова встречается странник, поведавший некогда ему и его родителям о голубом цветке; они беседуют о прозрении Генриху открываются недра горы; Циана преданно сопутствует ему.

Генрих быстро достигает удивительного края, где воздух, вода, цветы не имеют ничего общего с нашей земной природой. Повествование перемежается драматическими сценами. «Люди, звери, злаки, камни, светила, стихии, звуки, цвета образуют одну семью; они едины в своих деяниях и речах, как соплеменники». «Цветы и звери рассказывают о человеке». «Зримое царство сказки наступает, действительность уподобляется сказке». Перед Генрихом голубой цветок, то есть Матильда: она во сне хранит карбункул. Малютка, дитя Матильды и Генриха, стережет гроб; ей дано омолодить своего отца. «Это дитя — младенчество вселенной, золотой век до всех веков и после них». Больше нет противоречия между христианской и языческой верой. Гимны, посвященные Орфею, Психее и другим.

Генрих расколдовывает Матильду, сорвав голубой цветок, и, снова утратив ее, камнеет в отчаянии. «Эдда (голубой цветок, уроженка Востока, Матильда) приносит себя в жертву Генриху-камню; Генрих оборачивается звучащим деревом. Срубив дерево, Циана предает огню его и себя; Генрих оборачивается золотым овном. Эдда, Матильда приносит его в жертву, он вновь обретает человеческий облик. Меняя облики, Генрих участвует в причудливых диалогах.

Генриху приносит счастье Матильда, она же уроженка Востока и Циана. Наступает отраднейшее торжество задушевности. До этого не было ничего, кроме смерти. Последняя греза увенчана явью. «Снова выступает Клингзор, он же король Атлантиды. Мать Генриха — Фантазия, отец — Разум; Шванинг — Месяц; горняк — антиквар, он же

древний витязь Железо. Император Фридрих — Арктур. Снова появляется граф фон Гогенцоллерн и купцы». Все растворяется в аллегории Камень вручен Цианой императору, но сам Генрих, оказывается, поэт, о котором ему поведали купцы в своей сказке.

Последний морок удручает блаженную страну: она все еще заморожена чередованием времен года. Генрих ниспровергает власть солнца. Написано лишь начало поэмы, которой предстояло завершить роман:

БРАКОСОЧЕТАНИЕ ВРЕМЕН ГОДА

В мысли свои погружен был новый король. Вспоминал он
Грезу ночную свою, повествование и весть.
Как он впервые тогда о цветке небесном услышал
И в прорицании постиг мощь самовластной любви.
Кажется, все еще слышит он голос проникновенный;
Кажется, только что гость был в дружелюбном кругу
Месяц порою светил, от ветра ставни стучали,
В юной груди бушевал всепроницающий пыл.
«Эдда, — король произнес, — какое желание таится
В сердце нежном твоём? Сердце болит отчего?
Молви! Помочь мы вольны, мы властвуем. Дивным веленьем
Время преобразив, счастье даруй небесам!»
«Если бы распря времен завершилась, когда бы с грядущим
И с настоящим навек прошлое переплелось,
Если бы осень с весной и с летом зима сочеталась,
Мудро могли бы вдвоем юность и старость играть,
Так что источник скорбей иссяк бы, супруг мой любимый,
Все вождельня тогда были бы утолены».
Так рекла королева. Король красавицу обнял:
«Наших достойно небес высшее слово твое.
То, что давно на уста глубоким навеяно чувством,
Внятно, торжественно ты первая произнесла.
Где колесница? Сплотим времена быстротечного года,
Соединим времена рода людского затем».

Они отправляются на солнце и находят сначала день, потом ночь, на севере зиму, на юге лето; на востоке обретают весну, на западе осень. Они достигают юность, потом старость, бывшее, как и грядущее.

Я вверил читателю то, что запечатлелось в моей памяти и сохранилось в разрозненных черновиках моего друга. Если бы это великое начинание было осуществлено, новая поэзия обогатилась бы памятником, над которым не властно время. Я предпочел ограничиться таким сдержанным, немногословным свидетельством, чтобы не погрешить против достоверности и не привнести своих домыслов. Надеюсь, что фрагментарность этих стихов и записей не оставит читателя равнодушным, так как во мне самом поврежденная картина Рафаэля или Корреджо своим уцелевшим фрагментом не вызвала бы сожаления, более трепетного.



НОВАЛИС

**ГИМНЫ
К НОЧИ**



*Перевод с немецкого
В. МИКУШЕВИЧА*

Кто, наделенный жизнью и чувством, в окружении всех явных чудес пространного мира не предпочтет им все-сладостного Света в его многоцветных проявлениях, струях и потоках, в нежном возбужденье вездесущего дня! Его тончайшей жизненной стихией одушевлена великая гармония небесных тел, неутомимых танцоров, омытых этой стремительной голубизной — одушевлен самоцвет в своем вечном покое, сосредоточенно наливающийся колос и распаленный, неукротимый, причудливый зверь, — но, прежде всего, странствующий чаровник с вещими очами, плавной поступью и звучным сокровищем замкнутых, трепетных уст.

Владея всем земным, Свет вызывает нескончаемые превращения различных начал, беспреостанно связует и разрешает узы, наделяет своим горним обаянием последнюю земную тварь. — Лишь его пришествием явлены несравненные красоты стран, что граничат в безграничном.

Долу обращаю взор, к святилищу загадочной неизъяснимой ночи. Вселенная вдали — затеряна в могильной бездне — пустынный, необитаемый предел. Струны сердца дрогнули в глубоком томленьи. Росию бы мне выпасть, чтобы пепел впитал меня. Исчезнувшие тени минувшего, юношеские порывы, младенческие сновиденья, мгновенные обольщенья всей этой затянувшейся жизни, тщетные упования возвращаются в сумеречных облачениях, как вечерние туманы после заката. В других странах Свет раскинул свои праздничные скинии. Неужто навеки он покинул своих детей, тоскующих о нем в своем невинном упованьи?

Что там вдруг, полное предвестий, проистекает из-под сердца, упиваясь тихим веяньем томленья? Ты тоже благоволишь к нам, сумрачная Ночь? Что ты скрываешь под мантией своей, незримо, но властно трояга мне душу?

Сладостным снадобьем нас кропят маки, приносимые тобою. Ты напрягаешь онемевшие крылья души. Смутное невыразимое волнение охватывает нас — в испуге блаженном вижу, как склоняется ко мне благоговейно и нежно задумчивый лик, и в бесконечном сплетенье прядей угадываются ненаглядные юные черты матери.

Каким жалким и незрелым представляется теперь мне свет — как отрадный, как благодатный проводы дня — И так, лишь потому, что переманивает Ночь приверженцев твоих, ты засеваешь мировое пространство вспыхивающими шариками в знак твоего всевластия — недолгой отлучки — скорого возврата. Истинное небо мы обретаем не в твоих меркнущих звездах, а в тех беспредельных зеницах, что в нас ночь отверзает. Им доступны дали, неведомые даже чуть видным разведчикам в твоих неисчислимых ратях — пренебрегая Светом, проницают они сокровенные тайники любящего сердца — и воцаряется неизъяснимое блаженство на новых высотах. Слава всемирной владычице, провозвестнице святынь вселенских, любвеобильной покровительнице! — Ею ниспослана ты мне — любящая, любимая — милое солнце ночное! — Теперь я пробудился — я принадлежу тебе, значит, себе — ночь ты превратила в жизнь — меня ты превратила в человека — уничтожай пылким объятием тело мое, чтобы мне, тебя вдыхая, тобою вечно проникаться и чтобы не кончалась брачная ночь.

2

Неужели утро неотвратимо?
Неужели вечен гнет земного?

В хлопотах злосчастных исчезает небесный след ночи. Неужто никогда не загорится вечным пламенем тайный жертвенник любви? Свету положены пределы; в бессрочном, в беспредельном ночь царит. — Сон длится вечно. Сон святой, не обездоливай надолго причастных Ночи в тягостях земного дня. Лишь глупцы тобой пренебрегают; не ведая тебя, они довольствуются тенью, сострадательно бросаемой тобой в нас, пока не наступила истинная ночь. Они тебя не обретают в золотом токе гроздьев — в чарах миндального масла — в темном соке мака. Не ведают они, что это ты волнуешь нежные девичьи перси, лоно в небо превращая, не замечают они, как ты веешь из древних сказаний, к небу приобщая, сохраняя ключ к чертогам блаженных, безмолвный вестник неисчерпаемой тайны.

3

Однажды, когда я горькие слезы лил, когда, истощенная болью, иссякла моя надежда и на сухом холме, скрывавшем в тесной своей темнице образ моей жизни, я стоял — одинокий, как никто еще не был одинок, неизъяснимой боязнью гонимый, измученный, весь в своем скорбном помысле — когда искал я подмоги, осматриваясь понапрасну, не в силах шагнуть ни впе-

ред, ни назад, когда в беспредельном отчаянье тщетно держался за жизнь, ускользавшую, гаснущую: тогда ниспослала мне даль голубая с высот моего былого блаженства пролившийся сумрак — и сразу расторглись узы рожденья — оковы света.

Стинуло земное великолепье вместе с моею печалью — слилось мое горе с непостижимой новой вселенной — ты, вдохновенно ночное, небесною дремой меня осенило; — тихо земля возносилась, над нею парил мой новорожденный, не связанный более дух. Облаком праха клубился холм — сквозь облако виделся мне просветленный лик любимой. В очах у нее опочила вечность, — руки мои дотянулись до рук ее, с нею меня сочetaли, сияя, нерасторжимые узы слез. Тысячелетия канули вдаль, миновав, словно грозы. У ней в объятьях упился я новой жизнью в слезах. — Это пригрезилось мне однажды и навеки — и с тех пор я храню неизменную вечную веру в небо Ночи, где светит возлюбленная.

4

Я знаю теперь, когда наступит последнее утро — когда больше Свет не прогонит Ночи, любви не спугнет — когда сон будет вечен в единой неисчерпаемой грезе. В изнеможении небесном влачусь я. — Утомительно долог был путь мой ко Гробу Святому, тяжек мой крест.

Недоступный обычному чувству, прозрачен родник, бьющий в сумрачном лоне холма, чьим подножьем земной поток пресечен; кто вкусил сокровенного, кто стоял на пограничной вершине мира, глядя вниз, в неизведанный дол, в гнездилище Ночи — поистине тот не вернется в столпотворенье мирское, в страну, где в смятении вечном господствует Свет.

Пилигрим на вершине возводит кущи свои, кущи мира, томится, любит и смотрит ввысь, пока долгожданный час не унесет его вглубь источника — все земное всплывает, вихрем гонимое вспять; лишь то, что любовь осватила прикосновением своим, течет, растворяясь, по сокровенным жилам в потустороннее царство, где благоуханьем приобщается к милым усопшим.

Еще будишь усталых ты, Свет, ради урочной работы — еще вливаешь в меня отрадную жизнь — однако замшелый памятник воспоминанья уже не отпустит меня в тенета к тебе.

Готов я мои прилежные руки тебе предоставить, готов успевать я повсюду, где ты меня ждешь — прославить всю роскошь твою в сияньи твоём — усердно проследивать всю несравненную слаженность, мысль в созиданье твоём ухищренном, любоваться осмысленным ходом твоих сверкающих мощных часов — постигать соразмерность начал твоих, правила твоей чудной игры в неисчислимых мирах с временами своими.

Однако владеет моим сокровенным сердцем одна только
Ночь со своей дочерью, животворящей Любовью.

Ты можешь явить мне сердце, верное вечно?

Где у твоего солнца приветливые очи, узнающие меня?

Замечают ли твои звезды мою простертую руку?

Отвечают ли они мне рукопожатьем, нежным и ласковым
словом?

Ты ли Ночи даруешь оттенки, облик воздушный, или, напротив,
она наделила твое убранство более тонким и сладостным смыслом?

Чем твоя жизнь соблазнит, чем прельстит она тех, кто изве-
дал восторги смерти?

Разве не все, что нас восхищает, окрашено цветом Ночи?

Ты выношен в чреве ее материнском, и все твое великолепие от
нее. Ты улетучился бы в себе самом — истощился бы ты в бес-
конечном пространстве, когда бы она не пленила тебя, сжимая в
объятиях, чтобы ты согрелся и, пламеня, зачал мир. Поистине
был я прежде тебя — мать послала меня с моими сородичами
твой мир заселять, любовью целить его, дабы созерцанию веч-
ному памятник-мир завещать, мир, возделанный нами цветник,
увяданию чуждый. Еще не созрели они, эти мысли божествен-
ные, — еще редки приметы нашего прозрения. — Однажды твои
часы покажут скончание века, и ты, приобщенный к нашему
лику, погаснешь, представишься ты. Я в себе самом ощутил за-
вершение твоих начинаний, — небесную волю, отрадный возврат.

В дикой скорби постиг я разлуку твою с нашей отчизной,
весь твой разлад с нашим древним дивным небом.

Тщетен твой гнев, тщетно буйство твое.

Не истлеет водруженный навеки крест — победная хоругвь
нашего рода.

Путь пилигрима
К вершинам, вдаль,
Где сладким жалом
Станет печаль;
Являя небо,
Внушил мне склон,
Что для восторгов
Там нет препон.
В бессмертной жизни,
Вечно любя,
Смотрю оттуда
Я на тебя.
На этой вершине
Сиянью конец —
Дарован тенью
Прохладный венец.
С любовью выпей
Меня скорей,

И я почию
В любви моей.
Смерть обновляет
В своей быстрине,
И вместо крови
Эфир во мне.
Жизнь и надежда
При солнечном дне,
Смерть моя ночью
В священном огне.

5

Над племенами людскими в просторном их расселенье до времени царило насилье немое железного рока. Робкая душа людская в тяжких пеленах дремала.

Земля была бескрайна — обитель богов, их родина. От века высился их таинственный чертог. За красными горами утра, в священном лоне моря обитало солнце, всевозжигающий, живительный Свет.

Опорой мира блаженного был древний исполин. Под гнетом гор лежали первенцы Матери Земли, бессильные в своем сокрушительном гневе против нового, великолепного поколения богов и против их беспечных сородичей, людей. Лоном богини был зеленый сумрак моря. В хрустальных гротах роскошествовал цветущий народ. Реки, деревья, цветы и звери были не чужды человечности. Слаще было вино, дарованное зримым изобилием юности — бог в гроздьях — любящая мать, богиня, произраставшая в тяжелых золотых колосьях, — любовь, священный хмель в сладостном служенье прекраснейшей женственной богине — вечно красочное застолье детей небесных с поселенцами земными, жизнь кипела, как весна, веками — все племена подетски почитали нежный тысячелик пламень как наивысшее в мире, но мысль одна, одно ужасное виденье

К пирующим приблизилось, грозя,
И сразу растерялись даже боги,
Казалось, никому спастись нельзя,
И неоткуда сердцу ждать подмоги.
Таинственная, жуткая стезя
Вела чудовище во все чертоги;
Напрасный плач, напрасные дары!
Смерть прервала блаженные пиры.

Чужд радостям глубоким и заветным,
Столь дорогим для любящих сердец,

Которые томленьем жили тщетным,
Не веря, что любимому конец,
Казалось, этим грезам беспросветным,
Бессильный в битве, обречен мертвец,
И сладкая волна живого моря
Навек разбилась об утесы горя.

И человек приукрашал, как мог,
Неимоверно страшную личину:
Прекрасный отрок тушит лампу в срок,
Трепещут струны, возвестив кончину;
Смыл память некий благостный поток.
На гризне, подавив свою кручину,
Загадочную прославляли власть
И пели, чтоб в отчаянье не впасть.

Древний мир клонился к своему концу.

Отрадный сад юного племени процвел — ввысь, в поисках пустынной свободы не по-детски стремились взрослеющие люди.

Скрылись боги с присными своими. — Одинок, безжизненно коснела природа. Железные оковы налагало жесткое число с неколебимой мерой.

Как прах, как дуновенье, в темных словах рассеялся безмерный цвет жизни.

Пропала покоряющая Вера и превращающая все во все, все-сочетающая фантазия, союзница небес. Враждебно веял северный холодный ветер над застывшим лугом, и родина чудес воспарила в эфир. В даях небесных засветилось множество миров.

В глубинной святыне, в горней сфере чувства затаилась душа вселенной со стихиями своими — в ожиданье зари всемирной.

Свет более не был знаменьем небесным, лишь в прошлом обитель богов, облекшихся теперь покровом Ночи. В плодоносном этом лоне рождались пророчества — туда боги вернулись — и почили, чтобы в новых, более чудных образах взойти над возрожденным миром.

В народе, прежде всех в презрении созревшем слишком рано, чуждавшемся упорно юности блаженно-невинной, был явлен лик невиданный нового мира — в жилище, сказочно убогом, — сын первой Девы-Матери, таинственно зачатый Беспредельным. В своем цветении преизобильном чающая мудрость Востока первой распознала пришествие нового века, — к смиренной царской колыбели указала ей путь звезда. Во имя необозримого грядущего волхвы почтили новорожденного блеском, благоуханьем, непревзойденными чудесами природы.

Одинок раскрывалось небесное сердце, чашечка цветка для всемогущей любви, — обращено к высокому отчему лику, лелеемое тихой нежной матерью в чайанье блаженном на груди.

С боготворящим пылом взирало пророческое око цветущего

младенца на дни грядущие и на своих избранников, отпрысков его Божественного рода, не удрученное земными днями своей участи. Вскоре вокруг него сплотилось вечное детство душ, обьятых дивно сокровенною любовью. Цветами прорастала близ Него неведомая, новая жизнь. Слова неистощимые, отраднейшие вести сыпались искрами Божественного Духа с приветных уст Его.

С дальнего берега, под небом ясным Греции рожденный, песнопевец прибыл в Палестину, всем сердцем предавшись дивному отроку:

Тебя мы знаем, Отрок. Это Ты
На всех могилах наших в размышленьи,
Отрадный знак явив из темноты,
Высокое сулил нам обновленье.
Сердцам печаль милее суеты.
Как сладостно нездешнее томленьи!
Жизнь вечную Ты в смерти людям дашь.
Ты — смерть, и Ты — целитель первый наш.

Исполнен ликованья, песнопевец отправился в Индостан — сладостной любовью сердце было упоено и в пламенных напевах изливалось там под ласковым небом; к себе склоняя тысячи других сердец, тысячекратно ветвилась благая весть.

Вскоре после прощанья с песнопевцем стала жертвой глубокого людского растленья жизнь бесценная — Он умер в молодых годах, отторгнутый от любимого мира, от плачущей матери и робких своих друзей. Темную чашу невыразимого страданья осушили нежные уста — в жестоком страхе близилось рождение нового мира. В упорном поединке испытал Он ужас древней смерти, дряхлый мир тяготел над Ним. Проникновенным взглядом Он простился с матерью — простерлась к Нему спасительная длань вечной любви — и Он почил.

Всего несколько дней окутано было сплошною пеленою море и содрогавшаяся суша — неисчислимы слезы пролили избранники — разомкнулась тайна — духи небесные подняли древний камень с мрачной могилы. Ангелы сидели над усопшим — нежные изваянья грез Его — пробужденный, в новом Божественном величии Он взошел на высоты новорожденного мира — собственной рукой похоронил останки былого в покинутом склепе и всемогущей дланью водрузил на гробе камень, которого не сдвинет никакая сила.

Все еще плачут избранники твои слезами радости, слезами умиления и бесконечной благодарности у гроба Твоего — все еще видят в радостном испуге Тебя Воскресшего воскресшие с Тобою — видят, как Ты плачешь в сладостном пылу, поникнув на грудь Матери блаженной, как торжественно Ты шествуешь с друзьями, произнося слова, подобные плодам с дерева жизни; видят, как спешишь Ты, преисполненный томленья, в объятия к

Отцу, вознося юный род людской и незапечатленный кубок золотого будущего. Мать вскоре поспешила за Тобою — в ликованиях небесном — Она была первой на новой Родине с Тобою. Эпохи с тех пор протекли; все возвышенной блеск Твоего творения в новых свершеньях; тысячи мучеников и страдальцев, исполнены верности, веры, надежды, ушли за Тобой — обитают с Тобою и с Девой Небесной — в Царстве Любви — священнослужители в храме смерти Небесной, навеки Твои.

Отброшен камень прочь —
Настало воскресенье!
Твоя Святая ночь —
Всеобщее спасенье.
Земля побеждена;
Бегут печали наши
От этого вина
В Твоей целебной чаше.

На свадьбе смерть — жених;
Невестам всем светлее;
Достаточно еля
В светильниках у них.
Едва под небесами
Пробьет желанный час,
Людскими голосами
Окликнут звезды нас.

К Тебе одной, Мария,
Из этой мрачной мглы,
Летят сердца людские
Исполнены хвалы
Небесная Царица,
Детей освободи!
Недужный исцелится,
К Твоей прильнув груди.

Взыскав горней дали,
Превозмогая боль,
Иные покидали
Плачевную юдоль.
В печалях нам подмога,
Своих святые ждут.
Туда нам всем дорога,
Там вечный наш приют.

Уводит наших милых
Благая смерть во тьму,
И плакать на могилах
Не нужно никому.

Утешенный в томлень
Небесными детьми,
Ночное исцеленье
Безропотно прими!

В надежде бесконечной
Не ведаем забот;
Веками к жизни вечной
Земная жизнь ведет.
Небесными лучами
Упьемся, как вином;
Светить мы будем сами
В сиянье неземном.

Не знает ночь рассвета
В прибое волн своих.
Навек блаженство это:
Единый стройный стих.
Всего на свете краше,
Не меркнет ни на миг
Святое солнце наше:
Господень ясный лик.

6

ТОСКА ПО СМЕРТИ

Из царства света, вниз, во мрак!
Иная жизнь — в могиле,
Печаль в разлуке — добрый знак:
Счастливые отплыли.
Мы в нашем тесном челноке,
Небесный берег вдалеке.

Хотим забыться вечным сном
В ночи благословенной;
Увяли мы в тепле дневном
От грусти сокровенной.
Пора вернуться, наконец!
Скитальцев дома ждет Отец.

Кому в миру любовь нужна?
Тоскуем втихомолку,
Когда забыта старина,
От новшеств мало толку,
Так мы скорбим по старине
С мечтой своей наедине.

Бывало, чувства наши вмиг
Могли воспламениться
Знаком был смертным Отчий Лик,
И голос, и десница.
Возликовать могли сердца
В творении узнав Творца.

Бывало, грезил род людской
В цветении чудесном,
Томим с младенчества тоской
О царствии небесном,
И разве что любовный пыл
Сердцам людским опасен был.

Бывало, людям сам Господь
Сопутствовал телесно;
Свою Божественную плоть
Обрек Он казни крестной;
Изведал боль, изведал страх,
Чтобы царить у нас в сердцах.

В ночи затерян человек,
Напрасное томленье!
Такая жажда в этот век
Не знает утоленья.
К былым блаженным временам
Поможет смерть вернуться нам.

Пресекая наш печальный путь:
Любимые в могилах.
Могилы эти обогнуть
Скорбящие не в силах.
Вокруг простерлась пустота,
Пустынен мир — душа сыта.

И вдруг сюда, на этот свет,
— Негаданное чудо —
Как бы таинственный привет
Доносится оттуда.
Зовут возлюбленные нас,
Торопят наш последний час

К невесте милой, вниз, во мрак!
Свои разбив оковы,
К Спасителю, на вечный брак
Мы поспешить готовы;
Так нам таинственная власть
На грудь Отца велит упасть.



НОВАЛИС
ДУХОВНЫЕ
ПЕСНИ



Перевод с немецкого
В. МИКУШЕВИЧА

I

Чем без Тебя я был бы в мире,
И чем я стал теперь с Тобой?
Затерян в бесприютной шири,
Я трепетал перед судьбой,
Смотрел в грядущее, как в бездну,
И, в сердце затаив печаль,
Я знал, я помнил, что исчезну
И никому меня не жаль.

Меня снедало вожделенье,
Теснила суета сует,
В слезах напрасного томленья
Казался темнотою свет.
Как жить я мог тоской одною
В горячке будничных потуг,
Не видя, что всегда со мною
И на земле и в небе друг?

Увидел я свое светило,
Предавшись Господу Христу;
Сиянье жизни поглотило
Беспочвенную темноту.
Он даровал мне человечность,
Преобразил судьбу мою.
С Ним нет зимы. С любимым вечность —
Весна в тропическом раю.

С Ним жизнь, как праздник, пролетает;
Любовь одна всегда права.
Для каждой раны вырастает
Своя целебная трава.
За все дары, за все живое —
Сыновний мой смиренный стих.
Где соберутся только двое,
Спаситель третьим среди них.

Пойдем к жилищам нашим вечным,
И в ликовании своем,
Протягивая руки встречающим,
Заблудших к Богу поведем.
Мы наше небо видим сердцем,
И на земле оно при нас,
Всем верным, всем единоверцам
Открыто небо в добрый час.

Мы в ослеплении духовном,
В ночи затеряны давно,
Бывало, бредили греховным:
И стыд и похоть заодно.
С небес грозили нам удары,
Как будто Божьи мы враги
И в ожидании смертной кары
Сказать не смеем «Помоги!»

Источник сладостный и чистый,
Душа была во власти зла,
И если брезжил день лучистый,
Заря мучительная жгла.
Заключены в темничном прахе,
Оковы ржавые влача,
Теряли мы надежду в страхе
Перед секирой палача

Явился наш освободитель,
Небесный Царь, пречистый Спас,
Пришел Он в скорбную обитель,
Разжег святое пламя в нас,
И мы прозрели в этой жизни,
И мы на свете не одни;
В небесной солнечной отчизне
Господь Всевышний нам сродни

Грех сгинул, как мираж бесследный,
Преобразился каждый шаг;
При нас подарок заповедный,
Сокровище небесных благ.
С тех пор, не ведая печали,
В мечтательном своем пути
Влюбленные не замечали,
Когда последнее прости.

В лучах сиянья неземного
Черты любимого лица,

И мы венец Его терновый
Оплакиваем без конца.
Любой пришелец — гость желанный;
Он в наш вступает хоровод,
И зреет с нами, долгожданный,
В Господнем сердце райский плод.

II

Старина помолодела,
Озаряется восток;
Нет сиянию предела,
Сладок пламенный глоток;
Свет, благим свершением зажженный, —
Таинство любви преображенной.

Снизошел с небес на землю
Он, младенец, наш Христос.
Ветру жизни вновь я внемлю.
Ветер песню мне принес.
Веет над землею весть благая,
Древний пламень снова разжигая.

Пробудилась жизнь в могилах,
Упоительный родник,
Кровь святая в наших жилах,
Благодатный мир возник,
И в любвеобильной Божьей длани
Исполнение твоих желаний.

Дай проникнуть взорам вечным
В глубину души твоей
И в блаженстве бесконечном
Жизнь божественную пей!
Каждая душа давно готова
Встретиться с другими в пляске снова.

Только с Ним соприкоснешься,
Восприняв Его черты,
От Него не отвернешься.
Солнцу преданы цветы.
Минуло навеки царство мрака,
И прочнее не бывает брака.

Божество при нас отныне.
Вместо страха и тоски

И на льдине и в пустыне
Благодатные ростки.
Все цветы Господня вертограда —
Жизнь твоя, забота и отрада.

III

Когда горячими слезами
Ты плачешь в комнате пустой
И у тебя перед глазами
Окрашен мир твоей тоской,

И прошлое дороже клада,
И веет боль со всех сторон
Такой томительной усладой,
Что лучше бездна, лучше сон

В той пропасти, где столько дивных
Сокровищ нам припасено,
Что в судорогах непрерывных
К ним тянешься давным-давно.

Когда в грядущем — запустенье
И только мечешься, скорбя,
И к собственной взываешь тени,
Утратив самого себя.

Открой ты мне свои объятия!
Мне твой недуг давно знаком,
Но пересилил я проклятье
И знаю, где наш вечный дом.

Скорее призови с мольбою
Целителя скорбей людских,
Того, кто жертвует собою
За всех мучителей своих.

Его казнили, но поныне
Он твой последний верный друг.
Не нужно никакой святыни
Под сенью этих нежных рук.

Он мертвых жизнью наделяет,
Даруя кровь костям сухим,
И никого не оставляет
Из тех, кто остается с Ним.

Он все дарует нашей вере.
Обрящешь у Него ты вновь
И прежние свои потери
И вечную свою любовь.

IV

Прошлым дням, часам беспечным,
Наслаждениям быстротечным
Предпочту единый час;
В скорбный час я, безутешный,
Убедился: Он, безгрешный,
Умирает ради нас.

В сердце самое ужален,
Я поник среди развалин,
Увядая, как цветок;
Все надежды поглотила
Ненасытная могила,
Так мой жребий был жесток.

Я терзался, я томился,
Прочь в безумии стремился,
Бредил в сумрачной глуши;
Вдруг открылась мне гробница,
Свет явила мне Десница,
Камень сняв с моей души.

На вопрос я не отвечу,
Кто шагнул ко мне навстречу,
Кто кого ко мне ведет,
Предпочту часам беспечным
Час, подобный ранам вечным,
Час, который не пройдет.

V

Если Он со мною,
Если я при Нем,
Если верностью одною
На пути моем земном
Укреплен я ныне,
Возликую сердцем я в пустыне.

Если Он со мною,
Я проститься рад
Со страной моей родною;
Мне дороже всех наград
Посох пилигрима,
Пусть мирская жизнь проходит мимо.

Если Он со мною,
Можно мне заснуть.
Вечной, сладостной волною
Кровь Его течет мне в грудь,
Нежно размывая
Мир, где скорбь застыла вековая.

Если Он со мною,
Целый мир со мной;
Как фатою кружевною
Осеняю шар земной
С высоты небесной,
Отрок-паж Невесты Невестной.

Там, где Он со мною,
Мой родимый край.
Куплен дорогой ценою
Мой заветный вечный рай.
Ждать меня готовы
Братья там — ученики Христовы.

VI

Когда везде и всюду
Неверные сердца,
Один с Тобой пребуду
До самого конца.
Замучен был безвинно
Ты по моей вине;
С Тобою воедино
Отрадно слиться мне.

Я плачу, вспоминая,
Как прервана была
И жизнь Твоя земная
И вечная хвала.
Ты верен был святыне.
Начало всех начал.

Любовь забыта ныне,
Твой подвиг отзвучал.

Во мраке свет затерян,
Измучены сердца,
Всем, кто Тебе не верен,
Ты верен до конца.
Уличены в измене
Среди вселенских смут
Они Твои колени,
Как дети, обоймут.

Твоим хотел я зваться,
И я тебя постиг.
Нельзя мне расставаться
С Тобою ни на миг.
Открыл Ты мне объятия,
Ты внял моей мольбе;
Придут со мною братья
В объятия к Тебе.

VII

ГИМН

Немногим ведома
Тайна любви,
Голод и жажда
Неутолимые.
Божественный смысл
Причастия —
Загадка для чувств земных,
Но тот, кто однажды
Из жарких любимых уст
Пил дыхание жизни,
Тот, кому жар священный
Расплавил сердце в трепетных волнах,
Тот, чьи глаза открылись,
Измерив неисчерпаемую
Бездну небес,
Ест плоть Его,
Пьет кровь Его
Вечно.
Кто разгадал высокий смысл
Тела земного?
Кто может сказать,

Что такое кровь?
Плоть вездесущая,
Едина плоть,
В цветке небесном
Плавают блаженная чета.
О когда бы мировое море
Уже вспыхнуло,
И в бедной телесности
Таять скала начала!
Нет конца сладостной трапезе,
Ненасытна любовь.
Проникновеннее, глубже
Приобщиться бы!
Все нежнее уста
Все целительнее
Яство неизреченное.
Все трепетнее, все пламеннее
Упоена душа.
Все невыносимее
Голод и жажда сердца.
Так длится пиршество любви
Из века в век.
Если бы трезвые
Этого сподобились,
Они бы бросили все
И сели бы с нами
За стол предвкушения,
Никогда не пустующий.
Они вкусили бы
Всю полноту любви,
Прославив брашно истинное:
Плоть и кровь.

VIII

Буду плакать, плакать вечно,
Хоть бы в жизни быстротечной
Он вдали явился мне!
Слезы лью в тоске священной;
Хоть бы в скорби сокровенной
Мне застыть в могильном сне!

Как свою терпел Он муку,
Все еще терплю разлуку;
Вечный, тягостный укор,
Смерть Его перед глазами;

Изойти в тоске слезами
Не дано мне до сих пор.

Или нет Его в помине,
И никто не плачет ныне?
Целый мир неужто мертв?
Что мне жизнь! Сплошное горе
Без любви в целебном взоре.
Неужели мертвый мертв?

Мертв! Что значит это слово?
Сердце внять волхвам готово,
Но премудрые молчат.
Он безмолвен, все безгласно;
Я ищу Его напрасно
Сердцем средь мирских утрат.

В мире счастье невозможно,
Тесно мне, темно, тревожно;
Мрачной грезой прах гоним,
И томится все живое:
Лучше в сладостном покое
Под землею быть мне с Ним.

С Ним почить позволь мне, Боже!
Кости наши будут схожи;
Мой Отец — Его Отец!
Ветер над могильным дерном
В мироздании просторном
Все развеет, наконец.

Возлюбив страдальца кровно,
Возродившийся духовно,
Каждый принял бы Христа;
Жизнью брезгуя земною,
Каждый плакал бы со мною,
И была бы скорбь чиста.

IX

Я говорю: Он жив, Он жив,
Спаситель наш воскрес,
Навеки нас преобразив
Среди своих чудес.

Мне вторит мир, восторг суля
Рассветною порой;
Уже предчувствует земля
Небесный новый строй.

Отчизну распознал вокруг
Впервые человек,
Из благодатных Божьих рук
Приемля новый век.

В морской беззвучной глубине
Страх смерти потонул,
И каждый, радуясь весне,
В грядущее взглянул.

Уводит в небо мрачный путь,
Чертог отцовский там,
Где можно будет отдохнуть
Измученным сердцам.

Оплакивать усопших — грех,
Живое не умрет:
Согреет всех, утешит всех
Свиданье в свой черед.

Отраден труженику труд,
Когда пришла весна,
На нивах райских прорастут
Былые семена.

Он жив, Он жив, мы вечно с ним,
Никто не одинок;
Мы вместе мир преобразим,
Когда настанет срок.

Х

Порою в заблужденьи
Терзается душа;
Грозит ей наважденье,
Погибелью страша.

Рой призраков ужасных
Поблизости снует;
Во тьме ночей безгласных
На сердце тяжкий гнет.

В коловращеньи жутком
Опоры нет как нет;
Подавленным рассудком
Овладевает бред.

Душою бред играет,
Влечет, заворожив;
Дыханье замирает,
И ты не мертв, не жив.

Кто крест вознес чудесный
В защиту всех сердец?
Заступник наш небесный,
Целитель и Творец!

Когда прильнешь, смиренный,
К целебному кресту,
Сожжет огонь священный
Гнетущую мечту.

И в небо вознесенный
Над скорбною страной,
Увидишь ты, спасенный,
Откуда рай земной.

XI

Я не стремлюсь к другому кладу,
Назвав сокровище своим,
Когда, найдя свою отраду,
Друг другу мы принадлежим.

Иной с лицом разгоряченным
Везде копает наугад;
Себя считает он ученым,
Не зная, что такое клад.

Иной желал богатств несметных,
Поскольку золото звенит;
Любитель странствий кругосветных
Порою только знаменит.

Один прельщен венком победным,
Другого лавры привлекли;
Подобно призракам бесследным,
Все это сгнуло вдали.

Неужто вы забыть успели,
Кто муки претерпел за вас,
Прославленный в земной купели,
Поруганный в последний час?

Неужто вы не прочитали
О том, как Он торжествовал
И, наши утолив печали,
Нам, грешным, благо даровал?

Как Врач сошел непревзойденный
К нам Словом Божиим с небес,
Пречистой Матерью рожденный,
Являя царствие чудес?

Как, предан детям своевольным,
В могиле перед ними прав,
Он камнем стал краеугольным,
Град Божий в мире основав?

Неужто вверен вашей вере
Неубедительный залог
И не откроете вы двери
Тому, Кто бездну превозмог?

И вы отвергнуть не хотите
Своих бессмысленных утех?
И вы сердца не посвятите
Тому, Кто милостивей всех?

Нет мне прибежища иного.
Ты, Царь любви, меня храни!
Пусть я лишен всего земного,
Я знаю, Небо мне сродни.

Ты воскресишь моих любимых,
Мне верность вечную храня,
И, Царь миров неисчислимых,
Не покидаешь Ты меня.

ХII

Где ты, Целитель всех миров?
Храм для Тебя давно готов.
Давно в томлении своем
Обетованного мы ждем.

Отец, десницею Своей
Благословение пролей!
Вознаградив любовь и стыд,
Пусть нас любимый посетит.

Нам, детям влюбчивой земли,
Свой теплый дух Ты ниспошли,
Насытив толщу туч сперва
Обильным током Божества.

Дар благодатный тучных туч —
Прохладный ливень, пламень, луч,
Сначала гром, потом роса:
Земля впитает небеса.

В святом бою преодолен,
Ад злобный будет посрамлен,
Вновь старина произрастет,
Рай первозданный расцветет.

Зазеленеет вдруг земля,
Ростками всюду шевеля,
Отрадный дух у нас в груди.
Спаситель наш, Христос, гряди!

Зима бледнеет, как заря,
И стоят ясли алтаря;
Встречает мир свой первый год,
Свое дитя обрел народ.

Спаситель — радость наших глаз,
В которых сам пречистый Спас;
Пречистый Спас в любом цветке,
Который в Спасовом венке.

Спаситель — солнце, Спаситель — звезда,
Родник, в котором живая вода;
В камне, в траве, в морской волне
Младенческий лик сияет мне.

В каждом предмете подвиг Его,
Неутомимо в любви Божество;
Он обнимает всех и вся,
Вечную жертву принося.

Он, Божий Сын и наш Господь,
Свою дает нам кровь и плоть,

Нас напоив и напитав.
Любовь — Божественный устав.

Все тяжелее нищета,
Все беспросветней темнота;
К нам Сына Ты пошли, Отец,
Чтобы вернуть Своих овец.

XIII

Если тяжесть роковая
Сокрушает сердце нам
И томимся, изнывая,
В страхе мы по временам,
Если в нашем общем горе
Ближних нам порою жаль
И сгущается во взоре
Мрачным облаком печаль,

Видит Бог невзгону нашу
Со Своих святых высот;
Нам целительную чашу
Ангел Божий подает;
Утешение дороже
Нам, подавленным тоской,
И для ближних наших тоже
Можно вымолить покой.

XIV

Кто видел Твой пречистый лик,
Тот счастье в горестях постиг;
Твой лик страдальца утешает,
Когда разлука устрашает.
С Тобою, Пресвятая Мать,
Нельзя душою не возликовать.

Всем сердцем предан я Тебе,
Сопутствуй мне в моей судьбе!
Благая Матерь! Я во мраке.
Не откажи мне в добром знаке!
Мое спасение в Тебе,
На миг прислушайся к моей мольбе!

Мне виделась Ты в облаках
С младенцем Богом на руках,
Твой Сын жалел меня, казалось,
Когда душа моя терзалась,
Но, посмотрев издалека,
Ты возносила вновь за облака.

Чем я Тебе не угодил?
Молюсь я из последних сил.
В чем я перед Тобой виновен?
Нет жизни вне Твоих часовен,
Владычица в святом раю,
Возьми Ты мое сердце, жизнь мою.

Ты вечно царствуешь в раю,
Любви моей не утаю.
Да разве я хоть на мгновенье
Твое забыл благословенье?
Я смутно чувствовал с пелен,
Что я Тобой, Пречистая, вскормлен.

Ты вспомни о Твоем рабе!
Как я по-детски льнул к Тебе!
Младенец Твой ко мне тянулся,
Чтобы я с Ним не разминуся;
И просияв мне, как звезда,
Поцеловала Ты меня тогда.

С тех пор я в горестях поблек.
О как блаженный мир далек!
Весь век скитаюсь, безутешен,
Неужто я так тяжко грешен?
К стопам Твоим по-детски льну.
Прерви мой сон. Прости мою вину!

Когда пречистые черты
Лишь детям светят с высоты,
Дай мне забыть пережитое,
Верни мне детство золотое,
О небесах Твоих грустя,
Люблю Тебя и верен, как дитя.

XV

И на иконах Ты прекрасна;
Мария, вечен образ Твой,

Однако живопись напрасна,
Когда владеешь Ты душой.
Мир, волновавший беспрестанно,
Рассеялся быстрее сна,
И небом, сладким несказанно,
С тех пор душа упоена.



БОНАВЕНТУРА

**НОЧНЫЕ
БДЕНИЯ**



*Перевод с немецкого
В. МИКУШЕВИЧА*

Умиравший вольнодумец

Пробило полночь; я закутался в мое причудливое одеяние, взял пику и рог в руки, вышел во мрак и выкрикнул час, осенив себя сперва крестным знамением, чтобы оборониться от злых духов. Была одна из тех жутких ночей, когда свет и мрак чередуются со странной быстротою. По небу мчались облака, гонимые ветром, словно диковинные призраки великанов, и каждое появление месяца мгновенно сменялось исчезновением. Внизу на улицах царила мертвая тишина, лишь высоко в воздухе вихрь хозяйничал, как невидимый дух.

Это было как раз по мне, и я упивался одиноким звуком шагов моих, ибо мнилось, будто я сказочный принц в заколдованном городе, где злые чары превратили в камни все живые существа, а, быть может, чума или потоп истребили всех, и я один остался в живых.

Последнее уподобление заставило меня содрогнуться, и я был рад увидеть высоко над городом в тесноте вольного чердачного пристанища одинокий тусклый огонек.

Я-то знал, кто там царил в вышине; это был поэт-неудачник, бодрствовавший в ночи, пока почивали его кредиторы, а к последним не принадлежали только музы.

Я не мог не обратиться к нему со следующей речью, которая заставила меня замедлить шаг:

«О ты, колобродящий там наверху, я хорошо понимаю тебя, ибо однажды я был подобен тебе! Но я променял это занятие на честное ремесло, которое, по крайней мере, кормит меня, и отнюдь не лишено поэзии, коли умеешь находить ее. Я стою на твоём пути, подобно язвительному Стентору, и здесь на земле то и дело прерываю напоминанием о времени и быстротечности грезы о бессмертии, посещающие тебя в твоей выси. Оба мы ночные сторожа; сожалею об одном: твои ночные бдения ничем тебя не вознаграждают в это холодное прозаическое время, тогда как мои как-никак всегда оправдывают себя. Когда я посвящал поэзии ночи, как ты, мне приходилось голодать, как тебе, и петь для глухих; последним занимаюсь я и теперь, но мне за это платят. О друг поэт, творчество противопоказано тому, кто теперь

хочет жить. Если пение — твой врожденный порок, и ты не можешь от него избавиться, становись ночным сторожем, как я; это единственная солидная должность, где пение оплачивается и тебя не заставляют умирать с голоду. — Покойной ночи, брат поэт».

Я еще раз глянул вверх и увидел на стене его тень; он принял трагическую позу, запустив одну руку себе в волосы (другой рукой держал он листок, вероятно, прочитывая с него свое бессмертие)

Я затрубил в рог, громко крикнул ему, который час. и пошел своим дорогой.

Стоп! Там не спится больному — он тоже грезит, как поэт, но грезит поистине лихорадочно.

Человек этот с давних пор был вольнодумцем, и в свой последний час он держится стойко, как Вольтер. Я вижу его сквозь щель в оконных ставнях; он бледен, однако смотрит спокойно в пустоту Ничто, куда он предполагает переселиться через какой-нибудь час, чтобы навсегда заснуть сном без сновидений. Розы жизни опали с его щек, но они все еще цветут вокруг него на лицах трех славных мальчиков. Младший несмышлениш обиженно уставился в бледный застывший лик, не находя на нем прежней улыбки. Двое других стоят и пристально смотрят; смерть пока еще непостижима для их едва произросшей жизни.

Однако молодая женщина с распущенными волосами и прекрасной обнаженной грудью в отчаянье смотрит в черную могилу, лишь время от времени как бы механически вытирая холодный пот на челе умирающего.

А рядом, пылая злобой, подняв распятие, стоит священник, пытающийся обратить вольнодумца. Его речь мощно разливается, подобно потоку, и он живописует потустороннее в смелых образах, но не денницу прекрасного нового дня, не расцветающие кущи, не ангелов, нет, это адский Брейгель с пламенем, с безднами, со всей ужасающей дантовской преисподней.

Тщетно! Больной по-прежнему нем и недвижим; с жутким спокойствием наблюдает он, как листья падают один за другим, и чувствует, как леденящее оцепенение смерти ползет все выше и выше: к сердцу.

Ночной ветер свистел у меня в волосах и сотрясал трухлявые ставни, как смертоносный дух в своем незримом приближении. Я вздрогнул: больной вдруг достаточно окреп, чтобы оглядеться, как бы чудом исцелившись в соприкосновении с новой высшей жизнью. Эта короткая яркая вспышка уже угасающего пламени, верное предвестие близкой смерти, озаряет блестящим светом ночную драму, идущую перед умирающим, быстро, всего на одно мгновение осияв творческий весенний мир веры и поэзии. Таково двойное освещение в ночи Корреджо, сливающее луч земной и луч небесный в едином чудесном проблеске.

Больной решительно и твердо отверг надежду на высшее и тем самым вызвал кульминацию. Священник яростно метал ему в душу громы и молнии, рисовал теперь уже огненными мазками, как бы отчаиваясь, и заклинал весь Тартар, чтобы заполнить им последний час умирающего, который при этом только улыбался и качал головой. В это мгновение я не сомневался в его вечности, ибо только для конечного существа невыносима мысль об уничтожении, тогда как бессмертный дух принимает его бестрепетно, и, свободный, приносит ему в жертву себя, как индийские женщины смело бросаются в огонь, одновременно жрицы и жертвы уничтожения.

Дикое безумие, казалось, обуяло священника, и, верный себе, убедившись в бессилии описаний, он говорил теперь от лица самого дьявола, близкого ему, как никто другой. При этом священник обнаружил свое мастерство, выражаясь поистине дьявольски, в самом смелом стиле, от которого так далеки жалкие потуги современного черта.

Больной не вынес этого. Он мрачно отвернулся и взглянул на три весенние розы, цветущие у его постели. Тогда в его сердце полыхнула напоследок вся жаркая любовь, таившаяся там, по бледному лику пробежал, подобно воспоминанию, легкий румянец. Он потребовал мальчиков и поцеловал их с усилием, затем положил тяжелую голову на вздымающуюся грудь женщины, испустил тихое Ах!, в котором слышалось скорее сладострастие, чем боль, и, любящий, почил в объятиях любви.

Священник, продолжая играть роль дьявола, все еще гремел ему в уши и, руководствуясь мнением, будто слух умерших сохраняется некоторое время, заверял твердо и убедительно, что дьявол завладеет не только его душою, но и телом.

С этими словами он бросился прочь и оказался на улице. В моем смятении я, действительно, принял, было, его за дьявола и приставил пику к его груди, когда он пытался проскользнуть мимо меня.

«Иди ты к черту», — сказал он, пыхтя; тогда я одумался и ответил: «Простите, ваше преподобие, на меня что-то нашло: я и впрямь принял вас за него самого и потому направил вам в сердце пику, как если бы сказал: «С нами Бог!» Уж не взыщите на этот раз!»

Он бросился прочь.

Ах! Там в комнате разыгрывалась еще более трогательная сцена. Красавица тихо обнимала своего возлюбленного, как будто он спит; в прекрасном неведении она не чаяла его смерти, полагая, что сон подкрепит его для новой жизни — восхитительная вера, истинная в высшем смысле. Дети, как подобает, преклонили колени у постели; лишь младший пытался разбудить отца, в то время как мать, молча его увещевая глазами, положила руку на его кудрявую головку.

Сцена была слишком хороша; я отвернулся, чтобы не видеть

мгновения, когда обольщение исчезнет. Приглушенным голосом я запел под окном зауспокоиную песнь, чтобы тихими звуками изгнать из чутких еще ушей огненное заклатье монаха Музыка сродни умирающим, она первый сладостный звук из потусторонней дали, и муза пения — таинственная сестра, указующая на небо Так почил Яков Беме, уловив отдаленную музыку, которой не слышал никто, кроме умирающего.

ВТОРОЕ БДЕНИЕ

Эпифания дьявола

Время вновь призвало меня к моим ночным занятиям пустынные улицы тянулись передо мной, как бы застланные, лишь время от времени их быстро пересекала в воздухе зарница, и в дальней дали слышалось бормотание, подобное заклинаниям чародея.

Мой поэт обходился без света, поскольку небо светилось и он считал, что так дешевле и заодно поэтичнее. Он всматривался ввысь, в молнии, высунувшись в окно; белая ночная рубашка была распахнута на груди, а нечесанные черные волосы взлохмачены на голове. Мне вспомнились подобные сверхпоэтические часы, когда весь внутренний мир — сплошная буря, когда вещают громами, а рука вместо пера готова схватить молнию, чтобы ею писать огненные глаголы. Тогда дух носится от полюса к полюсу, мнит, что облетает вселенную, но стоит ему заговорить, выходит детский лепет, и рука быстро рвет бумагу.

Поэтического дьявола, имевшего обыкновение под конец злорадно смеяться над моим бессилием, я привык изгонять чарующей силой музыки. Теперь затрубишь разика два попронзительнее в рог, и дьявола как ни бывало.

Я рекомендую звук моего ночного рога как подлинное *antipoeiticum* повсеместно и всем, боящимся подобных поэтических наитий, как лихорадки. Средство дешевое, но при этом чрезвычайно важное, так как нынешняя эпоха привыкла вместе с Платоном считать поэзию безумием с той только разницей, что первый возводил ее происхождение к небу, а не к сумасшедшему дому.

Что ни говори, поэзия сегодня всюду — дело сомнительное, ибо безумцев осталось слишком мало, а разумных столько развелось, что они своими силами способны заполнить все области деятельности, не исключая поэзии, и настоящему полоумному, как, например, мне, больше некуда податься. Поэтому я теперь лишь обхаживаю поэзию, то есть я стал юмористом, имея как ночной сторож для этого достаточно досуга.

Правда, свое призвание к юмористике я предпочел бы лишь

заранее провозгласить, не ввязываясь в хлопоты, сопряженные с нею. поскольку ныне вообще не придают особого значения призыванию, довольствуясь, напротив, одним званием. Разве нет поэтов со званием, но без всякого призвания, так что я самоустраиваюсь.

Как раз в этот миг сверкнула молния, и мимо кладбищенской ограды проскользнули трое, ни дать, ни взять, карнавальные маски. Я окликнул их, но вокруг уже снова была ночь, и я не видел ничего, кроме сверкающего хвоста и пары огненных глаз, и вместе с дальним громом голос, как в опере «Дон Жуан», пробормотал вблизи меня: «Выполняй свои обязанности, ночной ворон, и не вмешивайся в дела духов!»

Это было для меня, пожалуй, чересчур, и я ткнул пикой туда, откуда доносился голос; тут снова сверкнула молния, но трое растворились в воздухе, как макбетовы ведьмы.

«Так вы не считаете меня духом, — вскричал я между тем в надежде, что они меня услышат, — а ведь я был поэтом, уличным певцом, кукольником, это ли не духовная жизнь! Мне бы знать вас, духи, при вашей жизни, — если вы действительно расстались с нею, — не мог ли мой дух тогда потягаться с вашими; или смерть прибавила вам духу, что наблюдается, к примеру, со многими великими людьми, прославившимися лишь после смерти, как будто их писания обогатились духом, пролежав достаточно долго; и то сказать, не прибывает ли духу с возрастом у выдержанного вина?»

Теперь обиталище вольнодумца, отлученного от церкви, было всего лишь в нескольких шагах от меня. Тусклый свет простирался из открытой двери в ночь, и зарницы весьма причудливо с ним сочетались, а с дальних гор отчетливее доносилось бормотание, как будто царство духов всерьез намеревалось ввязаться в игру.

Мертвое тело, согласно обычаю, лежало в передней для всеобщего обозрения; вокруг него горели немногие неосвященные свечи, так как священник, памятуя о дьяволе, отказался их освятить. Покойник в своем непоколебимом сне посмеивался над этим или над своими прежними чудаческими бреднями, опровергнутыми Потусторонним, и его улыбка светилась, как отдаленный отблеск жизни, в оцепенении черт, закрепленных смертью.

Длинный, слабо освещенный зал позволял заглянуть в нишу с черными занавесями; там неподвижно стояли на коленях три мальчика и бледная мать — Ниоба со своими детьми. — погруженные в безмолвную робкую молитву, чтобы вырвать тело и душу покойного у дьявола, которому их обрек священник.

Только солдат, брат усопшего, полагался с твердой невозмутимой верой на Небо и на собственное мужество; готовый схватиться с самим дьяволом, он охранял гроб. Его выжидающий взгляд отличался спокойствием, и он поглядывал то на непод-

вижный лик мертвого, то на частые зарницы, враждебно сверкающие при тусклых свечах; его обнаженная сабля лежала на трупе; рукоять сабли имела форму креста, как будто это оружие мирское и духовное одновременно.

К тому же вокруг царила поистине мертвая тишина; кроме отдаленного ворчания грозы да потрескивания свечей не было слышно ничего.

Так продолжалось, пока строгие четкие удары колокола не возвестили полночь; тогда неистовый ветер вывел вдруг на небо грозовую тучу, подобную жуткому ночному мороку, и вскоре она застлала все небо своим погребальным покровом. Свечи вокруг гроба погасли, гром сердито рявкнул, как смутьян, подстрекающий тех, кто внизу, как бы крепко они ни спали; облака выплевывали пламень за пламенем, отчего периодически резко освещался лишь застывший бледный лик мертвеца.

Теперь я видел, как в ночи блистала сабля солдата, отважно вооружившегося для битвы.

Дальнейшее не заставило себя ждать — воздух выбросил пузыри, и три макбетовых духа снова обрели видимость, словно вихрь приволок их за волосы. Молния осветила перекошенные дьявольские хари со змеями вместо волос и с прочими атрибутами ада.

В это мгновение черт дернул и меня втереться в их общество, пока они шли по переулку. Они изумились, как идущие дурным путем, когда к ним примкнул четвертый, непрощенный.

«К дьяволу! Разве дьяволу дано ходить благими путями! — воскликнул я, дико смеясь. — Так не теряйтесь же, встречая на дурном пути меня. Я из ваших, братья, поэтому я с вами».

Тогда они и впрямь растерялись.

«С нами Бог», — вырвалось у одного, перекрестившегося к тому же мне на удивление, что заставило меня воскликнуть: «Брат дьявол! Не выходи столь разительно из твоего ампула, иначе я разуверюсь в тебе и приму тебя за святого или, по меньшей мере, за посвященного. А по зрелом размышлении мне бы скорее следовало тебя поздравить с тем, что ты, наконец, переварил крест и, закоренелый дьявол по происхождению, для виду развился до святого».

По моему разговору они смекнули, наконец, что я не их соратник, втроем напали на меня и как истые клерикалы заговорили об отлучении и тому подобном, если я буду мешать им в их предприятии.

«Не беспокойтесь, — отвечал я, — до сих пор я действительно не верил в дьявола, но теперь, когда я видел вас, он явился мне воочию, и я удостоверился, что вы освоили свое ремесло. Вершите ваши дела, так как с адом и с церковью не под силу тягаться бедному ночному сторожу».

Тогда они вошли в дом. Я не без колебаний последовал за ними.

Зрелище было жуткое. Молния и мрак поочередно нападали друг на друга. То вспыхивала молния, и можно было видеть возню троих у гроба и блеск сабли в руке закаленного воина, а мертвец наблюдал за всем этим со своим застывшим бледным лицом, неподвижным, как личина. Потом опять воцарялась глубокая ночь. лишь вдалеке, в глубине ниши слабое сияние и коленапреклоненная мать с тремя детьми в отчаянном борении молитвы.

Все совершалось в тишине и без слов, но вдруг что-то рухнуло, как будто дьявол одержал верх. Молнии вспыхивали реже, мрак царил дольше. Через минуту-другую двое рванулись к двери, и в темноте мне достаточно было сверканья их глаз, чтобы увидеть — они, действительно, уносили с собой мертвеца.

Я стоял у двери, тая про себя проклятья; в передней было совсем темно, ни одна душа не шевелилась, и я подумал, что даже доблестному воину, по меньшей мере, сломали шею.

В это мгновение полыхнула яркая молния, с которой грозоявая туча полностью разрядилась; и пламень оставался некоторое время в вышине, подобно водруженному факелу, не погасая. Тут я увидел, что солдат в холодном спокойствии вновь стоит у гроба, а труп улыбается по-прежнему, — но, о чудо! Рядом с улыбающимся мертвым ликом почти вплотную к нему ухмылялась дьявольская личина; ей недоставало туловища, и кровь пурпурно-красным потоком окрашивала белый саван почившего вольнодумца.

В ужасе я закутался в плащ, позабыл затрубить, позабыл пропеть, который час, и побежал по направлению к моей лачуге.

ТРЕТЬЕ БДЕНИЕ

*Речь каменной статуи Криспина относительно
главы de adulteris*

Нас, ночных сторожей и поэтов, и вправду мало занимает людская суeta, творящаяся днем, потому что ныне одна из установленных истин гласит: действия людей в высшей степени будничны, и разве что их сновидения подчас представляют некоторый интерес.

По этой причине я удовольствовался бессвязными толками об исходе того происшествия и намерен передать их столь же бессвязно.

Больше всего ломали головы по поводу головы, ведь то была не обычная, а доподлинно дьявольская голова. Когда обратились к юстиции, она отклонила это дело, заявив, что головы не имеют к ней отношения. Ситуация осложнилась, и завязался спор, начать ли против солдата уголовный процесс по обвинению в

убийстве или, напротив, причислить его к лику святых, так как убитый был дьявол. Последнее повлекло за собой новые неприятности, а именно: в течение нескольких месяцев отсутствовал спрос на отпущение грехов, так как существование дьявола теперь попросту отрицали, используя как аргумент голову, принятую на хранение.

Попы до хрипоты кричали со своих кафедр, утверждая без всяких околичностей, что дьявол может обойтись без головы, что доказательства в их распоряжении и они готовы представить их.

От самой головы, по существу, толку было мало. Физиономия была железная, однако замок, висевший с краю, заставлял предположить, что дьявол прятал под первым лицом другое. Быть может, сберегаемое для особо торжественных дней. Хуже всего было то, что отсутствовал ключ к замку и, следовательно, к другому лицу. Кто знает, какие устрашающие замечания о дьявольских физиономиях позволило бы оно сделать, тогда как с первым лицом, явно будничным, дьявол выступает на любой гравюре.

Среди всеобщего разброда и неопределенности, доподлинно ли дьявольское лицо перед любопытствующими, вознамерились, было, послать голову доктору Галю в Вену, чтобы он обнаружил на ней несомненные сатанические протуберанцы; тогда в игру внезапно вмешалась церковь, провозгласив себя первой и последней инстанцией при принятии подобных решений, она затребовала череп себе, и, как было вскоре объявлено, он исчез, а некоторые господа духовного звания якобы видели в ночной час дьявола, уносящего с собой отсутствующую голову.

Так что дело осталось, мягко говоря, темным, да и единственный, кто мог бы пролить какой-нибудь свет, а именно тот священник, предавший вольнодумца анафеме, внезапно умер от удара. По крайней мере, такой ходил слух, распространяемый господами монахами: самого тела не видел ни один мирянин, потому что с погребением вынудило поторопиться теплое время года.

Эта история не раз приходила мне в голову во время моих ночных бдений, так как я верил до сих пор лишь в поэтического дьявола, а отнюдь не в действительного. Что же касается дьявола поэтического, поистине жаль, что он теперь в таком пренебрежении, и началу, абсолютно злему, охотно предпочитают злодеев добродетельных в манере Ифланда или Коцебу, когда дьявол очеловечивается, а человек, так сказать, одьяволивается. В зыбкую эпоху внушает страх все абсолютное и самобытное; вот почему для нас невыносимы как настоящая шутка, так и настоящая серьезность, как настоящая добродетель, так и настоящее злодейство. Характер времени сшит из разных лоскутков и заштопан, как шутовской наряд, но хуже всего то, что шута в таком наряде принимают всерьез.

Предаваясь подобным размышлениям, я встал в нишу, заслонив каменную статую святого Криспина, облаченного в такой же серый плащ, как я. Тут передо мной вдруг зашевелились две фигуры, мужчина и женщина; они почти прислонялись ко мне, считая меня слепоглухонемым из камня.

Мужчина весьма понаторел в риторической трескотне и на одном дыхании вещал о любви и верности; женообразная фигура, напротив, доверчиво сомневалась, театрально ломая себе руки. Но вот мужчина лихо призвал меня в свидетели и поклялся, дескать, стоять ему неколебимо и недвижно, как статуя. Тут во мне пробудился сатир, и когда кавалер как бы для убедительности положил руку на мой плащ, я слегка, но сердито встряхнулся, чем удивил обоих; однако влюбленный не принял моего движения всерьез, предположив, что под статуей осел постамент, и равновесие несколько нарушилось.

Он клялся собственной душою, что будет верен, разыграв десять ролей подряд из новейших драм и трагедий; наконец, он заговорил, подражая Дон Жуану, на представлении которого присутствовал в тот вечер, и заключил свой монолог знаменательными словами: «Да явится сей камень, как ужасный гость, к нам на ужин, если я покривил душой».

Я принял это к сведению и выслушал, как она описывала ему дом, дверь, открывающуюся с помощью потайной пружины, и все это для того, чтобы назначить час ночного ужина: полночь.

Я пришел на полчаса раньше, нашел дом, дверь с потайной пружиной и бесшумно проскользнул по лестницам вверх в зал, где чуть брезжило. Свет падал из двух застекленных дверей; я приблизился к одной из них и увидел за рабочим столом существо в шлафроке, вызвавшее у меня сначала сомнения, человек это или заводное устройство, настолько стерлось в нем все человеческое, кроме разве только рабочей позы. Существо писало, зарывшись в актах, как погребенный заживо лапландец. Оно как бы намеревалось приноровиться заранее к подземному времяпрепровождению и обитанию, поскольку все страстное и участливое уже погасло на холодном деревянном лбу; марионетка сидела, безжизненно водруженная в канцелярской гробнице, полной книжных червей. Вот ее потянули за невидимую проволоку, и пальцы защелкали, схватив перо и подписав три бумаги подряд; я присмотрелся — это были смертные приговоры. На столе лежал Юстиниан вместе со сводом уголовных и уголовно-процессуальных законов, как бы олицетворявшим душу марионетки.

Придаться было не к чему, но холодный праведник представлялся мне автоматической машиной смерти, действующей без всяких побуждений, а его рабочий стол выглядел как лобное место, где в одну минуту тремя штрихами пера он привел в исполнение три смертных приговора. Клянусь небом, если бы я мог выбирать, я предпочел бы жребий живого грешника, а не этого мертвого праведника.

Я был еще более поражен, когда увидел его удачнейшее восковое изображение, неподвижно восседавшее напротив, как будто мало было одного безжизненного экземпляра и потребовался еще один, чтобы показать с двух разных сторон мертвую диковину.

Тут вошла вышеупомянутая дама, и марионетка, сняв шапочку, положила ее подле себя в робком ожидании.

«Все еще не спите? — сказала вошедшая. — Что за странный образ жизни вы ведете! Вечные фантазии!»

«Фантазии? — спросил он удивленно. — Что вы имеете в виду? Я далеко не всегда понимаю новейшую терминологию, которой вы пользуетесь при разговоре».

«Как может быть иначе, когда вас не интересует ничто высшее, даже трагическое!»

«Трагическое? Ну, чего другого, а трагического хватает, — ответил он самодовольно. — Посмотрите, я предписываю казнь трех преступников!»

«Ах, что за эмоции!»

«Как? А я-то думал порадовать вас; ведь в книгах, которые вы читаете, так много смертей. Я даже приурочил казни к вашему дню рождения, чтобы сделать вам сюрприз».

«Господи! Мои нервы!»

«Ах, ваши нервные припадки в последнее время настолько участились, что мне страшно заранее».

«Да, уж вы-то, к сожалению, тут помочь не можете. Идите, умоляю, и ложитесь спать».

Разговор кончился, и он ушел, вытирая пот со лба. В тот миг я принял поистине дьявольское решение выдать ему, если возможно, нынче же ночью его жену, чтобы он восстановил свою власть над ней, согласно своду уголовно-процессуальных законов.

Мой Марс проскользнул к своей Венере, не заставив себя ждать. Я же хромал от природы да и внешностью не блистал, так что вполне сошел бы за Вулкана, если бы не отсутствие золотой сети, но я решил за неимением таковой применить золотые истины и нравоучения. На первых порах приличие почти не страдало; мой проказник грешил пока что лишь против поэзии, злоупотребляя физиологией при своих описаниях; он изображал небо, полное нимф и шаловливых амуров, намереваясь использовать его как балдахин для своего ложа, путь к этому ложу усеивал фальшивыми розами, разбрасывая их в изобилии словесных выкрутасов, а когда шипы все-таки грозили поранить ему ноги, он обходил их, прибегая к легким игривым двусмысленностям.

Но когда грешник окончательно погрузился в поэтическую стихию, в духе новейших теорий совершенно отбросив мораль, когда он занавесил стеклянную дверь зеленым шелком и все начало принимать характер альковной сцены, я не преминул ис-

пользовать мое antipoeticum и пронзительно затрубил в рог ночного сторожа, вскочив на пустой пьедестал, который предназначался для статуи Справедливости, а она была еще в работе, так что мне оставалось лишь стоять тихо и неподвижно.

Ужасный звук согнал с обоих поэзию, как и сон с мужа, и все трое выбежали вдруг одновременно из двух разных дверей.

«Каменный гость!» — вскричал, содрогнувшись, любовник, заметив меня.

«Ах! Моя Справедливость — (реплика супруга) — она, наконец, готова; какой неожиданный сюрприз устроила ты мне, милашка!»

«Чистейшее заблуждение, — сказал я. — Справедливость все еще лежит у скульптора, и я лишь временно занял пьедестал, не пустовать же ему при таких важных событиях. Конечно, моя пригодность ограничена, ибо Справедливость холодна, как мрамор, и у нее нет сердца, а я, бедняга, отличаюсь мягкостью, чувствительностью, да и поэтические настроения кое-когда посещают меня, но в обычных обстоятельствах я могу послужить дому и в случае нужды сойду за каменного гостя. Такие гости хороши тем, что они не участвуют в трапезе и не согреваются, когда это может принести вред, а другие воспламеняются, напротив, так легко, что хозяина бросает в жар, как это имеет место в данный момент».

«Ай, ай, Господи, что творится!» — пролепетал супруг.

«Немые заговорили, полагаете вы? В нашу эпоху это происходит от общего легкомыслия. Не следует рисовать черта на стене. Наши молодые светские господа нарушили этот запрет да еще злоупотребляют своей неосторожностью перед слабыми душами, чтобы выглядеть героями хотя бы с одного боку. Я поймал одного такого господина на слове, хотя мне полагалось бы стоять вовсе не здесь, а на базаре в сером плаще в качестве каменного святого Криспина».

«Господи, как осмыслить подобное, — отозвался супруг испуганно, — это непорядок, и вообще ни на что не похоже!»

«С точки зрения правоведа, разумеется! Этот Криспин был, как известно, сапожником, но, отличаясь особым благочестием, а также от избытка истинной добродетели занялся воровством и крал кожу, чтобы тачать обувь бедным. Какой вынести ему приговор, судите сами! Я не вижу другого выхода кроме как повесить его, а потом причислить к лику святых. Подобными принципами подобало бы руководствоваться, когда судят прелюбодеев, нарушающих закон лишь для того, чтобы сохранить мир в семье; намерение при этом, очевидно, похвальное, к чему все, главным образом, и сводится. Иная жена, чего доброго, замучила бы мужа до смерти, когда бы не подвернулся такой друг дома, ставший негодяем из чисто моральных побуждений. Собственно, я придерживаюсь моей темы, и мы могли бы во имя Божье начать уголовный процесс, ведущий к смертному пригово-

вору. Но я вижу, что обвиняемые оба лежат в обмороке; придется сделать перерыв».

«Обвиняемые? — механически спросил супруг. — Я не вижу никаких обвиняемых. Это моя дражайшая половина!»

«Тем лучше, рассмотрим сначала ее дело. Дражайшая половина! Совершенно верно! Это значит крест или казнь в браке, и поистине может быть сочтен образцовым брак, в котором этот крест составляет лишь половину. Если вы, как вторая половина, составляете блаженство брака, то ваш брак не что иное, как небо на земле».

«Блаженство брака», — молвил тот с глубоким вздохом.

— Не надо сентиментальных отступлений, любезный друг, обратим лучше взгляд на второго обвиняемого, который лежит в обмороке от страха перед каменным гостем. Если мы, как лица, обладающие правосознанием, смеем по моральным соображениям ссылаться на смягчающие обстоятельства, я готов даже стать его защитником и хотел бы, по меньшей мере, избавить его от казни через отсечение головы, к чему его приговаривает Каролина, но у таких молодчиков голову можно отрубить лишь *in effigie*, так как, строго говоря, у них не может быть и речи ни о какой голове!»

«Неужели Каролина дошла до такой жестокости? — пробормотал супруг в полной растерянности. — Она же содрогалась раньше, когда я заговаривал о смертной казни!»

«Не осуждаю вас, — ответил я, — за то, что вы спутали обеих Каролин, ибо спутница вашей жизни по имени Каролина, как брачный крест и пытка, и та другая, предписывающая смертные приговоры, что отнюдь не звучит небесной музыкой, друг друга, бесспорно, стоят. Больше того, я отважился бы утверждать, что брачная похуже императорской, ибо та, по крайней мере, ни в одном случае не предписывает пожизненной пытки».

«Но, Боже мой, так не может продолжаться, — сказал он вдруг, словно приходя в себя. — Непонятно, бодрствуешь или гредишь; я был бы не прочь ощупать и ущипнуть себя лишь для того, чтобы убедиться, сплю я или нет, но я готов поклясться: только что я слышал ночного сторожа!»

«О Господи! — воскликнул я. — Теперь мой черед пробудиться; вы назвали меня по имени и, на мое счастье, я нахожусь не слишком высоко, то есть не на крыше и не в поэтическом парении, иначе я упал бы, сломав себе шею. Но, к счастью, я стою не выше, чем стояла бы здешняя Справедливость, и я пока еще остаюсь человеком среди людей. Вы всматриваетесь в меня, и мой облик ничего не говорит вам, но я разрешу ваше недоумение. Я здешний ночной сторож и лунатик по совместительству, вероятно, потому, что обе эти функции не исключают друг друга в одном лице. Когда я выполняю мои обязанности ночного сторожа, меня как лунатика нередко одолевает охота взбираться на заостренные вершины, как, например, на коньки

крыш или на другие подобные критические высоты, поистине так я попал здесь на пьедестал Фемиды. Эта отчаянная причуда приведет когда-нибудь к тому, что я сломаю себе шею, однако пока что мне частенько доводится таким необычным способом оберегать благонамеренных жителей этого города от воров как раз потому, что я имею обыкновение посещать все закоулки, а ведь это еще самые безобидные воры, промышляющие лишь на улице с ломами по магазинам. Вот обстоятельство, надеюсь, извиняющее меня, засим желаю вам всего наилучшего!»

Я удалился, оставив изумленного супруга наедине с теми двумя, как раз только что пришедшими в себя. О чем они потом беседовали между собой, я не знаю.

ЧЕТВЕРТОЕ БДЕНИЕ

*Гравюры на дереве вкупе с Житием безумца,
излагаемым в форме пьесы для
театра марионеток*

К излюбленным местам, где я имею обыкновение задерживаться во время моих ночных бдений, принадлежит выступ старого готического собора. Здесь я сижу при мерцающем свете единственной неугасимой лампы и часто сам себе кажусь ночным призраком. Место располагает к размышлениям; сегодня оно навело меня на мою собственную историю, и я перелистал словно бы скуки ради книгу моей жизни, написанную сумбурно и достаточно безрассудно.

Уже первая страница озадачивает, а на странице пятой речь идет не о моем рождении, а о том, как искать клады. Читатель увидит здесь таинственные каббалистические знаки, а на сопроводительной гравюре изображен странный сапожник, предпочитающий своему ремеслу науку делать золото. Рядом с ним цыганка, вся желтая и как бы безликая: растрепанные космы падают ей на лоб; она-то и обучает сапожника искать клады, дает ему лозу, предназначенную для этого, и точно указывает место, где он через три дня должен выкопать сокровище. Я сегодня не в настроении останавливаться на чем-нибудь, кроме гравюр в книге, и потому перехожу ко второй гравюре.

Здесь перед нами опять сапожник, но уже без цыганки; художнику на этот раз удалось придать его лицу куда большую выразительность. В чертах лица чувствуется сила, свидетельствующая о том, что сей муж, не ограничиваясь ногами людей, продвинулся *ultra crepidam*. Перед нами сатира на очередной промах гения, доказывающий: кто хорошо делает шляпы, тот плохо шьет сапоги, и наоборот, если поставить пример на голову. Действие происходит на перекрестке; черные штрихи намекают на мрак

ночи, зигзаг на небе обозначает молнию. Очевидно, любого другого честного ремесленника подобные окрестности обратили бы в бегство, однако нашего гения этим не проймешь. Он только что вытащил из углубления тяжелый сундучок и успел уже открыть предполагаемое вместилище добытого клада. Но, о небо! его содержимое назвал бы кладом разве что чудак любитель, — ибо в сундучке нахожусь я собственной персоной без всяких имущественных приложений, но вполне готовый гражданин мира. Какие бы соображения ни возникли у кладоискателя по поводу его находки, гравюра отнюдь не показывает нам их, так как художник остался верен своему искусству, ни в чем не переступая его границ.

Третья гравюра.

Здесь требуется хитроумный комментатор. — Я сижу на одной книге, а читаю другую; мой приемный отец занят башмаком, что как будто не мешает ему в то же время на свой лад размышлять о бессмертии. Книга, на которой я сижу, содержит масленичные действия Ганса Сакса, а читаю я «Утреннюю зарю» Якова Беме, эти две книги составляют ядро нашей домашней библиотеки, поскольку оба автора были мастерами-сапожниками и поэтами.

Не буду пускаться в дальнейшие объяснения, так как на гравюре и так уделяется слишком много внимания моей своеобразности. Я лучше почитаю относящуюся сюда третью главу про себя в тишине. Она сочинена моим сапожником, зашедшим достаточно далеко, чтобы самолично продолжить мое жизнеописание, и начинается она так:

«Частенько даюсь я диву, глядя на Крейцганга (согласно обычаю, мне дали при крещении имя места, где я был найден). Выше обычного сапога его и не достанешь, ибо есть в нем что-то чрезмерное, как в старом Беме, который тоже раненько пошел глубже сапожного ремесла и впал в тайну. Так и этот; обыкновеннейшие явления представляются ему необыкновеннейшими, например восход солнца, происходящий каждый день и не внушающий нам, прочим детям человеческим, никаких особенных мыслей. Также звезды на небе и цветы на земле, которым он приписывает способность вести частые беседы между собой и таинственно общаться. Недавно он совсем сбил меня с толку, расспрашивая о башмаке; сначала он пожелал знать его составные части, и когда я обстоятельно ответил ему, потребовал объяснений по поводу их состава, устремляясь все выше и выше, сперва в область естественных наук, поскольку кожу он возводил к быку, но и на этом не остановился, пока, наконец, я с моим башмаком не оказался в сфере теологии, и он мне напрямик не объявил, что я никудышный сапожник, так как не могу поведать ему о первоосновах моего ремесла. К тому же он часто называет цветы письменами, которые мы разучились читать; то же самое говорит он о пестрых камнях. Он надеется

когда-нибудь изучить этот язык и обещает поделиться диковинками, которые тогда ему откроются. Часто он прислушивается тайком к жужжанию комаров или мошек при солнечном свете, полагая, что они разговаривают о важных предметах, а людям это до сих пор вовсе даже невдогад; когда он разглагольствует подобным образом в мастерской перед учениками и подмастерьями, и те смеются над ним, он ничтоже сумняшеся объявляет их слепыми и глухими, они-де не видят и не слышат, что происходит вокруг них. Теперь он день и ночь сидит над Яковом Беме и Гансом Саксом, над этими двумя чудными сапожниками, и при своей-то жизни никого не вразумившими. Одно мне ясно, как день: этот Крейцганг не то, что обыкновенные дети человеческие, недаром же я обрел его столь необыкновенным путем.

Никогда не забуду я вечера, когда я, огорченный моим скудным заработком, задремал здесь на треножнике; говорят, что неспроста это был именно треножник; мне приснилось, будто я нашел сокровище в скрыне, но ее не велено открывать, пока я не проснусь. Все это было так отчетливо и очевидно, сон и явь так четко различались, что некий замысел засел у меня в голове, и я не мог от него отделаться, пока, наконец, не свел знакомство с цыганкой, чтобы и впрямь попытаться.

Все шло своим чередом: я извлек ларец, виденный мною во сне, прикинул сперва, не сплю ли я, и лишь потом открыл его, но вместо чаемого золота я, оказывается, откопал из земли это чудо-дитя.

Сначала я был в некоторой растерянности, так как подобному живому сокровищу должно было бы сопутствовать неживое, если бы все шло своим чередом, но мальчуган был голенький, да еще засмеялся к тому же, когда я на него взглянул. Опомнившись, я глубже вник в это дело, осмыслил его по-своему, да и понес бережно мое сокровище домой.

Я вспоминал слова моего достойного сапожника, пока некое странное явление не прервало вдруг этого занятия. Высокая мужская фигура, закутанная в плащ, вошла под свод и остановилась у могильного камня. Я тихонько скользнул за ближайшую колонну, фигура отбросила плащ; сквозь черные волосы, ниспадавшие на лоб незнакомцу, я различил гневный бледно-смуглый лик южанина.

Я чувствую себя перед лицом чужой необычной человеческой жизни как перед занавесом, за которым должен разыгрываться шекспировский спектакль, и я предпочел бы, чтобы это была трагедия, ибо с подлинной серьезностью для меня совместима лишь трагическая шутка и такие шуты, как в «Короле Лире», поскольку только им хватает дерзости, чтобы издеваться en gros без всяких количностей над человеческой жизнью в целом. Напротив, мелкие зубоскалы и добряки комедиографы, ограничивающиеся лишь домашним кругом, в отличие от Аристофана, отважившегося высмеивать самих богов, глубоко отвратительны

мне, как и жалкие слезливые душонки, которые, не смея разрушить всю человеческую жизнь и вознести над ней самого человека, измышляют убогое мучительство да еще умудряются истязать свою жертву в присутствии врача, безукоризненно определяющего все допустимые степени пытки, чтобы бедняга, даже оставшись калеккой, все-таки ковылял кое-как по жизни, как будто жизнь — это высшее, а не сам человек, идущий дальше жизни, ибо что такое жизнь, если не акт первый, то есть ад в Божественной Комедии, через которую человек проходит в поисках идеала.

Тот, кто вблизи от меня преклонил колени на могильной плите, держа в руке сверкающий кинжал, выхваченный из ножен изящной работы, казался мне подлинно трагическим персонажем и притягивал меня к себе, завораживая своим обаянием.

Я не собирался поднимать тревогу в случае, если он предпримет что-нибудь серьезное; так же мало устраивала меня роль закулисного наперсника, готового в пятом акте, согласно тексту, вовремя протянуть моему герою руку помощи; я усматривал в его жизни лишь изящные ножны, подобные тем, которые он держал в руке и которые в красочной оболочке таили кинжал; уподоблялась она и корзине цветов, где среди роз подстерегала Клеопатру ядовитая змея, а когда драма жизни принимает такой оборот, недопустимо намерение предотвратить трагическую катастрофу.

Когда я еще управлял марионетками, у меня был царь Саул, и на него до последнего волоса походил мой незнакомец всеми своими манерами — те же деревянные механические движения, тот же стиль каменной древности, которым трупы марионеток рознятся от живых актеров, не умеющих даже умереть как следует на сегодняшней сцене.

Занавес не успел опуститься, а все уже кончилось: рука, занесенная для смертельного удара, вдруг оцепенела, и коленопреклоненный напоминал каменное изваяние на могильной плите. Между острием кинжала и грудью, которую он должен был пронзить, оставалась какая-нибудь пядь, и смерть вплотную приблизилась к жизни, однако время как будто прекратилось, не желая больше идти, так что мгновение совпало с вечностью, навсегда исключаящей все перемены.

На меня напала настоящая жуть, я испуганно взглянул на циферблат церковных часов, и там стрелка застыла, показывая ровно полночь. Я сам был как бы парализован, и вокруг все было мертво, неподвижно: человек на могиле, собор со своими оцепенелыми высокими колоннами и монументами, с каменными рыцарями и святыми, преклонившими колени вокруг и, казалось, ожидавшими нового времени, чье наступление расколдует и раскует их.

Но все это быстро прошло, часовой механизм собрался с ду-

хом, стрелка двинулась, и бой часов начал медленно разноситься под пустынным сводом, возвещая первый час пополуночи. Часовая пружина, казалось, вернула человеку на могиле свободу движений, кинжал лязгнул по камню и сломался.

«Проклятый столбняк, — сказал человек холодно, как будто по привычке, — никогда не удастся мне нанести удар!» С этими словами он встал, как ни в чем не бывало, и уже собирался удалиться.

«Ты мне по душе, — вскричал я, — в твоей жизни есть и благородство, и неподдельное трагическое спокойствие. Мне нравится величавое классическое достоинство в человеке, которому ненавистны слова, когда нужны действия, и твоя готовность к подобному *salto mortale* незаурядна: таких усилий предпочитают избегать, пока это возможно»

«Если ты можешь поспособствовать мне в моем прыжке, — ответил он мрачно, — тогда хорошо, в противном случае не рачтой впустую похвал и суждений. Об искусстве жить написано больше, чем слишком много, а я ищу трактат об искусстве умирать, и все напрасно: я не могу умереть!»

«О если бы таким твоим талантом обладали некоторые из наших популярных писателей! — вскричал я. — Их произведения так и оставались бы однодневками, но если бы они сами были бессмертны, они вечно поставляли бы свои сочинения-однодневки, сохраняя популярность до Страшного суда. К сожалению, слишком рано наступает для них час, когда они должны умереть вместе со своими недолговечными поделками. О друг, если бы в это мгновение я мог вознести тебя до Коцебу, такой Коцебу никогда не скончался бы, и даже в конце мира его творения скопились бы на хогартовском «хвосте», и Время могло бы запалить последнюю трубку, которую оно выкурит, сценой из его последней драмы, вдохновенно переходя в вечность».

Человек хотел тихо скрыться, не произнося, в отличие от плохих актеров, никакой сокрушительной финальной тирады, но я удержал его за руку и сказал:

«Не спеши, друг, времени тебе хватит, насколько вообще можно говорить о времени, ибо, исходя из твоих слов, я принял тебя за вечного жида, который кощунствовал против Бессмертного и был наказан бессмертием уже здесь, когда вокруг него все проходит. Вид у тебя мрачный, ты единственный человек, чью жизнь никогда не пронзит стрелка, летящая по циферблату, этот острый меч, неутомимый в убийстве, и ты скончаешься не раньше, чем сокрушится железо ее колес. Легче относись к происходящему; право же, стоит позабавиться и в качестве зрителя присутствовать до последнего акта на этой великой трагикомедии, именуемой всемирной историей, а в конце тебе предстоит особое удовольствие, когда ты будешь наблюдать исчезновение всех вещей во всемирном потоке, стоя на последней вершине как единственный оставшийся в живых; ты освищешь всю пьесу

по своей прихоти, а потом, второй Прометей, неистовый и гневный, низвергнешься в бездну».

«Я бы освистал, — угрюмо буркнул человек, — если бы сочинитель не вступал в пьесу меня самого как действующее лицо, чего я не прошу ему никогда».

«Тем лучше! — воскликнул я. — Тогда в пьесе будет еще и славный бунт в конце, когда главный герой восстанет против своего автора. Разве так не случается достаточно часто и в мелких подражаниях великой всемирной комедии, когда герой в конце концов перерастает своего автора и тот никак не может совладать с ним. О, послушать бы мне твою историю, ты вечный странник, чтобы смеяться над нею, пока меня всего не затрясет, так как я имею обыкновение смеяться над настоящей серьезной трагедией и, напротив, то и дело плачу, когда идет хороший фарс, ибо истинная доблесть и величие всегда воспринимаются с двух противоположных сторон».

«Я понимаю тебя, шутник! — ответил человек. — Как раз теперь и я в неистовстве, достаточном для того, чтобы со смехом поведать тебе мою историю. Но, Небо — свидетель, если по твоему лицу проскользнет хоть намек на серьезность, я онемеею в то же мгновение!»

«Не беспокойся, дружище, я буду смеяться с тобою», — ответил я и, усевшись под целой каменной рыцарской семьей, молящейся на могиле, он начал так:

«Дьявольски скучно, согласись, разворачивать свою собственную историю поэтапно, как того требует истинное благодушие, поэтому я лучше перейду прямо к действию и представлю ее комедией марионеток с шутком; тогда целое будет нагляднее и забавнее.

Сначала дрянными деревенскими музыкантами исполняется моцартовская симфония, что хорошо подходит к бездарно испорченной жизни и возвышает чувство великими помыслами, когда при таком пиликанье ты готов броситься хоть к черту в зубы. Потом выступает шут и просит извинить кукольника, который поступил, подобно Господу Богу, доверив значительнейшие роли бесталаннейшим актерам, однако отсюда проистекает и некое благо: пьеса получается трогательная, как бывает с великими трагическими сюжетами в обработке мелких заурядных поэтов. Шут делает нелепейшие замечания о жизни и характере эпохи, утверждая, будто и то и другое скорее трогательно, чем комично, и над людьми следует скорее плакать, нежели смеяться; посему, дескать, он сам сделался серьезным, высокоморальным шутком, выступающим лишь в благородном жанре, что приносит ему обильные аплодисменты.

Затем являются сами деревянные куклы; два брата без сердец обнимаются, и шут смеется над шелканьем рук и над лобзанием, при котором безжизненные губы не шевелятся. Один деревянный брат и функционирует, как марионетка, выражается с бес-

конечной напыщенностью, произносит длинные сухие периоды, которые не имеют ничего общего с жизнью и потому могут служить образцом прозаического стиля. Другая кукла не прочь пожеманничать и подделывается под живого актера, изъясняется дурными ямбами, даже время от времени рифмует последние слоги, а шут кивает при этом головой, произнося речь о теплоте чувства, свойственного марионетке, и об изысканной декламации трагедийного стиха. Потом братья подают друг другу руки и уходят. Шут танцует соло вдобавок, а в антракте снова говорит Моцарт через деревенских музыкантов.

Действие развивается дальше. Выступают две новых куклы, Коломбина с пажом, раскрывающим над нею зонтик, чтобы защитить ее от солнца; Коломбина — примадонна труппы, и без лести можно сказать, что игрушечник смастерил шедевр в ее образе. Поистине эллинские контуры, работа на грани идеального совершенства. Входит один из братьев, тот, который до этого изъяснялся в прозе; он видит Коломбину, ударяет себя по тому месту, где полагается быть сердцу, вдруг начинает говорить стихами, рифмует конечные слоги или пользуется ассонансами на «а» и «о», пугая этим Коломбину; та убегает вместе с пажом. Кукла бросается было за ней, но тут кукольник допускает маленькую небрежность, и бегущий очень сильно толкает шута, который экспромтом произносит очень злую сатирическую речь, разъяря, что творец — то есть кукольник — не соблаговолил предназначить даму этой кукле, и пьеса, таким образом, обретает настоящую нелепость и комизм, делая меланхолического дурака наисмешнейшим персонажем фарса. У куклы вырываются проклятья, она даже хулит самого кукольника, отчего зрители хохочут до слез. Наконец, кукла укрепляется в надежде обрести свою даму и решает искать ее по всему театру. Шут сопровождает ее.

В третьем акте снова появляется Коломбина и очень мило обходится с другим кукольным братом, они вместе поют нежный дуэт, а потом обмениваются кольцами, на что деловито отзывается старый Панталоне с музыкантами, исполняющими много веселой музыки, только звуки ее не слышны, и это производит странное впечатление на зрителей. Наконец, под беззвучную музыку танцуют, и Панталоне оценивает по достоинству свой музыкальный слух в подтверждение сказки, будто звуки, замерзшие на Северном полюсе, могут лишь на теплом юге оттаять до слышимости. Все это так странно, что поистине не знаешь, шутят с тобой или нет; самые рассудительные среди зрителей уже усматривают в действии нелепость.

Когда два первых отправляются в постель, снова приходит шут с другим братом. Тот рассказывает, как он предпринял дальние путешествия от одного полюса к другому, нигде не найдя Коломбины, и потому в отчаянье намерен лишить себя жизни. Шут открывает клапан у кукольного брата, и, к своему

удивлению, действительно обнаруживает сердце, что вызывает у него озабоченность и страх, наталкивающий на некоторые разумные мысли. как, например, не есть ли все в жизни, и боль, и радость, — лишь явление, но тут сказывается одна сомнительная точка: само явление никогда не проявляется, и марионетки не только не подозревают, что люди смеются над ними, забавляясь их игрою, а, напротив, мнят себя важными, значительными персонами. Шут силится разъяснить существо марионетки, постоянно путается при этом и в конце длинной, весьма потешной речи возвращается туда, откуда начал. Ядовито посмеиваясь в кулачок, он уходит.

В четвертом акте оба брата встречаются, и пока говорит брат, наделенный сердцем, немые звуки из предыдущего акта вдруг становятся слышны и аккомпанируют словам, что приводит брата без сердца в крайнюю растерянность. К тому же выступает Арлекин, издеваясь над любовью, так как в ней нет ничего героического и она не может служить общественному благу. Он призывает кукольника в принципе упразднить любовь и ввести для своей труппы чистые нравственные чувства. Напоследок он требует ревизии рода человеческого и некоторых необходимейших изменений в системе Вселенной, а также упорно допытывается, почему он должен разыгрывать дурака ради неизвестной ему публики.

Теперь вырисовывается трагическая ситуация, причем весьма неудовлетворительно. А именно, появляется прекрасная Коломбина, и когда брат без сердца представляет ее другому как свою супругу, тот, не говоря ни слова, в высшей степени неуклюже падает и ударяется деревянной головой о камень. Те двое убегают, чтобы прислать кого-нибудь на помощь, а шут поднимает его, вытирает кровь со лба, как ни в чем не бывало, убеждает его, что поскольку нет никаких вещей в себе, следует выбросить из головы камень и всю эту историю. К тому же он восхваляет кукольника, отменившего греческий фатум, чтобы установить в театре моральный строй, согласно которому все должно разрешиться благополучно.

Последний акт может насмешить до смерти. Сперва играют грулейший вальс, рассчитанный на трогательность; потом появляется марионетка, наделенная сердцем, и убеждает Коломбину посредством силлогизмов и софизмов в том, что кукольник перепутал куклы и она досталась его брату в супруги по ошибке, а в соответствии с комической развязкой пьесы она принадлежит ему самому. Коломбина как будто верит ему, но по моральным соображениям, а также из благоговения перед кукольником притворяется, будто не верит, и брат, наделенный сердцем, придя в отчаянье, наспех пытается похитить ее. Она пренебрежительно отталкивает его, и он ведет себя, как бесноватый, бьется деревянным лбом в стену и применяет ассонансы на «у». Напоследок он бросается прочь, а когда мимо него проходит в ночной ру-

башке сонный паж из второго акта, вталкивает его в комнату, которую запирает.

После короткой паузы он появляется вместе с кукольным братом, который держит в руке обнаженный кинжал и после короткой напыщенной тирады закалывает сперва пажа, потом Коломбину и, наконец, закалывается сам. Брат придурковато столбенеет среди трех деревянных кукол, валяющихся на полу, потом, не говоря ни слова, он тоже хватается за шпагу, чтобы довершить картину и отправить туда же себя самого; но в это мгновение лопается проволока, слишком туго натянутая кукольником, рука не может нанести удара и неподвижно повисает; в тот же миг некий чужой голос доносится из уст куклы, восклицая: «Живи вечно!»

Тут вновь появляется шут, чтобы смягчить его и утешить, однако заходит слишком далеко и сердито замечает между прочим, какую глупость делает марионетка, позволяя себе предаваться самоанализу, будучи обязанной лишь повиноваться прихотям кукольника, а тот снова бросит ее в ящик, когда ему заблагорассудится. Потом он говорит много хорошего о свободе воли и о бреднях в голове марионетки, разумно и реалистически освещая проблему, и все это для того, чтобы доказать кукле, как нелепо с ее стороны придавать подобным казусам слишком большое значение, когда все это, в конце концов, не более, чем фарс, где, в сущности, один только шут играет разумную роль именно потому, что для него фарс — не более, чем фарс».

Тут человек замолчал на мгновение, а затем добавил в припадке дикой насмешливости:

«Вот тебе и все карнавальное действо, в котором я играл брата, наделенного сердцем. Кстати, по-моему, его история очень удачно разыграна фигурками, вырезанными из дерева, по крайней мере, можно злиться, а моралисты не могут иметь ничего против, иначе бы они назвали это богохульством. К тому же все отличается какой-то истинной возвышенной произвольностью, как это и бывает в первозданных обстоятельствах, хотя мы, недалекие людишки, предпочли бы обусловленность в мелочах, а наш кукольник, напротив, пренебрегает ею и никому не дает отчета, почему не вычеркивает он из своего карнавального действия явно неудавшихся ролей, вроде моей, например. О, сколько поколений миновало с тех пор, как я вознамерился выпрыгнуть из пьесы, ускользнуть от кукольника, однако он меня не отпускает, как я ни хитрю. Сквернее всего скука, все более одолеваящая меня, ибо тебе следует знать, что я состою в актерах уже много столетий и принадлежу к неизменному набору итальянских масок, которые не сходят со сцены.

Я перепробовал все способы. Сначала я являлся с повинной в суд и признавался в том, что я великий злодей и трижды убийца; они начинали следствие и выносили приговор: меня нельзя казнить, так как защита доказала; что я никому не поручал в яс-

ных и отчетливых словах совершить убийство, и его можно приписать мне разве что как духовное действие, а за такие *Forum externum* не карает. Я клял моего защитника, и это приводило лишь к жалкому процессу об оскорблении личности, после чего меня выпускали на свободу.

Я поступал на военную службу и участвовал во всех битвах, но судьба не начертала моего имени ни на одной пуле; смерть обнимала меня на своем великом поприще среди тысяч умирающих и разрывала свой лавровый венок, чтобы разделить его со мною. Я даже получал блестящую роль героя в ненавистой драме и со скрежетом зубным проклинал свое бессмертие, преграждавшее мне путь, куда бы я ни бросился.

Тысячу раз я подносил к губам кубок с ядом, и тысячу раз он выпадал из моей руки прежде, чем я успевал осушить его. Всякий раз в полночь я выступаю, как механическая фигура на циферблате, из моего тайного обиталища, чтобы нанести себе смертельный удар, но часы смолкают, и как та же механическая фигура, я возвращаюсь восвояси, чтобы появиться и уходить до бесконечности. О, найти бы мне сам этот вечно скрипящий механизм времени и ввергнуться бы в него, чтобы разрушился либо он, либо я. Мучительная потребность осуществить это намерение часто доводит меня до отчаянья; я как в бреду измышляю разные возможности такого осуществления, потом заглядываю в глубь самого себя, как в неизмеримую бездну, где время глухо шумит, подобно неиссякаемому подземному потоку, и тогда из мрачной глубины доносится одно только слово: вечно, и я в ужасе отшатываюсь, но не могу убежать от самого себя».

Человек замолчал, и во мне возникло жгучее желание дать собственной рукою благодетельный опиум несчастному, измученному бессонницей, даровать ему долгий сладкий сон, которого напрасно жаждет его воспаленное сверхбдительное око. Но я опасался, не рассеется ли его безумие в решающее мгновение и не возлюбит ли он снова жизнь именно за то, что она проходит. О, человек создан из этого противоречия; он любит жизнь из-за смерти и возненавидел бы жизнь, если бы исчезло то, чего он страшится. Итак, я не мог ничего для него сделать, предоставив его собственному безумию и собственной судьбе.

ПЯТОЕ БДЕНИЕ

Два брата

Предыдущее ночное бдение длилось долго, следствием чего оказалась бессонница, подобная вышеописанной, и в свете ясного прозаического дня, обычно превращаемого мною в ночь на испанский манер, мне пришлось бодрствовать, то есть скучать

среди мешанской жизни, которая есть не что иное, как спячка наяву

Тут не оставалось мне ничего лучшего, кроме как перевести поэтический бред моей ночи на язык ясной скучной прозы, и я перенес на бумагу жизнь моего безумца, придав ей разумную обусловленность, чтобы такая публикация развлекала и услаждала разумных дневных сомнамбул. В сущности, это был для меня лишь способ изнурить себя, и я хотел бы перечитать это ночное бдение, чтобы избежать вторичного соприкосновения с прозой и ясным днем.

Итак, вполне отчетливо и понятно излагается следующее:

«Отчизной дон Хуана была жаркая, знойная Испания, где деревья и люди разрастаются гораздо пышнее и вся жизнь приобретает огненный колорит. Один дон Хуан казался северным утесом, перенесенным в царство этой вечной весны; он стоял, холодный и недвижимый, и лишь время от времени земля содрогалась у его подножия, пугая окружающих, на которых его близость нагоняла жуть.

Его брат дон Понсе, напротив, был нежен, как девушка, и его слова расцветали, оплетая жизнь, и она уподоблялась для него саду, занавешенному зеленым, где он гулял. Все любили его; нельзя сказать, что Хуан его ненавидел, но его манера выражаться была Хуану не по душе, так как Понсе не мог принять спокойного величия, преуменьшая все напыщенным украшательством. вынужденный всюду подрисовывать свои пестрые завитушки, подобно плохим поэтам, пытающимся снабдить роскошное изобилие природы добавочными красотоми вместо того, чтобы собственными силами создать новую самобытную природу.

Они жили в совместном безучастии и походили на двух мертвецов, оконечивших на горе Бернарда, так что одна грудь прижата к другой; такой холод царил у них в сердцах, где не было ни ненависти, ни любви; лишь Понсе носил на лице маску любящего, на которой застыла улыбка, и расточал множество дружелюбных слов, лишенных творческой твердости и незамысловатой сердечности. Хуан отвечал на это большей замкнутостью и неприступностью; суровый Север враждебно овеивал нежный Юг, заставляя быстро облетать жеманные цветы.

Взаимное равнодушие родственных сердец как бы разгневало судьбу, и она лукаво подбросила им ненависть и возмущение, чтобы они, пренебрегшие любовью, сблизились хотя бы как яростные враги.

Однажды в Севилье дон Хуан безучастно наблюдал бой быков. Его взор отвлекался от амфитеатра, где один выше другого располагались ряды зрителей, и предпочитал оживленному множеству лиц пестрые причудливые узоры, вышитые ковры, покрывавшие балюстраду. Наконец, его внимание приковала единственная еще пустая ложа, и он механически уставился в нее, как будто именно там должен подняться для него занавес ис-

тинного зрелища. Немало времени прошло перед тем, как появилась высокая женская фигура, вся в черном, и красавец паж, раскрывший над нею зонтик, чтобы защитить от солнца. Она продолжала стоять неподвижно на своем месте, и столь же неподвижно стоял напротив нее Хуан, как будто за этими покровами таилась загадка его жизни, и тем более боялся он мгновения, когда эти покровы спадают, словно за ними возникнет кровавый призрак Банко.

Наконец, этот миг настал, и белой лилией расцвел чарующий женский образ, торжествуя над своим одеянием; ее ланиты казались безжизненными, а едва окрашенные уста были сомкнуты безмолвием, и она напоминала скорее знаменательный образ чудного сверхчеловеческого существа, чем земную женщину.

Хуан почувствовал одновременно ужас и пылкую неистовую любовь; смятение воцарилось в глубине его души, но из его уст ничего не вырвалось, кроме громкого крика. Незнакомка быстро и пристально глянула на него, опустила в то же мгновение покрывало и скрылась.

Хуан поспешил за ней, но не нашел ее. Он пересек Севилью — тщетно; страх и любовь гнали его прочь и снова влекли назад, однако в отдельные быстро проносящиеся секунды мгновение, когда он встретит ее, представлялось ему столь же ужасным, сколь и желанным; он силился задержать это предчувствие, чтобы осмыслить его, но оно всякий раз проносилось, как мимолетная ночная греза, и, опомнившись, он видел прежний мрак, свидетельствующий о том, что в его памяти все померкло.

Трижды проехал он через Испанию, не встретив бледного лица, всматривавшегося, казалось, в его жизнь смертельным и любящим взором; наконец, неодолимая тоска по родным местам заставила его вернуться в Севилью, и первый, кто ему встретился, был Понсе.

Оба брата как бы испугались друг друга, ибо оба стали друг другу чужими до загадочности. Твердость Хуана исчезла, и он пламенел, как вулкан, сквозь тысячелетние пласты которого вдруг прорвалось на воздух внутреннее пламя, но его близость казалась еще опаснее. Напротив, прежняя нежность Понсе превратилась в сдержанность, и он стоял, холодный, рядом со своим пламенеющим братом; вся мишура спала с его жизни, и он уподобился дереву, лишившемуся своего преходящего весеннего убора, чтобы простирать в воздух свои цепенеющие, перепутанные ветки. Так молния поджигает лес, и он горит, освещая горизонт на тысячу ночей, но проскользнув над степью, та же молния сжигает лишь редкие засохшие цветы, от которых не остается следа.

С холодной вежливостью пригласил Понсе дону Хуана к себе, чтобы представить ему свою супругу. Хуан механически последовал за ним. Было как раз время сиесты; братья вошли в павильон, густо оплетенный виноградом; там на мраморной плите

покоился тот самый бледный образ, недвижимый, в дремоте, подле каменного гения смерти, чей опрокинутый факел касался ее груди. Хуан остолбенел, цепenea: мрачное предчувствие поднялось в его душе и не исчезало более, обретая зловещую отчетливость, как внезапно разгаданная загадка Эдипа. Тогда сознание покинуло его, и он в беспамятстве поник на камень.

Он очнулся в одиночестве; лишь безмолвный строгий юноша остался около него. Охваченный внутренней бурей и возмущением, Хуан кинулся прочь.

И весь мир вокруг него изменился, обретя иные формы; прежнее время как бы возродилось, прервался глубокий сон седой судьбы, и она снова властвовала над небом и над землею. Его, как Ореста, преследовала некая фурия и, коварная, часто приподнимала змей, то есть свои волосы, являя ему прекрасный лик.

Понсе должен был надолго покинуть Севилью, и дон Хуан покинул свое уединенное убежище, крадучись, как преступник, боящийся дневного света. В душе он уже принял твердое решение, однако боялся остаться наедине с самим собой, чтобы не отдавать себе отчета в задуманном. Так, ни в чем себе не признаваясь, он посетил имение Понсе и вошел в комнату донны Инесы; она сразу его узнала, и белая роза впервые расцвела пламенным багрянцем, и любовь оживила чудесное, но дотоле холодное создание Пигмалиона. Вечернее солнце светило сквозь листву и цветы, и по-детски невинно подставила Инеса пурпур своих ланит небесному огню, осиявшему их, потом, вся затрепетав, схватила арфу и, пока флейта Хуана вторила ее игре, шел запретный разговор без слов, когда звуки признавались в любви, отвечая друг другу взаимностью. Так продолжалось, пока Хуан не осмелел, не пренебрег таинственными иероглифами и не выдал свой обольстительный сокровенный грех ясной речью. Тогда рассеялся сумрак перед невинной, словно лишь теперь в сиянии враждебного светоча она распознала все вокруг себя и впервые, содрогаясь в ужасе, произнесла слово «Брат!»

В это мгновение зашло солнце, и лик, только что окрашенный пылом, побледнел, как прежде. Хуан замолчал; Инеса позвонила, и тот самый паж, прекрасный, как бог любви, вошел в комнату. Хуан удалился, не сказав ни слова.

В лесу было уже совсем темно; он шагал, ни о чем не думая; вдруг прямо перед ним предстал дон Понсе, и Хуан, быстро обнажив кинжал, нанес яростный удар, тут же опаматовавшись: кинжал торчал, глубоко воткнувшись в ствол дерева; лишь его фантазия совершила братоубийство.

Наконец, вернулся Понсе, но Инеса не поведала ему о том, что было, затаив глубоко в груди свою любовь и опрометчивость.

Хуан возненавидел день и жил теперь только ночью, так как в нем, страдая светобоязнью, назревало нечто опасное. Когда

темнело, он неизменно покидал свое обиталище, направлялся в имение Понсе и всматривался в окна Инесы, но едва начинал брезжить рассвет, он скрывался в диком озлоблении. Однажды он видел Инесу и пажу при дневном свете, и его фантазия сочинила сказку, будто Инеса отвергла его ради юноши, чтобы лишь тому втайне посвятить сладостные часы ночи; тогда в неистовой ревности он поклялся убить красавца мальчика, воспользовавшись для этого первой же возможностью. Свет в ее комнате не гас; Хуану мерещился паж рядом с нею, и Хуан ждал до полуночи, дрожа от любви и бешенства, а потом, не владея уже собою, подкрался, полубезумный, к двери дома и нашел ее лишь притворенной. Ступая зыбкими, неверными шагами, он шел по дому, пока не добрался до комнаты Инесы — стремительный рыбок, и комната открылась.

Она лежала, бледная, как в саркофаге: ночное одеяло обвивало ее лишь слегка; она дремала, а струны все еще льнули к ее груди и с ними переплетались гирлянды темных локонов. Имя брата невольно вырвалось из уст Хуана; ему почудилось, что в спящей он узнает фурию, стоящую между ними, а локоны, обрамлявшие прекрасный лик, как будто превратились в змей. Но вновь перед ним была его возлюбленная, и он поник вне себя к ее ногам, прижав горячие уста к ее груди. Она испуганно отшатнулась, узнав его при свете ночника, оттолкнула его с порывистой силой, и во взоре ее изобразилось отвращение и ужас.

Этот единственный взор сокрушил его, но злой демон поднялся в нем быстро, и он ринулся прочь, не соображая, что намеревается сделать; на душе у него лежал темный кровавый замысел.

Разбуженный шумом, еще опьяненный сном, паж вышел, пошатываясь, из своей комнаты в зал, и Хуан набросился на него, торопливо сказав:

«Твоя госпожа тебя требует, она хочет идти к ранней мессе».

Паж протирает себе глаза; а Хуан следил за ним, пока он не скрылся в комнате Инесы. Судьба коварно предуготовила катастрофу; дон Хуан отыскал спальню брата, вырвал его из объятий первого сна и прокричал, что жена неверна ему. Понсе, вскочив, потребовал объяснений, однако Хуан резко потащил его за собой, сунув ему по дороге в руку свой кинжал; затем он втолкнул его в комнату.

Мертвая тишина воцарилась вокруг дона Хуана; в жутком одиночестве стоял он, погруженный в ночь, и в смутном страхе, стуча зубами, искал только что отданное оружие. Тут послышался шум, и дверь как бы сама собою слетела с петель.

Ужасающая ночная картина осветилась. Красавец мальчик лежал уже на полу, навеки скованный сном смерти, а из груди Инесы струился пурпурно-красный поток, как бы усеивая розами ее снежно-белое покрывало.

Хуан застыл, как статуя; Инеса в упор взглянула на него, но

сомкнутыми остались ее бледные губы, не выдав ничего; потом глубокий сон мягко смежил ей очи.

Когда она умерла, Понсе очнулся и как бы впервые полюбил, утратив свою возлюбленную, и ощутил в себе любящее сердце, чтобы пронзить его. Так в тишине он снова сочетался браком с Инесой.

Дон Хуан стоял, безмолвный и безумный, среди мертвецов».

ШЕСТОЕ БДЕНИЕ

Страшный суд

Чего бы не дал я за искусство повествовать связно и бесхитростно, подобно другим почтенным протестантским поэтам и хронистам, которые возвеличились и прославились, обменивая свои золотые идеи на действительное золото. Что поделаешь, мне этого не дано, и даже короткая простенькая история одного убийства, стоившая мне такого пота и усилий, вышла достаточно пестрой и причудливой.

Я, к сожалению, был испорчен уже в юности, вернее, чуть ли не во чреве материнском, ибо, если другие прилежные мальчики и многообещающие юноши стараются с возрастом умнеть и просвещаться, я, напротив, питал особое пристрастие к безумию и стремился довести себя до абсолютной путаницы именно для того, чтобы, подобно Господу Богу нашему, сперва довершить добротный полный хаос, из которого при случае, коли мне заблагорассудится, мог бы образоваться сносный мир. Да, мне представляется даже порою в головокружительные мгновения, будто род человеческий не преминул испортить самый хаос, наводя порядок чересчур поспешно, и поэтому ничто в мире не находит себе настоящего места, так что Творцу придется по возможности скорее перечеркнуть и уничтожить мир как неудавшуюся систему.

Ах, эта навязчивая идея причинила мне изрядный ущерб и едва не отняла у меня мою должность ночного сторожа, когда мне в последний час уходящего столетия вздумалось разыграть Страшный суд и вместо времени возвестить вечность, вследствие чего многие духовные и светские господа скатились в ужасе со своих пуховиков и совсем растерялись, не будучи подготовленными к такой неожиданности.

Достаточно комичной получилась шумная сцена мнимого Страшного суда, при которой в роли спокойного зрителя выступил я один, а всем остальным пришлось послужить мне страстными актерами. О, надо было видеть, какой поднялся переполох и какая сумятица среди несчастных детей человеческих, как пугливо сбежалась аристократия, и перед лицом Господа Бога ста-

раясь не нарушать иерархии; некоторые судейские и прочие волки лезли из кожи вон. отчаянно пытаюсь напоследок превратиться в овец, назначали высокие пенсии вдовам и сиротам. тут же мечущимся в жгучем страхе, во всеуслышанье отменяли несправедливые приговоры, обязуясь тотчас же, по исходе Страшного суда, возратить награбленные суммы, которые они вымогали, так что не один бедняга вынужден был просить подаяния. Иные кровососы и вампиры признавали сами себя достойными виселицы и плахи, требуя, чтобы приговор был возможно скорее приведен в исполнение в здешней юдоли, лишь бы предотвратить кару горней десницы. Самый гордый человек в государстве впервые стоял смиренно и почти раболепно с короной в руке, готовый любезно уступить первенство какому-то оборванцу, так как ему мерещилось уже наступающее всеобщее равенство.

От своих должностей отрекались; бессчетные обладатели наград сами срывали орденские ленты и отбрасывали знаки отличия; пастыри душ торжественно обещали впредь наставлять свою паству не только благими речами, но и благим примером, если Господь Бог ограничится на сей раз увещеванием. О, когда бы я мог описать, как народ на сцене сбегался, разбегался, молился в страхе, проклинал, вопил, выл, и все приглашенные трубным гласом на этот великий бал роняли со своих лиц личины, так что в нищенских отрешках обнаруживались короли, в рыцарских доспехах заморыши, и почти всегда выявлялась разительная противоположность между платьем и человеком.

К моей вящей радости они в своем чрезмерном страхе долго не замечали, что небесная юстиция мешкает, и весь город успел разоблачить свои добродетели и пороки и совсем обнажиться передо мною, своим последним согражданином. Гениально пошутил только один юный насмешник, прежде уже решивший со скуки не переселяться в грядущее и застрелившийся теперь, в последний час прошлого, чтобы на опыте убедиться, можно ли еще умереть в это неопределенное мгновение между смертью и воскресением, не перетаскивая с собой в жизнь вечную всю непомерную скуку этой жизни.

Впрочем, кроме меня, еще один человек остался невозмутимым, а именно городской поэт, с высоты своего чердака упорно взывавший в окошко на эту картину в духе Микеланджело, словно бы намереваясь и само светопредставление воспринять поэтически.

Некий астроном неподалеку от меня заметил наконец, что великий *actus solennis* несколько затянулся и что огненный меч на севере похож скорее на северное сияние, чем на меч суда. В этот решающий момент, когда некоторые разбойники уже готовы были снова поднять головы, я счел за благо продлить их сокращение хотя бы на время краткой наставительной речи и начал так:

«Дорогие сограждане!

Астронома нельзя признать в данном случае компетентным судьей, поскольку важнейший феномен, имеющий, кажется, теперь место над нами в небесах, никоим образом не может быть причислен к незначительным кометам и появляется только однажды во всемирной истории; нашим торжественным настроением не стоит поэтому легкомысленно пренебрегать; наше положение таково, что целесообразнее серьезно задуматься над ним.

Не проще ли всего в день Страшного суда оглянуться на нашу зыбкую планету, обреченную сгинуть со всеми своими парадизами и тюрьмами, со всеми своими сумасшедшими домами и республиками ученых; попробуем в этот последний час, когда нами завершается всемирная история, бросить хотя бы беглый общий взгляд на то, что мы затевали и творили на этом земном шаре с тех пор, как он вознесся из хаоса. После Адама минул длинный ряд годов, если даже не принимать китайского летоисчисления за более точное, — что мы создали за это время? Я утверждаю: ровным счетом ничего.

Не смотрите на меня с таким недоумением: сегодня кичиться не пристало, необходимо хоть напоследок с подобающей скромностью хоть немного заняться собой.

Скажите мне, с каким выражением лица намерены вы предстать перед Господом Богом нашим, вы, братья мои, властители, откупщики, военные, убийцы, капиталисты, воры, чиновники, юристы, философы, теологи и все прочие, невзирая на должность и ремесло, ибо в нынешнем всеобщем национальном собрании обязан участвовать каждый, хотя я замечаю, что многие из вас предпочли бы вскочить на ноги и пуститься наутек.

Воздайте должное истине, создано ли вами хоть что-нибудь стоящее? Например, вы, философы, разве вы до сих пор сказали что-нибудь существеннее того, что вам нечего сказать? Вот подлиннейший, очевиднейший итог всего предшествующего философствования! Вы, ученые, добились ли вы всей вашей ученостью чего-нибудь другого, кроме разложения и улетучивания человеческого духа, чтобы в конце концов с простодушной важностью держаться оставшегося *carpe mortuum*. Вы, теологи, с таким пылом выдававшие себя за божьих придворных, заискивая и виляя хвостом перед Всевышним, вы устроили здесь на земле настоящий разбойничий вертеп: вместо того чтобы объединять людей, разметали их по сектам, а прекрасное всеобщее братство и единую семью навсегда разбили на злобствующие клики. Вы, юристы, вы, межеумки, вам следовало бы, в сущности, остаться заодно с теологами, от которых вы отпали в некий проклятый час, чтобы вы казнили тело, а теологи — дух. Ах, лишь на лобном месте вы, родные души, протягиваете друг другу руки перед несчастным приговоренным грешником, и духовный палач с достоинством сопутствует палачу светскому.

Что мне сказать о вас, государственные деятели, сводившие

человеческую природу к механическим принципам? Оправдаетесь ли вы перед небесной ревизией своими заповедями и как намерены вы теперь, когда мы готовимся вступить в царство духов, расставить опустошенные вами человеческие образы, чью выпотрошенную оболочку вы умели исползовать, умертвив предварительно дух? О, что только не тяготит исполинов, стоящих особняком, князей и властителей, расплачивающихся людьми, как монетами, и ведущими постыдную работорговлю — со смертью? О, вот от чего я рассвирепел и разъярился, и теперь, когда передо мной пресмыкается земное отродье со всеми своими заслугами и добродетелями, пока идет всемирный суд, стать бы мне дьяволом на часок, чтобы обратиться к вам с речью, еще более уничтожающей!

Торжественное действие, как видно, все еще затягивается, и у вас еще есть время раскаяться, молитесь же и войте, лицемеры, как вы это делаете перед смертью, когда вам уже нельзя исправить вашу исковерканную жизнь и невозможно долее грешить.

Позади вас лежит всемирная история, подобная нелепому роману, в котором встречается несколько порядочных персонажей и великое множество жалких. Ах, ваш Господь Бог допустил оплошность: не обработав сам этого романа, он позволил вам писать его. Сами посудите: стоит ли ему переводить вашу пачкотню на высший язык и не разорвет ли он ее в клочья, убедившись в полной вашей бездарности и предав забвению вас вместе со всеми вашими планами. Я не предвижу другого исхода, ибо все вы, здесь присутствующие, можете ли вы претендовать на доступ в рай или на доступ в ад? Для царства небесного вы слишком порочны, для преисподней слишком нудны.

Судебная процедура все еще продолжается, но я не советую вам успокаиваться: соберитесь лучше с мыслями и, пока под вами не провалилась почва, усовершенствуйтесь хоть маломальски в похвальном самоуничижении. Пора мне высказать неопровержимые аргументы: Господь Бог пощадил бы Содом и Гоморру ради одного праведника, однако хватит ли у вас дерзости заключить на этом основании, будто Он ради нескольких умеренно благочестивых приютит всех лицемеров, населяющих шар земной? Пускай кто-нибудь из вас внесет хоть одно разумное предложение, куда деть вас. Уже покойный Кант вам доказал, что пространство и время — лишь формы чувственного созерцания; теперь вы знаете, что в мире духовном нет ни пространства, ни времени; вот я теперь и спрошу вас, чье жительство погрязло в сплошной чувственности, где хотите вы найти пространство, когда пространства больше нет? Да, какие новые начинания остались для вас, когда наступает конец времени? Даже когда речь идет о ваших величайших мыслителях и поэтах, бессмертные следует понимать в переносном смысле, что же значит оно для вас, бедняги, если за вами не числится никаких дел, кроме торговых, если вам не ведом никакой дух, кроме винного

духа, аналогичного вдохновению для ваших поэтов. Пусть кто угодно даст хоть какой-нибудь путный совет; я, черт возьми, не знаю, куда мне с вами деваться!»

Тут я заметил беспокойство среди собравшихся передо мной и услышал довольно отчетливо, как некоторые молодые адепты свободомыслия (свободомыслие в наши дни — синоним недомыслия) нагло утверждают, будто все это ложная тревога. Один из собравшихся уже снова возложил на себя корону, и первый советник, только что сам себя разоблачавший, озлобленно заявил: мол, нужны строгие меры против тех, кто разыграл комедию с целым почтенным городом, и первым зачинщиком следует считать меня.

Тут я стушевался, смиренно попросил, обратившись к человеку в короне, послушать меня еще минутку и добавил следующее:

«Пускай подобное приглашение на суд оказалось ложной тревогой, оно может принести известную пользу; и даже было бы желательно — с помощью физических экспериментов и нескольких центнеров плаунного порошка, чтобы сверкало со всех башен и возвышений, — регулярно устраивать в государственных интересах такую вот сумятицу, дабы коронованная особа, отнюдь не всеведущая, могла бы таким образом время от времени проводить всеобщую государственную ревизию и видеть *in puris naturabilis* со всеми его недугами само государство, обычно выступающее при параде, разукрашенное штатными костюмерами и гримерами, ласкателями и советниками. Как зачинатель этого государственного эксперимента я даже просил бы выдать мне патент на мое изобретение, чтобы побочные доходы от этого мнимого Судного дня, например, благословения стольких бедняг, снова всплывших на поверхность, проклятия ниспровергнутых святых и прочее поступали на мой счет».

Мертвая тишина вокруг ободрила меня, и я отважился присовокупить, что сегодня, затрубив, как будто начался пожар, я сам устроил подобную ревизию и не откажусь прямо сейчас произвести известный ремонт, выправив поколебленное здание государства отдельными смещениями с должностей, казнями и так далее.

Никто не сказал ни слова, пока я не высказался, и коронованный муж поправлял у себя на макушке корону словно бы в нерешительности; в результате, однако, мое изобретение было отвергнуто как неприемлемое, а меня самого лишь по высочайшей милости согласились признать дурачком и не смешать покуда с моей должности.

Чтобы, однако, подобная тревога больше не повторялась, особым указом были введены изобретенные Самуэлем Дзем *watchman's noctuaries*, так что покоющий и трубящий ночной сторож превратился в немого, — решение, обоснованное тем, что мой клич и ночной рог предупреждают ночных воров о моем

приближении и должны быть упразднены как нецелесообразные*.

Воры дневные раз и навсегда избавились от моего надзора, и я брожу теперь, немой и печальный, по безлюдным улицам, каждый час втыкая мою карточку в ночные часы. О, насколько же крепче стал с тех пор сон, если кое-кто, при всех своих тайных грехах боявшийся разве что Страшного суда, лежит на своих подушках спокойно и непоколебимо теперь, когда моя труба разбита.

СЕДЬМОЕ БДЕНИЕ

*Автопортретирование — Погребальная речь
в день рождения младенца — Стихоплет —
Дело об оскорблении*

Я заговорил о моих безумствах, но худшее из них — моя жизнь, и в эту ночь, когда мне больше нельзя трубить и петь, что скрашивало прежде мое времяпрепровождение, я намерен продолжить ее воссоздание.

Я частенько собираюсь, сидя перед зеркалом моего воображения, написать свой сносный автопортрет, но, вторгаясь в эти проклятые черты, находил в конце концов, что они подобны загадочной картинке, изображающей с трех разных точек зрения грацию, мартышку и к тому же дьявола en face. Так я запутывал самого себя, вынужденный гипотетически заподозрить основу моего бытия в том, что сам дьявол проскользнул в постель только что канонизированной святой и наметил меня, как *lex sciata* для Господа Бога, дабы Тому было над чем ломать себе голову и день Страшного суда.

Проклятое противоречие заходит во мне так далеко, что сам папа не был бы благочестивее на молитве, чем я при богохульстве, и, напротив, когда я читаю благостные поучительные труды, меня так и одолевают наизлобнейшие помыслы. Если другие разумные и чувствительные люди отправляются на лоно природы, чтобы там воздвигнуть кущи, поэтические или библейские, достойные горы Фавор, то я предпочитаю приносить с собой отборные, прочные строительные материалы для всеобщего сумасшедшего дома, куда я не прочь запереть прозаиков и поэтов одного за другим. Не раз меня выгоняли из церкви за то, что я там смеялся, и из домов терпимости за то, что меня там брала охота помолиться.

* Эти ночные часы так устроены, что ночной сторож подтверждает регулярность своего обхода, втыкая записку в отверстие, невидимую до определенного часа. Утром полицейский офицер открывает часы, чтобы проверить, в каждом ли отверстии находится записка.

Одно из двух: или люди не в своем уме, или я. Если решать этот вопрос большинством голосов, я пропал.

Будь что будет, уродлива или красива моя физиономия, попробую-ка я часок пописать ее. Вряд ли я приукрашу себя; ведь я пишу ночью, так что красками не блеснешь и поневоле ограничиваешься резкими тенями да мазками с нажимом.

Кое-какую репутацию создали мне летучие поэтические листки, выпущенные мною из мастерской моего сапожника; первый содержал надгробную речь, написанную мною, когда у того родился мальчик, правда, я помню только начало, звучавшее примерно так:

«Его обряжают для первого гроба, пока не готов еще второй, в котором похоронят его деяния и его глупости; так принято укладывать государей сначала во временный гроб, а потом вносить в склеп гроб оловянный, подобающе украшенный трофеями и надписями, чтобы труп удостоился вторичного захоронения. Прошу вас, не доверяйте мнимому отблеску жизни и розам на щечках младенца, это искусство природы, которая, подобно заправскому врачу, придает на некоторое время приятную видимость набальзамированному телу; в его внутренностях уже таится точущее тление, и стоит вам вскрыть их, вы увидите там развивающиеся зародыши червей, удовольствие и боль, протачивающиеся так нетерпеливо, что труп распадается в прах. Увы! он жил только до рождения; так, счастье — это лишь надежда, не более; стоит надежде осуществиться, и оно разрушается само собою. Пока еще он красуется на парадном ложе, но цветы, которыми вы его осыпаете, не что иное, как осенние цветы для его савана. Вдали уже готовятся к выносу гроба со всеми его радостями и с ним самим, а земля всегда тут как тут со своим склепом для него. Отовсюду жадно протягивают к нему руки лишь смерть и тление, постепенно пожирая его, чтобы, убив его, отдыхать на пустом склепе, когда напоследок развеются его скорби, его наслаждения, воспоминания о нем и самый прах его. Его останками давно распорядилась природа, расточающая их, чтобы выращивать новые цветы для погребения новых умирающих».

Остальную речь я забыл. Полагали, что в целом она не дурна, разве что неправильно озаглавлена, поскольку следовало бы писать не «День рождения», а «День смерти», но так или иначе речь потом находила применение на детских похоронах.

Начинающему автору приходится бороться с великими трудностями, так как ему нужно приобретать известность своими произведениями; напротив, автор, уже выступивший и однажды снискавший аплодисменты, одним своим именем прославляет свои произведения, и людей не убедишь в том, что у великих поэтов и великих героев бывают часы, когда обнаруживаются их произведения и деяния, которые хуже наихудшего даже в пределах, доступных зауряднейшим сынам земли. Высота всегда не-

разлучна с низостью, и, наоборот, лишь на плоской поверхности можно не бояться падения.

Мне же порядком везло, и я тачал рифмы быстрее, чем башмаки, так что наша мастерская смогла восстановить старую вывеску Ганса Сакса, сливая воедино два искусства, столь важные для государства. К тому же за стихотворение мне платили едва ли не больше, чем за башмак, и посему старый мастер без раздражения допускал беспутное ремесло наряду со своим хлебным промыслом, позволяя моему дельфийскому треножнику соседствовать со своим общепотребительным.

Кстати, я усматриваю мудрость Провидения в том, что деятельность многих ограничена тесным убогим кругом, а сами они заперты в четырех стенах, где в затхлом темничном воздухе их свет едва вспыхивает, безвредный и тусклый, в лучшем случае свидетельствуя о своем пребывании в темнице, тогда как на воле он возгорелся бы вулканом, чтобы обречь пожару все окружающее. И мой огонек, действительно, начал уже искриться и поблескивать, являя, впрочем, разве что поэтические трассирующие пули, предназначенные для рекогносцировки, а отнюдь не бомбы, грозящие опустошительными взрывами. Меня часто охватывал гнетущий страх, словно я великан, который в младенчестве был замурован в камерке с низким потолком; великан растет, ему хочется потянуться и выпрямиться, но такой возможности у него нет, и остается лишь терпеть, как у него выдавливается мозг, или превращаться в скрюченного уродца.

Люди такого пошиба, прорвись они наверх, не отличались бы мирным нравом, буйствовали бы в народе, как чума, землетрясение или гроза, и стерли бы в порошок или испепелили бы изрядный участок нашей планеты. Однако эти сыны Енаковы занимают обычно достойное положение, и над ними, как над титанами, громоздятся горы, которые можно разве что сотрясать в бессильном гневе. Там постепенно обугливается их топливо, и лишь крайне редко удается им отвести душу, яростно метнуть из вулкана свой пламень в небо.

Правда, мне достаточно было простых фейерверков, чтобы возмущать народ, и неприятная сатирическая речь осла на тему: «Зачем вообще нужны ослы» — наделала чрезмерного шума. Видит Бог, я не питал при этом особенно злобных помыслов и никого не затрагивал в частности, однако сатира подобна пробному камню: ни один металл не проскользнет мимо, не засвидетельствовав, стоит он чего-нибудь или ничего не стоит; именно так и произошло — листок прочитал некто и все без исключения принял на свой счет, за что меня без дальнейших церемоний упрятали в тюрьму, где на досуге усиливалось мое неистовство. Между прочим, в своем человеконенавистничестве я не уступал государям, склонным облагодетельствовать отдельные особи, чтобы истреблять остальных во множестве.

Наконец, меня освободили, когда некому стало содержать

меня, так как умер мой старый сапожник, и я оказался один в мире, как будто свалился на землю с чужой планеты. Теперь я отчетливо видел: человек ничего не значит как человек, и нет у него на земле никакой собственности, кроме купленной или завоеванной. О, как бесило меня то, что нищие, бродяги и прочие несчастные недотепы, вроде меня, позволили отнять у себя кулачное право, предоставленное лишь государям, как еще одна привилегия, а те не знают удержу в его употреблении; поистине тщетно искал я хотя бы клочок земли, где можно было бы преклонить голову, до такой степени они присвоили и раздробили каждую пядь, не желая знать естественного права, хотя оно одно всеобщее и положительное, а вместо него вводя в каждом уголке свое особое право и особую веру; в Спарте они превозносили вора, понаторевшего в кражах, а в Афинах такового вешали.

Между тем я вынужден был найти себе занятие, чтобы не умереть с голоду, так как они захватили все вольные общие уголья природы, включая птиц в небе и рыб в воде, и не уступали мне ни одного зернышка без полновесной оплаты наличными. Недолго думая, я выбрал промысел, состоящий в том, чтобы воспевать их со всеми их начинаниями; я стал рапсодом наподобие слепого Гомера, который тоже подвизался в роли бродячего уличного певца.

Кровь они любят сверх всякой меры и, даже если не проливают ее сами, глядели бы и век бы не нагляделись, как она проливается на картинах и в стихах, в самой жизни, а предпочтительно в грандиозных батальных сценах. Поэтому я пел для них про убийства, чем и пробавлялся; и начал даже причислять себя к полезным гражданам государства, полагая, что я не хуже фехтовальщиков, оружейников, производителей пороха, военных министров, врачей и всех других откровенных пособников смерти; признаюсь, я высоко возомнил о себе, дескать, я закаляю моих слушателей и учеников и, по мере сил, приучаю их не бояться крови.

Со временем, однако, мне надоели убийства в миниатюре, и я отважился на большее, на повествования о душах, загубленных церковью и государством (добротные сюжеты такого рода составляла мне история); кое-когда присовокуплял и маленькие забавные эпизоды, облегченные убийства, как, например, убийство чести коварством благожелательной молвы, убийство любви холодными, бессердечными молодчиками, убийство верности мнимыми друзьями, убийство справедливости судом, убийство здравого смысла цензурными уложениями и т.д. На этом все и кончилось: против меня было возбуждено более пятидесяти процессов об оскорблении. Я выступал перед судом как свой собственный *advocatus diaboli*; передо мной вокруг стола восседало полдюжины ряженных, носивших личины справедливости, чтобы скрыть свою истинную плутовскую физиономию и вторую хогартовскую половину лица. Они владеют искусством Ру-

бенса, превращавшего одним мазком смеющееся лицо в плачущее, и применяют его к самим себе, стоит им расположиться на своих седалищах, чтобы таковых не приняли за скамьи несчастных подсудимых. Строго предупрежденный о том, что я должен говорить одну только правду по поводу предъявленных мне обвинений, я начал так:

«Многомудрые! Я стою здесь перед вами как обвиняемый в оскорблении; все *соgroa delicti* подкрепляют обвинение, и я твердо намерен причислить к ним вас самих, поскольку не только предметы, позволяющие установить факт определенного преступления, как, например, ломы, воровские лестницы и т. п., можно назвать *соgroa delicti*, но и сами тела, в которых обитает преступление. Однако было бы не худо, если бы вы не только исследовали преступления как искушенные теоретики, но и научились бы совершать их как прилежные практики, принимая во внимание то, что иные поэты жалуются уже на своих рецензентов, не способных сочинить завалиющего стишка и все-таки осмеливающихся судить их стихи; да и как вы оправдаетесь, многомудрые, когда, согласно аналогии, некий вор, прелюбодей или какой-нибудь другой негодяй из этой сволочи, которую вы склонны судить, предложит вам разгрызть подобный орешек и не сочтет вас рецензентами, компетентными в своем ремесле, так как вы не зарекомендовали себя *in praxi*.

Законы как будто в самом деле намекают на это и освобождают вас как судейских во многих случаях от обвинения в преступлениях, так что вам разрешается безнаказанно душить, разить вокруг себя мечом, оглушать дубинами, сжигать, топить в мешках, погребать заживо, четвертовать и пытаться, а ведь все это настоящие злодеяния, которые не сошли бы с рук никому, кроме вас. И при меньших проступках, а именно в случае, заставившем представить меня перед вами здесь в качестве обвиняемого, законы оправдывают вас; так параграфы 1 и 2 закона 13 об оскорблениях не запрещают вам оскорблять тех, кого вы сами завлекли в судебные тенета по обвинению в оскорблении.

Поистине трудно себе представить все выгоды, проистекающие для государства из подобного установления; сколько преступлений можно было бы раскрыть, например, если бы господа судейские, так сказать, при исполнении служебных обязанностей собственной персоной посещали дома терпимости, удовлетворяя свою похоть, чтобы уличить обвиняемых тут же без обиняков, или воровски проникали бы в среду воров, чтобы отправлять на виселицу их товарищей, или шли бы на прелюбодейния, чтобы выявлять кое-когда прелюбодеек и тех, кто предрасположен и питает пристрастие к подобному преступлению и потому должен рассматриваться как субъект, вредный для государства.

Праведное Небо, благодетельность этого установления так очевидна, что мне больше нечего прибавить, и я заслуживаю оп-

равдания хотя бы за то, что выдвинул мое скромное предложение.

Мне пора перейти к моей собственной защите, многомудрые! Мне инкриминируется *inuria oralis*, а именно, согласно подразделу В, пропетое оскорбление. Уже этим я мог бы обосновать ничтожность обвинения, так как певцы явно принадлежат к сословию поэтов, а поэтам, которым, по утверждению новой школы, чужда всякая тенденция, при всем желании не запретишь оскорблять и кощунствовать, сколько им угодно. Поэтов и певцов даже не следовало бы обвинять в таком преступлении, так как вдохновение приравнивается к опьянению, а опьянение освобождает пьяного от наказания без дальнейших последствий, если само опьянение не преступно, что невозможно предположить в связи с вдохновением, поскольку вдохновение — не что иное, как дар богов. А пока я хотел бы привести более убедительные аргументы в мою защиту и отсылаю вас к трудам наших превосходнейших новейших правоведов, где убедительно доказывается, что право не имеет решительно ничего общего с моралью, и лишь действие, посягающее на внешнее право, может инкриминироваться как преступление против права. Я же лишь морально уязвлял и оскорблял и потому перед этим судом отклоняю обвинение за недостаточностью, поскольку я как лицо моральное подлежу *foro privilegiato* мира иного.

Да, если, согласно труду Вебера об оскорблениях (раздел первый, стр. 29), лицам, отказавшимся от чести и справедливости, нельзя нанести оскорбления, то я по аналогии смею сделать вывод, что, поскольку вы как судьи и потерпевшие совершенно отреклись от морали, мне позволительно здесь при открытом судебном разбирательстве осыпать вас любыми моральными оскорблениями; ведь когда я отваживаюсь назвать вас холодными, бесчувственными, хотя многомудрыми и праведными господами, подобает считать это скорее апологией, нежели оскорблением, и я просто отклоняю за необоснованностью все судебные притязания, исходящие от вас».

Тут я замолчал, и все шестеро взирали некоторое время друг на друга, не вынося приговора; я спокойно ждал. Если бы они присудили меня в наказание к дыбе, к застенку, к испанскому сапогу, к поджариванию пяток, к вырезыванию ремней из моей кожи или к рассечению моего тела, что слывет в Японии весьма почетным, я принял бы все это радостно, лишь бы не подвергаться злобе, которую выказал первый друг справедливости, председатель суда, объявивший, что меня нельзя обвинить в преступлении, так как я отношусь к поврежденным умственно, и мой проступок надо рассматривать как следствие частичного помешательства, а посему меня без промедления надлежит отправить в сумасшедший дом.

Это уж слишком; дальнейшее воссоздание не под силу мне сегодня, и я хотел бы лечь и заснуть.

ВОСЬМОЕ БДЕНИЕ

*Вознесение поэта — Отречение от жизни —
Пролог шута к трагедии «Человек»*

Поэты — безобидный народец со своими грезами и восторгами, с небом, полным греческих богов, с которыми не расстанется их фантазия. Но они свирепеют, как только осмеливаются сопоставить свой идеал с действительностью, и яростно бьют ее, хотя им вообще не следовало бы к ней прикасаться. Они бы так и остались безобидными, если бы действительность выделила им свободное местечко, где бы им не докучали, принуждая суетою и столпотворением оглядываться именно на нее. Все впадает в ничтожество при сопоставлении с их идеалом, ибо он возносится за облака; сами поэты не могут постигнуть его пределов и вынуждены держаться звезд как временной границы, а кто знает, сколько звезд, невидимых доселе, чей свет еще только стремится и нам.

Городской поэт в своей чердачной клетушке также принадлежал к идеалистам, которых силой приобщили к реализму с помощью голода, кредиторов, судебных издержек и т.д., подобно Карлу Великому, загонявшему язычников мечом в реку, чтобы они крестились. Я свел знакомство с ночным вороном и, воткнув мою карточку как временное удостоверение в ночные часы, частенько забегал к нему на чердак посмотреть, как он бурлит и бушует, словно вдохновенный апостол в огненном ореоле, обличая там наверху человечество. Весь его гений сосредоточился на завершении трагедии, где выступали возвышенные таинственные образы, они же великие духи человечества, которым оно само как бы служит лишь телом и внешней оболочкой, а среди них вместо хора пробежал трагический шут, маска гротескная и жуткая. Трагический поэт железной рукою неумолимо удерживал прекрасный лик жизни перед своим огромным вогнутым зеркалом, где его черты дико искажались и обнаруживались бездны в морщинах и безобразных складках, избородивших прекрасные ланиты; вот что срисовывал он.

Хорошо, что многие не понимали его: в наш век лорнетов крупнейшие предметы так отступили, что их распознают в дали только с помощью увеличительных стекол — и то неотчетливо, лелея, напротив, мелочи, так как близорукие острее видят досягаемое.

Он как раз закончил свою трагедию и надеялся, что взывал к богам недаром, и они откроются ему, по крайней мере, в виде золотого дождя, который отпугнет кредиторов, голод и судебных исполнителей. Сегодня должна была последовать санкция важнейшего цензора, издателя, и меня влекло к поэту на чердак любопытство, а также стремление узреть его на веселом пирше-

стве земных богов. Не грустно ли, что люди так крепко запирают свои пиршественные залы да еще ставят у дверей стражей-латников, перед которыми нищий отступает в испуге, если ему нечем подкупить их*.

Запыхавшись, я вскарабкался на высокий Олимп, но вместо одной непредвиденной трагедии меня ожидали целых две, одна, возвращенная издателем, и другая, экспромт самого трагика, где он выступал в роли протагониста**. За неимением трагического кинжала, он воспользовался, что вполне извинительно в импровизированной драме, шнуром, который служил манускрипту дорожным поясом на обратном пути, и висел теперь на нем, легкий, как святой, возносящийся на небеса, сбросив земной балласт над своим произведением.

При этом в комнате царила тишина, почти зловещая; лишь две ручных мыши, единственные домашние животные, мирно играли у моих ног, посвистывая то ли от радости, то ли с голоду; последнее предположение как бы подтверждала третья, усердно грызущая бессмертие поэта, его возвратившееся последнее творение.

«Бедняга, — сказал я парящему, — не знаю, считать ли мое твое вознесение комическим или трагическим. Во всяком случае, ты закричал моцартовским голосом в дрянной деревенский концерт, и вполне естественно, что тебе пришлось оттуда улизнуть; в стране хромых единственное исключение высмеивается, как диковинная, странная игра природы, точно также в государстве воров одна только честность должна караться петлей; все в мире сводится к сопоставлению и согласованию, и если твои соотечественники приучены к визгливому крику, а не к пению, они не могли не причислить тебя к ночным сторожам именно из-за твоей отменно выработанной дикции, как произошло со мною. О, люди лихо шагают вперед, и меня подмывает сунуть нос на часок в этот глупый мир тысячелетие спустя. Бьюсь об заклад, я увидел бы, как в кунсткамерах и музеях они срисовывают лишь корчи, приняв безобразное за идеал и взыскуя его, когда красота давно уже разделила участь французской поэзии и объявлена пресной. Хотел бы я присутствовать и на лекциях по механике природы, где будет преподаваться изготовление законченного мира с наименьшей затратой энергии, а желторотые ученики будут приобретать специальность «творец мира», как теперь они дотягивают пока еще всего лишь до творцов «я». Боже правый, каких только успехов не достигнут через тысячелетие все науки, когда уже теперь мы шагнули так далеко; обновителей природы разведется не меньше, чем у нас часовщиков;

* На голландских дукатах изображен латник. (Здесь и далее прим. переводчика).

** Так во времена Феспиды назывался единственный актер, вместе с хором играющий всю трагедию.

завяжется корреспонденция с луною, откуда мы уже сегодня получаем камни; драмы Шекспира будут разрабатываться как упражнения для младших классов; любовь, дружба, верность исчезнут с театральных подмостков, устаревшие, как ныне устарели шуты; сумасшедшие дома будут строиться только для разумных; врачи будут искореняться в государстве как вредители, которые изобрели средство, предотвращающее смерть; грозы и землетрясения будут организовываться с такой же легкостью, как нынешние фейерверки. Ты паришь, бедняга, но вот как выглядело бы твоё бессмертие, и ты хорошо сделал, испарившись вовремя»

Но мое благодушие внезапно было растрогано подобно тому, как взрыв смеха заканчивается слезами, когда я глянул в угол, где, единственная радость и единственная оставшаяся мебель, безмолвно и знаменательно противостояло усопшему детство; то была старая выцветшая картина, чьи краски померкли; так, согласно поверию, румянец улетучивается со щек на портретах покойников.

Картина изображала поэта приветливым, улыбающимся мальчиком, играющим у материнской груди; ах! прекрасный материнский лик был его первой и единственной любовью, и она изменила ему лишь тогда, когда умерла. Там на картине вокруг него еще смеялось детство, и он стоял среди весеннего сада, полного нераскрывшихся бутонов, томясь по их будущему благоуханию, но цветы, раскрывшись, оказались ядовитыми и принесли ему смерть. Я вздрогнул и невольно отвернулся, сравнив копию, улыбающееся детское личико, обрамленное локонами, и нынешний оригинал, парящее гиппократово лицо, черное и ужасное, подобно голове Медузы, всматривающееся в свое детство. По-видимому, в последнюю минуту он бросил последний взгляд на картину, так как он висел, повернувшись в ее сторону, и лампа горела прямо перед ней, как перед алтарным образом. О, страсти — коварные ретушеры; они по-своему подновляют с годами цветущую рафаэлевскую головку юности, искажая ее и обезображивая все более жесткими чертами, пока из ангельскоголика не образуется личина, достойная адского Брейгеля.

Рабочим столом поэту, этим алтарем Аполлона, служил камень, так как все деревянное, имевшееся в комнате, включая рамку, из которой была вынута картина, давно сгнуло в пламени ночных жертвоприношений. На этом камне лежали возвращенная трагедия под названием «Человек» и отречение от жизни, так и озаглавленное:

«Отречение от жизни»

Человек никуда не годится, поэтому я вычеркиваю его. Мой «Человек» не нашел издателя ни как *persona vera*, ни как *persona ficta*; ради последней (то есть ради моей трагедии) ни один книгопродавец не раскошелится, чтобы покрыть расходы на ее

печатание: что же касается первой (меня самого), то мною пренебрег даже дьявол, и они заставили меня, как Уголино, голодать в этой величайшей голодной тюрьме, в так называемом мире, бросив у меня на глазах навеки в море ключи от нее. К счастью, мне хватило сил, чтобы взобраться на ее зубец и оттуда ринуться вниз. Вот за что я в моем завещании благодарю книгопродавца, не пожелавшего выпустить моего «Человека», но, по крайней мере, бросившего мне в башню шнур, а он позволяет мне уйти ввысь.

Полагаю, там снаружи весело, и ничто не мешает осмотреться; там лучше со всех точек зрения, даже если я ничего не увижу, кроме здешней преисподней, но там до нее мне хоть больше не будет дела, — а старый Уголино, ослепнув от голода, топтался в своей тюрьме, сознавал, что он слеп, но жизнь в нем еще жаростно боролась, не давая ему отойти.

Правда, и я тоже, как он, забавлялся в моей темнице с милыми мальчиками, зачатými мной в одинокой ночи, и они играли вокруг меня, как цветущая юность и золотые светлые грезы; это было мое потомство, теплые узы, связующие меня с жизнью, — но их тоже отвергли, и голодные твари, запертые вместе со мною, изгрызли их, так что они теперь порхают вокруг меня только в моих воспоминаниях.

Да будет так; дверь позади меня крепко захлопнулась; в последний раз ее открывали, чтобы внести гроб, в котором лежало мое последнее дитя; итак, после меня не остается ничего, и я смело иду навстречу Тебе, Бог, или Ничто!»

Таков был пепел от пламени, которое не могло не удушить себя. Я тщательно собрал его, отнял, насколько мне это удалось, у голодных мышей останки «Человека» и волей-неволей вступил в права наследства.

Если когда-нибудь Небо неожиданно-негаданно улучшит мое положение, я за свой счет издам трагедию «Человек», обглоданную и неполную, как она есть, и безвозмездно распределю тираж среди людей. А пока я намерен хотя бы в извлечениях привести пролог шута. В кратком предисловии поэт извиняется за то, что дерзнул ввести шута в трагедию; вот собственные слова поэта:

«Древние греки помещали в свои трагедии хор, чтобы он, высказывая общие соображения, отвращал взор от отдельных ужасов, умиротворяя тем самым чувства. Я полагаю, сейчас не время для умиротворения; скорее надлежит раздражать и подстрекать, так как все остальное не действует, и человечество в целом так ослабло и озлобилось, что оно, как правило, делает зло механически и совершает свои тайные грехи просто по неяршливости. Людей надо пронять, как страдающего астенией, и я ввожу моего шута с намерением разъярить их; ибо если по словице дети и дураки говорят правду, то высказывают они и ужасное, и трагическое, первые со всей жесткостью своей не-

винности, вторые, издеваясь и глумясь; новейшие эстетики подтвердят мою правоту». Вот как звучит то, что я решил извлечь из рукописи:

«Пролог шута к трагедии «Человек»

Я выступаю как провозвестник человеческого рода. Перед публикой, соответственно многочисленной, легче просматривается мое назначение: быть дураком, особенно если я в своих интересах напомню, что, согласно доктору Дарвину, прологом к человеческому роду и его провозвестником является собственно обезьяна, существо, бесспорно, куда более бестолковое, нежели просто дурак, а, стало быть, мои и ваши мысли и чувства лишь с течением времени несколько утончились и облагородились, хотя они выдают свое происхождение, все еще оставаясь мыслями и чувствами, вполне способными возникнуть в голове и сердце обезьяны. Именно по утверждению доктора Дарвина, на которого я ссылаюсь как на моего заместителя и поверенного, человек в принципе обязан своим существованием виду средиземноморских обезьян и только потому, что этот вид, освоив мускул своего большого пальца до его соприкосновения с кончиками других пальцев, постепенно выработал более утонченную чувствительность, перешел от нее к понятиям в последующих поколениях и наконец облекся в разумного человека, как мы и наблюдаем его изо дня в день, шествующего в придворных и других мундирах.*

За эту гипотезу в целом ручается многое; и тысячелетия спустя мы вновь и вновь наталкиваемся на кричащее сходство и родство в подобном отношении, да и случалось мне замечать, как некоторые уважаемые личности с положением все еще не научились должным образом управлять мускулом своего большого пальца, как, например, иные писатели и люди, якобы владеющие пером; если я не ошибаюсь, это весьма веско подтверждает правоту доктора Дарвина. С другой стороны, у обезьяны встречаются чувства и навыки, определенно утраченные нами при нашем *salto mortale* к человеку; так, например, обезьянья мать еще и сегодня любит своих детенышей больше, чем иная мать-государыня; эту истину могло бы опровергнуть лишь одно предположение: не достигает ли последняя в пылу чрезмерной любви к потомству именно своим пренебрежением той же цели, только медленнее, чем первая, когда она душит свои чада.

Довольно, я согласен с доктором Дарвином и выдвигаю филантропический проект: давайте научимся выше ценить наших младших братьев обезьянней породы во всех частях света и возвышать их, наших теперешних пародистов, до себя, путем основательных наставлений приучая сближать большой палец с кончиками остальных, дабы они, на худой конец, наловчились

* См. его стихотворение о природе.

хотя бы водить пером. Не лучше ли вместе с первым доктором Дарвином счесть нашими предками обезьян, а не мешкать, пока другой доктор не причислит к нашим пращурам каких-нибудь других диких зверей и не подкрепит свою теорию весьма правдоподобными доказательствами, так как многие люди, стоит прикрыть им нижнюю половину лица и рот, расточающий блистательные слова, обнаруживают в своих физиономиях броское фамильное сходство особенно с хищными птицами, как, например, с ястребами и соколами, да и старинная знать могла бы возводить свои родословные скорее к хищникам, нежели к обезьянам, что явствует, не говоря уже об их пристрастии к разбою в средние века, из их гербов, куда они вводили по большей части львов, тигров, орлов и тому подобных диких бестий.

Сказанного достаточно, чтобы обосновать мое амплуа и маску в предстоящей трагедии. Я заранее обещаю почтеннейшей публике, что намерен смешить ее до смерти, каких бы серьезных и трагических замыслов не питал поэт. Да и к чему вообще серьезность, если человек — тварь курьезная, только действует он на сцене более пространной, куда актеры малой сцены втираются, как в «Гамлете», но как бы не важничал он, придется ему за кулисами снять корону, сложить скипетр, театральный кинжал и отставным комедиантом проскользнуть в свою темную каморку, пока директор не соблаговолит объявить новую комедию. А если бы он пожелал явить свое «я» *in puris naturabilis*, не маскируя его ничем, кроме ночной рубашки и колпака, клянусь дьяволом, каждый убежал бы, напуганный пошлостью и убожеством; вот и увешивает он себя пестрым театральным тряпьем, прячет лицо под масками радости и любви, чтобы выглядеть интересней, усиливает свой голос внутренним рупором, и, наконец, его «я» начинает гордиться тряпками, воображает, будто оно слагается из них, ведь бывают прочие «я», одетые еще хуже, и они восхищаются тряпичным чучелом, прославляют его, однако при свете дня и вторая Мандандана*, оказывается, искусственно сшита, выставляет gorge de Paris, намекая на отсутствующее сердце, и под обманчивой поддельной маской скрывает мертвую голову.

Какие бы глазки не строила нам личина, она никогда не обходится без мертвой головы, и жизнь — лишь наряд с бубенчиками, облекающий Ничто, и бубенчики звенят, пока их не сорвут и не отбросят в гнев. Все лишь Ничто, и оно удушает само себя, жадно само себя оплетает, и это самооплетание есть лукавая видимость, как будто существует Нечто, однако если бы удушение замедлилось, отчетливо проявилось бы Ничто, перед которым нельзя не ужаснуться; глупцы усматривают в таком замедлении вечность, однако это и есть доподлинное Ничто, абсолютная смерть, и, напротив, жизнь заключается лишь в непрерывном умирании.

* «Триумф чувствительности» Гёте.

Если отнестись к этому серьезно, недолго угодить в сумасшедший дом, я же отношусь к этому просто, как шут, и вывожу отсюда пролог к трагедии, правда, автор был настроен возвышеннее и вписал в трагедию Бога с бессмертием, чтобы придать своему «Человеку» значительность. Я же надеюсь при этом сыграть в трагедии роль древней судьбы, которой греки подчиняли даже своих богов, и в такой роли надеюсь поистине безумно перепутать между собой действующие лица, чтобы они своими силами не одумались, а человек, в конце концов, должен будет возомнить себя Богом или, по меньшей мере, вместе с идеалистами и мировой историей творить подобную маску.

Теперь я более или менее высказался и, по мне, пусть выступит сама трагедия со своими тремя единствами: времени, — которого я намерен строго придерживаться, чтобы человек не заблудился в вечности, — места — пусть никогда не выходит за пределы пространства — и действия — его я ограничу, как только можно, чтобы Эдип, человек, дошел только до слепоты, а никак не до преображения в последующем действии.

Я не преграждаю пути маскам; пусть будет маска на маске, тем забавнее срывать их одну за другой до предпоследней, сатирической, гиппократовой, и до последней, которая не снимается, не смеется, не плачет, она без волос и без косы; это череп, которым заканчивается трагикомедия. Против стихов я тоже не возражаю; они комичнейшая ложь, как и котурны — комичнейшая напыщенность.

Пролог уходит.

ДЕВЯТОЕ БДЕНИЕ

*Бедлам — Монолог безумного творца —
Разумный дурак*

Хорошо еще, что среди стольких шипов моей жизни обрел я, по крайней мере, хоть одну розу в полном цветении; правда, она была вся окружена колючками, так что я извлек ее, почти облетевшую, окровавив при этом себе руку, но я сорвал ее, и она усладила меня своим предсмертным благоуханием. Этот единственный блаженный месяц среди других зимних и осенних месяцев я провел — в сумасшедшем доме.

Человечество явно образуетя наподобие луковицы: одна оболочка за другой вплоть до самой маленькой, в которой торчит сам человек, совсем уже крошечный. Так в небесном великом храме, на куполе которого чудесными святыми иероглифами парят миры, человечество строит уменьшенные храмы с поддельными звездами, а в храмах этих еще меньшие капеллы и дарохранительницы, пока не заключит святые тайны *en miniature* как

бы в кольцо, хотя они парят вокруг величаво и мощно превыше лесов и гор и в сверкающем причастии солнца возносятся на небо, чтобы народы пали перед ним ниц. В единой мировой религии, которую тысячами письмен возвестила природа, человечество разгораживает опять-таки уменьшенные народные и племенные религии для евреев, язычников, турок и христиан, а последним и этого мало, и они отгораживаются друг от друга. Так и во всеобщем сумасшедшем доме, из окон которого выглядывает столько голов, частично или вполне безумных; и в нем построены уменьшенные сумасшедшие дома, потому что дураки бывают разные. В один из этих уменьшенных меня перевели теперь из большого сумасшедшего дома, вероятно, полагая, что там стало слишкомлюдно. На новом месте я чувствовал себя, как и на прежнем, пожалуй, даже лучше, потому что дураки, запертые теперь со мною, отличались в большинстве своем приятными маниями.

Я вряд ли сумел бы представить моих товарищей по сумасшествию лучше, нежели в тот момент, когда я должен был продемонстрировать их врачу, посещавшему нас, что мне приходилось время от времени делать, поскольку смотритель заведения по причине моего безвредного помешательства назначил меня своим заместителем. Выполняя свои обязанности в последний раз, я произнес такую речь:

«Господин доктор Ольман, или Олеариус, как вы переводите ваше имя в бессмертие, с помощью мертвого языка, в своих диссертациях и письменных извещениях, — мы, правда, все страдаем более или менее различными маниями; не только отдельные индивиды, но целые сообщества и факультеты, среди которых, например, многие, сбывая мудрость, увлеченно торгуют просто шляпами и полагают, будто можно даже головы немудрые превратить в мудрые, слегка нажав на них шляпой своего производства: иной раз такую шляпу надевают и на безголовых, якобы фабрикуя философов, потому что лица последних от чрезмерных размышлений все равно едва различимы под полями шляпы. Из-за многочисленных примеров, теснящихся в моей памяти, я потерял нить периодов и лучше совсем ее прерву, дабы начать заново».

Тут Ольман покачал своей докторской шляпой, словно сомневаясь в том, что мой головной убор когда-нибудь сменится дубликатом этого благоприобретения.

«Вы качаете вашей шляпой, — продолжал я, — потому только, что небо сделало меня дураком, а император потом не сделал доктором? Однако оставим это покамест и лучше в последнюю очередь поговорим о моем собственном безумии, а также о средствах помочь мне.

Вот номер 1, образчик гуманности, превосходящий все написанное на эту тему; я не могу пройти мимо него, не вспоминая величайших героев былого — Курция, Кориолана, Регула и иже

с ними. Его безумие состоит в том, что он слишком вознес человечество и слишком принизил себя; в противоположность плохим поэтам, он задерживает в самом себе все жидкости, опасаясь, будто их свободное изливание вызовет всемирный потоп. Глядя на него, я частенько злюсь, что не обладаю на деле его воображаемым достоянием, — право, я так и поступил бы, использовал бы землю, как мой *pot de chambre*, чтобы все доктора сгнули и только их шляпы плавали бы на поверхности в большом количестве. Эта великая мысль, — бедняга не вмещает ее, вы только посмотрите, как он стоит и мучается, задерживая дыхание из чистого человеколюбия, так что, если не снабдить его воздухом с этой стороны, он умрет. Тут я рекомендовал бы пожары, пересохшие потоки с неподвижными мельницами, с многочисленными голодающими и жаждущими по берегам. Радикально излечил бы его Дантов ад, через который я веду его теперь ежедневно и погасить который он вознамерился вполне серьезно. В прошлом он, вероятно, был поэтом, только ему не удалось излиться в какую-нибудь книжную лавку.

Номер 2 и номер 3 — философические антиподы, идеалист и реалист; один воображает, будто у него стеклянная грудь, а другой убежден, будто у него стеклянный зад, и никогда не отваживается присадить свое «я», что пустяк для первого, который зато избегает морального созерцания, тщательно прикрывая себе грудь.

Номер 4 угодил сюда лишь потому, что в своем образовании шагнул вперед на полстолетия; кое-кто из ему подобных еще на свободе, но их всех, как водится, считают полоумными.

Номер 5 вел слишком разумные и вразумительные речи, поэтому его направили сюда.

Номер 6, свихнувшись настолько, чтобы принимать всерьез шутки великих мира сего, совсем свихнулся.

Номер 7 спалил себе мозг, так как слишком высоко залетел в своей поэзии, а номер 8 сочинял в свои разумные дни такие слезливые комедии, что рассудок его просто смыло. Теперь один воображает, что горит пламенем, а другой мнит, будто растекается водою. Я время от времени пытался изнурить противоборствующие стихии, стравливая их между собой, но огонь столь пылко нападал на воду, что мне пришлось призвать номер 9, считающего себя творцом мира, чтобы он разнял их.

Этот последний номер часто ведет сам с собой удивительнейшие беседы, и вы можете как раз послушать одну из них, если, конечно, вы достаточно терпеливы:

Монолог безумного творца

У меня в руке диковинная вещица, и пока я секунду за секундой — они там называют секунды столетиями — рассматриваю ее в увеличительное стекло, сумятица на шарике усугуб-

ляется, и я не знаю, смеяться мне над этим или гневаться, — если то и другое вообще мне приличествует. Былинка в солнечном луче, копошащаяся там, величает себя человеком; сотворив ее, я ради курьеза сказал, что она хороша весьма, — сознаюсь, опрометчиво сказано, но что поделаешь, я был в хорошем настроении, а всякая новинка радует здесь наверху, в этой длинной вечности, где времяпрепровождение немислимо. Кое-какими моими творениями я, правда, и теперь доволен; меня забавляет пестрый мир цветов, и дети, которые среди них играют, и летучие цветы — бабочки, и насекомые, покинувшие в легкомысленной юности своих матерей и возвращающиеся пить материнское молоко, дремать и умирать на материнской груди*. Но та мельчайшая пылинка, наделенная мною дыханием жизни и названная человеком, вновь и вновь досаждала мне своей божественной искоркой, которую придал я ей сгоряча, так что она свихнулась. Мне следовало сразу представить себе, что такая малость божественного не принесет ей ничего, кроме вреда, ибо жалкая тварь не будет более знать, куда податься, и чаяние Бога, ей присущее, лишь заставит ее запутываться все безнадежнее, без всякой возможности найти когда-нибудь верный путь. В секунду, названную золотым веком, она вырезала фигурки, милые на вид, строила домики, развалинами которых любовалась в другую секунду, усматривая в них жилище богов. Потом она боготворила солнце, светильник, зажженный мною для нее и относящийся к моей настольной лампе, как искорка к пламени. Наконец — и это было наихудшее, — пылинка возомнила божеством самое себя и нагромоздила целые системы самолюбования. К черту! Лучше бы я не вырезывал эту куклу! Что мне теперь с ней делать? Пусть она, приплясывая, вытворяет свои штуки здесь, наверху, в вечности? Это не удастся мне самому, а если она уже там внизу скучает более чем чрезмерно и в кратчайшую секунду своего существования зачастую напрасно старается скоротать время, как же будет она скучать здесь, в моей вечности, которая ужасает порою меня самого! Совсем уничтожить ее тоже было бы жалко, ибо сей прах подчас в таком упоении грезит о бессмертии, полагая, что сами эти грезы подтверждают его бессмертие. Как же мне поступить? Поистине мой рассудок сдает. Допустим, я предоставляю этой твари умирать и снова умирать, всякий раз вытравливая искорку самосознания, чтобы этому существу воскресать и колобродить вновь и вновь? В конце концов, это мне тоже наскучит, ибо не может не утомить фарс, повторяющийся без конца. Лучше всего мне повременить с решением в ожидании более разумной мысли, пока не заблагорассудится мне назначить дату Страшного суда».

* Один естествоиспытатель выдвинул гипотезу, согласно которой первые насекомые были всего лишь тычинками растений, отделившись случайно.

«Вот мерзкое безумие, — добавил я, когда номер 9 замолчал. — Подобные измышления разумного человека наверняка были бы конфискованы».

Ольман покачал головой, проронив несколько весомых замечаний о душевных болезнях вообще.

Творец мира, говоривший с детским мячиком в руке, начал играть им и после паузы продолжал:

«Теперь физиков удивляют переменчивые температуры, и, исходя из этого явления, пытаются строить новые системы. Да, подобными колебаниями могут обуславливаться землетрясения и другие феномены, для телеологов открыто широкое поле деятельности. О, пылинка в солнечном луче наделена поразительным разумом; и в произвол и в путаницу она вносит нечто систематическое; она даже восхваляет и славит своего творца, находя в изумлении, что творец по смысленности не уступает ей самой. Затем она мечется как угорелая, и муравьиный народ устраивает грандиозное сборище, как будто и впрямь что-то обсуждается. Если я приложу мою слуховую трубку, то действительно кое-что услышу; с амвонов и с кафедр жужжат нешуточные речи о мудром устройстве в природе, в то время когда я играю в мяч и дюжина-другая стран и городов гибнет, а некоторые муравьи бывают раздавлены, потому что иначе они слишком размножились бы с тех пор, как изобретена прививка против оспы. О, в последнюю секунду они так поумнели, что стоит мне чихнуть здесь наверху, это явление подвергается серьезному исследованию. К черту! Не досадно ли быть богом, когда тебя разбирает по косточкам подобный народец! Впору сокрушить весь этот шар!»

«Вы только посмотрите, господин доктор, — продолжал я, когда творец мира смолк, — как этот малый гневается на весь мир; не опасно ли нам, другим полоумным, терпеть в своем кругу титана, ибо у него тоже есть своя система, по своей последовательности не уступающая системе Фихте, хотя человек здесь преуменьшен даже по сравнению с Фихте, обособляющим его разве что от неба и ада, но зато втискивающим всю классику, словно в энциклопедию карманного формата, в малюсенькое «я», в местоимение, доступное чуть ли не младенцу. Вольно теперь каждому извлекать из ничтожнейшей оболочки целые космогонии, теософии, всемирные истории, да еще соответствующие картинки в придачу! В любом случае сие величественно и великолепно, только не слишком ли уж мал формат? Уже Шлегель вовсю замахивался на маленькие картинки, и мне, признаться, не по вкусу великая «Илиада», изданная in 16, не впихивать же весь Олимп в ореховую скорлупку, предоставив богам и героям довольствоваться уменьшенным масштабом или же наверняка сломать себе шею!

Вы смотрите на меня, господин доктор, и снова покачиваете головой! Да, да, вы не ошибаетесь, на этом-то я и помешался, в разумном состоянии я придерживаюсь как раз противоположного мнения!

Оставим теперь нашего творца!

Вот номер 10 и номер 11, наглядно подтверждающие переселение душ; первый лает, как собака, он прежде служил при дворе; второй был чиновником и стал волком. Тут есть над чем поразмыслить.

Номера 12, 13, 14, 15 и 16 — вариации на тему одной и той же избитой уличной песенки под названием «Любовь».

Номер 17 углубился в свой собственный нос. Вы находите это странным?

А я нет! Углубляются же нередко целые факультеты в единственную букву, решая, принять ли ее за альфу или за омегу.

Номер 18 — мастер исчислений, вознамерившийся найти последнее число.

Номер 19 размышляет о том, как его обокрало государство; такое допустимо лишь в сумасшедшем доме.

Номер 20, наконец, — моя собственная дурацкая каморка. Заходите, пожалуйста, осматривайтесь, ведь мы все равны перед Богом и разве что страдаем различными маниями, если не полным безумием, различия — в малозначительных нюансах. Там голова Сократа, на носу которой вы увидите мудрость, а там, на носу Скарамуша — глупость. В этой рукописи содержатся мои собственноручные параллели между обоими, причем выигрыш за дураком. Меня следует лечить, не правда ли? Я вообще закоренел в моем пристрастии находить разумное пошлым и *vice versa* — от этой причуды мне не отделаться!

Не скрою, я не раз пытался притянуть к себе за волосы мудрость и ради этого имел *privatim* известные отношения со всеми тремя хлебными факультетами, дабы впоследствии, после ускоренного академического бракосочетания с музами, сподобиться публичного благословения во имя человечества, как один в трех лицах, и щеголять в трех докторских шляпах, нахлобученных одна на другую.

«О, — думал я про себя, — разве ты не сможешь затем, не приметно меняя шляпы, выступать, как Протей, в теории и на практике? В диссертациях рассуждать о методах скорейшего исцеления и самого больного избавлять от его недуга как можно скорее! Быстро переменяя шляпу, обнимать умирающего, как подобает другу от юстиции, прибирая при этом к рукам дом, и, едва накинув мантию, указывать верный путь на небо, как подобает небесному другу. Как на фабрике с помощью различных машин, достигать таким образом с помощью различных шляп высшего и совершенного. А какое изобилие мудрости и денег — желанное соединение обоих противоположных благ, высшая идеализация кентавра в человеке, когда под высочайшим всадником — упитанное животное, позволяющее ему лихо гарцевать».

Однако при ближайшем рассмотрении я нашел, что все суета,

и распознал во всей этой хваленой мудрости не что иное как покрывало, наброшенное перед лицом Бога на Моисеев лик жизни.

Вы видите, куда это ведет, и моя мания как раз в том и состоит, что я считаю себя разумнее систематизированного разума и мудрее канонизированной мудрости.

Я, право, не прочь проконсультироваться с вами касательно того, как лучше пользоваться мое помешательство и какие медицинские средства лучше применить против него. Дело это важное, потому что, сами посудите, как можно ополчаться против болезней, когда, согласитесь, не очень-то ясна сама система, когда болезнью слывет едва ли не высшее здоровье, и наоборот.

И какой инстанции решать, кто заблуждается научнее: мы, дураки, здесь в сумасшедшем доме или факультеты в своих аудиториях? Что, если заблуждение — истина, глупость — мудрость, смерть — жизнь, — как все это теперь вполне разумно познается в противоположностях? О, я сам понимаю, я неизлечим!»

Доктор Ольман после некоторого раздумья прописал мне максимум движения и минимум размышления, считая, что, подобно тому как несварение желудка у других — следствие физической неумеренности, мое помешательство обусловлено излишествами интеллектуальными. Я не стал задерживать его.

Что касается моего блаженного месяца в сумасшедшем доме, для него я приберегу другое бдение.

ДЕСЯТОЕ БДЕНИЕ

*Зимняя ночь — Греза любви — Невеста белая,
Невеста румяная — Погребение монахини —
Бег по гаммам*

Странная это ночь; лунный свет в готических сводах собора то появляется, то исчезает, подобно духам — к башенному фонарю карабкается лунатик с грудным младенцем на руках, это звонарь; его жена смотрит в слуховое окно, ломая руки, но она нема, как могила, чтобы спящий скиталец, уверенно и беззаботно преодолевающий опаснейшие места, не пробудился, услышав свое имя, и в приступе головокружения не рухнул бы вниз, в глубокую могилу. В пригороде вор вламывается во дворец, но это не мой участок, и меня приговорили к немоте, пусть вламывается! Совсем уж издалека едва доносится музыка, как будто жужжат комары или Кох импровизирует в ночи на губной гармонике, а у самого горизонта, на ледяном зеркале луга вращаются легкие, воздушные конькобежцы в базельской пляске смерти, и траурная музыка аккомпанирует им.

Все замерзло, окоченело, застыло, у природы отвалились члены, и торс ее протягивает к небу свои окаменевшие культы без цветочных венков и листьев. Ночь тиха до ужаса; ледяная смерть стоит в ночи, как невидимый дух, сковавший побежденную жизнь. Время от времени озябший ворон срывается с церковной крыши. И нищий, у которого нет ни кола, ни двора, борется с дремотой, заманивающей сладостными соблазнами в объятия смерти, как русалка залучает неосторожного рыбака в волны песней.

А мне что же, обмануть смерть, отнять у нее жизнь этого нищего? Черт побери, я не знаю, что предпочтительнее: быть или не быть! О, этого вопроса не задают ночующие в своих спальнях с поддельным югом и весной, намалеванной на стенах, когда настоящая весна цепенеет на улице; им подают природу на стол, как лакомое блюдо, и они смакуют ее глоточками, соблюдая регулярность, чтобы не пресытиться. А этот покоится, так сказать, непосредственно на груди у старой матери, своенравной и капризной, как всякая старуха, и она то обогревает своих детей, то душит. Но нет, ты, наша мать, вечно верна и неизменна; ты предлагаешь своим детям плоды в зеленых тенистых кущах, согревающий огонь и воспоминание о тебе, когда ты дремлешь. Это братья оттолкнули Иосифа, коварно лишив его даров, которые ты предназначаешь ему наравне с другими детьми. О, братья недостойны того, чтобы Иосиф обитал среди них! Ему лучше заснуть!

Лицо уже похолодело и застыло, сон кладет брату на руки статую брата; я воздвигну ее здесь, чтобы она пугалом встречала наступающий день, когда взойдет солнце. — О смерть-убийца, нищий не забыл еще свою жизнь и любовь — темный локон его жены таится в лохмотьях у него на груди; тебе не следовало губить его — и все-таки —

Греза любви

Нет, любовь не прекрасна, восхищает лишь греза любви! Слушай мою молитву, строгий юноша! Когда ты видишь возлюбленную у меня на груди, да будет роза скорее сорвана, а белое покрывало опущено на цветущее лицо. Белая роза смерти прекраснее своей сестры, ибо она напоминает о жизни, придавая ей ценность и прелесть. Над могильным холмом возлюбленной всегда парит ее образ, вечно юный, увенчанный, и никогда действительность не коснется ее черт, чтобы она охладела и кончилось объятие. Любимую надо скорее похитить, юноша, тогда беглянка вернется снова в моих грезах и напевах, она сплетет венок из моих песен и с моими мелодиями воспарит на небо. Только живое умирает, мертвое неразлучно со мной, и вечно наша любовь и наше объятие!

Слышишь! — танцевальная музыка и похоронное пение — ве-

село звенят бубенцы! Смелее вперед, кто заглушит другого, тот уведет с собой невесту. Жаль только, я вижу двух невест, белую и румяную — две свадьбы, на одной плакальщицы воют по-своему, а этажом выше играют музыканты на флейтах и скрипках, и над комнаткой смерти с гробом потолок дрожит и гудит от танца.

Истолкуйте же мне ночное наваждение!

Ленора скачет мимо — белая невеста здесь в тихом свадебном покое, она любила юношу, который там вальсирует; такова жизнь, она любила, он забыл, она умерла, он воспылал, прельстившись румяной розой, которую сегодня берет себе, когда ту хоронят.

Вот старая мать белой невесты у гроба — она не плачет; она слепа — и белая тоже не плачет, она спит и видит сладчайшие сны.

Тут свадебный поезд, еще танцуя, устремляется вниз по ступеням, и юноша стоит между двумя невестами. Он слегка бледнеет. Слепая мать узнает его походку. Она подводит его к брачному ложу почившей невесты.

«Ее брачная ночь началась раньше, чем у тебя; не буди же ее, ей так сладко спится, но тебя она вспоминала, пока не заснула. У нее на сердце твой образ. О, не отдергивай руку в таком ужасе от холодной груди; эта ночь самая длинная, когда мороз жесточайший, а она лежит в брачной постели одна, без жениха!»

Смотри! Румяную розу тоже умертвил ужас, и юноша стоит между двумя белыми невестами. Прочь, прочь! Таков бег мира. О если бы мне можно было трубить и петь!

Теперь труп реет над переулками, и свет фонарей затих на стенах, как будто смерть, шествующая мимо, не хочет будить заснувшую жизнь. Замерзшая почва потрескивает под ногами несущих гроб, это лукавый, тайный гимн в честь невесты. А невесту несут в ее опочивальню.

Поблизости еще поют и буйствуют юноши, расточая свою жизнь, любовь, поэзию в кратком неудержимом опьянении, которое рассеется к утру, когда их деяния, их мечты, их надежды, их желания, все вокруг них отрезвет и остынет.

В монастыре святой Урсулы поздно ночью было беспокойно. Время от времени колокол бил тихо и глухо, как будто слышался сквозь сон, и в окнах церкви, чьи своды возносились над стенами, часто мелькал необычный, впрочем, быстро гаснущий проблеск. В одиночестве я обошел стену, освященным волшебным поясом опоясывающую святых дев. Вдруг я натолкнулся на человека в плаще — то, что я от него узнал, откладывая на следующую зимнюю ночь, то, что я сделал, принадлежит этой ночи.

Привратник у внешней стены был старый, глубокомысленный человеконенавистник, сердечно преданный мне как предмету, перед которым он может изливать свой гнев, когда заблагорассудится. Я нередко посещал его ночами, чтобы его желчь могла проветриться, и теперь я отправился к нему. Он сидел в

своей лачуге при свете лампы в обществе черной птицы, которой натянул на голову колпак, беседуя с нею.

«Знаешь ты существо, — говорил привратник, — чье лицо лукаво смеется, а внешняя личина проливает слезы, существо, поминающее Бога, когда имеет в виду дьявола, таящее внутри ядовитую пыль, как яблоко на Мертвом море, чтобы прельщать своей цветущей, румяной оболочкой, издающее меланхолические звуки с помощью искусно извитого рупора, когда оно вопит в смятении, приветливо улыбающееся, как Сфинкс, лишь затем, чтобы растерзать, обнимающее проникновенно, как змея, лишь затем, чтобы вонзить в грудь ядовитое жало? Что это за существо, черный?»

«Человек!» — каркнула тварь, отнюдь не услаждая при этом слуха.

«Черный не говорит больше ни слова, — сказал привратник, — зато как нельзя метче отвечает на все мои вопросы. Спи, черный!»

Птица прокричала еще трижды «человек» и села в темном углу, как бы глубоко задумавшись, но она просто спала.

«Они разыгрывали похороны там в монастыре, — продолжал старик, — не хочешь взглянуть? Непорочная урсулинка стала сегодня матерью; — легенда, пожалуй, провозгласила бы это чудом, но они слишком пристально заглядывали Богу в карты и сегодня, в общем, больше не верят ни в какие чудеса. Святую деву нынче ночью погребают заживо. — Я впущу тебя. Посмотри, не соскучишься!»

Он достал ключ, петли заскрипели, и я прошел по могилам через крестовый ход. Свет факелов то и дело проскальзывал по монументам; каменные девы с художественно деланными лицами дремали на молитве, в то время как оригиналы внизу уже сбросили маски.

Я остановился за колонной, внизу зияла могила каменной кладки — уединенная раздевалочка для уходящих: в покойце горела тусклая гробовая лампада; на возвышающемся камне был хлеб, кувшин воды, распятие и молитвенник. В церкви, вздвинутой над склепом, царила глубокая тишина среди святых, взиравших со стен; лишь иногда ветер, сквозящий в органе, заставлял неприятно выть одну трубу.

Наконец, среди колонн показалась процессия: многочисленные молчаливые девы окружали в своем шествии невесту смерти. Все это действо ужаснуло бы мягкосердечного зрителя именно механической жутью своего распорядка; так трагическая муза потрясает тем больше, чем меньше она ломает себе руки. Мое же чувство (уподобляющееся струнному инструменту, настроенному навыворот, чтобы никто не мог играть на нем в чистой тональности, если только дьявол не объявит концерта), было мало затронуто, и в нем ничего, в общем, не происходило, кроме безумного бега по гаммам, извлекающего примерно следующие звуки и остающегося в дисгармонии:

«Жизнь пробегает мимо человека, такая стремительная, что человек напрасно умоляет ее остановиться хоть на мгновение и сказать, чего она хочет и зачем на него смотрит. Мимо проносятся маски ощущений, все более искажаясь. — Радость, ответь, — кричит человек, — зачем ты мне улыбаешься. Личина исчезает, улыбаясь. — Скорбь, дай посмотреть в глаза тебе, зачем ты явилась мне! И скорби уже нет. — Гнев, зачем ты взглянул на меня? Я спрашиваю, а ты уже сгинул.

И личины вертятся в безумно стремительном танце вокруг меня, именуящего себя человеком, а я пошатываюсь в средоточии круга, мне дурно от этого зрелища, и я тщетно пытаюсь обнять хоть одну маску, сорвать личину с настоящего лица, они пляшут и пляшут — а я — что делать мне в хороводе? Кто же я такой, если маски обречены исчезать? Дайте мне зеркало вы, масленичные скоморохи, чтобы я хоть раз увидел самого себя, мне надоело смотреть на ваши переменчивые лица. Вы качаете головами — как? В зеркале не появляется никакого «я», когда я подхожу к нему, — я мысль мысли, греза грезы, вы не можете даровать мне тело и только сотрясаете свои бубенцы, когда я думаю, что это мои? Ха! Ведь ужасно одиноко в моем «я», когда я прикрываю ваши маски и хочу взглянуть на самого себя; все — исчезающий отзвук без бывшего звука — никакого предмета — все-таки я вижу — да это Ничто, вот что я вижу! Прочь, прочь от «я» — продолжайте свою пляску, личины!»

Теперь монахиня спускается в могилу. О, кончайте же вашу игру, чтобы мне узнать, в шутку, собственно, или всерьез это делается. И в последний путь невесту смерти провожает маска — Безумие собственной персоной. Личина ухмыляется — в ужасе или восторге над нею настоящее лицо — кто знает?

Правда, за компанию с невестой замуровывают змею — Голод — и змея скоро обовьется вокруг ее груди, пока не догложется до «я». А когда исчезнет последняя маска, и «я» останется наедине с самим собой — нужно ли будет тогда проводить время?

Теперь глухо стучат по своду молотки вольных каменщиков, и камни один за другим сочетаются в своде склепа. Я еще раз различаю сквозь маленькое отверстие при свете лампы таинственную улыбку погребенной — еще немного пробывающегося света — и все закрыто наглухо, и живые мертвецы поют строгое *misereere* в возглавии погребенной, желая ей доброй ночи

Вернувшись, я, как всегда, застал привратника вместе с его старой мрачной маской.

«Теперь ты ненавидишь людей?» — спросил он.

«У меня ведь, в общем, никого нет, кроме меня самого, — сказал я, — так что я по возможности меньше люблю и меньше ненавижу. Я пытаюсь думать, что я ничего не думаю, и в конце концов додумаясь до самого себя».

«Возьми этого червяка, — продолжал старик, откидывая одеяло над спящим младенцем, — предпочитаю не оставлять его у себя, так как у меня еще бывают припадки человеколюбия, а в таком безумии мне ничего не стоит задушить его!»

Я взял мальчика на руки, и жизнь, пока еще грезящая, снова примирила меня с пробудившейся жизнью.

«Они отдали мне ребенка, чтобы избавиться от него, — сказал привратник, — поскольку ничто мужское не терпимо среди святых дев, разве только на картинах, чтобы распалить воображение. Ты только что видел, как погребли мать малого; ищи теперь его отца или подкинь гражданина миру, не опасайся за человеческое отродие, оно не пропадет».

«Я знаю отца», — ответил я и вышел из лачуги.

На улице стоял незнакомец в плаще, он остановил меня. «Невеста похоронена — это твой сын!» — с такими словами я положил ребенка ему на руки, и он молча прижал его к сердцу.

ОДИННАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Предошущения слепорожденного — Обет — Первый восход солнца

Вот отрывок из истории незнакомца в плаще. Я питаю страсти к первому лицу — пусть же и говорит он в первом лице:

«Что такое солнце?» — спросил я однажды у своей матери, когда она описывала солнечный восход с горы. «Бедное дитя, ты никогда этого не поймешь, ты родился слепым», — ответила она печально и мягко провела рукой по моему лбу и моим глазам.

Я пламенел — описание восхитило меня; между людьми и моей любовью к ним стояла перегородка — если бы мне хоть раз увидеть солнце, думал я, преграда исчезнет, и я смогу наслаждаться большей близостью с моей матерью.

Моя фантазия с того дня работала бурно; дух, исполненный томления, яростно прорывался сквозь тело, чтобы увидеть свет. Там лежала страна моих чаяний, Италия со всеми чудесами природы и искусства.

Они много говорили о дне и ночи; для меня существовало только одно из двух, вечный день или вечная ночь; лишь последнее верно, — полагали они.

Я сидел в моей тьме, а мой дух созерцал чудесный великий мир, присущий ему, но освещение отсутствовало, и как на утес высотой до неба, я поднимался на вершину жизни с завязанными глазами; я чувствовал шелковистую щечку цветка, впивал его аромат, но воображал при этом, что сам цветок бесконечно прекраснее своего аромата и своей шелковистой щеки.

Оживленная дивная греза дала мне узреть свет в ночи, и это был настоящий свет, но, проснувшись, я тщетно пытался снова вызвать мою грезу.

К этому времени музыка посетила мою темницу, как обаятельный гений, и оплела свои струны нежными гирляндами поэзии. Почва, по которой ступал я теперь, была священна — первая Италия моего томления.

Ангелом, шествовавшим между обеими музами и приведшим их ко мне, была девушка; небесная Мадонна завещала ей свое земное имя. Мария, моя ровесница, восхитила слепого мальчика своими песнями и созвучиями, накликала Любовь и Надежду своими мечтаниями, и они впервые ясным взором огляделись вокруг и вступили в жизнь, как две прекраснейшие весталки.

Мария была сирота без родителей, и моя мать, когда брала ее к себе, дала торжественный обет посвятить приемыша небу, если я когда-нибудь увижу солнце. Теперь я снова томился по солнцу, так как оно уводило от меня Марию с ее песнями.

Вскоре после этого до меня все чаще стали доходить слухи о враче, чье искусство много сулило мне. Я колебался между двумя противоположными чувствами — любовь к солнцу и к Марии были одинаково сильны в моей душе. К врачу пришлось вести меня почти силой.

Он предписал мне покой, и моя грудь заволновалась. Я стоял у врат жизни, как бы на пороге второго рождения. Вдруг я почувствовал острую боль в моих глазах; я вскрикнул, ибо моя греза вернулась: я видел свет! Тысяча сверкающих искр и лучей — быстрый взгляд в богатейшую сокровищницу жизни.

Прежняя ночь вновь облекла меня. На мои глаза наложили повязку, и мне было позволено входить в новый мир лишь постепенно.

Никаких промежутков, мне показывали очень мало предметов, и ни одно живое существо, кроме врача, не приближалось ко мне, пока тот не счел меня достаточно сильным для того, чтобы перенести величайшее.

Он вывел меня в ночь, над моей головой в непомерной дали пламенили созвездия, и я, как пьяный, стоял под мириадами миров, чуя Бога и не называя его имени. Передо мной возвышались древние руины прежней земли, горы, мрачные и суровые в ночи; тусклая зарница играла в безоблачном воздухе вокруг их глав. Леса почили в тумане глубоким сном у их подножий, лишь слегка покачивая своими черными верхушками. Врач стоял тихий и строгий подле меня, в нескольких шагах как бы трепетал кто-то под вуалью.

Я молился!

Вдруг сцена изменилась; над горами, казалось, двинулись духи, звезды побледнели, как будто в ужасе, и позади меня открылось пространное зеркало, мировое море.

Я содрогнулся, почувствовав близость Бога.

А на землю ложились туманы, мягко окутывая ее, а в небе стремительней двинулись духи, и когда звезды померкли, золотые розы полетели над горами в голубом небе, и волшебная весна расцветала в воздухе, набирая мощь, и вот уже целое море бушевало в вышине, и пламя на пламени вспыхивало в небесных потоках.

Тогда над еловым лесом, сверкая тысячами лучей, как целый возгорающийся мир, встало солнце.

Я всплеснул руками, защищая глаза, и рухнул на землю.

Когда я очнулся, в воздухе парил бог земли, а невеста разорвала все свои покровы, открыв свои лучшие прелести оку Бога.

Вокруг было святилище — весна сладостной мечтой распростерлась на горах и на лучах — в траве пламенели небесные звезды: цветы. Из тысячи источников море света низвергалось в мироздание, и краски возникали в нем, как дивные духи. Вселенная любви и жизни — румяные плоды и цветущие венки на деревьях — благоуханные плетеницы на горах и на холмах — самоцветы, сверкающие в гроздьях — бабочки, как летучие цветы, порхающие в воздухе, — тысячеголосый напев, гремящий, ликующий, прославляющий, и око Бога, взирающее из бесконечного мирового моря и из жемчужины в чашечке цветка.

Я отважился мыслить вечность!

Вдруг позади меня что-то зашуршало, — новые покровы упали с жизни — я быстро обернулся — и увидел — ах, впервые! плачущие глаза матери.

О ночь, ночь, вернись! Я не могу больше выносить всего этого сияния и этой любви.

ДВЕНАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

*Орел, возносящийся к солнцу —
Бессмертный парик — Ложная косица —
Апология жизни — Комедиант*

Все в этом мире происходит в высшей степени неравномерно, так что я прерываю незнакомца в плаще среди его рассказа, и было бы не худо, если бы иной великий поэт или писатель потрудились прерывать себя вовремя, как сама смерть прерывает жизнь великих людей в надлежащий срок — за примерами далеко ходить не надо.

Нередко человек возносится, как орел к солнцу, отторгнутый, кажется, от земли, так что все с восхищением созерцают преображенного в его блеске; однако эгоист вдруг возвращается и, вместо того чтобы, похитив солнечный луч, подобно Прометею,

совлечь его на землю, завязывает окружающим глаза, воображая, будто солнце слепит их.

Кто не знает солнечного орла, пролетающего через новейшую историю!

Что же касается моего незнакомца, то я даю слово авторам, изголодавшимся по романтическому сюжету, что из его жизни можно выжать умеренный гонорар — стоит лишь отыскать его и дослушать его историю до конца.

В эту ночь поднялся изрядный шум. Из дверей знаменитого поэта вылетел парик, за которым поспешил его обладатель, так что было неясно, гонится ли он за своей летучей принадлежностью или, напротив, его принадлежность гонится за ним. Эта неясность побудила меня задержать его, чтобы он исповедался мне.

«Друг мой, — произнес он, — за бессмертием гонюсь я, и бессмертие гонится за мной. Ты сам знаешь, как трудно прославиться и насколько труднее просуществовать; во всех областях жалуются на конкуренцию, и в области славы, и в области существования положение не лучше; к тому же в обеих этих областях вызывают нарекания отдельные негодные субъекты, уже зачисленные в штат, и на слово больше никому не верят. А мне на моем пути встретились особые затруднения, так что я при всем желании не мог добиться ничего. Сам посуди, что делать на этом свете человеку, который не только не носил короны уже во чреве материнском, но, даже и вылупившись из яйца, не учился, по крайней мере, карабкаться по веткам своего собственного родословного древа; что делать человеку, который не принес на этот свет с собой ничего, кроме своего голого «я» и здорового тела. Не знаю ничего нелепее в наше время, когда служебные посты, должности, орденские ленты и звезды заготавливаются еще прежде, чем родился тот, кому предстоит занимать или носить их. Не лучше ли бедняге новорожденному, для которого не заготовлено даже теплой одежки, выйти из материнского чрева обрубком, чтобы на него хоть глазели и кормили его? Надеюсь, ты меня поймешь, дружище!

Я на все лады пробовал пробиваться, но успеха никогда не имел, пока наконец не обнаружил, что у меня нос Канта, глаза Гёте, лоб Лессинга, рот Шиллера и зад нескольких знаменитостей сразу; внимание ко мне было привлечено, и я преуспел: мной начали восхищаться.

Но я не остановился на достигнутом; я написал великим людям, выпрашивая у них обноски, и теперь имею счастье обувать башмаки, в которых некогда ходил сам Кант, днем надевать шляпу Гёте на парик Лессинга, а вечером нахлобучивать ночной колпак Шиллера; да, я продвинулся еще дальше на этом поприще, у Коцебу я перенял плач, я чихаю, как Тик, и ты не представляешь себе, какое впечатление произвожу иногда; в конце концов, тварь телесна, и телом интересуются больше, чем духом;

я тебя не дурачу, ты не думай: мне случалось прохаживаться кое перед кем, в подражание Гёте, надев шляпу задом наперед, спрятав руки в складки сюртука, и этот некто заверил меня, что предпочитает подобное зрелище последним сочинениям Гёте. С тех пор я вхож в изысканное общество, на званые обеды, словом, я благоденствую.

Не повезло мне лишь сегодня, когда я вздумал подсмотреть, как выглядит у себя дома один знаменитый великий человек, выступающий публично с таким достоинством; он принял меня за вора, хотя то, что, впопыхах похищено у него моим взором, не слишком украшает его».

С этими словами он снова надел парик Лессинга, присовокупив следующий сарказм:

«Какова цена всему этому бессмертию, друг, если после смерти парик бессмертнее человека, носившего его? О самой жизни я и не говорю, ибо в роли гения весь век пыжится смертнейшее ничтожество, а гения прогоняют кулаками, едва он появится, — вспомни только голову носившую этот парик до меня! Доброй ночи!»

Я не стал задерживать шута.

На кладбище в лунном свете околачивался некий молодой человек; мне удалось подойти к нему совсем близко, а он все не замечал меня, стараясь неистовой жестикуляцией и декламацией довести себя до соразмерного отчаянья, — средство испытанное, я действительно знал одного проповедника, который был способен плакать не иначе, как при звуке собственных пламенных речей; постепенно молодой человек добился своего и, вытащив наконец пистолет, неоднократно приставлял его ко лбу, пока не отважился на искомой высоте спустить курок, — пистолет не выстрелил, только фальшивая косичка сорвалась от резкого движения. Поскольку дело показалось мне сомнительным, я побежал, поднял упавшую косичку и протянул ему с подобающим обращением. Он принял в своем пылу косичку за кинжал и поспешил нанести себе несколько ударов, нешуточных, но тщетных.

Я попытался привести его в себя, заметив, что трагические ситуации нередко нарушаются комическими нюансами, например, сеткой для волос, потерянной королем Лиром от избытка чувств, и тому подобным, так что мои усилия не пропали даром: он сел на могильный холм и до того опаматовался, что предоставил мне прикреплять ему фальшивую косичку. Занятый этим, я продолжал его вразумлять апологией жизни, которую он принужден был слушать спокойно, так как я держал его за волосы.

Апология жизни

«Ей-богу, жизнь все-таки прекрасна! — И что могло заставить вас, молодой человек, легкомысленно отбросить ее, как эту ко-

сичку? — Не мешайте мне; пока я затягиваю узел, я разовью перед вами некоторые красоты, по возможности не растягивая моих рассуждений.

Чем не угодила вам земля, неужели вы рассчитываете найти нечто лучшее на небе — если вообще существует небо или даже несколько небес, кроме этого воздушного покрова? Разве не все на земле более или менее в порядке? Наука, культура, нравственность процветают и модернизируются. Все государство, подобно Голландии, пересечено каналами и канавами, так что человеческие дарования направлены и распределены, и не приходится опасаться, что в один прекрасный день они сольются и затопят великое целое. Нет недостатка в людях, которые так выгодно расставлены, что безо всяких скидок могут сойти за молот и клещи, нимало не поступаясь при этом своим бессмертием; вы взгляните на этот колосс — человечество: какова предприимчивость, каково трудолюбие, какова подвижность; один взбирается на другого, еще выше карабкается третий, ни дать ни взять эквилибристы; этот волочет изобретения, тот громоздит системы, и человеческий род не преминет, восходя по своим собственным плечам или, как Мюнхгаузен, вытягивая себя за косичку, достигнуть небес, так что уже не понадобится думать о каком-то новом небе. Только бы косичка выдержала, не оказалась бы она фальшивой, как та, которую я прикрепляю, и не придется искать никакого пути, кроме этого, чтобы попасть в горный мир.

И что вы думаете там приобрести, друг мой? Или там законы лучше? В пользу наших законов свидетельствует их неизменность. Или там выше нравственность? Мы так возвысились в нашей нравственности, что почти превысили ее! Или там конституции совершеннее? Разве перед вами, как на географической карте, не пестреет множество разнообразных конституций? Отправляйтесь, друг, во Францию где конституции меняются вместе с модами, и вы успеете приспособиться ко всем по очереди, из монархии переселитесь в республику, из республики обратно в деспотию; в кратчайший промежуток времени вы сможете там достигнуть величия, впасть в ничтожество и снова закоснеть в заурядности, которой человечество интересуется больше всего.

И против мизантропии, друг, имеются отличные средства, я испытал их на себе самом, когда вкусное блюдо отвратило меня однажды от самоубийства, и я, насытившись, воскликнул: «Жизнь все-таки прекрасна!» Как другие голову или сердце, я принимаю желудок за местопребывание жизни; все великое и превосходное в мире свершалось, как правило, по наущению желудка. Человек — существо заглатывающее и, если подбрасывать ему побольше, он в часы пищеварения не скупится на совершенства и, питаясь, преобразуется в бессмертного.

Какое мудрое государственное установление — периодически

морить граждан голодом — как собак, когда хотят воспитать артистов! Ради сытного обеда заливаются соловьями поэты, философы измышляют системы, судьи судят, врачи исцеляют, попы воют, рабочие плотничают, столярничают, куют, пашут, и государство доживает до высшей культуры. Да, когда бы Творец позабыл сотворить желудок, ручаюсь, весь мир остался бы в первобытной грубости и о нем не стоило бы теперь говорить.

Что же вы думаете о той жизни в которую вам не переместить эту внутреннюю душу всякой культуры, так как вы намерены внедриться в нее лишь духовно? Не дергайтесь, я затягиваю сейчас петлю, которая свяжет ваши волосы с косичкой! Друг мой, дух без желудка подобен медведю, сосущему свою лапу. Он — всего-навсего казначей, неразрывно связанный со своей мощной; отрежьте мощну, и казначей нет в помине. Когда переселение душ существует, в чем я не сомневаюсь, и почившие духи воплощаются, что вовсе не исключено, не только в животных, но и в цветы и в плоды, где еще пролегает связующий канал духов, если не в поглощающем желудке; оттуда, когда плотское извергается, возносятся они, улетучиваясь, в мозг, и ясно как день, что посредством беззаботного съедения нами могут быть усвоены величайшие мудрецы: Платон, Гемстергейс, Кант и другие.

Вот вам и примеры: Гёте — поэту, соединившему в себе Ганса Сакса, романтиков и греков, не уступает Гёте-едок, вероятно, заранее отведавший этих духов; Бонапарте, должно быть, закусил Юлием Цезарем, и только дух Брута, кажется, где-то задержался, еще не съеденный.

Возможно ли, друг мой, вы отрываетесь от этого желудка, от этой жизни, вы хотите выпорхнуть из всей этой замысловатой машины, где вы вращаете тысячи колес? Сколько вокруг вас подмостков, на которых вы можете выступить героем! Поля сражений, альманахи, литературные газеты, большие и малые театры!»

«Я состою в штате придворного театра, — ответил молодой человек, поблагодарив меня поклоном за прикрепленную косичку. — Кстати, пистолет не заряжен, и здесь на могиле я только пробую, умеренно буйствуя, вжиться в характер самоубийцы, которого завтра мне предстоит играть. Уравновешенность — могила искусства! Я примериваю страсти, как борец примеривает перчатки перед боем; я играю моих героев с чувством, и, по крайней мере, как великие мастера, я скряга в день, когда играю скрягу, и безумец в день, когда играю безумца».

Тут он удалился, оставив меня, посрамленного моей собственной тупостью.

«О фальшивый мир! — воскликнул я в бешенстве. — Мир, где все поддельно, даже косички твоих обитателей, бессмысленное, пошлое столпотворение шутов и масок, неужели невозможно хоть немного тобою воодушевиться!»

Казалось, я широко распростерся в ночи при занавешенной луне и на больших черных крыльях, как дьявол, парил над земным шаром. Я трясся от хохота; я хотел бы перетряхнуть разом всех спящих подо мною, увидеть весь род человеческий в неглиже без всяких румян, без фальшивых зубов и косичек, без накладных бюстов и задов, чтобы злобно освистать это жалкое сборище.

ТРИНАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

*Дифирамб весне — Заглавие книги,
Которой нет — Инвалидный дом богов —
Кодекс Венеры*

Я поднялся на гору, высившуюся там, где кончается город; стояло весеннее равноденствие, и старая фея Земля разлеглась на открытом воздухе, заваривая свои полночные волшебные травы, чтобы поутру отбросить серебристые волосы, разгладить морщины, воспрянуть в образе молодой нимфы, украсившей венком роскошные локоны, и поднести своих новорожденных детей к изобильной груди. Внизу в долине пастух трубил в альпийский рог, и лады говорили так завлекательно о дальней стране, о любви, юности и надежде; под этот аккомпанемент я сочинил следующий

Дифирамб весне

«Ты являешься, и бежит в испуге твой мрачный брат; его щит, его панцирь, его доспехи, в которых стоял он, вооруженный, рушатся с лязгом и разбиваются, и вот, стыдливо краснея в утреннем воздухе, выступает юная Земля, как цветущая дева; и ты целуешь возлюбленную, юноша, сплетая свадебный венок для ее локонов. Тогда поникает последний ледник, освобождается скованная стихия и тихо струится среди цветов, осененная зелеными кустарниками; горы возносят свои пастушьи хижинки высоко в голубой воздух, а к склонам льнут пестрые стада. Цветы, распускаясь, грезят о любви, а соловей воспевает их в зарослях. Деревья сплетают свои ветви в душистые венки, протягивая их небу. Орел молитвенно возносится в солнечном свете, как бы приближаясь к Богу, и жаворонок вьется за ним вслед, ликуя над разубранной землей. Каждая благоуханная чашечка превращается в брачный покой, каждый лист — маленький мир, и всех питает любовью и жизнью горячее сердце матери. — Лишь человек —»...

Тут внезапно замолк альпийский рог; и последний звук, и последнее слово медленно стихли, замирая.

«Неужели ты дописала только до этого слова, мать-природа? И чьей руке ты передала перо для продолжения? Или никогда не разрешишь ты загадку, почему все твои создания блаженно грезят, и только человек стоит, бодрствующий и вопрошающий, чтобы не услышать ответа? Где находится храм Аполлона, где единственный голос, предназначенный отвечать? Я ничего не слышу, кроме эха, повторяющего мою собственную речь, — значит, я один?»

«Один!» — отвечает издевательский голос.

«Мать, мать, почему ты молчишь? О, ты не должна была бы писать последнее слово в творении, если на этом месте рукопись обрывается по твоей прихоти. Я упорно листаю великую книгу и не нахожу ничего, кроме одного слова обо мне, а дальше тире, как будто автор задумал характер, намереваясь осуществить его, но не пошел дальше замысла, ограничившись одним только именем. Если замысел был труден для воплощения, почему не вычеркнул автор также имени, сиротливо дивящегося самому себе и не ведающего, что ему с собой делать.

Захлопни книгу, имя, пока сочинителю не заблагорассудится заполнить пустые листы, озаглавленные тобой».

На горе среди музея природы они построили еще и маленький музей искусства, куда теперь устремлялось немало знатоков и дилетантов с пылающими факелами, чтобы при суетливых бликах света представить себе тамошних мертвых по возможности живыми. Меня тоже с большей или меньшей злостью посещают причуды, свойственные художественным натурам, и подчас я не прочь перейти из большой кунсткамеры в малую, чтобы посмотреть, как человек, хотя ему не дано вдохнуть в свои создания важнейшую часть жизни, самое жизнь, все-таки усердно ваяет и вырезывает, полагая потом, что превзошел природу.

Я сопровождал знатоков и дилетантов!

А передо мной стояли каменные боги, безрукие, безногие калек; у некоторых даже головы отсутствовали; вот превосходнейшее и прекраснейшее из всего, на что оказался способен человек, целое небо великого поникшего рода, трупы и торсы, выкопанные в Геркулануме и в русле Тибра. Инвалидный дом бессмертных богов и героев, построенный среди человеческого убожества.

Древние художники, задумавшие и создавшие эти божественные торсы, проследовали мимо под покровом перед моими духовными очами.

Вот один из присутствующих, маленький дилетант, начал карабкаться с трудом вверх по безрукой Венере Медицейской, чуть ли не со слезами, вытянув губы, по-видимому, для того, чтобы поцеловать зад богине, ее часть, наиболее удавшуюся, как известно, в художественном отношении. Это меня взбесило, так как в наше бессердечное время для меня невыносимее всего гримаса вдохновения, которую готовы скорчить иные лица, и я в

гневе поднялся на пустой пьедестал, чтобы потратить несколько слов:

«Мой молодой собрат по художеству, — обратился я к нему, — божественный зад расположен слишком высоко для вас, и вы при вашем малом росте не дотянетесь до него, не сломав себе шеи. Во мне говорит человеколюбие, и я боюсь, что вы, рискуя жизнью, чересчур заноситесь. Со времени грехопадения, до которого, как известно, рост Адама, по уверению раввинов, насчитывал сто локтей, мы приметно уменьшились и мельчаем из века в век, так что в нашу эпоху следует серьезно предостеречь от безрассудных экспериментов, подобных вашему. Чего вы вообще хотите от каменной девы, которая в этот миг превратилась бы для вас в железную, будь у нее настоящие руки для объятия, ибо восстанавливать руки бесполезно: они не сошли бы даже за кулак Берлихингена и уподоблялись бы разве что деревяшкам, пристегнутым к телам изувеченных солдат. Друг мой, как бы не усердствовали врачи-реставраторы нашей эпохи, изошряясь в искусстве лечить и латать, они не поднимут на ноги богов, искалеченных коварным временем, как, например, торс, валяющийся там, и бывшие боги навсегда останутся инвалидами в отставке, отправленными на покой. Бывало, когда они стояли на ногах, обладая руками, бедрами, головами, перед ними лежал во прахе великий род героев; теперь дело обстоит как раз наоборот, и они лежат на земле, а наше просвещенное столетие на ногах, и мы сами пытаемся сойти за сносных богов.

Собрат по художеству, до чего мы дошли, если мы дерзаем расковыривать эти великие могилы и выгаскивать бессмертных мертвецов на свет, зная при этом, как строго запрещалось у римлян подобное осквернение даже человеческого праха. Правда, просвещенные умы теперь считают этих усопших всего-навсего идолами, а искусство — лишь тайно закравшаяся в наше время языческая секта, боготворящая и обожающая их, но что это за искусство, собрат по художеству? Древние пели гимны, Эсхил и Софокл слагали свои хоры во славу богов; наша нынешняя художественная религия молится в критических статьях и благоговееет головою, как истинно верующие сердцем.

Ах, похоронить бы снова древних богов! Целуйте зад, молодой человек, целуйте, и хватит!

С другой стороны, друг, если вы больше не хотите молиться, то не следует и восхищаться за счет природы, ибо я решительно возражаю против очеловечивания этих богов. Молиться им или похоронить их, выбирайте!

Не смотрите так снизу вверх, любезный! Хоть однажды введите природу (я имею в виду истинную природу), если можно, как действующее лицо в этот зал художеств и предоставьте ей слово. Черт возьми, она расхохочется над уморительной человеческой маской, которой не сможет не счесть пошлой, как чучело в письме Горация к Пизонам 47.

Спросите ее, действительно ли стала бы она когда-нибудь приспособливать этот нос к этому пальцу на ноге, тот лоб к этому рту, тот зад к этой руке; бьюсь об заклад, она рассердится, если вы вздумаете приписать ей что-нибудь подобное. Этот Аполлон вышел бы, чего доброго, калекой, продолжи она его, начиная с мизинца ноги; этот Антиной оказался бы Терситом, а тот могучий трагический Лаокоон Калибаном, если переделать их по законам природы. А что тогда ожидало бы эту Минерву, которая теперь стоит перед вами, отделанная до высшей степени идеала, хотя у нее отсутствует именно голова, трон мудрого духа, ставшего невидимым, как свойственно духам.

Эта безголовая Минерва, вообще, привлекает мое внимание куда больше, чем Агамемнон с прикрытой головой на известной картине Тиманфа.

Если из последнего художники вывели правило, предписывающее не изображать высшее бесконечное страдание, а лишь намекать на него, чтобы оно угадывалось в созерцании, то первая свидетельствует о том же в отношении к первоизданной красоте. Наши современники не опровергают этого правила, и головы у них в двойном отношении следует рассматривать как суррогаты голов, торчащие там вверху наподобие башенных шариков, чтобы придать образу простую законченность. Древние, подобно тому Прометею в углу, пекли людей из той же глины, но они вкладывали в нее солнечную искру; мы же не любим играть с огнем, мы осторожны и обходимся без искры; ведь имеется теперь и всеобщая пожарная охрана — цензура и рецензирование — удушающие любое пламя, не успеет оно вспыхнуть. Так что солнечной искре у нас не возгореться. Мудро устроено государство, предпочитающее налаженную машину смелому духу в своих гражданах, выколачивающее даже лиса из его шкуры, чтобы использовать шкуру, поднимающее выше головы своего уроженца его руки и ноги, эти прочные механизмы для вращения и ходьбы. Государству, как Бриарею, достаточно одной головы при сотне необходимых рук — вот и отлично!»

Я испуганно замолчал, так как при обманчивом свете факелов неожиданно ожил вокруг весь изувеченный Олимп; разгневанный Юпитер собирался встать со своего места, строгий Аполлон схватил свой лук и звонкую лиру, мощно вздымались драконы вокруг борющегося Лаокоона и никнущих сыновей; Прометей мастерил людей култышками своих рук, немая Ниобея защищала меньшого из своих малышек от разящих солнечных стрел; музы без рук, без ног и без губ задвигались, как бы пытаясь играть и петь старые отзвучавшие песни, — но тишина вокруг не нарушалась, лишь мерещилось бурное судорожное движение на поле битвы, лишь в глубине сцены, не нуждаясь в освещении, застыл окаменевший хор фурий, мрачно и жутко взирающий на эту суетолюку.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Любовь двух помешанных

Возвратимся в сумасшедший дом, ты, тихий спутник, разделяющий со мною мои ночные бдения.

Ты помнишь еще мою дурацкую каморку, если от тебя еще не ускользнула нить моей истории, тихо и потаенно вьющейся узким потоком через лесистые утесы, что я сам нагромоздил. В этой дурацкой каморке я лежал, замкнувшись, как сфинкс в пещере, с моей загадкой, и мне уже открывался счастливый путь к настоящему безумию, к единственной устойчивой системе, именно потому, что ежедневно у меня был повод сопоставлять результаты этой всеобщей школы с достижениями отдельных лиц.

Я хочу извлечь нечто! — говорят писатели, собираясь начать от яйца, и я присоединяюсь к ним, так как надеюсь в эту ночь высидеть единственное соловьиное яйцо моей любви, ибо вокруг меня щелкают соловьи во всех кустах и ветвях, образуя как бы хор для одной-единственной любовной песни.

Злобствуя на человечество, я гастролировал когда-то в придворном театре и выбрал роль Гамлета, дававшую мне возможность хоть частично излить мою желчь в молчаливый партер. В тот вечер случилось так, что Офелия приняла всерьез свое наигранное безумие и, действительно рехнувшись, убежала из театра. Шуму было много, и, если другие режиссеры имеют обыкновение заниматься разучиванием ролей, тогдашнему пришлось усиленно отучать от роли свою примадонну; впрочем, напрасно: могучая рука Шекспира, этого второго создателя, схватила ее слишком крепко и, к ужасу всех присутствующих, не отпускала. Для меня было интересным зрелищем это мощное вторжение исполинской руки в чужую жизнь, это преобразование действительного лица в поэтическое, выходящее и уходящее на котурнах перед глазами всех разумных, чтобы те послушали отрывочные песни, подобные дивным реченьям духов. Чем усерднее пытались обратить ее к разуму неопровержимейшими доводами, тем яростнее она противилась, и, наконец, не осталось ничего другого, кроме как отправить ее в сумасшедший дом.

К моему немалому удивлению там я снова встретился с ней. Ее каморка непосредственно соседствовала с моей, и я слышал изо дня в день, как она воспевает деревянный башмак и перловицу на шляпе своего возлюбленного. Молодчик моего пошиба, весь состоящий из ненависти и злобы и, в отличие от прочих детей человеческих, как бы родившийся не из материнского чрева, а скорее из беременного вулкана, мало предрасположен к любви и тому подобному, однако здесь в сумасшедшем доме в меня закралось нечто в этом роде, заявив о себе, правда, не теми обычными симптомами, как, например, пристрастие к лунному

свету, прилив поэзии к голове и проч., а скорее неистовым стремлением пропагандировать безумие, организовать обширную колонию помешанных и внезапно высадить их на твердую землю к ужасу остального рассудительного человечества.

Это бешеное чувство, именуемое любовью и напавшее, как саранча с неба, на высохшую земную степь, со временем претерпело и во мне серьезные осложнения, и я, сам ужасаясь в душе, сочинил несколько стихотворений, взирал на луну и даже подпевал временами соловьям, насвистывавшим вокруг сумасшедшего дома. Поистине я был даже отчасти растроган однажды в так называемый меланхолический вечер, и в определенные часы я мог даже выглядывать из устья моей кавказской пещеры, думая меньше, чем ни о чем. В этот период времени я вверил моим табличкам кое-какие соображения, и некоторые из них я привожу здесь для чувствительных душ.

К Месяцу

Нежный лик, преисполненный доброты и умиления, ибо ты, вероятно, сочетаешь в себе то и другое, так как ты в небесах никогда не открываешь рта ни для проклятия, ни для зевка, хотя тысячи дураков и влюбленных устремляют к тебе свои вздохи и желания, избирая тебя в наперсники; сколько бы ты не бегал вокруг Земли, как ее спутник и чичисбей, ты всегда оставался надежным конфиденнтом, и в истории вплоть до Адама не отыщется ни одного примера, когда бы ты выразил недовольство, покривился бы или принял насмешливую мину, слушая тысячи и тысячи раз, как повторяются одни и те же вздохи и жалобы. Ты всегда одинаково внимателен, и даже можно заметить, что ты, растроганный, частенько прибегаешь к платочку-облачку, скрывая за ним свои слезы. Найдет ли лучшего слушателя поэт, читающий свои творения; найду ли более чуткого наперсника я, снедаемый любовью в сумасшедшем доме! Как ты бледен, милый, как участлив и одновременно как внимателен ко всем, кто, кроме меня, взирает на тебя в этот миг! Твою добродушную мину легко принять за глуповатую, особенно сегодня, когда твой лик располнел и выглядит круглым и упитанным, но поправляйся, как хочешь, я все равно не усомнюсь в твоём участии, лишь бы ты оставался прежним, как тогда, когда ты вновь убываешь, претерпевая ущерб, как ни закрывай, когда ты слишком растроган, себе лицо, подобно плачущему Агамемнону, так что виден лишь твой затылок, облысевший от горя! Прощай, добрый, прощай, любимый!

К любви

Женщина, что ты ищешь, привязываясь ко мне? Заглянула ли ты прежде мне в лицо? Ты с твоей улыбкой и вкрадчивыми ми-

нами и я с гневом и злобой, чей лик подобен лику Медузы. Подумай, милая, ведь мы не пара. Отступись от меня, черт возьми, мне с тобой нечего делать! Ты снова улыбаешься и не отпускаешь меня? Что означает божественная маска, в которой ты смотришь на меня! Я сорву ее с тебя, чтобы узнать истинное, прятующееся за ней, ибо в самом деле я не могу назвать истинное твое лицо прелестнейшим. О Небо! мне все хуже, я воркую, я изнываю до полного убожества — ты хочешь довести меня до бешенства! Женщина, и ты можешь находить удовольствие, пытаешься играть на таком неблагоприятном инструменте, как я! Композиция рассчитана на проклятие, а мне при этом нужно петь любовную песню. О, позволь же мне проклинать, а не изнывать в таких ужасных звуках, — вверь свои вздохи флейте, из меня они доносятся звучанием боевой трубы, а когда я воркую, слышится барабанная дробь. А тут еще первый поцелуй — остальное еще можно выдержать, как все, выражающееся лишь в речи и в звуке и позволяющее мне думать при этом совсем другое, — но первый поцелуй, — я никогда никого не целовал из отвращения к слезливому и нежному лицемерию, — чудовище, знал бы я, что ты так соблазнишь меня, я бы собрал последние силы и отбросил бы тебя!

Такими и подобными фрагментами я изнурял себя, методически пытаясь исписаться, как иной поэт, отдающий бумаге свои чувства до тех пор, пока они, наконец, не иссякнут, оставив его, отрезвленного и догоревшего.

Однако мне ничего не помогало; критические симптомы даже учащались, и я уже бродил, уходя в себя и присмирив почти почеловечески перед лицом мира. Я чуть ли не начинал думать, будто этот мир — лучший из миров и человек — не просто главное животное, а нечто большее, наделенное некоторой ценностью и даже бессмертием, быть может.

Когда дело зашло так далеко, я махнул на себя рукой и опустился до такого же будничного и скучного поведения, как всякий другой влюбленный. Меня уже больше не пугали поползновения к версификации, я уже подвергался затяжным припадкам умиления и привыкал к выражениям, немыслимым прежде у меня в устах. И вот с моего стапеля сошло первое любовное письмо, приводимое мною здесь назидания ради:

Гамлет Офелии

Небесный идол моей души, прелестнейшая Офелия! Это вступление, которым я начал мое первое письмо к тебе, когда мы с тобой еще на сцене придворного театра любили друг друга к удовольствию зрителей, быть может, введет тебя в заблуждение и заставит предположить, что я, как и тогда, симулирую безумие со всеми метафорическими ухищрениями, привезенными мною из высшей школы. Но ты не заблуждайся, идол мой, на этот раз

я действительно помешался — настолько все заключено в нас самих, вне нас нет ничего реального, так что мы, согласно учению новой школы, даже не ведаем, стоим ли мы на ногах или на голове и разве что уверили себя в первом, полагаясь на свое же собственное честное слово. Я чертовски серьезен, Офелия, и ты не думай, будто я паясничаю. Ах, как все теперь переменилось в твоём бедном Гамлете; вся эта земля, казавшаяся заглушённым садом, полным репьев и колочек, вместилищем ядовитых испарений, превратилась перед ним в Эльдorado, в цветущий сад Гесперид; он был свободен и мог похвастать железным здоровьем раньше, когда ненавидел, чтобы стать хворым невольником теперь, когда он любит. Дражайшая, я хотел бы высказать запредельную ненависть; по крайней мере, тогда исчезло бы все, что привязывает меня к этому глупому шару, и я мог бы, веселый и счастливый ринуться в вечное Ничто — так что, к сожалению, дражайшая, я уже не говорю тебе, как прежде: иди в монастырь! — ибо я уже достаточно помешался, чтобы предполагать: когда человек влюблен, именно потому он, дурак, все быстрее идет навстречу смерти, а та навстречу ему, пока они оба не встретятся и крепко не обнимутся навеки, будь то у камня, где почил святой Густав, или эшафоте, где истекла кровью прекрасная Мария — или в другом месте лучше или похуже.

Одно я знаю наверное: лютый враг парит с издевкой над землею, он-то и подбросил ей чарующую маску любви, и теперь все дети человеческие рвут ее каждый себе, чтоб примерить ее хоть на минуту. Видишь, и я к сожалению, поймал ее; я перемигиваюсь нежно с мертвой головой, которую она скрывает и, черт возьми, желаю зачать с тобой дитя человеческое. О если бы не проклятая личина, сыны земли наверняка сыграли б шутку со Страшным судом, приняв закон против народонаселения, и наш Господь или тот, кому придет охота напоследок взглянуть на шар земной, к своему удивлению не увидел бы на нем людей.

Но позволь теперь перейти к пункту, которого, к сожалению, не могу опустить, как ни стараюсь, — к моему объяснению в любви.

Со дня моего рождения не замечалось во мне большего негодования, бешенства, человеконенавистничества, чем в это мгновение, когда я, разъяренный, пишу тебе, что я тебя люблю и обожаю, и как ни желал бы я тебя ненавидеть и тобою брезговать, едва ли не более томительно жажду я услышать от тебя признание во взаимной любви.

Твой до сих пор, любящий Гамлет.

Офелия Гамлету

Любовь и ненависть предписаны мне ролью, как и безумие в конце, но скажи мне; что все это такое само по себе и что мне дано выбрать. Имеется ли что-нибудь само по себе или все лишь

слова, дуновение, разгул фантазии. Видишь ли, я никак не могу определить, не греза ли я, или это лишь игра, или это истина, а если истина, то превосходит ли она игру — оболочка на оболочке, и я, действительно, часто близка к тому, чтобы на этом помешаться.

Ты мне только помоги перечитать мою роль в обратном порядке и дочитаться до меня самой. Существою ли я вне своей роли, или все только роль, и я сама тоже. У древних были боги, и среди них один, по имени Сон, и он, должно быть, странно себя чувствовал, когда на него напала причуда считать себя действительным, хотя он Сон. Я готова предположить, что человек — тоже такой бог. Мне бы хоть одно мгновение поговорить со мною самой и узнать, сама ли я люблю или только мое имя Офелия или есть ли сама любовь нечто или одно только название. Смотри, я сама за собою гонюсь и при этом вечно убегаю от себя, и мое имя со мной, и я снова повторяю роль, но ведь роль — это не Я. Приведи меня хоть однажды к моему «Я», и я спрошу его, любит ли оно тебя.

Офелия.

Гамлет Офелии

Не углубляйся слишком в такие предметы, дорогая, ибо их природа настолько запутана, что они быстро приводят в сумасшедший дом. Все — роль, сама роль и актер, таящийся в ней, и в нем опять-таки его мысли, планы, вдохновения, шутки — все принадлежит моменту и быстро уносится, как слово, слетевшее с губ комедианта. Все всего-навсего театр, играет ли комедиант на самой земле или на два шага выше, на подмостках или на два шага глубже, в земле, где черви подхватывают реплику ушедшего короля; пусть сценическими декорациями служат весна, зима, лето или осень, пусть рабочий сцены вывешивает солнце или луну и за кулисами подражает грому или буре, — все снова пронесется, померкнет, переменится — все вплоть до весны в человеческом сердце, а когда кулисы бывают совсем убраны, за ними выступает лишь странный голый скелет без красок и жизни, и скелет ухмыляется другим бегающим еще туда и сюда комедиантам.

Ты хочешь вычитаться из своей роли в запредельное к твоему «Я»? Смотри, там стоит скелет, бросает горстку праха в воздух и уже распадается сам, и при этом слышится язвительный смех. Вот мировой дух, или дьявол, или Ничто в отзвуке.

Быть или не быть! Как я был наивен, когда задавал этот вопрос, приставив палец к носу; насколько наивнее те, кто повторял его после меня, полагая, будто за пределами Целого таится чудо. Мне бы следовало сперва осведомиться, что значит «быть», а уж после выяснилось бы что-нибудь путное о том, что значит «не быть». Тогда я привез из высшей школы теории

бессмертия и прослеживал ее по всем категориям. Да, я и впрямь боялся смерти из-за бессмертия — и клянусь Небом, не без основания, ибо если за этой нудной *comédie larmoyante* последует вторая такая же, я полагаю, дальнейшие объяснения излишни.

Посему, дорогая Офелия, выкинь все это из головы, давай любить, плодиться и участвовать во всех этих дурачествах — просто из мести, чтобы после нас тоже выступали роли, заново распространяя всю прежнюю скуку, пока последний актер не разорвет в ярости бумагу и не выпадет из роли, отказавшись играть перед невидимым партером.

Короче говоря, люби меня без дальнейших умствований.

Гамлет.

Офелия Гамлету

Ты реплика в моей роли, и я не могу тебя вырвать, как не могу вырвать листов из пьесы, где записана моя любовь к тебе. Если уж нельзя мне добраться до меня самой, перечитав роль в обратном порядке, придется дочитать ее до конца, до *exempt omnes*, может быть, хоть за этим окажется подлинное «Я». Тогда я скажу, существует ли что-нибудь, кроме роли, живет ли «Я» и любит ли тебя.

Офелия.

Обменявшись письмами, мы обменялись словами, потом последовали остальные обмены взглядами, поцелуями и пр., вплоть до обмена жизни на жизнь.

Через несколько месяцев была написана реплика к новой роли. В это время я был почти счастлив, впервые почувствовал в сумасшедшем доме что-то вроде любви к людям и всерьез обдумывал планы осуществить вместе с окружающими дураками платонову республику. Однако бог-морок снова все перечеркнул.

Офелия становилась все бледнее и рассудительнее, хотя врач полагал, что безумие в ней нарастает; однако наступил момент, когда в помешательство вмешался высший смысл.

Дикая буря свирепствовала вокруг сумасшедшего дома; прильнув к решетке, я всматривался в ночь, хотя кроме нее ничего не было видно ни на небе, ни на земле. Казалось, я подошел вплотную к Ничто и силюсь докричаться до него, но не было слышно ни звука, — я ужаснулся, полагая, что действительно кричал, но я слышал крик лишь в себе самом. Молния без последующего грома пронеслась быстро, как стрела, и так же беззвучно; день явился и исчез вместе с нею, подобно духу. Около меня с одной стороны сумасшедший жутко громыхал своими цепями, с другой стороны я слышал Офелию, поющую отрывки своих баллад, но звуки часто превращались во вздохи, и, нако-

нец, я воспринял во всем этом великую дисгармонию, которой аккомпанировали гремящие цепи. Мне почудилось, будто я сплю. Тут я оказался наедине с самим собой в Ничто; лишь вдалеке светилась окраина земли, словно гаснущая искра, — но это была лишь оконечность моей мысли. Единственный звук вздрагивал тяжело и сурово в пустоте, это было последнее биение времени, и теперь наступала вечность. Я больше ни о чем не думал, я мыслил только себя самого! Ни одного предмета не было вокруг, лишь великое грозное Я, пожирающее само себя и непрерывно возрождающееся в самопоглощении. Я не падал, потому что больше не было пространства, но и парил я вряд ли. Изменчивость исчезла вместе со временем, и царила страшная, вечная, пустынная скука. Вне себя я пытался себя уничтожить, но продолжал существовать и чувствовал себя бессмертным!

Тут моя греза уничтожилась в своем собственном произрастании; я очнулся, глубоко вздохнув, — свет погас, глубокая ночь вокруг, я только слышал, как Офелия напевает свои баллады, словно баюкая кого-то. Я ощупывал стены моей каморки, а мимо меня казались в темноте сумасшедшие, тихо перешептываясь.

Я отворил дверь Офелии, она лежала на своей постели, бледная, и пыталась убаюкать новорожденного мертвого ребенка; рядом с ней стояла безумная девушка, приложив палец к губам, и как бы делая мне знак молчать.

«Теперь он спит», — сказала Офелия, улыбнувшись мне, и ее улыбка показалась мне разверзнувшейся могилой.

«Слава Богу, есть смерть, и за ней нет бессмертия», — сказал я неволью.

Она продолжала улыбаться и шепнула после краткой паузы, как будто речь постепенно развеивалась в дуновении, тихо испаряясь:

«Роль подходит к концу, но «Я» остается и похоронят лишь роль. Слава Богу, я выхожу из пьесы и слагаю мое заимствованное имя; после пьесы выступает «я».

«Это Ничто», — сказал я, задрожав.

Она продолжала еле слышно: «Там стоит оно уже за кулисами и ждет своей реплики; когда только занавес опустится! Ах, я люблю тебя! Это последние слова в пьесе, и только их я постараюсь запомнить из моей роли — это было прекраснейшее место. Остальное пусть они похоронят!»

Тут опустился занавес, и Офелия ушла; никто не аплодировал, да и зрители как будто не было. Она уже крепко спала с ребенком на груди, только оба были очень бледны, и не было слышно дыхания, так как смерть уже надела на них свою белую маску.

Я стоял, неистово возбужденный, у ее постели, и во мне что-то копилось, как будто назревал взрыв дикого смеха; я ужаснулся, ибо это был не смех, а первая в жизни слеза, выплаканная мною. Вблизи завывал еще кто-то, но это была только буря, пошвыстывающая в сумасшедшем доме.

Когда я огляделся, сумасшедшие стояли полукругом у постели, все молчали со странными жестами в причудливых позах; одни улыбались, другие глубоко задумались, третьи качали головами или всматривались в белую покойницу с ребенком; творец мира тоже был среди них, но он со значением приложил палец к губам. И некая робость напала на меня в этом кругу.

ПЯТНАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Театр марионеток

Насколько снисходительно терпят дураков на любом месте, как учит нас повседневный опыт, настолько же возмущены были моей попыткой размножать дураков и в наказание меня лишили даже моей дурацкой каморки.

Ах, как было мне грустно прощаться с моими братьями, чтобы снова блуждать среди разумников, и когда позади меня проскрежетал замок в двери сумасшедшего дома, я остался совершенно один и меланхолически посетил кладбище, куда они отнесли Офелию. О, встретить бы мне, по крайней мере, Лазерта, чтобы подражаться с ним на могиле, ибо из сумасшедшего дома я вынес усиленную ненависть ко всем разумникам, по-прежнему сновавшим вокруг меня и мимо меня со своими постными, невыразительными физиономиями.

Богач и нищий обладают преимуществом перед остальными детьми человеческими, так как у них есть возможность полностью отдаться тяге к путешествиям. Богач отмыкает роскошество земли, держа в руке золотой ключ, а у бедняка имеется бесплатный билет, действительный для всей природы, и ему открыты ее высочайшие и прекраснейшие жилища: сегодня Этна, завтра Фингалова пещера; на этой неделе летняя обитель мудреца на Женевском озере, на следующей неделе великолепный хрустальный чертог Рейнского водопада, где вместо потолочной живописи солнце тклет радугу над головой, и природа, непрерывно разрушая свой дворец, вновь и вновь отстраивает его.

Покажите мне короля, который мог бы жить блистательнее, чем нищий!

Сверх того, я путешествовал, пользуясь привилегией никогда не оплачивать моего счета и никого не благодарить за ужин, кроме старой матери-Природы, ибо в земле еще сохранились корни, в которых она не отказывала мне, и она же предлагала моим жаждущим устам в чаше утеса свежий кипучий напиток низвергающегося водопада. Я был по-настоящему весел, свободен и мог сколько угодно ненавидеть людей, в своей жалкой нужности пробирающихся через великий храм солнца.

Однажды, едва встав с моего ложа, благоуханной цветущей

травы, глядя в утренний воздух, где солнце поднималось из моря, подобное духу, я сочел полезное с приятным, надкусывая только что выкопанный корень. Человеческое величие сказывается в том, что люди находят себе побочные занятия поблизости от возвышенных предметов, например, смотрят с трубкой в зубах в лицо восходящему солнцу, едят макароны при трагической катастрофе и т.п.; люди весьма в этом понаторели.

Я расположился так уютно, что мне пришла охота произнести нижеследующий монолог:

«Нет ничего выше смеха, и я ценю его так же высоко, как другие образованные люди ценят плач, хотя слезу легко вызвать пристальным взглядом в одну точку, механическим чтением драм Коцебу, да и, наконец, уже одним затяжным усиленным смехом. Разве не видел я недавно одного довольно чахлого человека, проливавшего обильные слезы при виде восходящего солнца, а другие разве не стояли поблизости, не восхищались этим признаком сердечной чувствительности и сами не заплакали напоследок, сострадая плачущему? Тут я подошел и спросил: «Друг, ты так растроган предметом?»

«Да нет же, — ответил тот, — но по новым наблюдениям луч света помимо того, что он вызывает чиханье и слезы, также способствует плодовитости, а я был в Италии!»

Я понял человека, заглядывающего в глаза солнцу ради насущной нужды, а не ради голого фантазирования. Когда я, смеясь, обернулся, другие, плача, понесли меня в достаточно резких выражениях; контраст усугубил мою смешливость; еще немного, и они до того растрогались бы, что побили бы меня камнями.

«Имеется ли более действенное средство противостоять глумлению мира и самой судьбе, чем смех? Эта сатирическая маска устрашает врага во всеоружии, и даже несчастье отступает в испуге передо мной, когда я отваживаюсь высмеять его! Черт возьми! Чего стоит вся эта земля со своим сентиментальным спутником месяцем, если не насмешки, да и ценность земли разве только в том, что на ней обитает смех. На земле все было так слащаво и благостно оборудовано, что дьявол, взглянув на нее скуки ради, разозлился и, чтобы насолить строителю, послал смех, а смех ухитрился искусно и незаметно закрасться в маску радости, которую люди охотно примеряли; тогда смех сбросил эту личину, и на людей злобно глянула сатира. Оставьте мне только смех на всю мою жизнь, и я продержусь здесь внизу!»

«Хо-хо!» — послышалось прямо у моего уха, а когда я обернулся, деревянный шут смотрел мне в лицо дерзко и упрямо.

«Вот мой патрон, — сказал громадный детина, показывавший его мне, поставив рядом большой ящик. — Ты годишься в шуты, а я как раз в них нуждаюсь, так как мой шут сегодня помер. Хочешь, так приступай; местечко доходное, и занимать его выгоднее, чем искать коренья!»

Деревянный скоморох смотрел на меня при этом доверительно, и я, почувствовал к нему влечение, как будто встретил друга.

«Парнишка вырезан в Венеции, — сказал кукольник, словно подзадоривая меня, — бьюсь об заклад, он разумеет свое дело лучше других; ты только глянь, он ходит и стоит, как на живых ногах, пьет, ест, стоит мне потянуть за нитку, может смеяться и плакать, как всякий человек, для чего достаточно легкого механического нажима!»

«Так!» — воскликнул я, взваливая ящик на плечи, и деревянное общество застучало внутри при ходьбе, как будто от нечего делать оно устраивало французскую революцию.

В трактире нашелся театр и люди, готовые посетить его; руководитель бегло преподал мне теоретические основы трагического и комического искусства; открыл он, чтобы развлечь меня, и маленькую боковую дверь, где лежал на соломе в саване мой предшественник-шут, сыгравший свою роль до конца; его лицо злобно скорчилось, а руководитель сказал: «Он умер от смеха; он так смеялся, что за сценой его хватил удар!»

«Прекрасная смерть!» — ответил я, и мы приготовились руководить деревянной труппой. Мой спутник был настоящий мастак в том, что касается любовников и любовниц; за них он говорил фистулой. Моей же главной специальностью стал шут, но заодно мне были поручены короли. Когда занавес опустился, мой напарник пламенно обнял меня, сказав, что я делаю честь занимаемому мной месту.

В том, как дорого обходится руководителю руководство, мы имели возможность убедиться и среди марионеток; дело было так.

Мы раскинули нашу сцену в маленькой немецкой деревне вблизи французской границы, за которой давалась великая трагикомедия, но король дебютировал неудачно, а шут в роли Свободы и Равенства потрясал человеческими головами вместо бубенцов. Нас угораздило представлять Олоферна, и мы так распалили зрителей-крестьян, что они ворвались на сцену, похитили у нас Юдифь среди других актрис и с нею и с отрубленной деревянной головой Олоферна направились прямо к дому старосты, потребовав от него не больше, не меньше, как его голову. Требуемая голова побледнела, когда ей показали окровавленную деревянную, и так как ход событий все более настораживал меня, я попытался по возможности быстро придать ему другое направление. Я завладел головой Олоферна, вскочил на камень и решил произнести следующую речь:

«Дорогие соотечественники!

Взгляните на эту окровавленную королевскую голову, которую я возношу перед вами. Когда она еще торчала на своем туловище, ею управляла проволочка, проволочкой управляла моя рука и так далее до таинственных инстанций, где невозможно более определить, кто управляет. Это королевская голова, я же,

дергавший проволоку, чтобы голова кивала так и эдак, я просто-людин и не имею в государстве никакого значения. Как же вы можете сердиться на этого Олоферна, когда он кивал или покачивал головой по моему соизволению? Я полагаю, вы сочтете мою речь разумной, соотечественники! Но, кажется, вы определенно перенесли свой гнев с этой деревянной головы на голову вашего старосты, и, по-моему, зря. Позволю себе изъясниться образно: мой Олоферн вам не угодил, так бейте меня, просто-людина, по рукам, чтобы мой министр, поводок, за который я тяну, дернулся в другую сторону, и в результате королевская голова кивала бы или покачивалась бы грациознее и осмысленнее. Что вам сделала эта бедная голова, почему вы так с ней носитесь: она же самая механическая вещь в мире, и даже ни одной мысли в ней нет. Не требуйте свободы у этой головы, она сама не содержит в себе ничего подобного. Да и вообще не без изъясна то, что вы обзываете свободой; разве не игра марионеток все то, что вы сегодня видели, когда голову деревянного короля отделяют от его туловища, не добившись дальнейшего успеха, а в моем ящике имеется еще более неудачный образчик недомыслия, когда автор, не совладав с темой, в духе политических поэтов сочиняя республику, испортил ее и превратил в деспотию. Хотите, я покажу вам такое представление! Несправедливость в том, что приводятся в исполнение такие противоестественные приговоры, когда, например, настаивают на обезглавливании, а никакой головы нет, одна только деревянная видимость, и я, к счастью, умею водружать ее снова на туловище, что удается не во всяком подобном случае. И горе моим бедным марионеткам, если настоящая голова пожелает заменить деревянную, которую я держу в руке, и начнет по-своему кивать и качаться; тогда проволока совсем оборвется, и фарс может легко революционизироваться до серьезной трагедии. Полагаю, сказанного довольно, соотечественники!»

Человечество в целом, когда оно не страдает навязчивыми идеями, — простецкая честная шкура и легко ударяется в противоположную крайность; я даже думаю, что если сегодня оно разобьет свои теперешние легкие оковы, завтра оно с таким же энтузиазмом запросится в цепи. Когда смотришь со стороны, народ — жалкое зрелище. И сегодня мои крестьяне добродушно отказались от революции и, напротив, провозгласили здравицу в честь своего старосты; жаль только, что это торжество живых актеров обернулось горьким горем для моих деревянных.

А именно мы, руководители, проснулись на следующую ночь от шума, доносящегося из театра; сначала мы заподозрили соперничество из-за ролей или интриги в труппе, но, когда мы вздумали навести справки, мы нашли внизу старосту, которому я только что заново укрепил голову на туловище, с Олоферном в руках и в сопровождении судебных исполнителей, арестовавших всю труппу именем государства, так как она была объявлена по-

литически опасной. Никакие мои уговоры не подействовали, и они у меня на глазах уволокли несколько царственных особ, вытащив их из ящика, как, например, Соломона, Ирода, Давида, Александра и проч. Такую непоследовательность проявляет государство, — выступая против своих собственных представителей. Последней жертвой стал мой шут; ради него я унизился до просьб, но мне объяснили, что строгим цензурным указом в государстве запрещена всякая сатира без исключения и заранее конфискуется поголовно. Едва-едва удалось мне отойти с шутом на мгновение в сторону; я взял его за кулисы и, уединившись там, тайком поцеловал его деревянные уста и пролил вторую слезу в моей жизни, так как после Офелии он был единственным существом в мире, которое я действительно любил.

Мой соруководитель ходил весь следующий день, как во сне, а вечером не остался в долгу перед зрителями, которым была обещана трагикомедия: его нашли на сцене, где он повесился на облаке.

Так печально окончилось и это предприятие, и мне, уставшему от жизненных тягот, пришлось, наконец, всерьез добиваться солидного поста среди людей. В конце концов, нет на земле ничего выше сознания, что ты полезен и получаешь твердый оклад; человек — не только космополит, он еще и гражданин государства! Тут как раз открылась вакансия ночного сторожа, и я надеялся, что с честью могу претендовать на эту должность. Сегодня мир отличается образованностью, и от каждого гражданина по праву требуются большие таланты.

Хорошо тому, у кого есть связи; мне удалось найти доступ к слуге министра; слуга был в хорошем настроении и ходатайствовал за меня перед своим господином; так я начал подниматься по государственной лестнице, переходя из рук в руки, пока не добрался до верховного отрубка, где отважился преклонить колени, и мне милостиво дали право надеяться на должность ночного сторожа. Я не совсем провалился при первом испытании, которому меня подвергли, чтобы установить, не слишком ли громка моя дикция, чтобы я не тревожил монаршего сна, когда монарх спит, и достаточно ли она разработана и приятна, чтобы не оскорблять его музыкального слуха в бессонные ночи, порекомендовали мне впредь повышать свою квалификацию, и я имел счастье увидеть себя в должности ночного сторожа.

ШЕШТАДЦАТОЕ БДЕНИЕ

Цыганка — Духовидец — Могила отца

Желал бы я разрисовать поотчетливее для всеобщего обозрения эту последнюю часть, хогартовский хвост моих ночных бде-

ний, однако мне в ночи не хватает красок, и ничего, кроме теней да туманных образов, не летит на свет моего волшебного фонаря.

Когда мне хочется увидеть королей и нищих в одном развеселом братском сообществе, я брожу на кладбище по их могилам и представляю себе, как они мирно там лежат внизу, в земле, достигнув предельной свободы и равенства, и разве только сатирические сны снятся им, язвительно зияя в пустых глазницах. Там, внизу, они братья, разве что наверху торчит из дерна замшелый камень с разбитым гербом дряхлого величия, тогда как на могиле нищего произрастает лишь дикий цветок или крапива.

И в эту ночь я посетил мое излюбленное место, этот пригородный театр, где дирижирует смерть, разыгрывая неистовые поэтические фарсы вместо эпилогов к прозаическим драмам, не сходящим с придворной и мировой сцены. Было душно и тяжело, месяц только тайком проглядывал над могилами, перемежаясь иногда с голубыми молниями. Поэт предположил, что мир иной вслушивается в мир, почивший внизу; я же принимал это за насмешливый отголосок и тусклый обманчивый отсвет, передразнивающий поникшую жизнь еще некоторое время спустя; так умершее гнилое дерево дотлевает, еще светясь в ночи, пока не рассыплется в прах.

Я невольно задержался у памятника алхимику; из камня смотрела мощная старческая голова, непонятные каббалистические знаки служили надписью.

Поэт блуждал некоторое время среди могил, заговаривая то с тем, то с другим черепом, валявшимся на земле; по его словам, он хотел воодушевиться, а я соскучился и заснул у памятника.

Во сне я услышал, как разразилась гроза, как поэт старался положить на музыку гром и сочинить к этой музыке слова, но тона не согласовывались, слова как будто разрывались, проносясь хаотически отдельными невнятными слогами. Пот выступил у поэта на лбу; осмыслить поэму природы не удавалось простаку, пробовавшему до сих пор свои силы лишь на бумаге.

Мой сон все запутывался. Поэт снова схватил свой лист и собрался писать, используя череп вместо юпитра; он впрямь начал, — и я прочитал заглавие:

Песнь о бессмертии

Череп лукаво ухмылялся под листом, но поэт, не усматривая в этом ничего дурного, писал вступление, заклиная Фантазию диктовать ему. Сперва поэт набросал зловещую картину смерти, чтобы напоследок тем ярче расписать бессмертие, уподобив его светлomu, сияющему восходу после глубочайшей, темнейшей ночи. Он совсем погрузился в свои грезы, не замечая, что могилы разверзлись вокруг него, и спящие в них ядовито посмеиваются, правда, оставаясь при этом недвижимыми. Поэт уже до-

шел до середины, до трубного гласа и до других приготовлений к Страшному суду. Он собрался было воскресить мертвых, но, словно нечто незримое удержало его руку, он оглянулся в изумлении, а внизу в своих спаленках они лежали тихонько да посмеивались, и никто не думал воскресать. Он снова схватил перо и подбавил пылу, подкрепив свой голос громом и трубным гласом, — напрасно, они внизу с отвращением вздрогнули и перевернулись на другой бок, чтобы спать спокойнее, показав ему свои голые затылки. «Где же Бог?» — дико вскричал он, и эхо громко и отчетливо ответило: «Бог!»

И поэт стоял, ошеломленный, грызя свое перо.

«Эхо — дьявольское изобретение, — наконец молвил он, — никогда не разберешь, морочит ли тебя эхо или вправду кто-нибудь отвечает».

Он опять сел, но строк не было видно; тогда поэт вяло и почти равнодушно заткнул перо себе за ухо, монотонно говоря:

«Бессмертие заупрямилось, издатели платят за листы, гонорары теперь скудные, подобной писаниной вряд ли заработаешь, пишущая-ка я лучше снова в драматургию!»

При этих словах я проснулся, и поэт как бы покинул кладбище вместе с моим сном, зато рядом со мной сидела смуглая цыганка, словно внимательно вчитываясь в мои черты. Я почти ужаснулся при виде этой огромной фигуры с темным ликом, в который как бы вписалась причудливая жизнь резкими кричащими письменами.

«Дай-ка мне руку, белячок», — сказала она таинственно, и я невольно протянул ей руку.

Чем надежнее владеет собой человек, тем нелепее представляется ему все таинственное и сверхъестественное, от масонского ордена до мистерий иного мира. Я содрогнулся впервые, когда женщина по моей ладони, как по книге, прочитала мне всю мою жизнь с того мгновения, как меня нашли вместо клада (см. четвертое бдение).

Потом она добавила: «Надо бы тебе увидеть отца твоего, белячок; погляди-ка, он стоит позади тебя!»

Я стремительно обернулся, и мрачная каменная голова алхимика уставилась в меня.

Цыганка положила на памятник руку и сказала со странной усмешкой: «Вот он! А я твоя мать!»

Семейная сцена, трогательная до безумия, — смуглая цыганка-мать и каменный отец, наполовину высунувшийся из земли, словно желая обнять сына и прижать его к своей холодной груди. Чтобы довершить семейную идиллию, я обнял обоих и сидел промеж своих родителей, пока женщина повествовала на манер уличной певицы:

«То было в рождественскую ночь, отец твой хотел заклясть нечистого, — он читал по книге, а я светила ему тремя наговоренными свечами, и под землей слышалась такая беготня, слов-

но сама земля волнуется. Мы дошли до места, где отрекаются от неба и присягают аду, мы молча глядели друг на друга.

«Давай развлечемся», — сказал этот каменный и прочитал все отчетливо вслух — донесся тихий смех, мы захохотали громко, не строить же из себя дурачков! И вокруг нас в ночи заколобродило, и мы увидели, что мы не одни. Не переступая очерченного круга, я прижалась к твоему отцу, и мы согрелись вместе, ненароком тронув знак земного духа. Когда дьявол явился, мы видели его полураскрытыми глазами — в этот момент возник ты! Дьявол был в духе и вызвался заменить крестного; он выглядел приятным кавалером в расцвете лет, и я удивляюсь, до чего ты похож на него; ты угрюмее, но от этого можно отвыкнуть. Когда ты родился, у меня хватило совести передать тебя в христианские руки, и я подкинула тебя тому кладоискателю, он тебя и воспитал. Вот история твоего рождения, белячок!»

Одни психологи могут представить себе, какой яркий свет вспыхнул во мне после этого рассказа; мне был вручен ключ к моему существу, и я впервые с изумлением и тайным трепетом отомкнул давно запертую дверь и, очутившись как бы в комнате Синей Бороды, не выдержал бы подобного зрелища, когда бы не мое бесстрашие. Это был опасный психологический ключ!

Я рекомендовал бы самого себя, каков я есть, искусным психологам для вивисекции и анатомирования в надежде посмотреть, вычитают ли они из меня то, что я тогда действительно читал, — моим сомнением я отнюдь не посягаю на престиж науки, высоко ценимой мною, поскольку она не жалеет усилий и времени, исследуя столь гипотетический объект, как душа.

Я хотел высказать вслух некоторые наблюдения над моей собственной природой, накопленные мною в тот миг, но цыганка изрекла, как оракул: «Ненависть к миру выше любви; кто любит, тот нуждается в любимом; кто ненавидит, тот довольствуется самим собой; ему не нужно ничего, кроме ненависти в груди!»

Эти слова заменили ей пароль: я признал, что она мне сродни. Немного погодя она молвила вполголоса: «Не худо бы проведать старичка, который там, внизу, проводит сам над собой последний химический опыт! Он давно уже в земле, осталось ли что-нибудь от него? Давай поглядим!»

Сказав это, она прокралась по черепам и костям в склеп, принесла оттуда кирку и лопату и в таинственном молчании принялась копать землю.

Я оставил ее одну за этой необычной работой, потому что по кладбищу кто-то кружил, огибая могилы, как будто избегал встречных на своем пути, иногда улыбался, иногда отшатывался, в ужасе задрожав, и отбегал на несколько шагов, пока новая встреча не ужасала его.

Когда я приблизился к нему, он схватил меня за руку и сказал, глубоко вздохнув: «Слава Богу, живой! Проводи меня до той могилы!»

Я принял его за сумасшедшего и пошел с ним в ожидании развязки; то и дело он удерживал меня вблизи какой-нибудь могилы, чтобы я не касался воздуха над ней; наконец, как бы набравшись мужества, он отважился отдохнуть немного между тремя монументами; это были рухнувшие колонны, на плитах красовались имена почивших государей.

«Здесь можно побыть малость, — произнес он, — на этих могилах нет ничего, кроме камня и памятника, да и внизу, в земле, найдется разве что горстка праха вместе с короной и скипетром; эти большие господа разлагаются быстро, так как не знают меры в наслаждениях и уже при жизни в избытке насыщены земным».

Я посмотрел на него в изумлении, а он продолжал:

«Вы меня, пожалуй, сочтете полоумным, но вы ошибаетесь! Я не люблю ходить сюда, так как от рождения я наделен одним необычайным свойством и против моей воли на могилах вижу мертвецов, лежащих в них, вижу более или менее отчетливо, смотря по степени разложения. Пока мертвое тело сохраняется внизу, передо мною явственно возникает на могиле образ мертвеца, и, по мере того как тело разлагается, видение постепенно исчезает в тумане и в сумраке; оно совсем улетучивается, когда могила пуста. Конечно, вся пространная земля — одно сплошное кладбище, только образы сгинувших предстают на ней в приятнейшем облики, расцветая прекрасными цветами, а здесь они все предстают явственно и глазуют на меня, так что я в ужасе отшатываюсь. Ничто не заставило бы меня посетить это место, но здесь мне назначено свидание»*.

«Вашей подружке следовало бы выбрать более уютный уголок», — осудил я неведомую красавицу, когда он остановился.

«У нее не было выбора, — ответил он. — Обитель ее здесь!»

Я понял его и уразумел все, когда он указал мне на одну отдаленную могилу. «Там, внизу, почует она, умершая в самом расцвете, и только здесь мне дано посещать ее девичье ложе. Она улыбаётся мне уже издалека, и мне надо спешить; со временем образ ее все воздушнее, лишь улыбка на устах явственно видна!»

«Вот уж, мягко говоря, странный роман, — вставил я, — кстати, влюбленный скучнее всех на земле!»

Мы зашагали дальше, и он бегло обрисовал на ходу силуэты лиц, населяющих жилища, мимо которых пролегал наш путь.

«Вот там придворный шут, он лежит целехонек, сохранив даже свои насмешливые гримасы. Вот поэт, ожидающий воскресения из мертвых, впрочем, от него мало что осталось, я вижу лишь легкое испарение, и мне приходится напрячь фантазию, иначе ничего не различишь. Вот мать с младенцем на груди, и

* Пример такого оригинального духовидчества встречается, если не ошибаюсь, у Морица в журнале эмпирической психологии.

мать и младенец улыбаются! (Я содрогнулся, это была могила Офелии!). Здесь рядышком лежат финансист и политик, оба изрядно подпорчены. А это, должно быть, могила знаменитого скупца, он цепляется за полу своего савана рукой, которой уже почти нет».

Мы пришли, и он попросил меня оставить его одного; только издали я видел, как он обнимает воздух, расточая пламенные поцелуи, диковинное свидание, что и говорить!

Между тем гадалка разрыла могилу моего отца, и трухлявый гроб выкарабкался из земли, лунный свет скользнул с любопытством по эмблемам и узорам, наполовину стертым; на крышке светилось, белея, распятие. Небывалое чувство охватило меня, когда дряхлое седое прошлое снова заглянуло в настоящее и поднялась последняя колыбель моего отца, укачивавшая его долгий сон. Я не решился сразу поднять крышку и, чтобы набраться мужества, беседовал покуда с червем, которого я поймал, когда он копошился в земле подле гроба:

«Кроме фаворитов и ласкателей, еще целый народец благоденствует на груди величия: из этого народца происходишь ты, подрыватель! Король питается лучшими соками своей страны, ты питаешься самим королем, чтобы, по словам Гамлета, препроводить его после путешествия по трем-четырем желудкам и обратно в лоно или, допустим, в брюхо верноподданым. Мозгами скольких королей и князей полакомился ты, жирный приживальщик, чтобы достигнуть подобной упитанности? Идеализм скольких философов ты свел к своему реализму? Ты наглядно и неопровержимо подтверждаешь реальную пользу идей, ибо ты откормлен мудростью стольких голов. Для тебя нет ничего святого, нет ни прекрасного, ни безобразного, ты все обвиваешь, Лаокоонова змея, знаменуя всю силу твоего превосходства над родом человеческим. Где глаз, чарующе улыбавшийся или грозно повелевавший? Ты, насмешник, один сидишь в пустой глазнице, оглядываешься дерзко и злобно, превращая в свое жилище и даже в нечто худшее голову, где прежде зарождались планы Цезаря и Александра. Что теперь этот дворец, вместивший весь мир и небо, этот замок фей со всеми своими любовными чарами и причудами, этот микрокосм, таящий зародыши всего великого и великолепного, ужасного и страшного, породивший богов и храмы, инквизицию и дьяволов, этот хвост создания, голова человеческая! — обиталище червя. О что такое мир, если все его помыслы ничто и все в них мимолетная греза! — Что все фантазии земли, весна, цветы, если фантазия развеивается под маленьким этим сводом, если здесь во внутреннем пантеоне все боги рушатся со своих пьедесталов, чтобы вселиться червям и тлению. Не льстите духу, приписывая ему независимость, — вот его разбитая мастерская, и тысячи нитей, из которых ткал он ткань мира, все разорваны, и мир вместе с ними. И старик здесь в своей ложнице, пожалуй, сбросил уже театральный наряд, и этот

злодей в моей руке, быть может, как раз возвращается с пиршества, на котором он присутствовал в покоях моего отца; но — будь что будет — озлобленный, хочу я заглянуть в ничто и побрататься с ним, дабы избавиться от последних остатков человечности к тому времени, когда меня оно схватит!»

И моя дикая сила возросла настолько, чтобы приподнять крышку, не потому ли, что подобный гнев и злоба наряду с прочим предваряют ничто!

Не странно ли — когда открылась тихая ложница, в которой не чаял я обрести спящего, он лежал на подушке нетронутый, с бледным строгим лицом и черными курчавыми волосами на висках и на лбу, образцовый бюст жизни, сохранившийся на редкость в подземном музее смерти, словно старый чернокнижник был готов превозмочь само ничто.

«Так он выглядел, когда заклинал черта, — сказала гадалка. — Только потом они скрестили ему руки, чтобы здесь он молился поневоле!»

«А зачем он молится? — воскликнул я в гневе. — Там, над нами, в море небесном сверкают и плавают, правда, бесчисленные звезды, но если это миры, как утверждают многие умные головы, то там тоже черепа и черви, как здесь внизу; так продолжается во всей непомерности, и Базельская пляска смерти от этого только отчаяннее и веселее, да бальный зал просторнее. О, как они все бегают по могилам, по тысячслойной лаве минувших поколений, как они скулят о любви, взывая к великому заоблачному сердцу, где можно было бы отдохнуть со всеми мирами! Не скулите — эти мириады миров проносятся в своих небесах, движимые одной только гигантской природной силой, — и у этой жуткой родительницы, родившей всех и самое себя, нет сердца в груди, она только раздаст маленькие сердца для времяпрепровождения, держитесь этих сердец, любите, воркуйте, пока они еще держатся! Я не хочу любить, я хочу остаться холодным и недвижимым, чтобы хоть посмеяться, когда исполинская рука сокрушит и меня!

Кажется, старый чернокнижник посмеивается мне в ответ! Или ты, заклинавший дьявола, лучше осведомлен, и превыше этого разрушенного пантеона вознесется новый, великолепнейший, достигающий облаков, так что колоссальные боги, восседающие вокруг, действительно смогли бы выпрямиться, не разбив себе головы о низкий потолок; если это верно, тогда хвала уместна, и стоит посмотреть, как иной безмерный дух обретет безмерное поле деятельности, и ради собственного величия не будет он душить и ненавидеть; а взмоет в небо, свободно простирая свои сияющие крыла! От этой мысли меня почти бросает в жар! Только, по-моему, воскресать нужно не всем, нет, не всем! Что делать всем этим пигмеям и уродам в дивном и великом пантеоне, где должна царить лишь красота да боги! И на земле уже стыдишься такого жалкого общества, не разделять же

с ними небо! Только вам подобает стряхнуть сон, великие, царственные головы, являющиеся с диадемами в мировой истории, и вы, вдохновенные певцы, восхищенные царственным и восславившие царственное! Другим лучше спокойно спать, и пусть им приснятся мягкие, приятные сны, желаю им этого от всего сердца!»

«С тобой, старый алхимик, я рад встать на этот путь, только не выклянчивай себе неба, не выклянчивай, лучше добейся его, если ты силен. Павшие титаны больше стоят, чем целая планета, переполненная лицемерами, которые норовят проскользнуть в пантеон, прикрываясь убогой моралью и кое-какими добродетелями. Во всеоружии предстанем исполину миру иного; ибо, если мы не воздвигнем там нашего стяга, мы не достойны там обитать! Брось попрошайничать! Я силой разъединю тебе руки!»

«Горе! Ты всего-навсего маска и обманываешь меня? Я больше не вижу тебя, отец, — где ты? Я прикоснулся, и все распадается в прах, только на земле горстка пыли да парочка откормленных червей тайком ускользают, как высокоморальные проповедники, объевшиеся на поминках. Я рассеиваю в воздухе эту горстку отцовского праха, и остается — Ничто!»

«Там стоит на могиле духовидец и обнимает Ничто!»

«И в склепе напоследок слышен отголосок — Ничто!»



**ЭРНСТ
ТЕОДОР
АМАДЕЙ
ГОФМАН
ЭЛИКСИРЫ
ДЬЯВОЛА**



*Перевод с немецкого
В. МИКУШЕВИЧА*

Предисловие издателя

Хорошо бы, любезный читатель, увлечь мне тебя туда, под сень сумрачных платанов, где я впервые прочитал таинственную историю брата Медардуса. Ты бы разместился со мною на той же самой каменной скамье, полускрытой пахучим кустарником и многокрасочным пламенем цветов; ты бы, подобно мне, с неподдельным вождением взглядывался в голубые горы: они диковинными виденьями высятся перед нами там, над просторной солнечной долиной, куда ведет аллея. Но ты обернулся бы и узрел бы не далее как шагах в двадцати позади нас, готическое здание, чей портал роскошно изукрашен статуями. Сквозь мрачные ветви платанов взирают на тебя образа святых светлыми, поистине живыми очами; это неувядаемые фрески, преславное убранство широкой стены. Солнце пламенеет багрянцем над горным хребтом, веет вечерний зефир, всюду отрадное оживление. За кустами и за деревьями журчат и лепечут чудные голоса; они как будто нарастают и нарастают, доносясь издали мелодическим рокотом органа. Строгие мужи в свободных складчатых облачениях, возводя горе боголюбивые взоры, безмолвно движутся под сенью сада. Неужто ожившие образа праведников покинули высокие карнизы? Ты овевая вещей жутью причудливых сказаний и преданий, запечатленных там, как будто баснословное творится и происходит пред тобой в непреложной очевидности. Это предупредило бы тебя, и ты читал бы жизнеописание Медардуса, и в невероятнейших его наитиях открылось бы тебе нечто большее, чем безудержное мельтешение лихорадочных грез.

А поскольку ты, любезный читатель, узрел бы уже образа и монашескую обитель, не было бы нужды присовокупить, что мы с тобою в монастыре капуцинов близ Б.¹, а точнее, в прекраснейшем его саду; вот куда завлек я тебя.

В этом-то монастыре я и гостил однажды несколько дней, и достойный настоятель обратил мое внимание на реликвию, сберегаемую в архиве: бумаги усопшего брата Медардуса, и немало усилий потратил я, пока не преодолел щепетильность настоятеля, не склонного допускать меня до них. Собственно говоря, по мнению старца, эти бумаги лучше было бы предать огню. Боюсь я, что и ты, любезный читатель, признаешь правоту настоятеля, когда в твоих руках окажется книга, скомпонованная мною из этих бумаг. Но если ты наберешься смелости неуконительно сопутствовать брату Медардусу в его блужданиях из мо-

настырской галереи в галерею, из кельи в келью и в миру, пестром — пестрейшем, — вынося вместе с ним все жуткое, ужасное, несуразное и анекдотическое, что было в его жизни, тебя, быть может, очаруют неисчерпаемо переменчивые картины, возникающие в этой камере-обскуре. Не исключено даже, что обманчивая зыбкость начнет вырисовываться в закругленной отчетливости для наблюдательного взора. Ты постигнешь детище темной судьбы, сокровенный росток, образующий мощное растение, чтобы оно буйствовало в безудержном изобилии жизненных сил, производя тысячи стеблей, пока из одного цветка не вызреет плод и не вберет в себя все жизненные соки, убивая сам росток.

Когда я с подобающим усердием прочитал бумаги капуцина Медардуса, а это потребовало немалого прилежания, ибо у покойника был почерк мелкий и неразборчивый, как у истого монаха, я предположил: то, что мы склонны нарекать мечтами и бреднями, позволяет нам постигнуть потаенную нить, которая пронизывает всю нашу жизнь, скрепляя все ее подробности, однако не гибельна ли готовность обрести в таком постижении могущество, дерзновенно разрывающее эту нить, чтобы тягаться с непостижимой властью, помыкающей нами.

Быть может, любезный читатель, и тебя не минует подобный опыт, а у меня имеются весьма существенные основания желать его тебе.

Часть первая

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Годы детства. Монашество

Моя мать всегда умалчивала о том, какова была жизнь моего отца в миру, но, когда моя память бережно перебирает все то, что я сызмальства слышал о нем от нее, я готов предположить, что он преуспел и в науках, и в житейском благоразумии. Мать повествовала о своей минувшей жизни довольно сбивчиво и бессвязно, так что далеко не сразу начал я уяснять, что благополучие моих родителей, основанное на немалом богатстве, сменилось удручающей, горчайшей бедностью, что мой отец, совращенный самим сатаной, пал до мерзкого кощунства и смертного греха, однако прошли годы, и его просветила Божья благодать, и он вознамерился искупить содеянное паломничеством ко Святой Липе², в чужедальнюю, суровую Пруссию. Направляясь туда, изнуренная странствием, мать моя тем не менее впервые убедилась: ее многолетнее супружество не останется бесплодным, и мой отец, начинавший уже отчаиваться, воспрянул духом вопреки всей своей бедности, так как сбывалось возвещенное ему видением, когда святой Бернард заверил его: с рождением сына ему отпустится грех и будет ниспослано утешение. У Святой Липы, однако, моего отца постиг недуг, и чем менее щадил он себя, при всей своей немощи предаваясь изнурительной епитимье, тем неодолимее хворь брала над ним верх; он преставился, примиренный с Богом и утешенный, в миг моего рождения.

С первыми проблесками сознания брезжут во мне милые образы монастыря и предивной церкви у Святой Липы. Меня убаюкивает дремучий лес, меня овевают ароматами буйные и многокрасочные цветы, колыбель моя. Святыня Благословенной не допускает вблизи себя ничего ядовитого или вредоносного; муха не смеет жужжать, сверчок не смеет стрекотать в священной тишине, где раздаются лишь умильные гимны иереев, чьи золотые кадила окуривают паломников в продолжительном шествии летучими клубами богоугодного ладана. Все еще вижу я посреди церкви ствол Святой Липы в серебряной ризе. На эту липу некогда снизошла чудотворная икона Пречистой Девы, принесенная ангелами с небес. Все еще вокруг меня и надо мной блики и лики; сияющие, красочные образы ангелов и свя-

тых на стенах и на церковном куполе. Конечно, чуднодивная обитель представлялась мне по описаниям моей матери, чья пронзительная скорбь сподобилась там благодатного утешения, но я был так проникнут этими описаниями, что мнилось, будто сам я все это узрел и изведал, хотя вряд ли моя память простирается так далеко в былое, ибо моя мать оставила со мною святое место через полтора года. Однако полагаю, будто воочью явился мне однажды наедине в церкви, где не было в тот миг ни богомольцев, ни священнослужителей, строгий образ таинственного мужа, не того ли захожего живописца, который в старину, когда церковь еще только возводили, вдруг наведался туда и, хотя его речей никто не разумел, своею ухищренной кистью в кратчайший срок предивно и пречудно расписал всю церковь и, завершив едва свое деянье, снова скрылся.

Также вспоминается мне старый паломник в странном одеянии; у него была длинная седая борода, и он часто брал меня на руки, находил в лесу пестрые мхи и камни, чтобы играть со мною, и все-таки очевидно лишь со слов матери он возник во мне как живой. Однажды я увидел у него на руках другого незнакомого младенца, моего ровесника, он был неописуемо прекрасен. Среди травы мы с ним целовались и миловались, и я не пожалел для него всех моих пестрых камешков, а он умел располагать их на земле так, что выходили разные рисунки, но рано или поздно из них все равно образовывался крест. Моя мать сидела рядом на каменной скамье, а старец, стоя позади нее, нежно и строго приглядывался к нашим детским забавам. Тут вышли из кустов некие молодчики; наряд их и вся стать говорили о том, что охота поглазеть и поразвлечься привела их к Святой Липе. Один из них увидел нас и вскричал, рассмеявшись:

«Вот это да! Святое Семейство³ так и просится в мой альбом!»

Он и вправду достал бумагу, карандаш и принялся нас рисовать, однако старый паломник поднял свое чело и произнес разгневанно: «Злосчастный зубоскал! Ты метишь в художники, но ни любовь, ни вера сроду в тебе не пламенели, и не труды, а трупы косные, подобные тебе, — удел твой жалкий; отчаешься и пропадом ты пропадешь в своем убожестве, изгой опустошенный, чужой всему и всем».

Юнцы смущенно и поспешно удалились.

А старый паломник молвил моей матери: «Я пришел сегодня к вам с этим чудо-младенцем, дабы он одарил вашего сына искрою любви, но мы с ним должны вас покинуть, и, чего доброго, не видать вам больше ни его, ни меня. Вашему сыну не отказано во многих драгоценнейших дарованиях, однако его кровь заражена кипучим брожением отчего греха, вопреки коему он способен воспарить, и тогда из него выйдет отважный воин веры. Воспитывайте его для духовного звания!»

Сколько бы мать ни говорила, впечатление, произведенное на нее глаголами паломника, оставалось столь проникновенным

и действенным, что слова не могли полностью засвидетельствовать его; так или иначе, она вознамерилась в будущем не препятствовать моим стремлениям и невозмутимо принять жребий, который выпадет мне волею попечительного рока, так как средства не позволяли ей помыслить о том, чтобы я удостоился воспитания, превышающего ее собственные возможности.

Возвращаясь домой, моя мать побывала в монастыре цистерцианок, настоятельница которого происходила из княжеского рода; давняя знакомая моего отца, она обласкала мою мать; туда восходит изведенное мною отчетливо на собственном опыте. Однако все, что могло произойти с тех пор, как явился мне старый паломник (а мне о нем, действительно, напоминает мой собственный опыт пережитого; моя мать лишь повторила мне, что сказали художник и старец), до того момента, как она представила меня настоятельнице, зияет в моей памяти сплошным провалом, от этого времени не осталось ни проблеска. Я как бы опамятовался лишь тогда, когда мать занималась моим костюмом, пытаюсь, насколько это было возможно, приодеть и принарядить меня. Она приобрела в городе новые тесемки, она подстригла мою обросшую голову, она со всяческим усердием привела меня в порядок, наставляя при этом в благочестии и в благоприличии, дабы я не ударил в грязь лицом у госпожи настоятельницы. Держась за материнскую руку, я взошел наконец по широким каменным ступеням и оказался в просторном покое, чьи высокие своды и стены были расписаны святыми образами; там узрел я княжну. Она была высока ростом и величественно прекрасна; монашеское облачение еще более возвышало ее, доводя почтение перед ней до трепета. Она взгляделась в меня с важным пронизательным вниманием и спросила:

— Это ваш сын?

Голос ее, сама ее внешность — и в особенности, все то невиданное, что окружало меня, высокие своды, образа, — все это так потрясло меня, что я в каком-то испуге не мог удержаться от слез. Тогда княжна как будто смягчилась, взор ее потеплел, и она произнесла:

— Что с тобою, малютка? Не я ли тебя напугала? Как зовут вашего сына, любезная?

— Франц, — ответила моя мать.

Тогда княжна вскричала, как бы пронзенная душевной мукой: «Францискус!» Она оторвала меня от пола, чтобы страстно заключить в объятия, но в тот же миг внезапная сильная боль где-то в области шеи исторгла из моих уст громкий крик, так что княжна, ужаснувшись, разжала объятия, и моя мать, совсем уничтоженная моей оплошностью, подхватив меня, не знала, как унести вместе со мною ноги. Однако княжна не отпустила нас. Оказалось, что, когда княжна прижала меня к себе, ее алмазный наперсный крест прямо-таки впился мне в шею, и ссадина покраснела и налилась кровью.

— Бедный Франц, — молвила княжна, — вижу, как тебе больно, но ведь мы с тобой помиримся, правда?

Келейница принесла сахарного печенья и сладкого вина. Робость моя прошла, и не понадобилось долгих упрасиваний для того, чтобы я храбро отдал должное сладостям, которые красавица княжна, усадив меня к себе на колени, сама клала мне в рот. Достаточно было нескольких капель сладкого напитка, неведомого мне до той поры, чтобы я воспрянул духом и оживился, как то было мне свойственно, по рассказам матери, с младенчества. Я немало позабавил своим смехом и болтовней настоятельницу и келейницу, задержавшуюся в комнате. Поныне диву даюсь, как это угораздило мою мать подвигнуть меня на рассказы о красоте моих родных мест, но я, как будто мне подсказывала высшая сила, умудрился поведать княжне о прекрасной живописи захожего безвестного мастера с такой достоверностью, словно глубочайший дух ее открылся мне. При этом я обнаружил такое проникновение в житийные тонкости возвышенного священного предания, как будто все церковные книги не только знакомы мне, но и досконально мною изучены. Не одна княжна, мать моя сама не сводила с меня изумленных очей, а я, захваченный своими речами, заносился все выше, пока наконец княжна не прервала меня вопросом: «Признайся, мой дорогой, кто тебя всему этому научил?» — и я, ничтоже сумняшеся, признался, что ненаглядный чудный младенец, явленный мне странным паломником, растолковал мне церковные образа, повторив некоторые из них сочетаниями цветных камешков, и не только выявил их смысл, но и пересказал мне многие жития святых.

Послышался звон, возвещающий вечерню. Келейница насыпала сахарного печенья в кулек и вручила его мне, к моему вящему удовольствию. Настоятельница, вставая, обратилась к моей матери с такими словами:

— Я намерена впредь опекать вашего сына, любезная, и надеюсь обеспечить его будущее.

Моя мать была так растрогана, что не могла говорить, она только с горючими слезами целовала руки княжны. Уже в дверях княжна задержала нас, снова приподняла меня, не забыв на этот раз отстранить крест, и чуть не задушила меня в объятьях, плача навзрыд, обжигая мне лоб слезами, воскликнув:

— Францискус! Останься и впредь таким же верующим, таким же хорошим!.. — В глубоком умилении я сам не мог удержаться от слез, не понимая, отчего, собственно, я плачу.

От щедрот настоятельницы вскоре наладилось наше незатейливое житье-бытье, которое мы влачили на маленьком хуторе по соседству с монастырем. Мы больше не нуждались, я приоделся и мог воспользоваться уроками священника, подпевая ему на клиросе, когда он служил в монастырской церкви.

Отрадной грезой облакает меня воспоминание о той ранней счастливой поре! Ах, как недосыгаем прекрасный край, где оби-

тают беспечность и безоблачная резвость простодушного детства, остается моя родина далеко-далеко позади меня, и между нею и мною навеки разверзлась пропасть, устрашающая взгляд. В пурпурном освещенье раннего утра я все яснее различаю дорогие мне лица, я сгораю, воспламенен разлукой, и уже как будто до меня доносятся их сладкозвучные голоса. Ах, — что это за пропасть, если сама любовь не в силах превозмочь ее в своем неустойчивом полете? Разве существуют время и пространство для любви! Не витает ли она в помыслах, а где мера помысла? Однако темные тени возникают и сгущаются, тесня меня беспросветным своим натиском, и желанная даль исчезает из виду, а насущное подавляет мои порывы будничными мытарствами, и даже неизреченный пыл, самым своим страданьем скрашивающий разлуку, превращается в безнадежную убийственную попытку.

Священник был добрее доброго; к тому же он знал, как совладать с моей непоседливой мыслью, знал, как приноровить свою науку к моей натуре, чтобы я торжествовал, одерживая победу за победой.

Дороже всех на свете мне была моя мать, в княжне же я видел святую, и дни, когда мне разрешалось узреть ее, я причислял к праздникам. Я всегда намеревался толком показать ей, какой стал я теперь ученый, но стоило ей выйти и дружелюбно меня приветить, как от моего красноречия оставалось разве что с трудом выговариваемое слово; лишь бы взирать на нее, лишь бы внимать ей. Зато все, что она говорила, внедрялось в мою душу, и потом целыми днями я втайне ликовал, преображенный, и все воображал ее себе, посещая одни и те же заветные уголки. Как назвать мне то чувство, которое пульсировало во мне, когда, стоя у высокого алтаря, я ритмично раскачивал кадило, а с хоров обрушивались органные лады и, нарастая кипучим каскадом, захватывали меня, так что в божественном гимне я улавливал ее голос, нисходящий ко мне пламенеющим лучом, и все мое существо преисполнялось чаьнем Высшего — Святейшего.

Но не было для меня дня торжественнее, чем день, который предвкушал я и которому потом радовался неделями, день, о котором я никогда не мог помыслить без душевного подъема; этим днем был праздник святого Бернарда⁴, а так как орден цистерцианцев посвящен именно ему, в монастыре в этот день многим отпускались грехи, и такое отпущение было поистине праздничным.

Уже за день до праздника множество соседей-горожан, чуть ли не вся округа, собирались у монастырской ограды, заполняя просторный луг, усеянный цветами, где веселая суতোлка не прекращалась ни днем ни ночью. Не припоминаю, чтобы ненастье хоть раз омрачило праздник, совпадающий с благоприятным временем года (день святого Бернарда приходится на август). На свете не бывало зрелища красочнее. Там с пенем гимнов шествуют богомольные пилигримы, а здесь молодые кре-

стьяне весело льнут к расфранченным девицам; духовные лица молитвенно складывают руки, в благочестивом созерцании наблюдают пролетающие облака; горожане целыми семьями благодушествуют на траве, опустошают тяжелые корзины со съестными припасами и лакомятся вволю. Залихватские рулады, душеспасительные хоралы, пламенные воздыхания кающихся, хохот беззаботности, причитания, прибаутки, возгласы, восклицания, молитвословия разносятся на ветру чудесным, опьяняющим со звуцием.

Но как только ударит монастырский колокол, шума как не бывало; куда ни помотришь, всюду сплоченные сонмы колена-преклоненных, и в непререкаемой тишине слышится лишь невнятный говор молящихся. Но не успеет колокол отзвучать, и вот уже снова бушует красочный поток, и снова раздается гомон веселья, умолкнувшего лишь на минуту. Сам епископ, имевший кафедру в соседнем городе, в день святого Бернарда посещал монастырскую церковь, дабы совместно с низшим духовенством отслужить торжественную мессу, а епископская капелла, разместившись поодаль от алтаря на особом помосте, увешанном драгоценными гобеленами, услаждала слух песнопениями.

И сегодня дают себя знать чувства, сотрясавшие тогда мою грудь; они не только не умерли, оказывается, они даже не поблекли и расцветают, когда моя душа оборачивается к прежнему блаженству, столь быстролетному. В ушах моих явственно звучит Gloria, исполнявшаяся тогда многократно, ибо эту композицию предпочитала княжна. Едва Gloria воспевалась епископским голосом, вскипали сильные лады хора: «*Gloria in exelsis deo!*⁵»* — не являлась ли заоблачная Gloria над высоким алтарем? — да, не воспламенялись ли к жизни чудотворные, богописные Херувимы и Серафимы, напрягая взмахами свои крепкие крыла, славословя Бога голосами и неопикуемым бряцанием струн?

Всего меня облекало вдохновенное наитие молитвенного экстаза, возвращающее сквозь пламень облаков туда, в даль, откуда я происхожу, и в ароматическом лесу звучали нежные ангельские голоса, и чудо-младенец встречал меня, покидая лилейную поросль, чтобы спросить с улыбкой:

«Где ты блуждал так долго, Францискус? А я тут набрал много цветов; посмотри, как они хороши, у каждого из них свои краски; и все эти цветы я подарю тебе, если ты больше никогда не покинешь меня и не разлюбишь».

После торжественной мессы монахини праздничной процессией обходили галереи монастыря и церковь; их возглавляла настоятельница в митре и с серебряным пастырским посохом⁶. Взор дивной жены так и светился святостью, благородством, небесным сиянием, что сказывалось и в ее осанке, и в поступи. То была сама торжествующая Церковь, не отказывающая благочес-

* «Слава в вышних Богу!» (лат.).

тивому верующему народу в своем благодатном покрове и в благословении. Когда взор ее невольно нисходил на меня, я бы с восторгом поник перед нею во прах.

После богослужения духовенство и епископская капелла приглашались под широкие обительские своды на трапезу. Некоторые лица, особо приближенные к монастырю, среди них представители городских властей и торговых кругов, также присутствовали за столом, а поскольку я снискал благоволение епископского регента, не брезговавшего моей особой, то среди приглашенных бывал и я. И если сперва все мое существо пламенело праведным богопочитанием, всецело приверженное горнему, то потом охватывало меня житейское веселье, осаждая своими пестрыми сценами. Всякие забавные истории, байки, побасенки сыпались как из рога изобилия, вызывая раскатистый хохот гостей, пока не наступал вечер и гости не отправлялись восвояси на экипажах.

Меня, шестнадцатилетнего, священник признал достойным приступить к теологическим занятиям в семинарии соседнего города, ибо я без всяких колебаний избрал для себя стезю духовного лица, что особенно пришлось по душе моей матери, так как у нее на глазах подтверждалась и сбывались тайнознаменательные прорицания Паломника, в известном смысле перекликавшиеся с необычным обетованием, которого сподобился мой отец, хотя сам я об этом тогда еще не слыхивал. Мать моя полагала, что мое священничество успокоит душу моего отца, избавив ее от вечного проклятия. Княжна беседовала теперь со мною не в своей келье, а в особом покое, предназначенном для мирских посетителей, но и она укрепляла меня в моих помыслах, высоко их оценивая и заверяя, что будет снабжать меня всеми необходимыми средствами, пока я не удостоюсь духовного звания. Хотя до города было рукой подать, так что монахи могли видеть его башни из своих келий, а иные досужие горожане предпочитали пешие прогулки вокруг да около монастыря, где местность отличалась хорошими, привлекательными видами, тем не менее разлука с моей милой матерью, с благородной госпожой, моей обожаемой благодетельницей, да и с моим добрым учителем очень меня огорчила. Кто станет спорить, что каждая пядь, отрывающая нас от наших присных, уподобляется величайшему отдалению, заставляя страдать!

В княжне чувствовалось некое странное движение души, и печаль выдавала себя дрожью голоса, на прощание увещающего меня благословением. Я получил от нее элегантные четки и крохотный молитвенник с блистательными иллюстрациями. Кроме того, она снабдила меня рекомендательным письмом к приору монастыря капуцинов; его мне надлежало, по ее словам, посетить незамедлительно и видеть отныне в нем своего наставника и покровителя.

Право же, нелегко мне назвать местоположение более при-

влекательное, нежели то, которое занимал подгородный монастырь капуцинов.

Казалось, нет ничего краше этого восхитительного сада, откуда виднелись горы, а его протяженные аллеи, ведя от одного пышного насаждения к другому, открывали на каждом шагу новые совершенства и утех.

Где, как не в этом саду, предстал мне приор Леонардус, когда я впервые посетил монастырь, дабы вручить ему рекомендательное письмо настоятельницы!

Благожелательный по натуре, приор обласкал меня от души, прочитав письмо, и расточил столько похвал благородной госпоже, которую знал еще в прошедшие годы в Риме, что я просто не мог устоять перед ним.

Личность приора была, естественно, средоточием всей братии, так что не требовалось особой проницательности для того, чтобы сразу постигнуть его совершенное единение с монахами в устройстве и протекании обительской жизни: душевный мир и ясность духа, явственно сказывающиеся в самом его внешнем облике, распространялись на всю обитель. Начисто отсутствовали следы той мрачности, того отталкивающего, обособляющего, внутреннего сокрушения, которыми так часто отличаются иноческие черты. Упражнения в благочестии определялись для приора Леонардуса не столько суровостью орденских правил, сколько духовным алканием Царствия Небесного, что преобразовало тягостную аскезу, призванную искупить первородный грех человечества, и он так искусно возжигал в братии этот осмысленный молитвенный пыл, что на все канонически заповеданное изливались благость и задушевность, поистине выводящие за пределы земного узилища.

Даже известное сближение с миром допускал приор Леонардус, и никто не мог отрицать, что при соблюдении подобающей меры оно не только не вредно, но, напротив, скорее целительно для монахов. Обильные пожертвования, преподносимые прославленной обители отовсюду, поощряли гостеприимство, допускающее иногда к монастырской трапезе мирских доброжелателей и благодетелей. Тогда посреди трапезной бывал накрыт длинный стол; его возглавлял приор Леонардус, а гости занимали другие почетные места. Братии же, как обычно, предоставлялся узкий стол у стены, и приборы на этом столе отличались монашеской простотой, тогда как гостям кушанья предлагались на чистейшем, отборнейшем фарфоре и стекле. Монастырский келарь как никто другой мастерски ублажал приглашенных, избегая при этом скоромного. О вине заботились сами гости, так что монастырские трапезы действительно способствовали непринужденному задушевному общению духовенства с мирянами, и нельзя сказать, что жизнь тех и других не выигрывала от подобного взаимодействия. Ибо заложники мирской суеты, освобождаясь от нее хотя бы на время и вступая за монастырскую

ограду, где жизнь духовенства откровенно перечит их обиходу, не могли не признать под влиянием той или иной искры, западающей в душу, что их путь к благополучию и покою не единственный, и дух, возносящийся над земным прозябанием, быть может, уже здесь открывает человеку стезю, иначе недостижимую. При этом и монахи не прогадывали; пестрый мир со всем своим кишением и мельтешением из-за монастырской стены подавал им вести, не лишние для их житейской рассудительности и благоразумия, не говоря уже о соображениях и выводах, на которые ничто другое не натолкнуло бы их. Не переоценивая земного сверх его природы, они не могли отказать человеческому образу жизни в необходимых различиях, идущих изнутри, чтобы луч духовного начала не утратил своих преломлений, без которых не останется ни красок, ни сияния.

Приор Леонардус давно и несомненно превосходил окружающих своими духовными и научными познаниями. Помимо того, что в нем видели изошренного теолога, чувствовавшего себя как дома в сложнейших материях и частенько приходившего на помощь профессорам семинарии, которые не считали для себя зазорным прибегнуть к его опыту и осведомленности, он обнаруживал светский лоск, вряд ли свойственный монастырскому затворнику. Его французская и итальянская речь отличалась изысканной беглостью, а его умудренная гибкость позволяла в прошлом употреблять его для ответственных переговоров. Я узнал его, когда он уже дожил до глубокой старости, но, вопреки сединам, свидетельству лет, в очах его еще вспыхивал юношеский пламень, а на устах его играла безмятежная улыбка, от которой усиливалось общее впечатление внутренней гармонии и невозмутимого лада. Он не только красиво говорил, но и красиво двинулся, и даже монашеская ряса, далекая от элегантности, не только не портила его, но, напротив, удивительно подчеркивала его стройное телосложение. Я не встречал в монастыре ни одного монаха, который сам не выбрал бы своей участи, повинаясь властному внутреннему позыву и, более того, неодолимо-му духовному влечению, однако даже страдальца, ищущего в монастыре лишь спасительную гавань под угрозой уничтожения, Леонардус незамедлительно обратил бы к покаянию, и он вскоре успокоился бы, примирился бы с жизнью и, пребывая в земном, преодолел бы его тяготы. Такая направленность шла вразрез с традициями монашеского жития, и Леонардус набрался подобного духу в Италии, где обрядность да и вообще весь опыт религиозной жизни светлее и отраднее, чем в католической Германии. Как в церковном зодчестве сохранилось античное наследие, так луч отрадной живительной древности, кажется, проникает в сумрачное лоно христианских таинств и разливается там чудесным светом, в котором, бывало, купались боги и герои.

Я пришелся Леонардусу по сердцу, он преподавал мне итальянский и французский языки, но особенным образом влияли на

мой дух многочисленные книги, которыми он сужал меня, а также его речи. Как только семинарская наука предоставляла мне краткий досуг, я отправлялся в монастырь капуцинов, и во мне упорно усиливалось неуклонное стремление к постригу. Я признался приору в моем побуждении, но тот, не разубеждая меня, предложил все же повременить хоть бы год-другой и, так сказать, освоиться в миру. Но, хотя у меня не было недостатка в знакомствах — ими я, в основном, был обязан моему учителю музыки, епископскому регенту, — всякое общество меня расстраивало и стесняло, особенно когда присутствовали женщины, и, наверное, это обстоятельство в сочетании с предрасположением к созерцательной жизни заставило меня решительно предпочесть монастырь.

Как-то приор заговорил со мной о мирской жизни, и его слова оказались особенно значительными для меня; он углубился в предметы, слышущие скользкими, но обычная грация и непринужденность оборотов не изменили ему, так что, ничуть не нарушая приличий, он метко и без обиняков попадал в цель. Наконец он взял меня за руку, пронизательно посмотрел мне в глаза и осведомился, девственник ли я.

Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо, когда Леонардус недвусмысленно спросил меня о том, что по природе своей двусмысленно, и передо мной выпрыгнула как живая в своей красочности картина, совсем уже было покинувшая меня.

Я вспомнил сестру регента; звание красавицы вряд ли пошло бы ей, но она была прелестна в расцвете своего девичества. Ее стан очаровывал стройностью и безупречной чистотой линий. Вряд ли можно было представить себе руки, грудь и плечи совершеннее, а кожу нежнее.

В одно прекрасное утро, когда я спешил к регенту, чтобы не пропустить урока, мне попала на глаза его сестра в несколько вольном утреннем неглиже: грудь ее успела блеснуть мне почти без покрова, хотя тут же притаилась под платком, накинутым второпях, однако мой нескромный взор схватил предостаточно, слова застряли у меня в горле, во мне всколыхнулась буря неизведанных чувств, неудержимая кровь воспламенилась в артериях, и пульсацию нельзя было не слышать. Сведенная судорогой грудь не выдержала бы внутреннего давления, если бы оно не разрешилось тихим вздохом. Между тем девица, как ни в чем не бывало, приблизилась ко мне, коснулась моей руки, и вопрос ее: «Что с вами?» — навлек на меня еще худшие страдания, от которых, к счастью, избавил меня приход регента.

Никогда еще не брал я таких неверных аккордов, никогда еще не допускал в пении таких срывов. Моя набожность заставила меня счесть весь этот случай дьявольским искушением, и я вскоре торжествовал, когда моя суровая аскеза обратила в бегство лукавого противника. Теперь же пронизательность приора вновь накликала сестрицу регента, и передо мной возникли ее

соблазнительные прелести; меня жгло ее горячее дыхание, сводило с ума ее прикосновение; проходил миг за мигом, а мой подавленный страх неумолимо усиливался.

Ироническая улыбка Леонардуса повергла меня в трепет. Взгляд его был для меня невыносим, я устоял в пол, у меня горели щеки, а приор умерил их жар, ласково потрепав по ним.

— По вас видно, сын мой, вы уловили смысл моих слов, и вы пока еще целомудренны; да отвратит от вас Господь прельщение мира сего; недолго длятся его утехи, да и позволительно предостеречь от проклятия, которое в них заключено, ибо кончаются они неопишущей гадливостью, неизлечимым бессилием и маразмом, то есть гибелью лучшего, духовного, истинно человеческого.

Я предпочел бы не вспоминать пастырского вопроса и назойливого образа, вызванного этим вопросом, но произошло непорядочное: если я почти перестал конфузиться в обществе той девицы, то теперь я больше прежнего боялся взглянуть на нее, и стоило мне подумать о ней, как на меня нападала лихорадка и некое внутреннее смятение, в котором я угадывал тем большую угрозу, ибо в нем таилось и неведомое, чудное вожделение, граничащее со сладострастием, а тут уж и до греха недалеко. Однако достаточно было одного вечера, чтобы разрешилось мое двусмысленное колебание.

Регент имел обыкновение приглашать меня на музыкальные вечера, собирая у себя кое-какое общество. В тот вечер присутствовала, разумеется, его сестра, а с нею и другие особы женского пола, и я совсем не знал, куда девать себя, так как у меня дух захватывало и от нее одной. Ее туалет был ей очень к лицу, и я словно впервые увидел, как она хороша; казалось, незримые, неизбежные узы связывали меня с нею, и я, повинувшись безотчетному стремлению, никак не мог избежать ее близости, старался не пропустить ни одного ее взгляда, ни одного ее слова, прямо-таки льнул к ней и, когда ее платье невзначай задевало меня, млея от затаенного и такого нового упоения. Это не ускользнуло от ее внимания и, казалось, доставило ей удовольствие, а я боялся потерять голову, уступить страстному неистовству и заключить ее в мои ненасытные объятия!

Она засиделась у клавикордов, а когда встала, на стуле осталась одна из ее перчаток. Я так и набросился на эту перчатку и, не помня себя, припал к ней губами. Это происходило на глазах у одной из молодых особ, и она не преминула присоединиться к сестре регента; девицы начали перешептываться, потом последовали взгляды обеих в мою сторону, далее послышались смешки, наконец, смех, едва ли лестный для меня. Я был готов сквозь землю провалиться, ледяной ток пронизал меня до глубины моего существа. Не помню, как я прибежал в семинарию — в мою келью. Мной овладело бешенство отчаянья; лежа на полу, я захлебывался жгучими слезами; я клял — я проклинал девушку,

себя самого, и мои молитвы перемежались с безумным смехом. Отовсюду звучали вокруг меня голоса; надо мной издевались, меня поносили; я уже готов был выброситься из окна; к счастью, мне помешали железные прутья, и в самом деле я не переживал дотоле ничего ужаснее. Однако утро забрезжило, и спокойствие мало-помалу вернулось ко мне; я больше не колебался в моем решении никогда не видеть ее и отвергнуть все мирское. В моей душе окончательно возобладала склонность к монастырскому затворничеству, и уже никакое искушение не могло совратить меня.

Как только мне позволили урочные занятия, я поспешил в монастырь капуцинов и открылся приору в своей готовности поступить в монастырь послушником, добавив, что мать и княжна уже поставлены мною в известность о моем твердом и нерушимом решении. Леонардуса как будто насторожил мой внезапный пыл; не посягая на сокровенное в моей душе, он так и эдак пробовал исследовать, почему я вдруг так возжаждал иночества, ибо он, разумеется, подозревал: мною движет нечто чрезвычайное. Тайный стыд оказался сильнее меня; у меня не хватило духу признаться, что произошло в действительности; зато я дал волю пламенной экзальтации, обуревавшей меня, и не поспешил на подробности, связанные с чудесными происшествиями моих детских лет; они ли не обязывали меня принять монашество!

Моя экзальтация не передалась Леонардусу; не высказывая прямо скептицизма по поводу моих видений, он как будто не придавал им особенного значения, более того, подчеркнул, что моя горячность не только не свидетельствует в пользу моего призвания, а, напротив, весьма смахивает на иллюзию. Леонардус вообще предпочитал не распространяться о видениях святителей и даже об апостольском чудотворстве, и бывали мгновения, когда я, грешный, подумывал, не тайный ли он скептик. Мне так хотелось услышать от него что-нибудь определенное на эту тему, что однажды я отважился затронуть вопрос о злопыхателях, посягающих на католическую веру: особенно нападал я на тех, чье высокомерное мальчишество мнит, что отделяется от сверхчувственного бездарным ругательством «суеверие». Леонардус мягко усмехнулся:

«Сын мой, злейшее суеверие есть безверие», — и перешел на предметы посторонние и безразличные.

Лишь впоследствии дано мне было углубиться в его превосходное осмысление мистического, представленного нашей религией, постигнуть, что такое таинственное сочетание нашей духовности с Высшей Божественностью, и тогда я не мог не признать, что Леонардус верно распоряжался драгоценнейшими дарами своего существа, приберегая их лишь для учеников, сподобившихся высшего.

Из письма моей матери явствовало, что она всегда предпола-

гала: белому священству я предпочту монашество. В день святого Медардуса явился ей старый Паломник от Святой Липы, он вел за руку капуцина в орденском облачении, и она узнала меня. Княжне тоже пришлось по душе мое решение. Я имел возможность свидеться с ними обоими перед тем, как произнес монашеский обет, а это не замедлило произойти, ибо мое послушничество было непродолжительным; его срок сократило вдвое мое неподдельное стремление поскорее назваться иноком. Я принял иноческое имя Медардус⁷, подсказанное видением моей матери.

Единение братьев между собой, череда богослужений и весь внутренний распорядок монастырского общежития — все это оказалось таким, как я представил себе с первого взгляда. Задушевная тихость, чувствуемая здесь во всем, пролила и в мою душу ту небесную безмятежность, которая блаженной грезой оведала мое младенчество в монастыре Святой Липы. Когда меня торжественно постригали, среди присутствующих я заметил сестру регента; взгляд у нее был грустный, и чуть ли не слезинки поблескивали на глазах, однако соблазн рассеялся, и не дурная ли гордыня, детище пустыяного торжества, свела мои уста усмешкой, которая насторожила брата Кирилла, сопутствовавшего мне.

— Что это так развеселило тебя, брат мой? — осведомился Кирилл.

— А разве не весело отбросить мирские мерзости со всей их мишурой, — ответил я, но нельзя отрицать: мой обман не остался безнаказанным; что-то страшное сразу же дало себя знать содроганием.

Но то был последний спазм духовного сомнения, сменившийся вышеописанной душевной тихостью! Когда бы она вечно осеняла меня, но власть Супостата помыкает человеком. Стоит ли вооружаться, стоит ли бодрствовать, если ад все равно настоит и не упустит своего?

Минул пятый год моего монашества, когда приор назначил меня хранителем богатого монастырского мощехранилища, так как брат Кирилл, мой предшественник, заметно одряхлел, ослаб, и отныне его обязанности должен был исполнять я. Среди других реликвий имелись кости Божьих угодников, и щепки от креста Господня, и другие священные предметы, бережно размещенные в чистеньких стеклянных шкапиках, дабы в известные дни народ созерцал их, укрепляясь в богопочитании. Брат Кирилл показывал мне их все по порядку и давал прочесть особые грамоты, заверяющие их подлинность и чудотворные качества. В духовном отношении брат Кирилл лишь немного уступал нашему приору, и я позволил себе высказать недоверие, признаться, одолевавшее меня.

— Полагаешь ли ты, любезный брат Кирилл, — молвил я, — будто все эти предметы воистину обладают всеми качествами, которые им приписывают? Не подсовывает ли коварное своеко-

рыстие первую попавшуюся заваль вместо святых мощей? Есть, к примеру, монастырь, где целиком хранится крест нашего Спасителя, а где только не показывают щепки от него, право же, этих щепок мы и за год не сожгли бы в монастырских печах, как пошутит один из наших, как ни грешно так шутить.

— Что и говорить, — ответил брат Кирилл, — сии предметы не подлежат испытующему исследованию, и, положа руку на сердце, вопреки красноречивейшим удостоверениям, я весьма сомневаюсь в том, что среди наших реликвий преобладают подлинные. Но сдается мне, от этого мало что меняется. Прими к сведению, любезный брат Медардус, что мы с нашим приором об этом думаем, и наша вера по-новому воссияет тебе. Или, любезный брат Медардус, не превосходно само по себе устремление нашей Церкви выявить присутствие сверхчувственного в чувственном и таинственные узы, сочетающие их, дабы таким путем возбuditельно напомнить нашему организму, укоренившемуся в земном, о его происхождении из горнего духовного лона и о его причастности к Чудо-Сущности, пронизывающей огненным дуновением своих энергий все естество в ясном откровении и овевающей крылами серафимов чаянье высшей жизни, чей росток прозябает в нас? Что такое эта лучина, косточка, ветошка? Считается, что она отколота от Христова креста, извлечена из тела, оторвана от ризы святого угодника; а кто, не впадая в рассудочность, просто верует и притекает к ним всем своим бесхитростным чувством, того осеняет нездешнее вдохновение, благовестие небесного блаженства, лишь предвкушаемого в земной юдоли, и пускай реликвия поддельная, тем действительнее духовное влияние святого в ответ на движение сердца, ею возбужденное, и человеку дарует силу и исцеление через веру Высший дух, которого человек из глубины души молил об утешении и вспомоществовании. Так высшая духовная сила, возбуждаясь в человеке, преодолевает даже плотские немощи, отсюда и мощное чудотворство, исходящее от этих мощей и засвидетельствованное при большом стечении народа, что во всяком случае достоверно.

Мне тут же вспомнилось, что сам приор высказывался в том же духе, и если до сих пор я видел в реликвиях лишь игрушки религиозности, то теперь они склоняли меня к подлинному благоговению и трепетному почитанию. Брат Кирилл очень хорошо заметил, как воздействуют на меня его речи, и продолжал истолковывать предмет за предметом с вящим пылом и одушевлением, трогательным для внимающего. Наконец он извлек из крепко-накрепко запертой скрыни небольшой поставец и молвил:

— Содержимое этого поставца, любезный брат Медардус, — бесспорно, таинственнейшая и диковиннейшая из всех наших реликвий. С тех пор, как я живу в монастыре, никто не брал его в руки, кроме приора и меня; сами наши братья, не говоря уже о мирянах, не ведают о том, что имеется такая реликвия. При-

знаться, мне самому боязно коснуться этого поставца, в нем как бы заточен злой дух, и доведись ему взорвать заточение, связывающее и обессиливающее его, он будет грозить уроном и безнадёжной погibelю каждому, на кого нападет он. Знай, в поставце зараза, исшедшая от самого Лукавого в старину, когда он еще отваживался, не таясь, посягать на человеческую душу.

Наверное, во взгляде моем брат Кирилл прочитал высшую степень удивления и, не дожидаясь моих вопросов или возражений, он продолжал:

— По-моему, любезный брат Медардус, неуместны любые личные суждения там, где наличествует несомненная мистика; воздержусь я и от гипотез, и от всяких... теорий, иногда смущающих мой ум, а предпочту как можно достовернее изложить тебе то, как характеризуют эту реликвию имеющиеся документы. Их ты отыщешь сам в этой скрыне и сам изучишь их. Уверен, что ты досконально изучил житие святого Антония⁸, и нет нужды рассказывать, как он, отвращаясь от земного и обращаясь всею душою к Божеству, избрал для себя пустынножительство и посвятил свою жизнь беспощаднейшему покаянию и упражнениям в молитвословии. Лукавый не отступался от него, то и дело зримо преграждая ему путь, дабы развлечь его в созерцании Божественного. Вот и случилось однажды святому Антонию воспринять в вечерних сумерках что-то темное; надвигалось оно на него. Приглядевшись к приближающемуся, пустынножитель диву дался: непрошенный гость был закутан в драную хламиду, а из дырьев срамно вылупливались горлышки бутылок. Это был не кто иной, как сам лукавый, который, этак вырядившись, издевательски ослабил и спросил, не угодно ли глотнуть эликсиров из принесенных бутылочек. Святой Антоний не удостоил гнева такую выходку, так как лукавый, подавленный и обессиленный, больше не осмеливался ввязаться в противоборство и поверженному ничего другого не оставалось, кроме ядовитых поношений, потому и спросил святой супостата свысока, чего ради приволок он столько бутылок, ведь это же тяжело и неудобно.

На это дьявол ответил: «Представь себе, вот мне навстречу попадает человек, он удивляется, как ты, и не может удержаться от вопроса, какое там зелье в бутылках, а сам, глядишь, разлакомится и отхлебнет. У меня эликсиров хватает, а рано или поздно он найдет себе пойло по вкусу, осушит бутылку до дна, захмелеет, и вот уже он мой, он подданный моего царства».

Таковы предания, но есть у нас и особый документ, посвященный сему видению святого Антония, а в этом документе повествуется, что история имела продолжение: лукавый удалился, но как бы забыл среди сорного бьлья несколько бутылок, а святой Антоний поскорее унес их в свою пещеру, где и скрыл их из опасения, как бы в самой пустыне некто заблудший, а то и, чего доброго, его собственный ученик не глотнул ужасного питья,

ввергая тем самым свою душу навеки в преисподнюю. И вот однажды, согласно дальнейшему изложению, сам святой Антоний не избежал оплошности, откупорив одну из бутылок, и оттуда вырвались пары позабористее самого хмеля, а вместе с ними святого окутали мерзкие адские мороки, пытаясь очаровать его прельстительными ужимками, и ему пришлось долго давать им отпор неукоснительным постничеством и молитвенными беднями. В этом поставце находится одна такая бутылка, так сказать, завещанная святым Антонием, а в бутылке дьявольский эликсир, и едва ли допустимо усомниться в том, что после смерти святого Антония она оказалась среди других его вещей; документы на этот счет достаточно обстоятельны и вполне достоверны. Уж ты поверь мне, любезный брат Медардус, как только я притрагиваюсь не то что к бутылке, а лишь к поставцу, меня берет некая устрашающая оторопь, и мнится мне, слышу я неопикуемый запах, в котором одурь и умопомрачение; его не рассеешь даже благочестивыми ухищрениями, напротив, оно рассеивает обоняющего. Это пагубное наваждение явно происходит от мощного душевредного источника, даже если не верить в непосредственное вмешательство лукавого, однако упорная молитва целительна и тогда.

Тебе же, дражайший брат Медардус, при твоей юности, способной в живых ярких красках созерцать все, чем тебя прельщает Фантазия, раздражаемая супротивной силой, тебе, отважному, но неискушенному ратоборцу, смелому в битве, но слишком дерзкому, замахивающемуся на невозможное, слишком полагающемуся на свою мощь, тебе мое увещание: никогда не открывай поставец или хотя бы не открывай его, пока ты молод, и, дабы любопытство не ввело тебя во искушение, постарайся, чтобы он не попался тебе на глаза.

Брат Кирилл запер скрыню с таинственным поставцом, и я стал обладателем ключей, причем ключ от скрыни тоже висел в моей связке. Вся эта история произвела на меня впечатление необычного; меня так и подмывало взглянуть на реликвию, но чем больше разрасталось во мне преступное любопытство, тем упорнее силился я воспрепятствовать его удовлетворению, ибо наказ брата Кирилла не пропал даром. Едва Кирилл простился со мной, я еще раз взглянул на священные предметы, вверенные моему попечению, потом отвязал совращающий ключик и скрыл его среди рукописей на моем пюпитре.

Среди профессоров семинарии один был особенно красноречив; церковь не вмещала народа, когда он проповедовал, его слово захватывало огненным током, и невозможно было не поддаться его зажигательному благочестию. Я сам всем сердцем заслушивался его великолепных, вдохновенных речей, но, пока я восхищался высокоодаренным проповедником, во мне сама шевелилась некая внутренняя сила, мощно побуждающая меня к соперничеству с ним. Я внимал ему, а потом сам проповедовал в

моей уединенной клетушке, весь во власти вдохновительного мгновения, пока не пришло умение схватывать собственные идеи, собственные слова и записывать их.

Между тем проповедник из нашей монастырской братии слаб и опускался на глазах; его речь влачила вяло, как пересыхающая речка, утрачивая звучность; когда он пытался говорить, а не читать вслух, язык без подсказки Мысли и Слова вырождался в невыносимое многословие, а перед заключительным «аминь» большинство слушателей засыпало, как при стуке мельничных колес, и разбудить их мог лишь рокот органа. Приор Леонардус был выдающимся проповедником, однако проповедовать остерегался, полагая, что проповеднический пыл противопоказан ему в его возрасте, так что заместителя для немощного брата в монастыре не предвиделось. Леонардус уже обсуждал со мною ущерб, наносимый монастырю таким обстоятельством: из церкви начинался отток христоролюбцев. Тогда я набрался решимости и признался ему, что уже в семинарии ощутил в себе внутреннее призвание к проповедничеству и даже записал кое-какие мои упражнения в духовном красноречии. Приор пожелал ознакомиться с ними, и они удовлетворили его настолько, что он прямо-таки заставил меня ознаменовать пробной проповедью день ближайшего же святого, уверяя, что провал мне не угрожает, ибо я обладаю от природы качествами проповедника: внушительным обликом, выразительными чертами и хорошо поставленным голосом, неистощимым в модуляциях. Сам Леонардус дал себе труд выработать у меня должную осанку и сообразную жестикуляцию. День святого настал; церковь, как обычно, не пустовала, и я поднялся на кафедру с тайным замиранием сердца.

Сначала я побаивался отступить от рукописи и потом слышал от Леонардуса, что голос мой тремолировал, что, впрочем, лишь оттеняло благочестиво печальные медитации в начале проповеди, и многие слушатели оценили дрожь моего голоса как присутствующее истинному мастеру искусство трогать сердца. Однако вскоре как бы молния небесного вдохновения осияла мое внутреннее существо, и я оторвался от рукописи, весь повинувшись внушению минуты. Я чувствовал в моих жилах пульсацию крови, горение и озарение; я слышал под сводами гром собственного голоса; я видел свою вознесенную главу, раскинутые, как в полете, руки, я видел всего себя в молниеносном блеске вдохновения. Огненной точкой сентенции, подытоживающей все восхищающе душеспасительное, что я благовествовал, завершилась моя проповедь, и она произвела из ряду вон выходящее, неслыханное впечатление. Проповедь вызвала слезы экстаза — неудержимые восклицания упоенной набожности — громогласный хор молитвословий. Братия была готова носить меня на руках. Заклучая меня в объятия, сам Леонардус признал, что монастырь может мною гордиться.

Молва обо мне не заставила себя ждать; городское общество,

кичившееся изысканностью и образованностью, теснилось в монастырской церкви, и там негде было яблоку упасть примерно за час до того, как звонили к проповеди. Чем больше мной восхищались, тем больше усердствовал я, заботясь о том, чтобы мои проповеди при всем своем пыле блистали отточенной элегантностью. Я все более искусно очаровывал моих почитателей, и обожание, неумеренно проявлявшееся всюду, где бы я ни останавливался или ни проходил, напоминало уже обожествление. Город словно страдал религиозным помешательством; все рвались в монастырь, не чураясь никаких поводов, даже в будние дни, с единственной целью: лицезреть брата Медардуса и говорить с ним.

Тогда во мне и проклюнулась мысль о моем особом предназначении свыше; многое свидетельствовало об этом: и самая таинственность моего рождения в святом месте, и знаменательное предначертание, согласно которому мне предстояло искупить отчий грех, и чудесные залогов, полученные мною во младенчестве, — все это заверяло меня в том, что мой дух, причастный горнему, уже теперь превышает всего земного, и я чужой не только миру, но и роду человеческому, которому, однако, приношу целительное утешение, ради одного этого ступая по грешной земле. Я уже не сомневался в том, что старый Паломник у Святой Липы был святым Иосифом, а дивный младенец ... Иисусом, отметившим во мне святого перед моим земным странствием. И по мере того, как моя душа вживалась в эти помыслы, окружающее начинало претить мне и угнетать меня. Из моей души исчез мир и рассеялась духовная безмятежность, которыми я наслаждался в монастыре; благодушные братьев и дружелюбие приора лишь озлобляли меня. Как же это они не видели во мне святителя, который настолько выше их, что им впору пасть к моим стопам, взыскуя моего посредничества между престолом божьим и грешной их природой! А поскольку они относились ко мне по-прежнему, я усматривал в их поведении пагубную закоснелость. Уже некоторыми хитросплетениями моих проповедей наводил я верующих на мысль, будто в лучах пламенеющей утренней зари наступает новый век и уже шестует по земле угодник Божий, даруя верующей пастве спасительное утешение. Свое мнимое призвание я раскрашивал мистическими узорами, и толпа тем более покорялась мне, замороженная чужеродной прелестью, чем темнее и загадочней были иносказания. Леонардус явно охладевал ко мне, избегая беседы наедине, но случилось так, что братья отстали от нас, когда мы шли по одной из аллей монастырского сада, и приора взорвало:

— Не могу умолчать, любезный брат Медардус, о том, что ты, по-моему, переменялся к худшему. Нечто закралось в твою душу, и набожная бесхитрость уже не по тебе. Твои слова омрачаются враждебным наваждением, в котором пока еще скрывается то, что сделало бы мое общение с тобой во всяком

случае невозможным. Давай объяснимся, не взыщи! В этот миг тебя особенно тяготит вина нашего грешного рода, а эта вина при каждом воспарении нашей духовной силы манит нас в западню погибели, и мы в неразумии нашего полета устремляемся именно туда. Успех, да что успех! — кумирслужение, которым окружил тебя легкоумный мир, лакомый до новинок, притупило остроту твоего зрения, и ты уже принимаешь за самого себя личину, которая вовсе не твое лицо, а призрак, лазутчик бездны, тебе предназначенной. Опамятуйся, Медардус! Прогони этот морок, он тебя дурачит, — он как будто и мне знаком! — уже сейчас тебя покинул душевный мир, а без него какое же здесь благо! Внемли моему предупреждению, за тобой охотится враг, так не попадайся же ему! Разве я не любил тебя всей душой, когда ты был просто добрым юношей?

Говоря так, приор прослезился; он стиснул было мою руку, но пальцы его тотчас разжались, и он оставил меня, как будто пренебрег моим ответом.

Однако его слова лишь задели меня, насторожив, а не расстрогав; он же не сказал, что успех и восторженное обожание, которыми я обязан моим исключительным дарованиям, не заслужены мною, значит, он мной недоволен лишь потому, что его мучает зависть, признак ничтожества, да он этого и не скрывает! С того часа я окончательно ушел в себя, помалкивал при встречах с другими монахами, злобствуя в душе, и, преисполненный новым существом, возникающим во мне, целыми днями, не смыкая глаз даже ночью, измышлял словесную роскошь, в которую намеревался облечь мое очередное создание, дабы явить его народу во всей красе. И по мере того, как разверзалась пропасть между мною и Леонардусом с братией, я все ловчее залучал толпу в свои тенета.

В день святого Антония⁹ в церкви была такая давка, что двери были открыты во всю ширь, и народу была предоставлена возможность слушать меня не только на паперти, но и во дворе. Никогда еще моя проповедь не отличалась такой огненной, впечатляющей мощью. Следуя традиции, я вкратце пересказал житие святого, не упустив при этом случаев показать свою праведность и житейскую мудрость. Тема дьявольских происков, особенно опасных для человека после грехопадения, захватила меня, и поток моего красноречия нежданно-негаданно подбросил мне легенду об эликсирах, которую я пытался представить изошренной аллегорией. Между тем взгляд мой блуждал по церкви, и внезапно мое внимание привлек долговязый, сухопарый человек; поднявшись на скамью, он опирался на колонну в косвенном направлении от меня. Одет он был не по-здешнему, кутался в темно-фиолетовую хламиду, под которой прятал скрепленные руки. Его лицо поражало мертвенной бледностью, а грудь мою обожгло лезвие кинжала: то был взор его огромных, черных, неподвижных глаз. Я содрогнулся от непостижимого, отвратного

страха, поскорее отвел глаза и, усиленно сосредоточиваясь, попытался продолжить мою мысль. Но как бы инородное насильственное волшебство притягивало мой взгляд к незнакомцу, стоявшему все там же, в безжизненном оцепенении, и его вампирственный взор не отпускал меня. Ядовитое презрение, издевательская ненависть угадывались в морщинах лба и в кривящихся устах. В его облике было нечто ужасное — гибельное! Да, это был безвестный художник, виденный мною у Святой Липы. Меня как бы душили ледяные пальцы; страх подернул мой лоб своими испарениями, периоды моей проповеди прерывались, слова запутывались все безнадежнее; в церкви послышался шепот, потом гулкий говор; но в безжизненном оцепенении опирался страшный пришелец на колонну, не сводя с меня недвижимого взора.

Тогда на меня напал адский ужас, и, как бесноватый, завопил я в отчаянье: «Эй, ты, нечистый, сгинь! — сгинь! я же сам... я же святой Антоний!»

Эти слова повергли меня в обморок, а когда я опаматовался, у моей постели сидел брат Кирилл; он меня пользовал и успокаивал. Ужасный посетитель все еще торчал передо мной, и, когда я поделился пережитым с братом Кириллом, я тем более пожалел о своей выходке на кафедре и тем более устыдился, чем настоятельнее уверял меня брат Кирилл в иллюзорности преследующего меня образа, вызванного, по его мнению, моей распаленной фантазией, а это немудрено, когда проповедуешь так страстно и пламенно. По моим сведениям, слушатели подумали, будто меня врасплох застало умопомрачение, и мой последний выкрик давал вполне достаточный повод для подобных выводов. Я был разбит — мой дух пришел в полное расстройство; я заперся в моей келье, наложив на себя суровейшую епитимью, укрепляясь жаркой молитвой в борьбе с искусителем, которого не остановило даже святое место, где он смутил меня, с наглой издевкой присвоив себе черты набожного живописца от Святой Липы.

Кстати сказать, никто не заметил никакой фиолетовой хламиды, а приор Леонардус со своим неизменным доброжелательством неумоимо распространял повсюду слух, будто со мной приключился приступ горячки, свалившей меня с ног во время проповеди, отсюда и мои бессвязные слова; и вправду, я был еще слаб и болен, когда вернулся к привычному монастырскому распорядку. Тем не менее я взошел было на кафедру, но не мог преодолеть изнурительной внутренней боязни, да и ужасный, бледный призрак меня преследовал, так что я едва связывал слова, какое уж тут пламенное красноречие! Мои проповеди потускнели... они стыли... рассыпались. От моих прежних почитателей не укрылась моя несостоятельность, и число их неумоимо таяло; теперь прежний проповедник явно превосходил меня; старичок опять выполнял кое-как свои обязанности за именем лучшего проповедника.

Через некоторое время случилось так, что молодой граф, путешествуя в сопровождении своего управляющего, наведясь в монастырь, имея цель ознакомиться с нашим богатым реликварием. Выполняя свои обязанности, я отпер дверь и впустил туда путешественников, а поскольку приор, показывавший им наш храм и его хоры, вынужден был покинуть нас, я оказался с ними наедине. Я доставал один предмет за другим с подобающими комментариями, и тут граф обратил внимание на резную скриню старинной немецкой работы, а в скрине-то и был поставец с дьявольским эликсиром. Хотя я предпочел бы придержать язык и умолчать о содержимом поставца, оба, и граф, и его управляющий, так настаивали, что я в конце концов поведал им легенду о святом Антонии и коварном дьяволе и описал, точно следуя словам брата Кирилла, сию своеобразную реликвию, пресловутую бутылку, не преминув присовокупить: поставца лучше не открывать, а бутылки лучше не видеть. Граф исповедовал нашу религию, однако он, как и его управляющий, не очень считался со священным преданием. Оба они подняли на смех курьезного дьявола в драной хламиде, из которой выливаются совращающие сосуды, потом управляющий сказал с напускной серьезностью:

— Не обижайтесь на светских вертопрахов, господин монах! Не вздумайте подозревать нас в неверии, мы оба, граф и я, благоговеем перед святыми угодниками, видя в них людей, вдохновленных верой, отрекавшихся от житейских благ и от самой жизни, лишь бы спасти свою душу и человечество; что же касается вашего повествования и подобных ему преданий, то я полагаю, что святой измыслил изощренную аллегорию, которой не поняли и включили ее в жизнеописание как подлинное событие.

Говоря так, управляющий поспешил отодвинуть дверцу поставца, чтобы извлечь черную бутылку причудливой формы. Брат Кирилл не ввел меня в заблуждение: от бутылки действительно шел крепкий дух, однако дух этот отнюдь не цепенил, а, напротив, живительно и сладостно возбуждал чувства.

— Вот это да! — вскричал граф. — Держу пари, эликсир дьявола — не что иное, как доброе, восхитительное сиракузское вино.

— Так оно и есть, — ответил управляющий, — и если сию бутылочку и впрямь завещал святой Антоний, вам, господин монах, мог бы позавидовать и сам король Неаполитанский¹⁰, которого обездолило римское нечестие; ведь римляне не прибегали к пробкам, а полагали, что вино целее, подернутое маслом, так что королю не довелось хлебнуть древнеримского винца. Конечно, это вино моложе римского, но и оно старейшее из нам известных, и вам следовало бы употребить его себе на благо, то есть прикладываться к бутылочке, не говоря худого слова.

— Разумеется, — вставил граф, — ваша кровушка взыграла бы в жилах, восприняв этот сок старейшей сиракузской лозы, и

прогнала бы хворь, от которой, сдается мне, вы страдаете, господин монах.

В кармане управляющего тут же нашелся стальной штопор, которым тот вооружился и открыл бутылку, невзирая на все мои отчаянные заклинания. Когда пробка выскакивала, мне привиделся синий огонек, исчезнувший, впрочем, тотчас же. Винный дух усилился, распространяясь по реликварию. Управляющий пригубил первым и, упоенный, возгласил:

— Доброе — доброе сиракузское! Что и говорить, святой Антоний мог бы похвастаться своим винным погребом, и если дьявол служил у святого Антония виночерпием, он вредил святому меньше, чем принято считать. Вы только попробуйте, граф!

Граф не отказался и засвидетельствовал правоту управляющего. Оба они продолжали зубоскалить по поводу этой реликвии, утверждая, что другие экспонаты не идут с ней ни в какое сравнение, не худо бы наполнить себе погреб такими реликвиями и так далее. Я слушал эту болтовню, не говоря ни слова, уставившись в пол; мне, омраченному горестью, причиняли боль чужие шутки; напрасно гости соблазняли меня вином святого Антония, я остался непоколебим в своей стойкости и запер бутылку в скрыне, предварительно закупорив ее.

Гости отбыли, однако, сидя в моей уединенной келье, я не мог отрицать: внутри меня что-то наладилось, дух мой ожил и превозмог помрачение. Очевидно, один только винный дух уверял меня. Я не замечал ничего похожего на дурные последствия, предреченные Кириллом, напротив, мое состояние заметно улучшалось, и, по мере того как осмысливал я легенду о святом Антонии, слова упраздляющего находили в моей душе созвучный отклик и сам я приходил к выводу: управляющий, вот кто верно истолковывает легенду, — и вдруг меня молнией поразила мысль: в тот роковой день, когда враждебное наваждение так жестоко нарушило строй моих умозаключений, не сам ли я намеревался истолковать легенду подобным образом, то есть как изошренную наставительную аллегория, измышление вещей святости? А эта мысль повлекла за собой другую, овладевшую мной до такой степени, что прочие помыслы растворились в ней. Что если, думалось мне, этот чудный напиток подпитает внутреннее твое существо, вновь затеплит бывший светоч, и новая жизнь воспламенит его? Не обнаружилась ли уже сокровенная предрасположенность твоей души к приятию естественной мощи, таящейся в вине, и тот же самый дух, подавивший немого Кирилла, не восстановит ли твои жизненные силы?

Сколько раз я был готов поступить, как советовал приезжий, но едва я начинал выполнять его совет, некое противодействие отвращало меня от моей цели. Вот-вот, бывало, я отопру скрыню, а в резных узорах как бы проступают зловещие черты живописца, так и сверлит меня его безжизненно острый взгляд, и, потрясенный сверхъестественной жутью, уносил я ноги из рели-

квария, чтобы на святом месте оплакать неудавшееся посягательство. Тем неотступнее преследовала меня мысль, будто вкушение чарующего вина утолит мою духовную жажду и вернет мне силы.

Поистине нестерпимой была для меня снисходительность приора — да и монахов тоже, щадивших во мне умственно поврежденного, и когда поблажки Леонардуса зашли так далеко, что он перестал требовать от меня присутствия на урочных богослужениях впредь до улучшения моего здоровья, я вознамерился в бессонную ночь, исстрадавшись до глубины души, поставить на карту все и подняться на прежнюю духовную высоту или кануть в небытие.

Я встал с постели, зажег светильник от лампадки, горевшей в монастырской галерее перед иконой Девы Марии, и бесшумно, как выходец с того света, пробрался через церковь в мощехранилище. При тусклом мерцании светильника святые на стенах церкви как бы двигались, устремив на меня сострадательные взоры, а на хорах, где стекла не везде были вставлены, в завывании бури как бы слышались жалобные предостерегающие голоса, казалось, мать обращается ко мне из дальней дали: «Медардус, на что ты посягаешь, сынок, не губи себя!»

Но я проник в мощехранилище, и там не было слышно ни звука, и ничто не шевелилось, и я отомкнул скрыню, так и вцепившись в поставец, достал бутылку и глотнул влать!

Пламень хлынул в мои жилы, упоив меня чувством неопишемого благополучия, — я отхлебнул еще, и восторг новой царственной жизни взвился во мне! Поскорее запер я скрыню, куда сунул пустой поставец, поспешил с вожденной бутылкой к себе в келью и спрятал ее под пюпитр.

Тут я поймал падающий ключик; я его отвязал когда-то, боясь искушения; как же я обошелся без него, отпирая скрыню для посетителей, да и только что для себя? Я обследовал связку ключей, — и на поди! — в связке нашелся другой непредусмотренный ключик, он-то и сослужил мне службу дважды, а мне и невдомек.

Как тут было не содрогнуться, однако дух мой, словно выкабавшись из бездны, развлекся красочным мельтешением причудливых образов. Всю ночь напролет не смыкал я глаз, пока не настало безоблачное утро и я не поспешил в монастырский сад, чтобы купаться в лучах солнца, знойным пламенем пылающего за горой. Леонардус и вся братия не упустили из виду, как я переменялся; моей вчерашней бессловесной, замкнутой угрюмости как не бывало; неомраченная жизнь вновь заиграла во мне. Как мне прежде было свойственно, я говорил и говорил пламенно, искусно, словно вещал с амвона. Оставшись со мною с глазу на глаз, Леонардус долго изучал меня, будто пытался заглянуть мне в душу, потом на лице его появилась неуловимая ироническая улыбка, и он сказал:

— Не сподобился ли брат Медардус некоего видения, вернувшего его к жизни притоком свежих сил?

Я почувствовал, что вспыхнул со стыда, ибо вся моя экзальтация, вызванная глотком старого вина, поразила меня в этот миг своей ничтожностью и убожеством. Я весь поник перед Леонардусом, а тот удалился, не вмешиваясь в мои раздумия. У меня было предостаточно оснований остерегаться похмелья: выпитое вино воодушевило меня, но воодушевление могло быстро миновать, сменившись, к моему сокрушению, худшим упадком, но опасения были напрасны; я скорее чувствовал, что ко мне вместе с жизненными силами возвращается юношеский пыл и неутолимое стремление расширить круг моего влияния, а именно этим привлекал меня монастырь. Я не успокоился, пока меня не благословили проповедовать на следующей же праздник. Перед тем как взойти на кафедру, я испил чарующего вина и превзошел самого себя, щеголяя огнем, благолепием и неотразимой мыслью. Вскоре молва разнесла весть о том, что я поправился, и в церкви снова бывало тесно, когда я проповедовал, но чем больше восхищалась мной толпа, тем строже и настороженнее смотрел на меня Леонардус, и во мне пробудилась настоящая ненависть к нему; он представлялся мне всего только жалким завистником и высокомерным чернецом.

Наступал день святого Бернарда, и я пламенно вождедел возможности явить княжне мой светоч во всем его сиянии, и потому обратился к приору с просьбою, не будет ли мне поручено проповедовать в тот день в монастыре цистерцианок. Кажется, Леонардус не ожидал такой просьбы; он ответил мне без обиняков, что сам имел намерение проповедовать и должные распоряжения уже отданы, однако именно поэтому мою просьбу можно удовлетворить беспрепятственно; сам он извинится, сославшись на нездоровье, а я буду проповедовать вместо него.

Все шло как по писаному!

Я повидал мою мать и княжну накануне вечером, но моя душа так сосредоточилась на будущей проповеди в чайные презвойти самого себя, что я остался довольно холоден. В городе уже слышали, что вместо хворого Леонардуса проповедовать буду я, и в церкви собралось большинство образованной публики. Ничего не записывая, а только построив мысли сообразной чередою, я полагался на высокое вдохновение, которому будут способствовать и праздничное богослужение, и собрание верующего народа, и сама церковь с прекрасными высокими сводами, — и вдохновение не преминуло посетить меня. Огненным потоком лились мои словеса, сочетавшие с поминовением святого Бернарда глубокомысленнейшие притчи, правовернейшие умозаключения; я приковывал к себе взоры, читая в них признание и обожание. Но поистине влекло меня и занимало только мнение княжны; я расщитывал, по меньшей мере, на взрыв искреннего восхищения: если, будучи ребенком, я поражал ее, каким же не-

вольным почитанием ответит мне она теперь, угадывая мою сокровенную высокую предназначенность!

Я попросил ее принять меня. Она заочно ответила, что нездорова, не принимает никого и не может сделать для меня исключения.

Это было тем чувствительнее для моего тщеславия, что в гордом самоослеплении я мнил: должна же она, восхищенная, возжаждать моего душеспасительного елєя еще и сверх отпущенного! Мою мать, казалось, удручало тайное горе, и я не позволил себе доискиваться его причин, так как внутреннее чувство возлагало всю вину на меня самого, не подсказывая при этом ничего определенного. Она передала мне письмецо княжны с условием, что я вскрыю его только в монастыре; не успел я вернуться в мою келью, как был крайне поражен, прочитав нижеследующее:

«Твоею проповедью, произнесенной в церкви нашего монастыря, ты поверг меня, мой милый сын (ибо ты все еще сын для меня), в глубочайшее смятение. В твоих речах не слышалось души, всецело обращенной к небу, а если у тебя и было вдохновение, оно не возносило верующего на крыльях серафима, чтобы в святом умилении он узрел Царство Небесное. Ах! Горделивая выпренность твоих речений, видимое усилие сказать побольше броского, ослепительного убеждают меня в том, что ты обращался не к пастве, смиренно взыскающей наставления и священного огня, а к светской черни в поисках успеха и ничтожного обожания. Я увидела твое притворство; ты красовался чувствами, которых чуждалась твоя душа; ты не брезговал старательно заученными минами и телодвижениями, как суетный лицедей, и все это ради пошлого успеха. Ты проникся духом обмана, и он тебя изведет, если ты не придешь в себя и не отвергнешь грех. Ибо грех, великий грех — все, что ты делаешь и творишь, и ты тем грешнее, так как ты отрекся от земного невежества, чтобы посвятить себя небу в праведности монастырского затворничества. Святой Бернард, которому ты сегодня нанес пошлую обиду твоей поддельной проповедью, да простит тебя в своей небесной кротости, и да вразумит он тебя, дабы ты снова распознал праведную стезю, от которой отклонился, подстрекаемый лукавым, и да помолится тогда святой о спасении твоей души! Всякого тебе блага!»

Сотнями молний поразили меня слова настоятельницы, и внутренняя ярость охватила меня; ничто не могло разубедить меня в том, что Леонардус, неоднократно метивший в мои проповеди под подобными же предложениями, воздействовал на приторную набожность княжны, настроив ее против меня и моего искусства. Я едва мог смотреть на него, обуреваемый тайной ненавистью, и порою питал против него такие враждебные помыслы, что сам ужасался. Тем невыносимее были для меня упреки обоим, что в сокровеннейшей глубине моей души подтверждалась их справедливость, но тем непреклоннее коснел я в

моей деятельности и, подбадривая себя время от времени капелькой вина из таинственной бутылки, по-прежнему прилежно разукрашивал мои проповеди всеми заемными ухищрениями риторики, усердно заучивая мимику и жестикуляцию; так я завоевывал успех и вымогал признание.

Красочные лучи утреннего света проникали сквозь расписные стекла окон в монастырской церкви; однако погрузившись в свои размышления, сидел я в исповедальне; под гулками сводами звучали только шаги брата-послушника, подметавшего церковь. Вблизи меня послышалось шуршанье; я обернулся: ко мне приближалась высокая статная женщина, одетая по иноземной моде, лицо под вуалью; она вошла в боковую дверь и направлялась к исповедальне. Каждое ее движение отличалось изяществом; она преклонила колени с глубоким вздохом, шедшим прямо из сердца; казалось, чары ее опутали меня и одурманили еще до того, как послышался ее голос!

Не знаю, как описать этот неповторимый задушевный звук. Каждое ее слово отдавалось у меня в груди, когда она исповедовалась в запретной любви, которую она уже давно и напрасно силится подавить; любовь особенно грешна, ибо возлюбленный навеки связан святыми узами, но в безумии безнадежного отчаянья она уже прокляла эти узы. Она смолкла было, но потом слова все же прорвались, неудержимые, как слезы:

— Кого же, кого же я люблю так, что не могу высказать, если не тебя, Медардус!

Нервы мои дернулись в убийственной судороге, я не владел собой, я никогда еще не испытывал чувств, подобных тому, которое разрывало мне грудь; видеть ее, душить в объятиях — пусть блаженство и боль задушат меня самого, и пусть вечная адская казнь за одну минуту этого упоения. Она молчала, но я слышал ее томительное дыхание. Я собрался с силами в неистовом отчаянье и совладал с собой; что я тогда говорил, я не могу вспомнить, только помню: она молча поднялась и скрылась, а я зажал себе глаза платком и как в столбняке или в обмороке все еще сидел в исповедальне.

К счастью, в церковь было пусто, и я скрылся в моей келье, никому не попавшись на глаза. Как же все изменилось теперь для меня! Все мои притязания показались мне бесплодным чудачеством.

Лик незнакомки не открылся мне, и все же она вселилась в меня со взглядом своих упоительных темно-голубых очей, жемчужины слез осыпались мне в душу, возжигая ненасытный пламень, которого не могли умерить ни молитвы, ни епитимьи. Что там епитимьи, я охаживал себя до крови узловатой веревкой в ужасе перед вечным проклятием, а оно грозило мне, ибо странная гостья повергла меня в пламень греховнейших вожделений, о которых я и не подозревал прежде, и я не чаял уже избавиться от мучительной казни: этой казнью стала для меня похоть.

В нашей церкви был алтарь святой Розалии¹¹ и прекрасный образ ее, запечатлевающий мученицу в миг смерти. То была моя возлюбленная, в этом не было сомнений, даже одеяние ее не отличалось от странного туалета таинственной исповедницы. На ступени алтаря я повергался как бы в гибельном бреду и часами лежал там, ужасая монахов отчаянным завыванием, от которого они шарахались в разные стороны, избегая потом встреч со мной.

Неистовство перемежалось мгновениями, когда я носился по монастырскому саду туда-сюда, и она виделась мне в благоуханной дали, она выходила из кустов, она взлетала над водами, парила над цветущими лугами, везде она, ничего и никого, кроме нее!

Сколько раз я проклял мой обет и мою участь!

Я стремился в мир, чтобы не успокоиться, пока не найду ее, чтобы обладать ею, хотя бы променяв на нее спасение моей души.

Наконец я с превеликим трудом отчасти обуздал мое неистовство, озадачивавшее приора и братию; я ухитрился выглядеть уравновешеннее, но беспощадное пламя продолжало внедряться в меня тем неумолимее.

Какой там сон! Какой там покой!

Образ ее не покидал меня, я корчился на моем жестком одре и заклинал святых, нет, не спасти меня от совращающего морока, одолевавшего меня, не избавить мою душу от вечной гибели, а свести меня с желанной, развязать узы моей клятвы, вернуть мне свободу, а я отпаду и паду во грехе!

Наконец душа моя утвердилась в намерении пресечь мою казнь бегством из монастыря. Мнилось мне, будто пренебречь монашеским обетом — значит уже увидеть желанную в моих объятиях и насытить вожделение, сжигающее меня! Я вообразил, будто никто не узнает меня, стоит мне сбрить бороду и вырядиться на мирской манер, и никто не помешает мне рыскать по городу, пока я ее не добуду, и мне было невдомек, насколько все это мудрено и даже невероятно: без денег продержаться хотя бы день вне монастыря.

Наконец я был готов осуществить мой замысел; мне настолько повезло, что я запасся даже партикулярным платьем, и оставалось только напоследок переночевать в обители, которую я не рассчитывал увидеть когда-нибудь в будущем. Уже свечерело, когда приор неожиданно пригласил меня к себе. Я содрогнулся, так как у меня были все основания опасаться, что он проведал о моем тайном поползновении. Леонардус был со мной строже обычного, и его утонченное благородство невольно потрясло меня.

— Брат Медардус, — начал он, — лично я усматриваю в твоих нелепых выходках лишь крайнее усиление той нездоровой восторженности, которой ты предаешься уже в течение некоторого

времени, быть может, намеренно и с неблагоприятными целями, однако этим ты возмущаешь наше мирное общежитие, да и разрушительно вредишь безмятежному благодущию, вознаграждающему кроткую праведность, а моя деятельность никогда не была рассчитана ни на какую другую награду. Не исключено, что во всем повинны некие неприязненные происки. Тебе следовало бы смело довериться мне, относящемуся к тебе не только дружески, но и отечески, но ты замкнулся в молчании, а я тем более предпочел бы воздержаться от навязчивости, что твое молчание отчасти устраивало меня: твоя откровенность не была бы для меня безболезненной, и мне пришлось бы до известной степени разделить с тобой твое бремя, а мой возраст ничем так не дорожит, как безоблачной ясностью. Преимущественно у алтаря святой Розалии ты изрыгал непристойности, наводящие ужас; ты как бы бредил, но ты преступно вводил во искушение не только брата, но и мирян, случайно заглянувших в церковь; монастырское благочиние обязывало бы меня не давать тебе побрякушек, а прибегнуть к строгости, но я так не поступлю, ибо не исключаю, что не только ты виноват в затмении твоего разума, тут замешано недоброе, уж не сам ли нечистый воспользовался твоей уступчивостью; я лишь велю тебе: упорствуй в покаянии и в молитве. Я прозреваю твою душу — тебя влечет свобода!

Мнилось, будто Леонардус действительно видит меня насквозь; его взор пронзил меня, и я, всхлипывая, повергся перед ним во прах, молча уличая сам себя в дурных помыслах.

— Не осуждаю тебя, — продолжал Леонардус, — и допускаю, что для твоей смятенной души мир целительнее иноческого уединения, особенно если ты будешь блюсти себя в миру, согласно заповедям и обетам. Кто-нибудь из нашей братии должен направиться в Рим. Назначаю тебя нашим послом, и уже завтра тебе надлежит отбыть со всеми верительными грамотами и указаниями. Ты как никто другой пригоден для такого поручения; твой возраст, сноровка, деловая сметка и твой итальянский язык — все говорит за тебя. А теперь затворись в твоей келье и дай себе труд от всей души помолиться за ее спасение, моя молитва будет заодно с твоей; только не казни больше своего тела, ты только изнуряешь себя, а тебе предстоит путешествие. Ранним утром посети меня здесь на прощание.

Реченья праведного старца озарили мне душу небесным излучением; я ненавидел его, а тут отрадным страданием пронизала меня любовь к нему, узы, которые я привык считать неразрывными. Я проливал горячие слезы, я прильнул к его рукам. Он обнял меня, и у меня мелькнула мысль, не угадывает ли он мои сокровеннейшие помыслы; не отсюда ли та свобода, в которой не отказывает мне он; дескать, предайся судьбе, помыкающей тобой, упейся, быть может, минутой, а потом пусть хоть вечная погибель.

Итак, надобность в бегстве отпала, ничто не мешало мне

выйти из монастыря и беспрепятственно гнаться за ней без усталости, за ней, пока не настигну ее, ибо нет мне без нее ни покоя, ни благополучия. Я даже подозревал, что Леонардус был рад случаю удалить меня из монастыря и вся затея с верительными грамотами не имела другой цели.

Всю ночь напролет я молился и предуготовлялся к путешествию; я нашел флягу для чарующего вина, так как не предполагал уже обойтись без привычного возбuditеля, а порожнюю бутылку от эликсира водворил обратно в поставец.

К немалому моему удивлению, я узнал, выслушав обстоятельнейший наказ приора, что мое посольство в Рим было вполне обоснованным; на меня возлагалось, от меня ожидалось и требовалось многое. Сердце мое укоряло меня: едва выйдя из монастыря, я без всяких оправданий намеревался злоупотребить моей свободой; но она пришла мне на ум, и я собрался с силами, чтобы непоколебимо осуществлять свои умыслы.

Меня провожала братия, и прощание с ними, не говоря уже о прощании с отцом Леонардусом, оказалось тягостнее, чем я мог ожидать. Но вот за мною захлопнулись ворота монастыря, и, оснащенный для далекого путешествия, я был свободен.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Первые шаги в миру

Подернутый голубой поволокой, внизу в долине вырисовывался монастырь; прохладный утренний ветер веял сквозь воздушные течения, и с ним доносились ко мне ввысь молитвенные хоралы братьев. Я не мог не петь вместе с ними, это было сильнее меня. Огненно жаркое солнце встало за городом, его искристое золото засверкало среди деревьев, и с веселым шелестом яркие самоцветы росы посыпались на пестрых насекомых, которые взлетали тысячами, жужжа и кружась. Птицы взмывали спросонья; они щебетали восторженно и, милуясь в беспечном упоении, мельтешили в лесу.

Целое шествие деревенских парней и девушек в праздничных нарядах поднималось на гору.

«Благословен Господь наш Иисус Христос!» — возгласили они, поравнявшись со мной.

«Днесь, присно и во веки веков!» — отозвался я, и как будто новая жизнь, преисполненная отрадной свободы, снизошла на меня тысячами своих блаженных обетований.

Никогда еще я не испытывал ничего подобного; я как бы не узнавал самого себя и, захваченный, воодушевленный пробуждением новых сил, устремился вниз по лесистому склону. Я осведомился у встречного крестьянина, как добраться туда, где

мне было предписано на первый раз переночевать, и он в точности обрисовал мне тропу, ведущую в гору, в сторону от большого.

Мое одинокое странствие продолжалось достаточно долго, когда мои мысли вдруг снова обратились к Незнакомке и к невероятной затее настигнуть ее. Однако ее внешность была как бы изглажена непостижимым, инородным вмешательством, и я лишь с некоторым усилием представлял себе ее поблекшие, выветрившиеся черты; как я ни силился мысленно удержать мечтание, оно тем безвозвратнее затуманивалось.

Мне явственно виделось лишь бесчинное неистовство, которому я предавался в монастыре после того странного происшествия. Я диву давался, как это приор так долго и с такой снисходительностью мирволил мне да еще направил в мир вместо того, чтобы приговорить меня к подобающему покаянию. Я уже больше не сомневался в том, что неведомая посетительница лишь померещилась моему переутомленному воображению, но, если прежде я усмотрел бы в губительно прелестной грезе вечные ковы Лукавого, то теперь я истолковывал ее всего лишь как заблуждение моих собственных мятущихся чувств, что как будто подтверждало само сходство одеяний, едва ли не одинаковых у мнимой пришельцы и у святой Розалии, чей живописный образ я действительно мог созерцать из моей исповедальни хотя бы издалека и в косвенном направлении, однако это, по-видимому, не уменьшило его влияния. Тем глубже трогала меня мудрость приора, сообразившего, как лучше исцелить меня, ибо, заточенный среди монастырских стен, в гнетущем присутствии одних и тех же вещей, непрерывно углубляясь, въедаясь в себя самого, я и вправду впал бы, чего доброго, в безумие, жертва мечтания, еще более красочного, пламенного и дерзкого в уединенности. Мне все более нравилась мысль о том, что я только поддался бреду, и я уже чуть ли не смеялся над самим собой в скептическом озорстве, так мало похожем на мою обычную душевную настроенность; я уже издевался в глубине души над обольщением, уверяющим, будто в меня влюблена святая, а сам я не кто иной, как святой Антоний.

Уже не один день брел я горами, а вокруг все еще устрашающе высились обрывистые жуткие утесы, и узкие тропинки еле держались над бешено кипучими лесными ручьями; чем дальше, тем больше настораживал и отпугивал безлюдный путь. Почти достигнув зенита, солнце нещадно пекло мою непокрытую голову, я изнывал от жажды, но родников поблизости не было, да и деревня все не появлялась, а ведь я уже должен был бы туда попасть. Совершенно изнуренный, опустился я на каменную глыбу, сорвавшуюся с горной кручи, и не мог отказать себе в глотке из фляги, хотя и предпочитал не расходовать без крайней нужды таинственное зелье. Новый пыл взыграл в моих жилах, взбодрив и подкрепив меня, так что я ринулся вперед в

уверенности, что до искомого уже рукой подать. Однако еловые дебри отнюдь не редели вокруг, в сумрачной глуши тишина нарушалась неким звуком, и вскоре донеслось пронзительное ржание: там была привязана лошадь. Я прошел еще немного, и на меня напала оторопь: прямо передо мной разверзлась отвесная зловещая бездна, куда, окаймленный непреступными зубчатыми отрогами, низвергался лесной ручей, шипя, рокоча и бушующая; к его громopodobному неистовству я и прислушивался вдали. Прямо, прямо над гибельной кручей торчал уступ, на котором сидел молодой офицер в мундире; шляпа с высоким плюмажем, шпага и бумажник лежали подле него. Он прикорнул над бездной; туловище его свисало в пустоту, и он, как бы сонный, соскальзывал туда на глазах, так что не мог в конце концов туда не рухнуть.

Я рванулся к нему и протянул руку, чтобы воспрепятствовать неминучему; я громко закричал:

— Сударь! Ради Христа, проснитесь! Ради Христа!

Мое прикосновение, по-видимому, действительно разбудило его; он встрепенулся, стряхивая сон, и в тот же миг сверзился со своего предательского одра; тело его загремело в пропасть, члены его громко дробились, срываясь с одного каменного зубца на другой; отчаянный вопль послышался далеко внизу; он сменился приглушенным всхлипываньем, наконец, и всхлипыванья не стало. Я остался на уступе вне себя от невыносимого ужаса, потом, завладев шляпой, шпагой и бумажником, побежал было стремглав от этого гиблого угла, но тут некий молодчик, одетый по-охотничьи, вышел из-за ели и сперва уставился мне в лицо, а потом так прыснул со смеху, что я содрогнулся в ледяном ознобе.

— Вот это да, милостивый господин граф, — молвил, наконец, молодчик, — вот это маскарад так маскарад, лучше не придумаешь, и если бы милостивая госпожа не была в курсе дела, она, пожалуй, сама дала бы маху и не угадала бы своего милого, право слово. А как от мундира-то вы избавились, милостивый господин?

— Ищи его теперь в пропасти, — буркнуло что-то во мне, ибо вовсе не я ответил этими словами, они сами вылетели из моих уст помимо меня.

Я все еще не мог опомниться и стоял как вкопанный, уставившись и пропасть, не возникнет ли оттуда окровавленный труп графа, обличая меня. Мнилось, не я ли убил его, и некая судорога не позволяла мне выпустить из рук его шпагу, шляпу и бумажник.

А молодчик продолжал как ни в чем не бывало:

«Отправляюсь-ка я, сударь, теперь в городишко, туда, под гору, и притулюсь там в доме налево от городских ворот, вам же небось не терпится попасть в замок, где ждут вас не дождутся, дайте-ка я прихвачу шляпу и шпагу».

Я вручил ему их без возражений.

— Так будьте здоровы, господин граф! Дай Бог вам хорошо провести время в замке, — крикнул молодчик и запел и засвистел, исчезая в чаще. Я понял, чья лошадь была там привязана; теперь он увел ее.

Когда я стряхнул с себя оцепенение и собрался с мыслями, я никак не мог разубедить себя в том, что случай сыграл со мной странную шутку, а я послушно уступил ему, ввержен его внезапным оборотом в причудливейший переплет. Очевидно, я был так похож лицом и телосложением на злополучного графа, что его собственный егерь принял меня за своего хозяина, которого угораздило именно в облачении капуцина искать приключений в соседнем замке. Итак, он погиб, а капризный рок мгновенно подменил его мною. Я не мог совладать с собою в безотчетном стремлении покориться року, перенять роль графа, и этот соблазн взял верх над внутренним голосом, уличавшим меня в смертоубийстве и в безумном посягательстве. Я не отдал бумажника и заглянул в него; мне бросились в глаза письма и внушительные векселя. Конечно, бумаги и письма позволили бы мне глубже заглянуть в прервавшуюся жизнь графа, но я был так возбужден тысячами помыслов, мелькавших у меня в уме, что не удосужился сделать этого.

Я пустился было в путь, но вновь задержался, — сел на каменную глыбу и попытался успокоиться; я же видел, какая опасность подстерегает меня среди неведомых превратностей, но в лесу весело зазвучали охотничьи рога, многоголосый говор приближался ко мне с торжествующими, беззаботными возгласами. Сердце так и выпрыгивало из моей груди, я не мог совладать с моим дыханием; неизведанный мир, неведомая жизнь призывала меня! Узкая тропа повлекла меня вниз по крутизне; кусты расступились, явив мне в долине творение искусного зодчего: то был замок. Вот где граф намеревался искать приключений, и я, не дрогнув, устремился туда. Замок был окружен парком, и я сразу же углубился в его тень; сумрачная аллея вводила в сторону от замка; я увидел, как по этой аллее бродят двое, один из них носил облачение духовного лица. Они поравнялись со мной, не заметив меня при этом, и пошли дальше, захваченные волнующим разговором. В облачении был юноша, чье прекрасное лицо мертвенной бледностью выдавало затаенную, ненасытную печаль; его собеседник выглядел гораздо старше, одетый безупречно, хотя и скромно. Они сели на каменную скамью, повернувшись ко мне спиной; от меня не ускользало ни единое слово.

— Гермоген, — говорил тот, кто постарше, — ваше непреклонное молчание убивает всех ваших близких, ваше беспросветное уныние усиливается день ото дня; как ни сильна ваша юность, и она приметно чахнет, ее цвет увядает, а ваше намерение принять духовное звание уничтожает все надежды, перечер-

кивает все замыслы вашего отца. Но ведь он готов был бы пожертвовать всеми этими надеждами, если бы врожденная предрасположенность к уединению двигала вами, склоняя к подобному обету; тогда бы он не дерзнул противостоять судьбе, как бы сурова ни была она к нему. Однако лишь с некоторых пор вас нельзя узнать; вы переменялись так разительно и так непоправимо, что дело не могло обойтись без потрясения, чьи мучительные последствия все еще сказываются, хотя вы и предпочитаете не говорить о них. Вы же всегда отличались такой непосредственной, поистине юношеской доверчивой веселостью! Что же так отвратило вас от простой человечности, почему вы не ищете утешения для вашей страждущей души в сердце вашего ближнего? Опять молчание? Опять неподвижный угрюмый взгляд? Опять вздох? Гермоген! Вы ли не любили вашего отца, как любит не всякий сын, и если теперь ваше сердце непостижимым образом замкнулось перед ним, избавьте его хотя бы от необходимости видеть вас в этой рясе: она ужасает его, подчеркивая вашу невыносимую для него непреклонность. Гермоген, умоляю вас: долой это нестерпимое облачение! Уверю вас, от наружного убранства исходит порой таинственное влияние; не обессудьте, но чтобы выразиться яснее, позволю себе сравнение, неуместное на первый взгляд; сошлюсь на лицедея, который гримируется, чтобы приобщиться к чужой душе и достовернее уподобиться сценическому персонажу. Я, может быть, допускаю излишнюю вольность, как мне свойственно, не взыщите, но не думаете ли вы, что эта длинная хламида связывает вас, обязывая ступать важно, с мрачным видом, и, стоит вам сбросить ее, вы зашагаете по-прежнему бодро, проворно, а то и побежите вприпрыжку, как бегали, кажется, намедни? Эполеты так и вспыхнут у вас на плечах, возвращая краски юности вашим бледным щекам; ваши звонкие шпоры приятной музыкой издали взбудоражат вашего ретивого коня, и он встретит вас ржанием, нетерпеливо гарцуя и выгибая шею перед милым всадником. Так что же вы, барон? Прочь эту заемную, долгополую мрачность, она так не идет вам! Не послать ли Фридриха за вашей офицерской формой?

Старик поднялся со скамьи и чуть было не ушел, однако юноша упал ему в объятия.

— Ах, пощадите меня, мой добрый Рейнгольд! — приглушенно воскликнул он. — Вы делаете мне так больно, что у меня нет слов. Ах, к чему ваши усилия затронуть во мне струны, столь стройные прежде! От этих усилий лишь чувствительнее мне мертвая хватка судьбы, удушающая меня, так что мне остается лишь дребезжать в диссонансах, как поврежденная лютия.

— Вы заблуждаетесь, любезный барон, — возразил старик, — вы жалуетесь на беспощадную судьбу, которая душит вас, и не хотите сказать, что же, собственно, вас постигло; однако семь бед один ответ; вы же молодой и сильный, вам ли не хватает

юношеского огня, чтобы вооружиться против судьбы с ее мертвой хваткой, вам ли не подняться над этой самой судьбой, когда все ваше существо пронизано божественными лучами, когда ваша высшая природа неустанно пробуждается, возгораясь, чтобы вознести вас над здешной убогой, страдальческой юдолью! Мне, признаться, невдомек, барон, какое предопределение могло бы подавить вашу несгибаемую внутреннюю мужественность.

Гермоген шагнул назад и, устремив на старика взор, мрачно пламенеющий подавленной угрожающей яростью, крикнул голосом, как бы доносящимся из безжизненной пустоты:

— Так знай же, что я сам себе беспощадный рок; я сам себя сокрушу, ибо на мне тяготеет неопишное злодеяние, позорное бесчинство, для которого нет другого искупления, кроме скорби и самоуничтожительной казни. Пожалей меня, умоли моего отца, чтобы он меня не удерживал; мое место в монастырских стенах...

— Барон, — прервал его старик, — ваши чувства в полном смятении, вот и напал на вас такой стих; как же не удерживать вас, не удерживать вас нельзя. Со дня на день приедут баронесса и Аврелия, хоть ее-то дождитесь!

В ответ раздался смех юноши, устрашающе издевательский; при этом голос его оледенил мне душу:

— Ее-то? Дождаться? Да, старик, что правда, то правда; мне бежать не подобает; здесь моя епитимья будет невыносимее, чем в самом затхлом затворе.

Он бросился в кусты, а старик, оставшись один, закрыл лицо руками, словно весь был охвачен нестерпимой болью.

— Благословен Господь Иисус Христос, — сказал я, шагнув к нему.

Я застиг его врасплох; он был явно удивлен моим появлением, однако быстро собрался с мыслями и, что-то вспомнив, сказал:

— Ах, так это же вы, ваше преподобие! Не вашим ли посещением надеется госпожа баронесса утешить скорбящую семью?

Услышав от меня утвердительный ответ, Рейнгольд воспрянул духом, по всей вероятности вообще не будучи склонен к мрачному унынию, и, окруженные красотама парка, мы направились к замку, подле которого оказалась беседка, откуда хорошо было любоваться живописными горами. Расторопный слуга, случившийся как раз на пороге замка, не заставил себя ждать, и вскоре мы уже сидели за роскошным завтраком. Под звон полных стаканов я не мог отделаться от ощущения, будто Рейнгольд пристально изучает меня, силясь вспомнить нечто полузабытое. Наконец его осенило:

— Господи, ваше преподобие, или я совсем попал впросак, или вы отец Медардус из монастыря капуцинов, что в ...р. Неужто? Быть не может... и все-таки! Это вы и есть, право слово! Скажите сами, ошибаюсь я или нет!

Молния из ясного неба поразила бы меня меньше, чем слова Рейнгольда, от которых я затрепетал всем телом.

«Я обречен, разоблачен, уличен в убийстве», — такая мысль мелькнула у меня в голове. Я уяснил, что дело действительно доходит до петли, и на помощь мне пришло мужество отчаянья:

— Да кто же я, если не отец Медардус из монастыря Капуцинов в ...р, полномочный посол моего монастыря, направляющийся в Рим?

Моя невозмутимость и уравновешенность оказались достаточно убедительными при всей своей наигранности.

— Возможно ли, — откликнулся Рейнгольд, — стало быть, вы просто потеряли верную дорогу и свернули к нам по ошибке. А ведь госпожа баронесса знает вас. Разве вы здесь не по ее приглашению?

Некое постороннее шептание послышалось во мне, и я очертя голову напропалую повторил его подсказку:

— Путешествие свело меня с духовником баронессы; вот он и уведомил меня, что во мне здесь нуждаются.

— Так и есть, — подтвердил Рейнгольд, — все согласно письму госпожи баронессы. Остается только благодарить Небеса, указавшие вам путь к этому дому нам во спасение, дабы вы, муж праведный и добродетельный, соблаговолили уделить нам время, а уж мы никогда не забудем вашей доброты. Несколько лет назад мне случилось побывать в ...р, там я слышал ваши душеспасительные словеса, поистине божественным вдохновением веяло с вашей кафедры. Я верю, что вы истый праведник, призванный спасать вашим пылом заблудшие души, и внутреннее воодушевление ваших возвышенных увещаний превзойдет в своей целительности все потуги нашей помощи. Хорошо, что я опередил барона в общении с вами; это дает мне возможность поведать о том, что происходит в семье, и я не утаю от вас ничего, иначе я согрешил бы перед вашим саном и святостью, предназначенной, сдается мне, самим Небом для нашего утешения. Да и помимо всего прочего, боюсь, даже вы не преуспеете без некоторых сведений, которых я, признаться, предпочел бы не давать, но, пожалуй, только они могут придать верное направление и подобающую действенность вашим начинаниям. Кстати, дело не требует многословных изъяснений.

Барон и я были неразлучны с младенчества; родство душ сделало нас братьями и разрушило ту перегородку, которую грозили возвести между нами сословные различия. Я сопутствовал барону везде и во всем, и когда мы вместе завершили образование, он вверил моему надзору имения, которые здесь в горах унаследовал от своего покойного отца.

Я всегда был его наперсником и братом, так что в его домашней жизни для меня никогда не было тайн. Его отец вознамерился бракосочетанием сына скрепить узы, связующие его с друженственной семьей, и сын подчинился ему с непритворной готовностью, так как его суженая неодолимо влекла своего жениха и своею красотой, и другими достоинствами, которыми в

изобилии наделила ее природа. Не часто бывает, чтобы родительская воля так соответствовала взаимной склонности детей, как будто сама судьба предназначила их для супружества. От этого счастливого союза родились Гермоген и Аврелия. Как правило, мы проводили зиму в столичном городе, благо замок располагался по соседству с ним, но родилась Аврелия, и здоровье баронессы заметно ухудшилось, так что нам пришлось и лето проводить в городе, поскольку беспрестанно требовались услуги сведущих лекарей. Баронесса умерла, когда приближающаяся весна совсем было обнадежила барона мнимым ее выздоровлением. Наш отъезд в имение был, в сущности, бегством, так как не оставалось другого средства от печали, снедающей барона, кроме всеисцеляющего времени.

Между тем Гермоген был уже красивым юношей, Аврелия обещала со временем стать точной копией своей матери, мы заботливо воспитывали брата и сестру, что заполняло и скрашивало нашу будничную жизнь. Гермоген определенно хотел стать военным, и барону не оставалось ничего другого, кроме как отпустить его в столичный город и вверить попечению своего старого друга губернатора, дабы юноша мог сделать первые шаги на избранном поприще.

Всего три года тому назад барон с Аврелией и со мной остался, как бывало, на зиму в городе, во-первых, для того, чтобы не разлучаться надолго со своим сыном, но также и потому, что старые друзья соскучились по нему и непременно желали с ним видеться. Светское общество в столичном городе находилось в то время под впечатлением, которое производила на него губернаторская племянница, в недавнем прошлом причастная к придворным кругам. Она рано потеряла родителей и прибегла к покровительству своего дяди, занимая отдельный флигель при дворце, что давало ей определенную независимость и возможность составить свой круг изысканных знакомств. Так как нет надобности подробно характеризовать Евфимию, ибо вам самому, преподобный отец, предстоит составить о ней мнение в ближайшем будущем, ограничусь тем, что отдам должное ее неописуемому очарованию: оно оживляло ее манеры и ее слова, доводя ее редкую природную красоту до такой степени, что она покоряла буквально всех и каждого. Стоило ей появиться, и вокруг нее все волшебным образом обновлялось, и ее превозносили с пламенностью, доходящей до экстаза; она была способна разжечь даже флегматическую посредственность, и та, как бы замороженная, возносилась над собственной ущербностью и упоенно купалась в горних сферах, о которых прежде не смела и мечтать. Разумеется, не было отбою от обожателей, пылко поклонявшихся изо дня в день своему идолу; однако не было и никаких оснований утверждать, что она определенно удостаивает своей благосклонностью того или иного, напротив, ее лукавая ирония обладала способностью манить всех, никого не унижив, только

сдобрив и возбудив общение, залучив окружающих в нерасторжимые тенета, чтобы они, околдованные, с удовольствием и радостью вращались вокруг нее. На нашего барона чары этой Цирцеи¹² подействовали в особенности. Когда он впервые посетил ее, она приветила его, выказав перед ним чуть ли не дочерний пиетет; беседа с бароном, она обнаруживала утонченнейшую рассудительность в сочетании с проникновенной чувствительностью, как правило не свойственной женщинам. А с каким неподражаемым тактом приняла она Аврелию и добилась ее привязанности, не скупясь на душевную теплоту, входя в малейшие подробности ее туалета, трогательно внимательная, как настоящая мать. Она так мудро и ненавязчиво поощряла наивную неискусненную девушку, теряющуюся в светском блеске, что все понимали, как умна от природы и как чувствительна ее бесхитростная протезе и как высоко следует ценить ее душевные качества. Барон просто удержу не знал в похвалах Евфимии, а я никак не мог с ним согласиться, и рознь между нами проявилась впервые по этому поводу, немислимая до сих пор.

Я на привык высказываться и разглагольствовать на людях, предпочитая наблюдать и слушать. Когда Евфимия и меня удостоила кое-каких любезностей (она никого не оставляла без внимания), я начал пристальнее присматриваться к ней и нашел ее очень интересной. Я не мог отрицать, что она превосходит всех женщин красотой и привлекательностью, что каждое ее слово блещет мыслью и согревает чувствительностью, но что-то настораживало меня при этом, и я не мог отделаться от некоторой неприязни, которую мгновенно вызывал ее взор или слово, обращенное ко мне. Когда она сама не чувствовала на себе ничьих взглядов, ее глаза неожиданно вспыхивали, и в них прорывались искристые молнии, как будто давало себя знать сокровенное тлетворное излучение вопреки всем усилиям затаить его. При этом на ее нежных губках нередко проступала презрительная издевка, доводившая меня до содрогания невольным выражением циничного сарказма. А поскольку она часто метала подобные взгляды и сторону Гермогена, более или менее равнодушного к ней, я убеждался, что красивая маска скрывает неведомое никому и недоброе. Барон восхищался Евфимией сверх всякой меры, а мои физиогномические замечания были, разумеется, слабым возражением в ответ на его восторги; он без труда опровергал их, усматривая в моем внутреннем предубеждении лишь кричащий случай идиосинкразии. Барон конфиденциально предупредил меня, что намерен породниться с Евфимией и считает в высшей степени желательным ее брак с Гермогеном. Я упорствовал и не жалел доводов, предостерегая барона, когда в комнату вошел Гермоген и барон, продолжавший серьезно настаивать на своем, действуя по своему обыкновению решительно и напрямик, поделился с ним своими планами и намерениями в отношении Евфимии.

Гермогена это не взволновало, и он остался совершенно хладнокровен в ответ на восторженные дифирамбы барона по адресу Евфимии. Когда барон замолчал, юноша заявил, что эта дама ему безразлична, ни о какой любви не может быть и речи и потому он умоляет не предлагать ему больше такого союза. Немедленное крушение излюбленного плана застало барона врасплох, однако у него не было оснований настоятельнее склонять Гермогена к желательному согласию, ибо барон не имел никакого представления о том, как настроена сама Евфимия.

При этом барон отличался отходчивостью и со свойственной ему сердечностью вскоре счел комической свою неудачу, предположив, что Гермоген, должно быть, заразился от меня моей идиосинкразией, хотя для него самого непостижимо, как можно усматривать нечто зловещее в такой интересной, обворожительной особе. Разумеется, сам он ничуть не охладил к Евфимии и чувствовал такую потребность в общении с ней, что день, проведенный в разлуке, был для него невыносим. И вот случилось так, что, поддавшись беспечной задушевной веселости, он шутки ради заметил, что в их кругу лишь один человек ухитрился не влюбиться в Евфимию и этот человек Гермоген. В самом деле, кто, кроме Гермогена, так упорно отвергал бы бракосочетание с нею вопреки настоящему совету своего отца?

Евфимия ответила, что ее мысли по этому поводу тоже следовало бы принять к сведению, что дальнейшее сближение с бароном для нее весьма желательно, но она предпочла бы обойтись при этом без Гермогена, слишком педантичного и капризного на ее вкус. Барон сразу же пересказал мне этот разговор, а Евфимия с того времени вдвое щедрее принялась осыпать барона и Аврелию знаками своего расположения; более того, она порою намекала барону вскользь на то, что мечтает выйти за него замуж и только в этом замужестве усматривает идеал счастливого брака. Она решительно отметала все, что можно было сказать о различии возрастов и других препятствиях, а сама притом продолжала наступление, да так непринужденно, так мило, так уверенно продвигаясь вперед, что барон принимал подсказки и наущения, как бы внедряемые Евфимией ему в душу, за свои собственные заветные чаянья. Он был еще достаточно свеж, силы в нем не иссякли; и не мудрено, что он вскоре воспылал любовью, как юноша. Мне ли было укрощать его буйный полет, я упустил время, да и ход событий слишком ускорился. Не успело столичное общество оглянуться, как Евфимия вышла замуж за барона. А мне, признаться, казалось, что темная угроза, страшившая меня издали, приблизилась к своей жертве, и мне предстоит бдительно стеречь моего друга и остерегаться при этом самому. Гермоген остался холоден, узнав об отцовском бракосочетании. Аврелия, чуткая любящая девочка, ответила на это известие обильными слезами.

Сразу же после венчания Евфимия пожелала переселиться в

горы, что и было исполнено; не могу не сказать, что я невольно начал восхищаться ею, настолько покорила она меня своей неизменной любезностью. Два года протекли в безмятежном и беспрепятственном наслаждении жизнью. Дважды мы переезжали на зиму в столичный город, но и здесь баронесса так беспредельно благоволила перед супругом, с такой предупредительностью откликнулась на малейшие оттенки его желаний, что ядовитая зависть прикусила себе язык, а молодые шеголи, мечтавшие на свободе поволочиться за баронессой, не отваживались даже злословить. Прошлой зимой, пожалуй, лишь я один под влиянием моей застарелой, едва ли изжитой идиосинкразии вновь насторожился в ожидании худшего.

До бракосочетания с бароном среди наиболее пылких обожателей Евфимии выделялся граф Викторин, молодой красавец, гвардии майор, бывавший в городе лишь наездами, и Евфимия уступала подчас мгновенному искушению, изменяя своему кокетливому беспристрастию и оказывая графу безотчетное предпочтение. Ходили даже слухи, что граф куда более короток с Евфимией, чем предположил бы безучастный наблюдатель, однако кривотолки сошли на нет, не успев распространиться. В ту зиму граф Викторин снова посетил столичный город и, конечно, вращался в тех же кругах, что и Евфимия, однако он, казалось, не только не ухаживает за ней, а, напротив, сторонится баронессы. Тем не менее меня встревожили их взоры, которые встречались, когда тот и другая могли предположить, что соглядатаи отвлеклись: в этих взорах пламенело желание, вспыхивал пожирающий огонь мучительного, нестерпимого влечения. Однажды у губернатора был вечер, и съехались знатнейшие гости; я стоял вплотную к окну, и ниспадающие складки изысканных занавесок наполовину скрывали мое присутствие, но в двух-трех шагах от меня я увидел графа Викторина.

К нему порхнула Евфимия, чей туалет был соблазнительнее, чем обычно, и сама она была хороша, как никогда; он поймал ее руку тайком ото всех, кроме меня; страсть выдала себя этим движением, баронесса явно содрогнулась, и на него упал ее взор, — что за взор! — невыразимо жгучая любовь, рвущаяся к чувственному утолению, пылала в этом взоре. Они прошептали несколько слов, я не расслышал их. Должно быть, я привлек внимание Евфимии, она стремительно обернулась, и тут уж я услышал: «Мы не одни».

Я остолбенел, потрясенный, подавленный, раненный в самое сердце! Ах, преподобный отец, если бы мне излить перед вами мои чувства! Вспомните, как я любил барона, как я был к нему привязан, как предан; вспомните о моих подозрениях, они подтвердились; несколько слов убедили меня: у графа с баронессой тайная интрига. Пока еще я не имел права разоблачить ее, однако решил быть начеку, как многоглазый Аргус¹³, и в случае явного преступления разорвать постыдные тенета, которые она

уготовила моему несчастному другу. Кто может, однако, противиться сатанинским козням; все мои ухищрения были обречены на неудачу, на полную неудачу; барон только расхохотался бы, когда бы я поведал ему, что видел и слышал; плутовка и тут бы вывернулась, выдав меня за пошляка или за безрассудного монаха, страдающего галлюцинациями.

Снег еще не растаял в горах, когда мы переехали сюда миновавшей весной, однако я нередко отправлялся гулять в горы, и вот в ближней деревне мне повстречался крестьянин, в поведении которого чувствовалось притворство; он обернулся, и что же? То был граф Викторин, однако в ту же минуту он исчез за домами и больше не попадался мне. Несомненно, он вырядился простолюдином с ведома баронессы! Теперь-то я точно проведал, что он обретается здесь, я видел его егеря в седле, хотя мне и было невдомек, почему бы ему не свидаться с баронессой в городе. Три месяца назад случилось так, что губернатор сильно занемог и позвал к себе племянницу; Евфимия немедля отбыла к нему вместе с Аврелией, а сам барон остался дома лишь потому, что ему нездоровилось. Тут и постигла наш дом напасть и немалая скорбь, ибо вскоре барон получил от Евфимии письмо, извещающее, что у Гермогена внезапно обнаружилась меланхолия, осложняющаяся припадками буйного помешательства, что он избегает общества, клянет себя и свою судьбу и вопреки всем попечениям друзей и медиков никакого улучшения не наступает. Сами посудите, преподобный отец, как такое письмо должно было подействовать на барона. Свидание с безумным сыном, пожалуй, доконало бы его, и поэтому я вместо него съездил в город. Гермогена подвергли усиленному лечению, и он больше не буйствовал, однако его тихую меланхолию врачи не брались лечить. Встреча со мной глубоко взволновала его — он сказал мне, что не судьба ему оставаться в своем нынешнем звании, что на нем проклятие и разве только монастырь может избавить его душу от вечной гибели. Я нашел его уже в том облачении, которое вы, преподобный отец, только что видели; я с превеликим трудом вынудил его наконец приехать сюда. Он ведет себя тихо, однако упорствует в своем намерении, а главное, никак не удается выяснить, какое происшествие повергло его в нынешнее расстройство, хотя, если бы мы узнали эту тайну, нашлось бы, пожалуй, и действенное средство от его недуга.

Не так давно баронесса известила нас письмом, что ее духовный отец рекомендовал ей иеромонаха, чье посещение и увещание, утешив больного, могут лучше всего прочего подействовать на Гермогена, ведь он тронулся, по-видимому, на религиозной почве. И как же я рад, что этот иеромонах не кто иной, как вы, преподобный отец; на наше счастье, именно вы случились в столице. Вам под силу восстановить мир в сокрушенном доме, и да благословит Бог ваши начинания, чтобы вам не упустить из виду ни одну из обеих целей. Исследуйте, что за тайна мучит

Гермогена; он свободно вздохнет, высказавшись хотя бы на святой исповеди, и сама Церковь обратит его, чтобы он вновь обрел отрадную жизнь в свете, которому принадлежит, не погребать же ему себя в обительских стенах! Однако и от баронессы не отдаляйтесь. Я ничего не скрыл от вас. Ведь вы не будете отрицать: пусть на моих показаниях не построишь обвинительного заключения, мнимыми или совсем неосновательными их тоже не назовешь. Вы убедитесь, что я прав, как только с нею свидетесь и познакомитесь. Она верующая, темперамент располагает ее к этому, а вы мастер увещевать; затроньте же поглубже ее сердце; вы потрясете ее и, быть может, исправите: вдруг она одумается и перестанет рисковать вечным блаженством, а ведь супружеская неверность ведет к гибели. И еще одна подробность, преподобный отец! Бывают минуты, когда я подзреваю, что душу барона тоже терзает кручина, которой он не делится даже со мною; конечно, он озабочен здоровьем Гермогена, но, боюсь, не преследует ли его постоянно еще какая-то дума. Я начинаю опасаться, не напал ли он, чего доброго, на след более отчетливый, не убедился ли, что баронесса уже путается с этим графом, пропади он пропадом. Барон — мой сердечный друг, так не оставьте и его вашим духовным иждивением, преподобный отец!

Такими словами Рейнгольд завершил свое повествование, мучительное для меня во многих отношениях, так как в душе моей пересеклись необычайнейшие противоречия. Подлинное мое «я» превратилось в лютую игру прихотливейших обстоятельств и, распавшаяся в чужеродных образах, качалась, как в море, без всякой опоры на бешеных волнах превратностей, захлестывающих меня. Я безнадежно потерял самого себя. Викторин явно был ниспровергнут в бездну моей рукой, хотя и не моя воля двигала ею, а случай; теперь на его месте я, однако Рейнгольд видел отца Медардуса в монастыре капуцинов, что в ...р, и для него я по-прежнему я. Роман с баронессой, затеянный Викторинем, падает теперь на мою голову, ибо Викторин — это я. Я тот, за кого меня принимают, а принимают меня не за меня самого; непостижимая загадка: я — уже не я.

Так или иначе, мне удалось скрыть внутреннюю бурю и сохранить в присутствии барона невозмутимость, пускай притворную, но достаточно характерную для предполагаемого священника. Барон был весьма немолод, и черты его лица потускнели, намекая, однако, на былую силу и полноту жизни. Не возраст, а печаль избородила его высокий, ясный лоб и посеребрила его кудри. Впрочем, вопреки этим грустным признакам, в его словах и в поведении чувствовались доброжелательность и сердечность, неудержимо располагающие каждого к нему. Когда Рейнгольд напомнил ему, кто я такой, согласно письму баронессы, предупреждавшей о моем посещении, барон устремил на меня испытующий взор, в котором затеплилось дружелюбие в ответ на

рассказ Рейнгольда о моем проповедническом искусстве, покрывшем его несколько лет назад в монастыре капуцинов, что в ...р.

Барон от всей души протянул мне руку и обратился к Рейнгольду: «Не пойму, милый Рейнгольд, почему сразу же привлекла меня внешность преподобного отца; кого-то он мне напоминает, никак не вспомню, кого...»

Я так и ждал, что он воскликнет: «Конечно же, это граф Викторин», — ибо, как ни странно, я действительно мнил себя Викториним, и кровь моя, вскипая в жилах, проступала краской на моих щеках. Я рассчитывал на Рейнгольда, который продолжал видеть во мне отца Медардуса, хотя сам я этому не верил: ничто в мире не могло развязать этого умопомрачительного узла.

Барону хотелось тотчас же свести меня с Гермогеном, но тот куда-то запропастился; видели, как он отправился в горы, и это не вызвало особой тревоги, поскольку он уже не раз проводил там целые дни. До вечера я не расставался с Рейнгольдом и бароном и настолько приободрился, что считал себя в силах бросить вызов любым обстоятельствам, когда бы и где бы они меня ни подстерегали. В ночном уединении я открыл бумажник, и мои последние сомнения рассеялись: не кто иной, как граф Викторин, расшибся, сорвавшись в пропасть, но, кстати сказать, письма, адресованные ему, не содержали сколько-нибудь важных сведений и ни одним слогом не намекали на какие-нибудь подробности его личной жизни. Мне не оставалось ничего другого, как отказаться от дальнейших изысканий и ввериться случаю, какие бы неожиданности ни сулил мне приезд баронессы и встреча с ней. Она действительно приехала с Аврелией на другое утро, хотя ее еще никто не ждал. Я увидел обеих, когда они выходили из кареты; барон и Рейнгольд встретили их и проводили в замок. Я беспокоился метался по комнате, весь во власти смутных чаяний, но я недолго был предоставлен самому себе: меня пригласили вниз. Баронесса нетерпеливо шагнула мне навстречу; она была еще хороша собою, ее горделивая красота отнюдь не отцвела. Взглянув на меня, она не сумела скрыть своего необычайного смятения; с дрожью в голосе она едва выговаривала слова. Заметив ее растерянность, я, напротив, окреп духом, уверенно выдержал ее взгляд и благословил ее, как истый монах. Вся побледнев, она опустила в кресло. Рейнгольд взглянул на меня и, повеселев, удовлетворенно улыбнулся. В то же мгновение дверь открылась, вошел барон и с ним Аврелия.

Я увидел Аврелию, и луч проник в мою грудь, воспламеняя все затаеннейшие побуждения, сладостнейшую тоску, экстаз ненасытной любви, все, что неуловимым чаяньем доносилось до меня издали, трепеща внутренним отзвуком, воспламеняя и пробуждая жизнь; сама жизнь вспыхнула во мне, красочная и сияющая, а прежде позади меня все замерло и застыло в беспросветной ночи. Я узнал ее, неземным виденьем посетившую меня в исповедальне. Грустные темно-голубые очи, светящиеся дет-

ским благочестием, нежная линия губ, шея, склоненная словно в молитвенной кротости, изящная статность и стройность, нет, не Аврелия, то была сама святая Розалия. Даже лазурно-голубая шаль, наброшенная на темно-красное платье, всеми своими фантастическими складками напоминала ту картину и то видение, ту святую и ту неведомую посетительницу. Аврелия была само небо в сравнении с требовательными прелестями баронессы. Все вокруг меня исчезло, осталась одна Аврелия. Мое волнение не ускользнуло от окружающих.

— Что с вами, преподобный отец? — осведомился барон — Что такое вам попритчилось?

Эти слова привели меня в себя; мгновенно проснулась во мне сверхчеловеческая мощь и отвага, неведомая мне дотол; я был готов одержать победу над кем и над чем угодно, лишь бы завоевать ее.

— Благодать на вас, господин барон, — вскричал я, будто движимый пророческим духом, — благодать на вас! Святая шествует среди сих стен, и благословенное сияние скоро хлынет с небес, явив нам самую святую Розалию в хороводе ангелов; она дарует утешение и отраду богомольцам, склоняющимся во прахе с верой и благоговением. Я внемлю гимнам просветленных духов, и они тоже томятся в чайные святыни, призывая святую песнопеньями, дабы она снизошла с блещущих облаков. Зрю ее главу, вознесенную в нимбе горного преображения, и лики святых, созерцаемых ею! *Sancta Rosalia, ora pro nobis!**

Возведя очи горе, я упал на колени и сложил руки для молитвы; остальные не могли не подражать мне. Никто не осмелился задать мне вопроса, все подумали, что мой молитвенный экстаз ниспослан мне не иначе как небом; барон вознамерился даже заказать особые молебны у алтаря святой Розалии в городском кафедральном соборе. Итак, я не растерялся, будучи готов поставить на карту все, не исключая собственной жизни, лишь бы Аврелия стала моею. Что же касается баронессы, то она как будто не вполне владела собой, преследуя меня взглядами, а когда я смотрел на нее как ни в чем не бывало, ее глаза избегали моих. Вся семья собралась в другой комнате, а я кинулся в сад, где, затерявшись в безлюдных аллеях, не без борьбы выработывал тысячи замыслов, идей и проектов на будущее. Уже свечерело, когда Рейнгольд отыскал меня и передал, что баронесса, оставаясь под впечатлением от моего вдохновенного благочестия, ожидает меня в своей комнате.

Не успел я войти туда, как она устремилась ко мне, стиснула мои руки, уставилась мне в глаза и вскричала:

— Что это? Что это? Так ты Медардус, ты капуцин? Но твой голос, твой стан, глаза, волосы! Говори, или страх и отчаянье убьют меня!

* Святая Розалия, молись за нас! (лат.).

— Викторинус! — ответил я почти беззвучно, и она обняла меня в диком неистовстве безудержного вожделения; огненный ток пронизал мои жилы, кровь кипела, меня дурманило головокружительное упоение, которому нет названия, но даже в грехопадении мое сердце принадлежало одной Аврелии, ей одной принес я в жертву мою гибнущую душу, нарушая обет.

Да! Теперь Аврелия вселилась в меня, и все-таки мне делалось жутко, когда я предвидел встречу с ней, а этого невозможно было избежать за ужином. Я боялся, как бы целомудренный взор ее не обличил моего безбожного греха, а тогда я буду отвержен, опозоренный, разоблаченный, уничтоженный в преддверии вечной гибели. Да и с баронессой предпочел бы я пока не встречаться после тех минут, потому-то, сославшись на молитвенное бдение, я не покинул моей комнаты, когда меня пригласили ужинать.

Не много дней потребовалось для того, чтобы я осмелел и собрался с духом; баронесса блистала любезностью; чем крепче завязывались наши узы в дерзких ухищрениях порока, тем предупредительнее угождала она барону. Баронесса призналась мне, что моя тонзура, самая настоящая, а не фальшивая борода, моя манера ступать по-монашески, от которой, правда, я уже начал постепенно избавляться, все это поразило ее тысячами опасений. А когда я к тому же принялся, как заправский святоша, заклинать святую Розалию, она чуть было не отчаялась, вообразив, что закралась ошибка и враждебный рок разрушил их совместный хитроумный план, подменив Викторина доподлинным капуцином, будь он проклят! Ее восхищало мое мнимое лицедейство: дескать, я и тонзуру себе сделал и бороду отрастил, научился ступать и держаться по-монашески, так что она то и дело норовила заглянуть мне в глаза, иначе ее одолевали предательские сомнения.

Время от времени егерь Викторина показывался на окраине парка, вырядившись крестьянином, и я никогда не пренебрегал возможностью лишний раз тайком с ним встретиться и напомнить, что мой побег весьма вероятен и ему придется помочь мне в случае опасности. С бароном и Рейнгольдом я как будто ладил отлично; и тот и другой упорно просили меня заняться страждущим Гермогеном, так как лишь мои дарования могли, по их мнению, пронять его замкнутость. Мне, однако, не везло в этом смысле, и до тех пор я не обменялся с ним ни единым словом, так как он определенно предпочитал не уединяться со мною, а когда мы все-таки встречались, то третьим лицом всегда при этом бывал барон или Рейнгольд, а Гермоген так поглядывал на меня, что я с немалым трудом затаивал невольные опасения. Можно было думать, что он видит меня насквозь и улавливает заветнейшие тайны. Его бледное лицо выдавало неудержимо глубокое отвращение, подавленную ярость, едва усмиренную ненависть, как только он замечал меня.

Вышло так, что я внезапно столкнулся с ним в парке, где наслаждался пейзажем; я решил воспользоваться моментом и внести умиротворяющую ясность в наши более чем натянутые отношения, быстро взяв его руку (он хотел уже по обыкновению удалиться); я пустил в ход все свое красноречие, не поскупился на неотразимые душеспасительные взывания и отчасти преуспел: казалось, он действительно внимает мне и не может скрыть, что растроган. Аллея уводила нас от замка, и, пройдя ее всю, мы сели на каменную скамью. Вдохновляясь моими собственными речами, я распространялся о том, что грешно предаваться унынию: оно гложет человеческую душу и отвращает от церкви, истинной целительницы и вспомоществовательницы, поддерживающей обремененных, а грешник враждебно противится самой жизни, сиречь целям, которые Всевышний дарует ему вместе с нею. Даже преступнику не подобает сомневаться в небесной благодати, ибо, отчаиваясь, он как раз и отказывается от спасения, которое мог бы обрести через отпущение грехов, а к этому приводит покаянье и набожность. Наконец я предложил ему тут же исповедаться мне, излить свою душу, как перед Богом, и, со своей стороны, заверил, что отпущу ему любой грех, в котором он покается, но он сорвался с места, брови его вплотную сдвинулись, глаза загорелись; только что бледный, как мертвец, он весь вспыхнул и взорвался пронзительным криком:

— А ты-то сам безгрешен, что ли, как же ты смеешь лезть мне в душу и сулить мне отпущение, будто ты праведнейший или сам Господь... Ты же глумишься над Ним, подумай лучше о своем собственном спасении, ибо уж твоим-то грехам прощения не будет, как ни корчись и как ни домогайся неба: не навсегда ли оно тебе закрыто? Низкий притворщик, час воздаяния грядет, ты, раздавленный, как ядовитый червяк, задержась в пыли, позорно издыхая; тщетно ты будешь звать на помощь, тщетно возжаждешь избавления от муки, ей нет названия, и ты обезумеешь и отчаешься перед вечной погибелью.

Он кинулся прочь; я был сокрушен, уничтожен, от моей выдержки и отваги не осталось и следа. Я увидел Евфимию, на ней была шляпка и шаль; она вышла из замка на прогулку. Она была единственной моей собеседницей; на кого я мог еще надеяться, если не на нее? Я побежал к ней навстречу, и она ужаснулась, увидев мое смятение; она спросила, что произошло, и я точно описал мое объяснение с полоумным Гермогеном, добавив к этому, что опасаюсь, не выдала ли ему нашу тайну какая-нибудь невероятная оплошность. Евфимия несколько не встревожилась, только так улыбнулась в ответ, что я испугался едва ли не больше прежнего; она сказала:

— Давай углубимся в парк, здесь предостаточно соглядатаев, а возбуждение преподобного отца Медардуса при беседе со мной бросается в глаза.

Мы уединились в отдаленной куще, и она заключила меня в

объятия с ненасытным пылом; ее горячие, знойные поцелуи просто жгли.

— Спокойствие, Викторин, — говорила Евфимия, — твои страхи и сомнения неосновательны; это даже к лучшему, что так вышло с Гермогеном; теперь у меня есть повод поговорить с тобой о том, в чем я не признавалась даже тебе.

Ты не будешь спорить, моя духовная сила с редким искусством берет верх над жизнью, окружающей меня, и я склонна думать, что в подобном искусстве вам не сравниться с женщиной Правда, для этого мало самого неопишуемого, самого неотразимого телесного очарования, которым наделяет женщину природа; требуется еще и нечто высшее, чтобы усилить свою красоту духовным влиянием и располагать ею по своему усмотрению, Это высшее в том, чтобы чудом вознестись над собой, с другой точки зрения взглянуть на свое «я», как на послушное орудие верховной воли в завоевательном стремлении к цели, выше которой нет ничего в жизни. Что может быть выше, чем власть жизни над жизнью, когда все ее прелести и драгоценные сокровища в твоём распоряжении и твоё волшебство помыкает всем этим?

Ты, Викторин, всегда был из тех немногих, кто вполне понимал меня, и ты наметил себе точку зрения над самим собой, и потому я готова была признать тебя моим супругом и государем на престоле моего надмирного царства, где я царица. Наш союз еще сладостнее, ибо он тайный; мы разыграли разлуку, чтобы было где витать нашим прихотливым фантазиям, подшучивающим над подлыми буднями, как над своей челядью. Вот мы вместе, и разве одно это — не насмешливый вызов, бросаемый высшим духом сковывающему убожеству общепринятого? Пускай ты сейчас чужой самому себе — и не только благодаря облачению, — зато я сознаю, что само духовное в тебе признало над собой высшую определяющую власть и чудотворно распространяется, придавая наружности умышленную форму и образ, чтобы она выглядела, как ей велено. Тебе ли не знать, как я из глубины моих воззрений, в которых проявляется истинное мое существо, унижаю узаконенные узы, своенравно играя ими.

Барон для меня — лишь машина, опротивевшая до невозможности; она кое-как служила мне, но теперь отказали шестеренки. До Рейнгольда мне вообще дела нет, он ходячая посредственность; Аврелия — сущий ангелочек, остается Гермоген.

Ты уже знаешь, он очаровал меня при первой встрече. Я вообразила, будто ему доступна высшая жизнь, стоит мне только ему открыть ее, то было мое первое и единственное заблуждение.

Он оказался моим противником, постоянно и упорно посягающим на мою правоту, как будто его отвращало само мое обаяние, без всяких усилий с моей стороны завораживающее других. Его холодность, его мрачная замкнутость, сама его ча-

рующая неприступность дразнили меня, побуждали вступить в битву, нанести ему неминуемое поражение.

Я была готова к битве, когда узнала от барона, что Гермоген отказался наотрез вступить со мной в брак, на чем настаивал отец.

— Тут поистине божественной искрой вспыхнула во мне мысль самой женить на себе барона и тем самым раз навсегда убрать с дороги жалкие косные установления со всей их омерзительной принудительностью; впрочем, я достаточно подробно обсуждала с тобой, Викторин, этот прожект; ты сомневался, а я действовала; несколько дней потребовалось мне для того, чтобы старик расчувствовался, одурел от любви и счел мое намерение своей собственной сокровенной мечтой, которую он не отваживался высказать и которая, на его счастье, сбывается. Однако у моего столь удачного прожекта была своя обратная сторона: месть Гермогену, теперь вполне осуществимая и тем более приятная. Я отсрочила удар для вящей меткости и беспощадности.

Если бы я меньше тебя знала, если бы не убедилась в том, что в твоих помыслах ты не ниже меня, я бы, пожалуй, не стала тебе расписывать с полной откровенностью эту историю. Я поставила себе задачу пронять Гермогена до глубины души; я притащилась в столицу такая унылая, такая отрешенная, что составляло интереснейший контраст с Гермогеном, этим беззаботным весельчаком офицериком, искренне увлеченным своей службой. Дядина хворь исключала светский блеск, я отстранилась даже от моего интимного круга.

Гермоген нанес мне визит скорее всего для того, чтобы оказать должное почтение мне как матери; он не привык видеть меня такой задумчивой и пасмурной, а когда он, встревоженный столь необычным для меня настроением, стал допытываться, что со мной, я поведала ему в слезах, как удручает меня пошатнувшееся здоровье барона, не желающего признаться в своем недуге, а меня убивает мысль о скорой утрате. Гермоген дрогнул, а когда я рассыпалась в чувствительных и живописных излияниях по поводу моего счастливого супружества, когда в деталях обрисовала ему нашу идиллическую сельскую жизнь, когда превознесла великолепные душевные качества барона, представив его в настоящем ореоле, так что в новом свете выступило мое обожание и моя самоотверженная преданность, от меня не ускользнуло его восхищенное сочувствие, возраставшее на глазах. Он, видимо, еще не сдался, но нечто вошло в его душу вместе со мной и одержало победу над моим внутренним противником, таким неумолимым до сих пор; мой триумф не вызывал у меня сомнений, когда Гермоген вернулся на следующий же вечер.

Я сидела одна и томилась и страдала еще заметнее, чем вчера; у меня не было другой темы для разговора, кроме барона, о котором я так тоскую; я прямо-таки рвалась к нему. А Гермоген был уже не прежний; он ловил мои взоры, и к нему в душу за-

падал их пламень, грозящий пожаром. Он держал меня за руку, и я чувствовала, какая судорога сводит его руку и какие глубокие вздохи сотрясают его грудь. Я уже предвидела пик его неосознанного возбуждения и сама назначила вечер моего окончательного торжества. Что ни говори, банальные, но испытанные навыки оправдывают себя, и я не раскаялась, прибегнув к ним. Он пал.

Я не думала, что навлеку на него такие бедствия, но чем полнее моя победа, тем беспорнее моя власть, именно в них явившая свой грозный блеск.

Я силой сломила его внутреннее сопротивление, сказывавшееся в нем до сих пор лишь смутными тревогами, но при этом пострадал и его разум, отсюда его помешательство; до сих пор тебе были известны его симптомы, но не причина.

Как ни странно, сумасшедшие, словно бы более причастные духу, вроде бы нечаянно, но часто в глубине души заражаются стихией чужого духа, часто постигают затаенное в нас, выдают свой опыт непривычными отзвуками, и чудится, не второе ли наше «я» говорит зловещим голосом, вызывая озноб веяньем сверхъестественного. Ты, я и Гермоген соприкасаемся необычным образом, и не исключено, что ты подвержен его таинственной пронизательности и потому он тебя ненавидит, хотя нам его ненависть ничем не угрожает. Сам посуди, допустим, он открыто против тебя ополчится и заявит: «Остерегайтесь попа, он ряженный», — что это такое будет, если не навязчивая идея полоумного, когда сам Рейнгольд по доброте своей подтвердил, что ты отец Медардус?

К сожалению, приходится смириться с тем, что мои расчеты не оправдались и тебе теперь не покорить Гермогена. Что ж, я все равно отомстила, и Гермоген для меня не лучше опостылевшей куклы, но его присутствие для меня тем нестерпимее, что, сдастся мне, видеть меня — для него покаянное самоистязание, вот он и таращит свои глаза живого мертвеца, куда бы я ни пошла. Прочь его; я надеялась, ты согласишься мне, окончательно внушишь ему, что его место в монастыре, а барона и участливого Рейнгольда поколеблешь назойливыми заверениями, будто лишь в монастыре Гермоген спасет свою душу, и они уступят.

Гермоген омерзителен мне до невозможности, у меня с души воротит от одного его вида, спровадить его, и кончено!

Одна Аврелия смотрит на него другими глазами, эта девственно набожная девочка; используй же хоть Аврелию, чтобы добраться до него, я постараюсь свести тебя с ней поближе. Может быть, обстоятельства позволят тебе, или ты сам найдешь повод озадачить Рейнгольда да и барона сообщением, будто Гермоген покаялся тебе и он действительно отпетый преступник, а твой сан, разумеется, обязывает тебя хранить тайну исповеди. Это мы еще обсудим!

Итак, Викторин, я все тебе рассказала, предприми что-ни-

будь, а сам оставайся моим. Давай властвовать над этими неуклюжими болванчиками, которые кружатся вокруг нас. Заставим жизнь одаривать нас роскошнейшими удовольствиями, нимало при этом не стесняя нас.

Вдалеке показался барон, и мы двинулись ему навстречу, как будто мы только его и ждали, чтобы продолжить наши набожные рацеи.

Евфимия раскрыла мне преобладающую тенденцию своей жизни, и, по-видимому, только в этом я и нуждался в моем развитии, постигая торжествующую мощь, излившуюся мне в душу как бы свыше. Я приобщился к сверхчеловеческому и вдруг возвысился над самим собой, увидев мир с другой точки зрения, так что размеры и краски существующего разительно изменились. Полновластие духа, господство над жизнью, все, чем хвалилась Евфимия, вызывало во мне язвительную горечь. Она мнила, горемычная, будто дерзко играет рискованнейшими перипетиями обстоятельств, а сама была безвольной игрушкой моих прихотей, и ее судьба зависела от мановения моей руки. Это моя сила, воспламененная нездешними стихиями, принудила считать своим другом и товарищем того, кто, заморозив ее случайным сходством с тем другим, держал ее в когтях беспощаднее заклятого врага, так что свобода только мерещилась ей. Евфимия со своим тщетным, бредовым самомнением не заслуживала в моих глазах ничего, кроме пренебрежения, и я уже брезговал ее любовью, так как Аврелия вселилась в меня и она одна была бы виновницей греха, совершенного мной, если бы я признавал грехом то, что стало для меня высшим цветом земной радости. Я отваживался вполне употребить власть, гнездящуюся во мне, схватить волшебную палочку и обвести непрерываемыми кругами все предметы, которым предстояло двигаться в этих кругах, забавляя меня.

Барон и Рейнгольд прямо-таки состязались в стремлении удержать меня всеми благами гостеприимства; им и не снилось, что связывает меня с Евфимией; напротив, барон, склонный к сердечным излияниям, признавался, что это я вернул ему Евфимию, и отсюда я мог заключить, как недалек был от истины Рейнгольд: пожалуй, барону и впрямь не остались неизвестными запретные похождения его супруги. С Гермогеном я почти не встречался, мое общество явно страшило и стесняло его, а барон и Рейнгольд видели в этом смятение душевнобольного, по-своему благоговееющего перед моей праведностью, пронизательностью и духовной силой. И Аврелия как будто тяготилась моими взорами, уклоняясь по возможности от встреч со мной, а когда я обращался к ней, она уподоблялась Гермогену в пугливой растерянности. Я почти не сомневался, что этот бесноватый выдал ей жуткие побуждения, бушевавшие меня, однако я надеялся рассеять эти страхи.

Когда барон обратился ко мне с просьбой преподать его до-

чери высшие тайны догматов, я сообразил, что обязан этим Евфимии, которая задумала воздействовать на Гермогена через его сестру. Так Евфимия сама указывала мне способ овладеть прекраснейшей добычей, которую моя огненная мечта изображала, прельщая меня тысячами соблазнительных фантазий. Разве видение в церкви не было ниспослано высшей властью, действенной во мне, чтобы заверить меня: она будет моею, и ничто, кроме нее, не умиротворит вихря, свирепствующего во мне и обрекающего меня бешенству волн.

Я пламенел, увидев Аврелию, приблизившись к ней, коснувшись ее платья. Кипучая кровь устремлялась в таинственную мастерскую моей мысли, и я излагал чудесные тайны верования в зажигательных притчах, чей глубинный смысл сводился к чувственному буйству пылающей ненасытной любви. Пыл моих излияний должен был поразить Аврелию электрическим током, заранее обезоружив ее.

Притчи, вверженные ей в душу без ее ведома, должны были там диковинно произрасти, распространиться сияющим огнем своей глубинной сути, заселить ее грудь предвкушениями негданних услад, чтобы она, изнуренная, израненная несказанным влечением, сама упала бы в мои объятия. Я кропотливо обдумывал мои так называемые уроки, я искусно нагнетал напряжение моих высказываний, а смиренная девица внимала мне, молитвенно сложив руки, не смея даже заглянуть мне в глаза, но ни малейшее содрогание не говорило о том, что мои слова тронули ее.

Мои потуги ни к чему не привели; нет, не Аврелию разжигал я, соблазняя гибелью, а всего лишь самого себя истязал пламенем, которое и без того беспощадно снесало меня.

Неистовствуя от боли и вожделения, я ломал себе голову злоумышлениями против Аврелии, а перед Евфимией разыгрывал экстаз и самозабвенную страсть, хотя в глубине души ненавидел ее все пламеннее и вымещал этот непостижимый разлад, когда виделся с баронессой, уже содрогавшейся от моего сладострастного бешенства.

Ей было невдомек, что я таю в моей груди, и невольно она уступала моему тиранству, все более неограниченному и прихотливому.

Все чаще пытался я измыслить какое-нибудь хитроумное насилие, перед которым Аврелия пала бы, утолив мои нестерпимые желания, но стоило мне увидеть ее, и мне представлялся рядом с нею ангел-хранитель, своим покровом отвращающий вражеские козни. Тогда я трепетал всем телом, и мой злой умысел бывал убит холодом.

Наконец меня осенило: что, если мне помолиться с ней, ведь молитва тоже воспламеняет, хоть это и богоугодное пламя, однако и от него происходит тайное возбуждение души, и вот оно уже вызывает бурные волны и, как спрут, вытягивает щупальца

в поисках неведомой добычи, без которой грудь разорвется от невыразимой жажды. Не выдаст ли тогда себя земное за небесное, не предстанет ли оно возбужденному чувству обетованием доступного, но преизобильного, наивысшего, блаженнейшего свершения; безрассудная страсть обознается, и алкание горней святости прервется безымянным неиспытанным восторгом долнего сладострастия.

К тому же я сильно рассчитывал на молитвы, сочиненные мною специально для Аврелии; повторяя их, она должна была поддаваться моему коварству.

И я не ошибся!

Она вся вспыхнула, коленопреклоненная рядом со мною, возведя очи горе, вторя моей молитве, и перси ее всколыхнулись.

Тогда я как бы в молитвенном рвении взял ее за руки и прижал их к моей груди; она была так близко, что я чувствовал тепло ее тела, ее струящиеся локоны коснулись моих плеч, я потерял голову от неистового желания, я обнял ее в диком пылу и уже обжег поцелуями ее рот, ее перси, но, пронзительно крикнув, она уклонилась от моих объятий, и я не удержал ее, иначе меня сокрушила бы молния, сверкнувшая с небес.

Она устремилась в соседнюю комнату; дверь открылась, и появился Гермоген, он не двигался, уставившись в меня страшным, ужасным взором бесноватого.

Я собрался с силой, вызывающе шагнул к нему и крикнул строптиво и заносчиво:

— Чего ты хочешь? Убирайся, полоумный!

Но Гермоген протер ко мне десницу с приглушенным криком, нагоняющим ужас:

— Я бы предложил тебе поединок, но пришел без меча, а на тебе убийство; у тебя глаза налились кровью, и кровь запеклась на твоей бороде.

Он скрылся, яростно хлопнув дверью и оставив меня одного скрежетать зубами над моей опрометчивостью: меня захватила минута, а теперь я пропал, если меня выдадут. Но пока никого не было, и, располагая временем, я осмелел, а дух, гнездящийся во мне, подстрекнул меня к действиям, отводящим удар, который могло навлечь на меня мое беспутство.

Улучив подходящий момент, я поспешил к Евфимии и с вызывающей дерзостью во всех подробностях описал происшествие с Аврелией. Евфимия не стала шутить над моим промахом, как я предположил бы, и я убедился, что хваленое полновластие духа и высшая точка зрения вполне совместимы с придирчивой ревностью; вдобавок ее беспокоила Аврелия, имевшая все основания пожаловаться на меня, а тогда не мог не потускнеть мой святительский нимб, да и наша с ней тайна оказалась бы под угрозой. О Гермогене с его зловещими словами, до сих пор сверлившими мне душу, я не упомянул, опасаясь сам не знаю чего.

Несколько минут Евфимия не отвечала мне, только при-

стально, неотступно и загадочно смотрела на меня, как бы погрузившись в раздумье.

— Угадаешь ли ты, Викторин, — произнесла она наконец, — какая великолепная мысль, истинная находка даже для моего духа, только что пронзила меня!

Где тебе, напряги же крылья, иначе ты отстанешь от меня, я взлетаю высоко. Конечно, я диву даюсь, как это ты вместо того, чтобы вознестись над жизнью со всеми ее приметами и частностями, пасуешь перед хорошенькой девочкой и, едва опустившись рядом с ней на колени, перестаешь владеть собой и лезешь к ней с объятьями и поцелуями, однако я не осуждаю тебя за твою слабость. Насколько я знаю Аврелию, стыд не позволит ей пожаловаться, и она разве что измыслит предлог, чтобы уклониться от твоего слишком пылкого преподования. Так что твоя распушенность и твоя неумная похоть не грозят нам, по-моему, сколько-нибудь существенными неприятностями.

Не скажу, что я ненавижу Аврелию, вовсе нет, но меня злит эта тихоня, эта святоша, ведь, в сущности, она отъявленная гордячка. Представь себе, я унизилась до заигрывания с нею, а ей хоть бы что, она все такая же неприступная, скрытная и недоверчивая. Вот что восстановило меня против нее: ее вечная неподатливость и уклончивая строптивость в отношении меня.

И вот грандиозная мысль: увидеть этот цветочек, столь гордый великолепием своей блестящей расцветки, сорванным и поблекшим.

Надеюсь, ты окажешься на высоте моей грандиозной мысли, а уж средства, позволяющие безошибочно и без труда достигнуть цели, не заставят себя ждать.

Кстати, это способ оговорить Гермогена и избавиться от него.

Евфимия продолжала расписывать свой план, и каждое ее слово усугубляло мое отвращение к ней, так как она представлялась мне теперь лишь падшей женщиной и преступницей, и как я ни вожделем Аврелии, желая, следовательно, ее гибели, ибо только так я мог утолить неистовую беспредельную любовь, изводившую меня, соучастием Евфимии я брезговал и без обвиняков отверг ее наущение, вознамерившись в глубине души полагаться лишь на самого себя и преуспеть без ее навязчивого пособничества.

Баронесса не ошиблась: Аврелия действительно не покидала своей комнаты, отговариваясь недомоганием, так что ее отказ от ближайших уроков был вполне извинительным. Поведение Гермогена несколько изменилось. Он больше не избегал барона и Рейнгольда и как будто живее откликался на внешние впечатления, зато участились припадки дикой вспыльчивости. Станным образом, барон и Рейнгольд относились ко мне теперь иначе. Их любезность и предупредительность с виду оставались прежними; казалось, однако, что их угнетает некая задняя мысль, и наши беседы безнадежно утратили сердечность, оживлявшую их преж-

де. Скванность и холодность обоих настораживали меня, и во власти разных подозрений я вынужден был делать над собой серьезное усилие, чтобы не выдать своей тревоги.

Я достаточно понимал взгляды Евфимии, чтобы сообразить: положение осложнилось, и она взволнована, однако весь день нам не удавалось уединиться для откровенного разговора.

Глубокой ночью, когда все обитатели замка уже спали, обои в моей комнате раздвинулись, обнаружив дверь, о которой до сих пор я не имел ни малейшего представления. Ко мне вошла Евфимия, и я никогда еще не видел ее в таком смятении.

— Викторин, — сказала она, — мы в опасности. Гермоген, сумасшедший Гермоген что-то учуял, напал на след и разведал нашу тайну. Его вещей бред не лишен значения, в нем слышатся устрашающие прорицанья той темной силы, которая движет нами, и барон прислушивается к ним, он подозревает и без всяких объяснений мучит меня своей слежкой.

Правда, Гермоген вряд ли пронюхал, что святым вырядился именно ты, граф Викторин, однако он настаивает на том, что в тебе таится злокозненное предательство нам на погибель, что сам дьявол проник в дом с монахом-втирушей, отсюда сатанинская зараза и проклятье измены.

Дальше так продолжаться не может, я устала под гнетом ребячливого старца, который к тому же страдает ревностью и вздумал учинить надзор за каждым моим шагом. Мне наскучила эта игрушка, я выброшу ее, и ты, Викторин, подчинишься на этот раз моему замыслу, ибо только таким путем ты сохранишь свое инкогнито, а иначе ты попадешься, и наша изысканная связь, гениальное изобретение нашего духа, уподобится вульгарному семейному маскараду, тошнотворной пище для сплетен и злословия. Прочь докучного старца, а как это лучше сделать, мы обсудим, — по-моему, поступить нужно так: как ты заметил, Рейнгольд по утрам хлопочет по хозяйству, а барон гуляет в горах, он ведь любитель природы. Прокрадись в парк пораньше и присоединись к нему невзначай. Отсюда рукой подать до диких, страшных скал; когда взберешься на скалу, перед глазами развернется черная бездна, а прямо над бездной торчит так называемый Чертов Трон. Народ выдумал, будто над бездной клубится ядовитая дымка, одуряющая того, кто осмеливается заглянуть в бездну, так что он срывается в пропасть, и ему нет спасения. Барон высмеивает эту сказку, он повадился, стоя над бездной, любоваться окрестными красотоми. Только подзадорь его, и он сам тебя проводит на это пресловутое место; он там встанет, воззрится на окрестности; один удар твоего крепкого кулака — и его старческое слабоумие больше никогда не будет стеснять нас.

— Этому не бывать, — вспылал я, — мне знаком этот гибельный обрыв, знаком Чертов Трон, и этому не бывать. Сгинь вместе с гнусностью, которой ты от меня ждешь!

Евфимия так и взвилась, взор ее дико сверкнул, ее лицо искривилось гримасой бешенства, бушевавшего в ней.

— Малодушный, — вскричала она, — ты с твоей глупой трусостью дерзашь мне перечить? Тебе дороже позорное ярмо, чем держава, разделенная со мною? Но тебе не вывернуться, ты у моих ног и у меня во власти. Изволь повиноваться, завтра же устрани того, кого я не желаю больше видеть.

Она говорила, а меня подстрекнуло глубочайшее презрение к ее ничтожному бахвальству, и с едкой издевкой ответил я ей раскатистым смехом, и она содрогнулась, и на ее лице проступила мертвенная бледность, выдававшая страх перед роковым предначертанием.

— Сама ты сумасшедшая, — кричал я, — ты мнишь себя царицей жизни, ты считаешь жизнь своей игрушкой; смотри, как бы эта игрушка не заострилась в твоей руке и не пронзила тебя насмерть! Знай, несчастная, я, над которым ты якобы властвуешь в твоём немощном бреду, я твой рок, а ты моя узница, и твоя кощунственная игра — всего лишь корчи хищника, прикованного в клетке. Знай, несчастная, твой дружок расшибся вдребезги в той самой бездне, и ты ласкала не меня, ты ласкала возмездие! Сгинь же в отчаянье!

Евфимию зашатало, она бы рухнула на пол в конвульсиях, но я подхватил ее и выставил через дверь в обоях, откуда она пришла. Я был не прочь прикончить ее, не знаю, что меня удержало; запирая дверь в обоях, я всерьез считал, что дело сделано. Я же слышал пронзительный крик, да и двери уже хлопали.

Так и я поднялся на некий пьедестал и свысока взглянул на суету низменной человечности; где один удар, там и другой, и если я объявил себя духом возмездия, я должен был ужаснуть. Евфимия была обречена; сверхчеловеческому духу, гнездившемуся во мне, было угодно только одно: сладострастное единение глущей ненависти с пламенной любовью. Я должен был уничтожить Евфимию и в тот же миг овладеть Аврелией.

Оказывается, я недооценил внутреннюю силу Евфимии, позволившую ей блистать утром как ни в чем не бывало. Она сама призналась, что ночью она сначала, как сомнамбула, страдала от луны, а потом от спазм; барон, казалось, ей сочувствовал, Рейнгольд, судя по его взгляду, не очень-то ей верил. Аврелия оставалась в своей комнате, ее отсутствие меня бесило. Евфимия пригласила меня к себе, когда все уgomонятся, а мне было не впервой прокрадываться к ней.

Вообще же ее приглашение меня окрылило, ибо близилось мгновение, когда свершится ее злая судьба. В складках моей рубашки я спрятал острый ножик, служивший мне с детства (я искусный резчик по дереву). Теперь я решил на убийство и отправился к ней.

— Помнится, — начала она, — вчера нас обоих одолел тяжкий морок, на нас веяло безднами, но все прошло.

И по обыкновению, мы с ней предались прихотливому разврату; с моей стороны это было дьявольское надругательство над ней, и я испытывал извращенное наслаждение, барахтаясь в ее срамной скверне. Она лежала в моих объятиях, когда выпал мой ножик; она вздрогнула, словно смерть коснулась ее, а я снова спрятал его, отсрочив убийство, для которого предназначалось уже другое оружие.

Евфимия заранее распорядилась поставить на стол итальянское вино и сладости.

«Куда девалась ее хитрость?» — подумал я, ловко подсунул ей свой стакан и для виду отдал должное сладостям, которые между тем ронял в свои широкие рукава. Я выпил один стакан вина, потом другой, потом третий, но всякий раз это был ее стакан. Вдруг она притворилась, что слышит шум, и поспешила отослать меня.

По ее расчетам я должен был умереть в своей комнате! Я прокрался по длинным полутемным коридорам; вот и комната Аврелии, я стоял у ее двери как зачарованный.

Мне виделась она, она парила передо мною, преисполненная любовью, как в том видении; она влекла меня за собою, и я не мог не последовать за ней. Дверь открылась, послушная моей руке; я был уже в комнате, дверь в будуар была приоткрыта, оттуда тянуло духотой; одуряющее веянье пуще распалило меня, я задышался.

Из будуара доносились глубокие жалобные вздохи; даже ей, наверное, снилось предательство и убийство; я слышал, как она молится во сне.

«Торопись, торопись, что ты медлишь, мгновенье промчится», — подталкивало меня изнутри нечто непостижимое.

Я шагнул было в кабинет, когда тишина позади меня взорвалась криком:

— Ах ты, презренный! Брат убийца! Наконец-то ты мне попался! — Казалось, меня схватил великан.

То был Гермоген; мне потребовалась вся моя сила, чтобы вырваться; я бросился прочь, но он снова вцепился в меня сзади и в бешенстве принялся грызть мне шею.

Я не помнил себя от боли и ярости, но осилить его мне не удавалось; наконец я изо всех сил оттолкнул его, а когда он снова напал на меня, я нашарил мой ножик; я пырнул его раза два, он захрипел и повалился на пол. Глухой шум разнесся по всему коридору, ибо поединок отчаянья выдворил нас из комнаты.

Гермоген упал, а я, как затравленный зверь, устремился вниз по лестнице; по всему замку надрывались уже голоса: «Убийство! Убийство!»

В темноте мельтешили горящие свечи, поспешные шаги слышались в длинных коридорах; страх сбил меня с толку и загнал меня на безлюдную угловую лестницу.

Шум и свет преследовали меня, уже поблизости от меня

слышался ужасающий крик: «Убийство! Убийство!» Я узнал голоса барона и Рейнгольда, они науськивали слуг.

Как ускользнуть, где притаиться?

Когда я шел убивать Евфимию ножом, которым только что зарезал безумного Гермогена, я думал, что просто выйду с окровавленным орудием убийства в руке и в страхе перед моей таинственной властью никто меня не остановит; однако теперь я сам изнывал от смертельного страха. Наконец, наконец я выбрался на спасительную лестницу; суতোлка переместилась в комнаты баронессы, вокруг стало потише; я спустился в три могучих прыжка, портал был в нескольких шагах. В коридорах снова задребезжал пронзительный крик; что-то подобное я уже слышал в прошлую ночь.

«Так она мертва, она убита ядом, который предназначала для меня», — невнятно сказал к себе.

Из комнат Евфимии снова хлынул свет. Аврелия отчаянно зывала о помощи. И снова ужасный вопль: «Убийство! Убийство!»

Это несли труп Гермогена.

«Не упустите убийцу», — я узнал голос Рейнгольда.

Я не мог сдержать гневного смеха, его отзвуки гудели в коридорах и в зале, и мой голос был не менее страшен:

— Безумцы, вы хотите изловить рок, обрушившийся на преступных богохульников?

Они услышали меня, они столпились на лестнице недвижно, как зачарованные. Я больше не думал о бегстве, я бы вышел к ним, я бы громовыми глаголами поведал о Божьем отмщении, постигшем святотатцев. Однако — о ужас! — передо мной возник Викторин весь в крови, оказывается, то были его слова.

Ужас шевелил волосы у меня на голове; обезумев от страха, я бросился в парк!

Выбравшись оттуда, я услышал, что меня преследует конский топот; силы оставили меня, а надо было спастись; корень дерева — и тот подстерегал меня; я споткнулся, и лошади встали надо мной. То был егеря Викторина.

— Спаси вас Христос, милостивый господин, — сказал он, в замке что-то неладное. Кричат об убийстве. Вся деревня поднялась. Все может быть; хорошо еще, что ангел внушил мне седлать коней и скакать сюда из городка; ранец приторочен к седлу, в нем вы найдете все, что вам требуется, милостивый господин. Ведь нам с вами не по дороге, там ведь что-то худое приключилось, не правда ли?

Я подтянулся и, садясь в седло, отправил егеря обратно в городок, обещав потом с ним снестись. Как только темнота поглотила его, я покинул седло и, стараясь не шуметь, повел лошадь в еловые дебри, черневшие передо мной.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

Путешествие с приключениями

Первые лучи солнца, засиявшие сквозь темную еловую хвою, я встретил на берегу ручья; каждый камешек был виден сквозь его веселые, чистые струи. Нелегко было пройти с лошадью через лесную чашу, но теперь лошадь спокойно стояла рядом со мной, и пришло время заняться ранцем, притороченным к седлу.

Ранец снабдил меня бельем, костюмом, да еще в руки мне попал кошелек, туго набитый золотом.

Я не замедлил переодеться и, найдя в несессере миниатюрные ноженики с гребешком, остриг себе бороду и, как умел, поправил себе волосы. Я избавился от рясы, в которой нашелся и роковой ножик, и Викторинов бумажник, и фляга с дьявольским эликсиром (я еще не до дна осушил ее), и когда я, вырядившись на светский манер, примерив дорожную шапочку, увидел свое отражение в ручье, я не без некоторого усилия отождествил себя с интересным незнакомцем. Опушка леса была совсем близко; вдаль я увидел клубящийся дым, услышал умиротворяющий колокольный звон и понял, что нахожусь в окрестностях селения. Не успел я подняться на небольшую возвышенность, как передо мной распростерлась уютная живописная долина, в которой виднелось большое село. Я выбрался на извилистый большак и, как только рискованная круча осталась позади, взгрозоздился на лошадь, чтобы хоть немного приноровиться к незведомому мне искусству верховой езды.

Спрятав рясу в дупле и вверив дремучему лесу все улики, неблагоприятные для меня, я как бы сбросил с себя и мрачную тень замка; ко мне вернулось хорошее расположение духа, и я даже подумал, не моя ли раздраженная фантазия явила мне обезображенного, окровавленного Викторина и не вдохновленный ли свыше внутренний голос помимо моей воли прозвучал в моих последних словах, брошенных в лицо преследователям, чтобы отчетливо засвидетельствовать истинную таинственную неотвратимость моего якобы случайного появления в замке и моих действий.

Не сам ли правосудный рок избрал меня, чтобы наказать кощунственное посягательство да еще спасти душу грешника в самой его гибели? Лишь Аврелия светлым видением продолжала витать во мне, и едва я помышлял о ней, у меня буквально ныло сердце.

Однако во мне крепла уверенность, что чужбина может свести меня с нею и она не устоит передо мною, ибо ей тоже не жить без меня.

Я заметил, что встречные останавливаются и удивленно про-

вожают меня глазами, а сельский трактирщик, взглянув на меня, так опешил, что едва находил слова, и я струхнул не на шутку. Пока я сидел за завтраком, а моей лошади тоже задали корму, в распивочной собрались крестьяне и начали шептаться, косясь на меня, как на какого-нибудь лютого зверя.

Их полку скоро прибыло, и уже настоящая толпа ротозеев теснилась вокруг, пялясь на меня с бестолковым любопытством. Я не без труда делал вид, что не обращаю на них внимания, и, во всеуслышанье кликнув хозяина, велел оседлать мою лошадь и приторочить ранец. Он удалился, криво ухмыляясь, но отсутствовал недолго: вслед за ним в трактир ввалился высоченный мужлан, шагнувший ко мне с курьезной солидностью и строгой миной, как полагается при исполнении служебных обязанностей. Он испытующе воззрелся на меня. Я же храбро ответил взглядом на взгляд, и вот мы уже стояли друг против друга лицом к лицу. Тут уже он несколько спасовал и как бы в поисках поддержки переглянулся с толпящимися тут же односельчанами.

— Ну, выкладывайте, — поднял голос я, — я вижу, вам не терпится поговорить со мной.

С достоинством откашлявшись, как лицо с весом, он заговорил, сиюсь придать своему голосу надлежащую сановитость:

— Вам, господин, отбыть отсюда не дозволяется, пока вы не поставите в известность нас, тутошнего судью, кто вы есть по всем категориям, сиречь откуда вы родом, каково ваше сословие и звание, а также откуда вы прибыли и куда держите путь, по всем категориям, то есть местоположение, наименование, округ и город и все, соответственно, а кроме того, надлежит вам предъявить нам, то есть судье, паспорт, прописанный и подписанный, с печатью по всем как есть категориям, как предписано и установлено.

До того момента мне, признаться, и в голову не приходило, что негоже путешествовать безымянному, и уж совсем я не учитывал, как диковинно я выгляжу, с грехом пополам обкорнав себе бороду, и как не идет мне костюм, не свойственный монашескому благолепию, что на каждом шагу будет навлекать на мою особу досадное подозрение и расследование. Так что бдительность сельского судьи застала-таки меня врасплох, и я никак не мог измыслить ничего вразумительного. Оставалось положиться на то, что смелость города берет, и я начал как можно тверже и быстрее:

— Обстоятельства вынуждают меня избегать огласки, и потому паспорта вы от меня не дождетесь, но имейте в виду: я человек с положением, и вам лучше не приставать ко мне с неуместными формальностями.

— Ого! — рявкнул сельский судья, вытащив объемистую табакерку, куда вместе с ним норовили наведаться за изрядной шепотью по крайней мере пятеро его подручных, — ого, а ну-ка

поттише, господин хороший! Уж соблаговолите, ваше превосходительство, не брезговать нами, то есть судьёю, да и паспорт вам показать придется, без этого нельзя, ибо, по правде сказать, здесь в горах последнее время повадились шнырять такие образины, что не приведи Господи; нападут из чащобы, и поминай как звали; ни дать ни взять сам, не к ночи будь помянут, и впрямь это окаянное племя, тати, грабители, устраивают засады на проезжающих, творят всяческие пакости, то пожар устроят, то прирежут кого-нибудь, а вы, господин хороший, не в обиду будь сказано, выглядите не по-людски и уж больно смахиваете на одного супостата, ихнего главаря, то есть все приметны налицо, по всем категориям, согласно описанию и предписанию, что получено нами, сиречь судьей. Так что хватит ломаться и рассусоливать, давай паспорт, или посадим в кутузку!

Убедившись, что голыми руками этого верзилу не возьмешь, я вынужден был испробовать другую тактику:

— Достопочтенный господин судья, — заговорил я, — если бы вы нашли возможным удостоить меня беседы с глазу на глаз, я бы без труда устранил все ваши сомнения и вверил бы вашему благоразумию тайну моего слишком броского, по-вашему, обличия и костюма.

— Он тайну откроет, ха-ха! — гаркнул судья. — Сдается мне, я наперед его раскусил; ну, да ладно, оставьте нас, люди добрые, только, чур! — следите за окнами и дверями; ни единой живой души не впускать и не выпускать!

Когда все вышли, я начал:

— Войдите в мое положение, господин судья: мне приходится спасаться бегством; слава Богу, друзья пособили мне, а то я так и изнывал бы в заточенье под угрозой насильственного пострига, а уж из монастыря, сами знаете, не убежишь. Позвольте мне не распространяться подробнее обо всех превратностях моей горестной жизни; зложелательство моей семьи преследует меня ковами и кознями, а все потому, что я влюбился в девушку простого звания. Видите, у меня даже борода выросла, пока я томился в неволе, и тонзурой меня уже заклемили, и рясу на меня напялили. Переоделся-то я только здесь в лесу, уже в бегах, за мной ведь гонятся. Сами посудите, могу ли я выглядеть иначе, каждый на вашем месте принял бы меня за разбойника. Где я вам возьму паспорт, сами подумайте, но кое-чем я могу удостоверить мою личность и подкрепить мои признания.

С этими словами я достал кошелек, выложил три звонких дуката, и строгая взыскательность господина судьи так и расплылась фамильярной ухмылкой:

— Ваши удостоверения, господин, — ответил он, — понимает-ся, говорят сами за себя, но не взыщите, по всем категориям они пока еще не сходятся, и уж если вам загорелось подвести итог с натяжкой, удостоверения должны быть соответственные.

Мошенник знал, чего потребовать, и получил еще один дукат.

— Признаю, — сказал судья, — что я дал маху, подозревая вас; путешествуйте себе на здоровье, только привыкайте, если вы уже не привыкли, сторониться большака, держитесь лучше окольных дорог, пока малость не образите вашу личность.

Он раскрыл дверь настежь и громогласно оповестил односельчан, сгрудившихся напротив:

— Этот господин — заправский господин по всем категориям; у нас с ним была конфиденциальная аудиенция, и он дал показания нам, то есть судье; путешествует он инкогнито, сиречь тайком, а вернее, не вашего ума дело как, вот и утритеесь, олухи! Счастливого путешествия, милостивый государь!

Теперь крестьяне ломали передо мной шапки в почтительном молчании, а я влезал на лошадь. Я предпочел бы побыстрее миновать ворота, но лошадь вздыбилась, а я, незадачливый, неискушенный всадник, естественно, растерялся; лошадь плясала, пока у меня не закружилась голова, и я бы свалился на землю под оглушительный хохот крестьян, если бы не подбежали мне на помощь судья и трактирщик.

— Лихая же у вас лошадь, — сказал судья, сам чуть не прыснул.

— Лихая лошадь, — повторил я, отряхиваясь.

Меня снова посадили в седло, но лошадь снова вздыбилась, храпя и фыркая, как будто что-то не пускало ее за ворота. Тут старый крестьянин крикнул:

— Эй, посмотрите-ка, у ворот сидит побирушка, старая Лиза; это ее проказы: она не дает проходу коняге, потому что его благородие ничего не подал ей.

Тут и мне бросилась в глаза оборванная старуха, притулившаяся в подворотне; она посмеивалась, не сводя с меня безумных глаз.

— Посторонись, побирушка! — крикнул судья, старуха же взвизгнула:

— Братец в крови пожалел мне грошик, а видите, передо мной валяется мертвяк. Вот лошадь и упирается, и брату в крови никак не проехать, мертвяк-то вскакивает, но я его уложу, если братец в крови раскошелится на грошик.

Судья потащил было лошадь за узду, не слушая старухино визга, однако и он не мог вывести лошадь за ворота, а старуха без умолку надрывалась:

— Братец в крови, братец в крови, давай грошик, давай грошик!

Я полез в карман, бросил деньги ей в подол, и старуха запрыгала, завопила в восторге:

— Хороши грошики, хороши, их подал мне братец в крови, хороши грошики!

Зато моя лошадь громко заржала, сделала курбет, судья не удержал ее, и она оказалась за воротами.

— Ну, вот и видно, что вы, господин, прирожденный наездник по всем то есть категориям, — сказал судья, а крестьяне, высыпавшие за мной следом на улицу, вопили, наблюдая мои ужимки при разных аллюрах моего горячего скакуна:

— Вот это седок так седок! Суший капуцин, право слово!

Происшествие в деревне, в особенности устрашающие проицанья юродивой бабки, изрядно меня поразили. Следовало как можно скорее принять меры: при первой же возможности исправить свою внешность, чтобы впредь не привлекать соглядатаев, и назваться каким-нибудь именем; тогда меня труднее будет обнаружить в человеческих скопищах.

Жизнь представлялась мне темным, непроглядным предопределением, и я, неприкаянный, мог только свериться волнам потока, куда бы он, неустойчивый, ни забросил меня. Я был отрезанный ломоть, ничто меня больше не связывало, но и поддержки для меня больше никакой не осталось.

А большак на глазах оживлялся; по всем приметам, впереди угадывался богатый, многолюдный торговый город, и я ехал прямо туда. Немного дней прошло, и я увидел его; ни любопытных взглядов, ни расспросов, здесь было не до меня. В предместье я облюбовал большой дом; его окна были похожи на зеркала, золотой лев с крыльями красовался над дверью. Людское море не оставляло эту дверь в покое своими приливами и отливами, кареты то останавливались, то снова трогались с места, в нижних комнатах звенели стаканы и слышался смех. Не успел я спешиться у двери, как услужливый слуга принял мою лошадь и убрал ее. Расфранченный кельнер, позванивая ключами, встретил меня и повел вверх по лестнице; на втором этаже он еще раз покосился на меня, и мы поднялись на третий этаж, там он отпер для меня комнату поплоче и учтиво осведомился, что мне угодно покуда до обеда, который накрывают к двум часам в зале номер 10 на первом этаже, и тому подобное. «Принесите мне бутылку вина!» Таково было первое мое слово. Наконец-то и мне позволила вставить словечко эта вышколенная хлопотливая услужливость.

Только я уединился, как в дверь постучали, и показалось лицо, до того потешное, что вспомнились личины, которые мне прежде случалось видеть. Остренький красный нос, пара малюсеньких, но блестящих глазенок, продолговатый подбородок и к тому же торчащий, пудренный кок, хотя сзади, как я потом убедился, прическа была сделана под императора Тита¹⁴, огромное жабо, пламенеющий жилет с двумя внушительными цепочками часов, панталоны, фрак, где зауженный, где мешковатый и, кажется, сшитый так умышленно! Ко мне приближалась фигурка, изогнувшаяся в невероятном поклоне еще в дверях, а в руках сей посетитель держал шляпу, ножницы и гребень, говоря при этом:

— Я здешний цирюльник, благоволите снизойти до моих услуг, до моих смиреннейших услуг.

Эта миниатюрная фигурка, похожая на засушенный осенью летучий лист, была столь курьезна, что я чуть было не расхохотался. Однако я нуждался в цирюльнике и без обиняков осведомился, берется ли он придать приличный вид моей шевелюре, несколько спутанной долгим путешествием да еще испорченной неряшливыми ножницами. Он глянул на мою голову, как требовательный художник, манерно изогнувшись, растопырил персты и приложил их к своей груди с правого бока:

— Приличный вид? О Господи! Пьетро Белькампо, именуемый гнусными завистниками просто Петер Шёнфельд, как божественного полкового трубача и горниста Джакомо Пунто они обзывают «Якоб Штих», тебя недооценивают! Но не сам ли ты держишь свою свечу под спудом, хотя мог бы стать светилом в свете? Разве форма твоей руки, разве искра гения, вспыхивающая в твоём оке и попутно окрашивающая денницей твой нос, разве все твоё существо не свидетельствует перед взором знатока о том, что в тебе таится дух, взыскующий идеала? Приличный вид? Разве так это называется, сударь?

Я попросил маленького чудака успокоиться, так как я-де вполне доверяю его сноровке.

— Сноровка! — снова вскипел он. — Что такое сноровка? При чем тут норов? Может быть, речь идет о том, что норовит прыгнуть локтей на тридцать и сваливается в ров, хотя пять раз до того испытывал свой глазомер? Или имеется в виду тот, кто за двадцать шагов метит чечевичей в игольное ушко? Или тот, кто, повесив десять пудов на шпагу, балансирует ею на кончике своего носа шесть часов, шесть минут, шесть секунд и еще один миг? Вот что такое сноровка! Ею пренебрегает Пьетро Белькампо, ибо искусство, святое искусство одушевляет его. Да, искусство, сударь, искусство! Моя фантазия бродит в чудесном храме локонов, в художественном кружеве, чьи трепетные заводы творит и растворяет веянье зефира. Там его поприще, там его сфера, там его нива. Ибо искусству присуще божественное, но божественно не то, что слывет обычно художественным, нет, оно возникает из всего того, что, собственно, и есть искусство! Вы поймете меня, сударь, ибо, по-моему, вы — голова, о чем свидетельствует вон та кудерь справа над вашим высокочтимым лбом.

Я заверил его, что вполне понимаю его рассуждения, и, весьма развлеченный столь самобытным чудачеством, я, в намерении испытать на себе его самохвальное искусство, отнюдь не позволяя себе посягнуть на его пыл и пафос.

— Что же рассчитываете вы, — осведомился я, — извлечь из моего нечесаного колтуна?

— Все, что вы изволите, — ответил малютка, — однако, если замысел Пьетро Белькампо, художника, имеет для вас какую-нибудь ценность, предоставьте мне сперва исследовать вашу дражайшую макушку в надлежащих пропорциях с ее протяжен-

ностью и объемом, а также ваш стан, вашу поступь, вашу мимику, вашу жестикуляцию, и тогда я порекомендую вам ваш стиль: античный, романтический, героический, величественный, наивный, идиллический, иронический или же юмористический; когда осмелюсь я заковать дух Каракаллы¹⁵, Тита, Карла Великого, Генриха Четвертого, Густава Адольфа, Вергилия, Тассо или Боккаччо... Сей дух вселится в мои персты, оживит их фибры, и под музыку ножниц выйдет шедевр. Я, сударь, довершу формирование вашей личности, что скажется во всей вашей жизни. Однако теперь извольте ступить разок-другой, не покидая комнаты, а я присмотрюсь, прикину, вникну — не откажите в любезности.

Вынужденный повиноваться этому оригиналу, я зашагал по комнате, как он того желал; при этом я всячески пытался не выказывать монашеского благолепия, от которого, как известно, полностью избавиться невозможно, как бы давно ты ни покинул монастырь. Малютка пристально наблюдал за мной, потом засуетился вокруг меня, как бы вторя мне своими шажками; он отдувался, охал, вытащил даже носовой платок, чтобы отереть пот со лба. Наконец он утомился, и я спросил его, представляется ли он себе теперь, как приняться за работу. Он со вздохом ответил:

— Ах, сударь! Как же так? Вы не верны себе, в движении вашем чувствуется умышленность, заданность, одна ваша натура противоборствует другой. Шагните еще, сударь!

Мне отнюдь не улыбалось дальнейшее освидетельствование, и я заупрямился, потребовал, чтобы он либо начинал меня стричь, либо я буду вынужден обойтись без его художества, если он все еще колеблется.

— Умри же, Пьетро, — возопил малютка с невообразимой горячностью, — умри же, ибо тебя не хочет знать этот мир, где утрачены верность и откровенность. Вам бы восхититься моей зоркостью, достигающей глубин вашей души, вам бы, сударь, почтить мой гений! Мне не удался гармонический синтез всего того несовместимого, что замечается в движениях ваших и в самой вашей личности. Ваша поступь, сударь, — это поступь духовного лица. *Ex profundis clamavi ad te Domine — Oremus — Et in omnia saecula saeculorum — Amen!**

Малютка пропел эти слова с хрипотцой и надрывом, безукоризненно имитируя осанку и жестикуляцию монаха. Он поворачивался, как священник перед алтарем, преклонял колени, снова вставал, но вдруг напустил на себя заносчивую строптивость, наморщил лоб, глянул свысока и произнес:

— Мир — мое владение; я богач, умник-разумник, а вы нет, вы все — кроты в сравнении со мной. Кланяйтесь же мне! Смотрите, сударь, — продолжал карапуз, — вот первоэлементы

* Из глубины воззвал к Тебе, Господи — Помолимся — И во веки веков — Аминь! (лат.) — фрагменты из разных католических молитв.

вашей наружности, и если вы не возражаете, то я, исходя из ваших черт, форм и душевных качеств, попытаюсь частично слить Каракаллу, Абеяра¹⁶ и Боккаччо, чтобы сплав принял завершённый образ, и начну строить невиданное антично-романтическое здание из ваших эфирных локонов и волосков.

Я не смог отказать малышу в проницательности и не преминул открыть, что действительно имел отношение к духовенству, успев даже удостоиться тонзуры, которую, однако, предпочел бы не выставлять напоказ.

Крошка занялся моими волосами, кривляясь, приплясывая и витиевато разглагольствуя. То он мрачнел и хмурился, то посмеивался, то изображал атлета, то поднимался на цыпочки, и как я ни подавлял смех, невозможно было смеяться больше моего.

Наконец он справился со своей задачей, и, предупредив новый взрыв его красноречия (слова уже теснились у него на языке), я спросил его, нет ли кого-нибудь способного сделать с моей запущенной бородой то же, что он сделал с волосами. Цирюльник загадочно усмехнулся, подкрался на цыпочках к двери и запер ее. Потом он тихонько возвратился на середину комнаты, чтобы изречь:

— О, золотые времена, когда борода и кудри головы ниспадали единым струящимся потоком, краса мужа и чарующий материал для художника. Вы минули, золотые времена! Мужики поступились естественным своим убором, и возник презренный цех, истребляющий бороду до корня своей омерзительной снастью. О вы, гнусные, негодные брадобреи, бродорезы, правьте свои ножи на провонявших маслом черных ремнях назло художеству, трясите вашими бахромчатыми кисетами, бренчите вашими тазиками, вспенивая мыло, брызгаясь вредным кипятком, с кощунственной наглостью вопрошайте ваши жертвы, что засунуть им за щеку: большой палец или ложку? Но встречаются еще такие Пьетро, противодействующие вашему скверному промыслу, даже опускаясь до вашей постыдной поденщины, даже искореняя бороды, они пытаются спасти то, что можно, то, что еще вышаетея над морем бушующего времени. Что такое бакенбарды с тысячами своих вариаций, с прелестными своими завихрениями и округлостями, то изгибающиеся нежной овальной линией, то грустно никнувшие в ложбинке выи, то дерзко возносящиеся над уголками рта, то смиренно утончающиеся и вытягивающиеся в ниточку, то разлетающиеся в горделивом парении своих прядок — что они такое, если не ухищрение нашего художества, все еще процветающего в своей приверженности к священной красоте? Эй, Пьетро, яви дух, тобою движущий, отличись художеством в самом жертвенном нисхождении до нестерпимого брадобрития.

Произнося такие слова, крошка вытаскивал весь набор брадобритвенных принадлежностей и начал снимать с меня мою

бороду. причем рука у него была легкая и уверенная. Поистине его художество до неузнаваемости изменило мое обличье, и теперь я нуждался только в платье, не столь заметном, чтобы своим покроем возбуждать опасный интерес к моей особе. Крошка стоял, улыбаясь мне от внутреннего удовлетворения. Я сказал ему, что не имею никакого знакомства в городе, а мне весьма желательно по-здешнему приодеться. При этом я втиснул в его пальцы целый дукат, вознаграждая его старания и возжигая усердие, так как весьма нуждался в посыльном и ходатае. Весь просветлев, крошка любовался дукатом у себя на ладони.

— Драгоценный любитель художества и меценат, — начал он, — вы не обманули моих надежд; моей рукою двигал дух, и в орлином размахе ваших бакенбард сказывается широта вашей души. Мой друг Дамон¹⁷, мой Орест не уступает мне ни по гению, ни по глубокомыслию; он делает для остального вашего стана то, что я сделал для вашей головы. Я подчerkиваю, сударь, он костюмотворец, вот настоящее обозначение его призвания, для которого слишком низменно и буднично звание портной. Он поглощен идеальным, его фантазия — истинный кладезь форм и образов, и в его лавке чего только нет, товар на любые вкусы. Вам явится там наимоднейшее в неисчерпаемых своих нюансах, то нестерпимо, непревзойденно блещущее, то самоуглубленно-высокомерное, то бесхитростно суетящееся, то саркастическое, едкое, брюзгливое, угрюмое, развязно-прихотливое, жеманное, залихватское. Первый сюртук юнца, заказанный помимо придирчивой маменьки и гувернера, костюм господина, которому за сорок, чьи седины нуждаются в пудре, притязание престарелого жизнелюба, светский лоск ученого, солидность богатого купца, чопорность зажиточного бюргера — все это у вас перед глазами в лавке моего Дамона; несколько секунд — и вы насладитесь мастерством моего друга.

Он запрыгал прочь и вскоре привел ко мне высокого упитанного мужчину, одетого с иголочки; словом, это был сущий антипод моего малютки по своему внешнему облику и по всему своему складу, однако оказалось, что это и есть его Дамон.

Дамону, очевидно, служили меркой его глаза, которые скользнули по мне с головы до ног, после чего он распаковал обновки, принесенные приказчиком, и они вполне удовлетворили меня, как будто он заранее знал, что я пожелаю приобрести. Потребовалось время для того, чтобы я убедился в тонком чутье костюмотворца, как выпрeнне титуловал его крошка; Дамон и вправду одел меня так, что я больше не бросался в глаза, а если и привлекал внимание, то достаточно лестное, помимо моего сословия и профессии, которые как-то переставали интересоваться досужих соглядатаев. И действительно, сложная задача — подобрать себе, так сказать, обобщенный костюм, не только не вызывающий домыслов о том, какая именно у тебя профессия, а, напротив, исключаяющий возможность такого любопытства. Костюм

свидетельствует о всемирном гражданстве скорее отвержением, нежели предпочтением тех или иных частных и приближительно сводится к тому же, что и хорошее воспитание, скорее отучающее, чем приучающее к тем или иным действиям.

Малыш вновь рассыпался в заковыристых гротескных оборотах, и поскольку другие, судя по всему, были менее благосклонны к его словесным излишествам, чем я, он был рад-радехонек извлечь свою свечу из-под спуда. Дамон, человек положительный и, как мне показалось, благоразумный, схватил наконец его за плечо и сказал:

— Шёнфельд, опять тебя заносит, ты же мелешь невесть что; быось об заклад, у господина уши заболели от твоей бессмыслицы.

Белькампо повесил было нос, подобрал свою пыльную шляпу и закричал, выпрыгивая за дверь:

— Так третируют меня даже лучшие мои друзья!

Прощаясь, Дамон сказал мне:

— Шёнфельд — зверек редкостный. Вот уж кто дочитался до чертиков. При этом он добряк и свое дело знает, поэтому я с ним все-таки лажу, потому как если человек хоть в чем-нибудь смыслит, пусть иной раз он и хватит через край, с него взятки гладки.

Когда моя комната опустела, я принялся перед большим зеркалом выработать себе походку. Малыш-парикмахер дельно предостерег меня. Монаха всегда выдает походка, косолапая и притом спотыкливо-поспешная, чему причиной долгополое облачение, мешающее шагнуть, и привычка к быстрым движениям, образующаяся от церковных служб. Отсюда же выпячивание груди как реакция на поклоны и застарелая неестественность рук (монах никогда не размахивает ими; они у него либо сложены, либо спрятаны в длинных рукавах), так что наметанный глаз всегда узнает монаха. Я силился все это преодолеть, так как малейший отпечаток монашеского прошлого меня не устраивал. Чувства мои находили успокоение лишь тогда, когда вся моя жизнь представлялась мне исчерпанной и обесцененной, как будто для меня начиналось новое существование и мой дух вживался в новый образ, постепенно вытеснявший даже прежние воспоминания до полного их исчезновения.

Уличная сутолока, деловитый шум ремесленной и другой предприимчивости радовали меня своей новизной, закрепляя настроение, вызванное курьезным маленьким цирюльником. В новом приличном костюме я отважился сесть с другими постояльцами за обеденный стол, и моей робости как не бывало: никто на меня не косился, а мой ближайший сосед даже не смотрел на меня. Заполняя регистрационный лист, я записал под именем Леонард, памятуя о приоре, которому я был обязан своей нынешней свободой; я написал также, что я частное лицо и путешествую ради собственного удовольствия. В городе по-

добные путешественники встречались то и дело; должно быть, потому и ко мне не приставали с расспросами.

Особенное удовольствие доставляло мне блуждание по улицам; мне нравилось останавливаться перед богатыми магазинами: картины и гравюры доставляли мне истинное наслаждение. Вечерами я бывал на гуляньях и тогда в суетном оживлении нередко тяготился моим одиночеством: чувство весьма горькое.

Казалось бы, при моих обстоятельствах я должен был скорее радоваться тому, что я никому здесь не знаком и ни одна душа не подозревает, кто я такой и какая странная, примечательная игра случая забросила меня сюда со всеми тайнами, заключенными в моем существе, а меня пробирала дрожь при мысли, что я напоминаю дух покойника, скитающийся по земле, где вымерла всякая родственная или дружественная ему жизнь. Горькое сожаление мое усиливалось, когда я думал о моем недавнем прошлом: каждый дружелюбно и даже благоговейно приветствовал знаменитого проповедника, и кто только не жаждал его наставлений, ловя малейшее мое слово.

Но тот проповедник был монах Медардус; он умер и погребен где-то в бездне среди гор; у меня нет с ним ничего общего, я-то жив и только теперь вхожу во вкус новой жизни, сулящей мне неизведанные улады.

И когда во сне повторялось пережитое мною в замке, мнилось, будто не я участвовал в тамошних происшествиях, а другой, и капуцином был тот другой, а не я. Только мысль об Аврелии связывала меня прежнего со мной нынешним, но какую невыносимую боль причиняла мне эта мысль, убивая всякий намек на отраду, силой выдергивая меня из красочных кругов, на которые не скупилась жизнь, прельщающая меня.

Я зачастил туда, где мог встретить хотя бы бражников или игроков; так я облюбовал отель, который славился вином: по вечерам там собиралось многолюдное общество.

За столом в особой комнате поодаль от общего зала я видел всегда одних и тех же собеседников, переговаривавшихся оживленно и остроумно. У них был свой замкнутый круг, но мне представился случай с ними сблизиться, когда я, сидя в моем уголке, тихо и скромно попивал вино и внезапно подал им реплику, заинтересовав их литературной аллюзией, которую они сами тщетно пытались вспомнить; я удостоился места за их столом, предоставленного мне тем охотнее, что они оценили мое умение поддержать разговор, а также мою образованность, непрерывно возрастающую, ибо я, не теряя времени, восполнял пробелы в моих познаниях.

Я приобрел знакомство, несомненно благотворное для меня, так как, постепенно вовлекаясь в мирскую жизнь, я усваивал непринужденность и жизнерадостность; я, так сказать, обтесывался, избавляясь от прежних шероховатостей.

Вечер за вечером в нашем обществе говорили о приезде

живописце, выставившем в городе свои картины. Все, кроме меня, уже их видели и так превозносили его мастерство, что я тоже решил посетить выставку. Когда я вошел в зал, художник отсутствовал, и обязанности чичероне принял на себя старичок, назвавший других мастеров, чьи картины живописец выставил вместе со своими.

Картины действительно были хороши, среди них преобладали оригиналы, принадлежавшие кисти прославленных мастеров, и восторг мой при виде их был неподделен.

Впрочем, по словам старичка, среди картин встречались и копии, бегло писанные с больших фресок, и вот эти-то копии смутно напомнили мне мое младенчество.

Все отчетливее вспыхивали во мне живые волнующие краски. Конечно же, это были копии, но оригиналы-то принадлежали Святой Липе. Глядя на Святое Семейство, я распознал в чертах Иосифа лик того странного Паломника, у кого на руках сидел чудо-младенец, первый товарищ моих детских игр. Но глубже всего я был потрясен и даже не мог сдержать громкого возгласа, когда передо мной возник портрет во весь рост и я узнал княжну, мою приемную мать. Ее царственная красота была запечатлена с высочайшей степенью сходства, которой отличаются портреты Ван Дейка; она была в полном облачении, как будто готовилась возглавить шествие монахинь в день святого Бернарда. Художника вдохновил именно тот момент, когда она, помолвившись, выходит из кельи, а монахини ждут ее, и богомольцы застыли в благоговейном ожидании в церкви, которая тоже видна на картине вдаль, вот истинное искусство перспективы! При всей царственности во взоре ее сияло лишь чувство, всецело приверженное Небесному, и, казалось, она молится за иступленного изверга-святоотца, силою порвавшего с ее материнским сердцем, и кто же был этот изверг, если не я! Грудь мою снова заполнили чувствования, давно не изведенные: нечто несказанное влекло меня, и я снова брал урок у доброго сельского пастыря близ цистерцианского монастыря, смысленный, бойкий, расторопный отрок, восторженно предвкушающий день святого Бернарда. Я видел ее!

— Ты по-прежнему верующий, по-прежнему хороший, Франциск? — спрашивала она, и полнозвучие ее голоса было смягчено любовью, но тем оно было слышнее и трогательнее.

«Ты по-прежнему верующий, по-прежнему хороший?»

Ах, как я мог ответить ей? Я не знал меры в святотатствах; сперва я нарушил обет, потом совершил убийство! Горе и раскаянье сокрушили меня, и, как подкошенный, упал я на колени, заливаясь слезами.

Старичок, испуганно подскочив ко мне, неотступно спрашивал:

— Что с вами, что с вами, сударь?

— Портрет настоятельницы напомнил мне мою мать... Она

умерла такой страшной смертью, — ответила вместо меня какая-то пустота, а я встал, стараясь хоть сколько-нибудь овладеть собой.

— Пойдемте, сударь, — сказал старичок, — не предавайтесь тягостным воспоминаниям; что было, то прошло. Тут есть еще один портрет, мой господин считает его лучшим. Картина писана с натуры и закончена давеча. Мы закрыли ее от солнца, чтобы не пострадали краски, они еще не просохли.

Старик отвел меня на должное расстояние, чтобы правильно падал свет, потом быстро отдернул занавесь.

То была Аврелия!

На меня напал ужас, и я едва мог скрыть его. Однако я угадал: близок супостат, он снова хочет уничтожить меня, хочет силой ввергнуть меня в бурный поток, откуда я едва выкарабкался, и отвага вернулась ко мне, и я ополчился против страшилища, надвигавшегося на меня из таинственной тьмы.

Взоры мои так и алкали Аврелии, чьи прелести сияли на картине, где пламенела и трепетала жизнь.

Детски девственный, кроткий небесный взор, казалось, уличает свирепого убийцу брата, однако мое раскаянье исчезло в едком бесовском сарказме: разрастаясь во мне, он ядовитыми колючками отгонял меня от приветливой жизни.

Меня терзало одно: в ту роковую ночь в замке я так и не овладел Аврелией. Гермогена принесло некстати, так поделом ему, он заслужил смерть!

Аврелия жива, значит, небеспочвенна надежда овладеть ею!

Конечно же, этого не миновать, она во власти рока, а разве его власть — не моя власть?

Так разжигал я себя для нового святотатства, любуясь картиной. Во взгляде старика я увидел удивление. Он сорил словами, разглагольствуя о рисунке, тоне, колорите и не знаю о чем еще. Одна Аврелия занимала меня; я уверился в том, что вождевленное злодеяние еще не ушло от меня, а только отсрочено, и я кинулся прочь, даже не осведомившись о живописце, хотя следовало бы разведать историю картин, которые связным циклом знаменовали всю мою жизнь.

Я решил ни перед чем не останавливаться и любой ценой завладеть Аврелией; я смотрел на превратности жизни с такой высоты, что, казалось, нечего мне опасаться и нечего терять. Я так и эдак прикидывал, как бы мне подобраться к моей добыче; особенно рассчитывал я на заезжего живописца, в нем я усматривал кладезь драгоценных сведений и указаний, в которых нуждался на подступах к неизбежному. Достаточно сказать, что я всерьез подумывал, не вернуться ли мне в замок запросто, как будто я изменился до неузнаваемости, и подобное предприятие даже не внушало мне особых опасений.

Вечером я пошел к моим новым знакомым, так как искал общества, чтобы совладать с моим разбушевавшимся духом и

обозначить хоть какие-нибудь пределы для горячечно-неуемной фантазии.

Мои собеседники много говорили о картинах приезжего художника и особенно восхищались лицами на его портретах, написанными с редкой силой; у меня не было причин не поддержать эти похвалы, более того, я сам блеснул перед ними, превознося несказанное обаяние, сияющее на ангельском, небесном лице Аврелии, и никто не заметил при этом язвительной иронии, снедавшей меня пламенем и нашедшей таким образом выход. Один из присутствующих сказал, что живописец все еще в городе, так как продолжает работать над некоторыми портретами, что мастер он интереснейший, хотя далеко не молод, и завтра, быть может, он последует приглашению посетить нас.

Неописуемая, непостижимая для меня самого буря предчувствий бушевала во мне, когда на следующий вечер позже обычного я пришел в общество: приезжий сидел за столом спиной ко мне. Как только я сел, как только увидел его, передо мной застыли черты страшного пришельца, который тогда в день святого Антония стоял, опершись на колонну, и нагнал на меня такую боязнь и ужас.

Он не сводил с меня осуждающих глаз, но портрет Аврелии так раззадорил меня, что мне хватило духу выдержать его взгляд. Итак, супостат материализовался, и предстояла битва с ним не на жизнь, а на смерть.

Я решил подождать, пока он нападет, а потом пустить в ход оружие, достаточно мощное для того, чтобы строить на нем свою тактику. Казалось, приезжему не до меня, он даже отвернулся и продолжал распространяться на художественные темы, как будто мой приход не прервал его. Речь зашла о его картинах, и портрет Аврелии удостоился особенных похвал. Кто-то предположил, что картина только на первый взгляд представляется портретом, вообще же это только этюд, обещающий в будущем композицию с какой-нибудь святой.

Обратились ко мне, так как я накануне отличился, найдя слова, прекрасные, как сама картина, и мой ответ застал врасплох меня самого, глася, что неизвестная на портрете — вылитая святая Розалия. Казалось, до живописца не дошли мои слова и он отзывается вовсе не на них:

— Действительно, портрет написан с натуры, и на нем представлена настоящая святая, воинствующая в своем алкании небесного. Я писал ее, когда, охваченная ужасающим горем, она искала в религии утешения и ждала подмоги от заоблачного престола, где царствует предвечная воля, и выражение подобного упования, которое бывает свойственно лишь душе, возносящейся превыше земного, пытался я придать ее образу.

Общество развлеклось другими разговорами; заказали вино еще лучше обычного, чтобы почтить гостя; возлияния также были обильнее, что не могло не поднять настроения. Каждый изо-

шрялся в шутках или в анекдотах, и хотя приезжий, по-видимому, смеялся только внутренне и разве что в глазах его отражался этот внутренний смех, он все-таки искусно подбрасывал время от времени одно-два забористых словечка, повышающих общий энтузиазм. Если меня и пробирала безотчетная жуть, как только приезжий бросал на меня очередной взгляд, я постепенно стряхивал с себя ужас, охвативший меня, когда я его узнал. Я рассказывал о потешном Белькампо, знакомом всему городу, и веселил всех, резкими штрихами обрисовывая его причуды, так что мой визави, добродушный толстый купец, смеялся до слез и уверял, что не припомнит более удачного вечера. Когда смех наконец пошел на убыль, приезжий внезапно спросил:

— А дьявола вы уже видели, господа?

Общество сочло вопрос прологом к очередной побасенке, и послышались уверения в том, что пока не имели чести; тогда приезжий продолжал:

— А вот я если бы малость не опоздал, то имел бы такую честь, и не где-нибудь, а в горном замке барона Ф.

Я содрогнулся, другие же заранее хохотали:

— Дальше, пожалуйста, дальше!

— Вероятно, вы все, — продолжал приезжий, — если только вы бывали в горах, помните дикую мрачную местность, где, выйдя из глухой еловой чащобы, путник попадает на кручу и перед ним разверзается глубокая черная пропасть. Это так называемое Чертово Урочище, и там же торчит скала, образующая так называемый Чертов Трон. Говорят, будто граф Викторин сидел как раз на этой скале, обмозговывая ковы, а дьявол, естественно, тут как тут, и Викторины ковы ему так понравились, что он вздумал взять их на себя, а графа спихнул в пропасть. Дьявол обернулся капуцином и нагрязнул в замок барона, побаловался с баронессой и спровадил ее в преисподнюю, к тому же он прикончил младшего барона, сумасшедшего, нарушившего дьяволову инкогнито и прямо сказавшего: это дьявол! — но при этом спаслась христианская душа, на которую всерьез рассчитывал коварный дьявол. Потом капуцин сгинул, никто не понимает, как, правда, поговаривают, что его спугнул Викторин, когда, окровавленный, встал из могилы. Дело это темное, но кое в чем я могу вас уверить: баронесса была отравлена, Гермоген подло зарезан, барон умер от горя, Аврелия, эта самая праведница и святая, которую я писал как раз тогда, когда произошел этот ужас, осталась одна-одинешенька на белом свете, вот сиротка и укрылась в монастыре цистерцианок, настоятельница которого была не чужая ее отцу. Портрет этой благородной дамы вы изволили видеть у меня в галерее. Впрочем, этот господин (он указал на меня) даст мне сто очков вперед по части подробностей, он-то гостил в замке, когда там такое творилось.

Почувствовав себя мишенью всеобщего изумленного внимания, я вскочил, возмущенный, меня взорвало:

— Послушайте, сударь, какое мне дело до вашей глупой дьявольщины и убийственных историй! За кого вы меня принимаете, да, за кого? Отстаньте от меня, прошу вас!

При моем внутреннем смятении мне было нелегко хотя бы на словах выказать хладнокровие; действие двусмысленных инсинуаций и мое раздраженное замешательство, разумеется, бросались в глаза.

Настроение заметно упало, и гости, очевидно задумавшись над тем, что я, чужак, исподволь к ним присоседился, косились на меня с подозрением, если не со злобой.

А приезжий живописец уже стоял напротив и сверлил меня своими неотступными глазами живого мертвеца, как тогда, в церкви капуцинов. Он помалкивал, он остолбенел и засгыл, но от одного его загробного вида шевелились мои волосы, холодные капли покрыли мой лоб, и приступ ужаса потряс все мои фибры.

— Сгинь! — завопил я вне себя, — сам ты — сатана, сам ты убийца-святотатец, но ко мне ты не подступишься!

Общество поднялось со своих мест.

— Что это? Что это? — слышались голоса, публика валом валила из зала, где игроки оставили игру; мой голос нагнал жуть на всех.

— Пьяный, сумасшедший! Выкиньте его! Выкиньте! — надрывались некоторые.

Но приезжий художник по-прежнему не двигался, уставившись в меня.

Обезумев от ярости и отчаянья, выхватил я из кармана нож, которым зарезал Гермогена и с которым не расставался; я бросился на живописца, но кто-то ударил меня, и я рухнул на пол, а художник издевательски захохотал на все заведение:

— Брат Медардус, брат Медардус, ты сплоховал, проваливай и отчайся в сокрушении и позоре!

Гости уже пытались меня схватить, но я опомнился и, как разъяренный бык, ворвался в толпу, повалив некоторых на пол; я прорывался к дверям.

Я уже был в коридоре, когда сбоку открылась дверка; кто-то потянул меня в темноту, и я не упирался, я уже слышал топот преследователей. Когда ватага пробежала мимо, меня проводили по ступенькам во двор, а потом задворками вывели на улицу. Там ярко горел фонарь, и в моем спасителе я узнал потешного Белькампо.

— У вашей особы, — начал он, — кажется, произошел инцидент с приезжим живописцем; я наведался в соседние апартаменты выпить стаканчик, услышал шум и поспешил вам на помощь, поскольку я ориентируюсь в доме и поскольку в инциденте виноват я.

— Возможно ли? — не сдержал я изумления.

— Кто владеет моментом, кто противостоит наитиям Выс-

шего духа! — продолжал крошка с пафосом. — Пока я занимался вашей шевелюрой, дражайший мой, во мне возгорались *comme a l'ordinaire** грандиознейшие идеи, неистовый взрыв безудержной фантазии отвлек меня, и я не только забыл пригласить и уложить мягким завитком прядь раздражительности, но позволил торчать над вашим лбом двадцати семи волоскам боязни и ужаса; они-то и ошетинились, когда на вас уставился живописец — он же, в сущности, фантом, — а потом, заняв, припали к пряди раздражительности, и она наэлектризовалась, то есть зашипела, затрещала и рассыпалась. Я же видел, как вы вспыхнули, дражайший мой; вы даже вынули ножик, его явно корродировала высохшая кровь, но ведь это тщетное поползновение отправить в Эреб его обитателя, ибо этот живописец не то сам Агасфер¹⁸, Вечный Жид, не то Бертран де Борн, не то Мефистофель, не то Бенвенуто Челлини, не то святой Петр, словом, жалкий фантом, и ничем его не отвадишь, кроме как раскаленными щипцами для завивки, которые могут иначе выгнуть или выгнуть идею, а что он такое, как не голая идея; могла бы помочь также электризующая укладка мыслей; этот вампир ведь сосет их. Обратите внимание, дражайший, мне, художнику и профессиональному фантасту, подобные вещи — пшик, сушая помада, как говорится, но заметьте, это выражение исходит из моего художества, и в нем больше смысла, чем кое-кто считает, ибо только в помаде натуральное гвоздичное масло.

От этих бредней карапуза, бежавшего рядом со мной по улицам, мне временами делалось не по себе, но когда я замечал его причудливые прыжки и его потешное личико, меня сотрясала конвульсивная судорога смеха.

Наконец мы были в моей комнате.

Белькампо помог мне собрать мой багаж, а я сунул ему в руку несколько дукатов; он высоко подпрыгнул от радости и громко закричал:

— Ура, теперь у меня благородное золото, чистоблещущее золото, насыщенное кровью сердца, блестящее, красноручное! Это экспромт, и преудачный экспромт, сударь; конец — делу венец.

Подобный эпилог был, вероятно, вызван тем, что меня озадачили его возгласы; его так и подмывало завить мне, как подобает, прядь раздражительности, подстричь волоски ужаса и взять на память кудерь приязни. Я не отказал ему в этом, и он осуществил свой замысел, уморительно позируя и гримасничая.

Наконец, схватив нож со стола, куда я положил его, переодеваясь, он встал в позу фехтовальщика и принялся разить воздух.

— Я казнь вашего неприятеля, — кричал он, — а поскольку он голая идея, только идея может его казнить; вот его и прикончит моя идея, экспрессивно подкреплённая физически. *Aprage*,

* как обычно (фр.).

*Satanas, apage, apage, Ahasverus, allez-vous-en!** Вот и сгинул интриган, — сказал он, положив нож на место, глубоко вздохнув и вытерев пот со лба, как после тяжелой работы. Я хотел спрятать нож и по привычке сунул было его в рукав, как будто все еще носил монашескую рясу, что не ускользнуло от его внимания, побудив малыша хитренько улыбнуться. Когда перед домом затрубил почтальон, Белькампо вдруг повел себя совсем иначе, вытащил маленький носовой платок, будто бы для того, чтобы вытереть себе слезы, принялся благоговейно бить поклоны, поцеловал мне руку и полу:

— Две мессы за упокой души моей бабушки, умершей от несварения желудка, четыре мессы за упокой души моего батюшки: его доконал затянувшийся пост, преподобный отец. И за меня каждую неделю, когда я преставлюсь. А пока отпущение моих преногих грехов, прошу вас! Ах, преподобный отец, во мне торчит отпетый грешный ферт, он говорит: «Петер Шёнфельд, не обезьяна же ты, пойми же, тебя нет, ты, собственно, — это я, Белькампо, я гениальная идея, а если ты не веришь мне, я тебя заколю моими отточенными, заостренными мыслями».

Этот мой заклятый враг, по имени Белькампо, преподобный отец, привержен всем порокам; между прочим, он часто оспаривает очевидное, напивается, дерется, растлеивает прекрасные, девственные мысли; этот Белькампо совращает и морочит меня, Петера Шёнфельда, так что я непристойно скачу и готов посрамить цвет невинности, когда я распеваю *in dulci júbilo*** в белых шелковых чулках, а сам сижу в дерьме. Отпустите же грехи обоим, и Пьетро Белькампо, и Петеру Шёнфельду.

Он упал передо мной на колени и притворно зарыдал. Его дурачества, наконец, утомили меня.

— Образумьтесь же, — воскликнул я; кельнер вошел, чтобы взять мой багаж, Белькампо встряхнулся и, балагурия с новообретенным юмором, пособил кельнеру доставить мне все то, что я наспех требовал.

— Что с ним связываться, он же дурачок, — крикнул кельнер, закрывая дверь кареты. Белькампо размахивал шляпой и кричал: «Ваш до гроба!» — на что я, выразительно глянув на него, поднес палец к губам.

Когда рассвело, город лежал уже далеко позади, и вместе с ним скрылся зловещий призрак, подавлявший меня непроницаемой тайной. Когда станционный смотритель спрашивал: «Куда?» — на меня снова и снова надвигалась пустота; я был изгой, расторгший все жизненные узы, и носился взад-вперед, подверженный житейскому треволнению. Но разве некая неодолимая сила оторвала меня от всего обжитого и приятного не для того, чтобы дух, гнездящийся во мне, окрылился и воспа-

* Прочь, сатана, прочь, прочь, Агасфер, убирайтесь! (лат. и фр.).

** сладостно ликую (ит.).

рил? Не задерживаясь нигде, я пересекал живописную землю и нигде не находил приюта; меня тянуло на юг, и я не мог противодействовать этой непрерывной тяге; в сущности, даже не забываясь об этом, я почти неукоснительно следовал маршруту, предначертанному мне Леонардусом, как будто продолжал действовать его толчок, ввергший меня в мир, и некая магия заставляла меня двигаться лишь в прямом направлении.

Во мраке ночи ехал я густым лесом, который простирался до следующей станции, как предупредил меня смотритель, очень советовавший мне переночевать у него, но я не принял его совета, торопясь к месту назначения, то есть бог весть куда. Только я отбыл, вдали засверкали молнии, сгустились черные тучи, нагромождаемые и гонимые бурей; гром раскатывался тысячеголорым зыком, и багровые молнии скрещивались на окоеме по всему кругозору; высокие ели трещали, содрогаясь до самого корня, проливной дождь более походил на водопад. Что ни миг, поваленное дерево грозило нас придавить; лошади упирались и дыбились, оробев от мечущихся молний, вскоре езда стала положительно невозможной; карету колыхнуло так, что заднее колесо сломалось. Не оставалось ничего другого, как стоять и ждать, когда гроза минует и месяц прорвется сквозь тучи. Только теперь почтарь сообразил, что потерял в темноте дорогу и не иначе как свернул на лесную просеку; теперь уже не было другого пути, кроме этого; приходилось, худо ли, хорошо ли, тащиться дальше в расчете на то, что мы с рассветом доберемся до деревни. Карету подперли суком и кое-как, шаг за шагом двинулись. Я шел впереди и первым заметил вдальеке слабое мерцание, послышался мне и собачий лай; я не ошибся: через несколько минут собаки надрывались вовсю. Перед нами был основательный дом, он стоял посреди широкого двора за оградой. Почтарь постучался, собаки словно с цепи сорвались, дом же как вымер; тогда почтарь затрубил, окно на верхнем этаже, где я видел свет, открылось, и низкий грубый голос крикнул:

— Христиан! Христиан!

— Слушаю, господин, — донеслось снизу.

— Там дубасят в ворота и дудят, — продолжал голос сверху, — и на псов словно черт сел. Возьми-ка фонарь да ружьишко за номером три и глянь, что там за притча.

Вскоре мы услышали, как Христиан утихомиривает собак, а потом он и сам вышел к нам с фонарем. Почтарь признался, что теперь нет сомнений: въезжая в лес, он свернул, вместо того чтобы ехать напрямиком; так мы и уперлись в дом лесничего, а до него примерно час езды вправо от последней станции.

Мы пожаловались Христиану на дорожное невезение; он распахнул ворота и помог водворить карету. Умиротворенные собаки виляли хвостами, обнюхивая нас, а хозяин, не отходя от окна, все еще кричал:

— Кто там? Кто там? Караван там пришел, что ли? — но ни

от нас, ни от Христиана не мог добиться ответа. Наконец Христиан, убрав лошадей и карету, открыл дом, и я вошел. Меня встретил высокий дородный загорелый мужчина в шляпе с зеленым пером, в одной рубашке и в домашних туфлях; в руке он держал охотничий нож без ножен.

— Из каких мест? — сурово спросил он меня, — что вы будоражите людей по ночам? Здесь не гостиница и не почтовая станция. Здесь живет главный лесничий, то есть я. Христиан — суший осел, вот он сдуру и впустил вас.

Я слегка оробел, но рассказал ему, как нам не повезло, так что заехали мы к нему не по своей прихоти, и он уже дружественнее сказал:

— Что верно, то верно, непогода была лихая, но ваш почтарь — олух: поехал невесть куда и кареты не уберег. А такому молодцу следовало бы знать лес так, чтобы ездить хоть с завязанными глазами; лес для него должен быть родным домом, как для нашего брата.

Он проводил меня наверх, отложив охотничий нож, снял шляпу, накинул сюртук, извинился за нелюбезный прием, объяснив, что живет в лесу на отлете и приходится держать ухо востро, так как в лесу рыщет всякая сволочь и так называемые вольные стрелки¹⁹ угрожают его жизни, но он им тоже спуска не дает.

— Руки коротки у этих негодников, — продолжал он, — а меня Господь всегда оборонит, ибо я блюду мои должность честь по чести, веря и уповая на Него, да и мое славное ружьецо всегда даст им отпор.

Поистине привычка — вторая натура, и почти машинально я вставил душеспасительное поучение о том, какая сила в уповании на Господа, чем окончательно расположил к себе лесничего. Не слушая моих возражений, он разбудил жену, пожилую, но жизнерадостную и прилежную матрону, которая прямо спросонья радушно приветствовала гостя и, повинувшись мужу, сразу же принялась готовить ужин. Лесничий отправил почтаря в наказание прямо ночью со сломанной каретой на станцию, откуда тот выехал, а меня обещал подвезти на следующую станцию, когда мне заблагорассудится. Я согласился тем охотнее, что не прочь был хоть немного отдохнуть. Я сказал поэтому лесничему, что хотел бы погостить у него до обеда, так как непрерывная многодневная езда утомила меня.

— С вашего позволения, сударь, — ответил лесничий, — я бы предложил вам погостить у нас весь завтрашний день, а послезавтра мой старший сын сам отвезет вас на станцию; ему это будет по пути, я намерен послать его в княжескую резиденцию.

Это меня вполне устраивало, и я похвалил уединение, особенно для меня привлекательное.

— Что вы, сударь, — возразил лесничий, — уединением здесь

и не пахнет. Вы, должно быть, прирожденный горожанин, а для горожанина каждый дом в лесу — уединенный, а все дело в том, кто в этом доме живет. И впрямь, пока в старом охотничьем замке жил старый господин, брюзга и нелюдим, не говоря худого слова, сидевший у себя в четырех стенах, не любивший ни леса, ни охоты, то было, пожалуй, уединение, но он помер, и наш милостивый князь предоставил замок лесничему, и теперь то где и оживленно, как не здесь. Да, видать, вы, сударь, горожанин и вам не знаком ни лес, ни охота; и откуда вам знать, как весело живет охотнику. Я причисляю моих егерей к моим чадам и домочадцам; вы, может быть, посмеетесь, но мои умные, смысленные псы — тоже члены нашей семьи; они так и ловят каждое мое слово, стоит мне глазом моргнуть, они уже повинуются, такие понятливые, а уж верные — дальше некуда; каждая моя собака умрет за меня, право слово! Посмотрите-ка, как на меня мой Леший глядит; думаете, ему невдомек, что речь идет о нем? Да, сударь, в лесу не соскучишься; с вечера хлопоты и приготовления, а чуть свет вскакиваешь с перины — и на воздух, я при этом люблю трубить в рог, знаете, какие у нас есть веселенькие мотивчики. Тут остальные продирают и протирают глаза, псы лают, заливаются, прямо-таки ликуют от охотничьего азарта. Мои ребята быстренько одеваются, ягдташ на бок, ружье на плечо — и в клеть, где моя старуха стряпает охотничий завтрак, и начинается торжество, настоящий праздник. Мы знаем места, где держится дичь, и располагаемся поодиночке, подальше друг от друга; собаки крадутся, норовя взять след, нюхают, фыркают, поглядывают на охотника; глаза у них умные, человеческие, а охотник стоит, еле дышит, курок взведен, а сам как вкопанный. И вот дичь выметается опретью из чащи, трещат выстрелы, собаки бросаются за добычей, ах, сударь, как тогда бьется сердце, и сам себя не узнаешь. На охоте никогда ничего не повторяется, всегда бывает что-то особенное, чего не было до сих пор. Опять же всякой дичи свое время, сперва одно, потом другое, и так оно славно, что не надоедает никому и никогда. При этом, сударь, сам по себе лес так веселит и оживляет, что какое там одиночество! Я знаю в лесу каждую стежку, каждое дерево, и поистине мне сдается, что каждое дерево росло под моим присмотром и вытягивает свои светлые, чуткие ветви, потому что узнает меня и хочет обнять, я же ухаживал за ним и лелеял его, и когда оно шумит и шепчет, я, право же, думаю, что говорит оно со мною своим древесным голосом, что они поистине славят Господа, что они молятся, а у нас для такой молитвы нет слов.

Словом, истый праведный охотник живет в свое удовольствие, потому что еще не вполне утратил добрую старинную вольность, при которой человек жил на природе, не ведая умничанья и жеманства; это же сущие бичи для тех, кто томится в теперешних жилых застенках, где человеку недоступны дивные бла-

га, дарованные ему Богом для того, чтобы наставлять и забавлять его, как наших свободных предков, живших с природой в любви и согласии, о чем можно прочитать в старинных историях.

Я слушал старого лесничего и не мог не поверить в его искренность; очевидно, он высказывал то, чем дышала его грудь, и я действительно позавидовал его счастливой жизни и его глубочайшему духовному миру, от которого я был так далек.

В другом крыле этого, как я убедился, весьма просторного здания старик указал мне чистенький покойчик; там я нашел мой багаж, и, прощаясь со мной, хозяин заверил, что рано утром никто не разбудит меня, так как остальных домочадцев здесь не слышно и я смогу почивать сколько пожелаю, а завтрак мне подадут по моему зову; с ним же я встречу только за обедом, так как он со своими егерями спозаранку отправляется в лес и не вернется раньше полудня. Я так и повалился на постель, быстро погрузившись от усталости в глубокий сон, омраченный, однако, мучительной, ужасной грезой. Станным образом греза моя начиналась отрадным сознанием сна, я говорил себе: «Это же великолепно, я сразу заснул, и как сладко мне спится, сон освежит меня, усталого, только бы не открывать глаз».

Тем не менее получалось так, что без этого не обойтись; не прерывая моего сна, открывалась дверь, и входил некто темный, и в ужасе я узнавал самого себя в монашеском облачении, с тонзурой. Тень приближалась и приближалась к моему ложу, я не мог пошевелиться, не мог выдать из себя ни звука: на меня напал столбняк. Некто садился на мою постель, издевательски посмеиваясь.

— Тебе придется пойти со мной, — говорил некто, — мы полезем на крышу под самый флюгер; он теперь играет величальную невесте, у филина свадьба. А мы с тобой поборемся; кто спихнет супротивника, тот король и может пить кровь.

Я чувствовал, как некто хватает меня и волочит наверх; тогда мне придало силы отчаянье.

— Ты не я, ты дьявол, — кричал я и словно когтями норовил вцепиться ему в лицо, но мои пальцы сверлили пустоту, а некто лишь пронзительно смеялся снова и снова. В этот миг я проснулся, как будто некто вдруг встряхнул меня. Однако в комнате все еще смеялись. Я так и вскинулся, утро проникало в окно светлыми лучами, и я увидел: у стола спиной ко мне стоит он, одетый капуцином.

Я застыл от ужаса, жуткая греза вторгалась в жизнь.

Капуцин перебирал вещи, лежавшие на столе. Тут он оглянулся, и мужество вернулось ко мне, когда я увидел чужое лицо с черной растрепанной бородой; в глазах его смеялось безумие, лишенное мысли; в чертах его замечалось отдаленное сходство с Гермогеном.

Я предпочел поглядеть, что неизвестный будет делать дальше, и приготовился остановить его только в том случае, если он замышляет худое. Мой нож лежал около меня, так что я был достаточно вооружен, да и моя телесная сила позволила бы мне совладать с ним, не зовя на помощь. Казалось, он играет моими вещами, как дитя; по преимуществу, его забавлял красный бумажник. Он поворачивал его так и эдак перед окном, выделявая странные коленца. Наконец ему попалась фляга с остатками таинственного вина; он открыл ее, понюхал, весь затрепетал, и у него вырвался крик, на который комната ответила жутким глухим отзвуком.

В доме звонко пробило три часа, и он завыл, как будто на него напало что-то ужасное, но сразу же опять разразился пронзительным смехом (я уже слышал этот смех во сне). Он завертелся с дикими прыжками, прильнул к бутылке, отбросил ее и выбежал в дверь. Я погнался было за ним, но уже не увидел его; только на дальней лестнице слышался топот, потом как будто бы с глухим грохотом захлопнулась дверь. Я воспользовался засовом, чтобы предотвратить второй визит, и снова бросился на постель.

Усталость не могла не взять своего, и я вскоре снова заснул. Сон освежил и подкрепил меня, и я проснулся, когда в окно моего покоя уже ярко светило солнце.

Лесничий со своими сыновьями и егерями был в лесу, как и предупредил меня; цветущая приветливая девушка, его младшая дочь, принесла мне завтрак; старшая дочь с матерью были заняты на кухне. Девушка щебетала о том, как весело и мирно живут они все вместе, и только приезд князя на охоту влечет за собой хлопоты и сопряжен с некоторым беспокойством, так как он приезжает не один и случается, что вся охота ночует в доме. Промелькнули несколько часов, наступил полдень, зазвучали рога, послышалась веселая переключка, и вернулся лесничий со своими четырьмя сыновьями, славными цветущими юношами (младшему на вид было лет пятнадцать); три егеря были тоже с ними.

Лесничий осведомился, как мне спалось и не разбудил ли меня шум раньше времени; я предпочел не рассказывать о том, что мне попритчилось, ибо зловещий монах слишком вписывался в мою ночную грезу, и я едва отличал сон от яви.

Стол был накрыт, суп дымился, старик снял было свою шапочку, чтобы прочесть молитву, как вдруг открылась дверь, и капуцин, которого я видел ночью, вошел собственной персоной. Безумия больше не замечалось на его лице, но вид у него был кислый и брызгливый.

— Здорово, преподобный отче, — приветствовал его старик, — произнесите-ка *Gratias** и разделите нашу трапезу.

* Здесь: благодарственная молитва (лат.).

Монах огляделся с гневом и страшно закричал:

— Раздери тебя сатана с твоим преподобным отцом и с твоей проклятушей молитвой! Никак, ты заманил меня сюда, чтобы я был тринадцатым, то есть жертвой захожего убийцы с твоего ведома? Не ты ли напялил на меня эту рясу, как будто я не граф, твой господин и повелитель? Но берегись, проклятый, моего гнева!

С этими словами монах схватил со стола тяжеленный кувшин, метнул его в старика и разможил бы ему череп, если бы тот не увернулся ловким движением. Кувшин ударился в стену и разбился на тысячу черепков. В то же мгновение бесноватого схватили егеря и держали его крепко.

— Что! — крикнул лесничий, — ты еще кошунствуешь, пропащий ты человек! Ты смеешь бесчинствовать в обществе христиан; ты чуть было не убил меня, а когда бы не я, кем бы ты был, если не скотом, да еще обреченным на вечную погибель? Прочь его, заприте его на башне!

Монах упал на колени; он завыл в голос, умоляя смилостивиться над ним, но старик сказал:

— В башне тебе самое место, и я не выпущу тебя оттуда, пока не буду знать, что ты отрекся от сатаны, который тебя морочит; так и знай, не выпущу, хоть бы ты там помер!

Монах надрывался, как будто его действительно отправляли на лютую казнь, но егеря выполнили распоряжение и сообщили, вернувшись, что монах утихомирился, как только его водворили в башню. Христиан, попечению которого он был вверен, рассказал между прочим, что монах всю ночь метался по коридорам, а на рассвете кричал: «Дай мне еще твоего вина, и я буду твоим, совсем твоим; еще вина, еще вина». И Христиан, действительно, нашел, что монах пошатывается, как пьяный, хотя просто непостижимо, где он мог найти что-нибудь такое крепкое и хмельное.

Тут уж я счел нужным поведать о происшедшем, упомянул я и флягу, которую осушил мой ночной гость.

— Ах, как худо, — сказал лесничий, — однако вы не робкого десятка, настоящий христианин, другой бы окочурился со страху.

Я спросил его, нельзя ли узнать, что за история вышла с этим сумасшедшим монахом.

— Ах, — ответил старик, — история длинная и запутанная; за обедом рассказывать ее негоже. Худо уже то, что этот поганец накуролесил тут и едва не помешал нам весело и радостно потрапезовать чем Бог послал, так вернемся-ка лучше за стол.

С этими словами он снял свою шапочку, благоговейно и богобоязненно прочитал молитву, и, весело переговариваясь, мы отведали деревенских, основательных и вкусных блюд. В честь гостя старик велел подать хорошего вина и, как водится издревле, выпил за мое здоровье из красивого кубка. Со стола убрали,

егерь сняли со стены охотничьи рога, и зазвучал удалой мотив. Девушки подхватили припев, а заключительную строфу запели хором вместе с ними и сыновья лесничего.

Сердце мое не испытывало ни малейшего стеснения; чудо как хорошо было мне в кругу этой простой, богобоязненной семьи; давно уже я не отдыхал так душою. Было пропето немало задушевных благозвучных песен, когда старик поднялся и провозгласил здравицу всем добрым людям, почитающим благородный охотничий промысел. Потом он осушил свой стакан, и мы не отстали от него; так завершилась веселая трапеза, за которой гостя величали песней и вином.

Старик сказал мне: «Теперь, сударь, я полчаса сосну, а потом мы с вами пойдем в лес, и я уже расскажу вам о монахе, откуда он взялся в моем доме и вообще все, что знаю о нем. Бог даст, смеркнется, и мы с вами проведем вечерок там, где, по словам Франца, держатся куропатки. Вам тоже дадим хорошее ружье, чтобы и вы попытались счастья.

Я заинтересовался, так как семинаристом стрелял кое-когда по мишеням, но никогда по дичи; я не возражал, и лесничий, донельзя обрадованный, даже отложил свой послеобеденный сон, чтобы от чистого сердца показать мне, как вообще стреляют.

Я получил ружье и ягдташ, и мы с лесничим шли по лесу, когда он мне начал рассказывать о страшном монахе в таком роде:

— Нынешней осенью стукнет как раз двухлетие тому, как моим парням вечерами в лесу частенько стало слышаться нечеловеческое завывание, но хоть оно и было нечеловеческое, все же Франц (он ходил тогда у меня в новеньких) полагал, что, кроме человека, так выть некому. Так уж вышло, что Франца особенно донимала эта воющая нежить; бывало, сидит он в засаде, а тот воеет поблизости и распугивает зверье, а как-то раз Франц прицелился в зверя, и вдруг откуда ни возьмись из кустарника выпрыгивает всклоченная невидаль, и малый, что греха таить, промазал. У Франца же с малолетства голова забита всякими рассказами о лесной нечисти, тут уж его отец, старый егерь, постарался, и Франц чуть было не принял образину за самого сатану, дескать, не вздумал ли нечистый отравить ему промысел или обморочить его. Другие парни, включая моих сыновей, тоже напарывались на это пугало и тоже стали подпевать Францу, так что меня самого проняло, то есть прямо-таки разобрало самому напасть на след этой диковины, тем более что я подозревал, не пошаливают ли это вольные стрелки, не норовят ли обдурить моих охотников, отвадить их от угодий, где есть что взять.

Вот я и наказал моим сыновьям и подручным остановить это исчадие, когда оно шастает на их тропе, а буде оно не послушается и не подаст голоса, пальнуть в него по охотничьему уложению.

И опять-таки Франца угораздило после этого первым заметить наше пугало на охоте. Франц окликнул его, прицелился, тот в кусты, Франц хотел бабахнуть, ан осечка, и парень совсем струхнул, опрометью бросился к другим, что стояли поодаль; он забрал себе в голову, что сатана шкодит ему, прогоняет зверье и ружье ему заворожил; с тех пор как за ним увязалось это пугало, Франц не подстрелил ни одного зверя, хотя стрелок он изрядный. Тут пошли слухи о лесной нечисти; поговаривали уже в деревне, будто сатана подстерег Франца в лесу и соблазнял его адскими пулями; мололи кто во что горазд.

Мне ничего другого не оставалось, как пресечь это безобразие и затравить страшилище, но оно, как на грех, избегало меня, хоть я и зачастил в урочище, где оно мозолило глаза другим. Долгонько мне не везло, но выдался однажды в ноябре сумрачный такой вечер, когда я сам подстерегал зверя как раз там, где Франца впервые застигла невидаль; чу! в кустах шорох; я изготовился, поджидая зверя, а из кустов прет эта погань; глаза красные, черные космы, лохмотья какие-то. Страшилище возрилось на меня и взвыло так, что не приведи Господи.

Не знаю, какой смельчак тут не дрогнул бы; мне же, признаться, почудилось, что и впрямь передо мной сам сатана, и, по правде говоря, меня прошиб холодный пот. Однако я не растерялся, вслух прочитал молитву, и она подкрепила меня, так что я и совсем оправился. Пока я молился и призывал Иисуса Христа, страшилище завывало все неистовей, а потом извергло неслыханные кощунства.

Тут я крикнул: «Ты проклятый, оголтелый висельник, прекрати кощунствовать и сдавайся, или я тебя пристрелю!»

Человечишка завизжал, повалился на землю и взмолился о пощаде. Подошли мои парни, мы схватили его, отвели домой, где я велел запереть его в угловую башню, а поутру хотел известить о его поимке наши власти. Его доставили в башню, а он так и обмер. Когда я проведаль его поутру, он сидел на соломенном тюфяке и навзрыд плакал. Он бросился мне в ноги, умоляя смилостивиться над ним; дескать, он уже много недель околачивался в лесу, где не ел ничего, кроме диких зелий и плодов; он бедный капуцин из дальнего монастыря; его там держали в заключении как бесноватого, вот он и улизнул. Ему действительно худо пришлось, и я пожалел его, прислал ему кушанья и вина, чтобы он подкрепился, и это явно пошло ему впрок.

Он умолял пустить его в дом хоть на несколько дней и заказать ему новое облачение, чтобы он мог вернуться к себе в монастырь. Я исполнил его желание, и он вроде опамятовался; накатывало на него реже, и буйствовал он меньше. Но все-таки временами он по-прежнему неистовствовал, и я заметил, что в ответ на мои угрозы (а грозил я ему даже смертью, чтобы его урезонить) он впадает в самоуничтожение, доходит до самоистязания, закликает Бога и святых вызволить его из ада. В таком

состоянии он, кажется, мнил себя святым Антонием, а в неистовстве бредил: он, мол, граф, могущественный господин, вот нагрянут его слуги, и он велит всех нас предать смерти. Потом наступало просветленье, и он опять умолял ради Бога не гнать его, ибо только под моим кровом ему легчает. Впрочем, однажды он все-таки сорвался с цепи, и было это, как на грех, в присутствии князя, приехавшего на охоту и заночевавшего у меня. Увидев князя в окружении блестящих придворных, монах стал на себя не похож. Он отмалчивался, чуть что — весь ошестинивался, уносил ноги, как только мы становились на молитву; его прямо-таки корчило от слова Божьего, и при этом он так похотливо поглядывал на мою дочь Анну, что я решил: пора с ним расставаться, а то долго ли до беды. Поутру я собирался сбить его с рук подобру-поздорову, однако ночью меня разбудил пронзительный крик в коридоре; я вскочил с постели и с зажженной свечой кинулся в покой, где спали мои дочери. Монах был заперт в башне, как всегда ночью, однако выбрался оттуда, распалившись по-скотски, ломился к моим дочерям и так пнул дверь ногой, что филенки не выдержали. К счастью, в это время невыносимая жажда выгнала Франца из комнаты, где спали парни, и он только свернул на кухню, чтобы зачерпнуть воды, как услышал: в коридоре бесчинствует монах. Франц примчался и схватил его сзади, когда монах уже высадил дверь; но парнишке не под силу было совладать с бесноватым, вот они и сцепились на пороге под крик разбуженных девиц; я прибежал вовремя: монах повалил парня и чуть было не придушил его. Не долго думая, я набросился на монаха, вырвал у него Франца, но вдруг откуда ни возьмись в кулаке у монаха сверкнул нож, и он бы пырнул меня, если бы Франц, очухавшись кое-как, не удержал его руку, и я, человек сильный, вскорее так прижал его к стене, что у него дыханье сперло. Тут проснулись и прибежали другие парни; мы скрутили монаха, отволокли его в башню. Я сходил за арапником и крепко огрел его не один раз, чтобы отучить от подобных выходок; он жалобно визжал, вопил, а я приговаривал: «Ты — разбойник, не так еще надо бы тебе всыпать за твое паскудство; ты посягнул на моих дочерей и меня едва не укокошил; чего ты заслуживаешь, кроме смерти?»

Он завывал от страха и ужаса, очень уж он боялся смерти. На другое утро спровадить его было немислимо; он лежал пластом, прямо как мертвый, я и то его пожалел. Я перевел его в покой получше, велел постелить ему сносную постель, и сама моя старуха ходила за ним, варила ему жирные супы, находила для него снадобья в домашней аптечке. У моей старухи есть такое доброе обыкновение: когда она сидит одна, то непременно запоет что-нибудь духовное, а если у ней сердце радуется, то она любит, чтобы ей подпевала своим звонким голосом Анна.

Так они делали и у постели больного.

И тогда он начинал вздыхать и смотрел на мою старуху и на

Анну с таким сокрушением, и слезы текли по его щекам. Иногда он двигал рукою и пальцами, словно хотел перекреститься, но рука его не слушалась, она бессильно падала, и тогда он издавал тихие звуки, как будто пытался подпевать. Наконец ему вроде полегчало, и он стал креститься по-монашески и молился тихонько. Однажды ни с того ни с сего запел он вдруг по-латыни, и мою старуху, и Анну, хоть они не понимали ни слова, до глубины души пронимали святые лады; обе не могли нахвалиться таким благолепием. Монах поправлялся; он уже вставал, ходил по дому, однако и облик его, и сам он разительно переменялись. Глаза его посветлели, а ведь в них еще недавно вспыхивал злобный огонь, ступал он плавно, истово, по-монашески, руки при этом складывал, и никаких следов сумасшествия. Не вкушал он ничего, кроме овощей, хлеба и воды, лишь изредка в последнее время принимал мои приглашения сесть со мной за стол, отведать нашей снеди, выпить глоточек вина. Тогда читал он молитву и восхищал нас своими речами, в которых отличался как мало кто. Часто уходил он один в лес, где я его однажды встретил и без всякой задней мысли спросил, не пора ли ему воссвоися, то есть в монастырь. Видно, я задел его за живое, он схватил меня за руку и сказал:

— Друг мой, благодарю тебя, ты спас мою душу, отвел от меня вечную гибель, я боюсь разлуки с тобой, не прогоняй меня, пожалейста. Пожалей меня, я был прельщен сатаной, и не миновать бы мне гибели, когда бы не святой, которому я молился в часы боязни; этот святой подвиг меня в моем безумии забрести в этот лес. Вы меня застали, — продолжал монах, помолчав, — во всей гнусности моего безобразия; вам и в голову не могло бы прийти даже теперь, что я был юноша, щедро взысканный природой, а в монастырь привела меня иступленная жажда уединения и проникновенных познаний. Братия любила меня как никого другого, и я вкушал отраду, которую дарует нам лишь монастырское житие. По всем статьям я был примерным иноком, не говоря уже о моей набожности, и я бы далеко пошел, меня уже прочили в настоятели. Тут один из братьев возвратился в монастырь из дальнего путешествия и доставил разные реликвии, он уж знал, где их взять. Среди этих реликвий была некая закупоренная бутылка; по преданию, святой Антоний отнял ее у дьявола, а дьявол хранил в ней совращающий эликсир. И сию реликвию мы блюли тщательно, хотя, по мне, она возмущала дух благочестия, без коего что за реликвия. да и вообще было в ней что-то богопротивное. Вот и вспала мне на душу неопишуемая похоть отведать запретного, таящегося в бутылке, и я ухитрился стащить ее, а когда откупорил, то почувал сладость, разлакомился и выпил хмельной напиток до последней капли. Как после того извратилась вся моя чувственность, как жадно возалкал я мирских услад, как совращающий образ порока представился мне лучшим цветом жизни, об этом и говорить

ззорно, короче, даьнейшая жизнь моя — череда срамнейших преступлений, и хотя хитрость моя была дявольская, я попался, и приор осудил меня на вечное заключение. И когда я провел несколько недель в затхлой, сырой тюрме, когда я проклял себя и свою судьбу, когда мои кощунства обратились против Бога и святых, тогда вспыхнуло красное пламя, вошел ко мне сатана и сказал, что освободит меня, если душа моя отпадет от Всевышнего, а сам я признаю своим властителем его, сатану.

Я взвыл, бросился на колени и крикнул: «Нет Бога, которому я служил бы, ты мой господин, и нет в жизни другого наслаждения, кроме твоих излучений».

Тут засвистели в воздухе вихри, стены задрожали, как от землетрясения, пронзительный звук раздался в моей тюрме, железные прутья окна раскрошились, и сам я, извергнувший натиском невидимого, очутился на монастырском дворе. Луна проглядывала сквозь облака, и в ее лучах светился образ святого Антония, высившийся у водомета как раз посреди двора. И тут мое сердце разорвал страх, для которого нет слов, и я повергся, сокрушенный, перед святым, я отрекся от лукавого и взмолился о милосердии; тут надвинулись черные тучи, снова засвистела буря, я впал в беспамятство и сам не знаю, как оказался в лесу, где я метался, буйствуя от голода и отчаянья, пока вы не спасли меня.

Вот история монаха, и она глубоко поразила меня, так что и через много лет я, пожалуй, не премину повторить ее, как нынче, слово в слово. А монах покуда был такой набожный, такой благостный, что мы даже привязались к нему, и тем непо stjимее, как это снова на него накатило наемдни в ночь.

— А не известно ли вам, — прервал я его, — из какого монастыря улизнул этот несчастный?

— Он об этом ни гугу, — ответил лесничий, — а мне неохота допытываться, так как у меня почти что и сомнений нет: это бедняга, о котором недавно толковали при дворе, не догадываясь даже, что до него рукой подать, а я держу язык за зубами, а ну как монаху не поздоровится, если о нем узнают при дворе.

— Но со мной-то вы можете быть откровеннее, — вставил я, — я человек посторонний и могу поручиться и поклясться, что ни о чем не проговорюсь.

— Ну, так слушайте, — продолжал лесничий, — сестра нашей княгини — настоятельница цистерцианского монастыря в ***. Она приняла участие в сыне одной бедной женщины, чей супруг будто бы не чужой нашему двору, но тут какая-то тайна, так вот, настоятельница покровительствовала тому мальцу. По внутреннему влечению к монашеской жизни он стал капуцином, а потом прославился как проповедник. Настоятельница часто писала своей сестре о своем питомце, а с недавнего времени скорбела, утратив его из виду. Он, по слухам, тяжко согрешил, посягнув на какую-то там реликвию, за что и был удален из монастыря,

славу которого составлял долгое время. А прослышал я об этом, когда княжеский лейб-медик беседовал при мне с одним господином, тоже придворным. Они говорили и многое другое, весьма любопытное, но я не все уразумел, да и позабыл остальное, да и слышал-то я все эти толки краем уха. И если монах переиначивает произошедшее, мол, сатана вызволил его из монастырского заключения, так это, я полагаю, бредни, следы сумасшествия, а монах — не кто другой, как брат Медардус, которого настоятельница определила в монахи, а дьявол подвиг его на всяческие грехи, за что Суд Божий низвел его до бешеного скота.

Когда лесничий назвал имя «Медардус», я содрогнулся от внутреннего ужаса, да и вся повесть его изъязвила меня до глубины души смертельными уколами. Я был слишком убежден, что монах поведал сущую правду и его снова повергло в богохульное мерзкое сумасшествие адское пойло, которым он уже сладострастно лакомился. Но разве сам я не опустился до ничтожного игрища, которым тешится злобная таинственная власть, в чьих тенетах я мнил себя свободным, а сам двигался в клетке, откуда меня никогда не выпустят.

Я вспомнил, как предостерегал меня богобоязненный Кирилл, вспомнил графа и забубенную головушку, его управляющего, все вспомнил.

Теперь я постиг, отчего все во мне возмутилось вдруг, извращая мою чувственность; я испытывал стыд за мои мерзости, и этот стыд сошел было для меня за подлинное сокрушение и праведное самоуничужение, которое я почувствовал бы, покайся я воистину. Я погрузился в глубокую задумчивость и едва слушал старика, опять говорившего об охоте и описывавшего козни злых вольных стрелков. Между тем смеркалось, а мы уже стояли у кустов, где прятались куропатки; лесничий отвел мне место, предупредил, что не следует ни говорить, ни двигаться, а взвести курок и чутко прислушиваться. Охотники бесшумно прокрались на свои места, а я стоял один в надвигающемся сумраке.

И в темном лесу меня посетили видения из моей прежней жизни. Я узрел мою мать, узрел настоятельницу, почувствовал на себе их осуждающие взоры. Евфимия шарахнулась ко мне, устрояя смертельной бледностью, вперяя в меня свои сверкающие черные зеницы. Она угрожающе воздела руки; с них капала кровь, эта кровь пролилась из смертельной раны Гермона, я вскрикнул. Тут надо мной что-то просвистело, пролетая, я пальнул, не целясь, в воздух, и две куропатки шлепнулись на землю.

«Браво!» — крикнул егерь, стоявший поодаль; он срезал третью.

Выстрелы щелкали теперь вокруг повсюду, потом охотники сошлись, показывая свои трофеи. Мой сосед егерь рассказывал, многозначительно косясь на меня, что я громко вскрикнул, когда пернатые порхнули у меня над головой, подал голос прямо как с перепугу и напропалую выстрелил, а двух куропаток все-

таки добыл, хотя в темноте моему соседу, право слово, показалось, что я и ружье-то в другую сторону направил, а в куропаток все-таки попал. Старый лесничий от души рассмеялся и начал подтрунивать: меня, мол, всполошили лесные куры, и я даже начал от них отстреливаться.

— Кстати, сударь, — продолжал он, — хочу думать, что вы честный, праведный ловчий, а не вольный стрелок, у которого лукавый на побегушках, так что он может стрелять как угодно и все равно не промажет.

Эта явно беззлобная шутка старика задела меня за живое, и даже моя охотничья удача при моем тогдашнем смятении подавила меня. Больше, чем когда-либо, мое существо двоилось, как будто я двойник самого себя, и внутренний ужас разрушал то, что от меня осталось.

Когда мы вернулись домой, Христиан доложил нам, что монах сидит в башне тихохонько, не говорит ни слова и не прикасается к пище.

— Нет уж, хватит с меня этого монаха, — сказал лесничий, — похоже, что он неизлечим, а на грех мастера нет, вдруг он опять взбеленится и учинит в доме какую-нибудь ужасную пакость; нет, завтра поутру ранешенько в город его под присмотром Христиана и Франца; препроводительное письмоцо я уже давно составил, и пускай поместят его в специальное заведение.

Когда я уединился в моем покое, у меня перед глазами возник Гермоген, но стоило мне приглядеться к нему, он обернулся бесноватым монахом. Оба они соединились в моей душе и образовали некое знаменье, как будто высшая сила предостерегала меня: еще один шаг — и бездна. Я наткнулся на флягу, она все еще валялась на полу; монах осушил ее до последней капли, так что мне не грозило больше искушение хлебнуть еще, но из фляги все еще одуряюще пахло, и я выбросил ее через окно за ограду, чтобы совершенно уничтожить влияние проклятого эликсира.

Спокойствие постепенно возвращалось ко мне, и меня даже подзадорила мысль, что я не чета тому хилому монаху; он хлебнул подобного напитка и спятил, а мой дух невредим. Я чувствовал, как мимоходом касается меня ужасная судьба; мне думалось, что старик лесничий неспроста видит в монахе несчастного Медардуса, то есть меня; это увещеванье высшей святой власти, не попускающей меня впасть в отчаянье без упования.

Не одно ли безумье, повсюду пересекающее мой путь, пронизало мою душу, все упорнее предостерегая от злого духа, зримо представшего мне, как я полагал, в призрачном образе зловещего живописца?

Теперь меня так и тянуло в княжескую резиденцию. Сестра моей приемной матери, точная копия настоятельницы, как я думал, судя по портрету, частенько попадававшемуся мне на глаза, должна была руководствовать заблудшего к праведной, безвинной жизни, некогда расцветавшей для меня, а в моем нынешнем

просветлении для этого достаточно было взглянуть на нее, что оживило бы мои воспоминания. Сближение же с нею я предоставлял воле случая.

Едва развиднелось, я услышал во дворе голос лесничего; отъезжать мне с его сыном следовало рано, я бросился одеваться. Когда я спустился, у крыльца уже стояла подвода, усталая соломой, и ничто не препятствовало отъезду. Сходили за монахом; он был бледен, подавлен и не сопротивлялся. Он пропустил мимо ушей вопросы, не проглотил ни куска и едва ли обращал внимание на присутствующих. Его посадили на подводу и связали веревками, так как его состояние настораживало и никто не был уверен, что он вдруг не взбунтуется. Когда ему скручивали руки, по его лицу пробежала судорога и он тихонько охнул. Мое сердце заняло от жалости, я чувствовал, что мы с ним побратались и моим спасением я, быть может, обязан его злоключенью. Христиан и молодой егерь сели подле него. Только удаляясь, он заметил меня, и как будто вдруг его охватило глубокое изумление; подвода двигалась (мы провожали ее пешком), а он все поворачивал голову, не сводя с меня взгляда.

— Посмотрите-ка, — сказал лесничий, — как он вытаращился на вас; сдастся мне, ваше присутствие тогда за столом застало его врасплох, и он снова взбесился; и прежде, знаете ли, когда он был паинькой, чужие нагоняли на него страху, и он все ждал, что чужой убьет его. Если уж он чего и боялся, так это смерти. Бывало, пригрозишь пристрелить его, и он сразу уgomонится.

Я воспрянул духом, как только монах, этот искаженный жуткий образ моего «я», перестал мозолить мне глаза. Я уже предвкушал благотворное влияние княжеской резиденции, надеялся, что там освободят меня от рокового ига и я с новыми силами отрину злую власть, тяготевшую над моей жизнью. Как только был съеден завтрак, подъехала чистенькая дорожная бричка лесничего, запряженная резвыми лошадками.

Не без долгих уговоров убедил я радушную хозяйку принять немного денег; ее красавицам дочерям я с такими же церемониями преподнес несколько пустячков, которыми обычно торгуют коробейники; к счастью, мне было что подарить. Вся семья прощалась со мной так сердечно, как будто я успел стать своим в доме, старик все подшучивал над моим охотничьим везеньем. Я отъезжал, веселый и беззаботный.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Придворная жизнь

Княжеская резиденция являла собой разительный контраст купеческому городу, где я только что побывал. Не столь обшир-

ная, она была соразмернее и стройнее в своем зодчестве, но менее густо заселена. Некоторые улицы, настоящие аллеи по своему виду, принадлежали скорее княжескому парку, чем собственно городу; прохожие ступали чинно и степенно, грохот экипажа редко нарушал тишину. Даже одежда и осанка обывателей, не исключая городских низов, отличались некоторой изысканностью и претензией на хороший тон.

Княжеский дворец отнюдь не поражал размерами и не претендовал на монументальность, однако по своему убранству и пропорциям был едва ли не красивейшим зданием, которое я дотоле видел; дворец был окружен прелестным парком, чьи красоты благожелательный властитель любезно предоставлял для обозрения своим подданным.

В гостинице, где я нашел пристанище, мне сказали, что князь и княгиня изволят посещать парк вечерами, и многие обыватели никогда не манкируют возможностью узреть великодушного венценосца. Я не пропустил урочного часа и видел, как выходят из дворца князь с супругой в сопровождении нескольких придворных.

Ах! Но всех и вся затмила в моих глазах княгиня своим сходством с моей приемной матерью! Та же благородная гармония в каждом движении, тот же одухотворенный взор, ясное чело, небесная улыбка.

Разве что фигура ее отличалась большей округлостью, да и выглядела она моложавее, чем настоятельница. Княгиня любезно обращалась к некоторым особам, наведавшимся в ту же аллею, а князь, казалось, был поглощен интересным волнующим разговором с господином степенной и строгой наружности.

Князь и княгиня не выделялись на общем фоне ни костюмом, ни манерами. Видно было, что тон в городе задает княжеский двор и отсюда общее благочиние, известная невозмутимость и безыскусная выдержанность. К счастью, рядом со мной оказался рассудительный господин, не только рассеивавший всевозможные мои недоумения, но и то и дело вставлявший в разговор меткое словцо. Когда княжеская чета удалилась, он предложил мне экскурсию по парку, чтобы я как человек новый мог насладиться его красотами, встречавшимися здесь в изобилии; я не мог пожелать ничего лучшего и, действительно, повсюду находил дух грации и упорядоченности, хотя постройки, попадающиеся в парке там и сям, не самым выгодным образом выдавали античные пристрастия зодчего, ибо подобная предрасположенность являет свои преимущества лишь в монументальном стиле, теряясь иначе в деталях. Не смешны ли античные колонны, когда человек сколько-нибудь высокого роста может потрогать их капители? В другом уголке парка расхолаживала противоположная крайность: готика, низведенная до миниатюрности. Переимчивая приверженность готическим формам, по-моему, едва ли не более сомнительна, чем подражание античности. Ибо даже если

маленькие капеллы действительно располагают зодчего, стесненного в траатах и, следовательно, в объемах здания, к стилю готическому, стрельчатые своды, затейливые столпы со всеми вычурами, перенимаемыми в той или иной церкви, все равно не удаются, поскольку истинных высот в этом стиле достигает лишь тот зодчий, которого глубоко одушевляет сама стихия, жившая в старых мастерах и позволявшая им сочетать причудливо разрозненное и, казалось бы, несовместимое в знаменательном великолепии осмысленного целого. Одним словом, лишь романтический дух, а что может быть редкостней, должен владеть зодчим, приверженным готике, ибо здесь исключена выучка, обусловленная античными формами. Я не скривил моих соображений от моего собеседника, и он согласился со мною во всем, полагая, впрочем, что вышперечисленные малости извинительны, так как чрезмерное единообразие парка утомляло бы, не говоря уже о том, что постройки нужны как убежища от непредвиденного ненастья и, следовательно, известные просчеты неизбежны. На мой же взгляд, обыкновеннейшие павильончики, соломенные навесы на древесных стволах и в декоративных кустарниках лучше соответствовали бы подобному назначению, да еще очаровывали бы при этом, а уж если все-таки плотничать и вообще созидать, изощренный строитель, вынужденный сообразовываться со средствами и возможными масштабами, выбрал бы стиль, ориентированный на классику или на готику, но без педантичного копирования или натужного монументальничанья, не пытаясь превзойти непревзойденное искусство старых мастеров, а предпочитая приятное, то, что услаждает взор и душу.

— Лично я думаю, как вы, — ответил мой собеседник, — но архитектура всех этих зданий и самого парка подсказана самим князем, а этого достаточно, по крайней мере для нас, постоянно здесь проживающих, чтобы умерить даже справедливые порицания. Князь — лучший из людей, когда-либо родившихся на свет; он всегда придерживался истинно отеческого установления, согласно которому не подданные служат ему, а он служит своим подданным. Свобода выражать все, что вы думаете, низкие подати, а отсюда приемлемая стоимость жизни, совершенное саморазрушение полиции, которая без показного пафоса вводит в рамки лишь злостное бесчинство, отнюдь не досажая ни местному обывателю, ни приезжему оскорбительным служебным рвением; отсутствие наглой военщины, уютная уравновешенность промышленной и деловой предприимчивости — все это вы наверняка оцените, пока будете гостить в наших не слишком пространственных пределах. Бьюсь об заклад, никто еще не докучал вам расспросами касательно вашего имени и звания, и не в пример другим городам, хозяин гостиницы не предстал перед вами торжественно в первые же четверть часа с толстым фолиантом под мышкой и не пришлося вам тупым пером и выцветшими чернилами кое-как заполнять розыскной лист на са-

мого себя. Короче говоря, все устройство нашего небольшого государства продиктовано истинной житейской мудростью, и мы обязаны этим нашему славному князю, так как я слышал, что в прежние времена жителей прямо-таки изводили глупые претензии двора, превратившегося в карманное издание соседнего величия. Наш князь благосклонствует искусствам и наукам, и поэтому каждый художник, достигший определенного мастерства, каждый глубокомысленный ученый — для него желанный гость, и степень их осведомленности — единственная родословная, открывающая доступ в интимный княжеский круг. Но именно в художественные и научные интересы князя при всей широте его вкусов и сведений закрался педантизм, навязанный воспитанием и сказывающийся в рабском следовании той или иной форме. Он предусматривал и с боязливой щепетильностью навязывал зодчим каждую деталь будущего здания; он прилежно устанавливал образцы, согласно трудам антиквариев, и малейшие новшества удручают его потом, особенно когда приходится приноравливаться к масштабам, навязанным более скромными возможностями. Под гнетом непререкаемой формы, приглянувшейся князю, страдает и наша сцена, безоговорочно подчиненная установленному со всей его эклектикой. Князь увлекается то тем, то другим; от этого, право же, никому нет обиды. Когда закладывали этот парк, он был страстным строителем и садовником; потом его захватил подъем, с некоторых пор переживаемый музыкой, и его энтузиазм подарил нам превосходную музыкальную капеллу. Затем его привлекла живопись, а в этом искусстве он сам достиг немало. Даже обычные придворные увеселения у нас чередуются. Сперва у нас преобладали балы, теперь в моде фараон²⁰, и князь, отнюдь не игрок по натуре, просто упивается странными прихотями случая, но не нужно ничего, кроме какого-нибудь нового впечатления, чтобы ситуация разительно переменялась. Столь капризную смену пристрастий иные осуждают, усматривая в ней поверхностность, тогда как лишь духовная глубина, подобная прозрачному озеру в солнечный день, отражает якобы верно многоцветный образ бытия; но, я полагаю, такие критики недооценивают нашего доброго князя, чей дух, по-своему отзывчивый, движет им так, что он с особенной страстностью предается то тому, то другому побуждению, не забывая при этом и не игнорируя ничего истинно возвышенного. Вы сами свидетель: парк никак не назовешь запущенным; наша капелла и наш театр также не скудеют и совершенствуются, да и картинная галерея не без новых приобретений, насколько позволяют наши средства, ну, а если говорить о калейдоскопе придворных развлечений, кто осудит за них впечатлительного государя, которому в самой жизни нужна беззаботная игра, чтобы отдохнуть от сосредоточенной и нередко напряженной деятельности.

Мы приблизились к живописным очаровательным кушам; де-

ревя были роскошно обрамлены кустарниками, и я откровенно залюбовался ими, а мой проводник сказал:

— Все эти пейзажи, куртины и цветники — творение нашей несравненной княгини. Она настоящая художница и, кроме того, особенно любит естествознание. Вы видите здесь иноземные деревья, экзотическую растительность, но это не декорация и не выставка: все растения так подобраны, что не видно ни малейшего насилия, ничего искусственного, как будто перед вами отпрыски родной почвы. Княгиня с отвращением отвергла неуклюжих богов и богинь, кое-как сработанных из песчаника, найдя и дриад, царивших здесь прежде. Этих болванов удалили отсюда, и здесь вам встретятся кое-где лишь хорошие копии антиков, которыми князь дорожит, как реликвиями, но княгиня сумела расположить их с благоговейным уважением к сокровенным чувствам князя и с художественной предусмотрительностью, восхищающей и тех, кому неведомы эти затаенные чувствования.

Был уже поздний вечер, когда мы выходили из парка, и мой проводник принял приглашение поужинать со мной в гостинице, представившись наконец: он был директором княжеской картинной галереи.

Воспользовавшись интимностью, возникшей за ужином, я признался ему, что горю желанием лично познакомиться с княжеской четой, и он заверил меня, что нет ничего легче: каждый образованный, мыслящий путешественник может быть вхож в придворный круг. Мне следовало только навестить гофмаршала, а уж тот, наверное, благосклонно откликнется на мою просьбу представить меня государю. Этот политичный путь ко двору не устраивал меня уже потому, что гофмаршал наверняка любопытствовал бы, откуда я родом, каково мое сословие и звание, а такие вопросы были для меня затруднительны, так что я решил ввериться воле случая, который с большей легкостью устраняет препятствия, и я не прогадал. Однажды утром я гулял в парке, еще безлюдном, и увидел князя, тоже гуляющего в простом сюртуке. Я приветствовал его, как будто вижу его в первый раз, он остановился, спросив меня для начала, не приезжий ли я. Я подтвердил это, добавив, что приехал недавно и не собирался задерживаться, но красоты местности, а в особенности уютная уравновешенность, чувствующаяся здесь повсюду, так привлекли меня, что я решил не спешить. Руководствуясь в своей жизни лишь научно-художественными интересами, я склонен остаться здесь надолго, потому что все окружающее в высшей степени соответствует и благоприятствует моим исканиям. Князю, по-видимому, мои ответы доставили такое удовольствие, что он даже вызвался быть моим чичероне и показать мне красоты парка. Я поостерегся проговориться о том, что уже бывал здесь, и снова осматрел все гроты, храмы, готические капеллы, павильоны, терпеливо внимая комментариям по поводу всех достопримечательностей, а князь, надо сказать, был словоохотлив. Он

никогда не забывал назвать образец, которому следовали в том или ином случае, подчеркивал, как безукоризненно решена эта задача, и подробно описывал правила, по которым устроен этот парк и которым должны были бы подчиняться все парки. Он спросил, согласен ли я с ним, и я восхитился прелестью пейзажа, изобильной роскошью растительности, но, заговорив о зданиях, я повторил то, что уже слышал от меня директор галереи. Князь в свою очередь учтиво выслушал меня и, по-видимому, кое с чем внутренне согласился, однако пресек все же дальнейшую дискуссию замечанием, будто я прав, насколько может быть прав идеалист, но практический навык и умение осуществлять задуманное вряд ли свойственны мне. Мы заговорили об искусстве, и я блеснул основательными познаниями в живописи, не умолчав о моей вышколенной музыкальности; я даже позволял себе иногда спорить с его высказываниями, весьма неглупыми и меткими, но свидетельствующими о том, что его представления об искусстве, далеко превосходящие обычную осведомленность сильных мира сего в этих вопросах, все же недостаточны для того, чтобы почуять глубину, из которой черпает свое совершенное искусство истинный художник, воспламененный божественной искрой и взыскующий неподдельного. Выслушивая мои ответные выпады и оригинальные концепции, князь, очевидно, счел меня дилетантом, не умудренным художественной практикой. Он принялся растолковывать мне истинные тенденции живописи и музыки, особенности картин и опер.

Я приобрел много сведений о колорите, о драпировках, о балете, о серьезной и комической музыке, об ариях для примадонны, о хорах, о сценичности, о полумраке, об освещении и так далее. Я внимал всему этому, не прерывая князя, наслаждавшегося своими рацеями. Неожиданно он сам переменял материю, как бы невзначай осведомившись:

— А в фараон вы играете?

Услышав отрицательный ответ, князь продолжал:

— Поверьте мне, это великолепная игра; в своей высокой простоте эта игра для глубокомысленных. Вы смотрите на себя как бы со стороны, или, лучше сказать, вы поднимаетесь на пьедестал, откуда вы в состоянии созерцать загадочные сопряжения и узоры, всю ту, вообще говоря, незримую ткань, которой заявляет о себе таинственная инстанция, именуемая случаем. Выигрыш и проигрыш — два винта, на которых держится причудливый двигатель, запущенный нами, но функционирующий по собственной прихоти. Вам не обойтись без этой игры, я сам научу вас.

Я признался, что до сих пор игра не особенно привлекала меня, к тому же я предубежден против нее, как против опасной и даже губительной страсти.

Князь улыбнулся в ответ, пристально присматриваясь ко мне своими живыми ясными глазами:

— Ну, это разговоры, достойные детской, хотя вы можете считать меня игроком, залучающим вас в свои тенета... А я князь; если вам по душе моя резиденция, живите здесь на здоровье, и добро пожаловать в мой кружок, где между прочим поигрывают в фараон, и пока еще игра никому не повредила, за этим я сам слежу, но, вообще говоря, игра требует значительных ставок, ибо случай косен, пока его не расшевелишь.

Уже удаляясь, князь обернулся ко мне и спросил:

— Однако кто мой собеседник?

Я ответил, что мое имя Леонард, что я подвигаюсь как ученый, нигде не служу, и мое происхождение отнюдь не знатное, так что мне вряд ли подобает воспользоваться оказанной мне милостью и посетить придворный круг.

— Что знатность, что знатность! — вспыхнул князь. — Я же по вас вижу, какой вы сведущий и мыслящий человек. Ученость — вот ваша знатность, она открывает вам доступ в мой круг. *Adieu*, господин Леонард, до свиданья!

Так я достиг желаемого раньше и легче, чем замышлял. Впервые в жизни я был приглашен ко двору, мне предстояло даже участвовать в придворной жизни, и в моей памяти пронеслись все истории придворных происков, заговоров, интриг, о которых я читал в романах и комедиях, высиживаемых досужими сочинителями. По свидетельству подобных авторов, властитель всегда окружен злоумышленниками всякого рода и пребывает в ослеплении, гофмаршал помешан на своей родословной и непроходимо глуп, первый министр — корыстный, бессовестный интриган, камер-юнкеры — сплошь развратники и осквернители девичьей чести. Каждое лицо фальшиво улыбается, а в сердце ласкательство и предательство. С виду тают от благожелательности и чувствительности, лебезят, гибнут в три погибели, но каждый ненавидит себе подобного, только и думает о том, как бы подставить ему ножку, чтобы он упал и не поднялся и можно было пролезть вперед, пока тебя не постигнет та же участь. Придворные дамы тщеславны, притом помешаны на своих романах и только и делают, что расставляют свои тенета и силки, которых следует бояться как огня.

Такой образ двора сложился в моей душе, когда я читал о нем в семинарии, а читал я довольно много; я воображал, что при дворе колобродит беспрепятственно дьявол, и хотя Леонард порядочно порассказал мне о дворах, которые он посещал, и его рассказы приметно расходились с моими представлениями, я все же робел перед всем придворным, что в особенности сказывалось теперь, когда двор открывался мне самому. И все-таки меня неодолимо подталкивало желание сблизиться с княгиней, и внутренний голос невнятными глаголами непрерывно нашептывал мне, что здесь определится моя участь, и в предназначенный час я не без внутреннего стеснения находился в княжеской прихожей.

Я достаточно обтесался в том имперском торговом городе, чтобы совершенно изгладилось в моем поведении все неуклюжее, чопорное, в общем, все монастырское. Будучи от природы гибок и безукоризненно строен, я легко перенял непринужденную подвижность светского человека. Как известно, даже лица красивых молодых монахов омрачены бледностью, а я избавился от нее, мои щеки порозовели, подтверждая, что я нахожусь в расцвете лет и сил; об этом же говорил блеск моих глаз; мои темно-каштановые локоны скрывали все, что осталось от тонзуры. Ко всему прочему, я носил элегантный черный костюм в новейшем вкусе (я обзавелся им в торговом городе), так что не удивительно: моя наружность расположила ко мне общество, о чем свидетельствовало внимание ко мне, остающееся, впрочем, в рамках высшей утонченности и потому необременительное. Как по моей теории, основанной на романах и комедиях, князь, удостоив меня беседы в парке при словах: «Я князь», — собственнно, должен был бы тут же расстегнуть сюртук, чтобы мне в глаза сверкнула большая звезда, знак отличия, так и все господа из княжеского окружения должны были бы щеголять в мундирах с позументами, а на головах у них должны были бы красоваться манерно взбитые букли, и я тем более удивился, встретив простые, в меру элегантные костюмы. Пришлось признать, что я представлял себе придворную жизнь превратно, как ребенок; моя скованность начала пропадать, а совсем уж ободрил меня сам князь, подошедший ко мне со словами: «Вот и господин Леонард!» — и сразу же начавший подшучивать над взыскательностью художественного критика: я, мол, подверг его парк настоящей ревизии.

Распахнулись двустворчатые двери, и в салон вошла княгиня; только две придворные дамы сопровождали ее. Как содрогнулся я внутренне, увидев ее; при свечах ее сходство с моей приемной матерью усугубилось.

Дамы окружили княгиню, ей представили меня, ее ответный взгляд выдал удивление и внутреннее замешательство; она проворчала несколько слов, которых я не расслышал, потом что-то сказала старой даме, та тоже насторожилась и вперила в меня острый взгляд, что длилось не долее мгновения.

Потом общество разделилось; где было больше, где меньше собеседников; разговоры оживлялись, царила свободная непринужденность, хотя придворный этикет давал себя знать, напоминая о присутствии государя, что, впрочем, не вызывало ни малейшего стеснения. Я пытался выделить хоть кого-нибудь, мало-мальски соответствующего моим представлениям о придворной жизни. Гофмаршал был бойкий старый весельчак, камер-юнкеры оказались резвыми юнцами, не внушавшими никаких подозрений. Две придворные дамы походили одна на другую, как две сестры; обе молоденькие, с виду малозначительные, не блещущие ничем, даже своими туалетами. Обществу не давал

соскучиться коротыш со вздернутым носом и живыми блестящим глазами, весь в черном, с длинной стальной шпагой на боку; с неопишуемой быстротой он сновал туда-сюда, напоминая юркую змейку; он возникал то здесь, то там, уклонялся от разговоров, но не скупился на сотни едких экспромтов, искрящихся остроумием и как бы воспламеняющих каждого. То был княжеский лейб-медик.

Старая дама, наперсница княгини, неуловимым движением изолировала меня от окружающих, и я сам не заметил, как остался с ней с глазу на глаз в оконной нише. Она не замедлила заговорить со мной и при всем своем такте не сумела скрыть своей цели: ее интересовало, кто я и откуда.

Я ожидал подобных расспросов и, убедившись, что наименьшими опасностями грозит мне в таких случаях скупой незатейливый рассказ, не стал особенно распространяться о своей жизни, сообщив лишь, что сперва изучал теологию, но когда умер мой отец, оставив мне богатое наследство, отправился путешествовать из любопытства и любознательности. Место моего рождения я переместил в польско-пруссские владения и снабдил его таким наименованием, угрожающим целостности языка и зубов, что оно царапнуло ухо старой даме и та не отважилась переспросить.

— Ах, сударь, — сказала старая дама, — от вашей внешности здесь пробуждаются кое-какие грустные воспоминания, да и не умалчиваете ли вы из скромности о том, кто вы в действительности; едва ли студент-теолог держался бы с таким достоинством, как вы.

Было подано мороженое с прохладительными напитками, и общество перешло в зал, где был уже готов стол для игры в фараон. Гофмаршал держал банк, но, как мне потом сказали, уговорился с князем, что присваивает выигрыш, а в случае проигрыша фонды банка пополняет князь. Кавалеры встали вокруг стола, за исключением лейб-медика, никогда не игравшего и потому составляющего компанию также не играющим дамам. Князь подозвал меня к себе и больше не отпущал, выбирая для меня карты и кратко объясняя ход игры. Ни одна карта князя не выигрывала, и я, следуя его советам, тоже непрерывно проигрывал, а проигрыш был немалый, так как ставки начинались с луидора. Мои финансы и без того иссякали, вынуждая меня все чаще прикидывать, как я поступлю, истратив последнее, тем более роковой могла оказаться для меня игра, грозившая полным разорением. При новой талье я попросил князя предоставить меня всем превратностям игры, так как я, очевидно, в игре несчастлив и приношу несчастье ему. Князь улыбнулся и сказал, что я бы мог еще отыгаться под руководством опытного игрока, однако, если я так самонадеян, он тоже не прочь взглянуть на дальнейшее.

Я вытянул карту напропалую, это была дама. Смешно при-

знать: я вообразил, что в стертом безжизненном карточном образе узнаю Аврелию. Я воззрился на карту и едва мог скрыть внутреннее смятение; к действительности вернул меня только возглас банкмета, призывавшего делать игру. Не долго думая, я извлек из кармана мои последние пять луидоров и поставил на даму. Дама выиграла, и я ставил на нее вновь и вновь, повышая ставки на сумму выигрыша.

Всякий раз, когда я ставил на даму, игроки кричали:

— Нет, это невозможно, теперь дама будет неверна! — однако все их карты неизменно бывали биты.

— Сверхъестественно! Невероятно! — только и слышалось со всех сторон, а я в молчаливом самоуглублении, сосредоточившись всей душой на Аврелии, едва замечал золото, которое банкмет снова и снова придвигал ко мне.

Одним словом, в четырех последних тальях дама непрерывно выигрывала, наполняя мои карманы золотом. Через эту даму Фортуна подарила мне не менее двух тысяч луидоров, мои стесненные обстоятельства миновали, но мне было не по себе от неизъяснимой внутренней тревоги.

Меня настораживало таинственное сходство моего сегодняшнего счастья с недавним счастливым выстрелом, настигшим-таки куропаток. Я все более убеждался, что не я, а посторонняя власть, внедрившаяся в меня, навлекает невероятное, а я сам — лишь безвольное орудие, которым она пользуется ради неведомой цели. Сознание этой двойственности, расщепившей мой внутренний мир, обнадеживало меня, предвещая произрастание моей собственной внутренней силы, способной противостоять врагу и одолеть его. Вечное отражение Аврелии на моем пути было лишь гнусным соблазном, подстрекающим к дурному, и это кощунственное извращение чистейшего милого образа возмущало меня так, что воротило с души.

Весьма мрачно настроенный, пробирался я поутру парком и нечаянно встретил князя, тоже имевшего привычку гулять в этот час.

— Что, господин Леонард, — окликнул он меня, — как вы находите мой фараон? Что вы скажете о причуде случая, простившего вам ваши оплошности да еще подбросившего вам золота? Вам посчастливилось попасть в фавориты к даме, однако не слишком полагайтесь впредь на такой фавор.

Он пустился в подробности насчет фавора в карточной игре, излагал хитроумнейшие правила, как расположить к себе случай, и закончил увещанием, чтобы ревностно преследовал свое счастье за карточным столом. Я же от всей души заверил его, что не возьму больше карты в руки и решение мое твердо. Князь посмотрел на меня с удивлением.

— Это решение, — продолжал я, — вызвано именно моим вчерашним головокружительным счастьем, так как я убедился в том, что карточная игра не только не безобидна, но прямо-таки

пагубна. Я испытывал настоящий ужас, когда карта, безразличная мне, вытянутая вслепую, пробуждала во мне воспоминание, от которого разрывалось мое сердце, и я уже не принадлежал себе, не знаю, что мной двигало, подбрасывая мне счастье в игре с шальными выигрышами, как будто оно коренится во мне самом, как будто, вспоминая ту, чей лик сияет мне жгучими красками с безжизненной карты, я начинаю помыкать случаем и прослеживаю его скрытые извивы...

— Я понимаю вас, — прервал меня князь, — у вас была несчастная любовь, и карта вызвала в вашей душе образ вашей утраты, хотя мне, с вашего позволения, это кажется несколько забавным, стоит мне вообразить подвернувшуюся вам даму червей с ее расплывшейся, бледной потешной физиономией. Однако вы, так или иначе, вспомнили вашу возлюбленную, и в игре она была вам более верна и принесла вам больше добра, чем в жизни, может быть, но что в этом ужасного или утрашающего, я не пойму, хоть убейте, по-моему, благоволение счастья всегда радуется, да и вообще, если вас настораживает фатальное совпадение счастья в игре с вашей милой, так игра-то здесь ни при чем, таково ваше особое расположение духа.

— Не спорю, ваше высочество, — ответил я, — но меня-то тревожит не столько опасность попасть в скверный переплет из-за проигрыша, сколько дерзость, заставляющая в открытой распе покушаться на таинственную силу, а она вдруг выходит из темноты вся в блеске обманчивого марева, залучает невесту куда, издевательски схватывает, и мы разможены. Не столкновение ли с этой силой так прельстительно, что человек в ребяческом самообольщении ввязывается в него и уже не может его прервать, в самой смерти уповая на торжество. Вот отчего, по-моему, происходит безумная страсть игрока и внутреннее потрясение, вызванное отнюдь не просто проигрышем и потому тем более убийственное. Но даже с более житейской точки зрения, пусть игрок еще не подвержен этой страсти, пусть враждебная стихия еще не обуяла его, но и тогда сам по себе проигрыш угрожает ему тысячами превратностей и даже полным разорением, хотя он играет, лишь повинувшись обстоятельствам. С вашего позволения, ваше высочество, я рискнул вчера всей моей дорожной кассой.

— Вам ничего не грозило, — тотчас же ответил князь, — я бы возместил вам ваш проигрыш тройной суммой, так как я не хочу, чтобы мои развлечения кого-нибудь разоряли, кстати, это исключено: я знаю всех, кто играет за моим столом, я не спускаю с них глаз.

— Но тем самым, ваше высочество, — возразил я, — вы уничтожаете свободу игры и начинаете регулировать как раз те извивы случая, которые вам так интересно наблюдать за игрой. Да и не ухитрится ли тот или иной игрок, безрассудно приверженный своей страсти, избежать вашего присмотра, чего бы это

ему ни стоило, и ввергнуть свою жизнь в напасть, которая разрушит ее? Не сочтите мою прямоту за дерзость, ваше высочество, однако, даже если свободой злоупотребляют, рамки, предписанные для нее, стеснительны и невыносимы, ибо само существо человека противится таким рамкам.

— Вы, кажется, никогда и ни в чем не разделяете моего мнения, господин Леонард, — вспыхнул князь и удалился, едва удостоив меня небрежного «adieu».

Я сам себе не отдавал отчета в том, почему я позволил себе такую прямоту; хотя в торговом городе я часто присутствовал при игре и крупные ставки были мне не внове, игра не настолько занимала мои мысли, чтобы с моих губ неволью срывались такие выстраданные суждения. Особенно меня удручала потеря княжеского расположения, что закрывало мне доступ ко двору, лишая надежды на сближение с княгиней. Однако я заблуждался, так как в тот же вечер получил пригласительный билет на концерт, и князь, приблизившись, по-дружески шутливо обратился ко мне:

— Добрый вечер, господин Леонард, дай Бог, чтобы моя капелла сегодня отличилась и моя музыка не разочаровала вас, как разочаровал мой парк.

Музыка и вправду была недурна, исполнение было четко отработано, удручал, однако, выбор пьес, одна как бы оспаривала другую, и настоящую скуку вызвал у меня один опус, угнетающий своей выверенностью и заданностью. Однако на этот раз я не пустился в откровенности, и хорошо сделал: впоследствии мне сказали, что затяжной опус — композиция самого князя.

Я не преминул посетить придворный круг и даже решил не уклоняться от фараона, чтобы угодить князю; тем более я удивился, не увидев банка. Стояли обычные карточные столы, но игрой были заняты далеко не все. Кавалеры и дамы составили кружок во главе с князем, и начался оживленный остроумный разговор. Кое-кто ухитрялся вставлять весьма занятные пассажи, не пренебрегали и весьма рискованными анекдотами; я призвал на помощь мои таланты, позволил себе даже намеки на некоторые подробности моей собственной жизни, искусно подернув их романтическим флером для вящей занимательности. Мне посчастливилось вызвать в кружке интерес, достаточно лестный для меня, однако князь предпочитал юмористические курьезы, а в этом не имел себе равных лейб-медик, так и сыпавший тысячами экспромтов и острых словечек.

Подобные развлечения привились и углубились до того, что возникло обыкновение читать в обществе написанное прежде, и наши вечера постепенно превратились в хорошо согласованные литературно-эстетические собрания, где князь председательствовал, а каждый находил простор для своих интересов.

Однажды нашим вниманием завладел ученый, глубокомысленно преуспевший в физике; он знакомил нас с новыми, инте-

ресными открытиями в своей области, и насколько одна часть общества, достаточно сведущая в науке, была захвачена, настолько же скучала другая его часть, не затронутая научными веяниями. Сам князь, видимо, потерял канву профессорских рассуждений и явно тяготился ими. вежливо ожидая конца. Когда профессор смолк, лейб-медик был доволен, как никто; он расхвалил профессора на все лады, добавив, однако, что высоконаучное не только не исключает потешного, но даже предполагает нечто рассчитанное на увеселение и не преследующее других целей. Стыдившиеся своей слабости под гнетом чуждого авторитета приободрились, и по лицу самого князя пробежала улыбка удовлетворения: очевидно, князь лучше чувствовал себя на земле.

— Вашему высочеству ведомо, — начал лейб-медик, обратившись к князю, — что, путешествуя, я никогда не манкирую записями смешных происшествий, разнообразящих жизнь своими стечениями, в особенности же тщательно зарисовываю в моем путевом журнале разных уморительных оригиналов, на которых случалось натолкнуться, и вот из этого-то журнала я и намерен кое-что извлечь для вас, не замахиваясь на высшее и довольствуясь просто развлекательным.

В прошлом году забрел я как-то поздней ночью в большое приглядное село; до города надо было идти часа четыре, вот я и вздумал пристать в гостинице, вполне приличной, да и хозяин, бойкий и расторопный, располагал к себе. Измученный, даже разбитый долгим странствием, я повалился на постель в моей комнате, нуждаясь в спокойном, продолжительном сне, однако в час ночи меня разбудила флейта, на ней играли чуть ли не у меня под боком. Сроду я не слыхивал такой игры. Трудно было представить себе, какие же легкие у этого человека, ибо он прямо-таки уничтожал музыкальные возможности флейты одним и тем же пронзительным звуком, режущим уши, даже не пытаюсь сыграть что-нибудь другое, и невозможно было представить себе более мерзкую какофонию. Я поносил и клял про себя этого отпетого полоумного, отнимавшего у меня сон и вдобавок мучившего мои уши, однако с регулярностью часового механизма он трубил свое, пока не раздался глухой удар, словно что-то швырнули в стену, и тогда все замерло: я мог спать в свое удовольствие.

Утром я услышал, как внизу яростно переругиваются. Я узнал голос хозяина, которому перечил другой мужской голос, надрывавшийся:

— Да пропади он пропадом, ваш дом; нелегкая занесла меня на его порог. Дьявол заманил меня в хоромину, где нельзя ни есть, ни пить — все такое тошнотворное, и цены кусаются. Вот вам ваши деньги, и adieu, ноги моей больше не будет в этой поганой пивнушке!

С этими словами выбежал тощий приземистый человек в

сюртуке кофейного цвета и в круглом рыжем парике (ни дать ни взять, лисья шерсть); задиристо нахлобученная шляпа еле держалась поверх парика; человек бросился в конюшню, вскоре я увидел, как он выводит во двор не слишком резвого коня, чтобы удалиться тряским галопом.

Естественно, я предположил, что кто-то из проезжающих не поладил с хозяином и убрался подобру-поздорову; каково же было мое удивление, когда в полдень у меня на глазах та же самая кофейно-коричневая фигура в лисье-рыжем парике, удалившаяся утром, ввалилась в общую комнату и плюхнулась за стол, где был накрыт обед. Думаю, что мне еще никогда не попадались лица смешнее и безобразнее. Вся его осанка отличалась такой нарочитой степенностью, что, глядя на него, просто разбирал смех. Мы обедали вместе, и мне случалось перемолвиться словом с хозяином, тогда как мой сотрапезник, поистине неутомимый едок, упорно помалкивал. Я не сразу смекнул, куда метит злыязычник хозяин, когда тот заговорил о повадках разных народов и осведомился, знаком ли я с ирландцами²¹ и знаю ли что-нибудь об их пресловутых выходках.

«Кто о них не знает», — ответил я, и у меня в голове промелькнула целая череда подобных выходок.

Я помянул ирландца, которого спросили, зачем он напялил чулок наизнанку, а простофиля ответил: «Чтобы дырку скрыть!» Потом пришла мне на память великолепная выходка ирландца, спавшего в одной постели со злым шотландцем и высунувшим голую ногу из-под одеяла, что заметил англичанин, зашедший в ту же комнату, мигом отстегнувший от своего сапога шпору и нацепивший ее ирландцу на ногу. Ирландец, не просыпаясь, подобрал ногу и цапнул шпорой шотландца, разбудив его, и тот залепил ирландцу изрядную оплеуху. Тогда между ними произошел следующий вразумительный разговор:

- Черт тебя побери, за что ты треснул меня?
- Ты же меня шпорой ободрал!
- Как это может быть, нешто я в сапогах ложился?
- Сам посмотри!

— Накажи меня Бог, ты прав; не иначе как тутошний служающий сапог снял, а шпора так и торчит на ноге!

Хозяин так и прыснул со смеху, а мой сотрапезник, наевшись до отвала и осушив большущий стакан пива, посмотрел на меня серьезно и сказал:

— Совершенно справедливо, у ирландцев часто бывают такие выходки, но дело тут не в народе; народ они деятельный и смысленый, а все дело в тамошнем поганом ветре; от него дурость нападает, как чох, ибо, сударь, хотя сам я англичанин, но из Ирландии родом и воспитывался там же, так что и я страдаю проклятушими выходками.

Хозяин покатывался со смеху; и я поневоле присоединился к нему: меня позабавило то, что ирландец, толкуя о выходках, сам

отмачивал не последнюю из них. Смех ничуть не оскорбил нашего сотрапезника; он вытаращил глаза и, понюхав свой палец, изрек:

— В Англии ирландцы служат забористым перцем, без них общество было бы слишком пресно. Я сам если и подобен Фальстафу²², но только в том, что не скуплюсь на шутки, а приобщаю к ним других, что, согласитесь, немаловажно в наше кислое время. Поверите ли, даже в этом пустом голенище, в распивочной хозяйской душе если и проклевывается что-то в этом роде, то с моей легкой руки. Но этот хозяин — хороший хозяин, он ни за что не притронется к жалкому золотому запасу своих остроумий, а если и тряхнет иногда мощной, то разве что в обществе богачей, когда можно рассчитывать на изрядную лихву; а если он сомневается насчет лихвы, то он показывает лишь корешок своей капитальной книги, как вам только что; этот корешок — якобы расточительный смех, лишь скрывающий истинную наличность шуток. Бог помощь, господи!

С этими словами оригинал шагнул за дверь, и я попросил хозяина рассказать мне, кто он такой.

— Это ирландец, — ответил хозяин, — по фамилии Эвсон, и на этом основании он считает себя англичанином, правда, корни его в Англии, но так или иначе он обосновался здесь недавно, ровно двадцать два года назад. Я сам был молод, приобрел только что эту гостиницу и праздновал свадьбу, а господин Эвсон, тогда еще желторотый, но уже в лисье-рыжем парике и в кофейно-коричневом сюртуке того же покроя, заглянул сюда, возвращаясь на родину; должно быть, его привлекла танцевальная музыка. Он клялся, что только на кораблях танцуют как следует, и он-де там заделался танцором сызмальства, вот он и вздумал сплясать нам хорнпайп, варварски насвистывая при этом сквозь зубы, и до того доплясался, что вывихнул себе ногу, свалился и остался выздоравливать. С тех пор он так и застрял у меня. Знали бы вы, как он досаждал мне своими причудами; день за днем сколько уж лет он ругается со мной, все ему у нас не так да не эдак; он винит меня в том, что я обираю его, жалуется, что ему опостылела жизнь без ростбифа и портера; он упаковывается, напяливает все три своих парика, один на другой, прощается со мной и отбывает на своем полудохлом жеребце, но это всего-навсего прогулка; к полудню он въезжает через другие ворота, спокойно садится за стол, как вы видели сегодня, и за троих наедается, хоть кухня у нас, по его мнению, хуже некуда. Каждый год он получает внушительный вексель, так что в средствах он не стеснен; получив его, он трогательно прощается со мной, называет меня своим лучшим другом, проливает слезы, слезы текут и у меня по щекам, но только потому, что я с трудом сдерживаю смех. Потом он составляет духовную, как делается при смерти, говорит, что завещал все свое состояние моей старшей дочери, не торопясь уезжает и тащится в город. На тре-

тий, в крайнем случае на четвертый день он тут как тут; у него два новых кофейно-коричневых сюртука, три лисье-рыжих парика, один огнистее другого, шесть рубашек, новая серая шляпа и остальное, что требуется ему по части одежды; моя старшая дочь — его любимица, ей он привозит кулек сладостей, как будто она под стол пешком ходит, а ей уже восемнадцать лет. Потом он забывает и про город и про отъезд восвояси. Свои счета он погашает каждый вечер, завтрак оплачивает каждое утро, сердито бросив мне деньги, как будто уезжает навсегда. А вообще человека добрее, чем он, поискать; он и детей моих балует, задаривает, и бедняков не оставляет своими щедротами, только на священника он дуется, и то потому, что ему школьный учитель насплетничал: господин Эвсон бросил в кружку золотой, а священник разменял его на медяки. С тех пор Эвсон избегает священника и не ходит в церковь, за что священник ославил его атеистом. Я уже говорил, как он досаждал мне; нрав у него сварливый, а какие он выкидывает коленца! Вот прямо-таки вчера возвращаюсь я домой и слышу: кричат-надрываются, узнаю Эвсона по голосу. Оказывается, он сцепился с моей служанкой. Он уже сбросил свой парик (он всегда так делает, когда разъярится), стоял с голой головой, без сюртука, в подтяжках перед служанкой, тыкал ей под нос толстую книгу, что-то показывая в ней пальцем, и ругался на чем свет стоит. Служанка же уперла руки в боки и вопила: пускай он других впутывает в свои делишки, лиходей такой, безбожник и так далее. Едва-едва я приструнил их и раскумекал, откуда ветер дует. Господин Эвсон потребовал у служанки облатку, чтобы запечатать письмо; до служанки не дошло, чего он хочет; ей взбрело в голову, будто он спрашивает облатку, которой у нас причащают, и, стало быть, задумал осквернить святое причастие, так как и сам священник предупреждал: он богопротивник. Вот она и отказалась выполнить его пожелание, а господин Эвсон решил, что у него произношение подгуляло и его не понимают; вот он и приволок свой англо-немецкий лексикон и принялся комментировать свою просьбу, ссылаясь на этот фолиант и говоря при этом сплошь по-английски, а крестьянская девка, во-первых, и читать-то не умеет, и английский язык для нее — дьявольская тарабарщина. Не приди я, они, пожалуй, подрались бы, и, боюсь, господину Эвсону не поздоровилось бы.

Я прервал рассказ хозяина о своеобразном постояльце, спросив, не господин ли Эвсон дудел ночью так невыносимо, что я не мог сомкнуть глаз.

— Ах, сударь, — отозвался хозяин, — это одна из привычек господина Эвсона, так он, в конце концов, всех гостей распугает. Тому три года будет, как воротился из города мой сын; парнишка — флейтист что надо; вот он и мусолил свой инструмент, чтобы не разучиться. А господину Эвсону вспало на ум, что он тоже играл на флейте прежде, и он проходу Францу не давал,

пока тот не продал ему флейту и ноты, а уж за ценой господин Эвсон не постоял, надо правду сказать.

И господин Эвсон, глухой к музыке как пробка, принялся дудеть по нотам так прилежно, что дальше некуда. Он уже добрался до второго соло первого аллегро; тут-то и напоролся он на пассаж, который оказался ему не по зубам; и этот пассаж он дудит три года подряд по сто раз на дню, доводя до белого каления, запускает в стену сперва флейтой, потом париком. А поскольку флейта все-таки не железная, то он то и дело нуждается в новой флейте, и у него всегда под рукой три или четыре.

Стоит винтику сломаться или клапану забарахлить, он выкидывает ее в окошко с криком: «Накажи меня Бог! Только английские инструменты чего-нибудь стоят!»

Все бы ничего, но ему часто приспичивает поиграть ночью, и тогда самый крепкий сон рушится от его иерихонской трубы. Поверите ли, у нас на казенной квартире проживает английский доктор почти столько же времени, сколько Эвсон живет у меня. Доктор этот прозывается Грин, и у них с господином Эвсоном нечто вроде симпатии, оба они оригиналы и юмористы на свой лад. Вот уж подлинно, им вместе тесно, а врозь скучно, но друг без друга им невмоготу. Я как раз вспомнил, что господин Эвсон заказал мне пунш на сегодняшней вечер и пригласил на пунш нашего амтмана с доктором Грином. Если вы, сударь, найдете возможным погостить у меня до утра, то вы сможете сегодня вечером полюбоваться трилистником, какого и в комедии не увидишь.

Вы догадываетесь, ваше высочество, что спешить мне было некуда и я воспылал желанием узреть господина Эвсона во всем его блеске. И господин Эвсон вскоре явился собственной персоной, как только свечерело, он со всей учтивостью пригласил меня на пунш, добавив, что ему, право, неудобно потчевать меня никудышным пойлом, которое слывет здесь пуншем; только в Англии пунш — действительно пунш, вот он скоро туда вернется и будет ждать меня там, уж в Англии я смогу убедиться: приготовление этого божественного напитка — его истинное призвание. Я уже знал, чего стоят подобные посулы. Вскоре собрались другие званые гости. Амтман был низенький, кругленький, добродушный чловечек; носик у него был красный, а глазенки удовлетворенно поблескивали; доктор Грин был здоровяк средних лет; по его лицу сразу было видно, что он англичанин; одевался он по моде, но за собой особенно не следил; на носу у него были очки, на голове шляпа.

— Шампанского подайте мне до покраснения глаз!²³ — воскликнул он с пафосом, шагнув к хозяину, вцепившись ему в бока и тормоша его. Камбиз ты вероломный, где принцессы? Здесь кофеем разит, а не напитком богов...

— Отстань, герой, кулак твой слишком крепок, и ребра мне он может размозжить, — возопил хозяин, задыхаясь.

— Заморыш! Отпущу тебя не прежде,— продолжал доктор,— чем пунша сладкий дух мне зашекочет нос, обворожив мой разум; не прежде, нет, виновный виночерпий!

Тут на доктора набросился Эвсон.

— Презренный Грин, твой грим стереть придется, и не спасут тебя твои гримасы, когда ты не отступишься немедленно.

«Ну, — подумал я, — драки не миновать».

Однако доктор отозвался:

— Смешит меня трусливое бессилье. Что ж, буду я спокойно ждать напитка божественного, благородный Эвсон.

Он отпустил хозяина, и тот отскочил в сторону, с миной какого-нибудь Катона сел к столу, вооружился набитой трубкой и воздвиг настоящие фортификации из дыма.

— Хоть в театр не ходи, — сказал мне весельчак амтман, — доктор в руки не берет немецких книг, но однажды ему попался на глаза мой Шекспир, в шлегелевском то есть переводе²⁴, и с тех пор он повадился, как сам он выражается, старинные родные мелодии играть на заграничном инструменте. Обратите внимание, даже здешний целовальник изъясняется складно, доктор и его, так сказать, объямбил.

Хозяин принес дымящийся пунш, и хотя Эвсон и Грин клялись, что пить его невозможно, каждый из них опрокидывал один большой стакан за другим. При этом и разговор мы кое-как поддерживали. Грин был не из разговорчивых, лишь время от времени он комично противоречил собеседнику. Например, амтман заговорил о городском театре, и я уверял, что первый любовник играет отлично.

— Где там, — буркнул доктор, — не думаете ли вы, что если бы этот тип играл в шесть раз лучше, он был бы более достоин аплодисментов?

На это нечего было возразить, и я сказал только, что в шесть раз лучше не худо бы играть актеру, жалким образом подвизавшемуся в ампула благородного отца.

— Где там, — снова буркнул Грин, — этот тип делает все, что может. Разве он виноват, что у него скверные наклонности? Зато в скверном нет ему равных, а на худой конец, и это похвально.

У амтмана было свое ампула. Он разжигал обоих, и они отвечали потешными вспысками и выпадами. Амтман помещался между ними как некое провоцирующее начало, и дело шло, пока не подействовал крепкий пунш. Тогда у Эвсона выиграло ретивое, и надтреснутым голосом он затянул национальные мелодии родного края, выбросил парик и сюртук за окно во двор, изошряясь в нелепом танце с такими умопомрачительными гримасами, что можно было надорвать себе живот со смеху. Доктор оставался невозмутим, зато его посещали самые невообразимые видения. Так, он принял пуншевый ковш за контрабас и вздумал царапать его ложкой, аккомпанируя Эвсону; лишь яростные

протесты хозяина заставили его отказаться от этого намерения. Амтман заметно сникал; наконец он потащился в угол комнаты, где, плюхнувшись, расплакался. Целовальник указал мне на него глазами, и я спросил амтмана, что значит столь глубокая скорбь.

«Ах! Ах! — прорвало его сквозь слезы. — Принц Евгений был великий полководец, и этот героический принц отдал Богу душу. Ах! Ах!»

И расплакался еще пуше; слезы так и хлынули у него по щекам. Я попытался утешить его, напомнив, что сия великая утрата произошла в минувшем столетии, но мой собеседник был безутешен. Между тем доктор Грин схватил большие щипцы и, вместо того чтобы снять нагар со свечи, неумоимо пырлял ими в открытое окно. Он замахивался на самое луну, дабы изгнать ее от несуществующего нагара, а она сияла себе светленько. Эвсон скакал и вопил, словно его допекает по крайней мере тысяча чертей, пока в комнату не вошел слуга с фонарем, невзирая на лунное сиянье, и не гаркнул: «К вашим услугам, господа! Пора и восвояси!»

Доктор приблизился к нему и, пыхнув ему в лицо облаками дыма, изрек: «Здорово, друг! Ты Квинз, ты носишь лунный свет, собаку и терновник. Я здорово тебя почистил, ты стервец! Покойной ночи, много выпил я дрянного пойла; покойной ночи, целовальник, пока ты цел; покойной ночи, мой Пилад!»²⁵

Эвсон клятвенно предостерегал своих гостей, что они сломают себе шею по дороге, но никто его не слушал; дюжий слуга облапил доктора и амтмана, все еще минорно канючившего о принце Евгении, и они заковыляли по улице на свои казенные квартиры. Кое-как отволокли мы оголтелого Эвсона в его комнату, где он полночи насиловал свою флейту и мои уши, так что сна у меня не было ни в одном глазу, и я только в карете смог отоспаться после давешнего шума и беснованья.

Рассказ лейб-медика неоднократно прерывался смехом, пожалуй более громким, чем допускает придворный этикет. Князь, кажется, искренне веселился.

— Вы несправедливы, — сказал он, — к одной фигуре; убрали ее чуть ли не за кулисы, а ведь это вы сами, ибо, бьюсь об заклад, ваш юмор, подчас небезопасный, подогревал и придурь Эвсона, и пафос доктора, подвигнув их на тысячи перехлестов, так что вы сами были провоцирующим началом, за которое вы выдаете этого плаксу амтмана.

— Напротив, ваше высочество, — возразил лейб-медик, — этот клуб шальных сумасбродов настолько спелся, что голос постороннего только диссонировал бы. Оставаясь при музыкальной терминологии, я бы сказал, что эти трое образовали чистейшее трезвучие, в котором каждый звучал по-своему, но в совершенной гармонии с другими, а целовальник присоединился к ним, как септима.

Заданный тон удерживался в разговоре еще некоторое время,

как у нас вошло в обычай, потом княжеская чета удалилась в свои покои, и общество в самом благодушном настроении разошлось.

Я все более обживался в новых для меня условиях. И чем более убаюкивало меня размеренное придворное и столичное благодушие, чем более за мной закреплялось место, которое я занимал не без успеха и не без чести для себя, тем безразличнее делалось мне мое прошлое, и ничто, казалось, уже не предвещало какую-нибудь перемену в моей судьбе. Князь явно благоволил ко мне, и, судя по многим беглым, но отчетливым признакам, я мог предположить, что он дорожит моим присутствием и намерен так или иначе упрочить его. Спору нет, известный предустановленный одинаковый уровень образования и общий ранжир умственных и художественных интересов, учреждаемых двором для всей резиденции, могли бы отравить пребывание там человеку, чья незаурядная мысль требует полной свободы, однако, когда стеснения и по-своему жесткий распорядок придворной жизни слишком удручали меня, мне весьма пригодились прежняя приверженность уставу, которому надлежало неукоснительно повиноваться хотя бы внешне. Мое монашество не отпускало меня, несмотря ни на что.

Князь осыпал меня знаками внимания, однако княгиня оставалась холодной и непрístupной, хотя я не жалел усилий, чтобы снискать ее доверительность. Я нередко с удивлением замечал, что мое присутствие тяготит ее, и она только через силу бросает мне две-три дежурных любезности. При этом дамы, приближенные к ней, были снисходительнее; моя внешность не оставляла их равнодушными, и в общении с ними я приобрел светский лоск, именуемый галантностью и заключающийся в том, чтобы болтать с тою же пластической складностью, которая позволяет уместно вписываться в любой круг. Не каждому дано уклоняться в беседе от всего значительного и при этом убаживать женщину тонкостями, неуловимыми для нее самой. Очевидно, что такая галантность высшего полета несовместима с тяжеловесным угодничеством; прелесть ее в том, чтобы в простой занимательности угадывался гимн идолу вашей души, а это достигается вкрадчивым исследованием ее собственной души, когда перед ней она сама и ее улаживает пленительная зеркальность.

Кто бы теперь заподозрил во мне монаха! Некоторой опасностью угрожала мне разве что церковь, где всегда могла себя выдать монастырская выучка со своим специфическим ладом и настроенностью.

Всякий двор — в сущности, монетный двор, чеканящий придворных, как монеты, и общего чекана избежал только лейб-медик, что привлекало меня к нему, а его ко мне, так как ему была известна моя вольнодумная откровенность, задевшая своей дерзкой прямоотой восприимчивую чувствительность князя и освободившая двор от ненавистной игры в фараон.

Неудивительно, что мы частенько сходились потолковать о

науке, об искусстве да и просто о житейском, происходящем у нас на глазах.

Лейб-медик благоговел перед княгиней, как и я; он подтверждал, что именно княгиня мешает своему супругу впадать временами в тривиальность, к чему он довольно-таки склонен, и она же не дает ему скучать, ненавязчиво развлекая его то той, то другой игрушкой, без которых он удержу не знал бы в своих поверхностных пристрастиях. Разговор, дал мне повод посетовать на досадное невезенье: моя скромная особа как будто внушает государыне невыносимую, для меня непостижимую неприязнь. Лейб-медик тотчас встал и вынул из ящика своего письменного стола миниатюрный портрет; его-то и протянул он мне с тем, чтобы я изучил его. Я так и поступил и не мог скрыть изумления, увидев на портрете свои собственные черты. Если бы не прическа и не костюм, дань современной моде, если бы не бакенбарды, шедевр Белькампо, портрет мог бы считаться моим портретом. Я так и сказал лейб-медику.

— Вот вам и объяснение, — сказал он. — Вот почему княгиня в беспокойстве и даже в страхе от вашего приближения; ваша внешность напоминает ей сокрушительный удар, от которого двор не мог оправиться много лет спустя. Прежний лейб-медик, умерший несколько лет назад, поведал мне, своему ученику, что произошло тогда в княжеской семье, и он же передал мне этот портрет, изображающий тогдашнего княжеского фаворита по имени Франческо, согласитесь, истинный шедевр живописи. Его написал один странный художник, он был нездешний, но тогда оказался при дворе и даже играл в трагедии главную роль.

Должен признаться, что портрет возбуждал во мне безотчетные опасенья, ускользавшие от моего понимания. Казалось, портрет мог раскрыть тайну, распространявшуюся на меня самого, и я заклинал лейб-медика верить мне то, что я, по-моему, имел право знать хотя бы на основании моего случайного сходства с Франческо.

— Немудрено, — сказал лейб-медик, — что ваше любопытство разыгралось до крайности, и я не могу назвать его праздным; хотя мне очень не хотелось бы ворошить прошлое, к тому же до сих пор подернутое, по крайней мере для меня, покровом тайны, а откидывать этот покров мне хочется еще меньше, тем не менее негоже утаивать от вас то, что я все-таки знаю. Прошло много лет, и главные действующие лица покинули сцену, но воспоминание тут как тут, и воспоминание страшное. Обещаете ли вы никогда и никому не пересказывать то, что я вам сейчас открою?

Я обещал молчать, и лейб-медик приступил к рассказу:

— Когда князь наш сочетался узами брака, сразу же после свадьбы из далекого путешествия вернулся его брат; ему сопутствовал человек, он называл этого человека Франческо, хотя известно было, что тот родом из Германии; был с ними и некий

художник. Принц был красавец и одним этим отличался бы от князя, не превосходи он его также изобилием жизни и духовных дарований. Молодая княгиня, тогда еще импульсивная до экстравагантности, что несколько разобщило ее с князем, слишком чопорным и церемонным, была очарована принцем, который, в свою очередь, подпал под обаяние юной красавицы невестки. Избегая греховных помыслов, они неуклонно сближались, и то, что было сильнее их, сочетало свои жертвы в пылкой взаимности.

Один лишь Франческо ни в чем не уступал своему другу, и как принц на княгиню, так и Франческо действовал на ее старшую сестру. Франческо скоро убедился в своем счастье, был достаточно хитер, чтобы не упустить своего, и увлечение княжны вспыхнуло неистовой сжигающей любовью. Князь не позволял себе усомниться в своей супруге и с негодованием отвергал кривотолки, доносившиеся до него, но к брату князь не мог относиться по-прежнему, и это тяготило его; не кто другой, как Франческо, умиротворял его внутреннее смятение, ибо князь восхищался его недюжинным умом и пронизательной осмотрительностью. Князь был не прочь вознести его выше других, но Франческо вполне устраивало то, что он тайный любимец князя и тайный возлюбленный княжны. Двор существовал, насколько это ему удавалось при таких обстоятельствах, и только эти четыре сердца, сплоченные тайными сочетаниями, блаженствовали в своем Эльдорадо любви, построив для себя незримую обитель, куда другие не допускались.

Не иначе как сам князь втайне от окружающих поспособствовал тому, что при дворе появилась итальянская принцесса, встреченная с подчёркнутым почетом; и прежде не исключалась возможность ее брака с принцем, а когда тот посетил двор ее отца, то обнаружил нечто большее, чем простой интерес к принцессе.

Она была неописуемо прекрасна, сама грация, само обаяние; это подтверждает чудный портрет; вы можете полюбоваться им в нашей картинной галерее. Ее блеск рассеял мрачную скуку, в которую был погружен двор; ни княгиня, ни ее сестра не могли с ней сравниться. Появление итальянки странно повлияло на Франческо: его нельзя было узнать; казалось, тайное уныние подтачивает его цветущую жизнь; он стал мрачен и неприступен; сама княжна, его возлюбленная, страдала от его холодности. Принц тоже пал духом; его обуревали волнения, с которыми он не мог совладать. А княгиню приезд итальянки поразил в сердце, как удар кинжала. Что же касается экзальтированной княжны, жизнь вообще утратила для нее свою прелесть, когда Франческо охладил к ней; так четыре сердца, утратив завидное счастье, поникли в тоске и унынье. Принц воспрянул первым; строгое целомудрие его невестки способствовало победе приезжей чаровницы. Он пленился княгиней, как неискушенный отрок, в глубине души таящий свою мечту, и эту мечту спугнуло

неизведенное сладостное обетование красоты, которой блистала итальянка; так его подстерегли прежние тенета, едва он выпутался из них.

Чем больше эта любовь овладевала принцем, тем разительнее менялся Франческо; его и при дворе-то видели все реже, он больше бродил в мечтательном одиночестве или где-то пропадал, отсутствуя неделями. Зато странный живописец, всегда избегавший общества, чаще попадался людям на глаза и, не таясь, работал в мастерской, которую ему предоставила итальянка в доме, где жила сама. Он писал ее неоднократно с несравненным чувством, а княгини он чуждался, отказываясь ее писать, зато он завершил портрет княжны, ни разу не попросив ее позировать, и трудно было сказать, чего больше в этом портрете: красоты или сходства. Итальянка очень отличала живописца, он отвечал ей такой любезностью и даже сердечностью, что принц приревновал принцессу к живописцу, и, застав его однажды в мастерской, где тот, взирая на головку итальянки, снова запечатленную его волшебством, не заметил знатного посетителя, принц прямо попросил его сделать одолжение и приискать себе другую мастерскую. Художник хладнокровно взмахнул кистью и молча снял портрет с мольберта. Принц в бешенстве выхватил портрет у него из рук со словами: портрет, мол, такой удачный, что он берет его себе. Живописец, не теряя хладнокровия, ответил принцу просьбой: портрет нуждается еще в двух-трех мазках; быть может, ему позволят завершить его. Принц водворил портрет на мольберт, и через несколько минут живописец вернул его, звонко засмеявшись, когда принц содрогнулся, увидев на портрете искаженное лицо.

А живописец медленно уходил, но задержался у двери, пронзил принца взглядом, и голос живописца прозвучал глухо, но отчетливо: «Теперь тебе нет спасенья!»

Итальянка тогда уже была обручена с принцем, и через несколько дней ожидалось торжественное бракосочетание. Принц не принял близко к сердцу произошедшего в мастерской: живописец имел репутацию душевнобольного. Ходили слухи, будто он не выходит из своей конуры и глаз не сводит с чистого холста, а сам говорит, будто пишет великолепные картины; он больше не вспоминал о дворе, и двор не вспоминал о нем.

Принц обвенчался с итальянкой во дворце как нельзя торжественней; княгиня не перечила судьбе и подавила свою безнадежную склонность, княжна вся сияла, узрев своего ненаглядного Франческо, который снова был весел и полон жизни, как никогда. Для новобрачных предназначалось особое крыло замка, которое князь распорядился отстроить специально для них. Эти работы увлекли князя; его не видели иначе как в окружении архитекторов, художников, обойщиков; он перелистывал толстые фолианты, изучал планы, чертежи, наброски, сам разрабатывал их — и далеко не всегда удачно. Ни принц, ни его невеста не

должны были видеть своих будущих покоев до дня бракосочетания, когда князь проводил их с длинной торжественной свитой в апартаменты, отделанные пышно и при этом со вкусом; в роскошном зале, похожем на цветущий сад, сыграли бал, которым праздник завершился. Ночью в покоях, отведенных принцу, слышался шум, сперва приглушенный, однако он нарастал, и вот уже настоящая суматоха разбудила самого князя. Почувствовав недоброе, он быстро поднялся, кликнул стражу, бросился в отдаленное крыло и как раз входил в широкий коридор, когда ему навстречу вынесли мертвого принца; его нашли у входа в покой новобрачной; он был убит ударом ножа в шею. Можно себе представить ужас князя, отчаянье княжны и глубокую скорбь княгини, поразившую ее в самое сердце. Немного овладев собой, князь попытался выяснить, как могло произойти убийство и как убийца ускользнул через коридоры, где всюду стояла стража; заглянули во все тайники, но даже на след не попали. Паж принца дал показания, согласно которым его господин был охвачен какими-то опасениями и весьма беспокоен, долго шагал по своему кабинету, наконец велел раздеть себя, после чего паж зажженным канделябром светил ему до самого преддверия брачных покоев, где принц взял у него подсвечник и отпустил его, но не успел он выйти, как услышал приглушенный крик, звук удара и дребезжанье падающего канделябра. Паж поспешил обратно, и при свете свечи, не успевшей погаснуть, увидев тело принца у принцессины двери и маленький окровавленный ножик подле него, он сразу же позвал на помощь.

А согласно рассказу супруги несчастного принца, он поспешно вошел к ней без всякой свечи, как только она удалила камеристок, сразу же потушил все свечи, провел с нею не более получаса и снова скрылся, а спустя несколько минут произошло убийство.

Когда представлялось уже невозможным установить личность убийцы или хотя бы напасть на его след, объявилась одна из принцессиних камеристок; когда живописец бросил принцу свой двусмысленный вызов, она оказалась невольной свидетельницей их странной ссоры, находясь в соседней комнате, а дверь была незакрыта, и камеристка рассказала все со всеми подробностями. Не возникало даже сомнений в том, что живописец непонятно как прокрался во дворец и убил принца. Был отдан приказ незамедлительно арестовать его, но он скрылся два дня назад в неведомом направлении, и сыскать его не удалось. Двор скорбел, скорбела резиденция, и только Франческо, неизменно входящий в тесный семейный круг, иногда совершал чудо, привнося в него немного солнечного света.

В это время проявилась беременность принцессы, и поскольку никто не сомневался, что убийца принца использовал свое внешнее сходство с ним для гнусного обмана, принцесса отбыла в отдаленный княжеский замок, чтобы роды совершились втай-

не и плод сатанинского святотатства не запятнал, по крайней мере, память о несчастном супруге, так как опрометчиво было надеяться на преданную скромность слуг и свет мог узнать постыдную тайну брачной ночи. /

Общая скорбь неуклонно сближала княжну и Франческо, и так же крепла его дружба с княжеской четой. Князь давно знал тайну Франческо; княжна и княгиня преодолели его колебания, и с его согласия теперь предстояло тайное венчание княжны с ее возлюбленным, который должен был поступить на службу при отдаленном дворе, достигнуть высокого воинского чина, и тогда его брак с княжной был бы объявлен. Между двумя дворами существовали союзнические обязательства, и никаких препятствий с этой стороны не предвиделось.

День бракосочетания наступил; в маленькую дворцовую капеллу, где намечалось венчание, никто не был допущен, кроме князя, княгини и двух доверенных лиц из придворных (один из них был мой предшественник). Единственный паж, посвященный в тайну, стерег двери.

Жених и невеста стояли перед алтарем; княжеский духовник, почтенный старец, начал обряд, отслужив тихую мессу. Вдруг Франческо побледнел и, уставившись в колонну у главного алтаря, глухо вскрикнул:

— Чего ты хочешь от меня?

Опершись на колонну, стоял живописец, одетый странно и не по-нашему; на плечах у него был фиолетовый плащ, а впалые черные глаза его сверлили Франческо своим призрачным взглядом. Княжна чуть не упала в обморок, все остальные содрогнулись, охваченные ужасом, только священник остался спокоен и спросил Франческо:

— Чем тебя устрашает присутствие этого человека, если твоя совесть чиста?

Тогда Франческо, еще стоявший на коленях, вдруг рванулся и с маленьким ножиком в руке бросился на живописца, но с глухим воплем поник и обмер, а живописец скрылся за колонной. Тут все встрепенулись и поспешили на помощь к Франческо: он лежал как мертвый. Чтобы не привлекать внимания, два доверенных лица перенесли его в комнату князя. Когда Франческо пришел в себя, он пожелал немедленно удалиться в свое жилище и не ответил ни на один вопрос князя о происшедшем в церкви. На другое утро Франческо бежал из резиденции со всеми драгоценностями, которыми его одарила милость принца и князя. Князь не остановился ни перед чем, чтобы установить, как проник в церковь художник, подобный призраку. В церкви было два выхода; один вел из внутренних покоев дворца в помещение, прилегающее к алтарю; другой вел в неф церкви из широкого парадного коридора. Этот выход стерег паж от какого-нибудь любопытного соглядатая, другой же был заперт на ключ, так что было непостижимо, как появился и как исчез живописец.

Нож, который Франческо поднял на живописца, остался у него в руке, как бы судорожно сжатый даже в обмороке; при этом паж, раздевавший принца после свадьбы и стороживший дверь церкви, уверял, что тот же самый ножик валялся подле мертвого принца; его блестящего серебряного черенка не спутаешь ни с каким другим.

Не успели произойти эти таинственные события, как новая весть поразила двор: в тот самый день, когда Франческо должен был обвенчаться с княжной, принцесса родила сына и, разрешившись от бремени, вскоре умерла.

Князь оплакивал эту утрату, хотя тайна брачной ночи тяготела над покойной, в известной степени бросая тень и на нее, быть может ни в чем неповинную. Ее сын, плод кощунственного, мерзкого посягательства, воспитывался на чужбине, называясь графом Викториним. Княжна, сестра княгини, раненная в сердце непрерывной чередой ужасных событий, выбрала монастырь. Она, как вам, вероятно, известно, настоятельница цистерцианского монастыря в ...

При этом усматривается странная, таинственная аналогия между событиями, постигшими наш двор тогда, и тем, что недавно разыгралось в замке барона Ф., разметав его семью, как некогда здешний княжеский род. Ведь княжна-настоятельница пожалела одну бедную паломницу, посетившую монастырь с маленьким сыном, и этого-то сына...

Тут лейб-медика прервал чей-то визит, иначе буря, поднявшаяся во мне, чего доброго, выдала бы себя. Истина предстала перед моей душой: Франческо был мой отец; он убил принца тем же ножом, которым я прикончил Гермогена. Я наметил свой отъезд в Италию на ближайшее время, чтобы переступить наконец проклятый круг, очерченный вокруг меня неприязненной вражеской властью. В тот же вечер я посетил придворный кружок; там рассказывали исключительно о новой придворной даме из приближенных княгини; очаровательная девушка, писаная красавица, она приехала намеренно и сегодня должна была впервые появиться во дворе.

Двустворчатая дверь открылась, вошла княгиня, и с ней новоприбывшая. Я узнал Аврелию.

Часть вторая

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Распутье

В какой жизни, в какой груди не всходила однажды заветная тайна любви! Не знаю, кто ты, будущий читатель сих листков, заклинаю тебя, обратись к своему былому солнечному зениту, дабы снова узреть обаятельный женский лик, явленный тебе самим духом любви! Не в ней ли одной мнил ты обрести самого себя, только лучшего и высшего? Неужели ты забыл, как отчетливо доносилась весть о твоей любви и в плеске ручья, и в лепете кустарников, и в поцелуях вечернего зефира? Или от внутреннего взора твоего уже скрыты светлые дружелюбные очи цветов, а в них привет ее и лобзание?

И она посетила тебя, готовая стать всецело твоей. Ты обнял ее в жарком вожделении, чтобы вознестись над землей в томительном пламени!

Однако мистерия обошла тебя; тяготение могучего беспощадного мрака вернуло тебя на землю, когда ты уже воспарил было с нею в заповедное запредельное. Ты лишился ее, не успев о ней возмечтать; все голоса, все звуки отзвучали; только безответный плач твоего одиночества все еще жутко оглашал беспросветную пустыню.

О ты, чуждавший неизвестный! Если и тебя сокрушала когда-нибудь подобная мука, которой нет названия, ты будешь вторить безутешному рыданию седого чернеца, чьи кровавые слезы мочат жесткое ложе, а подавленные смертельные вздохи разносятся тихой ночью по темным монастырским коридорам, когда ему в неосвещенной келье мерещится солнечный зенит его любви.

Однако и тебе, мой задушевный родич, не может быть неведомо: лишь в смерти наступает высшая услада любви, свершенье тайны. В этом заверяет нас неизмеримая в земных пределах старина темными гласами прорицателей, и для нас, как в торжественных обрядах, доступных грудным детям природы, смерть — истинное священнодействие любви.

Молния ударила мне в душу, дыханье сперлось, пульс заколотился, сердце дернулось в судороге, грудь едва не взорвалась. К ней — к ней — заключить ее в объятия в бешенстве любовного безумия!

— И ты, мятежница, думаешь расторгнуть узы, нерушимо связующие меня и тебя? Да ты же моя! Не навсегда ли моя? — Однако вернее, чем прежде, когда я впервые увидел Аврелию в замке барона, обуздал я неистовство моей страсти. К счастью, никто глаз не сводил с Аврелии, всем было не до меня, и ничье внимание не досаждало мне; никто не наблюдал за мною и не обращался ко мне: я этого не стерпел бы; для меня никто не существовал, кроме нее, и общее восхищение потворствовало моей мечте.

Напрасно утверждают, будто истинная девичья красота выигрывает, одетая по-домашнему, простенько: нет, женские наряды обладают неизъяснимым обаянием, которому предаешься поневоле. Не глубинная ли женственность распорядилась так, что соответствующий наряд позволяет сокровенной прелести распусться краше и ярче, как цветы лишь тогда поистине хороши, когда они вспыхивают в безудержном роскошестве пестрых сверкающих красок?

Когда любимая впервые предстала тебе в пышном наряде, не потряс ли непостижимый озноб твои жилы и нервы? Она от тебя отдалилась, но именно это усугубило ее несказанные чары. Какой восторг и какое невыразимое упоение вздрагивали в тебе, когда ты тайком пожимал ее ручку!

До сих пор я созерцал Аврелию лишь в скромном домашнем платье, а сегодня узрел ее во всем великолепии, приличествующем придворной даме.

Как очаровательна она была! Слов не нашлось бы, чтобы выразить, каким головокружительным обаянием я был охвачен и пленен.

Однако тут же во мне ополчился лукавый дух, и его нарастающий голос не был неприятен моему податливому слуху. «Смотри-ка, Медардус, — завораживал меня его шепот, — неужели ты не видишь, что судьба у тебя на побегушках, что случай — твой слуга, прилежный ткач, а пряжа-то, запряжка-то твоя!»

В придворном кружке встречались дамы, чья наружность заслуживала всяческих похвал, но перед неотразимым всепокоряющим очарованием Аврелии все потускнело, как бы утрачивая свой блеск. Перед ней не могли устоять и закоренелые флегматики; осекались даже стареющие львы, понаторевшие в придворных разглагольствованиях, где тон задают слова, значенье которых варьируется от внешних обстоятельств; и досужий зритель мог бы развлечься, потешаясь над тем, как натужно силился каждый покрасоваться изысканным оборотом или хотя бы какой-нибудь миной, лишь бы новенькая взглянула на него благосклонно.

Аврелия мило вспыхивала в ответ на все эти любезности, но не поднимала глаз, пока князь не занял беседой старших кавалеров, расположившихся вокруг него, и к ней не приблизился кое-кто из юных красавчиков, говоря робкие, но достаточно ле-

стные комплименты, что заметно оживило ее, слегка рассеяв девиचे смущение. Особенно преуспел в этом один лейб-гвардии майор; он явно заинтересовал ее и вовлек в разговор, для нее занимательный. Я знал этого майора; он слыл присяжным дамским угодником. Ему ничего не стоило безобиднейшими с виду приемами воздействовать на чувствительную собеседницу, так что она была от него без ума. Он обладал абсолютным слухом на неуловимейшие созвучия и с искусством настоящего импровизатора накликал желаемые, родственные аккорды, а замороженная принимала манок обольстителя за свою собственную сокровенную музыку.

Я был поблизости, но она, казалось, меня не замечала; меня тянуло к ней, но как бы невидимые железы неумолимо удерживали меня.

Я бросил на майора еще один острый взгляд и вообразил, будто майор — не майор, а Викторин. Тут на меня напал язвительный смех:

— А, гнусный распутник, видно, в Чертовой пропасти тебе была послана перина, вот у тебя и разыграло ретивое и ты, взбесившись, посягаешь на избранницу монаха?

Не знаю, вырвались ли у меня эти слова в действительности, но как бы сквозь глубочайший сон донесся до меня мой собственный хохот и разбудил меня как раз в тот момент, когда гофмаршал коснулся моей руки, обращаясь ко мне:

— Что это так развеселило вас, дражайший господин Леонард?

Ледяной холод пробрал меня. Не с такими же словами обратился ко мне набожный брат Кирилл, увидев мою кощунственную усмешку, когда меня постригали?

Мне едва удалось выдавить из себя в ответ какую-то невнятицу. Если меня что и занимало, то отсутствие Аврелии, скорее угаданное, нежели увиденное мною, так как я не смел поднять глаз и кинулся прочь в ярком свете, заливающим залы дворца. Не иначе как в моем существе проступило нечто жуткое; от меня не ускользнул испуг встречных, уступавших мне дорогу, когда я скорее перепрыгивал ступени широкой лестницы, чем спускался по ним.

Я удалился от двора, так как считал невозможным свидеться с Аврелией и не выдать при этом мою глубочайшую тайну. На лугах и в лесах искал я желанного одиночества, а передо мной была она одна, и в мыслях моих была она одна. Все убеждало меня в том, что темная судьба вплела ее жизнь в мою, так что я обманывался, считая порою преступным святотатством осуществление незыблемого предначертания. Я взвинчивал себя вызывающим смехом, как будто Аврелия не может опознать во мне убийцу и, стало быть, я, убийца Гермогена, вне опасности. Я прямо-таки отказывался взвешивать всерьез возможность, опасную для меня.

Какими ничтожествами представлялись мне молодчики, сует-

но увивавшиеся вокруг нее. Она же моя и только моя, каждый вздох ее — веяние моего существа.

Что мне все эти графы, бароны, камергеры, офицерики в своей пестрой чешуе, в своем сусальном золоте, со своими мнимыми звездами, что они такое, если не прихорашивающиеся, немощные светлячки, назойливый народец, но один удар моего кулака, и от них останется мокрое место.

Я войду к ним в рясе, Аврелия будет в подвенечном уборе; я обниму ее при всех, и сама горячка-княгиня, моя ненавистница, постелет свадебное ложе триумфатору-монаху, которым она брезговала.

Оттачивая такие умыслы, я то и дело выкрикивал имя Аврелии, дико смеялся и выл как бесноватый. Но пароксизмы проходили. Спокойствие возвращалось ко мне вместе с решимостью, и близость Аврелии перестала казаться несбыточной мечтой.

Как-то я крался парком, подумывая, не посетить ли мне вечернее общество, ведь князь как-никак приглашал меня; вдруг чья-то рука хлопнула меня сзади по плечу. Я обернулся. Передо мной стоял лейб-медик.

— Ну-ка, а как поживает наш благороднейший пульс, — начал он сразу же, схватив меня за руку и поймав мой взор.

— В чем дело? — удивился я.

— Да ни в чем, с вашего позволения, — продолжал он, — предполагается только, что здесь тайком и втихомолку рыщет некая хворь, по-бандитски набрасываясь на человека и так допекает его, что тот слегка взвизгивает, а временами визг не отличишь от истерического хохота. Не исключено, что это всегонавсего морок, нечестивая нечисть, а то и просто небольшая горячка, бросающая в жар; так что, дражайший, меня интересует ваш несравненный пульс.

— Но позвольте, сударь, ваши слова для меня — суцая абра-кадабра, — вскинулся я, однако лейб-медик не выпустил моей руки и, глядя на небо, считал мой пульс: один-два-три!

Он держался так странно и таинственно, что я не мог не добиваться от него, куда он, собственно, клонит.

— Будто вам невдомек, дражайший господин Леонард, что вы озадачили и всполошили весь двор? Обергофмейстерину все еще мучают судороги, а президент консистории манкирует важнейшими сессиями, ибо вы изволили отдавить на бегу его подагрические конечности; он сидит в кресле и вопит благим матом, когда ему кольнет, а происходит это частенько. Прямо скажем, угораздило вас взбелениться и ринуться из зала с таким беспричинным хохотом, что у всех волосы на голове зашевелились от ужаса.

Тут я подумал о гофмаршале и предположил, что действительно мои мысли могли рассмешить меня (я припоминаю что-то в этом роде), но тем более я вряд ли допустил какую-нибудь

неловкость, так как сам гофмаршал всего лишь мягко осведомился о причине моего веселья.

— Так, так, — продолжал лейб-медик, — это еще ни о чем не говорит; наш гофмаршал — поистине *homo impavidus**, его сам дьявол не проймет. Его неизменная *dolcezza*** ничуть не пострадала, хотя вышеупомянутый президент консистории и впрямь заподозрил, что из вас, дражайший, прыснул сам дьявол, а наша очаровательная Аврелия так оробела и перепугалась, что пропали даром все усилия присутствующих развлечь ее, и она вскоре удалилась, приведя в отчаянье всех своих поклонников, чьи взбудораженные тупеи прямо-таки дымились от любовного безала. В то самое мгновение, когда вы, мой драгоценный, так беззаботно веселились, Аврелия, помнится, закричала: «Гермоген», — и ее крик поразил меня в самое сердце. Так, так и в чем же дело? Вы, пожалуй, преуменьшаете вашу осведомленность, а ведь вам не занимать любезности, веселости и рассудительности, господин Леонард; я просто с удовольствием вспоминаю, как я поделился с вами любопытной историей Франческо; недурно бы вам извлечь из нее уроки!

Лейб-медик все еще крепко держал меня за руку и неотступно смотрел мне в глаза.

— Не пойму, — сказал я, довольно грубо вырываясь, — не пойму, на что вы так странно намекаете, сударь, но не скрою: когда я увидел, как увиваются вокруг Аврелии эти франты, чьи взбудораженные тупеи дымились от любовного пыла (ваше остроумие неподражаемо), то меня полоснуло по сердцу одно весьма едкое воспоминание, разбередив кое-какие прежние шрамы, и, глядя на бестолковые замашки некоторых смертных, я, к сожалению, взял да и рассмеялся в приступе саркастического гнева. Я раскаиваюсь в том, что непреднамеренно вызвал такой переполох, вот я и наложил на себя епитимью: подвергнув себя добровольному остракизму, я не появляюсь при дворе. Надеюсь, что княгиня, надеюсь, что Аврелия извинят меня.

— Так, так, любезный господин Леонард, — вставил лейб-медик, — на человека иногда накатывает, что верно, то верно, но ведь подобные приступы нипочем тому, кто чист сердцем.

— А разве кто-нибудь чист сердцем? — глухо спросила пустота, таящаяся во мне.

Доктор вдруг переменялся в лице и заговорил иначе.

— Сдается мне, — сказал он мягко и серьезно, — сдается мне, что вам и вправду неможется. В лице ни кровинки, приметное смятение... Глаза впалые, красные, воспаленные... Пульс горячечный. Голос глухой... я бы прописал вам что-нибудь.

— Яду! — проглотил я свой невольный ответ.

— Ну и ну! — отозвался лейб-медик. — Вот, значит, вам ка-

* неустрашимый муж (*лат.*).

** благодушие (*ит.*).

ково! Яд вам, право же, ни к чему; скорее я порекомендовал бы вам другое успокоительное: развлечения в обществе.

— Довольно, — закричал я в бешенстве, — довольно мучить меня уклончивыми, невнятными обиняками, лучше давайте начистоту...

— Полноте, — прервал меня лейб-медик, — полноте... Случаются престранные заблуждения, господин Леонард; сдается мне, я вряд ли ошибаюсь... Мгновенное впечатление повлекло за собой гипотезу, достаточно нескольких минут, чтобы опровергнуть ее. Вот идут княгиня и Аврелия, не избегайте их общества, воспользуйтесь случаем, принесите им извинения... Собственно... Господи... что, собственно, вы сделали? Ваш смех, несколько эксцентричный смех, такой ли уж это проступок? С кого может быть спрос, если нервы сдают у иных и они подвержены болезненному страху? Всего хорошего!

Лейб-медик отскочил в сторону с привычным проворством. Княгиня и Аврелия действительно спускались по уклону. Я вздрогнул и постарался собраться с силами. Я чувствовал, что лейб-медик недаром недоговаривает, что я должен оправдаться немедленно, иначе будет худо. Я вызывающе шагнул навстречу дамам. Не успела Аврелия увидеть меня, как она глухо вскрикнула и рухнула замертво. Я хотел поднять ее, но княгиня замахала на меня руками с отвращением и ужасом, громко зовя на помощь. Я бросился прочь и бежал через парк, словно фурии и дьяволы нахлестывают меня. Я заперся в своем жилище и повергся на свое ложе в ярости и отчаянье, со скрежетом зубным!

Свечерело, и уже начиналась ночь, когда до меня донеслось хлопанье распахнутой двери, шепот и говор многих голосов; кто-то мешкал на лестнице, потом затоптали, поднимаясь ко мне, наконец, застучали в дверь и потребовали отворить именем закона. Не уяснив толком, кто и что грозит мне, я тем не менее отчетливо почувствовал: это конец. «Бежать», — мелькнуло у меня в голове. Я открыл окно и увидел вооруженную стражу перед домом. «Куда?» — закричал один стражник, особенно бдительный. Дверь моей спальни взломали, в мою комнату вошли с фонарем, и я понял, что это полицейские. Мне предъявили ордер на арест по предписанию уголовного суда; сопротивляться было бы глупо. Перед домом стояла карета, меня водворили туда, и когда я решил, что мы приехали, в ответ на мой вопрос о местонахождении мне сказали: «Это тюрьма верхней крепости». Мне было известно: там до приговора сидят в строжайшем заключении опасные преступники. Вскоре мне принесли кровать, и тюремный надзиратель спросил меня, не будет ли еще каких-нибудь желаний. Я не пожелал больше ничего, и меня, наконец, оставили в покое. Шаги еще долго звучали в коридорах; много дверей открывалось и закрывалось; очевидно, меня поместили во внутреннюю тюрьму, чтобы предотвратить побег.

Сам не знаю почему, но, пока меня везли, а это продолжа-

лось довольно долго, я испытывал какое-то умиротворенье; чувства мои притупились, и предметы мелькали в окошке, тусклые и выцветшие. Я не то чтобы спал, однако парализующее забытие подавило мои мысли и представления. Утренний свет разбудил меня, и только тогда я постепенно осознал, что постигло меня и куда меня доставили. Я бы никогда не подумал, что я в тюрьме; своды напоминали скорее монастырскую келью; однако крохотное оконце было основательно зарешечено железными прутьями и помещалось так высоко, что я не мог до него дотянуться, не говоря уже о том, чтобы выглянуть. Солнечные лучи отмеривались мне скудно; меня подмывало взглянуть на окрестности; я пододвинул кровать под окно, водрузил на нее стол и уже готов был на него взобраться, когда вошел надзиратель и был, казалось, весьма удивлен моим начинанием. Надзиратель спросил меня, что я задумал; я ответил, что хотел только осмотреться; молча унес он стол, кровать и стул и снова запер меня без малейшего промедленья. Едва ли минул час, как он вошел ко мне снова; с ним были двое; меня вели по длинным коридорам и по ступенькам то вверх, то вниз; следовательно ждал меня в маленьком зале. Подле него сидел молодой человек и тщательно записывал под диктовку следователя мои показания. Мое прежнее положение и устойчивая репутация при дворе, вероятно, обусловили подчеркнутую вежливость судейских; она, кроме того, убеждала меня в том, что арест мой основывался не на прямых уликах, а всего лишь на смутных эмоциях Аврелии. Следователь поинтересовался моими прежними жизненными обстоятельствами, настаивая на точном их изложении; я же осведомился о причине моего внезапного ареста; он ответил, что суть обвинения будет точно доведена до моего сведения в надлежащее время. Пока дело сводится к тому, чтобы в точности узнать весь мой жизненный путь до моего прибытия в резиденцию, и долг следователя предупредить меня: у следствия нет недостатка в способах досконально проверить все, что я сообщу, так что мне лучше ни на йоту не отклоняться от правды. Предостережения следователя не пропали для меня даром; этот заморыш, похожий на рыжего лисенка, своим хриплым потешным кваканьем напомнил мне нить моей биографии, которую я начал рассказывать при дворе, назвав свое имя и место рождения; эту нить и надлежало мне продолжить.

Следовало опустить все из ряду вон выходящее, прочертить мой жизненный путь в будничном, но перенести его куда-нибудь подальше, в неопределенное, чтобы отбить охоту к дотошным уточнениям и, по возможности, отвадить недоверчивых.

Тут в моей памяти возник молодой поляк, мой коллега по семинарии в Б.; его житейские обстоятельства меня вполне устраивали. Заручившись такой оснасткой, я приступил к моим показаниям:

— Не иначе как против меня выдвигают тяжкое обвинение,

однако вся моя здешняя жизнь проходила на глазах у князя и всего города, и пока я здесь живу, ни о каких преступлениях не было речи, так что для обвинения нет никакой почвы. Стало быть, обвинение идет откуда-то со стороны, и мне приписывают нечто, совершенное прежде, а так как моя совесть совершенно чиста, мне остается предположить, что меня, к несчастью моему, приняли за кого-то другого; тем более жестоко, согласитесь, сажать меня в тюрьму как уголовного преступника, лишь потому, что моя внешность кого-то насторожила и настроила против меня. Казалось бы, что может быть проще, чем устроить мне очную ставку с моим безответственным недоброжелателем, если он сам не злоумышленник, а это весьма вероятно. Хотя нет, он не злоумышленник, он скорее придурковатый глупец.

— Не забывайте, не забывайте, господин Леонард, — заикался следователь, — знайте меру, а то вы можете допустить непристойный выпад против знатных персон, и со стороны, как вы выразились, господин Леонард или господин... (он осекся) ...опознала вас отнюдь не безответственность и, тем более, не придурковатая глупость, а... Кроме того, до нас дошли заслуживающие доверия свидетельства из...

Он назвал местность, где расположены поместья барона Ф., и мои последние сомнения рассеялись. Не кто иной, как Аврелия, опознала во мне монаха, зарезавшего ее брата. Этот монах был, разумеется, Медардус, знаменитый капуцин-проповедник из монастыря в Б. Это подтвердил Рейнгольд, да и сам он так представился. Настоятельнице известно, что отцом Медардуса был Франческо, так что мое сходство с ним, насторожившее княгиню с самого начала, дало пищу предположениям, а предположения почти совершенно подтвердились, чему способствовала переписка княгини с княжной. Вполне вероятно было и то, что обо мне запрашивали монастырь капуцинов, безошибочно напав на мой след и удостоверившись, что монах Медардус и я — одно и то же лицо. Я быстро взвесил все эти возможности и понял, что дело принимает опасный оборот. Следователь все не умолкал, а я не терял времени даром: мне на ум вспало название польского местечка, где якобы я родился, как сам же поведал пожилой придворной даме, забыв об этом с течением времени. Так что, когда следователь завершил свои рацеи, сурово призвав меня к полной откровенности во всем, что касается моего жизненного пути, я мог начать достаточно уверенно:

— Собственно, зовут меня Леонард Крчинский, и я единственный сын дворянина, продавшего свое имение и жившего потом в Квечичеве.

— Что? Как? — переспросил следователь, тщетно силясь выговорить мое имя и название местечка, откуда якобы я родом. Писарь же просто спасовал перед неведомой орфографией; я собственно-ручно вставил в протокол оба наименования и продолжал:

— Судите сами, сударь, язык прирожденного германца за-

трудняется выговорить все согласные моей фамилии, вот по какой причине я не упоминаю ее в Германии, ограничиваясь только моим именем Леонард. Кстати, мой жизненный путь настолько прям и незатейлив, что едва ли кто-нибудь сравнится со мной в этом отношении. Мой отец, сам не чуждый образованности, сочувствовал моему решительному пристрастию к наукам и намеревался отпустить меня в Краков к нашему родственнику, священнику Станиславу Крчинскому, однако мой отец скоропостижно умер, и, оставшись один-одинешенек, я продал то немногое, что унаследовал, получил кое-какие суммы по долговым обязательствам и со всем этим скромным состоянием переселился в Краков, где несколько лет занимался науками под присмотром родственника. Потом я посетил Данциг и Кенигсберг. Наконец неодолимая сила повлекла меня на юг. Я надеялся, что мои скудные средства позволяют мне отважиться на такое предприятие; потом я рассчитывал приискать себе занятие при каком-нибудь университете, но я чуть было не разорился здесь, и меня выручил только крупный выигрыш за карточный столом у князя; на эти деньги я живу здесь в полном довольстве и надеялся продолжить путешествие в Италию, когда мне заблагорассудится. Я, право же, не знаю, о чем еще рассказать: в моей жизни не было ничего примечательного. Правда, не могу умолчать о том, что мне было бы легче неопровержимо подтвердить истинность моих показаний, если бы не особенный случай: мой бумажник потерян, а в нем был паспорт, план моего предполагаемого путешествия и другие бумаги; они бы рассеяли теперь все подозрения.

Следователь заметно оживился; он бросил на меня острый взгляд и язвительно спросил, какой такой случай воспрепятствовал моей легитимации.

— Несколько месяцев назад, — рассказал я, — по дороге сюда мне пришлось побывать в горах. Я путешествовал пешком, наслаждаясь прекрасными романтическими пейзажами и благоприятным временем года. Усталость побудила меня зайти в трактир в одной маленькой деревушке. Я заказал себе легкую закуску, а пока вынул из бумажника листок, чтобы набросать кое-какие мысли; бумажник лежал передо мной на столе. Вскоре прискакал всадник, поразивший меня необычным костюмом и запущенной внешностью. Он вошел в комнату, заказал выпивку и с недружелюбным угрюмым взглядом сел за стол напротив меня. Человек этот действовал мне на нервы, и я вышел подышать воздухом. Вскоре всадник также вышел, заплатил хозяину и ускакал, едва со мной простившись. Я тоже был готов пуститься в путь, однако хватился своего бумажника, оставшегося в комнате на столе; я вернулся за ним, он лежал на прежнем месте. Вытащив его лишь на другой день, я обнаружил, что это чужой бумажник и принадлежит он, должно быть, вчерашнему всаднику; тот, наверное, перепутал бумажники. Я нашел невра-

зумительные заметки и несколько писем, адресованных некоему графу Викторину. Я спрятал их, и они наверняка найдутся вместе с бумажником среди моих вещей; а в моем бумажнике, как я уже сказал, остался мой паспорт, план моего путешествия и даже метрическое свидетельство, как я теперь вспомнил; я поистине жертва того досадного недоразумения.

Следователь велел мне описать неизвестного всадника с головы до ног, и я ухитрился обрисовать его образ, умело придав незнакомцу сходство со мной, только что покинувшим замок барона Б., в сочетании с наиболее броскими приметам графа Викторина. Следователь приставал ко мне, докапываясь до мельчайших подробностей того происшествия, и я ни разу не сбился в моих ответах, закруглив про себя картину до такой степени, что уже не боялся попасть впросак, так как сам поверил в нее.

Поистине это была счастливая мысль: я так или иначе должен был объяснить, откуда в моем бумажнике письма, адресованные графу Викторину, а тут я изобрел подставное лицо, которое можно будет принять и за беглого Медардуса, и за графа Викторина, глядя по обстоятельствам. К тому же я учел, что в бумагах Евфимии, возможно, имеются письма, посвященные плану Викторина проникнуть в замок и выдать себя за монаха, а тогда следствие собьется и запутается окончательно, блуждая в потемках. Моя фантазия разыгралась в ходе допроса, и я изощрялся в уловках, чтобы обезопасить себя и предотвратить худшее.

Я надеялся, что подробности моей жизни исчерпаны и следователь приблизится, наконец, к преступлению, приписываемому мне, однако мои расчеты не оправдались; напротив, он спросил меня, с какой стати я затеял побег.

Я заверил его, что у меня этого и в мыслях не было. Впрочем, тюремный надзиратель настаивал на том, что я именно с такой целью карабкался к тюремному окошку, и мои возражения не вызвали особого доверия. Следователь предостерег, что мне не миновать цепей, если я буду упорствовать в подобных попытках, и меня вернули в мое узилище.

Кровать унесли, на пол бросили соломенный тюфяк, стол привинтили к полу, а стул заменила низкая скамья.

Целых три дня я был предоставлен самому себе и видел только брюзгливую физиономию старого служивого, приносившего мне кушанье и зажигавшего лампу по вечерам. Постепенно меня покинул боевой дух, требовавший отважному воину в смертельной схватке. Меня одолели угрюмые мысли, сопровождавшиеся полным безразличием, даже Аврелия ушла из моего воображения. Временами мой дух креп, однако дурные, болезненные предчувствия вновь подавляли его; я не мог противостоять одиночному заключению и спертому воздуху моей камеры. Сон бежал меня.

Мрачное мерцание лампы падало на стены и достигало по-

толка диковинными отсветами, напоминающими искаженные лица; я тушил лампу, чтобы уткнуться в соломенное изголовье, но еще ужаснее звучали в гнетущем ночном безмолвии приглушенные стенания и лязгающие цепи узников.

Часто слышалось мне последнее издыхание — чье? Евфимии? Викторина?

— Не я же сгубил вас! Не сами ли вы, святотатцы, обрели себя моей карающей длани?

Я вскрикивал громко, а под сводами испарялся чей-то глубокий последний вздох, и в диком отчаянье я завывал:

— Так это ты, Гермоген! Вот она, кара! Все кончено!

Пришла девятая ночь, и я распростерся на ледяном тюремном полу; нестерпимый ужас довел меня почти до обморока. Тут различил я отчетливо под полом тихое, ритмичное стучанье. Я вслушивался, а стучанье не затихало, и к тому же в подполье забублел неслышанный смешок. Я сорвался с места, я бросился на соломенный тюфяк, однако смешки, стучанье и всхлипы не прекращались.

Наконец, из-под пола тихонько позвали мерзким, сиплым, запинаящимся голосом:

— Ме-дар-дус! Ме-дар-дус!

Ледяной ток пронизал мои члены! Я собрался с духом и крикнул:

— Кто там? Да кто же там?

А в ответ смеялись громче, и всхлипывали, и охали, и постукивали, и сипло заикались:

— Ме-дар-дус! Ме-дар-дус!

Я сорвался с тюфяка.

— Да кто же ты такой с твоими бесовскими играми, ну-ка, дай взглянуть на тебя или пропади пропадом с твоим пакостным хихиканьем и стукотней!

Так рывкнул я в густой мрак, а у меня под ногами застучало громче, заикаясь и захлебываясь:

— Хи-хи-хи... Хи-хи-хи... Братец мой... Братец мой... Ме-дар-дус... Это я... я... я... отвори... нам бы с тобой в лес... давай в лес... в лес... в лес...

Теперь этот голос глухо слышался во мне самом и что-то напоминал мне; конечно, я уже слышал его, только он тогда не заикался и не захлебывался. Я ужаснулся: мне почудился мой собственный голос. Невольно, пытаясь убедиться, так ли это, я начал скандировать:

— Ме-дар-дус! Ме-дар-дус!

Смех ответил мне, однако издевательски яростный, потом был голос:

— Бра-тец мой... бра-тец мой... уз-на-ешь? уз-на-ешь... ме-не-я? Ме-ме-не-я? От-во-ри! Нам бы в лес.. в лес... в лес...

— Бедный умалишенный, — глухо и жутко буркнула во мне пустота, — бедный умалишенный, не могу я тебе отворить, и

нельзя мне с тобою в лес, в распрекрасный лес, на вольный, на свежий, на весенний воздух! Он там снаружи... а здесь воздух затхлый, здесь мрак; я, как ты, взаперти... взаперти...

Тогда под полом всхлипнули в безутешной тоске, а стучали все слабее, все глуше, наконец, все заглохло совсем; сквозь тюремные решетки пробилось утро, заскрежетали замки, и вошел мой тюремщик (с первого дня он меня не посещал).

— Этой ночью, — начал он, — в вашей комнате шумели и громко говорили. Как это понять?

— Такова моя особенность, — ответил я, симулируя спокойствие, насколько это было возможно. — Я во весь голос, громко говорю во сне, да если бы и наяву я вступил в разговор с самим собой, полагаю, за это меня не накажут.

— Вероятно, — продолжал тюремщик, — вы усвоили, что сурово наказуема малейшая попытка к бегству и любая попытка сноситься с другими заключенными.

Я заверил его, что ни о чем подобном не помышляю.

Часа через два меня вызвал следователь. Но это был не тот, кто увещевал меня в первый раз; новый следователь выглядел моложе, и я с первого взгляда оценил его превосходство над первым в сноровке и сообразительности; он с подчеркнутым доброжелательством шагнул мне навстречу и предложил сесть. Этот следователь до сих пор живехонек у меня перед глазами. Он был довольно плотен для своих лет, волос у него на голове почти не осталось; он носил очки. От него так и веяло добродушием и сердечностью; я понял, как легко спасовать перед его дружелюбием, если ты не отпетый преступник. Он подбрасывал вопросы играючи, как в светской беседе, но они были точно рассчитаны и так метки, что не допускали никаких уверток.

— Позвольте спросить вас, — начал он, — придерживаетесь ли вы ваших прежних показаний относительно вашего жизненного пути, или вы, поразмыслив, вспомнили кое-что существенное и не намерены таиться?

— Я все сказал, что можно было сказать о моем незатейливом жизненном пути.

— А с духовенством... с монахами вы никогда не общались?

— Да, в Кракове... в Данциге... во Фрауенбурге... в Кенигсберге. Там я общался с белым духовенством, с настоятелем церкви и с капелланом.

— В своих прежних показаниях вы не упомянули вашего пребывания во Фрауенбурге.

— Я не считал нужным упоминать недолгое, если не ошибаюсь, восьмидневное пребывание там, по дороге из Данцига в Кенигсберг.

— Стало быть, вы уроженец Квечичева?

Следователь заговорил на польском языке, как бы невзначай блеснув безупречным произношением. Не скрою, на мгновение он застиг меня врасплох, но я не сдался, призвал на помощь

свои скудные познания в польском, которыми был обязан моему другу Крчинскому, и ответил:

— Я родился в маленьком имении моего отца под Квечиче-
вом.

— Как называлось имение?

— Крчинево, это была наша вотчина.

— Ваш польский язык не делает чести коренному поляку. Сказать по правде, вы говорите на немецкий манер. Отчего это?

— Много лет я говорю исключительно по-немецки. Уже в Кракове я был окружен немцами и преподавал им польский язык. Незаметно я перенял их произношение; так перенимают провинциальный говор в ущерб истинным красотам языка.

Следователь посмотрел на меня, и легкая улыбка мелькнула у него на лице. Затем он обратился к писарю и вполголоса что-то ему продиктовал. Я уловил только слова «не мог скрыть смущения» и приготовился дальше оправдывать мой плохой польский язык, однако следователь переменял тему:

— А в Б. вы никогда не были?

— Никогда.

— Но дорога из Кенигсберга сюда ведет через этот город.

— Есть и другая дорога.

— В монастыре капуцинов в Б. у вас нет знакомых монахов?

— Нет!

Следователь позвонил и вполголоса отдал какое-то распоряжение вошедшему приказному. Дверь вскоре открылась, и как-вы же были мой ужас и мое изумление, когда вошел не кто иной, как отец Кирилл.

— Знаете вы этого человека?

— Нет, я не видел его никогда прежде!

А Кирилл так и устоял на меня; потом он приблизился, всплеснул руками и, не сдержав слез, воскликнул:

— Медардус, брат Медардус! Господи Иисусе! Что с тобой стало! Ты погряз в дьявольском святотатстве. Брат Медардус, опамтайся, покайся, не упорствуй! Уповай на всепрощение Господне!

Следователя, видно, не устраивали увещания отца Кирилла, и он прервал монаха вопросом:

— Подтверждаете ли вы, что этот человек — монах Медардус из монастыря капуцинов, что в Б.?

— Подтверждаю, как подтверждаю милосердие Господне, — ответил Кирилл, — у меня нет никаких сомнений в том, что этот человек, хотя и одетый по-светски, не кто иной, как Медардус; он был послушником в монастыре капуцинов, что в Б., там же он и пострижен, чему я свидетель. Однако у Медардуса на шее слева есть метка; она красная и имеет форму креста, так что, если этот человек...²⁶

— Заметьте, — прервал следователь монаха, обращаясь ко мне, — вас подозревают в том, что вы капуцин Медардус из мо-

настыря в Б., а оный Медардус обвиняется в тяжких преступлениях. Если подозрения не основательны, вам легко опровергнуть их: у означенного Медардуса метка на шее, и если вы не вводили нас в заблуждение, ее у вас нет. Вот неопровержимое доказательство. Позвольте взглянуть на вашу шею!

— Не стоит, — ответил я, не теряя выдержки. — Судьба распорядилась особенным образом, придав мне точнейшее сходство с обвиняемым, хотя этот монах Медардус мне совершенно неизвестен, однако на шее слева и у меня есть метка, она тоже красная и тоже имеет форму креста.

Это соответствовало действительности; мою шею поранил алмазный крест настоятельницы, оставив красный крестообразный рубец, не исчезнувший со временем.

— Позвольте взглянуть на вашу шею, — повторил следователь.

Я подчинился, и Кирилл громко вскрикнул:

— Пресвятая Богородица! Так и есть! Вот он, крест красного цвета!.. Медардус... Ах, брат Медардус, неужели ты окончательно пренебрег вечным спасением?

Весь в слезах, почти без чувств, он рухнул на стул.

— Как вы опровергнете показание этого достойного священника? — спросил следователь. Как бы молниеносное пламя пронизало меня в этот миг; малодушие, возобладавшее было во мне, отступило, и не иначе как сам лукавый зашептал: «Куда твоим немощным противникам до тебя, сильного духом и разумом! Разве не тебе будет принадлежать Аврелия?» И я высказал язвительное, почти необузданное возмущение:

— Этот монах и на стуле-то еле держится. Он же расслаблен одуряющей старостью; вот он и бредит, принимая меня за беглого капуцина, на которого я, может быть, чуть-чуть смахиваю.

До сих пор следователь сохранял спокойствие, не выдавая своих чувств ни взглядом, ни голосом; только теперь на лице его проступила мрачная, угрожающая беспощадность; он встал и заглянул мне в глаза, как бы вперяясь в мою душу. Признаюсь, даже очки его мучили меня невыносимым ужасающим излучением; связная речь изменила мне; я уперся лбом в свой собственный кулак и, жестоко охваченный яростью отчаянья, вскричал:

— Аврелия!

— Как это понять? Кого зовете вы? — всполошился следователь.

— Я жертва темной судьбы, — ответил мой глухой голос, — мне грозит позорная казнь; однако я невиновен, разумеется, невиновен... Не задерживайте меня... где ваше сострадание... я чувствую, как морок пробегает по моим жилам и нервам... Не задерживайте меня!

Следователь с прежней невозмутимостью диктовал писарю протокол, в котором я не понимал ни слова; потом он зачитал его мне со всеми своими вопросами и моими ответами, не опус-

тил он и подробности моей встречи с Кириллом. Я должен был подписать протокол, после чего следователь предложил мне написать что-нибудь по-немецки и по-польски; я повиновался. Листок с немецкими словами следователь протянул Кириллу, которому полегчало, и осведомился:

— Имеет ли эта проба пера что-нибудь общее с почерком брата Медардуса, знакомого вам по вашему монастырю?

— Конечно же, это его рука до малейшей черточки, — ответил Кирилл и снова оборотился ко мне. Он бы заговорил, однако взгляд следователя призвал его к молчанию. Следователь пристально изучал польские слова, только что написанные мною, потом подошел ко мне вплотную и сказал твердо и убежденно:

— Какой же вы поляк! Вы пишете абсолютно неправильно, допускаете множество грамматических и орфографических ошибок. Коренной поляк, даже значительно уступающий вам по образованности, никогда не допустил бы их.

— Я уроженец Крчинева; кем же еще и быть мне, если не поляком? Но даже если это не так, если таинственные обстоятельства вынуждают меня отречься от своего имени и звания, я кто угодно, только не капуцин Медардус, удравший, насколько я понимаю, из монастыря.

— Ах, брат Медардус, — вмешался Кирилл, — разве не ты послан в Рим нашим достойным приором Леонардусом, уповавшим на твое благочестие и праведность? Брат Медардус! Ради Христа, не отрекайся, как безбожник, от святого духовного звания, которым ты поступился.

— Пожалуйста, не прерывайте нас, — молвил следователь и продолжал, обратившись ко мне: — Не могу не обратить вашего внимания на то, что бесхитростные показания этого преподобного отца лишний раз убеждают в том, что вы действительно Медардус, даже если отвлечься от других вопиющих подтверждений вашей идентичности. Не буду вводить вас в заблуждение, вам еще предстоит очная ставка с другими особами, не сомневающимися в том, что именно вы — тот монах. Опаснее других для вас одна из них, разумеется, если обвинение будет доказано. Да и среди ваших собственных вещей обнаружилось кое-что подозрительное. Вскоре мы надеемся получить сведения о ваших семейных обстоятельствах, мы запросили о них познанские суды. Говоря так, я открываю вам карты, отчасти нарушая мои обязанности, но я поступаю так, чтобы вы убедились: в мои намерения не входит заставить вас врасплох и хитростью принудить к признанию, даже если подозрения насчет вас обоснованны. Запирайтесь, как хотите; если вы действительно обвиняемый Медардус, поверьте мне, следователь достаточно зорок, чтобы вполне разоблачить преступника; тогда вы узнаете точно, какие вам предъявляются обвинения. Напротив, если вы действительно Леонард фон Крчинский, за которого вы себя выдаете, и ваше сходство с Медардусом — лишь специфическая игра при-

роды вплоть до невероятных совпадений, тогда вы легко найдете способы оправдаться неопровержимо. Не хочу злоупотреблять вашей экзальтацией и уже поэтому вынужден прервать допрос, но при этом я также хочу предоставить вам возможность поразмыслить. После сегодняшнего у вас имеется достаточная пища для размышлений.

— Так, значит, вы убеждены, что я лгу? Для вас я беглый монах Медардус? — так я спросил его, а следователь сказал мне, слегка поклонившись: «Adieu, господин фон Крчинский», — и меня препроводили в камеру.

Слова следователя сверлили мою душу раскаленными буравами. Все мои ухищрения казались мне теперь поверхностными и тщетными. Было слишком ясно: мне предстоит очная ставка с Аврелией, и она для меня опаснее других. Это же невыносимо! Я раздумывал, что такого подозрительного нашлось в моем багаже, и сердце у меня зануло при мысли о кольце; я унес его из замка барона фон Ф., и на нем было выгравировано имя Евфимии, а тут еще ранец Викторина; я таскал его с собой, будучи в бегах, да еще меня угораздило завязать его веревочным поясом капуцина. Я решил, что моя карта бита. В отчаянье мерил я камеру стремительными шагами. Тут у меня в ушах послышался шепот, похожий на змеиное шипенье: «Дурачок, не теряйся! Подумай о Викторине!» Тогда я вскричал:

— Ха! Нет, не бита моя карта, она выиграла!

Во мне все кипело и бурлило! Я уже и раньше надеялся на то, что в бумагах Евфимии окажутся намеки на план Викторина проникнуть в замок под видом монаха. Исходя из этого, я готовился измыслить встречу с Викториним, а то и с Медардусом, то есть, по их мнению, со мной самим; пересказать понаслышке приключения в замке, их ужасный финал и, наконец, безобидно вплести в эту историю самого себя, упомянув невзначай мое сходство с обоими. Каждую деталь при этом следовало взвесить и проанализировать; я задумал написать роман и употребить его как средство моего спасения! Мне не отказали в письменных принадлежностях, когда я попросил их, чтобы на бумаге изложить некоторые дополнительные перипетии моей жизни, ускользнувшие от устного рассказа. Работа захватила меня, и я писал до поздней ночи, движимый моей воспламенившейся фантазией; все сходилось и округлялось наилучшим образом; бесконечная ложь постепенно упрочивалась, превращаясь в плотную пелену, которая, по моему расчету, должна была скрыть истину от следователя.

Часы крепости пробили двенадцать, когда снова послышалось тихое отдаленное постукивание, так измучившее меня в прошлую ночь. Я не хотел замечать его, однако ритмичное постукивание усиливалось, потом стуки стали чередоваться со смешками и всхлипами. Я крепко стукнул по столу и громко крикнул:

— Эй вы там под полом, тише!

Я думал, что мне удастся криком спугнуть ужас, надвигавшийся на меня, но под сводами уже вовсю разносился лающий, взвизгивающий смех, чередовавшийся с прерывистым лепетаньем:

— Бра-тец мой... бра-тец мой... Я к те-бе... я к те-бе... я на-верх... я на-верх... от-во-ри... от-во-ри...

Прямо у меня под ногами заскреблось, завозилось, зацарапалось; и снова смешки, снова всхлипы; все громче шум, позвякивание, лязг — и гулкие толчки, словно рушится что-то тяжелое. Я встал и схватил зажженную лампу. У меня под ногой двинулся пол, я отскочил и увидел: там, где я только что стоял, крошится камень. Я без труда выдернул и отбросил его. Сначала снизу заструилось копящее мерцанье, потом высунулась голая рука, стискивающая поблескивающий нож; рука искала меня. В ужасе я отшатнулся. А внизу прерывисто залепетали:

— Бра-тец мой, бра-тец мой, Ме-дардус... здесь... здесь... на-верх, наверх... хва-тай... хватай... взла-мы-вай... в лес... в лес... в лес!

Меня мгновенно прельстила мысль спастись бегством; перебив ужас, я завладел ножом (рука охотно отдала его мне) и начал прилежно выскрабливать известь, скреплявшую каменный пол. Мой подпольный сообщник бодро выламывал камни. Четыре-пять камней отлетели в сторону, и вдруг возник из глубины голый до бедер человек, вперивший в меня призрачный взор хохочущего, ужасающего сумасшествия. Свет лампы упал ему на лицо — это было мое лицо — я потерял сознание.

Я пришел в себя оттого, что рукам было больно. Вокруг было достаточно света, тюремщик стоял передо мной и светил мне в лицо; лязг цепей и удары молота звучали под сводами. Шла работа, меня заковывали в цепи. Кроме ручных и ножных оков, меня опоясали железом, укрепили на поясе цепь и приковали к стене.

— Теперь, пожалуй, господин хороший, вы оставите мысль о взломе, — сказал тюремщик.

— А что такое он натворил? — спросил подручный кузнеца.

— Ну, — ответил тюремщик, — ты ничего не знаешь, Иост? .. Слухом-то весь город полнится... Этот чертов капуцин укукошил троих. Его уже вывели на чистую воду. На днях уже будет представление, колеса так и заиграют.

Больше я ничего не слышал, так как чувства снова оставили меня. Не без труда преодолел я этот обморок; я лежал в темноте; лишь бледные отсветы дня коснулись наконец низкого — вышиной не более шести футов — свода; таково было мое новое жилище, как я в ужасе убедился. На меня напала жажда; рядом стояла кружка с водой, но как только я притронулся к ней, на мою руку шлепнулось что-то влажное и холодное; мерзкая толстая жаба тяжело запрыгала прочь. Вздвогнув от гадливости, я брезгливо пролил воду.

— Аврелия! — всхлипнул я, подавленный безысходным отчаянием. — Зачем все эти жалкие уловки, все выкрутасы перед следователем? Все эти лживые ужимки дьявольского притворства? Для того ли, чтобы выиграть еще несколько часов этой судорожной муки, именуемой жизнью? На что ты покушаешься, безумец? Ты вожделеешь Аврелии, но что, кроме неслыханного преступления, может завоевать ее для тебя? Даже если ты проведешь весь свет и оправдаешься, сама Аврелия будет видеть в тебе гнусного злодея и брезговать тобой, ты, убийца Гермогена! Одержимый глупец, ничтожество, хороши твои высокопарные планы и вера в твою неземную власть, помыкающую судьбой по твоей прихоти; тебе не под силу даже раздавить червя, снedaющего твое умерщвленное сердце; все равно тебя уничтожит безнадёжная скорбь, даже если ты ускользнешь от карающей справедливости.

Громко причитая, я повалился на солому и в то же мгновение ощутил толчок в груди; меня как будто кольнуло что-то твердое в кармане моего жилета. Я полез в карман и извлек оттуда ножик. С тех пор, как меня заточили, я не носил при себе никакого ножа; наверное, этот нож передал мне мой подпольный призрак. Встав кое-как на ноги, я предоставил пробивающемуся лучу осветить его. В глаза мне бросился блестящий серебряный черенок. О, игра судьбы! у меня в руке был тот самый ножик, которым я прикончил Гермогена; я хватился его несколько недель назад, но не мог найти. И в глубине моей души дивным светом вспыхнула надежда на спасение от позора! Конечно же, я получил нож чудом; то было указание высшей силы, желающей от меня искупленья, чтобы моя смерть примирила со мной Аврелию. Чистейшим сиянием горнего огня согрела меня теперь любовь к Аврелии; греховной похоти как не бывало. Она снова была передо мной, как тогда в монастырской церкви, в исповедальне.

«Я же люблю тебя, Медардус, а тебе невдомек!.. Смерть — вот моя любовь!» — так лепетал, так нашептывал, так овеивал меня голос Аврелии, и я укрепился в намерении вверить следователю необычайную историю моего беспутства, а потом убить себя.

Вошел тюремщик и принес кушанье получше обычного, да еще и бутылку вина. «Князю так угодно», — сказал он, накрывая на стол, внесенный вслед за ним его слугой.

Потом тюремщик отпер замок на моей цепи, ввинченной в стену. Я просил тюремщика передать следователю, что хотел бы нового допроса: мне есть что открыть ему, и это тяготит мою душу. Тюремщик обещал выполнить просьбу, однако мое ожидание осталось напрасным: на допрос меня так и не вызвали. Никто не заглядывал ко мне, пока не стемнело и вошедший слуга не зажег лампу, висевшую под самым сводом. Мои душевные терзания как будто несколько улеглись, но я чувствовал себя совершенно изнуренным и быстро погрузился в глубокий

сон. Я увидел себя в длинном, сумрачном, сводчатом зале, где на высоких седалищах вдоль стен размещался духовный синклит в черных мантиях. Впереди за столом, застланном кроваво-красной тканью, восседал мой следователь, а рядом с ним монах-доминиканец в облачении своего ордена²⁷.

— Твое дело, — сказал следователь патетическим торжественным голосом, — передано теперь духовному суду, ибо ты, закоренелый святотатец, все-таки монах, как ты ни отрекался от своего имени и сана. Франциск, во иночестве Медардус, поведай, какие преступления числятся за тобой?

Я намеревался чистосердечно перечислить мои ковы и святотатства, но, к своему ужасу, говорил совсем не то, что думал и хотел сказать. Я готовил покаянное признание, а сам запутался в бессмысленной, нелепой болтовне. Тогда передо мной предстал доминиканец; он был огромного роста, его глаза сверлили меня сверкающими буравами.

— Пытать его, нераскаянного монаха! Он еще запирается! — крикнул доминиканец.

Невиданные призраки окружили меня, простирая ко мне свои длинные руки, и послышалось их устрашающее хрипение:

— Пытать его!

Я выхватил нож и пронзил бы себе сердце, но рука почему-то скользнула вверх, так что удар пришелся в шею, и лезвие, наткнувшись на крестообразную отметину, как стеклянное, разлетелось мелкими осколками, даже не поцарапав меня. Заплечных дел мастера схватили меня и ввергли в подземный сводчатый склеп. Доминиканец, следователь и другие судьи направились туда же. Следователь еще раз призвал меня повиниться. Я еще раз попытался, но моя бредовая речь не совпадала с моей мыслью. Про себя я каялся, совершенно подавленный стыдом, и не таил ничего, а из уст моих вырывалось что-то плоское, невнятное, несуразное. Доминиканец сделал знак, и с меня сорвали одежду, скрутили руки за спиной; повисая в воздухе, я почувствовал, как трещат мои суставы, готовые раздробиться. Неистовая, невыносимая боль исторгла из меня крик и разбудила меня. Руки и ноги по-прежнему болели от тяжелых оков, но, кроме того, мучительное давление извне не давало открыть глаз. Наконец убрали с моего лба непонятную тяжесть, я вскочил и увидел: прямо подле моего соломенного одра стоит монах-доминиканец. Сновидение вторглось в явь, ледяной холод заструился по моим жилам. Недвижный, как изваяние, скрестив руки, высился передо мной монах, вперяя в меня свои впалые черные очи. Я распознал зловещего живописца и, теряя сознание, поник на солому. Может быть, мои чувства, взбудораженные сном, вызвали галлюцинацию? Я взял себя в руки, я снова рванулся с моей соломы, но по-прежнему недвижимо стоял монах, уставившись в меня своими впалыми черными глазами. Тогда я завопил, обезумев от отчаянья:

— Ужасный человек! Сгинь же, сгинь! Прочь! Нет, разве ты человек, ты сам дьявол, влекущий меня в бездну вечной гибели... Сгинь, супостат, убирайся!

— Несчастный подслеповатый дурачок, разве я тот, кто норовит наложить на тебя вечные железные оковы — отвлечь тебя от святого твоего призвания, возложенного на тебя вечным Промыслом!.. Медардус!.. Жалкий, подслеповатый дурачок! Я всегда являлся тебе устрашающим, ужасающим образом, когда ты в шаловливом любопытстве наклонялся над ямой вечного проклятия. Я удерживал тебя, а тебе и невдомек! Поднимись же, не бойся меня!

Монах не просто говорил, а как бы причитал, надрывая душу глубокой глухой жалобой; его взор, так страшивший меня дотопле, смягчился и потеплел, даже лик его утратил свой жесткий чекан. Неописуемое томление пронизало меня изнутри; глашатаем вечного Промысла, утешителем, возносящим меня из беспросветной бездны отчаянья, предстал теперь передо мною живописец, мой прежний неумолимый гонитель.

Я встал с моей соломы, подступил к нему вплотную, нет, это не был фантом; и на ощупь его одежда оставалась одеждой. Я невольно опустился на колени; он коснулся моего темени, как бы благословляя меня. И во мне затеплились милые светлорасочные картины.

Ах, то был священный лес, да, то было место, где мне, младенцу, паломник, одетый не по-нашему, явил дивное дитя. Меня влекло дальше, в церковь, она тоже виднелась прямо передо мной. «Туда, туда, — что-то говорило мне, — исповедуйся, покайся, и твои тяжкие грехи отпустятся тебе». Но я был скован; я не узнавал, не ощущал себя самого. Тогда глухо рекла некая пустота:

— Задумано — сделано!

Грез как не бывало, это были слова живописца.

— Так это был ты, непостижимый, тогда в то несчастное утро в монастырской церкви в Б.? В имперском городе? И ныне здесь?

— Постой, — прервал меня живописец, — да, я всегда сопровождал тебе, пытаюсь отвести от тебя гибель и позор, но ты был непроницаем для моих внушений. Ты же избранник, ты должен осуществить свое призвание, только в этом твое спасение.

— Ах! — вскричал я, полный отчаянья, — почему ты не пошел мне, когда я преступно, святотатственно поднял руку на того юношу?

— То было выше моих сил, — проронил живописец. — Вопросы излишни. Лишь греховная опрометчивость перечит Вечной Воле! Медардус! Ты узришь свое предназначенье... завтра!

Я содрогнулся в ледяном поту, полагая, что вполне понял живописца. Он предвидел мое самоубийство и благословлял меня. Пошатываясь, художник тихо двинулся к двери.

— Когда, когда же мы снова свидимся?

— Когда свершится! — вскричал он, обернувшись ко мне, и его торжественный, звучный голос гулко разнесся под сводами.

— Итак, завтра?

Дверь тихо двинулась на своих петлях, и живописец скрылся.

Едва рассвело, пришел тюремщик со своими подручными, и они сняли цепи с моих израненных рук и ног. Мне дали понять, что скоро допрос. Погруженный в себя, усвоив мысль о близкой смерти, шел я в судебный зал; я уже обдумал свое чистосердечное признание и приготовился все поведать следователю вкратце, ничего не опуская и не замалчивая.

Следователь поспешно шагнул ко мне навстречу; наверное, вид мой был ужасен, так как, увидев меня, он сразу стал улыбаться, и на лице его проступило глубокое сострадание. Он сжал обе мои руки и усадил меня в свое кресло. Затем, не спуская с меня глаз, он сказал медленно, торжественно чеканя каждый звук:

— Господин фон Крчинский! У меня для вас хорошая новость! Вы свободны! Князь распорядился прекратить следствие. Вы невероятно похожи на другого человека, настолько похожи, что вас по недоразумению приняли за этого человека. Ваша невиновность не вызывает ни малейших сомнений, право, никаких сомнений... вы свободны!

Все засвистело, зажужжало, закружилось вокруг меня. В моих глазах следователь вспыхнул и рассыпался по крайней мере сотнею искр, причем каждая искра была его двойником, однако туман сгустился, и все исчезло в непроглядной тьме.

Наконец я почувствовал, что мне растирают лоб спиртом; так, не без посторонней помощи, удалось мне преодолеть обморочное состояние, в которое я погрузился. Следователь зачитал мне краткий протокол, согласно коему меня ставили в известность о том, что мое дело прекращается и я подлежу освобождению из тюрьмы. Я молча подписал его, так как все еще не мог говорить. Неопишное чувство, уничижавшее меня в глубине души, не позволяло мне обрадоваться. Теперь, когда взгляд следователя трогал мне сердце сострадательной добротой, когда я видел, что в мою невиновность верят и желают моего освобождения, я чувствовал: пришло время по доброй воле перечислить мои гнусные преступления и всадить себе в сердце нож.

Я заговорил бы, однако следователь явно тяготился моим присутствием. Я шел уже к двери, когда следователь поспешил следом за мной, чтобы тихо сказать:

— Теперь уже с вами говорит не следователь; с первого мгновения, как только я увидел вас, все меня заинтересовали в высшей степени. Хотя, согласитесь, все улики были против вас, все во мне противилось тому, что вы тот мерзкий вероломный монах, сколько бы вас ни подозревали в тождестве с ним. Теперь я могу сказать вам... Это останется между нами... Никакой вы не

поляк... И вовсе не в Квечичеве вы родились. И ваше имя не Леонард фон Крчинский.

— Разумеется, — не колеблясь, ответил я.

— И вы, действительно, не священник? — продолжал следователь и опустил глаза, вероятно, потому, что не хотел оказывать на меня давления профессиональной пронизательностью. Во мне все всколыхнулось.

— Послушайте! — вырвалось у меня.

— Ни слова! — прервал меня следователь. — Я вижу, что не ошибался и не ошибаюсь в моих выводах. Тут загадка на загадке; таинственная игра судьбы сплела вашу жизнь с жизнью некоторых знатных, быть может, коронованных особ, имеющих отношение к нашему двору. В мои обязанности не входит расследование подобных дел, и я счел бы непозволительной нескромностью злоупотребить вашей откровенностью касательно вашей личности и ваших, по-видимому, необычных отношений с другими людьми. Однако, положи руку на сердце, не предпочли бы вы отбыть отсюда подобру-поздорову, ради вашего же собственного спокойствия? После всех этих неурядиц, боюсь, вам самому будет здесь не по себе.

Я слушал следователя, а мрачные тени, тяготившие мою душу, стремительно улетучивались. Жизнь снова покорила меня, и вкус к ней снова пламенно трепетал во всех моих фибрах. Аврелия! Она снова пришла мне на ум, и мне отбыть отсюда, от нее? С глубоким вздохом вырвалось у меня:

— А она?

Следователь глянул на меня в глубоком изумлении, потом быстро сказал:

— Ах! Теперь мне, кажется, все ясно! Да хранит вас Небо, господин Леонард, от души желаю, чтобы оказалось обманчивым дурное предчувствие, с такой отчетливостью охватившее меня именно сейчас.

Но в моей душе все уже приняло иной распорядок. Раскаянья как не бывало; напротив, святотатственная наглость снова заговорила во мне и прозвучала в притворной небрежности моего вопроса к следователю:

— А вы не верите в мою невиновность?

— Не взывайте, сударь, — веско ответил следователь, — во что я верю, в то я верю и предпочитаю не говорить об этом вслух. Чувство мне кое-что подсказывает, но это не аргумент. Вопрос исчерпан; по всем правилам установлено, что вы не имеете ничего общего с монахом Медардусом, так как сам этот Медардус здесь налицо; его опознал тот же отец Кирилл, прежде введенный в заблуждение вашей внешностью; действительно, сходство полное и точное, но на этот раз подозреваемый сам признает, что он беглый капуцин. Таким образом, все совершилось своим чередом, и тем более я просто обязан верить в вашу невиновность.

В это время за следователем зашел приказный, прервав разговор как раз тогда, когда он начал стеснять меня.

Я отправился в мою квартиру и нашел там весь мой скарб на прежнем месте. Мои бумаги, очевидно, были конфискованы и снова возвращены; в запечатанном пакете они лежали у меня на письменном столе; отсутствовали только бумажник Викторина, кольцо Евфимии и веревочный пояс капуцина, так что мои тюремные предположения оказались основательными. Немного погодя ко мне пришел княжеский слуга; он преподнес мне письмецо князя, писанное его собственной рукой, и в придачу золотую табакерку, усеянную драгоценными камнями.

«Вас вовлекли в дурную игру, господин фон Крчинский, — писал князь, — но ни я, ни мои судебные инстанции в этом не виноваты. Кто бы мог подумать, что бывает такое невероятное сходство: вы оказались похожи на очень скверного человека. Однако все определилось к лучшему для вас. Примите этот знак моего расположения к вам; буду рад вас видеть в ближайшем будущем».

Милость князя была мне так же безразлична, как и его подарок, наступил упадок духа, естественное последствие сурового тюремного заключения; однако и тело мое взывало о помощи, и визит лейб-медика был как нельзя более кстати. Он мне незамедлительно кое-что рекомендовал.

— Согласитесь, — начал он, — что это, как не поразительное везение: именно в тот момент, когда убедительно доказано, что жуткий монах, наделавший столько гадостей в семье барона Ф., — не кто иной, как вы, именно в тот момент, говорю я, на ловца и зверь бежит; монах тут как тут, и вы спасены от подозрений.

— Поверьте мне, я до сих пор не знаю, чем обусловлено мое освобождение; следователь только между прочим упомянул, что здесь объявился капуцин Медардус, а, насколько я понимаю, правосудие интересовалось именно этим капуцином и сгоряча спутало меня с ним.

— Он отнюдь не объявлялся; его доставили сюда на подводе, крепко связанного, и, что любопытно, в тот же день, когда сюда приехали вы. Опять совпадение: мне не дали договорить как раз тогда, когда от повествования о странных событиях, происходивших во время оно при нашем дворе, я перешел к рассказу об отпетом Медардусе, сыне Франческо, и о его зверствах в замке барона фон Ф. Но я готов продолжить нить моего повествования отсюда, где оно прервалось. Как вы помните, сестра нашей княгини, настоятельница цистерцианского монастыря в Б., приняла однажды участие в бедной женщине, которая со своим маленьким сыном возвращалась, совершив паломничество к Святой Липе.

— Женщина была вдова Франческо, а ребенок и есть пресловутый Медардус.

— Именно так, но откуда вы знаете?

— Таинственная история капуцина Медардуса открылась мне тоже таинственно. Мне точно известны его похождения до того момента, как он сбежал из замка барона фон Ф.

— Но откуда? От кого и как?

— Греза наяву просветила меня.

— Это шутка?

— Отнюдь. Право же, сдается мне, что я в сновиденье воспринял историю несчастного, одержимого темными силами, метавшегося то туда, то сюда, от преступления к преступлению. Я попал в ...ский лес, когда почтарь сбился с дороги; мне пришлось заночевать в доме лесничего, и там...

— А, теперь я все понимаю, там оказался монах...

— Да, сумасшедший монах.

— Теперь сумасшествие как будто прошло. Значит, уже тогда он приходил временами в себя и доверился вам?

— Если бы так! Все было страшнее. Не подозревая о том, что я ночую в доме, он вошел в мою комнату, и, естественно, его устранило наше с ним беспримерное сходство. Он вообразил, будто я его двойник, вестник смерти. Он заикался ... кое-какие признания вырвались у него — но меня утомило путешествие, и сон взял свое; помнится, монах все еще рассказывал, и достаточно связно, но я не могу с точностью сказать, когда, собственно, началось сновидение. По-моему, монах уверял, что не он убил Евфимию и Гермогена, а что убийцей обоих был граф Викторин.

— Кто бы мог подумать! Но почему вы умолчали об этом во время следствия?

— Мог ли я рассчитывать, что следователь хоть отчасти поверит показаниям со ссылкой на такие вычурные приключения? Да и вообще смеют ли судебные инстанции в наше просвещенное время принимать всерьез невероятное?

— Но неужели вам даже не пришло в голову, что вас путают с этим сумасшедшим монахом; что мешало вам указать на настоящего капуцина Медардуса?

— У меня была такая мысль после того, как этот полоумный старец — помнится, его зовут Кирилл — принял меня за своего беглого собрата. Но при всем желании у меня не укладывалось в голове, что сумасшедший монах и есть Медардус и речь идет, в сущности, о его преступлениях. К тому же лесничий сказал мне, что монах никогда не называл ему своего имени — как же разобрались в этом казусе?

— Нет ничего проще. Монах, как вы знаете, околачивался одно время у лесничего; ему полегчало, однако временами на него накатывало, и он творил такое, что лесничему пришлось спровадить его сюда, где его и водворили в сумасшедший дом. Там он сидел день и ночь, уставившись в одну точку, не двигаясь, идол идиолом. Молчал, как немой, и кормили-то его с ло-

жечки, так как он даже руки не поднимал. Чего только не применяли против подобного столбняка, однако крайних лечебных мер все же опасались: вдруг он снова начнет буйствовать? И вот несколько дней назад приезжает в город старший сын лесничего и заглядывает в сумасшедший дом к своему старому знакомцу монаху. Всей душой сострадая несчастному, который, кажется, неизлечим, он выходит из дома и сразу же встречает отца Кирилла из монастыря капуцинов в Б. Заговорив с ним, сын лесничего умоляет проведать собрата по ордену, томящегося взаперти; быть может, слово священника, да к тому же еще капуцина, целебнее иных лекарств? А Кирилл так и отшатнулся, узрев монаха: «Пресвятая Богоматерь, Медардус! Пропаций Медардус!» Так закричал он, и в тот же миг застывший взор монаха ожил. Он срывается с места, глухо вскрикивает — и в изнеможении падает на пол. Кирилл с другими свидетелями этого происшествия, не теряя ни минуты, идет прямо к председателю уголовного суда и выкладывает все начистоту. Следовательно, который занимается вами, спешит вместе с Кириллом в сумасшедший дом, и что же! Монах очень слаб, но уже не сумасшествует. Более того, он сам подтверждает: он, мол, монах Медардус из монастыря капуцинов, что в Б. Кирилл со своей стороны заверил, что и его сбило с толку ваше беспримерное сходство с Медардусом. Теперь, мол, только он отдает себе отчет в том, что господин Леонард совсем иначе держится, смотрит, говорит, и вообще достаточно воочию увидеть этого монаха Медардуса, то есть настоящего, чтобы все подозрения отпали. У того монаха обнаружилась и крестообразная отметина на шее слева, а вы сами помните, какое значение придавалось ей следователями. Монаха спросили о кровопролитии в замке барона фон Ф.

«Я гнусный преступник, я сам себе отвратителен, — отвечает он, еле ворочая языком, — всей душой раскаиваюсь я в содеянном. Ах, как я обманулся, рискнув самим собою и моею бесмертной душой... Смилитесь!.. Повремените немного... я ничего... ничего от вас не утаю...»

Как только князь узнал об этом, он сразу же распорядился прекратить следствие против вас и освободить вас из-под стражи. Вот история вашего освобождения. А монаха, напротив, перевели в крепость.

— И он действительно ничего не утаил? Он убийца Евфимии, Гермогена? А что же случилось с графом Викториним?

— По моим сведениям, следствие против монаха начинается только сегодня. Ну, а судьба графа Викторина — это особая статья; все, что восходит к тем потрясениям при нашем дворе, огласке не подлежит.

— Но я не усматриваю ничего общего между событиями в замке барона фон Ф. и той катастрофой при вашем дворе...

— Речь идет скорее о действующих лицах, чем о событиях.

— Я все равно не понимаю вас.

— Вы не забыли мой рассказ о катастрофе, стоившей принцу жизни?

— Конечно, не забыл.

— Так неужели же вы не догадались, что Франческо любил итальянку, любил преступной любовью? Что это он, а не принц, первым вошел к новобрачной, а потом зарезал принца? Викторин — дитя того святотатственного посягательства. У него и у Медардуса один отец. Но Викторин как в воду канул, никаких справок о нем не удается навести.

— Это монах спихнул его в Чертову пропасть! Будь проклят бесноватый братоубийца!

С пафосом изрек я эти слова и в то же самое мгновение услышал тихое-тихое постукивание, как будто я в моей камере и ко мне снизу стучится чудовищный призрак. На меня напала оторопь, я ничего не мог с собой поделывать. От лекаря, казалось, ускользает и стук, и мои внутренние терзания. Он продолжал:

— Что? Монах и в этом вам признался? Он убийца Викторина?

— Да... Его признания были слишком хаотичны, но исчезновение Викторина как-то вписывается в них; видно, дело так и обстояло. Будь проклят бесноватый братоубийца!

Постукивание усиливалось, уже слышались и стоны, и оханье, а вот и тихий свистящий смешок разнесся по комнате со звуками вроде:

— Медардус... Медардус... хо... хо... хорош ты! По-мо-ги! По-мо-ги!

А лекарь как будто ничего не слышал:

— Особенно таинственно происхождение самого Франческо. Многие говорят о том, что с нашим княжеским домом его связывало некое родство. Известно, во всяком случае, что Евфимия — дочь...

Страшный удар едва не сорвал с петель распахнувшуюся дверь; неистовый, бешеный смех ворвался в комнату.

— Хо... хо... хо! братец! — в таком же неистовстве откликнулся я. — Хо... хо... хочешь... давай бороться... хо... хо... ходу! ходу! У филина свадьба... ходу, ходу! Вылезем на крышу и поборемся; кто спихнет супротивника, тот король и может пить кровь.

Лейб-медик схватил меня за руки с криком:

— Что это? Что это?.. Да вы же больны... В самом деле, больны опасно... Быстро, быстро в постель!

А я все не сводил глаз с раскрытой двери в ожидании, не войдет ли мой жуткий двойник, но я так и не увидел его и постепенно стянул с себя ужас, державший меня ледяными когтями. Лейб-медик уверял, что я сам не знаю, насколько я нездоров, и сваливал все мои беды на тюремное заключение и душевные терзания, связанные со следствием. Я подчинялся его предписаниям, но выздоровел не столько благодаря медицине,

сколько благодаря тому, что стукотня больше не возобновлялась, и страшный двойник как будто совсем отстал от меня.

Утреннее солнце дружелюбно осветило однажды поутру мою комнату своими светло-золотистыми лучами; из окна сладко пахло цветами; меня неудержимо влекло под открытое небо, и вопреки предостережениям лекаря я поспешил в парк. Деревья и кустарники шепотом и лепетом поздравляли меня там с исцелением от смертельного недуга. Я вздохнул, как будто превозмог тяжелое сновидение, и мои глубокие вздохи были несказанными излияниями, веющими заодно с птичьим щебетом, с радостным жужжанием и стрекотанием пестрых насекомых.

Да! Не только испытания последнего времени, но вся моя жизнь с тех пор, как я покинул монастырь, представилась мне тяжелым сновидением, когда я вступил в аллею, осененную темными платанами. Я был в монастырском саду близ города Б. Вдалеке над кустами я видел крест, перед которым я, бывало, так пламенно молился, взыскав силы, способной противостоять искушению. Казалось, весь мой путь — лишь паломничество к святому кресту, чтобы повергнуться перед ним в прах, исповедаться и покаяться во всех моих преступных наваждениях, насылах лукавого, и я зашагал, молитвенно сложив воздетые руки, глядя на крест, и только на крест. Веянье в воздухе усиливалось; казалось, я уже слышу благочестивый хор братьев, но это была только дивная музыка леса, возбужденная ветром в деревьях; он шумел и не давал мне дышать, так что изнеможение заставило меня вскоре остановиться и опереться на ближайшее дерево, чтобы не упасть. Дальний крест, однако, притягивал меня, и я не мог противиться этому тяготению; из последних сил ковлял я к нему, пока близ кустарника не наткнулся на скамью в виде бугорка из мхов; как слабосильный старец, я рухнул на нее всем телом, и стесненная грудь моя искала облегчения в глухих столах.

Совсем рядом в аллее что-то зашелестело... Аврелия! Одновременно с молниеносной мыслью о ней она сама возникла передо мной. Слезы пламенного сокрушения хлынули из ее небесных глаз, но в слезах светился некий луч; то было неопишное знойное желание, столь чуждое, казалось бы, Аврелии до сих пор. Но не иначе пламенел влюбленный взор того таинственного существа в исповедальне, столь часто посещавшего меня в моих сладчайших видениях.

— Сможете ли вы когда-нибудь меня простить? — пролепетала Аврелия.

И теряя голову в неизреченном восторге, я бросился к ее ногам, схватил ее руки:

— Аврелия... Аврелия... пусть казнь... пусть смерть... лишь бы ты...

Она нежно подняла меня... Аврелия прильнула к моей груди; я упивался пламенными поцелуями. Приближающийся шорох

спугнул ее; она вырвалась наконец из моих объятий; удержать ее было нельзя.

— Утолено мое томление, сбылась моя надежда, — тихо сказала она, и в тот же миг я увидел княгиню, идущую по аллее. Я отступил в кусты и только тогда понял, что серое сухое дерево издали представилось мне распятием.

Изнурение мое прошло; поцелуи Аврелии разожгли во мне новую жизненную силу; я чувствовал, как светло и сильно прозрела во мне тайна моего бытия. Ах, то была чудесная тайна любви, впервые раскрывшаяся в своей лучистой сияющей чистоте. То был зенит моей жизни; предстояло клониться к закату, чтобы исполнился жребий, predeterminedенный высшей силой.

Именно это время объяло меня небесной мечтою, когда я начал описывать, что со мной приключилось после сновидения с Аврелией. Тебя, неизвестный, чуждеальный читатель сих листков, призвал я вспомнить солнечный полдень твоей собственной жизни, и тогда ты разделишь безутешную скорбь чернеца, посевшего в покаянном искуплении былого, и заплачешь вместе с ним. Еще раз умоляю тебя: возбуди бывшее в тебе самом, и мне тогда уже не нужно будет говорить, как любовь Аврелии все вокруг меня преобразила, как восхищенный, взволнованный дух мой изведаль и вкусил жизнь в жизни, как небесный экстаз переполнил меня, вдохновленного божеством. Ни одна мрачная мысль не посещала больше мою душу; любовь Аврелии изгладила все мои грехи; да, чудным образом проклюнулось во мне стойкое убеждение, будто вовсе не я, отпетый святотатец, убийца Евфимии и Гермогена, а тот полоумный монах, встреченный мною в доме лесничего. Казалось, я вовсе не вводил лейб-медика в заблуждение; нет, то был истинный скрытый путь судьбы, превышавший доселе мое собственное разумение.

Князь встретил меня как друга, которого считали погибшим, а он возвратился; естественно, придворные во всяком случае делали вид, что разделяют его чувства; только княгиня оставалась неприступной и настроенной, хотя и не выказывала этого с прежней жесткостью.

Аврелия вверилась мне с детским чистосердечием; она не видела в своей любви никакой вины, ничего такого, что свет может осудить; еще менее я сам был склонен к скрытности, так как жил лишь своим чувством. Наша взаимность не была тайной ни для кого, но никто не обсуждал вслух нашего романа, так как во взорах князя прочитывалось если не одобрение, то молчаливое попустительство. Так что я без всяких затруднений встречался с Аврелией часто, и притом наедине. Я обнимал ее, и мои поцелуи не оставались без ответа, но я чувствовал ее девичий трепет и подавлял греховное вожделение; святотатственный помысел всегда бывал умерщвлен робостью, трогавшей мою душу. Аврелия не чаяла опасности, да опасности и не было, ибо, сидя рядом со мной в уединенном покое, когда ее небесное обаяние

могущественнее распространяло свои лучи, когда любовный пламень мог вспыхнуть во мне неистовой, она смотрела на меня с такой нежной невинностью, что думалось: не святая ли со-благоволила по милости небес посетить на земле кающегося грешника? Нет, не Аврелия, то была сама святая Розалия, и я падал к ее ногам с возгласом:

— О, ты праведница, ты святая, ты небесная, смеет ли земная любовь к тебе пребывать в сердце?

А она подавала мне руку, и в голосе ее звучала сладостная мягкость:

— Ах, какая же я святая, какая же я небесная, я просто верующая и очень люблю тебя!

Несколько дней провел я в разлуке с Аврелией; княгиня пригласила ее с собой, отбывая в ближний загородный замок. Разлука стала для меня невыносимой, я устремился за нею. Приехал я туда поздно вечером, встретил в саду камеристку и узнал от нее, где комната Аврелии. Тихо, тихо приоткрыл я дверь... я вошел... на меня пахнуло духотой... чарующее благоухание цветов одуряло меня. Темными грезами возникли во мне воспоминания. Не в замке ли барона эта комната Аврелии, где я? Едва я подумал об этом, позади меня померещился мне кто-то черный и: «Гермоген!» — закричало все у меня внутри.

Ужас погнал меня вперед, дверь будуара была чуть-чуть приотворена. Я увидел Аврелию, коленопреклоненную перед табуретом, на котором лежала раскрытая книга. Полный робкой боязни, я невольно обернулся — и никого не увидел; тогда я вскричал в неземном восхищении:

— Аврелия! Аврелия!

Она быстро обернулась, но не успела она подняться с колен, я был рядом с ней и крепко обнял ее.

«Леонард! Возлюбленный!» — чуть слышно лепетала она.

Дикая страсть, преступная, неистовая похоть клочкотала, кипела во мне. Аврелия была в моей власти; ее распущенные власы рассыпались по моим плечам, девственное лоно кольхалось — она глухо вздыхала — я не помнил себя! Я рванул ее к себе, и некая сила пробудилась в ней, глаза ее непривычно засверкали, она уже вспыхивала тем же пламенем в ответ на мои яростные лобзания. Вдруг где-то позади раздался шум, как будто замахали могучие крылья; в комнате как будто закричал смертельно раненный.

«Гермоген», — вскрикнула Аврелия; она упала без чувств, и я не мог удержать ее. В диком ужасе бежал я прочь.

В коридоре мне встретилась княгиня. Она возвращалась с прогулки. Княгиня посмотрела на меня надменно и осуждающе, сказав:

— Ваше появление весьма озадачивает меня, господин Леонард.

Мгновенно подавив смятение, я ответил, быть может, катего-

ричнее, чем подобало бы, мол, бывают побуждения, которые сильнее нас, и непростительное иногда простительно!

Когда в ночной тишине я поспешал назад в резиденцию, я не мог отделаться от ощущения, будто кто-то сопутствует мне бегом и неотвязный шепот преследует меня:

— Всю-ду... всюду я с то... бой... с то-бой... бра-тец мой... братец мой Медардус!

Мои глаза уверяли меня, что призрак двойника колобродит лишь в моей собственной фантазии, но я не мог отделаться от этого страшного морока и не прочь был даже, в конце концов, покалякать с ним, признаться, что я снова слупил, струхнув перед этим олухом Гермогеном, но я все равно скоро овладею святой Розалией, никуда она от меня не денется, она моя, только моя, на то я и монах, на то я и постригался. Мой двойник хихикал и всхлипывал в ответ по своему обыкновению и лопотал:

— Спе... спе... спе... спеши!

— Терпение, — урезонивал я его, — терпение, мой мальчик! Все идет как по маслу. Правда, вот Гермогена я не дорезал, у него такой же проклятуший крест на шее, как у тебя и у меня, однако мой ножик не только блестит, но и режет, но и разит.

— Хи... хи... хи... рази верней... рази верней...

Науськивания моего двойника стихли в свисте предрассветного ветра; его вызвал пламенный пурпур, разгоравшийся на востоке.

Едва возвратившись к себе домой, я получил приглашение посетить князя. Князь дружески шагнул ко мне навстречу.

— В самом деле, господин Леонард, — начал он, — вы симпатичны мне в высшей степени, не скрою от вас, что моя первоначальная благосклонность к вам превратилась в истинную дружбу. Я хотел бы сохранить вас вблизи себя, я хотел бы способствовать вашему счастью. Кстати сказать, уже ваши страдания должны быть увенчаны неким благополучием. Знаете вы, господин Леонард, кто навлек на вас такие жестокие преследования? Знаете ли вы, кто ваш обвинитель?

— Нет, ваше высочество!

— Баронесса Аврелия, представьте себе. Вы удивлены? Да, да, баронесса Аврелия сочла вас (он громко засмеялся) капуцином, господин Леонард! Ну, Бог свидетель, если вы капуцин, то любезнейший из капуцинов, и нет вам равных среди них. Скажите мне откровенно, господин Леонард, не привержены ли вы втайне к монашеству?

— Ваше высочество, я, право, не понимаю, что за злая судьба все время придает мне сходство с монахом, который...

— Стоп, стоп! Я не инквизитор; но это был бы поистине фатум, если бы на вас тяготел монашеский обет. Но не будем отвлекаться! А не хотите ли вы отомстить баронессе Аврелии — гм! — за неприятности, виновницей коих она была?

— Неужели в груди человеческой может гнездиться мысль о мести небесному созданию?

— Вы ее любите?

Князь задал этот вопрос, с пристальным вниманием заглядывая мне в глаза. Молча поднес я руку к сердцу. Князь продолжал:

— Я знаю, вы полюбили Аврелию в то мгновение, когда она с княгиней впервые сюда вошла. Так вот, вы пользуетесь взаимностью, и, признаюсь, я не представлял себе, что нежная Аврелия способна на такое пламя. Вся ее жизнь — это вы; княгиня все мне открыла. Можете ли вы поверить: когда вас арестовали, Аврелия была в отчаянье, не вставала с постели, и мы даже опасались за ее жизнь. Аврелия видела в вас убийцу своего брата и при этом сострадала вам; представьте себе наше недоумение. Уже тогда вы были любимы. Итак, господин Леонард, или, вернее, господин фон Крчинский, вы человек родовитый, я регистрирую вас при моем дворе, надеюсь, не самым неприятным для вас образом. Аврелия будет вашей супругой. Через несколько дней состоится ваша помолвка, и я сам буду посаженным отцом невесты...

Я стоял перед ним, не находя слов, а во мне бушевало борение несовместимых чувств.

— Adieu, господин Леонард, — воскликнул князь и покинул комнату с дружественной миной.

«Аврелия моя жена! Жена преступного монаха! Нет! Какой бы неотвратимый рок ни тяготел над нею, бедной, даже темные силы так распорядиться не могут!»

Эта мысль поднялась во мне и оказалась сильнее внутреннего мятежа. Я чувствовал: решение нельзя откладывать, но не представлял себе, как пережить разрыв с Аврелией. Не видется с ней было выше моих сил, но я сам не понимал, почему так претит мне предполагаемая женитьба. Меня угнетало отчетливое предостережение: когда преступный монах посмеет перед Божиим алтарем глумиться над святыми обетами, непременно возникнет странный образ живописца, но не для того, чтобы смягчить мою участь утешением, как в тюрьме, а для того, чтобы ужаснуть возмездием и погибелью, перед которой сам Франческо дрогнул под венцом, а уж мне-то никак тогда не избежать неопишемого поругания и урона днесь, присно и векеки. Но потом еще глубже во мне начинало говорить что-то темное:

— А все-таки чья же Аврелия, если не твоя? Малодушный межеумок, мнишь ли ты переиначить твой рок, общий с нею?

И сразу же в ответ звучало:

— Смирись! Смирись! В прах! В прах! Ты же ослеплен! Это кощунство! Как может стать она твоею? Ты же на святую Розалию посягаешь плотским своим вожделением.

Так, гонимый разладом двух устрашающих начал, не ведал я, что мне помыслить, какому предостережению внять, куда укрыться от погибели, надвигающейся отовсюду. Куда девалось пьянящее самообольщение, принимавшее всю мою прошлую жизнь, включая злосчастный визит в замок барона фон Ф., лишь

за тягостную грезу! Безнадежный упадок духа не оставлял сомнений в том, что я лишь заурядный сладострастник и уголовный преступник. Потчуя следователя и лейб-медика убогими рассказными, я бездарно, неискусно лгал и напрасно пытался приписать потом свои бредни некоему внутреннему голосу.

Сосредоточенный в себе самом, безразличный ко всем звукам и картинам, я пробирался по улице и пришел в себя, услышав громкий голос кучера и шум экипажа. Я отскочил в сторону. Экипаж княгини проехал мимо меня; лейб-медик из-за дверцы дружески приветствовал и манил меня; я сразу же последовал за ним к нему на квартиру. Он так и прыгнул ко мне навстречу, увлекая меня за собой с такими словами: «Я прямо от Аврелии, у меня известия для вас».

— Ай-ай-ай, — начал он уже в комнате, — как же вы порывисты и опрометчивы! Куда это годится! Вы застали Аврелию врасплох, ни дать ни взять — выходец с того света, и довели бедняжку до нервического припадка!

Моя внезапная бледность привлекла его внимание.

— Легче, легче, — продолжал он, — ничего страшного; она уже выходит в сад и завтра утром должна вернуться с княгиней в резиденцию. О вас, дражайший Леонард, изволила распространяться Аврелия; по вас она соскучилась; ей не терпится извиниться перед вами; она полагает, что вы могли счесть ее простушкой или дурочкой.

Вспоминая наше свидание в загородном замке, я не знал, что и подумать.

Лекарь был, по-видимому, осведомлен о намерениях князя в отношении меня; он прозрачно намекал на них; трудно было не разделить его жизнеутверждающего пафоса, вызволившего меня на свет Божий из мрачного уныния, так что между нами завязался душевный разговор.

Он описывал мне Аврелию, напуганную дурным сном, ее полузакрытые смеющиеся глазенки; подперев ручкой головку, болящая пожаловалась ему на кошмары. Он передавал ее слова, имитировал застенчивые девичьи интонации попеременно с тихими вздохами и, чуть-чуть потешаясь над ее жалобами, набросал передо мной несколько резких курьезных черточек, обрисовавших ее с милой живостью. А для контраста он представил церемонную чопорную княгиню, чем изрядно позабавил меня.

— Ну, могли ли вы предположить, — взвился он наконец, — могли ли вы предположить, въезжая в резиденцию, что судьба уготовила вам такое? Сначала сногшибательная неурядица бросает вас в объятия уголовного суда, а потом завидная милость фортуны: вы осчастливлены дружбой государя!

— Не могу отрицать: дружелюбие князя сразу же польстило мне; но сейчас я чувствую, как возрос мой престиж при дворе, и усматриваю в этом лишь благое стремление загладить несправедливость, причиненную мне...

— Тут не столько благое стремление, сколько одна мелочь, которую вы и сами, надеюсь, улавливаете.

— Никоим образом.

— Хотя окружающие по-прежнему величают вас господином Леонардом, каждый теперь знает, что вы дворянин; из Познани поступили известия, не оставляющие сомнений на этот счет.

— Неужели это имеет какое-нибудь значение для князя, для придворного круга, для моей репутации здесь? Когда я представился князю, тот пригласил меня бывать в придворном кругу, а когда я скрыл свое дворянское происхождение, князь утверждал, что в науке моя знатность и ему ничего другого не требуется.

— Князь действительно придерживается подобных взглядов, щеголяя просвещенной приверженностью к наукам и искусствам. Вы, наверно, замечали в придворном кругу разночинцев-ученых и разночинцев-художников, однако щепетильнейшие среди них сплошь и рядом не обладают чувством юмора, достаточным для того, чтобы найти некую высшую точку зрения, откуда удобно иронически взирать на коловращение мира сего, и потому они либо вовсе избегают подобного общества, либо навевываются туда изредка. Аристократ может с наилучшими намерениями блеснуть своим пренебрежением к предрассудкам, однако, когда он общается с разночинцем, нет-нет да и даст себя знать барственное высокомерие, готовое лишь из милости терпеть выскочку в своем кругу, а, согласитесь, этого не потерпит ни один человек, которому есть чем гордиться и который сам проявляет снисходительность, прощая аристократическому обществу его ограниченность и заурядность. Оказывается, вы сами дворянин, господин Леонард, но, говорят, ваше образование духовно-научное по преимуществу. Должно быть, поэтому вы первая благородная особа, в которой, находясь в придворном кругу среди вам подобных, я не почувствовал породы, извините за выражение. Вы ошибетесь, если вздумаете счесть это мещанской предвзятостью или желчью личной ущемленности. Я ведь из тех разночинцев, которые не просто пользуются толерантностью знати, нет, нас улаживают и даже культивируют. Врачи и духовенство — своего рода владетельные господа, ведающие телами и душами; они приравниваются к благородным. Даже придворнейшему из придворных не сулит особого блезиру расстройство желудка или вечная гибель. Впрочем, я имею в виду лишь католическое духовенство. Протестантские проповедники, особенно в провинции, — полулакеи, полуприживальщики; пощекотав совесть доброму барину, они допускаются к столу вместе с другими плебеями и получают свою долю жаркого и вина, не смея зазнаваться²⁸. Может быть, все дело в застарелых предрассудках, изживаемых с трудом, но ведь никто особенно и не хочет изживать их, ибо многие дворяне не обольщаются насчет своих способностей: не будь они дворянами, они вряд ли приобрели бы то, что теперь имеют. Сословная и родовая гордость

выглядит весьма странно, если не просто смешно в мире, где неуклонно воцаряется дух. Ко времени рыцарства восходит культ войны и оружия; тогда-то и образовалась каста, защищающая другие сословия, а подопечные, естественно, признали в своих защитниках господ. Пусть ученый славится своей наукой, художник своим искусством, мастеровой и купец своим промыслом, рыцарь скажет: смотрите, вот напал на вас необузданный враг, и вы, мирные обыватели, в его власти, а я, прирожденный воин, беру мой боевой меч, встаю за вас грудью и, забавляясь моей выучкой, играючи, спасаю вашу жизнь, ваше имущество и достоинство. Однако первобытное насилие исчезает с лица земли; всюду внедряется, всюду действует дух, и его торжествующая сила все явственнее обнаруживается. Нельзя больше не видеть, что крепким кулаком, панцирем и рыцарским мечом не навяжешь духу свою волю; даже война и вооружения со временем начинают определяться духовным принципом века. Каждый все более и более предоставлен самому себе; лишь собственные духовные дарования позволяют утвердиться в свете, каким бы внешним блеском ни наделяло вас государство. Между тем родовая гордость, восходящая к рыцарству, зиждется на противоположном принципе: «Мои пращурь — герои, стало быть, и я герой». Чем длиннее родословная, тем она почтеннее; легче поверить в героизм знатного дедушки; когда чудо в пределах досягаемости, оно вызывает некоторый скептицизм. Конечно, героизм и физическая сила говорят сами за себя. Отпрыски здоровых, сильных родителей сами обычно здоровы и сильны; воинственность и отвага тоже передаются по наследству. Так что чистоту рыцарской крови надлежало блюсти в стародавние времена; родовитой деве предстояло произвести на свет воина, чтобы захудалое мещанство молило его: «Не ешь нас, пожалуйста, лучше обороняй нас от других воинов», — а с духовными дарованиями все не так просто. Премудрые отцы производят на свет глупейших сынков, и как раз потому, что к физическому рыцарству присоединилось интеллектуальное, Амадис Галльский²⁹ и легендарный рыцарь круглого стола — предок, более предпочтительный, чем Лейбниц. Дух времени движется в определенном направлении, и аристократии только хуже оттого, что она продолжает кичиться своими родословными; потому бестактная смесь плохо скрытого пренебрежения и зависти к разночинцу, высоко ценимому светом и государством, обусловлена безотчетным, унижительным смятением: ведь мудрые видят уже, как соскальзывает старинная, истлевающая ветошь и не остается ничего, кроме смешной неприкрытой наготы. Хвала небу, немало аристократов обоего пола в согласии с духом времени воспаряют к высотам жизни, являемым наукой и искусством; вот истинные праведники, изгоняющие нечистого духа.

Речь лейб-медика завела меня в пределы, неведомые мне. Отношения аристократа к разночинцу никогда до сих пор не за-

нимали моих мыслей. Откуда было знать лейб-медику, что и я принадлежал к разряду тех, кого щадит аристократическая заносчивость? Разве не был я вхож в самые изысканные аристократические дома в Б., обожаемый, боготворимый духовник? Поразмыслив, я увидел, что вновь по-своему сплел свою судьбу, сказав пожилой придворной даме, что родился в Квечичеве; отсюда пошло мое дворянство, отсюда и мысль князя выдать Аврелию за меня.

Княгиня возвратилась.

Я поспешил к Аврелии. Она приняла меня, восхитив нежным девичьим смущением; я заключил ее в объятия и подумал в этот миг, почему бы не стать ей моей женой. Слезы лучились в ее взоре, а голос трогательно просил прощения; так ведет себя капризный ребенок: он сам на себя сердится, нашалив. Я не мог забыть своего визита в загородный замок; я умолял Аврелию не скрывать от меня, что ее тогда ужаснуло. Она не отвечала, она закрыла глаза, а я, обуреваемый тошнотворной близостью моего двойника, вскричал:

— Аврелия! Ради всего святого, что за ужас привиделся тебе тогда позади нас?

Она посмотрела на меня, пораженная; взгляд ее постепенно застывал; потом она вскочила, словно собираясь бежать, однако осталась и всхлипнула, зажимая себе глаза руками:

— Нет, нет, нет, не он!

Я нежно удержал ее, она села, обессиленная.

— Кто, кто не он? — настойчиво спрашивал я, хотя мне трудно передавалось все, что испытывала она.

— Ах, мой милый, мой любимый, — сказала она с тихой жалобой, — не сочтешь ли ты меня полоумной фантазеркой, если я открою тебе все, все... что порою так мучает меня и мешает полному счастью чистой любви? Зловещий морок вторгается в мою жизнь, он-то и наслал страшные образы, закравшиеся между мною и тобой, когда я тебя впервые увидела; холодными крыльями смерти овеял он меня, когда ты вдруг вошел в мою комнату там, в загородном замке княгини. Знай, как ты тогда, преклонял со мной колена монах-безбожник, чтобы святотатственно воспользоваться молитвенным экстазом. Как лукавый хищник, почуявший свою жертву, он подбирался ко мне, а убил моего брата! Ах, и ты!.. твои черты... твоя речь... то наваждение... нет, лучше молчать, лучше молчать!

Аврелия откинулась назад; она полулежала на софе, опершись головкой на руку; ее юные красы очерчивались еще соблазнительнее. Я стоял перед ней, сладострастно пожирая глазами ее нескончаемые прелести; но с похотью боролась дьявольская издевка, надрывавшаяся во мне: «Ты безответная невольница сатаны, что же, спаслась ты от монаха, искушавшего тебя молитвенным экстазом? Теперь ты его невеста!.. его невеста!»

Мгновенно улетучилась из моего сердца любовь к Аврелии, воссиявшая небесным лучом, когда, ускользнув из тюрьмы, уклонившись от казни, я свиделся с нею в парке; всего меня захватила мысль о том, что погубить ее — ослепительное предназначение моей жизни.

Аврелию пожелала видеть княгиня.

Я уже не сомневался в том, что жизнь Аврелии связана с моею еще неразрывнее и загадочней, однако я не находил способа разведать эти связи, ибо Аврелия вопреки всем просьбам не шла дальше бессвязных давешних признаний. И снова случай пришел мне на помощь.

Однажды я был в кабинете придворного чиновника, переправлявшего на почту частные письма князя и придворных. Он как раз отсутствовал, когда в комнату вошла девушка Аврелии и присовокупила толстый конверт к другим, лежавшим на столе. Бросив беглый взгляд на конверт и узнав почерк Аврелии, я убедился: письмо адресовано настоятельнице, сестре княгини. Меня так и пронзила молниеносная уверенность: вот оно, все то, что скрыто от меня; чиновник еще не вернулся, и я унес письмо Аврелии с собой. Ты, монах или пленник светских треволнений, да послужи тебе моя жизнь устрашающим примером и увещанием; прочти признания набожной чистой девушки, окропленные слезами кающегося грешника (он не смеет уповать на спасение). И пусть озарит тебя праведность отрадным утешением, хотя ты еще готов грешить и кощунствовать.

Аврелия — настоятельнице монастыря цистерцианок в ***

«Драгоценная моя, святая матушка! Какими словами поведаю я тебе, что дочь твоя счастлива, и жуткая тень, зловещим угрожающим наваждением вторгавшаяся в мою жизнь, срывающая все цветы, разрушающая все надежды, наконец удалена божественным волшебством любви. Однако сердце мое неспокойно; его все еще тяготит прошлое; ты поминала в своих молитвах моего несчастного брата и моего отца, убитого горем, ты воскресила меня в моей безутешной печали, а я не совсем открылась тебе, как бы остановившись перед святостью исповеди. И все-таки я отваживаюсь извлечь мрачную тайну, скрытую до сих пор у меня в груди. Сдается мне, что недобрая темная сила дразнила меня, подменяя высшее счастье моей жизни отвратительным ужасным мороком. Бурное море играло мною, и, быть может, я была обречена утонуть. Однако само Небо пришло мне на помощь и совершило чудо в то время, когда я уже больше ни на что не надеялась.

Я должна вернуться в мое младенчество, чтобы признаться во всем, во всем, ибо тогда в моей душе были посеяны плевелы, так пышно заполонившие ее впоследствии. Мне было года три-четыре, когда прекрасным погожим весенним днем я играла в саду замка с

Гермогеном. Мы собирали цветы, и Гермоген, дотоле не особенно расположенный к этому занятию, сообразовал плести венки для меня, а я примеривала их один за другим.

«Пойдем к матушке», — попросилась я, вся в цветах, а Гермоген так и подскочил, дико завопив:

«Побудем здесь, маленькая! Матушка в голубом кабинете, она там говорит с дьяволом!»

До меня толком не дошли его слова, но всю меня сковал ужас, а потом я навзрыд расплакалась.

«Глупенькая сестричка, что ты надрываешься, — кричал Гермоген, — матушка говорит с дьяволом каждый день, и дьявол не трогает ее».

Я испугалась, потому что Гермоген смотрел мрачно, говорил грубо, так что я боялась пикнуть. Матери тогда уже немоглось, ее часто мучили страшные судороги, а потом она лежала, как мертвая.

Я плакала от жалости, а в Гермогене глухо говорила какая-то пустота: «Это дьявол ее допекает».

Так в моей детской головке поселилась мысль, будто матушку посещает лютое, безобразное страшилище, ибо каков еще мог для меня быть дьявол, я же не знала, что учит Церковь. В один прекрасный день я была предоставлена самой себе; я совсем струхнула, и мне даже не хватило духу убежать, когда до меня дошло, что я в том самом голубом кабинете, где, по словам Гермогена, матушка говорит с дьяволом. Дверь открылась, матушка вошла, смертельно бледная, и уставилась на пустую стену.

Потом не она сама, а какая-то глухая, жалобная пустота закричала в ней: «Франческо! Франческо!»

За стеной послышался шорох и возня, потом стена раздвинулась и выступил портрет красавца, написанный во весь рост; одет он был не по-нашему, на плечах фиолетовый плащ. Стан его и лик несказанно очаровали меня, я взвизгнула от удовольствия; только тогда матушка оглянулась, увидела меня и сердито крикнула: «Ты что здесь делаешь, Аврелия? Как ты сюда попала?»

Матушка, всегда такая добрая и нежная, гневалась, чего до сих пор никогда не было. Я почувствовала себя виноватой.

«Ах, — залепетала я сквозь слезы, — они бросили меня здесь, а здесь нехорошо».

Но когда я увидела, что портрета больше нет, я закричала: «Ах, какой хорошенький! Где он, хорошенький?»

Матушка взяла меня на руки, поцеловала, приласкала и молвила: «Ты моя дорогая, славная доченька! А его никто не должен видеть, да его больше и нет!»

Я никому не выдала матушкиной тайны, только Гермогену однажды проболталась: «И вовсе не с дьяволом матушка говорит, а с одним красавчиком, он просто картинка и выпрыгивает из стенки, когда матушка его кличет».

А Гермоген уставился в одну точку перед собой и буркнул:

«Дьявол, как хочет, так и выглядит, говорил господин священник, а матушку он все-таки не трогает».

Мне стало не по себе, и я жалобно попросила Гермогена не говорить больше о дьяволе. Мы переехали в столицу, и я забыла писаного красавца; нисколько не занимал он меня и тогда, когда после матушкиной смерти мы вернулись в замок. Голубой кабинет был в нежилом крыле, как и остальные матушкины комнаты, куда отец предпочитал не заходить, чтобы не мучиться воспоминаниями. Здание, однако, требовало ремонта, и покои нельзя было не открыть; я вошла в голубой кабинет, когда плотники меняли там паркет. Когда один из них вынимал дощечку посредине комнаты, за стеной послышался шорох, стена раздвинулась, и так и выступил писанный красавец во весь рост. В полу обнаружилась пружина; стоило нажать на нее, и за стеной сработывало устройство, раздвигавшее стенную облицовку. И тогда ожило то мгновение из моих детских лет; матушка стояла передо мной, я плакала-разливалась, но все не могла налюбоваться на чужого статного кавалера, чьи лучистые очи взирали на меня как живые.

Должно быть, отца моего сразу же известили об этой находке; он вошел и застал меня перед картиной. Достаточно было одного взгляда, чтобы он содрогнулся от ужаса и остановился как вкопанный; что-то в нем глухо пробормотало: «Франческо! Франческо!»

Потом он быстро повернулся к плотникам и властно распорядился: «Выломать картину из стены, свернуть в свиток и отдать Рейнгольду».

Я поняла, что сейчас навсегда скроется от меня этот статный красавец, одетый не по-нашему, словно светлейший князь духов; я бы взмолилась к отцу, чтобы он не велел уничтожить портрета, но неизъяснимое смущение помешало мне. Впрочем, не прошло и нескольких дней, как в душе моей не осталось ни малейшего следа от исчезнувшей картины.

Мне минуло четырнадцать лет, а я все еще была непоседа и шалунья, нисколько не похожая на важного, солидного Гермогена, так что папенька нередко говаривал, что Гермоген с виду — настоящая скромница, а я сущий сорванец. Вскоре, однако, жизнь взяла свое. Гермоген со страстью предался воинственной рыцарственности. Он жил состязаниями, битвами, словом, всей душой жаждал подвига, а поскольку предвиделась война, он умолял отца отпустить его в армию. На меня же, напротив, напало нечто неизъяснимое; я не знала, куда девать себя, и ходила сама не своя. Пульсация жизни во мне была настолько затруднена странной дурнотой, происходящей из глубины моей души. Казалось, я вот-вот упаду в обморок, а тут еще проносятся чудные образы и грезы, и вот-вот я узрю небо, полное блаженства и отрады, только глаз не могу открыть, как заспанное дитя. Ни с того ни с сего я была то удручена, хоть ложись и помирай, то сходила с ума от радости. По малейшему поводу я заливалась слезами; непонятное волнение нередко причиняло мне настоящую боль, доводило до конвульсий. От-

ца встревожило мое состояние, он приписал его нервической экзальтации и пригласил врача, чье искусство не оказало ощутимого действия. Не помню, как это началось, только неожиданно-негаданно привиделся мне тот неведомый писанный красавец; я-то думала, что забыла его, а он передо мной живехонек, и по глазам видно, что ему жаль меня.

«Ах, значит, я умираю? Почему мне так больно, что и сказать нельзя?» — крикнула я в лицо моей обаятельной грезе, а неизвестный усмехнулся и ответил:

«Ты влюблена в меня, Аврелия; вот отчего ты больна, но я посвящен Богу, посягнешь ли ты на мой обет?»

Я только диву далась, увидев, что неизвестный одет капуцином. Я вся восстала против моего заволаживающего сновидения, силой заставила себя пробудиться. Я победила: уверилась, что тот монах — лишь мнимое игрище моих же собственных душевных сил, и все-таки мое чаянье слишком отчетливо говорило: вот она, тайна любви. Да!.. я любила неизвестного со всей силой пробудившегося чувства, со всей страстью и горячностью, на которую только способно юное сердце. Дурнота, мучившая меня, достигла, наверное, кризиса в минуты мечтательного самоуглубления, когда я, казалось, видела неизвестного; мне потом заметно полегчало, нервическая экзальтация поулеглась, и только маниакальная приверженность навязчивому видению, фантастическая влюбленность в неизменного обитателя моего же внутреннего мира придавали мне отрешенный, отсутствующий вид. Ничто до меня не доходило; в обществе я никак себя не проявляла и, занятая лишь моим идеалом, не обращала внимания на разговоры окружающих и нередко попадала пальцем в небо, когда меня о чем-нибудь спрашивали; мудрено ли, что я прослыла простушкой. В комнате брата увидела я на столе незнакомую книгу; я раскрыла ее, то был переведенный с английского роман «Монах»³⁰! Ледяным ужасом потрясла меня мысль о том, что мой тайный возлюбленный — тоже монах. До сих пор мне не приходило в голову, что любовь к служителю Бога греховна; вдруг мне вспали на ум слова моего видения: «Я посвящен Богу, посягнешь ли ты на мой обет?» — и только тогда они поразили меня в самое сердце, обременив мою душу. Что-то подсказывало, будто книга меня вразумит. Я взяла книгу с собой, начала читать и увлеклась причудливым повествованием, но когда произошло первое убийство, когда гнусный монах начал еще пуще бесчинствовать и вступил наконец в союз с нечистым, тогда мне сделалось боязно донельзя и я вспомнила те слова Гермогена: «Матушка говорит с дьяволом».

Тогда я предположила, что мой неизвестный — тоже подданный дьявола, вот он меня и совращает. И все-таки я не могла забыть любви к монаху, вселившемуся в меня. Теперь я знала, что бывает богопротивная любовь; я брезговала страстью, таившейся у меня в груди, и от этого разлада происходила моя особенная болезненная чувствительность. Частенько я вся трепетала, когда мужчина приближался ко мне; мне все думалось, это тот монах,

*сейчас он схватит меня, утащит и я пропала. Рейнгольд ездил по делам и, вернувшись много рассказывал о капуцине Медардусе, знаменитом проповеднике, он, мол, сам заслушался его в ***.*

Мне представился монах в романе, и почудилось будто этим-то Медардусом я и одержима, люблю и боюсь его. Эта мысль потрясла меня, сама не знаю почему, и мое состояние в самом деле ухудшилось, меня охватило смятение, едва ли выносимое. Я плыла по морю чаяний и видений. Но напрасно пыталась я освободить мою душу от наваждения; беззащитная девочка не могла противостоять греховной любви к служителю Божьему. Однажды моего отца посетил по своему обыкновению священник. Он не поскупился на поучения о том, как изощрен дьявол в своих ковах, и некая искра запала в меня, когда священник описывал безнадежное уныние юной души, куда дьявол закрадывается почти беспрятственно. Отец мой кое-что вставил, и я приняла его слова на свой счет. А священник сказал, наконец, что следует неколебимо верить и полагаться не столько на своих ближних, сколько на Церковь и ее служителей; тогда спасешься.

Этот разговор запомнился мне и побудил обратиться за помощью к Церкви, облечить мою грудь покаянным признанием на святой исповеди. Мы как раз находились тогда в резиденции, и ранним утром на другой день я собралась в монастырскую церковь, благо она была рядом с нашим домом. Как я мучилась ночью! Гнусные, кощунственные видения, неведомые мне до толе, морочили меня, и среди них монах; он протянул мне руку, словно хотел спасти, а сам крикнул: «Только признайся мне в любви, и ты вне опасности!»

Тут я крикнула нечаянно: «Да, Медардус, я люблю тебя!» — и сгнули адские духи! Наконец я поднялась, оделась и отправилась в монастырскую церковь.

Утренний свет пробивался радужными лучами сквозь расписные окна, послушник подметал паперть. Недалеко от боковой двери, где я вошла, был алтарь, посвященный святой Розалии; перед ним я помолилась наскоро и шагнула в исповедальню, где увидела монаха. Праведное Небо! — то был Медардус! Сомнений не было, во мне говорила высшая сила. Любовь и безумный страх владели мною, но я чувствовала и спасительную стойкую отвагу. Я исповедалась ему в моей греховной любви к служителю Божьему и не остановилась на этом! Боже вечный!.. В то мгновение мне вспомнилось, будто я уже посылала проклятия священным узам, отнимающим у меня моего возлюбленного, и в этом исповедалась я. «Кого же, кого же я люблю так, что не могу высказать, если не тебя, Медардус!»

То были последние мои слова, я больше не могла говорить, но небесным елеем проистекли целебные церковные увещания из уст монаха, как будто он вовсе даже не Медардус. Вскоре потом я поникла на руки к почтенному престарелому паломнику, и он медленно повлек меня из нефа в неф, пока перед нами не оказался главный выход. Он изречал святые, небесные глаголы, а я почила, как маленькая, под сладостные, нежные звуки колыбельной. Я впала в бес-

памятство, а пришла в себя, совсем одетая, на софе в моей комнате. «Слава Господу и всем святым, кризис миновал, она в сознании», — услышала я голос.

Врач говорил эти слова моему отцу. А мне сказали, что утром нашли меня в столбняке, похожем на смерть, и заподозрили нервный удар. Представь себе, милая моя, праведная матушка, исповедь моя у монаха Медардуса лишь привиделась мне с такой живостью в горячечном бреду, но святая Розалия (я часто обращалась к ней и во сне взывала к ее иконе) явила мне все это таким образом, чтобы я спаслась из тенет, уготованных мне лукавым супостатом. С той поры душа моя избавилась от безумной любви к наваждению в монашеском одеянии. Наступило полное исцеление, жизнь открывалась мне со своими невинными радостями. Но, Боже праведный, опять этот ненавистный монах едва не убил меня своим устрашающим свирепством. У нас в замке объявился монах, и я мгновенно узнала в нем того самого Медардуса, вернее, мое наваждение, которому я исповедовалась в бреду.

«Вот он, дьявол, с которым говорила матушка, берегись, берегись! — Он пришел за тобой!» — кричал мне в душу несчастный Гермоген. Ах, мне было страшно и без его предостережений! С того самого момента, когда монах устремил на меня взгляд, пышущий непристойной похотью, и в притворном восхищении призвал святую Розалию, он пугал и страшил меня. Тебе известны, добрая, милая матушка, ужасы, следовавшие за этим. Ах, но не должна ли я тебе поведать еще кое-что: от монаха исходила для меня угроза тем большая, что в глубине моей души дрогнуло чувство, подобное первому предвкушению греха, когда я пыталась противостоять демонскому стремлению. Бывали мгновения, когда я, ослепленная, верила ханжеской риторике монаха и мне в ней мерещилась искра Божия, возжигающая во мне чистейшую непорочную любовь. Но он ухитрялся гнусным своим коварством даже в молитвенном умилении возбуждать пыл, достойный геенны огненной. Но я недаром пламенно взывала к святым угодникам, и они даровали мне ангела-хранителя, моего брата.

Подумай, милая матушка, каков был мой ужас, когда здесь, не успев я появиться при дворе, встретился мне человек, разодетый на светский манер, но я с первого же взгляда приняла его за монаха Медардуса. Я так и обмерла, едва его увидела. Очнувшись на руках у княгини, я закричала: «Это он, это он, убийца моего брата!» — «Да, это он, — сказала княгиня, — переодетый монах Медардус, ускользнувший из монастыря. Уже одно сходство с отцом его Франческо...» Защити меня, Всевышний, ледяной озноб сотрясает меня всю, когда я пишу это имя. У моей матери был портрет Франческо... Лживое подобие монаха, мучившее меня, — истый Франческо! Медардус, в нем узнала я то же подобие, когда каялась ему в дивном бреду. Медардус — сын Франческо, твой Франц, которого ты, милая матушка, воспитывала в страхе Божием, а он впал в грех и святотатство. Какие узы связывали мою родную ма-

тушку с тем Франческо, если она тайно хранила его портрет и при взгляде на него как будто упивалась памятью о прошлом блаженстве! Что навело Гермогена на мысль о том, что этот портрет — дьявол, и не отсюда ли пошло мое странное наваждение! Нет, я не могу продолжать это письмо; я как будто охвачена мраком ночи, и никакая надежда не светит мне дружелюбной звездой и не указывает мне верного пути».

(Несколько дней спустя)

«Нет! Никакое сомнение не омрачит ненастьем солнечных дней, наступивших для меня. Насколько мне известно, преподобный отец Кирилл подробно написал тебе, моя дорогая матушка, как процесс, возбужденный против Леонарда, едва не кончился худо, а ведь это я опрометчиво предала его в злые руки правосудия. Настоящий Медардус уличен; его сумасшествие, по всей вероятности, симуляция, да и сумасшествие уже как рукой сняло; он признается в своих пакостях; ему уготовано справедливое возмездие... но зачем продолжать; позорная судьба преступника, в прошлом дорогого тебе отрока, боюсь, и так тебя ранит в самое сердце. При дворе пресловутый процесс был единственной темой разговоров. В Леонарде видели закоренелого, прожженного преступника; вот, мол, почему он запирается. Силы небесные! Эти толки были для меня хуже острого ножа, ибо странным образом некий голос уверял меня: «Он же невиновен; это же ясно как день».

Я испытывала глубокое сострадание к нему; я не могла не признаться себе самой, что его наружность, стоило мне вспомнить ее, волнует меня, и не приходится обманываться на этот счет. Да! — и тогда уже я любила его невыразимо, хотя для всего света он был гнусным преступником. Его и меня должно было спасти чудо, ибо и я умерла бы, если бы Леонард пал от руки палача. Он не виновен, он меня любит, он скоро будет мой и только мой. Так дивно, дивно сбывается в трепетной блаженной жизни смутное чаянье моих младенческих лет; тщетно вражеская сила пыталась лукаво отравить его. Дай же мне, дай моему возлюбленному свое благословение, ты, праведная матушка! О, если бы твоя счастливая дочь у твоего сердца могла бы выплакать свое небесное упоение! Леонард с виду — настоящий двойник Франческо, он только как будто более рослый, к тому же некая характерная осанка, свойственная его нации (ты знаешь, он поляк), весьма определенно отличает его от Франческо и монаха Медардуса. Какая я была дуручка, когда спутала блестящего, утонченного, изящного Леонарда с беглым монахом! Но как трудно забыть ужасные сцены в нашем замке; порою, когда Леонард внезапно входит ко мне, смотрит своими сияющими очами, ах! меня пронизывает взор Медардуса, я нечаянно пугаюсь и трепещу, как бы я, несмышлениш, не сделала любимому больно. Уповаю на то, что благословение священника прогонит мрачные призраки, все еще грозowymi тучами враждебно нависающие порой над моей

жизнью. Не забудь меня и моего возлюбленного в твоей праведной молитве, дорогая матушка! Князь торопит наше венчание; я извещу тебя, в какой день ты должна помыслить о своей дочери, когда в ее жизни наступит час, увенчивающий всю ее земную судьбу...» и т. д.

Снова и снова перечитывал я строки Аврелии, чувствуя, что дух небесный, коим они светятся, осиял все во мне и своим пречистым лучом погасил святотатственный пламень. Теперь я благоговел при виде Аврелии и не позволял себе столь неистовых ласк; это не ускользнуло от ее внимания, и я покаялся в том, что присвоил ее письмо, адресованное настоятельнице; я сослался на неизъяснимое движение души, коему я не мог противостоять, как будто мной владела высшая сила; я благодарил эту высшую силу за то, что видение в исповедальне мне теперь ведомо и, значит, неразрывно сочетало нас вечное предназначение.

— Да, праведная дочь Небес, — молвил я, — и у меня было чудесное сновидение; мне снилось, что ты признаешься мне в любви, а я несчастный монах, растоптанный судьбою, и грудь мою разрывают адские муки. Тебя, тебя любил я несказанно горячо, но любовь моя была святотатством, святотатством вдвойне, ибо я монах, а ты святая Розалия.

В ужасе всколыхнулась Аврелия.

— Господи, — сказала она, — Господи, всю нашу жизнь пронизывает неимоверная тайна; ах, Леонард, лучше не касаться пелены, ее облекающей; кто знает, какие отталкивающие ужасы могут открыться нам! Не лучше ли положиться на Бога, и пусть верная любовь соединит нас; тогда отстанет от нас темная сила; это ее духи неприязненно осаждают нас. Ты прочитал мое письмо, и слава Богу; мне бы самой тебе все поведать; разве допустимы между нами тайны! И мне ведь сдается, что ты проглатываешь некое признание; оно просится на уста к тебе, а ты скрываешь от меня то гибельное, что когда-то вошло и в твою жизнь. Ты напрасно колеблешься! Дай волю откровенности, Леонард, и твоя грудь вздохнет свободно, а наша любовь засияет еще светлее.

Эти слова Аврелии больно заделали меня, так как дух обмана таился во мне, и я только что святотатственно ввел в заблуждение эту маленькую праведницу; во мне нарастало извращенное желание все открыть Аврелии и этим упрочить ее любовь.

— Аврелия, ты моя святая, спасительница моя...

Тут вошла княгиня, и один вид ее вернул меня в мой ад, где царило глумление и гибельные ковы. Она не могла теперь спровадить меня, как бывало, и я остался, дерзко и вызывающе подчеркивая свое жениховство. Лишь с глазу на глаз с Аврелией был я свободен от злых помыслов, лишь тогда я поистине

чувствовал себя на седьмом небе. Вот почему с таким нетерпением ждал я свадьбы.

Однажды ночью я, как живую, увидел мою мать; я хотел взять ее за руку, но оказалось, что это марево.

— Не глупо ли так морочить меня? — вскричал я с сердцем; тогда светлые слезы потекли у нее из очей, а очи обозначались серебристыми, светло мерцающими звездами, роняя вспыхивающие брызги; эти брызги заискрились вокруг моей головы и образовали бы нимб, но чья-то черная, устрашающая длань все время разрушала его.

— Я родила тебя чистым от всякого нечестия, — мягко сказала мать, — или сила твоя совсем иссякла, и ты не способен отринуть сатанинскую прелесть? Лишь теперь я вижу, каков ты внутри себя, ибо брэнное совлечено с меня! Встань, Францискус, я украшу тебя цветами и лентами, ибо настает день святого Бернарда, а разве ты неверующий, ты, мальчик мой?

И я запел бы хвалу святому, но поднялось настоящее неистовство; вместо пения послышалось дикое завывание, и черные покровы ниспали, шурша, между мною и моей неосязаемой матерью.

Через несколько дней после этого видения я встретил на улице следователя. Он дружески шагнул ко мне.

— Знаете, — начал он, — процесс капуцина Медардуса опять под вопросом. Уже совсем было вынесли ему смертный приговор, а тут опять рецидив сумасшествия. Уголовный суд получил известие о смерти его матери, я довел это до его сведения, а он захохотал дико и завопил голосом, от которого струхнул бы и храбрец: «Ха-ха-ха! Принцесса фон... (у нашего князя брат был убит... а он возьми да и назови его вдову) давно покойница!» Врачам приказано опять обследовать его, впрочем, судя по всему, он симулирует.

Я попросил сказать мне, в какой день и в какой час моя мать скончалась! Она привиделась мне в тот самый момент, когда умерла, и в мысль мою и в чувства глубоко внедрилось впечатление, будто мать моя, слишком забытая мною, теперь имеет доступ к чистой небесной душе, которая должна была стать моею. Непривычное умиление и кротость пролили на любовь Аврелии новый свет; подобало ли мне покинуть ее, мою святую покровительницу? Она больше не требовала от меня признаний, и я вновь увидел в моей мрачной тайне сверхъестественное роковое вмешательство высших сил.

Настал день свадьбы, назначенный князем. Аврелия пожелала венчаться на рассвете у алтаря святой Розалии в ближней монастырской церкви. Я не сомкнул ночью глаз и пламенно молился, как некогда в отдаленном прошлом. Ах, слепец! Я даже не почувствовал, что молитва во исполнение греха — адское святотатство. Я вошел к Аврелии, и она встретила меня, вся в белом, украшенная благоуханными розами, прекрасная как ангел. Ее

наряд, ее головка странным образом напоминали что-то давнее; смутное воспоминание возникло во мне, но я содрогнулся, охваченный глубоким трепетом, когда мне отчетливо представилась алтарная икона, перед которой предполагалось венчание. Я узрел снова мученичество святой Розалии, и она была одета в точности как Аврелия. Такое совпадение поразило меня, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы моя тревога не бросилась в глаза моей невесте. У нее в очах лучилось небо любви и блаженства; она подала мне руку, я привлек ее к себе, и с поцелуем чистейшего восторга вновь пронизало меня отчетливое чувство, что только Аврелия может спасти мою душу. Княжеский вестовой доложил, что государь и государыня изволят ждать нас. Аврелия поспешно натянула перчатки, я взял ее за руку, тут девушка Аврелии озаботилась ее прической и кинулась искать шпильки. Мы мешкали у двери; промедление заметно беспокоило Аврелию. В этот миг на улице послышался глухой шум; глухо перекликались безликие голоса, потом заскрежетал, заскрипел тяжелый, медленно проезжающий экипаж. Я шагнул к окну!

Прямо перед дворцом остановилась подвода; прислужник палача сидел за кучера, позади него монах, а с монахом капуцин; оба громко, истово молились. Приговоренный был обезображен бледностью смертельного страха и растрепанной бородой, но внешность моего омерзительного двойника была мне слишком памятна. Как только подвода снова тронулась (ее задержала напиральная толпа), он бросил на меня невыносимый взгляд сверкающих глаз, расхохотался и взвыл:

— Жених, жених! давай... давай... на крышу... на крышу... там мы поборемся, и кто спихнет супротивника, тот король и может пить кровь!

— Ужасный человек! — закричал я. — Что ты хочешь от меня?

Аврелия обхватила меня обеими руками, она силой влекла меня от окна, крича:

— Ради Господа и Пресвятой Девы... Это Медардус... убийца моего брата... его везут на эшафот... Леонард... Леонард...

Тут во мне очнулись и взъярились духи ада со всей силой, которую дает им гнусное святотатство. Я схватил Аврелию с таким злобным исступлением, что она содрогнулась:

— Ха-ха-ха! Дурочка, полоумная... я... твой любезный, твой суженый, я Медардус... убийца твоего брата... хочешь визгом предать на смерть своего жениха? Хо-хо-хо!.. Я король... я пью твою кровь!

Я выхватил нож, — тот самый! — я пырнул Аврелию, она упала на пол, кровь потоком обагрила мне руку.

Я устремился вниз по лестнице, протолкался в толпе к подводе, вцепился в монаха, стащил его на землю; тут меня схватили, в ярости пустил я в ход нож, вырвался, бросился наутек; на

меня напирали, я почувствовал колющую боль в боку, но с ножом в правой руке, не скупясь на крепкие удары левым кулаком, я проложил себе путь до ограды парка и невероятным прыжком преодолел ее.

— Убийство! Убийство! Держите... держите убийцу! — надрывались голоса позади меня; я услышал скрежещущий стук; это пытались высадить запертые ворота парка; никто не остановил меня. Я добежал до широкого рва, отделявшего парк от леса; еще прыжок, и вот я в лесу; я бежал через лес куда глаза глядят, пока, обессиленный, не рухнул под деревом. Была глухая ночь, когда я проснулся, вернее, пришел в себя, как после глубокого обморока. В моей душе коренилась одна мысль: бежать, бежать, как бежит затравленный зверь! Я встал, но едва удалился на несколько шагов, как в кустах послышался шорох, и на спину мне прыгнул человек, стиснув мне шею руками. Напрасно я силился избавиться от этой ноши, падал навзничь, приваливаясь к деревьям; он крепко держал меня, то хихикал, то издевательски хохотал. Месяц проглянул из-за черных елей, и мертвенно-бледное, отталкивающее лицо монаха, Псевдомедардуса, ослабилось, гнусно уставившись на меня, как тогда с подвода:

— Хи... хи... хи... Братец мой, я всегда, всегда с тобой... Не уйдешь... не уйдешь... ты бегун, а я нет... понеси... понеси... Я же с ви... се... ли... цы... с ко... ле... са... с ко... ле... са... хи... хи...

Так хихикало и завывало страшилище, а мне придавал силы дикий ужас, и я делал головокружительные прыжки, словно тигр, которого душит гигантская змея. Я норовил треснутья об утес или о ствол дерева, чтобы изувечить его, если не убить; авось он тогда отпустит меня! Но он только надрывался со смеху; лишь самому себе причинял я страшную боль. Я пытался разжать его руки, стиснутые у меня под подбородком, но этот упырь чуть было не раздавил мою гортань. Бешеный рывок, и, наконец, он сорвался с моей спины, но через несколько шагов он снова сидел у меня на закорках, хихикая, давясь, изрыгая свой ужасный бред.

Новый взрыв дикой ярости — новое освобождение — и снова я взнудан этим неотвязным оборотнем. Не представляю себе, сколько времени мыкался я по темным лесам, гонимый моим двойником; думается, не месяцы ли провел я так, без еды и питья. Один просвет живо вспоминается мне, после которого я вконец обеспамятел. Только что удалось мне свергнуть человекоподобное иго, солнечный луч и целительно-сладостный звон пронизали лес. Я узнал монастырский колокол, звонили к заутрене.

«Ты убийца Аврелии».

Ледяные клещи смерти сдавили меня с этой мыслью, и я поник без чувств.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Искушение

Отрадное тепло ублаготворило мое нутро. Потом я почувствовал во всех своих жилах неизведанное кишение неких кусачих мурашек; чувство перешло в мысли, но мое «я» все еще было расщеплено по крайней мере на сотню своих подобий. Каждое из них прозябало, по-своему сознавая жизнь, и напрасно голова пыталась восстановить свою власть над остальными членами; как взбунтовавшиеся подданные, они отказывались вернуться под ее державу. Вот светящимися точками завертелись помыслы каждого из этих преломлений, так что начал вырисовываться круг, сужавшийся по мере того, как скорость нарастала, пока все не остановилось, образовав пламенеющую сферу. Оттуда хлынули огненно-багряные лучи, движущиеся в пламенной игре красок.

«Это члены мои, они ожили, я прихожу в себя!» — явственно подумалось мне, но в то же мгновение весь я дернулся от нестерпимой боли: громкий колокольный звон ударил мне в уши.

— Бежать! Прочь отсюда, прочь! — отчаянно закричал я и уже рванул было, но силы изменили мне. Только теперь я с превеликим трудом продрал глаза. Колокольный звон не стихал, я воображал, что я все еще в лесу, и немало удивился, разглядев кое-какую мебель; оказывается, над головой у меня был кров. В полном уставном облачении капуцина я лежал, распростертый на добротном матрасе, в простой, но достаточно поместительной комнате. Два плетеных стула, небольшой стол и убогая постель — такова была домашняя утварь. Не приходилось сомневаться в том, что я долго пролежал без сознания, если я даже не заметил, как меня перенесли в монастырь, где пользуют болящих. Очевидно, я был в таких жалких лохмотьях, что меня покамест обрядили в рясу. Я подумал, что я счастливо избежал опасности. Эта мысль совершенно успокоила меня, и я решил выждать: дальнейшее должно было вскоре определиться, так как больных не оставляют без присмотра. Я едва шевелился, хотя не чувствовал ни малейшей боли. Всего несколько минут я пролежал так, полностью придя в сознание, когда услышал, что по длинному коридору к моей комнате приближаются шаги. Дверь отворилась, и я увидел двоих; один из них был в партикулярном платье, другой носил облачение милосердных братьев.

Они молча приблизились к моей постели; мирянин испытующе глянул мне в глаза и был заметно удивлен.

— Я пришел в себя, сударь, — начал я слабым голосом, — благодаренье Небу, вернувшему меня к жизни, но где я нахожусь? Как я здесь очутился?

Не отвечая мне, мирянин обратился к монаху и заговорил по-итальянски:

— В самом деле, удивительно; у него совсем другой взгляд, и говорит он отчетливо, хотя все еще слаб... Не иначе, то был кризис...

— Сдается мне, — ответил монах, — жизнь его вне опасности.

— Не совсем, — ответил мирянин, — не совсем, каково-то еще ему будет в ближайшие дни! Не знакомы ли вы с немецким хоть настолько, чтобы с ним заговорить?

— Увы, нет, — ответил монах.

— Я понимаю и говорю по-итальянски, — вмешался я, — скажите мне, где я и как я здесь очутился.

Мирянин, как мог я предположить, врач, казалось, был приятно удивлен.

— Ах, — воскликнул он, — ах, вот и отлично. Ваше местопребывание, сударь, не из худших; здесь о вас пекутся изо всех сил. Вас доставили сюда три месяца назад, и ваша жизнь внушала серьезные опасения. Вы совсем расхворались. Однако мы приняли в вас участие, лечили вас, и теперь, судя по всему, вам полегчало. Если наши труды увенчаются полным успехом, ничто не помешает вашему дальнейшему путешествию. Как я слышал, вы держите путь в Рим?

— А что, — спросил я, — на мне так и было это облачение?

— Как же иначе, — ответил врач, — но довольно вопросов; ни о чем не беспокойтесь, все ваши недоумения со временем рассеются; ваше драгоценное здоровье — вот что сейчас главное.

Он пощупал мой пульс, а монах подал мне чашку, которую только что принес.

— Попробуйте, — сказал врач, — и скажите мне, что, по-вашему, вы пьете.

— Это не что иное, — ответил я, выпив чашку залпом, — как весьма крепкий мясной бульон.

Врач удовлетворенно усмехнулся и заверил монаха: «Лучше некуда!»

Оба оставили меня. Я убедился в правильности моих предположений. Итак, я лежал в странноприимном лазарете. Меня пользовали усиленным питанием, крепительными снадобьями и поставили на ноги через три дня. Монах открыл окно, и в комнату проник роскошный теплый воздух, я еще никогда не вдыхал подобного; сад подступал вплотную к зданию; великолепные невиданные деревья зеленели и цвели; виноградные лозы в изобилии оплетали стену; в особенности, темно-лазурное благоуханное небо показалось мне приметой отдаленного волшебного края.

— Где я все-таки? — вскричал я, зачарованный, — неужели святые ниспослали мне обитание во Царствии Небесном?

Монах польщенно улынулся и сказал мне:

— Вы в Италии, брат мой! В Италии!

Я был удивлен донельзя и умолял монаха подробно поведать мне обстоятельства, приведшие меня в сию обитель, монах же

сослался на доктора. Тот сообщил мне наконец, что месяца три назад меня водворил сюда один оригинал, что это лазарет на попечении милосердных братьев.

Силы возвращались ко мне, и от меня не ускользнуло, что врач и монах поощряют мою словоохотливость, прямо-таки стараясь подвигнуть меня на рассказы. Я обладал достаточными познаниями в разных областях, чтобы занять моих собеседников, и врач побуждал меня даже к писательству, прочитывая мои опусы в моем же присутствии и находя в подобном чтении немалое удовольствие. Впрочем, меня несколько настораживало то, что он при этом не хвалит мои писания, а только повторяет:

— В самом деле... все удастся... я прав... здорово... здорово...

Теперь в определенные часы меня отпускали на прогулку в сад, где время от времени я замечал жутко изможденных, мертвенно-бледных, скелетообразных людей; милосердные братья служили им поводьями и проводниками. Однажды я собирался уже вернуться в свою комнату, когда мне встретился долговязый тощий человек в необычной землисто-желтой хламиде; два монаха вели его под руки; он не мог шагнуть без того, чтобы не подпрыгнуть потешнейшим образом, при этом он еще и вызывающе посвистывал. Я удивленно остановился, однако монах, мой провожатый, повлек меня прочь, говоря при этом:

— Не задерживайтесь, не задерживайтесь, любезный брат Медардус, вам это противопоказано.

— Ради Бога, — вскричал я, — откуда вы знаете мое имя?

Я не мог скрыть волнения при этих словах, что весьма озаботило моего проводника.

— Полноте, — ответил он, — разве ваше имя — такая уж тайна? Человек, препроводивший вас сюда, назвал его в точности, и под этим именем вы зарегистрированы у нас: «Медардус, брат-капуцин из монастыря в Б.».

Ледяной холод пробежал по моим членам. Но хотя в странно-приимный лазарет доставил меня некто неведомый, он вряд ли намеревался мне повредить, ибо отнюдь не злоупотребил моей ужасной тайной, а, напротив, проявил дружеское участие, да и, в конце концов, меня не арестовали.

Я высовывался из комнаты в окно и жадно впивал уладительный, теплый воздух, струившийся по моим жилам и костям и возжигавший во мне новую жизнь, когда среди главной садовой аллеи я заметил маленькую, шуплую фигурку в поношенном сюртучке не с дедовского ли плеча и в шляпенке, похожей на дурацкий колпак; человечек скорее семенил, приплясывая, чем шел. Он приветствовал меня взмахами шляпы и воздушными поцелуями. Человечек напоминал мне кого-то, однако черты его лица ускользали от меня, и деревья заслонили его прежде, чем я окончательно пришел к выводу, кто же он такой. Однако вскоре послышался стук в мою дверь; я отворил ее, и вошла фигурка, только что виденная мною в саду.

— Шёнфельд! — воскликнул я, полный удивления. — Во имя Неба, как вы здесь оказались?

Передо мною стоял сумасброд-цирюльник из торгового города, мой тогдашний спаситель.

— Ах... ах... ах... — вздохнул он, потешно сморщившись, как бы готовый заплакать. — Как же еще я мог оказаться здесь, если не по прихоти злого рока; он гонитель всех истинных гениев; так вот, я заброшен сюда, вернее, извергнут... Я спасался бегством как убийца...

— Это вы убийца? — взволнованно перебил я его.

— Да, убийца, — продолжал он. — Не сдержав гнева, истребил я левую бакенбарду младшего коммерции советника в городе и опасно поранил правую...

— Умоляю вас, — прервал я его снова, — хватит паясничать; образумьтесь наконец и говорите связно, а не то прощайте!

— Ах, любезный брат Медардус, — начал он вдруг важно, — ты брезгуешь моим обществом, когда у тебя отлегло, однако ты не привередничал, когда лежал пластом и поневоле делил со мной комнату; я даже спал на этой постели.

— Что за новости? — воскликнул я в полной растерянности. — Откуда вы узнали имя «Медардус»?

— Благоволите взглянуть, — усмехнулся он, — на краешек вашей рясы, там, справа...

Я послушался; изумление и страх тотчас же сковали меня, ибо я убедился: имя «Медардус» действительно было там вышито, а более пристальное обследование неопровержимо подтверждало, что я ношу именно ту рясу, которую спрятал в дупле, спасаясь бегством из замка барона фон Ф. Шёнфельд угадал мое внутреннее смятение и ухмыльнулся со значением; он поднес указательный палец к носу, встал на цыпочки, заглянул мне в глаза; я хранил молчание, тогда он начал тихо и осмотрительно:

— Примечаю, ваше преподобие, вы восхищаетесь красотой вашего платья; оно сшито как раз по мерке, вы в нем просто загляденье; что в сравнении с ним ваша прежняя орехово-коричневая обновка с аляповатыми матерчатыми пуговицами, хотя ее и выбрал для вас мой положительный, обязательный Дамон. А все я... я... я, многострадальный опальный Белькампо, прикрыл сим платьем вашу наготу. Брат Медардус! Не лучшим образом выглядели вы, ибо сюртуком, спенсером, английским фракком служила вам всего-навсего собственная кожа, а уж приличная куафюра была вообще немислима, ибо вы посягнули на мое искусство, обслуживали вашего Каракаллу гребнем о десяти зубцах, слагавшимся из ваших же дланей.

— Довольно дурака валять, — не выдержал я, — уймитесь, Шёнфельд...

— Пьетро Белькампо — вот мое имя, — окрысился он, — да, Пьетро Белькампо здесь в Италии, и прими к сведению, Медардус, допустим, я сама глупость, но моя глупость призвана всюду

сопутствовать твоему уму, иначе твой ум хромает; хочешь — верь, хочешь — нет, но, кроме глупости, тебе больше не на что опереться; ибо разум у тебя плохонький, совсем негодящий; он же на ногах не держится, увалень-карапуз, а глупость — нянька при нем; она ему пособничает, выводит на путь истинный, а тот ведет восвояси, то есть сюда, в сумасшедший дом, где нам с тобой самое место, братец Медардус.

Я содрогнулся; мне вспомнились образины, виденные давеча, особенно тот, в землисто-желтой хламиде, то и дело подпрыгивающий; сомневаться не приходилось: Шёнфельд в своем безумии сказал мне правду.

— Да, братец мой Медардус, — продолжал Шёнфельд вещать, безудержно жестикулируя, — да, милый мой братец Медардус. Глупость выступает здесь на земле, как истинная монархиня духовности, а разум — лишь ее незадачливый ставленник; ему совершенно все равно, что происходит за рубежами державы; лишь от нечего делать развлекается он плац-парадами, но его солдаты толком не умеют стрелять, а враг извне насаждает. Однако глупость — истинная государыня, она вступает за свой народ, тут и трубы и литавры: ура! ура! — в тылах ликование, да, ликование! Подданные вырываются из своих застенков, где разум держал их взаперти, отказываются стоять, сидеть, лежать по ранжиру, как велит педант-наставник; он бы приказал рассчитаться по порядку номеров, но ему ничего не остается, кроме как изречь: «Посмотрите-ка, что творится с моими лучшими учениками; глупость вмешалась, и все смешалось, и общество помешалось». Игра слов, братец Медардус, игра слов — раскаленные щипцы; глупость пользуется ими для завивки мыслей.

— Нельзя ли, — еще раз прервал я его бредни, — нельзя ли прекратить эту бессмыслицу; может быть, вы соберетесь с духом и поведаете мне, почему вы здесь и на что вы намекаете, толкуя о моем платье.

Говоря так, я обнял его за плечи обеими руками и принудил сесть на стул. Он как будто опаматовался, опустил глаза и перевел дух.

— Снова, — начал он тихим угасшим голосом, — снова, вторично спас я вам жизнь; не с моей ли помощью вы улизнули из торгового города, и кто, как не я, водворил вас сюда.

— Но, ради Бога, ради всех святых, как вы наткнулись на меня? — вскричал я, отпуская его, и в то же мгновение он сорвался с места, сверкнул глазами и завопил:

— Ах, брат Медардус, да если бы не я, тщедушный и убогий, кто приволок бы тебя сюда на плечах? Костей бы тебе не собрать, колесованному!

Я задрожал; уничтоженный, я сам упал на стул; тут отворилась дверь, и в комнату поспешно вошел брат, опекавший меня.

— Почему вы здесь? Кто разрешил вам входить в эту комна-

ту? — напустился он на Белькампо, а у того слезы хлынули из глаз, и он взмолился:

— Ах, преподобный отец мой, я просто не мог удержаться! Ну, как я мог не поговорить с моим другом; знали бы вы, что угрожало его жизни, а я пришел к нему на помощь!

Я несколько оправился.

— Скажите мне, возлюбленный брат мой, — молвил я монаху, — правда ли, что я здесь благодаря этому человеку?

Монах не ответил.

— Я теперь знаю, где я нахожусь, — продолжал я, — могу себе представить, как я был плох, наверное, хуже некуда; но вы видите, я выздоровел, и мне, надеюсь, позволительно узнать то, чего до сих пор не говорили мне, щадя меня.

— Но это правда, — ответил монах, — этот человек препроводил вас к нам месяца три-четыре тому назад. По его словам, он нашел вас в лесу, где вы лежали замертво, милях в четырех отсюда, там, где проходит граница с ...ской землей; он узнал в вас капуцина Медардуса из монастыря в Б.; оный Медардус направлялся в Рим, и путь его пролегал через город, где дотоле жил этот человек. Собственно говоря, вы были совершенно апатичны. Вы шли, когда вас вели; вы останавливались, когда вас оставляли; вы садились или ложились, повинаясь внешнему указанию. Вас буквально приходилось кормить и поить. С ваших уст срывались лишь глухие, невнятные звуки, ваш взгляд, казалось, утратил всякую восприимчивость. Белькампо не отходил от вас, он ходил за вами вернее всякой сиделки. Через четыре недели вы начали страшно буйствовать; мы были вынуждены водворить вас в специальный покой. Вы мало чем отличались от дикого зверя; не буду распространяться по этому поводу, боюсь, что напоминание об этом причинит вам боль. Прошло еще четыре недели, и опять наступила апатия, переходившая в полный ступор, но вот вы очнулись, и вы здоровы.

Пока монах все это мне рассказывал, Шёнфельд сидел, как бы погруженный в глубокое раздумие, опершись головой на руку.

— Да, — начал он, — мне ли не знать, что иногда на меня накатывает, но воздух сумасшедшего дома действует одуряюще на рассудительных, мне же он на пользу. Я проявляю склонность к самоанализу, а это обнадеживающий симптом. Если я вообще существую лишь в моем сознании, то стоит моему сознанию совлечь шутовской камзол, и вот уже я не я, а степенный джентльмен³¹. О Господи! Да разве гениальный куафер сам по себе не присяжный скоморох? Скоморошество — лучшее средство от сумасшествия, и я могу заверить вас, преподобный отец, что даже при наисевернейшем ветре отличаю колокольную от фонарного столба.

— Если это так, — сказал я, — докажите это, поведайте спокойно и связно, как вы нашли меня и как доставили сюда.

— Я так и сделаю, — ответил Шёнфельд, — хотя преподоб-

ный отец принял весьма настороженный вид; однако позволь, брат Медардус, обращаться к тебе по-дружески на «ты», как-никак ты обязан мне жизнью.

Итак, ты сбежал ночью, а тот заезжий живописец тоже как в воду канул вместе со своими картинами, и никто не мог сказать, куда он делся. Сперва все были заинтригованы этим исчезновением, но подоспели другие новости, и стало не до того. Однако и до нас дошел слух об убийствах в замке барона Ф., да и ...ские суды объявили о розыске монаха Медардуса из монастыря капуцинов в Б., и публика вспомнила, что живописец рассказывал в ресторации всю историю убийства и признал в тебе брата Медардуса.

Хозяин гостиницы, где ты проживал, подтвердил подозрение в моем соучастии, нет, речь шла при этом не об убийстве, а о твоём бегстве. Однако меня взяли на заметку и были не прочь упрятать меня в тюрьму. Такой аргумент очень упростил мое давнее решение бежать от местного убожества, повергающего меня в прах. Я устремился в Италию, в страну аббатов и куафюр. Направляясь туда, я видел тебя в резиденции князя фон Говорили о твоём предстоящем бракосочетании с Аврелией и о казни монаха Медардуса. Видел я и этого монаха. Ладно! Кто бы он ни был, я не знаю другого Медардуса, кроме тебя. Я старался попасться тебе на глаза, ты не удостоил меня своим вниманием, и я не стал задерживаться в резиденции, пошел дальше своей дорогой.

После долгого путешествия однажды в предрассветных сумерках я намеревался идти через лес, весьма неприветливо черневший передо мной. С первыми солнечными лучами в густом кустарнике послышался шорох, и выскочил человек, давно не стриженный и не бритый, но одетый с иголочки. Глаза у него были дикие, блуждающие, в одно мгновение он скрылся из виду. Я пошел дальше, но как же я ужаснулся, увидев перед собой на земле человека, раздетого догола. Я подумал, что произошло убийство, и убийца — тот, убегающий. Я наклонился над раздетым, узнал тебя и понял, что ты не бездыханен. Прямо подле тебя валялась монашеская ряса, ее ты и сейчас носишь; я кое-как одел тебя и поволок на себе. Наконец глубокий твой обморок прошел, но долго еще держалось оцепенение, о коем тебе только что поведал здесь преподобный отец. Нелегко было волочить тебя дальше, и только вечером я вышел к распивочной, расположенной в лесу. Ты заснул мертвым сном, и я оставил тебя на траве, а сам зашел в поисках еды и питья. В распивочной сидели ...ские драгуны, и хозяйка сказала мне, что они обыскивают лес до самой границы в поисках монаха; необъяснимым образом он убежал как раз в то мгновение, когда его должны были казнить в *** за тяжкие преступления. Я не представлял себе, как принесло тебя из резиденции в лес, но, убежденный в том, что ты и есть беглый Медардус, я с превеликим тщанием

отвращал угрозу, преследующую тебя. Избегая проезжих дорог, я переправил тебя через границу и, наконец, добрался вместе с тобой до этой обители, куда приняли тебя и меня, так как я решительно отказался с тобой расстаться. Здесь тебе ничего не грозило, так как больные не выдают ни в коем случае, в особенности не выдают иноземным властям. Пять твоих чувств приметно изменяли тебе, пока я жил в твоей комнате и приглядывал за тобой. Да и твоя подвижность оставляла желать лучшего; Неверр³² и Вестрис взглянули бы на тебя весьма пренебрежительно, ибо ты, можно сказать, совсем повесил голову, а когда тебе хотели придать вертикальное положение, ты валился, как неуклюжая кегля. Дар слова совсем у тебя подкачал, ибо ты был скуп не только на слова, но и на слоги и в припадке общительности изрекал что-то вроде «ху-ху» или «ме... ме...», в чем твоя мысль и воля не особенно сказывались, и напрашивалось даже предположение, не подгуляли ли они, бродяжничая где попало. А потом вдруг на тебя нашел веселый стих; ты подпрыгивал высоко в воздух, рычал от удовольствия и срывал с себя рясу; твоя природная нагота не терпела, видно, никаких стеснений, а твой аппетит...

— Довольно, Шёнфельд, — прервал я невыносимого гаера, — довольно! Я уже слышан об удручающем состоянии, в котором долго пребывал. Благодарение вечному долготерпению и милости Господа, благодарение заступничеству Пречистой Девы и святых угодников, я спасен.

— Ах, преподобный отец, — продолжал Шёнфельд, — великое ли это благо! Я говорю об особой функции духа, именуемой сознанием, это проклятушая должность гнусного надзирателя, взыскивающего пошлины у городских ворот, акцизного чиновника, какого-нибудь главного налогового инспектора с конторкой в мансарде на самой верхотуре; он там сидит и препятствует внешней торговле, приговаривая: «Стоп... стоп... товар вывозу не подлежит... национальное достояние... национальное достояние...» Драгоценнейшие бриллианты хоронятся в земле, как бросовые семена, и произрастает в лучшем случае свекловица, а дальше практика известная: из тысячи центнеров выжимается четверть унции дрянного сиропа... Стоп... стоп... А ведь экспорт открыл бы нам рынки Града Божьего, где сплошная роскошь и блеск... Бог Всевышний! Господи! Да я мои лучшие, весьма недешевые пудры *a la Marechal, a la Pompadour, a la reine de Golconde*³³ высыпал бы в реку, где поглубже, лишь бы раздобыть путем транзитного торгова хотя бы щепотку тамошней солнечной пыли и ею напудрить парики высокообразованных профессоров и преподавателей, а прежде всего — мой собственный! Да что я говорю! Если бы вас, преподобнейший из преподобных отцов, мой Дамон вырядил не во фрак блошиного цвета, а в летнюю накидку (зажиточнейшие, почтеннейшие обыватели Града Божьего ходят в таких накидках к исповеди), вы бы превзошли са-

мого себя в том, что касается приличия и величия, а то свет считает, что вы просто *glebae adscriptus** и в свойстве с дьяволом.

Шёнфельд не усидел на месте и заметался из угла в угол по комнате, приплясывая, яростно жестикулируя, отчаянно гримасничая. Он, как всегда, прямо-таки пылал, возжигая одно чудачество другим, и я схватил его за руки, сказав: «Ты что, просишься сюда вместо меня? Неужели твоей рассудительности хватает лишь на одну минуту, а потом ты сразу же опять начинаешь кобениться?»

Он таинственно улыбнулся и спросил:

— Так ли уж нелепо все, что я возвещаю, движимый наитием духа?

— В том-то и горе, — ответил я, — что твоим дурачествам частенько присущ глубокий смысл, но ты разбазариваешь его, разукрасив такой пестрой дешевкой, что добротная мысль теряет естественный цвет, и вот она уже смешная и подержанная, как платье в оборочках из пестрого тряпья. Ты, как пьяный, не можешь держать линию; тебя заносит то туда, то сюда, авось кривая вывезет!

— А что такое прямая? — прервал меня Шёнфельд с кисло-сладкой миной. — Что такое прямая, преподобный капуцин? Прямая — кратчайший путь к цели, вот что значит прямога. Знаете ли вы вашу цель, дражайший монах? Не боитесь ли вы, что вам не хватает цепкости, вот вы и торчите в распивочной, подкрепляясь крепкими напитками в поисках прямой, ни дать ни взять кровельщик, страдающий головокружением; перед вами две цели, и вы говорите о прямога? К тому же, мой капуцин, я при моем звании был бы пресен без юмористического соуса, как цветная капуста без испанского перца. Художник прически без юмора — сущее ничтожество, несчастный тупица, у которого в кармане собственное благополучие, а он киснет в унынии, не пользуясь им.

Монах пристально следил и за мной и за Шёнфельдом, гримасничавшим напропалую; мы говорили по-немецки, и он не понимал ни слова; тут он, однако, вмешался:

— Простите, господа, но моя обязанность — приостановить ваш диалог, едва ли способствующий выздоровлению обоих. Вам, брат мой, следует сначала окрепнуть, а потом уже предаваться воспоминаниям из вашей прежней жизни, по всей вероятности, небезболезненным для вас; продолжительные разговоры на такие темы определенно нежелательны и несвоевременны; ваш друг поведает вам все во всех подробностях, когда вы покинете нашу обитель, исцеленный, а он будет вам сопутствовать. При этом вы (он обратился к Шёнфельду) обладаете талантом живо представлять перед слушателем все, о чем вы повествуете. В Германии вас должны считать полоумным, а для нас, как я

* простой смертный, букв.: приписанный к земле (*лат.*).

полагаю, вы прирожденный комедиант. На театральных подмостках вы могли бы сделать карьеру.

Шёнфельд уставился на монаха широко раскрытыми глазами, потом встал на цыпочки, зааплодировал, воздев руки выше головы, и вскричал по-итальянски:

— Глагол духа!.. Глагол судьбы!.. Судьба, ты обратилась ко мне из уст этого преподобного отца!.. Белькампо... Белькампо... Ты не нашел себя, не распознал своего истинного таланта... Свершилось!

Он прыгнул к двери. На другое утро он зашел ко мне, уже снарядившись в дорогу.

— Ты, милый мой брат Медардус, — молвил он, — теперь здоровехонек и вполне обойдешься без меня; я отбываю, вняв моему внутреннему голосу... Прощай... Но позволь напоследок подвергнуть тебя моему искусству, хотя оно и представляется мне лишь пошлым промыслом.

Он достал бритву, ножницы, гребень; не скупясь на гримасы, шутки и прибаутки, он выстриг мне тонзуру и подровнял бороду. Этот человек доказал мне свою верность, но, откровенно говоря, я тяготился его обществом, и расставание с ним скорее радовало, чем печалило меня.

Врач с успехом пользовал меня крепительными снадобьями; я заметно посвежел, а продолжительные прогулки способствовали восстановлению моих сил. Я был убежден, что пешее странствие не повредит мне, и покинул обитель, целительную для душевнобольных, но не для здоровых; последние не могли не чувствовать здесь нечто гнетущее и пугающее. Предполагалось, что я паломник и держу путь в Рим; этот путь меня вполне устраивал, и я зашагал по дороге, которую мне указали. Моя душевная болезнь действительно прошла, но я сам создавал, что меня гнет некое бесчувствие; оно отбрасывало мрачную тень на каждый образ, проклеивающийся в моей душе, так что краски отсутствовали и серое господствовало безраздельно. Отчетливое воспоминание о прошлом не давало себя знать, я жил мгновением. Я заранее облюбовывал вдали место, где бы попросить съестного или напроситься на ночлег; я испытывал истинное довольство, когда верующие набивали подаяниями мою нищенскую суму и заботились, чтобы моя фляга не пустела. В ответ я, как трещотка, безучастно повторял молитвы. В душе я уже не отличался от заурядного нищенствующего монаха, не блещущего умом. Так я пришел наконец в большой монастырь капуцинов, расположенный в нескольких часах пути от Рима; монастырь стоял на отлете, окруженный хозяйственными пристройками. Там должны были принять меня как брата по ордену, и я рассчитывал, что меня там убожат наилучшим образом. Я сказал, будто происхожу из немецкого монастыря, но наша община больше не существует, и вот я паломничаю, но надеюсь вступить в какой-нибудь другой монастырь нашего ордена. Меня приняли с дру-

желюбием, которым славятся итальянские монахи, не поскупились на угощение и другие знаки внимания, а приор объявил, что паломник монастырю не в тягость, и я могу побыть у них сколько пожелаю, если, разумеется, это не противоречит моим обетам. Начиналась вечерня, монахи заняли свои места на хорах, и я пошел в церковь. Вдохновенное смелое зодчество церковного нефа подействовало на меня, но дух мой все-таки тяготел к земле и не мог вознестись, как бывало с того времени, как я, едва выйдя из младенчества, созерцал церковь Святой Липы. Помолившись у главного алтаря, я ходил по боковым приделам, осматривая алтарные иконы; как обычно, на них было запечатлено мученичество святых, которым посвящены алтари. Наконец я вошел в капеллу, алтарь которой привлек меня магическим освещением: солнечные лучи преломлялись в расписных стеклах. Я хотел взглянуть на икону, я поднялся по ступенькам. Святую Розалию... икону моей судьбы, посвященной моему монастырю, — ах! — Аврелию узрел я! Вся моя жизнь... тысячекратное святотатство... мои преступления... смерть Гермогена... смерть Аврелии... одна-единая невыносимая мысль... она раскаленным, заостренным железом пронзила мой мозг... Моя грудь... жилы и фибры разрывались в дикой боли... Страшная затаенная казнь! Лучше смерть, но смерть не приходит. Я упал ниц... в неистовом отчаянье разорвал я мою рясу... я завыл в скорбной безнадежности на всю церковь:

— Проклятие мне, проклятие мне! Нет мне благодати, нет надежды ни здесь, ни там. Ад! Ад! Вечная отверженность мне, гнусному грешнику!

Меня подняли... монахи собрались в капелле... ко мне приблизился приор, высокий, благообразный старец. Он взглянул на меня с неопишуемой строгой кротостью, он взял меня за руки и сделал это, как святой в небесном сострадании поддерживает в воздухе над огненным омутом пропащего, готового туда рухнуть.

— Недужный брат мой! — сказал приор. — Мы проводим тебя в монастырь; там ты успокоишься.

Я целовал его руки, его облачение, я не мог говорить; только глубоко, боязливые вздохи выражали страшную муку моей израненной души.

Меня проводили в трапезную, по знаку приора монахи удалились, я остался с ним наедине.

— По-видимому, брат мой, — начал он, — ты обременен тяжким грехом; очевидно, ты совершил что-то ужасное; только глубочайшее, безнадежнейшее сокрушение прорывается столь несдержанно. Но Господь милостив; действительной мощью обладает молитва святых... Исповедуйся мне и, если ты покаешься, можешь уповать на Святую Церковь.

В то мгновение принял я приора за старого паломника, некогда посетившего Святую Липу, и на земле не было другого существа, кроме него, кому я мог бы раскрыть мою жизнь со

всеми ее посягательствами и святотатствами. Но язык не повиновался мне, я только рухнул перед старцем в прах.

— Я иду в монастырскую капеллу, — торжественно сказал он и удалился.

Я не отступил, я поспешил следом за ним; он сидел в исповедальне, и я мгновенно покорился неодолимому движению духа, я поведал ему все-все! И приор наложил на меня поистине ужасную епитимью. Я был удален из Церкви, отлучен, как прокляженный, от соборного общения с братией; я лежал в монастырском склепе, поддерживал свою жизнь лишь отваром из несъедобных трав, бичевал себя, подвергал себя изощреннейшим самоистязаниям, прибегая к орудиям пыток, завещанным утонченнейшей свирепостью; вслух я позволял себе лишь перечислять свои мерзости и сокрушенно молиться об избавлении от адского пламени, уже разгоравшегося во мне. Но когда кровоточили уже сотни моих ран, когда боль ядовито язвила меня сотнями скорпионов и брэнное естество обмирало и снисходительный сон оборонял меня своими объятиями, как страждущего младенца, тогда возникали враждебные грезы и начиналась новая смертельная кара.

Вся моя жизнь ужасала меня отчаянными сценами. Я видел Евфимию; она приближалась ко мне во всей своей упоительной красоте, я же громко кричал:

— Что ты хочешь от меня, блудница! Нет, посланцы ада не имеют ко мне доступа!

Тогда она распахивала передо мной свои одежды, и жуть вечной гибели нападала на меня. От ее тела остался только скелет, но и среди костей кишели бесчисленные змеи, они тянулись ко мне, высывая красно-огненные жала³⁴.

— Отстань!.. Твои змеи жалят меня в грудь, а она без того изранена!.. Кровь моего сердца — для них желанный корм. Они разжиреют, а я умру... я умру... лучше смерть, чем твоя месть...

Так я вопил, а она завывала:

— Мои змеи будут питаться кровью твоего сердца... но что тебе до этого, не в этом твоя мука; твоя мука в тебе, и она тебя не убьет, потому что она и есть твоя жизнь. Твоя мука — мысль о твоём святотатстве, а эта мысль тебя никогда не покинет.

Возникал окровавленный Гермоген, спугивая Евфимию; слышался шум крыльев, он реял передо мной, показывая мне рану у себя на шее, рана была крестообразная. Я пытался молиться, однако усиливался устрашающий шепот и шум крыльев. Я видел моих прежних знакомых; они кривлялись как бесноватые. Головы копошились, как саранча, из ушей у них росли ножки; они издевательски хихикали, оборачиваясь ко мне... Чудовищные птицы... вороны с человеческими лицами шумели крыльями в воздухе. Я узнал музыканта из Б.; с ним была его сестра, она кружилась в диком вальсе; брат аккомпанировал ей, пиликаая на скрипке, скрипкой служила ему собственная грудная клетка. Белькампо с

безобразным рыльцем ящерицы, оседлав омерзительного крылатого червя, напал на меня, чтобы расчесать мне бороду раскаленным железным гребнем, но что-то мешало ему. Все неистовой и неистовой делалось нашествие; все немислимее, все невероятнее образины от малышки-муравья, танцующего на человеческих ножках, до длиннющего конского костяка с горящими глазами и чепраком из собственной шкуры; совиная голова светилась на плечах всадника. Туловище его было втиснуто в кубок без доннышка, служивший панцирем, а вместо шлема на голове красовалась воронка трубкой вверх. Адский фарс разыгрывался передо мной. Я слышал свой собственный смех, но мне же разрывал он грудь, причиняя жгучую боль, бередя все мои кровоточащие раны. Вот вспыхивает женственный светоч, исчадия ада отступают... свет направляется ко мне... Ах, это же Аврелия!

— Я жива, и я теперь вся твоя, — говорит светоч, и во мне оживает святотатец. В исступлении дикой похоти я рвусь обнять ее... Куда девалось мое изнурение, но мою грудь обжигает пламень, колючая щетина тычется мне в глаза, и сатана со скрежетом хохочет:

— Ну, теперь-то ты мой со всеми потрохами!

С криком ужаса я просыпаюсь, и сразу же потоками течет моя кровь от ударов бича с шипами, которым я наказываю себя в безнадежном отчаянье. Ибо святотатство во сне, даже греховный помысел, требует двойного искупления.

Наконец истек срок тягчайшего покаяния, назначенный приором, и я вышел из монастырского склепа, чтобы в самом монастыре, хотя и в строгом затворе, отнюдь не общаясь с братьями, возобновить искупительные упражнения. Суровость покаяния постепенно убавлялась, и я получил доступ в церковь, не сторонясь уже других братьев.

Однако я сам алкал искупительных мук и не мог принять их щадящего послабления, ограничивающегося лишь ежедневным самобичеванием. Я стойко отвергал улучшенное питание, предлагавшееся мне; целыми днями лежал я, распростертый на холодном мраморном полу перед иконой святой Розалии, усугубляя самоистязания в моей уединенной келье, чтобы страждущая плоть отвлекала меня от невыносимой душевной муки. Но вопреки всем самоистязаниям не отступали от меня исчадия моих помыслов, как будто надо мной безраздельно властвовал сатана, совращающий и одновременно издевательски казнящий меня. Мое упорство и неслыханная изощренность в самоумерщвлении не остались незамеченными. Братия начинала взирать на меня с благоговейным трепетом, и до меня даже доносился шепоток: «Он святой!» Слово это ужасало меня, ибо слишком отчетливо помнил я гибельное мгновение, когда в монастырской церкви в Б. в разнуданном неистовстве я крикнул живописцу, пристально наблюдавшему меня: «Я святой Антоний!»

Епитимья, наложенная на меня приором, была наконец так-

же выполнена, но я не прекращал самоистязаний, хотя плотское естество мое уже не выдерживало. Мои глаза померкли, мое израненное тело превратилось в окровавленный костяк, и дошло до того, что, пролежав много часов на полу, я не мог подняться без посторонней помощи. Тогда по распоряжению приора я предстал перед ним.

— Помогло ли твоей душе, брат мой, строгое искупление? — начал он. — Посетила ли тебя милость Неба?

— Нет, преподобный отец, — глухо ответило мое отчаянье.

— Когда ты, — продолжал приор торжественно, — когда ты открыл мне на исповеди череду твоих ужасных посягательств, я предписал тебе суровейшее покаяние, ибо церковные установления требуют: злоторитель, ускользнувший от руки правосудия, но в сокрушении поведавший свои бесчинства служителю Господа, должен самого себя подвергнуть телесным испытаниям, подтверждающим его искренность. Он должен духом обратиться к Небу, а тело подвергнуть истязанию, дабы сладострастие прежнего нечестия было искуплено земным страданием. Но я разделяю мнение знаменитейших вероучителей, согласно которому беспощаднейшие самоистязания ни на крупицу не убавляют греховного бремени, если кающийся слишком полагается на умерщвление плоти, рассчитывая при этом на вечную награду. Человеческому разумению недоступна вечная мудрость, взвешивающая по-своему наши деяния, но нет спасения тому, кто надеется внешним самоуничижением завоевать Царство Небесное, полагая, будто его скверна изглажена упражнениями в покаянии, он лишь выявляет недостаточность своего поверхностного раскаяния. Ты, дорогой брат Медардус, чужд подобному самообольщению, стало быть, сокрушение твое неподдельно; изволь же повиноваться мне: довольно бичеваний, принимай пищу более сытную, не уклоняйся от общения с братьями. Знай, что тайна твоей жизни со всеми ее причудливыми перипетиями ведома мне лучше, нежели тебе самому. Тебе суждено было изведать власть сатаны; ты не мог противостоять ему, а он помыкал тобою, употребляя тебя как орудие своего злодейства. Не думай, однако, что ты от этого менее грешен в глазах Господа, ибо тебе не было отказано в доблести, способной дать отпор нечистому. В каком человеческом сердце не бесчинствует зло, противясь добру, но без этого противодействия не было бы заслуги, ибо заслуга — лишь победа доброго начала над злым, а грех происходит из обратного. Узнай, прежде всего, что, по крайней мере, одно из твоих преступлений заключалось лишь в желании совершить его. Аврелия жива, в твоём диком неистовстве ты поранил самого себя, обагрил руки твоей же собственной кровью... Аврелия жива... Мои сведения достоверны...

Я упал на колени, я воздел руки в молитве, глубокие вздохи вырвались из моей груди, слезы хлынули из глаз!

— Знай, кроме того, — продолжал приор, — что старый

странствующий живописец, о котором ты упоминал в своей исповеди, помнится мне, неоднократно появлялся у нас в монастыре, и мы ждем его в ближайшем будущем. Он вверил мне на хранение книгу с разнообразными рисунками, но, в основном, книга содержит одну историю, и к ней-то живописец и присовокупляет по несколько строк всякий раз, когда заходит в монастырь.

Он отнюдь не обязывал меня держать эту книгу в тайне, и я тем более склонен приобщить к ней тебя, что вижу в этом высшее предназначение. Тебе надлежит постигнуть соответствия странных свершений в твоей жизни, то восхищающих тебя чудными видениями высшего мира, то низвергающих тебя в пошлую суетность. Говорят, что Чудо покинуло землю, но мой опыт свидетельствует об обратном. Чудеса остались, и когда мы, подсмотревшие регулярную повторяемость в череде определенных явлений, не решаемся называть их чудесами, в это круговращение частенько закрадывается феномен, посрамляющий нашу рассудительность, и нам остается тупо оспаривать его при нашей косной неспособности его осмыслить. Так мы упрямо опровергаем правоту нашего внутреннего созерцания именно потому, что прозрение слишком прозрачно для нашей грубой роговницы.

Вот и сей неведомый живописец из тех образов, которые показывают, сколь смешна наша мудрствующая наблюдательность; я сомневаюсь, имеем ли мы основания назвать его телесность подлинной. Не вызывает сомнений одно: обычная физиологическая сторона его жизни никем не засвидетельствована. Кстати сказать, я никогда не видел его рисующим или пишущим; он разве что читает книгу, а в ней после каждого его посещения больше исписанных листов. Знаменательно и то, что до сих пор я видел в книге лишь неразборчивую рукопись да расплывчатые наброски фантастических картин, а после твоей исповеди, любезный брат Медардус, я все прочитал и понял.

Думаю, мне не следует делиться с тобой моими чаяниями и предположениями касательно живописца. Лучше предоставить все твоей проницательности, и тайна, так сказать, сама пойдет тебе навстречу. Ступай, подкрепись, и если в ближайшие дни ты воспрянешь духом, согласно моим предчувствиям, я не вижу препятствий к тому, чтобы ты прочитал чудесную книгу неведомого живописца.

Я повиновался приору, я ходил к общей трапезе, оставил самобичевания, ограничиваясь пламенной молитвой перед алтарями святых. И хотя мое сердце все еще кровоточило и боль, глодавшая душу, пронизывала меня всего, ужасные видения не посещали меня более, и нередко, когда, изнуренный до смерти, я лежал без сна на моем жестком ложе, что-то веяло на меня, как будто пролетали ангелы, и Аврелия, живая и прекрасная, наклонялась надо мной, и слезы небесного сострадания лучились у

нее в очах. Она осеняла мое чело своей простертой дланью, и очи мои смежались, и нежный, целительный сон струился в моих жилах новой жизненной силой. Когда приор убедился в том, что моему духу не противопоказано напряжение, он дал мне книгу живописца и рекомендовал не покидать его кельи, пока я не вникну в каждую строку.

Я раскрыл книгу, и первое, что поразило мой взор, были фрески Святой Липы, иногда бегло очерченные, а иногда представленные в цветных копиях. Впрочем, это не вызвало у меня ни малейшего удивления, и нельзя сказать, что мне не терпелось увидеть, как разгадывается загадка. Нет, какая же это была загадка! Мне уже давно было ведомо, что таит книга живописца. На последних страницах его письменами, едва различимыми, хотя и расцвеченными, были обозначены мои мечтанья и чаянья, очерченные, правда, решительнее и тверже, чем отважился бы я.

Примечание от издателя

Не пересказывая того, что прочитал он в книге живописца, брат Медардус далее повествует, как он простился с приором, посвященным в его тайну, и с дружелюбной братией, как он завершил свое паломничество в Рим и везде, в Соборе Святого Петра, в храмах Святого Себастиана и Лаврентия, Святого Иоанна Латеранского, у Санта Мария Маджоре и так далее, перед всеми алтарями падал на колени и молился, как слухи о нем дошли до самого папы, как молва начала приписывать ему святость, выдворив его тем самым из Рима, так как он чувствовал себя теперь лишь кающимся грешником и ничем более. Мы же — я говорю о себе и о тебе, любезный читатель, — недостаточно знакомы с мечтаниями и чаяниями брата Медардуса и, опустив письма живописца, едва ли сумеем сочетать и свести к единой канве запутанные, разрозненные нити, составляющие историю Медардуса. Чтобы ты лучше понял меня, я прибегну к такому уподоблению: перед нами множество разноцветных лучей, но не хватает фокуса. Рукопись почившего капуцина была завернута в старый, пожелтевший пергамент, испещренный мельчайшими буквами, едва доступными прочтению, и мое любопытство было затронуто именно этим весьма неординарным почерком. Письмена поистине пришлось расшифровывать, и как же я был удивлен, когда уразумел: передо мной история, запечатленная в книге живописца, о чем свидетельствует Медардус. Выдержанная в стиле, почти летописном, история изложена на итальянском языке, изобилующем архаизмами и афоризмами. Тон книги настолько своеобразен, что по-немецки звучит он глуше и беднее, как стекло с трещиной, однако связность и цельность повествования потребовали перевода, каковой и выполнен мною с одним огорчительным ограничением. Княжеский род, из кото-

рого происходит пресловутый Франческо, не пресекась; в Италии, равно как и в Германии, здравствуют еще потомки князя, чья резиденция приютила в свое время Медардуса. Согласись, подлинные имена здесь недопустимы, а тот, кто дал тебе в руки сию книгу, любезный читатель, менее всех способен подбирать и подтасовывать вымышленные имена, когда имеются настоящие, да еще такие звучные и романтические, как в данном случае. Означенный издатель с наилучшими намерениями именовал князя князем, барона бароном и так далее, избегая собственных имен, однако, поскольку старый живописец прослеживает запутаннейшие, деликатнейшие фамильные отношения, не представляется возможным впредь опускать имена, так как повествованию тогда грозила бы невразумительность и пришлось бы безыскусную хоральную летописность оснащать и приукрашивать затейливыми вычурами комментариев и ссылок.

Итак, я подчеркиваю мою функцию издателя и прошу тебя, любезный читатель, прежде чем ты начнешь читать дальше, принять к сведению следующее. Камилло, князь фон П., родоначальник фамилии, из которой происходит Франческо, отец Медардуса. Теодор, князь фон В., — отец князя Александра фон В.; у последнего при дворе подвизался Медардус. Его брат Альберт³⁵, князь фон В., сочетался браком с итальянской принцессой Гиацинтой Б. Фамилия барона Ф. известна в горах, и следует только добавить, что баронесса фон Ф. происходила из Италии; она дочь графа Пьетро С., а тот был сыном графа Филиппо С. Все остальное ты уразумеешь, любезный читатель, если только согласишься усвоить эти немногие имена и инициалы. А теперь в качестве продолжения

Пергамент старого живописца

...И вот Генуэзская республика, страдая от жестокого натиска алжирских корсаров, призвала славного героя-флотоводца Камилло, князя фон П., дабы он выставил против обнаглевших пиратов четыре галиона с людьми и оружием. Камилло, алчущий бранной славы, написал своему старшему сыну Франческо, повелев ему возвратиться и править княжеством в отсутствие отца. Франческо, приверженный художеству, был учеником Леонардо да Винчи, и дух искусства настолько овладел им, что вытеснил все прочие помыслы. Не было на земле для него ничего выше искусства, и он видел только пеструю тщету во всех остальных людских начинаниях и предприятиях. Он не смог расстаться со своим учителем, тогда уже весьма пожилым, и потому написал отцу, что предпочитает скипетру кисть и не намерен покидать Леонардо. Старый, гордый князь Камилло весьма разгневался; он обругал своего сына негодящим дурачком и послал за ним верных слугителей. Но когда Франческо проявил стойкость в своем отказе, утверждая к тому же, что князя во

всем блеске трона затмевает, по его мнению, хороший художник, а величайшие военные подвиги — лишь кровопролитная игра земных сил, тогда как искусство — чистейшее проявление сокровенного духа, движущего художником, герой-флотоводец Камилло окончательно разъярился и поклялся наложить на Франческо вечную опалу, а престол завещал своему младшему сыну Зенобио. Франческо охотно согласился с таким решением, более того, документально подтвердил, что отрекается от княжеского престола в пользу своего младшего брата, подкрепив документ торжественными заверениями, и когда старый князь Камилло был убит в жестоком кровавом бою с алжирцами, к власти пришел Зенобио, а Франческо, сложив с себя княжеский титул и звание, окончательно предался искусству и довольствовался годичным содержанием, которое высылал ему правящий брат, а средства эти позволяли ему влачить жизнь чуть ли не в бедности. От природы Франческо был горд, своенравен, и только старый Леонардо умел укрощать его дикую вспыльчивость, а когда Франческо сложил с себя княжеский титул, он стал верным, преданным сыном старого художника. Не одно великое произведение Леонардо завершал при его сотрудничестве, и ученик, воспаряя к высотам учителя, сим прославился: многие церкви и монастыри заказывали ему алтарные иконы. Старый Леонардо с любовью поддерживал его своим искусством и мудростью, пока не умер в глубокой старости. Тогда в молодом Франческо снова взыграли тщеславие и своенравие, подобно пламени, слишком долго изнывавшему под спудом. Его сомнение внушало ему, что он величайший художник своего времени, и, соединяя изощренность своего искусства со своей родовитостью, объявил он себя князем художников. О старом Леонардо он теперь отзывался пренебрежительно и, отступив от бесхитростно набожного письма, выработал новый стиль, помпезной композицией и кричащим блеском ослепляющий толпу, а ее несдержанные восторги, в свою очередь, усугубляли его кичливость и заносчивость. Случилось так, что Франческо окружили буйные, разнузданные юноши, а он при своей страсти к предводительству и первенству стал заядлым мореплавателем среди неистовых волн разврата. Обольщенные язычеством и его культом лукавой сомнительной видимости, юноши во главе с Франческо составили тайную секту, кощунственно глумящуюся над христианством; они воскрешали эллинскую обрядность и устраивали вакханалии с наглыми блудницами. Среди них были живописцы, но преобладали ваятели, помешанные на античном искусстве, издевательски отвергающие все, что новые художники, воспламененные святой Христовой верой, обрели и осуществили во славу Его. В нечистом пылу писал Франческо одну за другой картины, наваянные вымысленным языческим баснословием. Никто, кроме него, не умел так осязаемо изобразить изобильную, влекущую, сладострастную женственность, перени-

мая оттенки телесности у живых натурщиц, а формы и обаяние у античных кумиров. Он уже не присматривался в церквях и монастырях к возвышенным видениям верующих старых мастеров и не пытался усвоить их с благоговением истинного художника, нет, он прилежно писал языческих лжебогов. Но один кумир владел им всецело, то была знаменитая Венера, неизменно царившая в его помыслах. Однажды Зенобию не выслал старшему брату денег вовремя, и Франческо при своем расточительном буйстве, поглощавшем все его заработки, но ставшем уже его второй натурой, начал терпеть горькую нужду. Тогда он вспомнил, что давно уже получил один заказ: монастырь капуцинов предлагал ему за крупное вознаграждение написать икону святой Розалии, но все, относящееся к христианству, так претило ему, что он не давал согласия, а теперь вознамерился поскорее выполнить заказ, чтобы поправить свои дела. Замысел Франческо заключался в том, чтобы обнаженная святая на его картине ликом и формами не отличалась от пресловутой Венеры. Эскиз превзошел его собственные ожидания, и молодые святотатцы превозносили блестящую мысль Франческо посмеяться над монашеским благочестием и выставить у них в церкви языческий кумир под видом христианской святыни. Но когда Франческо перешел от эскиза к работе над самой картиной, — не чудо ли? — искусство опровергло умственно-чувственный замысел, и дух, более могущественный, восторжествовал над низким лукавым духом, порабошавшим художника. Ангельский лик из Царства Небесного просиял сквозь мгlistый сумрак, и Франческо как бы оробел перед Божьим судом, не посягнув на святую, не осмелился довершить ее лика, а ее наготу благоговейно облекли изящными складками темно-багряная риза и лазурно-голубая мантия. Капуцины писали художнику лишь о святой Розалии, не обязывая его писать или не писать ее примечательное житие, и потому эскиз ограничивался ее образом в средоточии картины, но теперь, движимый вдохновением, он запечатлел другие фигуры, предивно расположившиеся вокруг нее, чтобы засвидетельствовать ее мученичество. Франческо всецело жил своей картиной; картина оказалась могучим духом, который заключил художника в свои крепкие объятия и вознес его над мерзостной житейской трясиной, в которой он барахтался дотоле. Только лик святой Розалии ускользал от его кисти; он изнывал от бессилия, и эта адская мука острыми шипами пронзала ему душу. Он уже не помышлял о Венере, своем прежнем идоле, но ему все представлялся старый мастер Леонардо, взиравший на него с глубоким состраданием и говоривший с богобоязненной скорбью: «Ах, я бы пособил тебе, но мне нельзя; тебе подобает сперва отринуть греховные вожделения и в глубоком смиренном сокрушении молить о заступничестве святую, на которую покусьлось твое кощунство».

Юноши, которых Франческо давно уже сторонился, посетили

его в мастерской, где он лежал, расprostертый на своем ложе, как в параличе. Но когда Франческо пожаловался им на свою немощь, как будто злой дух сковал его силу, не давая завершить святую Розалию, они все, как один, рассмеялись и молвили: «Что ж ты, брат, некстати расклеился? Почтим-ка Эскулапа и человеколюбивую Хигиэю³⁶ винным возлиянием, да помогут они страждущему».

Послали за сиракузским вином; юноши наполнили пиршественные чаши и перед незавершенной картиной почтили возлияниями языческих богов. Но когда они начали беспечно пировать и попотчевали вином Франческо, тот не пожелал пить и явно тяготился разнузданным застольем, хотя они пили за госпожу Венеру! Тогда среди них послышался голос: «Этот художник по своему недомыслию действительно страдает физически и нравственно, я пойду за доктором».

Он накинул плащ, опоясался шпагой и был таков. Впрочем, через несколько мгновений он снова объявился в мастерской и сказал: «Гляньте-ка, какой еще нужен врач, я сам берусь поднять его на ноги».

Молодчик действительно уподобился старому лекарю в походке и осанке; он ковылял, согнув колени, наморщив свою свеженькую физиономию, как будто он обезображен дряхлостью, а все общество с хохотом кричало: «Полюбуйтесь, какой ученый вид напустил на себя наш доктор».

Доктор подошел к больному Франческо и прохрипел издевательски: «Ах ты, бедненький! сейчас я прогоню твою постылую хворь! Ах ты, убогонький! Госпожа Венера на такого и не взглянет. Разве что донна Розалия до тебя снизойдет, когда ты малость окрепнешь! Хлебни-ка, ты, паралитик, моего чудодейственного бальзама; ты же собираешься малевать святую, так тебе мое зелье как раз впрок пойдет; это винишко из подвала самого святого Антония».

Новоявленный доктор извлек из-под полы бутылку и открыл ее. Диковинный дух разнесся по мастерской, и одурманенных юношей немедленно сморила какая-то сонливость; они валились в кресла и закрывали глаза.

Франческо же, взбешенный насмешками, решил показать, что не такой уж он слабый, вырвал бутылку из рук у доктора и начал пить большими глотками. «На здоровье!» — крикнул юноша, сбросив старообразную личину и обретая прежнюю упругую походку. Он разбудил спящих окриком, и они затопали вслед за ним вниз по лестнице.

Как вулкан Везувий брызжет алчущим пламенем, так в душе Франческо взъярились огненные вихри. Все языческие басни, изображенные им дотоле, возникли у него перед глазами, словно ожили, и он возопил громогласно:

— Где же ты, возлюбленная моя богиня? Ты должна ожить и стать моею, или я предпочту тебе подземных богов!

Тут и узрел он госпожу Венеру; она стояла подле картины и кокетливо манила его. Он сорвался со своего ложа и принялся писать лик святой Розалии, намереваясь в точности запечатлеть прелестные черты госпожи Венеры. Но рука его отказывалась выполнять непререкаемый замысел; кисть его то и дело отклонялась от облака, сквозь которое проступали черты святой Розалии, и непроизвольно обогащала новыми мазками свирепые лица язычников, окружающих святую. А небесный лик святой Розалии являлся все зримее и зримее, и вдруг она взглянула на Франческо очами, сияющими такой жизнью, что он упал замертво, как будто его ударила небесная молния. Когда сознание начало возвращаться к нему, он кое-как встал на ноги, однако образ святой Розалии приводил его в такой ужас, что он старался не поднимать на него глаз; Франческо с поникшей головою подкрался к столу, где стояла винная бутылка мнимого лекаря, и основательно приложился к ней. Вино снова ободрило его; он посмотрел на свою картину; она была завершена до последней черточки, но не лик святой Розалии, нет, Венера, идол его души, улыбалась ему в роскошной влюбленности. В тот же миг Франческо предался дикому, кошунственному пылу. Он вылетел от безумной похоти, он вообразил себя новым Пигмалионом³⁷ (история этого языческого ваятеля вдохновляла его кисть и прежде); как Пигмалион, заклинал он госпожу Венеру вдохнуть жизнь в его создание. Ему почудилось, что образ и впрямь встрепенулся; он раскрыл объятия и ощутил мертвый холст. Тогда он принялся рвать на себе волосы, и его корчило, как это бывает с теми, кто одержим сатаной.

Такое с ним творилось два дня и две ночи; на третий день, когда Франческо остолбенел перед образом, сам подобный истукану, дверь его покоя скрипнула, и позади него колыхнулись как бы женские одежды. Он оборотился, и ему предстала женщина, которую сочли бы оригиналом, будь его картина портретом. Он чуть было не потерял сознание, узрев перед собою в немыслимой живой прелести образ, им самим сотворенный в сокровенных помыслах по мраморному образцу, и ему самому стало жутко, когда он взглянул на свою картину, и ему показалось, что это зеркало, в которое смотрится незнакомка. Ему попритчилось то, что бывает, когда сверхъестественно является дух; язык отказал ему, и он безмолвно упал на колени перед неведомой, простирая к ней руки, как будто она божество. Неведомая же только усмехнулась, подняла его и сказала, что он приглянулся ей, будучи еще в ученье у старика Леонардо да Винчи, и она, тогда маленькая девочка, не могла на него налюбоваться и с тех пор души в нем не чает. Вот она и покинула отца с матерью и всех своих родичей и одна отправилась в Рим на поиски своего возлюбленного, ибо некий голос у нее в душе все говорил ей, что и он ее очень любит и от одного страстного желания написал ее портрет; и вправду, это ее портрет, она сама видит.

Франческо ничего другого не оставалось, как признать, что неведомая и он соединены тайным душевным согласием, отсюда и чудесная картина, и его безумная любовь к неведомой. Он обнял женщину, пылая к ней любовью, и хотел сразу вести ее в церковь, чтобы священник навеки сочетал их таинством брака. Однако женщина почему-то испугалась; она сказала ему:

— Ах, мой милый Франческо, ты же свободный художник, зачем тебе оковы христианской церкви? Разве ты душой и телом не привержен беспечной неувядаемой древности с ее уживчивыми, ласковыми божествами? Разве могут благословить нашу близость унылые иереи, выплакивающие свою жизнь в безнадежной скорби мрачных узилищ? Разве наша любовь — не торжество, безоблачное и беззаботное? Так зачем омрачать ее?

Франческо совратили эти посулы, и в тот же вечер он отпраздновал свадьбу с неведомой по языческому ритуалу, а гостями на свадьбе были так называемые его друзья, те самые юноши, гревовно, кощунственно игривые. Женщина принесла ему приданое: ларец с драгоценностями и звонкими монетами, и Франческо жил да поживал с нею, упиваясь грехами, забыв свое искусство. Забеременев, женщина расцветала все великолепней, излучая прелесть; казалось, в ней поистине ожила Венера, и Франческо едва ли не тяготился сладострастным изобилием жизни.

Глухое, боязливое стенание разбудило Франческо однажды ночью; когда он вскочил в страхе и со светильником в руке глянул на свою подругу, он увидел, что родился мальчик. Слуги были спешно посланы за повитухой и лекарем, а Франческо сам принял ребенка. В то же самое мгновение его подруга душераздирающе закричала, и на нее напали корчи, как будто ее душат. Повитуха пришла со своей служанкой, лекарь тоже не медлил; но когда они хотели помочь женщине, то увидели окоченевший труп; на шею и на груди выступили омерзительные синие пятна, а вместо юного прекрасного лица чудовищно искаженная морщинистая образина уставилась на них выпученными глазами. Повитуха со служанкой в ужасе закричали, их крик привлек соседей, которые и прежде не жаловали покойницу; все гнушались вызывающим непотребством этой странной четы и были не прочь обратить внимание духовного суда на соблазнительное блудное сожительство без церковного благословения. Теперь же, увидев, какова она после смерти, никто уже не сомневался в том, что без дьявола тут не обошлось, а дьявол своего не упускает. Красота была лишь лживой личиной проклятой чародейки. Не успев прийти, люди разбежались; ни за какие блага никто не дотронулся бы до ее мертвого тела. И Франческо уразумел, с кем он связался, и отчаянный страх напал на него. Собственные святотатства потрясли его, и уже на земле постиг его Страшный суд Господень: адское пламя охватило его душу.

На следующий день пришел пристав духовного суда со своими присными, чтобы взять Франческо под стражу, но отвага и

гордыня не покинули его; он обнажил шпагу, и никто не посмел задержать его. В отдалении от Рима набрел он на глухую пещеру, где и притаился, измученный и изнуренный. Только теперь он заметил, что унес новорожденного с собою, завернув его в плащ. В бешенстве хотел он уничтожить отродие чертовки, швырнув его на камни, и уже размахнулся было, когда услышал жалобное, молящее всхлипыванье; его сердце дрогнуло от сострадания, он положил ребенка на мягкий мох и смочил ему губы соком апельсина; апельсин тоже у него нашелся. Уподобившись кающемуся отшельнику, Франческо прожил в пещере несколько недель и, отвергнув кошунственное нечестие, в котором коснел дотопе, пламенно молился святым угодникам. Но прежде всего воззвал он к святой Розалии, которую так тяжело оскорбил; он умолял святую заступиться за него перед Престолом Господа. Однажды вечером Франческо молился на коленях в своей пустыне и смотрел на солнце: оно садилось в море, и на западе атели огненные волны. На когда огонь стал меркнуть в седом вечернем тумане, Франческо увидел в воздухе светящиеся розы, а потом и образ.

В окружении ангелов явилась ему святая Розалия, коленопреклоненная на облаке, и нежным веяньем донесся шепот: «Господи, прости его; не под силу ему было противостоять соблазнам сатаны».

Тогда воздушные розы вспыхнули молниями, и глухой гром откликнулся под небесным сводом:

— Нет ему равных в святотатстве! Ни милости, ни покоя в могиле не найдет он, пока род его, зачатый преступленьем, плодится и плодит кошунство!

Франческо повергся в прах, услышав сей приговор; отныне ведал он свою участь: страшный рок будет вечно гнать его, безутешного. Он бросился прочь, забыв ребенка в пещере, и влачил жалкое презренное существование, в отчаянье оставив живопись. Иногда, правда, думалось ему, не его ли призвание выполнить предивные картины во славу христианства, и он провидел их в линиях и в цвете, священные предания о Пречистой Деве и о святой Розалии, но как мог он осуществить подобное, когда у него не было ни единой монеты на приобретение холста и красок, а мучительная жизнь его питалась лишь скудным подаянием, выпадавшим на его долю у церковных дверей?

И вот однажды, когда он уставился в голую церковную стену и писал в своих мыслях, приблизились к нему две женщины, каждая под покрывалом, и одна из них заговорила нежным ангельским голосом:

— В далекой Пруссии, где ангелы возложили на липу икону Девы Марии, посвящена Ей церковь, не расписанная поныне. Отправляйся туда; да будет подвиг твоего художества святым богослужением, и твою страждущую душу Небо уврачует своей благостыней.

Франческо взглянул на женщин, и обе они растворились в нежно светящихся лучах, а в храме веяло благоухание лилии и розы. И Франческо понял, кто были эти женщины, и задумал на следующее утро приступить к своему паломничеству, но в тот же вечер гонец от Зенобио настиг его наконец, а искал он его уже давно, чтобы выплатить ему содержание за два года и пригласить ко двору своего государя. Но Франческо отправился в Пруссию с ничтожной суммой денег, раздав остальное бедным. Путь его пролегал через Рим, откуда рукой подать до монастыря, заказавшего ему икону святой Розалии. Франческо наведался в этот монастырь и увидел алтарный образ, но, приглядевшись, убедился, что это лишь копия его картины. Он узнал, картина дошла до монахов после его бегства, но вместе с картиной дошли до них и настораживающие слухи о скрывшемся художнике, и, не отважившись освятить оригинал, они уступили его монастырю капуцинов в Б., а сами удовольствовались копией. Изнуренный паломничеством, добрался Франческо до монастыря Святой Липы в Восточной Пруссии и выполнил все, что сама Святая Дева поручила ему. От его иконописи в церкви так и веяло чудом, и, заглянув в себя, он узрел действие небесной благодати. Мир небесный коснулся его.

Однажды граф Филиппо С. охотился в отдаленной дикой местности, где застигло его лихое ненастье. Буря завывала в ущельях; дождь лил потоками, как будто человеку и зверю предстояло погибнуть в новом потоке; тут граф Филиппо нашел пещеру, где укрылся от непогоды, не без усилий водворив туда и свою лошадь. Окном был занавешен черными тучами, и в пещере царил такой мрак, что не видно было ни зги, а рядом, как на грех, шуршало и шебаршило. Графу подумалось, не хищный ли зверь прячется вместе с ним в пещере; он даже обнажил меч и приготовился обороняться. Но тучи рассеялись, в пещеру заглянуло солнце, и граф, к немалому своему удивлению, увидел, что подле него на сухих листьях лежит голенький мальчонка и смотрит на него светлыми, сияющими очами. Рядом стоял кубок из слоновой кости; в кубке граф Филиппо нашел несколько капель пахучего вина, и ребенок жадно высосал их. Граф затрубил в рог; съехались его люди, попрятавшиеся было кто куда; граф распорядился подождать, не объявится ли тот, кто уложил ребенка в пещере, не может же он за ним не прийти.

Когда начало темнеть, граф Филиппо сказал: «Я не могу бросить здесь этого беззащитного мальчика без присмотра; возьму-ка я его с собой, и пускай вся окрестность знает, что я это сделал, дабы его у меня затребовали родители или тот, кто принес его в пещеру».

Воля графа — закон, однако прошли недели, месяцы, годы, а про ребенка никто не спрашивал. Граф велел крестить найденныша и нарек его Франческо. Мальчик вырос в красивого юношу; он был не только хорош собой, но и на редкость умен; граф

любил его, как сына, и, не имея других наследников, намеревался завещать ему все свое состояние. Франческо минуло двадцать пять лет, когда граф сдуру влюбился в одну бесприданницу, правда писаную красавицу, и женился на ней, хотя она была еще юница, а он далеко не молод. Франческо сразу воспылил преступной страстью к молодой графине; она была благочестива, добродетельна, хотела соблюсти супружескую верность и долго сопротивлялась его домогательствам, однако его дьявольские ковы заморозили красавицу, и она уступила преступной похоти; так найденыш отблагодарил приемного отца злодейским предательством. Граф Пьетро и графиня Анджола, обожаемые мнимым отцом, дряхлым Филиппо, пригретые им у самого сердца, были отпрысками преступления, о котором не подозревал ни старый граф, ни свет.

Движимый сокровенным духом, пришел я к моему брату Зенобио и сказал: «Я отрекся от престола и, даже если ты умрешь прежде меня, не оставив наследников, пребуду бедным живописцем, доживая свой век в тихих трудах и молитвах, приверженный искусству. Наше княжество невелико, однако ему неуже перейти под чужую державу. Небезызвестный тебе Франческо воспитан графом Филиппо С., но он мой сын. Я тогда совсем обезумел и бежал, оставив его в пещере, где граф нашел его. Подле него стоял кубок из слоновой кости, на этом кубке вырезан наш герб; однако лучше всякого герба внешность юноши говорит о том, что он происходит из нашего рода, и сомнения тут невозможны. Брат мой Зенобио, пусть этот юноша станет твоим сыном и преемником».

Зенобио усомнился, в законном ли браке зачат юный Франческо, однако сам папа санкционировал усыновление не без моего ходатайства, чтобы блудная, развратная жизнь моего сына завершилась законным браком и он зачал сына, нареченного Паоло Франческо.

Но преступный род продолжал плодиться преступно. Могло ли покаяние моего сына искупить его святотатственную вину? Я стоял перед ним, напоминая Страшный суд Господень, отчетливо проникая его душу, и дух открывал мне неведомое миру; дух усиливается во мне и возносит меня над блуждающими волнами жизни, позволяя заглянуть в смертельные глубины и не утонуть в них.

Разлука с Франческо убила графиню С., ибо совесть пробудилась в ней; любовь к преступнику и раскаянье вступили в смертельную борьбу, которая стоила жизни графине. Графу Филиппо стукнуло девяносто лет, и ребячливый старец скончался. Его мнимый сын Пьетро со своею сестрою Анджолой прибыл ко двору Франческо, унаследовавшему престол. А Паоло Франческо был торжественно помолвлен с Викторией, княжной фон М., но Пьетро прельстился красотой невесты, воспылил к ней страстной любовью, и, невзирая на опасность, стал добиваться взаим-

ности. Паоло Франческо не обращал на это внимания, так как сам пылал страстной любовью к своей сестре Анджоле, а та оставалась холодна к нему. Виктория покинула двор якобы для того, чтобы уединиться перед замужеством, как того требовал ее обет. Она возвратилась лишь по истечении года; свадьба должна была состояться, а сразу же после свадьбы граф Пьетро со своей сестрой Анджолой намеревались вернуться на родину. Паоло Франческо продолжал пылать страстью к Анджоле; ее упорная, стойкая строптивость лишь пуще его разжигала, и только мысль об упоительной победе помогала ему расчетливо укрощать в себе сладострастного зверя.

Он действительно восторжествовал ценой позорного обмана в день свадьбы, когда, направляясь в свою опочивальню, напал на Анджолу в ее девичьем покое и утолил преступное вожделение, овладев спящей: на брачном пире ее опоили опиатами. Гнусное насилие едва не убило Анджолу, и Паоло Франческо, терзаемый совестью, признался в своем преступлении. Пьетро пришел в ярость и заколол бы оскорбителя, но руку его парализовала мысль о том, что его месть предшествовала преступлению. Малютка Гиацинта, княжна фон Б., слывшая племянницей Виктории, а именно дочь ее сестры, на этом деле была дочерью самой Виктории от Пьетро, втайне соблаздившего невесту Паоло Франческо. Пьетро и Анджола отбыли в Германию, где та родила сына; ему дали имя Франц и позаботились об его воспитании. Анджоле не в чем было себя упрекнуть; память об ужасном насилии перестала наконец тяготить ее, и она снова расцвела в неотразимой красоте и обаянии. Тут в нее пламенно влюбился князь Теодор фон В., и она от всей души ответила ему взаимностью. Вскоре они обвенчались, а граф Пьетро одновременно женился на знатной германской девице, от которой имел дочь, тогда как Анджола родила князю двух сыновей. Набожную Анджолу не должны были бы терзать угрызения совести, и все-таки ее нередко угнетали мрачные мысли; отвратительное насилие вспоминалось ей, как ночной морок, и тогда ей думалось, что даже невольный грех наказуем, и возмездие не минует ни ее самое, ни ее детей. Она исповедалась, и грех ей был полностью отпущен, но даже это не принесло ей душевного покоя. Она совсем исстрадалась, когда ее наконец осенило: Анджола решила открыться своему супругу. Она не преуменьшала внутреннего сопротивления, которое вызовет воля к признанию в своем невольном соучастии, усугубившем противоестественную вину Паоло Франческо; она дала себе торжественный обет ни в коем случае не отступаться от принятого решения и действительно пошла на страшную откровенность. Гнусное преступление повергло в ужас князя Теодора; все его существо содрогнулось, и глубокое возмущение грозило обратиться даже против невинной супруги. Несколько месяцев прожила она в уединенном замке, пока князь подавлял мучительную горечь, бушевавшую его, и

преуспел в этом настолько, что, протянув супруге руку примиренья, даже пекся впоследствии о воспитании Франца, хотя княгиня об этом не подозревала. После смерти князя и княгини только граф Пьетро и молодой князь Александр фон В. знали, чей сын Франц. Среди потомков живописца никто не был до такой степени внешне и внутренне похож на Франческо, воспитанного графом Филиппо, как Франц. Очаровательный юноша редкой духовной высоты, полный огня и скорый на мысль и поступок. Если бы грех отца и пращура не подавлял его, у него хватило бы силы оттолкнуть злокозненные сатанинские приманки. Еще при жизни князя Теодора братья Александр и Иоганн предприняли путешествие в прекрасную Италию и не то чтобы поссорились, но распростились в Риме, так как слишком уж не совпадали пристрастия и предпочтения обоих. Александр посетил двор Паоло Франческо, где влюбился в младшую дочь Паоло и Виктории, возымев намерение на ней жениться. Князь Теодор отверг этот замысел с отвращением, необъяснимым для молодого князя, но князь Теодор умер, и князь Александр вступил в брак с дочерью Паоло Франческо. На обратном пути принц Иоганн познакомился со своим братом Францем и, не догадываясь о своем близком родстве с ним, так привязался к нему, что помыслить не мог о расставании. Именно из-за Франца принц отложил возвращение в резиденцию брата и задержался в Италии. Вечная непостижимая судьба устроила так, что принц Иоганн и Франц узрели Гиацинту, дочь Виктории и Пьетро, и обоих охватила пламенная страстная любовь к ней. Преступное семя прорастает, и темные силы неодолимы.

Но хотя моя преступная юность ужасает своими святотатствами, заступничество Пречистой Девы и святой Розалии предотвратило мою вечную погибель, и мне позволено претерпевать казнь отверженности на земле, пока зловредный род не пресечется и не перестанет плодоносить. Подавляя мои духовные силы, тяготит меня иго земного, и, намекая на тайну темного будущего, ослепляет меня пестрая видимость жизни, и тупое зрение теряется в расплывчатых картинах, не улавливая их истинного внутреннего содержания!

Часто я вижу нить пряхи, пагубной для моего душевного спасения по воле темных сил, и в своем неразумии пытаюсь поймать эту нить, разорвать ее, но не тут-то было... Мне остается только терпеть с благочестивою верой и в длительном покаянном искуплении подвергаться моей казни, ибо таков мой удел, и нельзя иначе изгладить следы моих преступных посягательств. Я был пугалом, отвратившим принца и Франца от Гиацинты, но сатана не дремлет; он предуготовляет для Франца неминуемую гибельную западню.

Франц вместе с принцем посетил местность, где граф Пьетро обитал со своей супругой и пятнадцатилетней дочерью Аврелией. Как его преступный отец Паоло Франческо скотски распа-

лился, увидев Анджолу, так возгорелся огонь преступной страсти в сыне, когда он узрел нежную отроковицу Аврелию. В завораживающие дьявольские тенета сумел он залучить набожную, неискушенную Аврелию, едва успевшую расцвести, завладев ее душою и заставив ее согрешить прежде, чем первый греховный помысел смутил ее невинность. Когда последствий невозможно было скрыть, Франц бросился в ноги графине-матери и как бы в отчаянье открыл ей все. Граф Пьетро убил бы Франца и Аврелию, не вспомнив, в чем он сам повинен. Графиня же только попыталась утратить Франца своим праведным гневом и приказала никогда больше не попадаться на глаза ни ей, ни совращенной дочери, иначе, мол, сам граф узнает от нее о непотребстве Франца. Графине посчастливилось увезти дочь от графа в отдаленную местность, где та родила дочурку. Но Франц не мог забыть Аврелию, он разведal ее местопребывание, поспешил туда и вошел в комнату, когда графиня, отпустив прислугу, сидела у дочерней постели и держала на коленях восьмидневное дитя. Неожиданно увидев супостата, графиня встала в страхе и в ужасе и попыталась удалиться его из комнаты:

— Вон, вон отсюда, не то тебе конец! Граф Пьетро знает, что ты сделал, изверг! — Так она кричала, чтобы напугать Франца и выставить его за дверь, но Франца охватила дикая, поистине дьявольская злоба; он вырвал у графини ребенка, ударил ее в грудь кулаком, так что она упала навзничь, и тогда бросился прочь. Аврелия лежала в глубоком обмороке, а когда она очнулась, мать была мертва; ее убила глубокая черепная рана (графиня, падая, ударилась головою о сундук, окованный железом). Франц был готов убить ребенка; он кое-как запеленал малютку и, воспользовавшись вечерним сумраком, бегом спускался по ступенькам, чтобы выбраться из дому, когда на первом этаже в одной из комнат услышал приглушенные всхлипыванья. Он насторожился, потом подкрался к двери той комнаты. Оттуда, горько рыдая, вышла женщина, и Франц узнал ее: она служила в няньках у баронессы фон С. (Франц остановился в доме у баронессы). Франц спросил, что с ней.

— Ах, сударь, — сказала женщина, — вот горе так уж горе; только что малышка Евфимия сидела у меня на коленях и так веселилась, так смеялась, вдруг ее головенка повисла, и девчужка мертва... У нее на лобике синие пятна, и меня наверняка обвиноватят, мол, я за ней не уследила, и она упала на пол.

Франц заглянул в комнату, убедился, что ребенок мертв, и сообразил: сама судьба дарует его ребенку жизнь, так как малютка с виду отличалась от мертвой Евфимии только тем, что была жива; сходство поистине удивительное! Вероятно, нянька была более виновата в смерти ребенка, чем она утверждала; к тому же Франц не поспешил на дорожкой подарок; так или иначе, она не возражала против подмены; Франц перепеленал трупик девочки и бросил его в поток. Дочь Аврелии воспитывалась

как дочь баронессы фон С. по имени Евфимия, и тайна ее рождения осталась тайной для света. Несчастливая так и не вошла в лоно Церкви, лишенная святого крещения, ибо девочка, чья смерть подарила ей жизнь, была уже крещена. Аврелия через несколько лет сочеталась браком с бароном фон Ф.; от этого брака родилось двое детей, Гермоген и Аврелия.

Вечная власть Провидения ниспослала мне возможность сопутствовать принцу и Франческо (так принц называл его на итальянский манер), когда принц решил возвратиться в резиденцию своего старшего брата, государя. Я тщился силой удерживать шального Франческо, приближавшегося к бездне: она его уже поджидала. Но я сам всего только грешник, еще не обретший благодати перед престолом Господним; отсюда мое бессилие и нелепость моих начинаний.

Франческо убил брата, осквернив Гиацинту гнусным прелюбодеянием. Сын Франческо — пропащий мальчик; князь воспитал его под именем графа Викторина. Франческо, совершив убийство, намеревался взять в жены набожную сестру княгини, но я предотвратил это нечестие в святом храме, хотя оно уже незрело.

Пожалуй, обращению Франца на путь истинный могла бы способствовать нищета, в которую впал он, когда бежал, обуреваемый мыслью о своем незамолимом грехе. Удрученный скорбью и хворью, беглец попросил однажды приюта у крестьянина, который гостеприимно призрел его. Дочь крестьянина, набожная смиренница, прониклась необычной любовью к страннику, будучи при больном усердной сиделкой. Когда Франческо поправился, он ответил взаимностью на любовь девицы и сочетался с нею святым таинством брака. Сведущий и предприимчивый, он преуспел в делах, умно распорядился значительным наследством своего тестя и достиг настоящего земного благоденствия. Однако суетно и ненадежно счастье грешника, не примирившегося с Богом. Франца снова постигла горчайшая бедность, и подобная скудость поистине его умерщвляла, так как он ветшал телом и духом в хилый хворости. Тогда его жизнь превратилась в непрерывную епитимию. Наконец Небо озарило его лучом обетования. Ему было возвещено, что его паломничество ко Святой Липе увенчается знаменем Божьего милосердия: рождением сына.

Монастырь Святой Липы окружен лесом, и в этом-то лесу посетил я скорбящую мать, плакавшую над новорожденным сироткой, и утолил ее печаль глаголами утешения.

Поистине чудно взыскано милостью Божьей дитя, родившееся в благословенной обители Пречистой Девы! Иногда зримо приходит к нему младенец Иисус, чтобы затеплить светоч любви в детском сердце.

В святом крещении мать нарекла мальчика отцовским именем, Франц! Ты ли, Францискус, рожденный в святой обители,

загладишь своей праведностью грех твоего изверга-пращура, дабы тот обрел покой в могиле? Вдали от мира и его совращающих чар подобает ему всем существом предаться Небесному. Пусть он станет священником. Таково было наставление святого мужа, пролившего и мне в душу чудное упование, и не пророчество ли это о милости, дарующей мне чудом пронизательную зоркость, чтобы я провидел в глубине души живое проявление грядущего.

Я вижу, как юноша вступил в смертельный бой с темной силой; она теснит его страшным своим оружием! Он падает, но божественная жена коронует его как победителя. Сама святая Розалия — его покровительница. Да сподобит меня вечный Промысел Божий сопутствовать отроку, юноше, мужу и оборонять его, насколько позволяет мощь, ниспосланная мне. Да будет он...

Примечание издателя

Далее, любезный читатель, письма изглаживаются, и они до того неотчетливы, что расшифровать их уже невозможно, и мы возвращаемся к рукописи этого незаурядного капуцина Медардуса.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

Возвращение в монастырь

Я чувствовал, что дальше так продолжаться не может. Стоило жителям Рима увидеть меня на улице, кое-кто замедлял шаг, а кое-кто и кланялся чуть ли не до земли, прося благословения. Может быть, так действовали изнурительные покаянные испытания, которым я подвергал себя, но, вернее всего, мое странное, диковинное обличье завораживало своей легендарностью впечатлительных фантазеров-римлян, и они, вероятно, произвели меня в герои какого-нибудь священного предания. Очень часто благоговейные вздохи и молитвенное бормотание рассеивали мою глубокую сосредоточенность, когда я лежал на ступенях алтаря, и я догадывался, что вокруг меня опять преклоняют колени, усматривая во мне угодника Божьего. Как и там, в монастыре капуцинов, мне вслед выкрикивали: «Il santo»*, а такие возгласы были для меня хуже острого ножа. Мне не оставалось ничего другого, кроме как уйти из Рима, и как же я ужаснулся, когда приор монастыря, где я нашел временное пристанище, уведомил меня, что за мной послал папа. Я почувствовал недоброе, за-

* Святой (*ит.*).

подозрив происки супостата, снова подстерегающего меня со своими ковами, однако собрался с духом и точно в назначенный час был в Ватикане.

Папа оказался видным господином с хорошими манерами и совсем не походил на дряхлого старца. Он принял меня, восседа в роскошном кресле, украшенном тонкой резьбой. Два благообразных отрока, одетых по-монашески, подали ему воду со льдом, освежая воздух в комнате опахалами из перьев цапли прохладения ради, так как день был очень знойный. Я приближался с подобающим самоуничижением и преклонил колени, как это предписано. Он испытующе, хотя и не без добродушия, воззрелся на меня, и вместо величавой отрешенности, видившейся мне издали, его черты смягчила снисходительная улыбка. Он осведомился, откуда я пришел, чего ишу в Риме, короче говоря, кто я такой, а потом поднялся с кресла и произнес:

— Я послал за вами, ибо до меня дошли слухи о вашей необычайной праведности. Скажи мне, монах Медардус, почему ты изощряешься в молитвенном рвении на глазах у народа, предпочитая наиболее людные церкви? Если ты хочешь прослыть угодником и завоевать поклонение площадных пустосвятов, вникни в собственную душу, исследуй сокровенное побуждение, движущее тобой. Благо тебе, если ты не запятнан перед Господом и передо мною, Его наместником! В противном случае берегись: ты плохо кончишь, монах Медардус!

Папа говорил веско и проникновенно, в очах его вспыхивали молнии. Сколько времени прошло с тех пор, как я не чувствовал за собой греха, который мне приписывают, но теперь дело обстояло именно так, и я не только воспрянул духом при мысли, что мое покаяние проистекает из неподдельного, внутреннего сокрушения, но и ответил как бы по наитию:

— Святейший наместник пресвятого Господа, поистине вы обладаете прозорливостью, позволяющей вам исследовать мою душу, так что вам ведомо, сколь тягостны мои немислимые прегрешенья, повергающие меня в прах, но точно так же открыта вам искренность моего покаяния. Ухищрения низкого ханжества далеки от меня, как и напыщенное тщеславие, обморочивающее народ непростительным образом. Соблаговолите, святейший владыка, выслушать кающегося монаха, дабы мог он вкратце поведать вам свою преступную жизнь, однако не умолчав при этом и о покаянном самоуничижении.

Так я начал и с предельной лаконичностью описал мой жизненный путь, опустив лишь имена собственные. Все напряженнее и напряженнее вслушивался папа в мою исповедь. Он сел в кресло, оперся головою на руку, потупился, потом снова поднялся на ноги, скрестил руки, двинул было правой ногой, как бы намереваясь шагнуть ко мне, снова взглянул на меня сверкающими глазами. Я замолчал, и он снова опустился в кресло.

— Я никогда не слышал, монах Медардус, — начал он, — истории, более удивительной, чем ваша. Верите ли вы, что злая сила, которую церковь называет дьяволом, способна действовать явно и открыто?

Я хотел ответить, но папа продолжал:

— Верите ли вы, что вино, похищенное вами из монастырского мощехранилища, а потом вами выпитое, побудило вас к бесчинствам, вами описанным?

— Как влага ядовитого чадородия, пробудило оно зловредное семя, почившее во мне, и пышно произросли плевелы.

Мой ответ заставил папу замолчать на несколько мгновений, потом, как бы вопрошая строгим взором самого себя, он снова обратился ко мне:

— Что, если и духовная природа человека подчиняется законам, регулирующим физический организм, и от худого семени нельзя ждать хорошего племени? Что, если воля и влечения — как сила, таящаяся в семенах и заставляющая распускающиеся листья зеленеть, — что, если воля и влечения просто наследуются отцами от отцов и невозможно изменить наследственность? Тогда имеются племена убийц и грабителей! Вот он, первородный грех, неизгладимое клеймо преступного рода, которому нет искупления!

— Если грешник, рожденный от грешника, не может не грешить, унаследовав свою порочную натуру, тогда нечего говорить о грехе, — прервал я папу.

— Нет, грех есть, — сказал он, — вечный дух сотворил витязя, который способен укрощать и заковывать в цепи слепого хищника, буйствующего в нас. Этот витязь — рассудок. В его борьбе со зверем рождаются порывы. Торжество витязя — добродетель, торжество зверя — грех.

Папа помолчал несколько мгновений, потом его взор прояснился, и он мягко сказал:

— Как по-вашему, монах Медардус, подобает ли наместнику Господню философствовать с вами о добродетели и грехе?

— Вы, всесвятейший владыка, — ответил я, — почтили вашего служителя беседой, высказав глубочайшие суждения о человеческой природе, и кому, как не вам, подобает говорить о борьбе, в которой вы давно, доблестно и преславно восторжествовали?

— Ты превозносишь меня, брат Медардус, — сказал папа, — не думаешь ли ты, что тиара — это лавры, которых я заслуживаю как герой и победитель мира?

— Конечно, — ответил я, — властителю народа свойственно величие. Для высокопоставленного в жизни нет отдаления, и все соизмеримо; именно на высотах развивается всеохватывающая прозорливость, это высшее призвание и свидетельство царственного происхождения.

— Ты полагаешь, — прервал меня папа, — что даже скудоумным, слабовольным венценосцам не отказано в чудесном вра-

зумлени; чернь принимает это за мудрость и по-своему благоговееет. При чем здесь я?

— Я начал, — продолжал я, — с высшего призвания венценосцев, чья держава от мира сего, но есть еще святое божественное призвание наместника Господня. Дух Господень — таинственный свет, действенный в святителях, а они образуют замкнутый конклав, и порознь, каждый в уединении, созерцают горнее, жаждут сердцем откровения, удостаиваются превысшенного луча, и на вдохновенных устах одно имя звучит словословием вечному Провидению. Так воля Всевышнего благовестуется на земном языке, знаменуя Своего наместника, и посему, всесвятейший владыка, ваша корона, своим тройственным кругом обозначающая таинственное триединство Господа Вседержителя, — не что иное, как лавры вашего победоносного героического достоинства³⁸. Не от мира сего ваша держава, кому, как не вам, подобает властвовать над всеми земными державами, ибо они лишь члены невидимой Церкви; Она — их тело, и Она — их знамя! А мирская держава, вам ниспосланная, — только ваш престол в своем небесном процветании.

— Так ты признаешь, — прервал меня папа, — ты признаешь, брат Медардус, что я не ошибаюсь, когда ценю престол, ниспосланный мне. Поистине мой Рим роскошествует в небесном процветании, и от тебя это не укользнет, брат Медардус, если земное не совсем еще перестало для тебя существовать. Но на это не похоже... У тебя язык хорошо подвешен, и говоришь ты в моем духе. Сдается мне, что мы с тобой поладим!.. Тебе самое место в Риме... Через день-другой ты будешь, пожалуй, приором, а там и моим духовником, я ничего не имею против... Можешь идти... Только поменьше юродствуй в церквах, до лика святых ты все равно не воспаришь, вакансий не осталось. Можешь идти.

Последние слова папы удивили меня, как и весь его обычай; совсем иным рисовался мне в глубине моей души образ христианского первосвященника, коему вверена власть связывать и разрешать. Не могло быть сомнений в том, что мою тираду о божественном происхождении папства он счел естественным, хотя и ловким угодничеством. Он понял меня в том смысле, что я претендую на святость, а поскольку у него есть причины ограничить мои притязания, я не потеряю и найду другие пути к самоутверждению и превосходству, а в этом он готов мне пойти навстречу, не открывая своих мотивов.

Сперва мои молитвенные упражнения в покаянии снова мною завладели, и я уже не думал о том, что удалился бы из Рима, если бы не аудиенция у папы. Но в душе моей вершилось некое брожение, мешающее мне стремиться к Небу, как дотолу. Теперь, стоя на молитве, я не столько оплакивал грехи моей прежней жизни, сколько помышлял о моем блестящем жизненном пути: сначала приближенный государя, потом духовник па-

пы, и кто знает, каких еще высот я достигну. Все это ярко вспыхивало перед моим внутренним взором. И я не в силу папского запрета, а как бы нечаянно приостановил мои молитвы, уподобившись другим празднующимся на улицах Рима.

Однажды я шел через Испанскую площадь и увидел толпу, окружившую кукольника, услышал уморительное кваканье Пульчинеллы³⁹, сопровождавшееся ржанием зрителей. Кончился первый акт, толпа предвкушала второй. Взлетела крышка над кукольным ящиком, и вышел Давид со своей пращой и кульком, в котором была галька. Рисуясь и красуясь, обещал он сразить неотесанного верзилу Голиафа и спасти Израиль. Потом что-то глухо заворчало и зарычало. Возник верзила Голиаф с головой невероятных размеров. Как же я удивился, когда с первого взгляда распознал в этой голове чудака Белькампо. Прямо под голову Голиафа он хитроумно подогнал маленькое туловище с ручонками и ножонками, а свои собственные плечи и руки задрапировал тканью, которая сходила за складчатую мантию Голиафа. Голиаф напыщенно разглагольствовал, гримасничал напропалую, гротескно вторя себе своими карличьими конечностями, на что Давид лишь многозначительно посмеивался. Публика же смеялась до того заразительно, что я, отдав должное новому фантастическому амплу малютки Белькампо, не устоял и разразился неподдельным детским хохотом, от которого давно отвык. Ах, как часто с тех пор был смех мой лишь конвульсивной судорогой нестерпимого внутреннего терзания! Битве с верзилой предшествовала длинная словесная баталия, и Давид, вдаваясь в чрезмерную риторику и эрудицию, обосновал необходимость и неизбежность своей смертоубийственной победы над этим страшилищем. В исполнении виртуоза Белькампо лицевые мускулы Голиафа напоминали пучок вспыхивающих молний, а карличьи ручонки великана угрожали карапузу Давиду, который проворно избегал их, выскакивая то здесь, то там, порою из мантии самого Голиафа. Наконец, камешек попал в лоб Голиафу, он рухнул, и крышка захлопнулась. Придурковатый гений Белькампо все еще щекотал мне нервы, и я надрывался со смеху; вдруг чья-то рука слегка хлопнула меня по плечу. Ко мне присоседился незнакомый аббат.

— Приятно видеть, — заговорил он, — что вы, ваше преподобие, не брезгуете земной потехой. Мне довелось наблюдать, как истово вы молитесь, и, признаться, я не представлял себе, что вас может рассмешить подобное скоморошество.

Слова аббата задели меня, как будто он попрекает меня смешливостью; я не удержался и обмолвился словом, о котором тут же пожалел.

— Поверьте мне, господин аббат, — сказал я, — кто смело плыл среди пестрых волн жизни, тот всегда найдет в себе силу вынырнуть из темного потока, так как не привык опускать голову.

Глаза аббата сверкнули.

— Так, — сказал он, — да это настоящая притча, и какая уместная, какая меткая! Думаю, что теперь я вас вполне понял, и восхищаюсь вами от всей души!

— В толк не возьму, сударь, как можно восхищаться бедным кающимся монахом!

— Bravo, преподобнейший!.. Вы не забываете своей роли!.. Ведь к вам благоволит папа?

— Всесвятейшему наместнику Господню угодно было допустить меня до своей особы; я лежал перед ним во прахе, как того заслуживает сокровенная чистейшая добродетель, ведомая вечному Провидению и увенчанная в своем небесном незлобии.

— Да, престолу тройственной короны только тебя и не хватало, уж ты-то знаешь свое дело. Но только помни: нынешний наместник Божий⁴⁰ — сущий агнец в сравнении с Александром Шестым, так что смотри не просчитайся! Впрочем, играй дальше! Чем головокружительнее игра, тем скорее развязка! Прощайте, преподобнейший!

С хохотом язвительной издевки аббат исчез, на меня же напало оцепенение. Поскольку его последняя эскапада не противоречила моему собственному суждению о папе, я не мог больше обольщаться: он отнюдь не восторжествовал над зверем, как я полагал прежде, и особенно ужасно было мое отрезвление, когда я вспомнил о публице, мало-мальски просвещенной, которая не могла не считать моего покаяния показными уловками лицедея, готового на все ради суетного возвышения. Раненный в самое сердце, я поспешил к себе в монастырь и тотчас же встал на молитву в церкви, где, к счастью, никого не было. Я как бы прозрел и снова распознал посягательство темной силы, пытающейся опутать меня своими ковами, но я увидел и свою собственную преступную слабость, и заслуженное возмездие. Теперь меня могло спасти только незамедлительное бегство, и я решил покинуть Рим ранним утром. Почти уже стемнело, когда у ворот монастыря послышался нетерпеливый звон. Вскоре в мою келью заглянул брат привратник и сообщил, что какой-то прохожий в чудном платье срочно спрашивает меня. Когда я вышел в приемную, мне навстречу ринулся Белькампо, как всегда ломаясь, и быстро оттащил меня в угол.

— Медардус, — начал он тихо и поспешно, — ты можешь, как хочешь, мудрствовать себе на погибель, дурость сопутствует тебе на крыльях западного ветра, — южного, юго-юго-западного и всякого другого, и падай ты хоть в пропасть, она поймает последний краешек твоей рясы и тебя вытащит, будь спокоен. О Медардус, доверься дружбе, доверься могуществу любви; Давид и Ионафан — вот пример для нас с тобой, мой милый капуцин!

— Вы непревзойденный Голиаф, — прервал я его излияния, — однако выкладывайте, почему вам понадобилось неотложно меня видеть?

— Почему? — отозвался Белькампо. — Вот именно, почему? Потому что я, безумец, души не чаю в одном капуцине, чью голову я однажды образил, а он раскидывал кроваво-червонные дукаты, водился с жуткими оборотнями и, совершив пустяковое убийство, чуть было не женился на первой красавице в мире, как свободный, вернее, благородный господин.

— Постой! — вскричал я. — Постой, дурачок, тебя страшно слушать. Я ли страданиями не искупаю то, в чем винит меня твоя кощунственная игривость?

— Ах, сударь, — продолжал Белькампо, — неужели супостат наносит незаживающие раны, и они все еще саднят? Ах, далеко вам еще до исцеления! Хорошо же, я буду пай-мальчиком, набожным и послушным, я возьму себя в руки; я перестану резвиться, утихомирюсь физически и духовно, только позвольте как на духу признаться вам, любезный капуцин, что я питаю к вам нежные чувства, ибо вы благородный безумец, а, по-моему, всякое благородное безумие на земле желательно и целесообразно, дай Бог ему здоровья! И потому я отвращаю от тебя любую смертельную опасность, которую ты шутя на себя навлекаешь. Из моего кукольного ящика я подслушал разговор, и о ком же шла речь, если не о тебе. Папа тебя хочет повысить в сане, ты без пяти минут приор монастыря капуцинов и папский духовник. Спасайся бегством, прочь из Рима, кинжалы готовы тебя пронзить. Я даже знаю, кому заплатили, чтобы он препроводил тебя в Царство Небесное. Доминиканец, нынешний духовник папы, со своими приспешниками намерен тебя убрать как опасного противника. Завтра должен твой след простынуть.

Эта новая подробность лишь объяснила эскападу давешнего аббата; мне было о чем подумать, и я едва заметил, как потешный Белькампо неоднократно заключал меня в объятия и, наконец, распростился со мною, как всегда гримасничая и ломаясь.

За полночь я услышал, как отпираются ворота монастыря и по мощеному двору скрежещут колеса кареты. Потом послышались шаги на лестнице, и в мою келью постучали; я открыл, и мне предстал отец настоятель; его сопровождал некто в плаще и в маске с факелом в руке.

— Брат Медардус, — сказал настоятель, — ближний наш при смерти и на смертном одре взыскует вашего духовного увещевания и соборования. Действуйте сообразно вашему сану; следуйте за этим человеком; он проводит вас туда, где вас ждут.

Я похолодел; во мне шевельнулось предчувствие, не смерть ли ждет меня; но я счел отказ невозможным и последовал за безликой фигурой; некто в плаще открыл дверцу и принудил меня сесть в карету; там уже были двое; один сел справа от меня, другой слева. Я осведомился, куда меня везут и кого предстоит мне напутствовать и соборовать. Ни слова в ответ! В безмолвии мы миновали несколько улиц. По слуху я определил, что мы выехали за городскую черту, но вскоре убедился, что мы проезжаем через

городские ворота, потом копыта лошадей опять зацокали по мостовой. Наконец, карета остановилась. Мне быстро связали руки; и на мои глаза опустили тяжелый капюшон.

— Вам не прозрит никакая опасность, — сказал суровый голос, — только не проговоритесь о том, что вы увидите и услышите здесь, иначе вы мгновенно умрете.

Мне помогли выйти из кареты, лязгнули замки, заскрежетали тяжелые, неподатливые петли ворот. Меня повели по длинным коридорам, потом вниз по лестнице; спуск был долгим. Гулкие шаги убедили меня, что мы в склепе; об этом же свидетельствовал спертый воздух, насыщенный трупным смрадом. Наконец, мы остановились; мне развязали руки и освободили мои глаза от капюшона. Я увидел себя в просторном склепе, едва освещенном висячей лампой; подле меня возвышалась безликая фигура в черном плаще, мой вероятный страж и провожатый, а вокруг на низких скамьях сидели монахи-доминиканцы. Ко мне как бы вернулась жуткая греза, посетившая меня впервые в тюремном заключении; я считал мучительную смерть неизбежной, но сохранял мужество и пламенно молился про себя не об избавлении, а только о будущем блаженстве. Последовало несколько минут мрачного, зловещего молчания, потом ко мне подошел один из монахов и произнес глухо:

— Мы приговорили одного из ваших братьев по ордену, Медардус! Наш приговор неотвратим. Вы святой праведник, и вас призвал приговоренный, чтобы вы исповедили его и напутствовали. Приблизьтесь и выполняйте то, что предписано.

Закутанный в плащ все еще стоял рядом. Он взял меня под руку и повел дальше; узкий коридор заканчивался тесным склепом. Там в углу на соломе, казалось, лежал скелет, прикрытый лохмотьями. Мой страж-провожатый, закутанный в плащ, поставил зажженную лампу на каменный стол посреди склепа и удалился. Я увидел, что за скелет я принял человека, изможденного и бледного, но еще живого. Я приблизился к заключенному, он с трудом потянулся ко мне; оцепенение сковало меня, когда я узнал досточтимые черты преподобного Кирилла. Преображающая улыбка небесным светом озарила его лицо.

— Стало быть, — начал он чуть слышным голосом, — страшные адские слуги, орудующие здесь, не солгали мне. От них узнал я, что ты в Риме, мой дорогой брат Медардус, а я тосковал по тебе, я помнил, как я перед тобою грешен; и они заверили меня, что я тебя увижу перед смертью. Значит, настал мой смертный час: они сдержали свое слово.

Я преклонил колени подле праведного, высокочтимого старца; я заклинал его поведать мне, как же это возможно: он в заточенье, он приговорен к смерти!

— Любимый брат Медардус! — ответил Кирилл. — Только после того, как я тебе покаюсь в моем греховном заблуждении, обернувшимся против тебя, и когда ты примиришь меня с Бо-

гом, я позволю себе поговорить с тобою о моем злоключенье и о моем земном исходе. Ты знаешь, и я, и вся наша братия сочла тебя окаяннм грешником; ты навлек на свою голову (так мнилось нам) ужаснейшие проклятья, и мы отреклись от всякого общения с тобою. И все-таки то было лишь одно роковое мгновение, когда дьявол обротал тебя и поволок из святого места в пагубную мирскую суету. Украв у тебя имя, одежду, даже обличие, бесноватый притворщик творил бесчинства, за которые тебя чуть было не казнили, как убийцу. Вечное провиденье, однако, чудесным образом возвестило, что, хотя ты согрешил, играя своим обетом, и едва его не нарушил, ты все же не запятнал себя теми мерзостными святотатствами. Возвращайся и монастырь! Леонардус, братия тем сердечнее тебя примут, что считали тебя погибшим... О Медардус!

Глубокий обморок прервал изнемогающего старца. Его слова придавали моей жизни новый непредвиденный оборот и не могли меня не взбудоражить, но я себя пересилил и, думая только о нем и о спасении его души, лишенный всяких вспомогательных средств, попытался привести его в чувство, медленно и кропотливо поглаживая ему голову и грудь правой рукою, обычный монашеский способ приводить в чувство умирающих. Вскоре Кирилл очнулся, и я, преступный святотатец, исповедал праведника. Но отпуская грехи старцу, чье наивысшее прегрешение заключалось лишь в кратковременных сомнениях, я почувствовал, как вечная Высшая Воля затеплила во мне дух небесный, владеющий и движущий мною в моей телесности, чтобы предвечная Воля могла через человека обратиться к человеку, еще обремененному бранным. Кирилл благоговейно поднял очи как бы в чайные Неба и сказал:

— О мой брат Медардус, как твои слова меня подкрепили! Беспечально иду я навстречу смерти, которую на меня навлекают эти отпетые злодеи. Я готов пасть жертвой гнусного обмана и порока, окружающего престол тройственной короны.

Я услышал глухие шаги, они приближались; ключи скрежетали в замочных скважинах. Кирилл напряг последние силы, пожал мне руку и сказал на ухо:

— Вернись в наш монастырь! Леонардус обо всем осведомлен; он знает, какой смертью я умираю; убеди его молчать о моей смерти. Мне, хворому старику, и так не пришлось бы ждать ее долго... Прощай, брат мой!.. Молись за упокой моей души! Я буду среди вас, когда в монастыре будут отпевать меня. Дай мне слово сохранить в тайне все, что ты здесь узнаешь, иначе ты сам погибнешь и на наш монастырь накличешь тысячу напастей.

Я исполнил его последнюю волю. Вошли закутанные фигуры; они подняли старика с его ложа, но, изнуренный, он не держался на ногах, и они потащили его по коридору в склеп, где я уже побывал. Закутанные знаком велели мне следовать за ними. Доминиканцы образовали круг, в этот круг внесли старика и оста-

вили его, коленопреклоненного, на горке земли, насыпанной в центре круга. В руки старику дали распятие. Я тоже вступил в круг и продолжал громко читать молитвы, полагая, что такова моя функция. Один доминиканец взял меня за руку и отвел в сторону. В то же мгновение в круг вступила закутанная фигура; у нее в руке сверкнул меч, и окровавленная голова Кирилла покатилась к моим ногам.

Я упал без чувств. Очнулся я в маленькой комнате, похожей на келью. Один доминиканец шагнул ко мне и сказал, цинично улыбаясь:

— Вы порядком струхнули, брат мой, а ведь вам следовало бы возликовать, ведь вы своими глазами видели великолепное мученичество. Так ведь следует выражаться, когда монах из вашего монастыря умирает смертью, которую заслужил? Ведь вы же святые, все и каждый.

— Мы не святые, — ответил я, — но в нашем монастыре никогда не убивали невинных! Отпустите меня, я с радостью сослужил мою службу. Его светлый дух пометит меня, когда подлые убийцы меня схватят.

— Не сомневаюсь, — сказал доминиканец, — покойный Кирилл не преминет посетить вас в подобном случае, только благоволите не называть его казнь убийством, возлюбленный брат мой! Кирилл преступно виновен перед наместником Божьим, и смертный приговор скреплен его волей. Но преступник исповедался вам, и нет нужды говорить с вами о его прегрешениях. Позвольте кое-чем попотчевать и усладить вас, а то вы совсем побледнели и приуныли.

С этими словами доминиканец протянул мне хрустальный кубок, в котором играло темно-красное, пахучее вино. Смутное воспоминание пронзило меня, когда я поднял кубок. Да, сомнений не было, так же пахло вино, которым Евфимия собиралась напоить меня в ту роковую ночь, и, не долго думая, инстинктивно вылил я его в левый рукав моего облачения, как бы заслонив при этом левой рукой глаза от яркого света.

— На здоровье! — вскричал доминиканец, поспешно выпроваживая меня за дверь.

Меня бесцеремонно впахнули в карету, на этот раз пустую, к моему удивлению, и карета сразу же тронулась. Кошмар этой ночи, крайнее изнеможение, глубокая боль утраты при мысли о несчастном Кирилле ввергли меня в полубоморочное состояние, так что я молча покорился, когда меня вытолкнули из кареты и довольно грубо бросили на землю. Начинало светать; я увидел, что лежу у ворот монастыря капуцинов, и, кое-как привстав, я ухитрился позвонить. Привратник ужаснулся, увидев, как я бледен и подавлен, и, наверное, поставил в известность приора о том, как я возвратился, ибо сразу же после заутрени встревоженный приор наведался в мою келью. Уклончиво отвечая на его расспросы, я начал говорить, что потрясен смертью христианина, кото-

рого соборовал, однако мою левую руку вдруг обожгла такая боль, что я поперхнулся собственными словами и отчаянно вскрикнул. Пришел монастырский лекарь; с трудом удалось ему оторвать мой рукав от предплечья и запястья; вся моя рука была сплошной раной, как будто пораженная едким составом.

— Меня заставляли это вино выпить... а я его вылил в рукав, — стонал я почти в обмороке от боли.

— К вину была подмешана едкая отравка! — вскричал лекарь и поспешил прибегнуть к снадобьям, несколько утолившим невыносимое страдание. Искусное лечение и тщательный уход, которым обеспечил меня приор, позволили сохранить руку, хотя ампутация сначала казалась неизбежной, но мясо сошло почти до кости, и рука почти омертвела от зловещей цикуты.

— Мне слишком ясно, — сказал приор, — какие обстоятельства едва не лишили вас руки. Праведный брат Кирилл не возвращается к нам в монастырь, нет его и в Риме; таинственное исчезновение, согласитесь! Боюсь, что и вас, возлюбленный брат Медардус, постигнет та же участь, если вы задержитесь в Риме. Настораживает уже то, как назойливо осведомлялись о вас, пока вы были прикованы к постели, но я сам принял меры, и вся наша благочестивая братия меня поддержала; только благодаря этому вы еще живы, ибо ваша келья отнюдь не была застрахована от убийства. Поскольку вы вообще, на мой взгляд, человек недюжинный, то всюду вас подстерегают какие-то роковые тене-та; и в Риме-то вы пробыли недолго, а уже стали притчей во языцех, наверняка непреднамеренно, и уже появились господа, которые не прочь устранить вас. Возвращайтесь-ка лучше на родину, к себе в монастырь. Храни вас Бог!

Я и сам чувствовал, что мне в Риме на каждом шагу грозит опасность, но теперь у меня болела не только душа при мысли о моих прегрешениях, не искупленных суровейшими епитимьями, мучила меня, кроме того, физическая боль, так как рука моя разлагалась, и я не слишком дорожил жизнью, отравленной изнурительным недугом, и мгновенная смерть оказала бы мне услугу, избавив от постылого ига. Меня больше не пугала мысль о том, что я умру насильственной смертью; я стал даже мечтать о мученичестве, увенчивающем славою мое суровое покаяние. Я так и видел: вот я выхожу за ворота монастыря, и некая темная фигура пронзает меня кинжалом. Народ собирается вокруг моих окровавленных останков.

«Медардус! Кающийся праведник Медардус убит!» — раздаются на улицах крики, а народ все прибывает; невинно убиенного оплакивают громче и громче.

Женщины преклоняют подле меня колени, чтобы омочить белые платки кровью из моей раны.

Вот одна из них узрела крестообразную метку на моей шее и громко вопиет: «Он мученик, он святой, он мечен Господом, взгляните на его шею!»

Тут уже все повергаются на колени. Блажен тот, кто притрется к телу святого или хотя бы к его облачению.

А вот и носилки; на них водружено тело, усыпанное цветами; триумфальное шествие юношей переносит мои останки в собор Святого Петра.

Так моя фантазия рисовала живыми красками картину моего будущего прославления, и, забыв о происках злого духа, другим способом подстрекающего во мне греховную гордость, я укрепился в решении не покидать Рима, даже если исцелюсь окончательно, а, напротив, приняться за прежнее и сподобиться мученического венца или высокого церковного сана, если папа вознесет меня над моими врагами.

Моя могучая жизнестойкая натура совладала, наконец, с невыносимым страданием и с вторжением адского настоя, проникшего извне, чтобы разлагать мою душу. Лекарь предрекал мне скорое исцеление, и, действительно, лишь в минутном умопомрачении, предшествующем засыпанию, меня иногда лихорадило, знобило или бросало в жар. Именно в такие минуты, когда меня особенно прельщала картина моего будущего мученичества, я снова увидел себя, пронзенного кинжалом. Но это произошло в моем тогдашнем видении не на Испанской площади, и лежал я, распростертый, не среди толпы, требующей моей канонизации, нет, я валялся одинокий в одной из аллей монастырского парка в Б.

Вместо крови из моей зияющей раны сочилось что-то мерзкое, бесцветное, и некий голос рек: «Такова ли кровь мученика? Но эту грязную жижу я процежу, окрашу, и она загорится пламенем, которое затмит денницу!»

Я рек это, но мое «я» как бы оторвалось от меня мертвого, и я заметил, что я лишь бесплотный помысел моего «я», и я уже был не «я», а багрянец, плавающий в эфире; я воспарил к святищимся горным вершинам, устремился в родную твердыню через врата золотых утренних облаков, но молнии переплелись под сводом небес, подобно змеям, пламенеющим в огне, и промозглым тусклым туманом начал я снижаться над землею.

«Я — я, — говорил мой помысел, — я цвет ваших цветов — цвет вашей крови — кровь и цветы — ваше брачное убранство — я вам его дарую!»

Когда я достаточно снизился, я увидел тот же труп; у него в груди зияла рана, из которой потоками хлестала та же грязная вода.

Мой дух должен был превратить воду в кровь, но грязь осталась грязью, а труп встал, выпрямился, впился в меня своими впалыми, жуткими глазами и завыл, как северный ветер в глубоком ущелье: «Дурий, незрячий помысел, денница вовсе не составляется с пламенем, денница — огненное крещение багрянцем, который ты пытаешься отравить».

Труп снова повалился на землю, цветы на лугу опустили

увядшие венчики; люди, похожие на бледные призраки, попадали, и тысячеголосая безутешная скорбь разнеслась по воздуху: «Господи, Господи, неужели бремя наших грехов столь непомерно, что Ты позволишь супостату умертвить искупительную жертву нашей крови?»

Жалоба нарастала, как волна бушующего моря!

Помысел разбился бы о могучий звук этой безутешной скорби, но как будто электрический удар потряс меня, и сна как не бывало. Колокол на монастырской башне пробил полночь; ослепительный свет из окон церкви ворвался в мою келью.

«Мертвые встали из гробов и служат всенощную», — сказало что-то во мне, и я начал молиться.

Тут послышался тихий стук. Я подумал, что какой-нибудь монах стучится в мою келью, но тут же меня охватил ужас; я узнал зловещее хихиканье и смешки моего чудовищного двойника: «Братец мой... братец мой... я здесь... я здесь... Рана не зажила... не зажила... кровь красна... кровь красна... Мы вдвоем, братец Медардус, мы вдвоем!»

Я бы вскочил с постели, но ледяное одеяло ужаса придавило меня; и когда я пробовал двинуться, судорога раздирала мои мускулы. Мне осталась только мысль, и она была пламенной молитвой: да избавлюсь я от лютой нечисти, рвущейся ко мне через врата преисподней. Я молился про себя и своими ушами слышал мою немую молитву, и она торжествовала над постукиванием, хихиканьем и зловещим лепетом жуткого двойника, и, наконец, осталось только непостижимое жужжанье, как будто южный ветер пробудил полчища ненасытных насекомых, ядовитыми хоботками истребляющих свежие всходы.

А потом жужжанье снова оказалось безутешной жалобой человечества, и моя душа спросила: «Не пророческое ли это видение, исцеляющее, заживляющее твою кровавую рану?»

В это мгновение пурпурный пламень вечерней зари хлынул сквозь тусклый, промозглый туман, и в тумане возвысился образ. То был Христос; каждая его рана уронила на землю капельку крови, и земле был возвращен багрянец, и жалоба человечества превратилась в торжествующее песнопение, потому что багрянец был милостью Божьей, изливающейся на всех и каждого.

Только кровь Медардуса все еще сочилась, бесцветная, из его раны, и он пламенно молился: «Или на всей земле мне одному нет спасения от вечной казни проклятых?»

Тогда в кустах что-то двинулось; роза, обгаренная небесным пламенем, приподняла головку и подарила Медардусу ангельски нежную улыбку, и сладчайшее благоуханье оваяло его, и благоуханье было чудотворным излучением чистейшего весеннего эфира. «Нет, не огонь восторжествовал; огонь с денницей не состязается; огонь — слово, просвещающее грешных».

Не роза ли изрекла эти слова, но роза была не роза, а ненаглядная дева.

Вся в белом, с розами в темных волосах, шествовала она мне навстречу, «Аврелия!» — воскликнул я, возвращаясь к яви; в келье дивно пахло розами, и не грезой ли наяву должен был я счесть образ Аврелии, такой отчетливый, что я даже видел ее проникновенные очи, устремленные на меня, но потом он отвел я в утренних лучах в моей келье.

И я вновь распознал демонское стреляние и мою духовную податливость. Я поспешил в церковь и, снедаемый праведным огнем, встал на молитву перед алтарем святой Розалии

Нет, не самобичеванья, не епитимья, налагаемые монастырским уставом, двигали мною, когда в полдень под отвесными лучами солнца я был уже в нескольких часах пути от Рима. Не только последний наказ Кирилла, но и сокровенная неодолимая тоска по родине вела меня тою же стезею, по которой прежде я направлялся в Рим. Сам того не желая, стремясь бежать от моего призвания, избрал я кратчайший путь к цели, означенной для меня приором Леонардусом.

Я избрал окольный путь, не приблизившись к резиденции князя, не потому, что я боялся нового разоблачения и уголовного суда, нет, как я мог без невыносимых угрызений вновь посетить место, где, кошунственно искажая свое внутреннее существо, смел я алкать земного счастья, отвергнутого мною, когда я посвятил себя Богу, ах, где я, изменив духу чистейшей любви, счел светоносным зенитом жизни, сочетающим естественное и сверхъестественное в нерасторжимом излучении, мгновенный чувственный экстаз торжествующего животного, где бурный расцвет жизни, подкрепленный своим же собственным изобильным роскошеством, представился мне стихией, которая не может не восставать яростно против тяги к Небесному, а самое эту тягу я дерзнул признать про себя противоестественным самоотречением!

Да только ли это! — хотя я и воздвиг в своем сердце некую твердыню, неукоснительно блюдя себя и упорно, беспощадно каюсь, все же я чувствовал в глубине моей души бессилие, неспособное противостоять жуткой темной власти, чьим посягательствам я был подвержен, что слишком часто и ужасно давало себя чувствовать.

Встретить Аврелию! Она, быть может, еще более прелестна и прекрасна! Вынесу ли я эту встречу, не поддавшись духу зла, который вновь разгорячит мою кровь адским пламенем, чтобы она, шипя и вскипая, разлилась по моим жилам?

Аврелия и так слишком часто виделась мне, и столь же часто оживали в душе моей чувства, несомненно пагубные и лишь с превеликим трудом уничтожаемые силой моей воли. Лишь сознавая свою уязвимость, опасную для меня без пристальнейшей бдительности, лишь чувствуя свою непригодность к битве, которой мне лучше избегать, мог я доказать самому себе неподдельность моего раскаяния и утешиться, по крайней мере, тем, что я

избавился от адского духа гордости, подстрекавшего меня прежде на вызывающее соревнование с полчищами мрака.

Вскоре я углубился в горы, и однажды утром в тумане долины, пролежавшей передо мною, возник замок; приблизившись, я не мог не узнать его. То были владения барона фон Ф. Парк пришел в запустение, аллеи заросли сорными травами; красивый газон перед замком превратился в травянистое пастбище для скота; в окнах замка кое-где были выбиты стекла, подъезд превратился в руины.

Ни единой человеческой души не замечалось поблизости.

Я стоял как вкопанный и молчал среди этого гнетущего одиночества. Тихий стон послышался из кущи, напоминавшей прежнее великолепие, и я увидел старца, седого как лунь; он сидел в куще и не видел меня, хотя я стоял неподалеку от него. Тогда я подошел еще ближе и услышал:

— Покойники... Покойники все, кого я любил... Ах, Аврелия! Аврелия! И ты — последняя — мертва — мертва для этого мира!

То был старый Рейнгольд — я снова остолбенел.

— Аврелия мертва? Нет, нет, ты бредишь, старик; Провиденье отвело от нее нож презренного убийцы!

Так я сказал, а старик вскинулся, как будто его ударила молния, и закричал:

— Кто здесь? Кто здесь? Леопольд! Леопольд!

Из кустов выпрыгнул мальчик; увидев меня, он низко поклонился с приветствием:

— *Laudetur Jesus Christus!**

— *In omnia saecula saeculorum*** — отозвался я.

Старик сорвался с места и закричал еще громче:

— Кто здесь? Кто здесь?

Я убедился, что старик слеп.

— Пришел преподобный отец, монах из ордена капуцинов, — сказал мальчик.

Старик явно испугался, ужаснулся; он завопил:

— Уйдем, уйдем отсюда!.. Мальчик, уведи меня... В дом, в дом! Двери на замок! Пусть Петер караулит... Уйдем, уйдем скорее!

Старик собрал все оставшиеся силы, чтобы бежать от меня, как от свирепого хищника. Удивленный, испуганный мальчик смотрел на меня, а старик уже сам тащил за собой своего поводыря; двери сразу же за ними захлопнулись, и я услышал, как заскрежетали замки.

Мои прежние чудовищнейшие преступления как бы вновь разыгрались передо мной при виде их ослепшего свидетеля, и я в ужасе бежал, пока не оказался в глухих лесных дебрях. Измученный, поник я на густые мхи у корней дерева; неподалеку

* Слава Иисусу Христу! (*лат.*)

** Во веки веков (*лат.*).

виднелся холмик, насыпанный человеческими руками, этот холмик был увенчан крестом.

Когда меня отпустил сон, вызванный усталостью, подле меня сидел старый крестьянин; увидев, что я пробудился, он почти-тельно обнажил голову и сказал с добродушной приветливостью

— Ах, преподобный отец, видать, вы прошли не ближний путь и совсем выбились из сил, иначе бы вы вряд ли облюбовали бы для сна такое зловещее местечко, здесь не заснешь ни за какие коврижки. Или вы в самом деле не знаете, что здесь произошло?

Я уверил его, что я не здешний, что ходил в Италию на поклонение святым местам, а сюда забрел на обратном пути и не слыхивал о здешних происшествиях.

— Дело в том, — сказал крестьянин, — что здесь особенно не везет братьям капуцинам, и я, признаться, боялся за вас, вот я и сидел и караулил, пока вы тут почивали, не попритчилось бы вам чего дурного, не ровен час Расскажут, что несколько лет назад здесь убили капуцина. Точно известно, что в нашу деревню наведался тогда капуцин, заночевал у нас и, продолжая свой путь, углубился в горы. В тот же день мой сосед проходил через глубокую расселину как раз под Чертовым Троном и услышал вдалеке отчаянный крик, прямо-таки нечеловеческий. Он уверял, что даже видел, как некто загремел с вершины в пропасть, но тут, пожалуй, он загнул; такое увидишь едва ли. Однако, что верно, то верно, мы все в деревне заподозрили, что тут не без греха, словно кто надоумил нас, не помогли ли капуцину рухнуть в пропасть, и некоторые из наших, остерегаясь, не сломать бы самим шею, все-таки пошли искать хоть мертвое тело того несчастного. Искали мы, конечно, впустую и подняли потом на смех нашего соседа, будто бы видевшего в лунную ночь на обратном пути через ту самую расселину, как из Чертовой пропасти вылезал кто-то голый; чего со страху не померещится! Вроде бы испугался человек собственной тени, а не тут-то было: потом пошли слухи, будто какой-то знатный господин прищучил здесь капуцина и спровадил его труп в Чертову пропасть. Здесь-то, стало быть, и произошло убийство, у меня даже сомнений в этом нет. Сами посудите, преподобный отец: сижу я здесь как-то в раздумии, вот меня и угораздило взглянуть вон на то дерево с дуплом, видите, до него рукой подать. И бросилась мне в глаза темная ткань, свисающая из щели. Я не стал рассиживаться, дал себе труд подойти и вытащил новую с иголки рясу капуцина. Один рукав был чуточку попорчен засохшей кровью, а на самом краешке полы отчетливо прочитывалось имя «Медардус». Я, как вы понимаете, человек не богатый, вот я и подумал сделать доброе дело: продам-ка я рясу, а на вырученные деньги закажу-ка я мессы за упокой души бедного преподобного отца, убитого здесь; смерть ведь застигла его врасплох, и умер он без покаяния. Вот я и повез рясу в город, но ни один торгаш не купил ее, а монастыри капуцинов от нас далеконокко; вдруг, откуда ни

возьмись, человек, одежда у него как у егеря, то бишь лесника; ему, говорит, именно такая ряса требуется, и отвалил он мне денег за мою находку, не обидел меня. Вот я и заказал нашему священнику мессу по первому разряду, а здесь, так как в Чертовой пропасти креста не поставишь, водрузил что мог в память убиенного господина капуцина. Но, видно, покойный и сам был сорвиголова, не тем будь помянут; иначе бы он здесь не шлялся после смерти, а то даже месса господина священника не утихомирила его. Вот я и прошу вас, преподобный отец, дай вам Бог вернуться восвояси целым и невредимым, уж вы отслужите что полагается за упокой души вашего собрата по ордену Медардуса. Обещайте мне это, Христа ради!

— Вы дали маху, дружище, — сказал я. — Никто не убивал капуцина Медардуса, действительно проходившего несколько лет назад через вашу деревню по дороге в Италию. Заказывать за него мессы нет пока еще никакой надобности; он живехонек и может сам позаботиться о спасении своей души. Я знаю, что говорю, так как сам я и есть Медардус.

С этими словами я распахнул рясу и показал ему краешек, меченный именем «Медардус». Стоило крестьянину прочитать это имя, как он побледнел и уставился на меня в ужасе. Потом он сорвался с места и, отчаянно вопя, бросился в лес. Конечно, он принял меня за неприкаемый призрак убитого Медардуса, и мне все равно не удалось бы рассеять его заблуждение.

Само безлюдье, глушь и тишина, нарушаемая только смутным журчанием отдаленного лесного потока, предрасполагали к восприятию пугающих образов; мне самому представился мой жуткий двойник; ужас крестьянина оказался заразительным, и в глубине моей души зашевелилось предчувствие, не выйдет ли сейчас мой двойник из-за ближайшего темного куста

Собравшись с духом, я продолжил свой путь и долго не мог отделаться от мысли, подказанной мне крестьянином, не призрак ли я самого себя, а когда эта мысль наконец меня оставила, подумал, что теперь понимаю, откуда у сумасшедшего монаха ряса капуцина: он оставил мне ее, убегая, и я не мог не признать ее своею. Он же околачивался у лесничего и выпрашивал у него новую рясу, вот лесничий и купил ее в городе у крестьянина. В глубине души моей запечатлелась причудливость, обкорнавшая по-своему роковое происшествие, чтобы все обстоятельства, совпав как на грех, способствовали отождествлению меня и Викторина. Особую важность приобретало для меня диковинное видение, о котором рассказывал боязливый односельчанин моего собеседника, и я предвкушал уже более вразумительное толкование, не подозревая пока еще, к чему оно сведется.

Наконец, после долгого непрерывного странствия в течение нескольких недель, я почти достиг моей родины; с бьющимся сердцем взглядывался я в башни цистерцианского женского монастыря, возвышающиеся передо мною. Миновав деревню, я

вышел на площадь перед монастырской церковью. До меня доносилось торжественное пение мужского хора. Потом я увидел крест. Монахи шли за ним по двое, как во время крестного хода. Ах, я узнал моих братьев; их возглавлял старец Леонардус, опирающийся на молодого монаха, незнакомого мне. Не замечая меня, они с пением направлялись в открытые монастырские ворота. Подобным образом туда же вступили доминиканцы и францисканцы из Б., в монастырский двор въезжали закрытые кареты; это прибыли монахини из монастыря святой Клары, что в Б. Все говорило о том, что в монастыре готовится особо торжественная церемония. Церковные ворота были широко распахнуты; я вошел и увидел необычайную чистоту и убранство.

Украшали гирляндами цветов главный алтарь и боковые приделы; некий пономарь громко говорил о том, что розы уже расцвели, а завтра они понадобятся спозаранку, ибо такова воля госпожи настоятельницы: главный алтарь надлежит непременно украсить розами.

Мне не терпелось присоединиться к братьям, и, подкрепив душу усиленной молитвой, я вошел в монастырь и спросил приора Леонардуса; сестра привратница проводила меня в зал, где Леонардус сидел в кресле, окруженный братьями; громко плача, с душевным сокрушением, неспособный выговорить ни слова, повергся я к ногам приора.

— Медардус! — воскликнул он, и братья негромко повторили в один голос: «Медардус... брат Медардус, наконец, опять среди нас!»

— Слава небесным силам, сохранившим тебя от уловок злокозненного мира; ну, рассказывай, рассказывай, брат наш! — перебивали монахи друг друга.

Приор встал с кресла, и, повинуясь его знаку, я последовал за ним в келью, которую он обычно занимал, посещая женский монастырь.

— Медардус! — начал он, — ты кощунственно преступил свой обет; вместо того, чтобы выполнить наказания, сопутствовавшие тебе, ты обесчестил себя бегством, недостойнейшим образом обманув монастырь. Подобало бы подвергнуть тебя заточению, если бы я намеревался руководствоваться уставом по всей строгости.

— Судите меня, преподобный отец мой, — ответил я, — судите меня, как велит устав; ах, с радостью сброшу я бремя этой убогой, изнурительной жизни! Я и сам чувствую, что строжайшая епитимья, которой подверг я себя, не вернула мне упования!

— Не падай духом, — продолжал Леонардус, — это говорил с тобой приор, теперь будет говорить друг и отец. Чудом избежал ты смерти, грозившей тебе в Риме... А вот Кирилл не избежал мученичества...

— Так вы знаете? — спросил я, полный изумления.

— Знаю, — ответил приор, — я знаю, как ты поддержал не-

счастливого в последнюю минуту и как тебя хотели отравить вином, предложив его тебе для освежения. По-видимому, тебе удалось даже под наблюдением тех монастырских аргусов пролить это зелье; если бы ты проглотил хоть каплю, тебя бы не было в живых через десять минут.

— Посмотрите, — воскликнул я и, засучив рукав рясы, показал приору мою руку, высохшую до кости; при этом я рассказал, как, чуя опасность, вылил вино себе в рукав. Леонардуса передернуло при виде руки, которую могла бы протянуть ему мумия; что-то глухо отозвалось в нем:

— Вот оно, искупление всех твоих святотатственных посягательств; но Кирилл — о, ты праведный старец!

Я сказал, что тайная казнь бедного Кирилла до сих пор озадачивает меня, так как мне неизвестна ее причина.

— Вряд ли, — сказал приор, — ты сам избежал бы подобной судьбы, если бы ты, а не Кирилл, представлял в Риме интересы нашего монастыря. Ты знаешь, наш монастырь претендует на доходы, которые незаконно присваивает себе кардинал... вот что побудило кардинала нежданно-негаданно сблизиться с папским духовником; вот почему яростная вражда вдруг сменилась дружкой; так он привлек на свою сторону влиятельного доминиканца, противопоставив его могущество Кириллу. Лукавый монах быстро смекнул, как отделаться от Кирилла. Он сам представил Кирилла папе и так обрисовал приезжего капуцина, что папа восхитился его достоинствами и приблизил его к себе, включив Кирилла в свое окружение. От Кирилла, конечно, не ускользнуло, как наместник Божий привержен своей державе в этом мире с его соблазнами, как лицемерное исчадие играет его страстями и, вопреки могучему духу, вообще говоря, обитающему в нем, находит презренные средства подчинить его себе и раскачивать между небом и землею. Благодетельный Кирилл, как можно было предвидеть, возгорелся праведным гневом и почуствовал в себе призвание огненными речами по наитию духа потрясти папу и обесценить в его глазах земное. Изнеженное сердце оказалось действительно отзывчивым к речам благочестивого старца, но именно в своем умилении папа был уязвим и для происков доминиканца, исподволь искусно подготавливавшего удар, смертельный для бедного Кирилла. Он уверил папу, будто существует ни много ни мало, как тайный заговор и перед Церковью хотят его представить недостойным тройной короны; Кирилл будто бы склоняет его ко всенародному покаянию, а оно послужит поводом для кардиналов открыто восстать против папы, так как брожение среди них уже имеет место. И папа действительно почуял в душеспасительных речах Кирилла коварное поползновение; старец ему опротивел, и он не изгоял его из своего окружения лишь потому, что предпочитал пока не делать слишком демонстративного шага. Едва Кирилл опять нашел возможность говорить с папой без свидетелей, он сразу же сказал ему, что, не

отрекаясь всецело от мирских вожделений и не достигая истинной святости в собственной жизни, недостойный наместник Божий наносит Церкви урон, и она вынуждена избавиться от него как от позорного, губительного довеска. Едва Кирилл покинул внутренние покои, оказалась отравленной вода со льдом, которой папа утолял обычно жажду. Я полагаю, нет нужды доказывать тебе, хорошо знавшему благочестивого старца, что Кирилл был в этом неповинен. Но папа не сомневался в его вине, отсюда приказ, повелевающий доминиканцам тайно казнить монаха-пришельца. Ты привлекал к себе в Риме общее внимание, и папа заподозрил в тебе родственную душу, внимая твоим речам и, в особенности, твоему жизнеописанию; он подумал, что вместе с тобою поднимется выше над жизнью, а греховное философствование о религии и добродетели придаст ему силы грешить вдохновенно, как я позволил бы себе выразиться. Твои упражнения в покаянии он рассматривал как искусную уловку лицемера, рвущегося наверх. Он был захвачен твоим успехом и с наслаждением купался в твоих красноречивых восхвалениях. Так и случилось, что ты обошел доминиканца и достиг высоты, более опасной для его камарильи, чем любые увещания Кирилла. Ты видишь, Медардус, я знаю все, что ты делал в Риме, знаю каждое твое слово, произнесенное тобой в присутствии папы, и это перестанет тебя удивлять, если я скажу тебе: к его святейшеству чрезвычайно близок друг нашего монастыря, и он меня обо всем ставит в известность. Даже когда ты думал, что говоришь с папой наедине, он не пропустил ни одного твоего слова. Когда ты приступил к строжайшему покаянию в монастыре, чей приор — мой близкий родич, я не сомневался в твоём чистосердечье. Ты и был чистосердечен, однако в Риме на тебя снова напал злой дух греховного высокомерия, которому ты и у нас был подвержен. Почему ты обвинил себя перед папой в преступлениях, которых ты не совершал? Ты же никогда не был в замке барона фон Ф.

— Ах, преподобный отец мой, — воскликнул я, изнывая от внутренней боли, — да там-то и совершил я ужаснейшие мои преступления! Но и суровейшее наказание вечной, неисповедимой власти в том, что никогда мне на земле не очиститься от греховной скверны, навлеченной в безумном ослеплении! Преподобный отец мой, и для вас я тоже лишь преступный лицемер?

— В самом деле, — продолжал приор, — твой нынешний вид и твои слова как будто опровергают подозрение во лжи, на которую ты вряд ли способен после такого сурового покаяния, однако кое-что не вяжется с твоими словами, и я никак не могу разгадать эту загадку. Вскоре после твоего бегства из резиденции (само Небо предотвратило преступление, на которое ты покушался; Небо спасло набожную Аврелию), так вот, говорю я, вскоре после твоего бегства, когда чудом уклонился от казни и монах, которого даже Кирилл счел тобою, выяснилось, однако,

что не ты, а граф Викторин, переодетый капуцином, побывал в замке барона. Правда, в архиве Евфимии уже прежде нашлись письма, подтверждающие это, однако были основания считать, что сама Евфимия обманулась, так как Рейнгольд стоял на своем: он, мол, изучил твою внешность до последней черточки и никогда бы тебя не спутал с графом Викторином, как бы ты ни был на него похож. Но тогда ослепление Евфимии остается необъяснимым. А тут еще появляется графский конюх и рассказывает, мол, граф не один месяц провел в горах и не брился все это время, а потом встретился ему в лесу как раз у Чертовой пропасти в рясе капуцина. Хотя он и не знал, где граф раздобыл подобный костюм, сам по себе этот маскарад не был для конюха неожиданностью, ибо граф не держал от него в секрете своего замысла посетить замок барона в монашеском облачении; для этого граф и намеревался ходить в рясе целый год, посягая, собственно говоря, на большее. Правда, конюх подозревал, откуда у графа ряса капуцина; за день до этого граф говорил, что в деревне ему попался на глаза странствующий капуцин; тот наверняка пойдет через лес, а тогда уж найдется способ заполучить его рясу. Конюх так и не видел капуцина, однако слышал крик, и в деревне потом толковали о капуцине, убитом в лесу. Уж конюх-то знал внешность своего господина и успел присмотреться к нему, когда он бежал из замка; вряд ли он спутал бы графа с кем-нибудь другим.

Таким образом, конюх достаточно убедительно опровергал Рейнгольда, однако Викторин отсутствовал, и было совершенно непостижимо, где он скрывается. Княгиня настаивала на своей гипотезе, будто самозванный господин фон Крчинский из Квечичева и был граф Викторин, что подтверждается его бесспорным броским сходством с Франческо, чья вина давно ни у кого не вызывает сомнений; потому-то она так и тяготилась присутствием этого господина. Многие с ней соглашались, усматривая истинно графскую осанку у авантюриста, принимать которого за переодетого монаха было, по их мнению, просто смешно. А тут еще лесничий поведал о сумасшедшем монахе, лесном страшилище, которого он принял к себе в дом, что вполне могло последовать за бесчинствами Викторина, если принять на веру некоторые другие предположения.

Тождество сумасшедшего монаха с Медардусом со всей ответственностью засвидетельствовал монах из монастыря, в котором состоял Медардус; так что иначе и быть не могло. Викторин сбросил его в пропасть; не исключалась при этом странная случайность, которая спасла его. Он пришел в себя и, хотя череп его был опасно поврежден, умудрился вылезти из гибельной бездны. От боли, голода и жажды он помешался, чтобы не сказать — взбесился!

Так он в лохмотьях бегал по горам, где тот или иной сердобольный крестьянин мог время от времени уделять ему кое-ка-

кую пищу; так он и блуждал, пока не оказался в лесничестве. Две вещи, однако, не вписываются в эту версию, а именно: как Медардус беспрепятственно пробежал такое расстояние и почему в мгновения, когда сознание его прояснялось, а такие мгновения засвидетельствованы врачами, он мог приписывать себе чужие преступления? Те, кто отстаивал вероятность подобной версии, напоминали, что никому не введом судьба Медардуса, выбравшегося из Чертовой пропасти; безумие могло впервые постигнуть его тогда, когда паломничество привело его в лесничество. Что же касается признаний в ответ на обвинения, то отсюда следует: душевный недуг его неизлечим, и светлые промежутки были мнимыми. Комплекс виновности принял у него форму навязчивой идеи; вот он и стал приписывать себе преступления, в которых его обвиняли.

Следователь, на чью компетентность полагались в этом деле, говорил, когда спрашивали его мнения: «Самозванный господин фон Крчинский — отнюдь не поляк и вовсе не граф, а уж с графом Викториним он не имеет ничего общего; отсюда, впрочем, не следует, что он невиновен; монах был и остается сумасшедшим и за свои действия не отвечает; поэтому уголовный суд мог признать необходимой лишь его изоляцию».

Но князь решительно отвергал этот вывод; преступления, совершенные в замке барона, так возмутили князя, что изоляцию, предложенную уголовным судом, он заменил смертной казнью через усекновение головы. Но каким бы чудовищным ни было происшедшее в этой ничтожной переменчивой жизни, будь то событие или деяние в первое мгновение, интенсивность и напряженность красок быстро скрадываются, и то, что в резиденции и при дворе вызывало ужас и содрогание, быстро скатилось на уровень пошлых пересудов. Домысел, будто сбежавший из-под венца жених Аврелии — граф Викторин, живо напомнил историю итальянки, просветив на ее счет не осведомленных дотол, так как осведомленные теперь уверились в своем праве разглашать прошлое, и всякий, кто видел Медардуса, объяснял его разительное внешнее сходство с графом Викториним их общим происхождением: как-никак они оба сыновья одного отца Лейб-медик, например, не сомневался, что дело обстоит именно так, и доказывал князю: «Слава Богу, милостивый государь, что оба этих жутких типа дали тягу; не будем же искушать судьбу дальнейшими розысками».

Хотя князь и не признавался в этом, такое мнение вполне устраивало его, ибо этот Медардус, единый в двух лицах, провоцировал его на один просчет за другим. «Мы все равно не раскроем тайну, — говорил князь, — и не пристало нам теребить пелену, которой чудесная судьба облекла ее нам на благо». Разве что Аврелия...

— Аврелия! — пылко прервал я приора. — Ради Бога, преподобный отец мой, скажите мне, что Аврелия?

— Ах, брат Медардус, — мягко улыбнулся приор, — значит, опасный жар не остыл еще в твоей душе? Значит, пламя разгорается, стоит слегка пошевелить угли? Значит, еще не преодолены грешные поползновения, совратившие тебя? И ты хочешь убедить меня, что ты воистину покаялся? Ты хочешь убедить меня, что дух лжи больше не обуревает тебя? Знай, Медардус, я поверю в твое покаяние лишь тогда, когда ты докажешь мне, что действительно совершил все непотребства, взятые тобой на себя. Лишь в этом случае мог бы я поверить, что те гнусности до неузнаваемости исковеркали твою душу и ты, забыв, как я тебя учил подлинному, проникновенному покаянию, в отчаянье, подобно потерпевшему кораблекрушение, уцепился за легкую, неверную дощечку, за мнимые искупительные уловки, так что не только заблудший папа, но и любой истинно верующий христианин должен был тебя счесть лукавым притворщиком. Скажи, Медардус, не осквернил ли ты свое благочестие, воспаряющее к вечному Провидению, помыслом об Аврелии?

Все внутри меня замерло, я не смел поднять глаз.

— Теперь ты не лжешь, Медардус, — продолжал приор, — я верю твоему молчанию. Я же никогда не сомневался, что польский дворянин в княжеской резиденции, жених баронессы Аврелии, не кто иной, как ты. Я старался не упускать из виду твоего пути, и это мне, в общем, удавалось, чему весьма способствовал один редкостный человечек (он тогда рекомендовался «Белькампо, тупейный художник»), уже из Рима он извещал меня о тебе; мне ли было не догадаться, что это ты ужасным образом умертвил Евфимию и Гермогена, и тем омерзительнее для меня были дьявольские тенета, которыми ты прельщал Аврелию. Я бы мог навлечь на тебя гибель, но далека от меня мысль считать себя избранным для возмездия, и я предоставил тебя вместе с твоей судьбой вечному Промыслу Божьему. Бог чудом сохранил тебя, и я усматриваю в этом указание: ты можешь еще избежать земной гибели. Ты только послушай, какое необычное обстоятельство заставило все-таки меня впоследствии предположить, что граф Викторин был капуцином, проникшим в замок барона фон Ф.

Не слишком давно брат Себастьян, привратник нашего монастыря, был разбужен оханьем и стонами, напоминающими последний вздох умирающего. Уже обутрело; он встал и открыл монастырские ворота; у самых ворот лежал человек, чуть живой от ночного холода; еле ворочая языком, он назвался Медардусом, монахом, бежавшим из нашего монастыря.

Себастьян испугался и поспешил доложить мне о том, что происходит внизу; я спустился туда с братьями, и мы перенесли в трапезную загадочного полуночника: он был в обмороке. Лицо человека было искажено до ужаса, и все-таки мы приняли его за тебя; кое-кто настаивал, что наш Медардус вовсе даже не изменился, а только непривычно одет. Сохранилась борода и тонзу-

ра, а светское платье, совершенно изорванное и попорченное, было по своему фасону изящным и даже щегольским. Он носил шелковые чулки, атласный жилет; на одной туфле еще поблескивала золотая пряжка.

— Каштаново-коричневый сюртук тончайшего сукна, — вставил я, — превосходнейшее белье и простое золотое кольцо на пальце.

— Правильно, — сказал удивленный Леонардус, — но ты-то откуда знаешь...

— Ах, это мой костюм; я надел его в роковой день моей свадьбы!

У меня перед глазами так и стоял мой двойник. Нет, это не был ужасный, дьявольский морок, лишенный собственного существа, оборотень, впивающийся в мое нутро, несущийся за мной, вскакивающий мне на закорки; нет, мой преследователь был сумасшедший беглый монах, завладевший, наконец, моим платьем, когда я лежал без чувств, и оставивший мне рясу взамен. Вот кто валялся у монастырских ворот, мое ужасное подобие... как бы я сам!

Я попросил приора продолжать; смутное чаянье истины брезжило во мне, обещая расшифровать мое невероятнейшее, таинственнейшее прошлое.

— В этом человеке, — рассказывал дальше приор, — не замедлили сказаться очевидные следы неизлечимого душевного недуга, и хотя внешне он был вылитый ты, хотя он то и дело заявлял: «Я Медардус, беглый монах, я у вас на покаянье!» — вскоре мы уже не сомневались, что у него такая мания: воображать себя тобой. Он получил от нас облачение капуцина, мы брали его с собой в церковь, где допустили его до обычных треб, и, несмотря на все свои ухищрения, он быстро выдал себя: мы убедились, что в монастыре он никогда не жил. Мне не могла прийти в голову мысль: что, если это и есть монах, сбегавший из резиденции, не Викторин ли это?

Я знал историю, которую однажды поведал сумасшедший лесничему, и потому предположил, что все ее перипетии, включая нахождение и распитие дьявольского эликсира, мистерия в узилище, пребывание в монастыре и прочее — своего рода выкидыш страдающей психики, испытавшей некое влияние твоей индивидуальности. Характерно в этом отношении, что порою на него все-таки накатывало и тогда он кричал, я, мол, граф и повелитель.

Я решил было водворить чужака в специальную лечебницу в Санкт-Гетрей⁴¹, и у меня были основания надеяться: если кто и способен помочь ему, так это ее директор, гениальный врач, глубоко исследовавший все органические расстройства человеческой природы. Выздоровление неизвестного позволило бы нам хоть отчасти проследить таинственную игру непостижимых сил. Но судьба распорядилась по-другому. На третью ночь меня раз-

будил колокол, который, как ты знаешь, звонит всегда, когда больному в нашем лазарете требуется мое напутствие. Я вошел туда, и мне сказали, что неизвестный умолял позвать меня, что он, по-видимому, совершенно опаматовался, хочет исповедаться и, действительно, он еле дышит и вряд ли доживет до утра.

«Простите, — начал неизвестный в ответ на мое пастырское напутствие, — простите, преподобный отец, что я осмелился вводить вас в заблуждение. Я не монах Медардус, бежавший из вашего монастыря. Вы изволите видеть графа Викторина... Нет, не графа, а князя, ибо я князь по рождению, и советую вам это помнить, или вам не избежать моего гнева».

«Что граф, что князь», — ответил я. В этих стенах все едино, а в его нынешнем положении тем более, так что не лучше ли пренебречь бранным уделом и смиренно ожидать, как рассудит вечное Провиденье?

Он вперил в меня застывающий взор, как бы снова впадая в беспаматство, ему дали крепительные капли, он быстро очнулся и сказал: «Я чувствую, что умираю, и хотел бы снять с моего сердца тяжесть. Признаю вашу власть надо мной, и, как бы вы ни скрытничали, меня не проведешь; вы святой Антоний, и кому, как не вам, знать, какой вред от ваших эликсиров. Я собирался далеко пойти, когда вырядился в коричневую рясу монаха и запустил бороду. Но когда я обмозговывал свои начинания, мои затаенные мысли как бы покинули мое существо и окуклились в новой телесности, образовав жуткое, но такое же мое «я», как я сам. У моего второго «я» была зловещая сила, и она ниспровергла меня, но из черного камня в глубокой пропасти среди кипучих пенистых вод вышла принцесса, белая как снег. Она заключила меня в объятия, обмыла мои раны, и боль сразу же прошла. Так вот и стал я монахом, но «я» моих мыслей было сильнее и подстрекнуло меня убить мою спасительницу, мою возлюбленную принцессу, а с нею и ее брата. Меня ввергли в узилище, но вы сами, святой Антоний, знаете, как я выпил ваше проклятое зелье, а потом вы похитили меня и увлекли за собой по воздуху. Зеленый лесной царь гнушался мною, хотя и знал, что я князь; «я» моих мыслей напало на меня у него, взваливая на меня всякие безобразия, как будто мы с ним соучастники и не должны расставаться. Мы и не расставались, но вскоре нам пришлось бежать; нам грозили отрубить голову, и тогда между нами возникла распря. Когда мое второе потешное «я» сочло мои мысли своим вечным кормом, я сверг его, сильно избил и завладел его платьем».

На этом сколько-нибудь внятные речи несчастного пресеклись, дальше из уст его вырывалось только убогое, почти нечленораздельное бормотание полного безумия. Часом позже, когда звонили к заутрене, он рванулся с пронзительным, отчаянным воплем и тут же рухнул мертвый, по крайней мере, мы так считали.

Я распорядился перенести его в покойницу, и мы соби-

рались похоронить его на нашем кладбище, в освященной земле, но представь себе наше изумление и наш ужас: перед самыми похоронами трупа не оказалось на месте. Поиски ни к чему не привели, и я уже примирился с тем, что никогда не узнаю ничего достоверного о загадочном стечении обстоятельств, захлестнувших тебя и графа. В то же время, сопоставив подробности событий в замке, о которых я был хорошо осведомлен, с теми бессвязными речами, уродливыми недомолвками безумия, я не мог не прийти к выводу, что у нас в покойницкой действительно лежал граф Викторин. Графский конюх тоже проговорился, будто граф убил в горах какого-то капуцина-паломника, присвоив себе его рясу; ряса была нужна графу для его дальнейших походов в замке барона. Возможно, вопреки первоначальному умыслу, его бесчинства завершились убийством Евфимии и Гермогена. Может быть, он тронулся уже тогда, как утверждает Рейнгольд, или помешательство постигло его, когда он бежал, казнимый совестью. Платье, которое он носил, и убийство монаха обременили его психику навязчивой идеей, будто он монах и его «я» раздираемо схваткой двух противников. Впрочем, по-прежнему неизвестно, как он провел время между бегством из замка и появлением в лесничестве, так же как необъяснимо, откуда взялась история его пребывания в монастыре с вызволением из узилища. Очевидно, тут замешалось что-то внешнее, но ведь нельзя отрицать: его история основывается на твоей судьбе, хотя калечит и переиначивает ее. Однако, если лесничий не ошибается, называя время, когда безумец начал попадаться ему на глаза, то это время никак не вяжется с показаниями Рейнгольда, тоже называющего день, когда Викторин бежал из замка. Если верить лесничему, безумный Викторин появился в лесу одновременно со своим первым появлением в замке барона.

— Не продолжайте, — прервал я приора, — не продолжайте, преподобный отец мой; последняя надежда избыть греховный гнет, по вечному милосердию Божьему сподобиться благодати и вечного блаженства навсегда покинет мою душу, и в беспросветном отчаянье, проклиная себя и свою собственную жизнь, умру я, если — в глубочайшем раскаянье и самоуничтоженье — не признаюсь вам чистосердечно, как на святой исповеди, во всем, что постигло меня, когда я покинул монастырь.

Приор был чрезвычайно изумлен, когда я, ни о чем не умалчивая, рассказал ему все, что произошло со мной.

— Я вынужден тебе верить, — сказал приор, — я вынужден тебе верить, брат Медардус, ибо, когда ты говорил, все свидетельствовало о неподдельности твоего раскаянья.

Кто бы мог проникнуть в тайну духовного родства, связующего двух братьев, двух сыновей преступного отца, когда оба они и сами преступники.

Теперь нет никаких сомнений в том, что Викторин чудом

выжил и выбрался из пропасти, куда ты его отправил, он же — сумасшедший монах, жилец и нахлебник лесничего; он же твой двойник и твой преследователь, умерший здесь в монастыре. Темная сила вовлекла его в свою игру, закрадываясь в твою жизнь; нет, он тебе не равен, он только подставная фигура, преграждающая тебе путь, чтобы застить от твоего взора свет, иначе ты мог бы воспринять светлое в твоём уделе. Ах, брат Медардус, дьявол все еще мечется по земле, как неприкаянный, и прельщает каждого своими эликсирами.

Кто не насладился в своей жизни тем или иным адским зельем; однако такова воля Неба: изведав гибельное действие мгновенного оболыщения, человек в ясном разумении обретает мощь, непреодолимую для лукавого. Провиденье Господне открывается в том, что жизнь в природе подтверждена отравой, а всеблагая нравственная доблесть засвидетельствована поражением зла. Я позволяю себе, Медардус, говорить с тобой откровенно, так как знаю, что превратное понимание с твоей стороны исключено. А теперь иди к братьям.

В это мгновение все мои жилы и нервы пронизала нестерпимая боль вожделеющей всевластной любви; «Аврелия — ах, Аврелия!» — громко воскликнул я. Приор встал и сказал очень строго:

— Ты, наверное, заметил в монастыре приготовления к большому торжеству? Аврелия постригается завтра в монахини под именем «Розалия».

Я остолбенел; не отвечая ни слова, я продолжал стоять перед приором.

— Иди к братьям, — повторил он почти сердито, и, почти не помня себя, я спустился в трапезную, где собрались братья. На меня снова обрушилось множество вопросов, но я был не способен сказать хоть единое слово о моей жизни; все картины прошлого поблекли во мне, и только образ Аврелии явился в прежнем сиянии. Я сослался на урочное молитвенное бдение, под этим предлогом покинул братьев и отправился в часовню; она находилась на самом краю просторного монастырского сада. Здесь я хотел помолиться, но легчайший трепет листьев, чуть слышный шелест в аллее рассеивал мое молитвенное настроение. «Это она... она идет... я увижу ее!» — все восклицало во мне, и сердце мое ныло в страхе и восхищении. До меня донесся тихий говор. Я собрался с духом, вышел из капеллы, и что же? Неподалеку от меня проходили две монахини и с ними послушница.

Ах, конечно, это была Аврелия — по мне пробежал судорожный трепет — я не мог вздохнуть — я устремился было вперед, но мне отказали ноги, и я поник на землю. Монахини вместе с послушницей углубились в кусты. Что за день! Что за ночь! Аврелия... только она одна... никакой другой образ... никакая другая мысль не посетила мою душу.

С первыми утренними лучами монастырские колокола воз-

вестили торжество пострижения, и вскоре братья собрались в большом зале; вошла настоятельница в сопровождении двух сестер. Неопишное чувство пронизало меня, когда я снова узрел ее, так нежно любившую моего отца, хотя он святотатственной силой своего нечестия расторг узы предстоящего ему высочайшего земного счастья, чтобы она перенесла на сына склонность к отцу, разрушившему ее счастье. Она хотела воспитать в сыне добродетель и праведность, но, подобно отцу, сын приумножал свои злодеяния, перечеркивал надежды своей набожной приемной матери, уповавшей на добродетель сына в чаянье спасти преступного отца от вечной гибели.

С поникшей головой, устремляя взоры долу, внял я краткой речи, в которой настоятельница еще раз возвестила собравшемуся духовенству о поступлении Аврелии в монастырь и призвала усерднее молиться в решающее мгновение, когда произносится обет, дабы враг рода человеческого утратил силу совращать и мучить праведную деву своими возмутительными домогательствами.

— Мучительны, — говорила настоятельница, — мучительны были испытания, перенесенные девою. Супостат силился прельстить ее и пустил в ход все одуряющие уловки, ведомые аду, чтобы она нечаянно пала, а потом, опаматовавшись, погибла в отчаянье своего позора. Однако небесное дитя спаслось под покровом вечного Провиденья, и если враг отважится снова губительно подольститься к ней, она восторжествует над ним с большею славой. Молитесь, молитесь, мои братья, но не о том, чтобы Христова невеста осталась верна своему призванью, ибо она всем существом своим стойко и незыблемо привержена Небу, нет, молитесь о том, чтобы некое земное нечестие не помешало праведному священнодействию. Боязнь одолевает мою душу, ничего не могу с собой поделать!

Не приходилось сомневаться в том, что настоятельница имела в виду меня, одного меня, когда говорила о супостате-искусителе. Она явно подозревала, что я по-прежнему преследую Аврелию и намерен помешать постригу или омрачить его каким-нибудь кошунственным посягательством. Я противопоставлял ее подозрениям уверенность в неподдельности моего искупительного покаяния, мое преображенное существо. Настоятельница не сблаговолела даже взглянуть на меня, и в моей уязвленной душе заклокотала та едкая уничтожающая ненависть, которую там, в резиденции, вызывала во мне княгиня, и вместо того, чтобы повергнуться перед ней во прах, прежде чем настоятельница произнесет те слова, я был не прочь дерзко и вызывающе предстать перед нею и сказать:

— Всегда ли ты была такою неземною праведницей, пренебрегающей земными вожделениями? Когда ты смотрела на моего отца, неужели ты настолько блюла себя, что ни единый греховный помысел тебя не коснулся?.. А скажи-ка, тогда, когда ты

была уже удостоена митры и посоха, не обманывали ли твою бдительность мгновения, вызывающие в твоей душе образ моего отца и с ним жажду земных радостей? А помнит ли твоя гордыня, что ты чувствовала, когда сердце твое льнуло к сыну твоего возлюбленного и с таким страданием выкрикнула ты имя погибшего, хоть он и был греховодник и святотатец? А боролась ли ты когда-нибудь с темной силой, как я? Радовала ли тебя истинная победа, если ей не предшествовала жестокая битва? Настолько ли ты сама непреклонна, чтобы уличить того, кто, сломленный могущественнейшим врагом, снова вознесся в глубоком сокрушении и покаянии?

По-видимому, даже в моей внешности проявилось разительное изменение моих помыслов, когда покаяние вдруг обернулось гордостью за выигранную битву и завоеванную жизнь. Брат, стоявший рядом со мной, вдруг спросил меня:

— Что с тобой, Медардус, почему с таким гневом зриаешь ты на возвышенную праведницу?

— Да, — ответил я вполголоса, — поистине она возвышенная, ибо всегда была высокопоставленной, и ничто мирское никогда не затрагивало ее, но сейчас я не вижу в ней ничего христианского... Не языческая ли жрица обнажила нож, готовясь к закланию человеческой жертвы?

Мне самому непостижимо, как вырвались у меня последние слова, вторгшиеся откуда-то из-за пределов моего умозрения, но они возбудили во мне пеструю толчею разрозненных образов, соединившихся лишь в ужасном видении.

И Аврелия обречена покинуть мир, и она произнесет, как я, обет, отсекающий все земное и казавшийся мне в этот миг лишь выбросом религиозного безумия. Как прежде, когда, заложник сатаны, мнил я узреть в грехе и святотатстве сияющий зенит жизни, так теперь я воображал, что мы оба, я и Аврелия, хоть на миг сочтемся в беспредельном земном упоении, и пусть мы потом погибнем, обреченные подземным силам... Как отвратительный дракон, как сам сатана, заползла мне в душу мысль об убийстве! Ах, я, слепец, упустил из виду, что, относя на свой счет слова настоятельницы, я навлек на себя суровейшее испытание, признал над собою власть сатаны и тот склоняет меня к наихудшему из мною совершенного! Брат, говоривший со мною, смотрел на меня в ужасе.

— Ради Господа Христа и Пресвятой Девы, что значат ваши слова? — еле выговорил он; я же вперил взор в настоятельницу; она намеревалась удалиться, но взглянула на меня и, смертельно бледная, продолжала смотреть неотступно; она пошатнулась и оперлась на подоспевших монахинь. Казалось, мой слух улавливает слова, замирающие у нее на устах: «О вы, все святые! Так оно и есть!»

Вскоре после этого она пожелала свидетельствовать с приором Леонардусом. Уже снова звонили все монастырские колокола, к ним присоединилось громовое звучание органа и благоговейные го-

лоса поющих сестер, когда приор снова вошел в залу. Братья разных орденов торжественно шествовали в храм, переполненный, как это бывало разве что в день святого Бернарда. Сбоку от главного алтаря, украшенного благоуханными розами, расставлены были высокие кресла для духовенства, а напротив, на хорах, епископская капелла приготовилась участвовать в богослужении, которое отправлял сам епископ. Леонардус позвал меня к себе; я заметил, как настороженно наблюдает он за мной; ни одно мое движение не ускользало от его внимания; он поручил мне непрерывно читать мой требник. Сестры из монастыря святой Клары собрались за низенькой решеткой у алтарного иконостаса; приближалось решающее мгновение; из дальних обительских покоев через решетчатые двери за алтарем цистерцианки ввели Аврелию.

Шепот пронесся по церкви, когда присутствующие увидели ее; орган затих, и простое песнопение монахинь зазвучало, трогая душу чудными аккордами. Я все еще не смел взглянуть, подавленный пугливой робостью, я судорожно вздрогнул и уронил требник. Я нагнулся, чтобы поднять его, но внезапная дурнота едва не сбросила меня с моего высокого кресла, и Леонардусу пришлось поддержать меня.

— Что с тобой, Медардус? — тихо сказал приор. — Твое возбуждение неуместно; отгони супостата, смущающего тебя.

Я собрал все свои силы, чтобы отважиться на взгляд, явивший мне Аврелию; она преклонила колени перед алтарным иконостасом. Творец Небесный! Она вся светилась, ненаглядная, прекрасная как никогда! Она была в подвенечном платье — ах! как в тот роковой день, когда она должна была стать моею. Цветы мирта и розы в тщательно убранных волосах! Благоговение, торжественность момента придавали краску ее ланитам, а во взоре, устремленном к небу, выражалось небесное блаженство. Разве могли сравниться мгновения, когда я увидел Аврелию впервые, а потом встретил ее при княжеском дворе, с нынешним восхищением! Исступленнее прежнего вспыхнула во мне любовь — неистовое желание.

«О Господи, о вы, все святые! Не попустите меня сойти с ума — избавьте меня, избавьте от этого адского истязания! Только отведите от меня безумие; иначе я ужасну самого себя своим деянием и обреку мою душу вечной погибели!»

Так я молился про себя, ибо я чувствовал, как упрочивается господство злого духа надо мной.

Мне казалось, будто Аврелия подстрекает меня к преступлению, мной совершаемому, будто, готовясь произнести монашеский обет, она в мыслях своих перед алтарем Господа клятвенно и торжественно предается мне. Не Христову невесту, а преступную подружку преступного монаха-расстриги видел я в ней. Обнять ее в исступлении бешеной похоти, а потом умертвить ее — вот мысль, неумолимо овладевавшая мною! Злой дух обуревал меня все неис-

товей и неистовей; я уже готов был крикнуть: «Остановитесь, вы, ослепленные межеумки! Какая же она девственница, она ли чиста от земных вожделений! Невесту монаха объявляете вы невестой Царя Небесного!»

Крикнуть — растолкать монахинь — схватить ее... я тормозил мою рясу, я искал нож, однако обряд не прекращался, и Аврелия начала произносить обет.

Когда я услышал ее голос, он стал для меня нежным лунным сиянием, пробившимся сквозь черные, дикие, грозовые тучи. Свет сказался во мне, и я узнал злого духа, изо всех сил давая ему отпор.

Каждое слово Аврелии укрепляло меня, и скоро я восторжествовал в яростной битве. Отлетели черные святотатственные помыслы, стихла буря земных желаний. Аврелия была праведной невестой Царя Небесного, и ее молитва могла спасти меня от вечного поругания и казни. Ее обет утешил меня, возвращая надежду, и светло распространилась во мне ясность небесная. Тут я вновь обратил внимание на Леонардуса, воспринявшего мое сокровенное преображение, ибо мягко сказал он мне:

— Ты устоял перед супостатом, сын мой! Вечное Провиденье подвергло тебя последнему тяжкому испытанию!

Обет был произнесен; сестры святой Клары запели антифоны, оставалось только возложить на плечи Аврелии монашеское облачение. Уже волосы ее были освобождены от миртов и роз, уже готовы были остричь ее длинные волнистые локоны, когда в церкви что-то произошло... я видел, как люди теснились и даже падали на пол... приближался некий смерч. Неистовствуя, с диким, ужасным взором сквозь толпу проталкивался полуголый человек (лохмотья свисали с его плеч, напоминая прежнюю рясу капуцина); он яростно работал кулаками. Я узнал моего отвратительного двойника и бросился ему навстречу, угадав его ужасное намерение, но в этот миг бесноватый оборотень перемахнул через преграду, отделявшую его от алтаря. Монахини с воплем кинулись врассыпную, настоятельница заключила Аврелию в объятия

— Ха-ха-ха! — надрывался бесноватый с подвыванием. — Хотите отнять у меня принцессу? Принцесса — моя невесточка, моя невесточка!

Он вырвал Аврелию из объятий настоятельницы и по самый черенок вонзил ей в грудь нож, которым размахивал; кровь так и захлестала.

— Ух! Ух! Ух! Теперь невесточка моя! Я завоевал-таки принцессу! — так орал бесноватый; он прыгнул за иконостас, юркнул в решетчатую дверь и пропал в монастырских коридорах. Монахини визжали в ужасе.

— Караул! Убийство! Убийство у алтаря Божьего, — кричал народ, напирая на алтарь.

— Задержите убийцу! Стерегите все выходы из монастыря! — громко крикнул Леонардус; люди бросились выполнять его распоряжение, и монахи, не обиженные силой, вооружились древ-

ками хоругвей и бросились в погоню за оборотнем по монастырским коридорам. Все разыгралось в одно мгновение; я опустился на колени подле Аврелии, а монахини, кое-как перевязав ее рану белыми платками, приводили в чувство настоятельницу.

Зычный голос произнес поблизости:

— *Sancta Rosalia, ora pro nobis!**

Народ в церкви громогласно откликнулся:

— Чудо! Чудо! Воистину она мученица! *Sancta Rosalia, ora pro nobis!*

Я поднял глаза и увидел старого живописца. Он уже приблизился ко мне, величественный, но ласковый, как тогда в тюрьме. Смерть Аврелии не вызвала во мне земной скорби, явление живописца не повергло меня в ужас, ибо в моей душе светало и распутывались таинственные силки, расставленные ловчими мрака.

— Чудо! чудо! — все еще кричал народ. — Видите старца в фиолетовом плаще? Он сошел с алтарного иконостаса... Я сам видел... и я... и я... — перебивали друг друга голоса, и вот уже народ повергся на колени, и смутный говор, перебродив, как бы вскипел молитвенным хором, прерываемым всхлипами и рыданиями. Настоятельница пришла в себя и сказала голосом глубокой сокрушающей скорби, проникающей до самых глубин человеческого сердца:

— Аврелия!.. Дитя мое... праведная дочь моя... Боже праведный... такова Твоя воля!

Принесли носилки; на них были разостланы одеяла и лежали подушки. Когда Аврелию подняли, она глубоко вздохнула и открыла глаза. Живописец стоял у нее в изголовье, он коснулся ее лба. От живописца так и веяло могучей святостью, и все, не исключая самой настоятельницы, взирали на него с необъяснимым трепетным благоговением.

Я преклонил колени вблизи носилок. Я почувствовал на себе взгляд Аврелии, и мною овладела глубокая скорбь о ее мученической кончине. Я не мог выговорить ни слова, и только глухой крик вырвался из моей груди. Тогда Аврелия сказала нежно и тихо:

— Зачем ты оплакиваешь ту, кого вечное небесное Провиденье избавило от земного как раз тогда, когда она пренебрегла мирским ничтожеством и когда неизбывная тоска по царству вечной радости и блаженства стеснила ей грудь?

Я встал, я подошел вплотную к носилкам.

— Аврелия, — сказал я, — святая дева! На одно мгновение низведи свой взор ко мне из высших сфер, иначе я погибну в сомнении, грызущем душу мою и мое сокровенное существо. Аврелия! Ненавистен ли тебе преступник, злым супостатом вторгшийся в твою жизнь? Ах! Тяжко было его покаяние, но он знает, что его грехи непомерны и неискупимы. Аврелия! Примири ли тебя с ним хотя бы смерть?

* Святая Розалия, молись за нас! (лат.)

Как будто ангельские крыла коснулись Аврелии; она улыбнулась и смежила очи.

— О Спаситель мира! О Приснодева! Значит, я лишен утешения, лишен упования! Помилуйте! Избавьте меня от адской гибели!

Я пламенно молился, и Аврелия снова открыла глаза со словами: — Медардус! Ты уступил злой силе, а я-то разве не согрешила, не запятнала себя желанием обрести земное счастье в преступной любви? Вечное Провиденье обрекло нас искупать святотатственные бесчинства нашего преступного рода, и нас с тобою сочетала любовь, которая превыше звезд и брезгует земными вожделеньями. Но коварный супостат ухитрился утаить от нас глубокий смысл нашей любви, и ужасен был обман, заставивший нас подменить небесное земным. Ах! Разве не я первая призналась тебе в любви на исповеди и вместо помысла о вечном распалила тебя адским пылом, и ты так изнывал от него, что вздумал его утолить преступленьем? Мужайся, Медардус! Бесноватый олух совращен злым супостатом, вот он и вообразил себя тобою, как будто выполняет он то, что ты замыслил, а он лишь орудие Неба и вершит Его волю. Мужайся, Медардус! Скоро, скоро...

Очи Аврелии уже смежились, и было слышно, как трудно говорить ей; она потеряла сознание, но это еще не была смерть.

— Она исповедалась вам, преподобный отец? Она исповедалась вам? — спрашивали меня монахини с любопытством.

— Мне ли исповедовать ее, — ответил я. — Не я, она утолила скорбь моей души небесным упованием.

— Благо тебе, Медардус, время твоих испытаний скоро истечет; благо и мне тогда!

Это были слова живописца. Я обратился к нему:

— Сопутствуй же мне, чудотворный!

Не знаю, что со мною случилось; я продолжал говорить и погружился в какое-то забытьё; я не спал, но и не бодрствовал, к действительности меня вернули крики и вопли. Живописца я уже не увидел. Крестьяне... горожане... солдаты рвались в церковь и настаивали на позволении обыскать весь монастырь, схватить убийцу, где же ему еще быть, как не в монастыре. Настоятельница, резонно опасаясь неурядиц, возражала, но даже ее авторитет не мог умиротворить горячие головы. Ее корили, она, мол, прячет убийцу, как-никак он монах; вот она и осторожничают, а толпа напирала, и народ мог вот-вот взломать монастырские ворота. Тогда на кафедру взошел Леонардус; он сперва предостерег народ кратко, но энергично от посягательства на святое место, а потом поведал, что убийца никакой не монах, а сумасшедший; его пользовали в монастыре, вот откуда у него монашеская ряса; когда его сочли мертвым, то в этой рясе отнесли его в покойницкую; он ожил и скрылся. Если он еще в монастыре, то приняты достаточные меры для его задержания. Успокоенный народ потребовал только, чтобы Аврелию перенос-

силы в монастырь не по коридорам, а по двору в торжественном шествии. Это желание народа было удовлетворено.

Перепуганные инокини подняли носилки, усыпанные розами. Сразу же вслед за носилками, над которыми четыре монахини держали балдахин, шла настоятельница; ее вели под руки две сестры; за нею шли остальные, с ними сестры святой Клары; далее монахи различных орденов; к ним присоединился народ, так двигалось шествие. Сестра органистка, вероятно, вернулась на хоры, и сумрачно-глубокие, гулкие звуки органа прокатились по церкви, когда носилки достигли ее средоточия. Но вот Аврелия медленно приподнялась, молитвенно воздела руки к небу, и снова народ упал на колени с возгласами: «Sancta Rosalia, ora pro nobis!»

Так оказался пророческим возглас, вырвавшийся у меня в глумливом притворстве, когда я впервые увидел Аврелию и кривлялся в сатанинском ослеплении.

Когда монахини установили носилки в нижней зале монастыря, когда сестры и братья образовали вокруг них молитвенный круг, Аврелия с тихим вздохом поникла на руки настоятельнице, преклонившей колени подле нее.

Аврелия была мертва!

Народ не отхлдил от монастырских врат, и, когда колокола возвестили кончину благочестивой девы, никто не мог сдержать рыданий и скорбных воплей. Многие дали обет не возвращаться домой до ее погребения, не покидая деревни и все это время держа строгий пост. Слух об ужасном злодеянии и о новомученице, невесте Царя Небесного, быстро распространился, и погребение Аврелии, состоявшееся через четыре дня, напоминало торжественную канонизацию. Уже накануне луг перед монастырем, как в день святого Бернарда, был заполнен народом; лежа на земле, люди ждали утра. Правда, не было веселой суеты; слышались только благочестивые вздохи и молитвенное бормотание. Из уст в уста переходил рассказ об ужасном злодеянии у церковного алтаря, и если иногда прорывался громкий голос, то для того только, чтобы проклясть убийцу; на след его, впрочем, так и не удалось напасть.

Более целительными для моей души, нежели продолжительные суровые епитимьи в монастыре капуцинов под Римом, оказались эти четыре дня, проведенные мною большей частью в уединении садовой капеллы. Последние слова Аврелии раскрыли мне тайну моих грехов, и я понял, что ни врожденная сила, ни доблесть, ни набожность не придали мне мужества, и, как малодушный трус, уступал я сатане, бережно лелеявшему преступное дерево, дабы оно произрастало и ветвилось. Семя зла едва прозябло во мне, когда я увидел сестру регента, и преступная гордыня дала себя знать, но сатана разыграл меня, подсудобив эликсир, и проклятое зелье взбудоражило мою кровь. Я пренебрег спасительными предостережениями неведомого живописца, приора, настоятельницы. Аврелия посетила меня в исповедаль-

не, и во мне пробудился законченный преступник. Как физический недуг, вызванный отравой, грех разразился во мне. Как мог заложник сатаны постигнуть символ вечной любви, узы, по воле Неба сочетающие меня и Аврелию?

Злорадно сковал меня сатана одной цепью с преступным извергом, и мое «я» вторглось в его существо, а он в свою очередь влиял на меня духовно. Его мнимую смерть — по всей вероятности, обманчивую уловку сатаны — я приписал себе, что приобщило меня к мысли об убийстве, сопутствующем дьявольскому мороченью. Мой брат, зачатый в преступном нечестии, превратился в моего дьявольского сподвижника; он ввергал меня в чудовищнейшие гнусности и подвергал потом невыносимым страданиям, заставляя метаться в мучительной неприкаянности. Пока Аврелия не произнесла свой обет по воле вечного Провиденья, греховная скверна еще присутствовала во мне, и супостат еще мог помыкать мною, но чудотворный внутренний покой, умиротворяющим излучением снизошедший на меня, когда Аврелия изрекла свои последние слова, убедил меня, что смерть Аврелии возмещает мне отпущение грехов. Когда в торжественном реквиеме хор пел: «*Confutatis maledictis flammis acribus addictis*⁴²», я воспарил духом, но при словах «*Voca te cum benedictis*»** я как бы воочию узрел Аврелию в сиянии небесного солнца, и ее глава, венчанная звездами, поднялась к Высшему Существо с мольбою о вечном спасении моей души.

— *Oro supplex et acclinis cor contritum quasi cinis.****

Я упал ниц во прах, но как мало походило мое внутреннее чувство и моя смиренная молитва на страстное самоуничтожение суровой, иступленной епитимьи в монастыре капуцинов. Только теперь обрел мой дух способность отличать истинное от ложного, и при таком ясном сознании супостат напрасно бы пытался прельстить меня.

Не сама смерть Аврелии, а ее отвратительные, ужасные внешние обстоятельства глубоко потрясли меня, но потом я уразумел, что по милости вечного Провидения она вынесла невыносимое!.. Мученичество безупречной Христовой невесты вне греха!

Да разве она покинула меня? Нет! Лишь теперь, когда она удалена от страдальческой земли, стала она для меня пречистым сиянием вечной любви, пламенеющей в груди моей. Да! Смерть Аврелии стала священнодействием той любви, которая, по ее словам, превыше звезд и брезгует земным.

Эти помыслы возносили меня над моею земною оболочкой, и в те дни в цистерцианском монастыре я впервые вкусил истинное блаженство.

На следующее утро Леонардус и другие наши братья собира-

* Богом проклятый, презренный, схвачен огненной геенной (лат.).

** Ты приемлешь дух блаженный (лат.)

*** И под гнетом дух смиренный молит Бога, сокровенный (лат.).

лись возвращаться в город, а мне перед самым отбытием передали приглашение зайти к настоятельнице. Я застал ее одну в келье, и никогда я не видел ее такой взволнованной; слезы хлынули у нее из глаз:

— Все, все знаю я теперь, Медардус, сын мой! Да, я снова тебя так называю, ибо ты выдержал все испытания, обрушившиеся на тебя, несчастного, беззащитного! Ах, Медардус, только она, только она, наша молитвенница перед престолом Господним, непорочна и безгрешна! Разве не стояла я у края пропасти, когда, помышляя лишь о земном наслаждении, готова была связать свою жизнь с убийцей? А потом! Сын мой Медардус, преступные слезы проливала я в моей уединенной келье, вспоминая твоего отца!.. Иди, сын мой Медардус! Покончено с помыслами, укорявшими меня в том, что я, быть может, усугубила свою вину, воспитав тебя преступнейшим грешником.

Леонардус, очевидно, открывший настоятельнице все в моей жизни, дотоле неведомое ей, относился ко мне так, что я чувствовал себя прощенным; теперь он явно вверил меня грядущему суду Всевышнего. В монастыре все шло прежним чередом, и я воссоединился с братией, как будто никогда не покидал ее. Однажды Леонардус сказал мне:

— Я хотел бы, брат Медардус, чтобы ты покаялся еще одним способом.

Я смущенно осведомился, что это за способ.

— Тебе надлежит, — ответил приор, — написать точную историю твоей жизни. Ты не должен умалчивать ни об одном сколько-нибудь примечательном происшествии; описывай даже мелочи, словом, все, что коснулось тебя в мирской пестроте. Мысленно ты снова возвратишься в мир; ты вновь изведешь все ужасное, потешное, жуткое и забавное; иной раз и Аврелия предстанет тебе не как монахиня Розалия, претерпевшая мучительство, но если злой дух окончательно тобою изгнан, если ты окончательно пренебрег земным, ты вознесешься над проходящим, как некое высшее начало, и от прежнего впечатления не останется следа.

Я исполнил волю приора! Ах! Все получилось, как он предрекал!

Боль и блаженство, содроганье и отрада, ужас и восхищенье буйствовали во мне, когда я описывал мою жизнь.

О ты, прочитавший однажды эти листы, я говорил тебе о пламенеющем солнце любви, когда образ Аврелии возник во мне, напомнив кипучую жизнь!

Земное упоение — не самое высшее в жизни; обычно оно причиняет гибель безрассудному легкомысленному смертному; истинное превыспреннее солнце, далекое от помыслов греховного вожделения, — возлюбленная в небесном сиянии, возжигающая у тебя в груди то высшее, что излучается благословенным царством любви, ты, бедный земнородный!

Эта мысль услаждала меня, когда при воспоминании о прекраснейших мгновениях, подаренных мне миром, горячие слезы

текли из моих глаз и все давно зарубцевавшиеся раны снова кровоточили.

Я знаю, что, быть может, лукавому дано будет помучить грешного монаха при смерти, но стойко, с пламенным нетерпением ожидаю я мгновения, которое разлучит меня с землей, ибо в это мгновение сбудется все, что возвестила мне Аврелия, ах! сама святая Розалия, умирая. Молись же, молись за меня, о Святая Дева, в тот мрачный час, чтобы адская власть, помыкавшая мною так часто, не подавила меня и не увлекла в омут вечного проклятия!

*Послесловие отца Спиридона,
библиотекаря в монастыре капуцинов, что в Б.*

В ночь с третьего на четвертое сентября 17.. года в нашем монастыре произошло много необычного.

Где-нибудь в полночь я услышал в келье брата Медардуса (она была рядом с моей) страшное хихиканье, смешки и при этом глухое всхлипывающее оханье. Мне довольно отчетливо послышалось, будто противный, на редкость отталкивающий голос бормочет слова: «Пой-дем со мной, братец Медардус, пойдем искать невесту!»

Я встал и хотел навестить брата Медардуса, но вдруг на меня напала неизъяснимая жуть; все мои члены сотрясал сильнейший озноб, как в лихорадке, и я отправился не в келью Медардуса, а прямо к приору Леонардусу, разбудил его, что удалось не сразу, и поведал ему о слышанном. Приор премного испугался, вскочил с постели и послал меня за освященными свечами, чтобы потом отправиться вдвоем к брату Медардусу. Я сделал, как приказано, затеплил свечи в коридоре от лампы Божьей матери, и мы поднялись по лестнице. Сколько мы ни прислушивались, жуткий голос, послышавшийся мне, молчал. Вместо него мы слышали тихие, сладостные звоны, и как будто тонко заблагоухало розами. Мы приблизились, дверь в келью открылась, и оттуда вышел высокий муж чудного вида с белой вьющейся бородой в фиолетовом плаще; я очень испугался, так как знал, что перед нами опасный морок, ибо монастырские ворота крепко заперты и для посторонних в монастырь нет доступа, однако Леонардус взирал на него смело, хотя и молча.

«Срок свершения близится», — глухо и торжественно возвестил призрак, исчезая в темном коридоре, так что моя робость усилилась, и моя трепещущая рука готова была выпустить горящую свечу.

Однако приор, слишком благочестивый и верующий для того, чтобы придавать особое значение призракам, взял меня за руку и сказал: «Теперь нам следует войти в келью брата Медардуса».

Я повиновался. С некоторого времени брат Медардус был очень слаб, а теперь он лежал, умирающий, уже не ворочая языком, только хрипел чуть слышно Леонардус остался при нем, а

я разбудил братьев, зазвонив сильно в колокол и громко крича: «Вставайте! Вставайте! Брат Медардус умирает!»

Все действительно встали, и никто не отсутствовал, когда мы с зажженными свечами пошли в келью умирающего брата. Все, как и я, преодолевший первоначальную боязнь, весьма удручены были горестью. Мы отнесли брата Медардуса на носилках в монастырскую церковь и положили его перед главным алтарем. Тут он, к нашему удивлению, пришел в себя и начал говорить, так что Леонардус исповедовал его самолично, соборовал и помазал елеем. Леонардус продолжал беседовать с братом Медардусом, а мы пошли на хоры и приступили к заповеданным песнопениям, дабы спаслась душа умирающего брата. На другой день, а именно 5 сентября 17.. года, когда колокол пробил в полдень двенадцать, брат Медардус почил на руках у приора. Мы вспомнили, что того же числа в тот же час в прошлом году, едва она произнесла свой обет, была злодейски убита монахиня Розалия. При реквиеме же и при выносе произошло следующее. А именно, при реквиеме вся церковь наполнилась усиливающимся благоуханием роз, и мы заметили: на прекрасной иконе святой Розалии (она писана очень старым, неизвестным итальянским мастером и приобретена нашим монастырем у капуцинов Римской области, за крупную сумму, так что они оставили себе копию), на сей-то прекрасной иконе был букет роз, уже редких в это время года. Брат привратник сказал, что ранним утром оборванный нищий весьма убогого вида заглянул в церковь, незамеченный, и преподнес этот букет иконе. Этот же нищий оказался в храме при выносе, присоединившись к братьям. Мы хотели удалить его, но приор Леонардус, присмотревшись, велел оставить нищего в покое. Он принял его послушником в монастырь; мы называли его брат Петр, так как в миру его имя было Петер Шёнфельд; мы не отказали ему в столь гордом имени, так как он отличался добротой и тихой покладистостью, был скуп на слова и разве только время от времени смеялся так заразительно, что нам это нравилось, поскольку в смехе его мы не находили ничего греховного. Приор Леонардус однажды изрек, что внутренний свет нашего Петра померк в испарениях скоморошества, а скоморошеством обернулась в его душе ирония самой жизни. До нас не дошло, что имел в виду ученый Леонардус, но мы подумали, что не иначе как он знал нынешнего послушника Петра задолго до его появления в монастыре.

Так я к листам, содержащим жизнеописание брата Медардуса, не читая оных листов, не без труда присовокупил, *ad majorem dei gloriam**, обстоятельную хронику его преставления. Мир и покой усопшему брату Медардусу; да сподобит его Царь Небесный отрадного воскресения и да причислит его к лику святых мужей, ибо смертью своей он явил настоящую праведность.

* к вящей славе Господней (лат.).

КОММЕНТАРИЙ

Новалис

ГЕНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН

Молодой барон Фридрих фон Харденберг (1772-1801), он же Новалис, не дожил до тридцати лет. Роман «Генрих фон Офтердинген» написан Новалисом в последние недели 1799 года и в первые месяцы 1800, за год до смерти поэта. Роман основан на исторических преданиях, распространенных в Тюрингии. В этих преданиях упоминается легендарный миннезингер Генрих фон Офтердинген, чье историческое существование не подтверждается. По замыслу Новалиса роман по-прежнему направлен против гётевского Вильгельма Мейстера и должен был появиться в том же формате, напечатанный тем же шрифтом, что и роман Гёте. Это не было осуществлено. Незаконченный роман вышел в свет лишь через год после смерти Новалиса, в 1802 г., изданный берлинским издателем Раймером.

По-латыни «*novalis*» означает пашню, новь. «Это мое старинное родовое имя, — писал поэт, — не совсем неподходящее для меня». Изобилие начинаний и замыслов достойно весеннего сева. Кажется, перед автором брезжит неисчерпаемое будущее. Трудно поверить, что через год, в марте 1801 г., автора не будет в живых, и еще труднее примириться с мыслью, что сам автор в глубине души не питает никаких иллюзий на этот счет, явственно предвидит скорый конец. В свои двадцать восемь лет Фридрих фон Харденберг хорошо знал, что такое смерть. Поэт принадлежал к нижнесаксонской знати. Уже хроники двенадцатого века упоминают господ фон Роде или де Новали (немецкий и латинский варианты фамилии, по значению своему связанной с корчеванием, с расчисткой леса под пашню). Длинный ряд предков должен был наводить ребенка на мысль, что ему предстоит занять свое место среди них — среди покойников. К тому же смерть во многом predeterminedила семейный уклад Харденбергов еще до рождения Фридриха. Отец поэта, барон Генрих Ульрик Эразм фон Харденберг, рано потерял свою первую жену. Эта утрата произвела глубокий переворот в его суровой и страстной душе. Он искал утешения в идеях гернгутеров, секты, проповедовавшей строгую нравственность. В этом духе барон фон Харденберг пытался воспитывать своих детей от второго брака, которых любил взыскательной, тревожной любовью. Его заботы не принесли семье счастья. Из одиннадцати детей только один сын, младший брат Новалиса, пережил других.

Надо сразу же отметить, что юный Новалис, росший в суровом и

тихом доме, никогда не отличался мрачностью или угрюмым нравом Правда, в детстве маленький Фридрих подолгу воспитывался вне родительского дома, и влиянию гернгутеровских проповедников противостояло влияние дяди, Вильгельма фон Харденберга, человека высокопоставленного и вполне светского. Юношеская лирика Новалиса изобилует легкомысленными, подчас откровенно чувственными мотивами, и есть все основания предполагать, что Новалис пристрастился к такой тематике не понаслышке. В то же время Новалис остро чувствует, что его жизнь и жизнь отца как бы параллельны друг другу, как бы отражаются одна в другой, таинственно взаимодействуя. Это чувство было вскоре углублено роковым подтверждением. В 1797 г. умирает любимая невеста Новалиса, очаровательная юная Софи фон Кюн. Судьба отца, утратившего первую жену, повторяется в жизни сына. «Я потерял самого себя», — говорит он. Новалис решает принести себя в жертву своей любви, последовать за своей возлюбленной Идея самоубийства всегда была ему чужда. Он стремится сознательным усилием воли постепенно погасить в себе жизнь, однако жизнь берет свое. В декабре 1798 года Фридрих фон Харденберг обручается с Жюли фон Шарпантье, предвкушая семейное счастье, Новалис делает успехи по службе. Он посещает лекции во Фрайбергской горной академии, в нем уже виден недюжинный горный инженер. Певец голубого цветка обнаруживает блестящие деловые способности, сослуживцы восхищены его практичностью, предприимчивостью, проницательностью. «Вы не знаете, какую утрату мы понесли!» — воскликнет начальник Новалиса, потрясенный безвременной кончиной многообещающего специалиста

В пятой главе романа «Генрих фон Офтердинген» в пещере отшельника Генрих листает рукописные книги: «...его любопытство сильно волновало короткие строки стихов, надписи, отдельные отрывки, изящная живопись, как бы слово, явленное кое-где во плоти, подспорье для читательской фантазии». Новалис тонко улавливает поэтический дух средневековой, романско-готической миниатюры, которая никогда не была иллюстрацией в современном понимании. Насыщенная многообразным смыслом, средневековая миниатюра выступает в рукописи именно как слово, явленное во плоти, подчас это даже не живопись, это, так сказать, словопись, при которой текст иногда играет вспомогательную роль надписи, смысловой иллюстрации. В совершенных произведениях живопись и текст сочетаются как различные проявления творческого Слова. Подобное произведение попадает в романе Генриху. Генрих не понимает языка, на котором написана книга, однако, всматриваясь в рисунки, он вдруг распознает самого себя «среди других обликов: рисунки являют Генриху всю его жизнь, прошлую и будущую; в них как бы сбывается сон, поразивший Генриха в начале романа. Отшельник объясняет юноше, что книга написана на провансальском языке: «Это роман, и описывается в нем чудесная судьба поэта, а также в разных отношениях представлено и прославлено поэтическое искусство». Следовательно, перед Генрихом тот апофеоз поэзии, которым должен был стать сам роман «Генрих фон Офтердинген», как писал Новалис Тику. Внутри самого романа завязываются сложнейшие

отношения между вымыслом и жизнью Оскар Уайльд сказал бы, что и в представлении Новалиса жизнь подражает искусству. Однако поэтическая мысль немецкого романтика глубже и богаче. Генрих не может подражать в своей жизни роману, содержание которого остается для него тайной: провансальский язык, язык поэзии, еще неведом Генриху. Его судьба не повторяет романа, не задана и не предсказана, а разве что предвосхищена многообразием поэтического вымысла, включающего в себя и отдельную человеческую жизнь среди разных своих отношений. Русский романтик Жуковский подытожил эти отношения с достаточной отчетливостью: «Жизнь и Поэзия — одно».

Провансальский роман — тайна для Генриха также и потому, что конец романа отсутствует. Этим обстоятельством предвосхищена судьба самого Новалиса: роман «Генрих фон Офтердинген» тоже не дописан до конца.

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ БОНАВЕНТУРЫ

Роман «Ночные бдения Бонавентуры» вышел в свет в издательстве Динемана с двойной датой: 1804 — 1805. Следует иметь в виду, что имя Bonaventura как бы включается в название книги, не будучи обозначением авторства. Установилась традиция переводить на русский язык «Nachtwachen» как «Ночные бдения», хотя перевод «Ночные стражи» был бы более точным. Среди возможных авторов романа фигурировали Жан-Поль Рихтер, Клеменс Brentano, Э.Т.А. Гофман. Приписывали авторство также Ф.Г. Ветцелю и Августу Клингеману.

А.В. Гулыга привел убедительные аргументы, доказывающие, что автором романа был знаменитый философ Шеллинг, но вопрос об авторстве романа нельзя считать решенным до сих пор.

ПРОРОЧЕСТВО В ПАРОДИИ (Традиция ночных бдений)

В четырнадцатом бдении автор-герой объясняется в любви, так сказать, от противного: «Одно я знаю наверное: лютый враг парит с издевкой над землею, он-то и подбросил ей чарующую маску любви, и теперь все дети человеческие рвут ее каждый себе, чтобы примерить ее хоть на минуту. Видишь, и я, к сожалению, поймал ее; я перемигиваюсь нежно с мертвой головой, которую она скрывает и, черт возьми, желаю зачать с тобой дитя человеческое. О если бы не проклятая личина, сыны земли наверняка сыграли бы шутку со Страшным судом, приняв закон против народонаселения, и наш Господь или тот, кому придет охота напоследок взглянуть на шар земной, к своему удивлению не увидел бы на нем людей». В новелле В.Ф. Одоевского «Последнее самоубийство», опубликованной сорок лет спустя, именно это и происходит. Не отдельный человек, а все человечество решает покончить с собой, оно взрывает себя: «...разорванные громады Альпов и Шимборазо взлетели на воздух, раздалось несколько стонов ... еще... пепел возвратился на землю... И все утихло .. и вечная жизнь впервые раскаялась!»*

Новеллу В.Ф.Одоевского связывают с прогнозами Мальтуса, предрекавшего человечеству голод от избыточного народонаселения, и автор дает известные поводы для такого толкования: «...род человеческий размножился; потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями человечества» (с.249). Но гораздо более убедительную мотивировку катастрофического самоистребления мы находим в стихе Е. Боратынского: «И на земле уединенья нет». Сам В.Ф. Одоевский пишет об «избранных жертвах жизни»: «... возвысив до небес дух их, жизнь с насмешкой бросает их в середину толпы; здесь они чужеземцы, никто не понимает языка их — нет их привычной пищи, терзаемые внутренним голодом, заключенные в оковы общественных условий, они измеряют страдание человека всею возвышенностью своих мыслей, всею раздражительностью чувств своих ...тщетно рвутся они к своей мнимой отчизне, — они издыхают, разуверившись в вере целого бытия своего...»**

В начале восьмого бдения читаем: «Поэты безобидный народец со

* В.Ф. Одоевский, «Последний квартет Бетховена», М, Московский рабочий, 1987, с.255.

** Там же, с 253

своими грёзами и восторгами... Но они свирепеют, как только осмеливаются сопоставить свой идеал с действительностью... Они бы так и остались безобидными, если бы действительность выделила им свободное местечко, где бы им не докучали, принуждая суетою и столпотворением оглядываться именно на нее». В седьмом бдении автор-герой пишет фразу, которая в контексте «Последнего самоубийства» могла бы прочитываться как скрытая цитата: «... поистине тщетно искал я хотя бы клочок земли, где можно было бы преклонить голову. » Особенно разительна переключка «Последнего самоубийства» с надгробной речью, посвященной новорожденному в «Ночных бдениях». В.Ф. Одоевский пишет. «... коварная жизнь является ему сперва в виде теплой материнской груди, потом порхает перед ним бабочкой и блещет ему в глаза радужными цветами; она печется о его сохранении и совершенном устройстве его души, как некогда мексиканские жрецы пеклись о жертвах своему идолу».*

Бонаventura предостерегает читателя в седьмом бдении: «Прошу вас, не доверяйте мнимому отблеску жизни на щечках младенца, это искусство природы, которая, подобно заправскому врачу, придает на некоторое время приятную видимость набальзамированному телу...»

Общий корень «Последнего самоубийства» и «Ночных бдений» обнаруживается в теме ничтожества.

В седьмом бдении читаем: «Увы! он жил только до рождения, так счастье — это лишь надежда, не более; стоит надежде осуществиться, и она разрушается сама собою». «Неумолимая жизнь вызывает человека из сладких объятий нитожества», — отзывается В.Ф. Одоевский, у которого пророки отчаянья объявляют своим верным и неизменным союзником все то же ничтожество.**

В языке русской прозы восемнадцатого — девятнадцатого веков «ничтожество» и «ничто» синонимичны. «Ничто» — не столько тема, сколько протагонист «Ночных бдений», если позволительно так выразиться «Ничто» «Ночных бдений» и родственное ему «ничтожество» «Последнего самоубийства» не дают никаких поводов говорить о нигилизме их авторов, во всяком случае в русском смысле слова.

Русский нигилизм отличался не абсолютизацией «ничто», а тотальным отрицанием общепринятых ценностей. Отсюда эпатажирующий стих молодого Маяковского: «Я над всем, что сделано, ставлю Nihil». «Ничто» «Ночных бдений» — это пародийная модификация кантовской «вещи в себе», сокровенное не в своем интимно-лирическом, а в агрессивном-сокрушительном качестве, за которым таится пронзительно-скорбная жалоба. Допустимо и сопоставление «ничто» с «бездной» Якова Бёме, сапожника-философа, неоднократно упоминаемого в «Ночных бдениях». В.Ф. Одоевский входил в русский кружок Любоумров, отталкивавшихся в своих оригинальных философских фантазиях от философии Шеллинга. В.Ф. Одоевский мог читать «Ночные бдения», догадываясь об авторстве Шеллинга, но даже если такая гипотеза не-

* В.Ф. Одоевский, «Последний квартет Бетховена», с 252

** Там же, с 252-253

достаточно обоснована, связь «ничто» «Ночных бдений» и «ничтожества» из «Последнего самоубийства» свидетельствует: «ничто» как своеобразная диалектическая противоположность бытия во многих отношениях определяло и шеллинговскую философию тождества, и его же позднюю философию откровения.

Поэтический вариант «ничто» в «Ночных бдениях» предвосхитил, выявил и довел до абсурда целые направления последующей литературы. Наше дальнейшее изложение покажет, как цитируют «Ночные бдения» и ссылаются на них авторы, по всей вероятности, не подозревавшие о загадочном Бонавентуре-Крейцганге.

П.Я. Чаадаев, прозорливейший русский читатель Шеллинга, высказал мысль, имеющую прямое отношение к пророческой функции «Ночных бдений»: «И так как, вероятно, в странных видениях будущего, которых были удостоены некоторые избранные умы, увидят тогда главным образом выражение глубокого сознания безусловной связи между эпохами, то поймут, что на деле эти предсказания не относятся ни к какой определенной эпохе, но являются указаниями, касающимися всех времен... так что факты, о которых говорят пророчества, будут для нас тогда столь же ошутительными, как и самые факты увлекающих нас событий»*.

В третьем бдении чиновный муж легкомысленной дамы назван марионеткой, причем вполне допустим перевод «кукла». Тема куклы и марионетки — центральная тема «Ночных бдений», но в данном случае существенно другое.

Анна Каренина говорит о своем чиновном супруге: «Это не мужчина, не человек, это кукла!.. Это не человек, это министерская машина»**

Персонаж из третьего бдения не только назван марионеткой или куклой: «... холодный праведник представляется мне автоматической машиной смерти». В тринадцатом бдении мы читаем: «Мудро устроено государство, предпочитающее налаженную машину смелому духу в своих согражданах...» Заметное сближение с министерской машиной Толстого! Если бы не эта текстуально-словесная зеркальность, от нас ускользнула бы еще одна особенность третьего бдения уже на уровне фабулы: в третьем бдении, по крайней мере, в миниатюре, намечен сюжет, аналогичный сюжету «Анны Карениной», хотя легкомысленная дама не наделена ни малейшим сходством с Анной Карениной, ее незадачливый обожатель не имеет ничего общего с Вронским и разве только супруг-марионетка, «автоматическая машина смерти», смахивает на Алексея Александровича. В двенадцатом бдении читаем: «Ради сытного обеда заливаются соловьями поэты, философы измышляют системы, судьи судят, врачи исцеляют, попы воют, рабочие плотничают, и государство дожирается до высшей культуры». «Жрать всем надо, вот революция», — сразу же откликается на эту фразу Шерамур Лескова.***

* П.Я. Чаадаев, Статьи и письма, М, 1981, с 98 — 99

** Л.Н. Толстой, Собр. соч., М, 1981, т 8, с 396

*** Н.С. Лесков, Собр. соч., М, 1957, т 6, с 253

Между «Ночными бдениями» и лесковским «чрева ради юродивым» затесалась деятельность Людвига Бюхнера и Якоба Молешотта, так называемых вульгарных материалистов, что отчасти очерчивает связующие нити, не касаясь при этом художественной проблематики. В эту традицию доморощенного при всех своих западных корнях русского нигилизма вписываются и смердяковские сентенции «про неправду все написано» и «стихи вздор-с», еще не расчлененные в своем таинственном предвосхищении из восьмого бдения: «Против стихов я тоже не возражаю; они комичнейшая ложь...»*

Предварительная работа переводчика, естественно, включает в себя поиски параллелей оригиналу в родной литературе, и меня могут обвинить в том, что я манипулирую моими личными переводческими заготовками, использую их, если не сказать, подтасовываю, фабрикуя проблему, либо не существенную, либо не существующую в действительности. Однако, от примеров, приведенных мною, не так-то просто отмахнуться. Параллели «Ночных бдений» с русской литературой приобретают вид цитат в условиях, когда цитирование исключено и с той и с другой стороны. У нас нет никаких сведений о знакомстве русских писателей девятнадцатого века с «Ночными бдениями». Следовательно, невозможные, но реальные переклички «Ночных бдений» с русской литературой характеризуют не столько русскую литературу, сколько сами «Ночные бдения». Личность автора нам неизвестна, однако книга позволяет представить круг его чтения. Проблема состоит в том, что реминисценции из книг, которые автор должен был читать, в принципе аналогичны в художественной ткани его книги вышеприведенным перекличкам с книгами, ненаписанными в эпоху, когда писались «Ночные бдения».

В девятом бдении читаем: «Номер 2 и номер 3 — философские антиподы, идеалист и реалист; один воображает, будто у него стеклянная грудь, а другой убежден, будто у него стеклянный зад, и никогда не отваживается присадить свое «я», что пустяк для первого, который зато избегает морального созерцания, тщательно прикрывая себе грудь» Обратимся к блистательной новелле Сервантеса «Лицензиат Видриера» «Несчастный вообразил, что он сделан из стекла, а потому, когда к нему подходили, кричал страшным голосом, прося и умоляя вполне разумными словами и доводами к нему не приближаться, иначе он разобьется, ибо он действительно и на самом деле был не как все люди, а от головы до пят из стекла.»**

Вряд ли перед нами простое совпадение. Тогда, спрашивается, что это: цитата, реминисценция или заимствование. В «Ночных бдениях» весь казус иначе акцентирован в духе немецкой спекулятивной философии: перед нами драма идеалиста и реалиста. Но лицензиат Видриера тоже философ, он располагает «вполне разумными словами и доводами». Он только раздваивается в «Ночных бдениях», где виртуозно разыгрывается основополагающая тема двойника и антипода. С другой

* Ф. М. Достоевский, Собр. соч., М., 1958, т. 9, с. 159, там же, с. 281

** Мигель де Сервантес, Назидательные новеллы, М.-Л., 1959, с. 58.

стороны, идеалист со стеклянной грудью и реалист со стеклянным задом — не две ли ипостаси самого Крейцганга, столь хрупкого и беззащитного при всей своей интеллектуальной агрессивности? Отсюда один шаг до вывода: Крейцганг — романтическая модификация лиценциата Видриеры, его зеркальное отражение в другой эпохе. Будущий лиценциат Видриера отказывается назвать своих родителей, Крейцганг называет их, пусть все равно не по именам, лишь в последнем бдении. Лиценциат Видриера сохраняет статус мыслителя лишь в качестве безумца; исцелившись, он вынужден поступить на военную службу. Крейцганг — философ и поэт лишь в сумасшедшем доме, в действительной жизни он ночной сторож. В гневных монологах Крейцганга на все лады варьируется финальная филиппика лиценциата Видриеры: «О столица, столица! Ты делаешь своими баловнями наглых попрошайек и губишь людей скромных и достойных: ты на убой откармливаешь бесстыдных шутов и моришь голодом людей умных и застенчивых».*

Если признать новеллу Сервантеса истоком «Ночных бдений», то исток не нанесен на карту повествования, чье дальнейшее течение сначала отражается в своем необозначенном истоке, который потом начинает отражаться в надвигающемся устье, обнаруживая смысл, выходящий за пределы сервантесовского замысла. Крейцганг — не просто лиценциат Видриера, переселенный в другую эпоху. Образ Крейцганга иначе функционирует.

Если новелла Сервантеса образует условный исток «Ночных бдений», наследие Шекспира составляет их фон. Это тем более примечательно, что собственно шекспировская проблематика почти не соприкасается с проблематикой книги. Автор постоянно взывает к Шекспиру, заклиная его дух и его духов с одной целью: доказать, что «все всего-навсего театр» (четырнадцатое бдение). Уже во втором бдении появляются макбетовы ведьмы или макбетовы духи, но их единственное назначение продемонстрировать свою иллюзорность и поддельность, они больше ничего не предвещают и не возвещают. Упоминаются пузыри, но не пузыри земли, как у Шекспира и Блока, а пузыри воздуха, более невещественные.

Автор возвращается к «Макбету» и в пятом бдении, где кровавый призрак Банко знаменательно соотносится с чарующим образом возлюбленной, предвещая герою метафизическую казнь бессмертием, от которой был избавлен даже сам Макбет. В четвертом бдении автор предпочитает видеть в человеческой жизни шекспировскую трагедию, но тут же на первый план выдвигается «трагическая шутка и такие шуты, как в «Короле Лире», поскольку только им хватает дерзости, чтобы издеваться en gros без всяких околичностей над человеческой жизнью в целом». Автор тут же примешивает к повествованию прямую театральную полемику, осмеивая добряков комедиографов, которые способны сделать невыносимой человеческую жизнь. Так в первом бдении ночной сторож восхищался искусством священника, изображавшего дьявола «в смелом стиле, от которого так далеки потуги современного черта».

* Там же, 1959, с.78.

В двенадцатом бдении роль короля Лира упоминается уже в связи с «комическими нюансами», порожденными пристрастием современной сцены к правдоподобию, а оно-то и есть тотальная фальшь. Шут явно привлекает автора и в чисто театральном смысле как маска и ампула, хранящее неподдельную театральность.

В восьмом бдении грядущий упадок человеческого рода он уподобляет упадку театра: «... любовь, дружба, верность исчезнут с театральных подмостков, устаревшие, как ныне устарели шуты». В четвертом бдении автор едва ли не разделяет горечь своего героя, принадлежащего «к неизменному набору итальянских масок, которые не сходят со сцены». В этом автор смыкается с Карло Гоцци, обвинявшим Гольдони в том, что тот разрушил *commedia dell'arte*, честь и славу итальянского театра, заменив ее «скучной, слезливой, чуждой духу нашей страны ублюдочной драмой».*

В этом контексте само имя Венеции, этой сферы Гоцци, имеет для автора обаяние, что подтверждает пятнадцатое бдение: «Деревянный скоморох смотрел на меня при этом доверительно, и я почувствовал к нему влечение, как будто встретил друга. «Парнишка вырезан в Венеции», — сказал кукольник». Маска в «Ночных бдениях» отождествляется с марионеткой. Склонный видеть в живых людях лишь марионеток, автор подчеркнуто противопоставляет им доподлинных марионеток по эстетическим и нравственным соображениям: «Когда я еще управлял марионетками, у меня был царь Саул, и на него до последнего волоса походил мой незнакомец всеми своими манерами — те же деревянные механические движения, тот же стиль каменной древности, которым труппы марионеток рознятся от живых актеров, не умеющих даже умереть, как следует, на сегодняшней сцене» (бдение четвертое).

А в пятнадцатом бдении Крейцганг говорит о шуте, вырезанном в Венеции: «... после Офелии он был единственным существом в мире, которое я действительно любил». Вновь перед нами предвосхищение, хотя и не столь отдаленное: через каких-нибудь пять лет будет написана статья Клейста «О театре марионеток», в которой Клейст восхищается физической или метафизической грацией куклы.

Однако истинным средоточием шекспировских и вообще театральных пристрастий автора остается шутство. В четвертом бдении брат, наделенный сердцем, он же дон Хуан, герой следующего бдения, высказывается без обиняков: «... все это, в конце концов, не более, чем фарс, где, в сущности, один только шут играет разумную роль именно потому, что для него фарс — не более, чем фарс». Так шут становится центральной фигурой «Ночных бдений». В роли шута охотно выступает сам Крейцганг, правда, это шут, который не столько смешит, сколько насмехается, за что жестоко платится. Он любит Шекспира за его трагические шутки, так как история для него — великая трагикомедия. В этой связи на страницах книги вновь возникают интригующие предвосхищения и переклички.

В девятом бдении, в монологе безумного творца «секунда, названная

* Carlo Gozzi, *Unnutzte Erinnerungen*, Leipzig, 1986, p.99

золотым веком» не может не напомнить русскому читателю «Сон смешного человека» Достоевского. Проблема гораздо шире отдельной цитаты.

Сам смешной человек, задумавший самоубийство и вместо этого увидевший золотой век во сне, — то ли соавтор, то ли герой «Ночных бдений». Ему вторит Блок: «Мы, художники, у которых «золотой век» в кармане».*

В том же монологе безумного творца читаем: «Допустим, я предоставляю этой твари умирать и снова умирать, всякий раз вытравливая искорку самосознания, чтобы этому существу воскресать и колобродить вновь и вновь? В конце концов, это мне тоже наскучит, ибо не может не утомить фарс, повторяющийся вновь и вновь». Здесь предвосхищено не только «вечное возвращение» Ницше. В «Бесах» Достоевского Кириллов говорит: «Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета во всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и этого, даже чудо свое не пожалели, а заставили и его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, если ты человек?»**

Фарс и водевиль могут замещать друг друга как равноценные варианты. Признаюсь, при переводе «Ночных бдений» я неоднократно отказывался от «водевиля», чтобы не впасть в тон Достоевского. Впрочем, аналогия очевидна так или иначе. Что же касается фарса, то в пятнадцатом бдении читаем: фарс (eine Posse) может легко революционизироваться до серьезной трагедии». Подобное сопоставление фарса и трагедии мы встречаем в работе Карла Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852 г.), правда, у Маркса не фарс революционизируется до трагедии, а трагедия опускается до фарса: «Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса»***

Где фарс, где шутовство, там смех. В пятнадцатом бдении мы найдем настоящий гимн смеху, хотя происхождение смеха приписывается дьяволу (опять-таки «диаволов водевиль»). Тут нельзя не вспомнить «Сущность смеха» Шарля Бодлера, опубликованную через пятьдесят лет после «Ночных бдений», в 1855 г.: «Комическое достойно порицания, это стихия дьявольского происхождения»****

Один проклятый поэт приводит за собой другого. Бросается в глаза

* А. Блок, Соч. в двух томах, М, 1955, т. 2, с. 144.

** Ф. М. Достоевский, Собр. соч., М, 1957, т. 7, с. 643.

*** К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., М, 1957, т. 8, с. 119.

**** Baudelaire, Oeuvres complètes, Editions Gallimard, 1961, p. 978

родство между «Ночными бдениями» и «Песнями Мальдорора» Лотреамона. Такой, например, пассаж из «Песен Мальдорора» вполне достоин Крейцганга: «Однако, человек во все века воображал себя красивым. Я же полагаю, что человек мнил себя красивым лишь из себялюбия, а на самом деле он совсем не красив и сомневается в собственной красоте, иначе почему с таким презрением он созерцает лицо себе подобного?»*

В текст Лотреамона вполне органично вписалось бы такое признание из пятнадцатого бдения: «Молодчик моего пошиба, весь состоящий из ненависти и злобы, и, в отличие от прочих детей человеческих, как бы родившийся не из материнского чрева, а скорее из беременного вулкана, мало предрасположен к любви». Герой «Ночных бдений» «впервые почувствовал в сумасшедшем доме что-то вроде любви к людям и всерьез обдумывал планы осуществить вместе с окружающими дураками Платонову республику». Мальдорор отвечает на это такой репликой: «Великое всемирное человеческое братство есть утопия, достояние посредственнейших умов»**

В промежутке между маркизом де Садам и Лотреамоном в «Ночных бдениях» вырисовывается проблема самоистязанья в отчаянье, выдающем себя за человеконенавистничество. Не случайно перед лицом повесившегося поэта Крейцганг замечает: «... взрыв смеха заканчивается слезами...» В десятом бдении встречается «старый глубокомысленный человеконенавистник». Он отдает ночному сторожу ребенка, чья мать, согрешившая монахиня, должна быть замурована заживо. Этого достаточно, чтобы старый человеконенавистник боялся задушить ребенка «в припадке человеколюбия». Ночной сторож отдает ребенка отцу. Такое человеконенавистничество неожиданно соотносится с характером Урса из «Человека, который смеется» Виктора Гюго (1869 г.): «Урс был мизантроп и, чтобы подчеркнуть свою ненависть к человеку, сделался фигляром»***

В романе Гюго причуда мизантропа проявляется в том, что он спасает замерзающих детей. И у Лотреамона и у автора «Ночных бдений» человеконенавистничество — изнанка сострадания и любви. В пятнадцатом бдении человеконенавистничество прямо проистекает из любви «Со дня моего рождения не замечалось во мне большего негодования, бешенства, человеконенавистничества, чем в это мгновение, когда я, разъяренный, пишу тебе, что я тебя люблю...»

Четырнадцатое бдение насыщено Шекспиром. Герои недаром называют себя Гамлетом и Офелией, хотя трагическая ситуация шекспировских Гамлета и Офелии не повторяется в их взаимоотношениях. Мучительной проблемой для них становится не жизненное наполнение роли, а сама роль, как истинное содержание человеческой жизни.

Вспомним «Истину масок» Оскара Уайльда, вспомним самоубийство его героя, стремящегося доказать, кому посвящены сонеты Шекспира

* Lautreamont, Pierre Seghers, editeur, Paris, 1960, p 45

** Lautreamont, Pierre Seghers, editeur, Paris, 1960, p 47

*** В.Гюго, «Человек, который смеется», Гос уч.-пед. изд. МССР, 1954, с,26

(«Портрет мистера W.H.»). Героиня четырнадцатого бдения жертвует собой, разыгрывая роль роли, как дурную бесконечность мнимого, что лишь усугубляет подлинную любовь и нежность в беспросветной неприкаянности.

Роли Гамлета и Офелии предписывают безумие, и вся тема сумасшедшего дома дана в «Ночных бдениях» под знаком роли. В тексте избылируют прямые и скрытые цитаты из «Гамлета». Принц датский у Шекспира вовлекает в действие театр и на этой вовлеченности основываются в значительной степени «Ночные бдения», избыливающие вполне театральными монологами Крейцганга, в конце концов, сами представляющие собой не что иное, как монолог. В первой сцене пятого акта «Гамлета» могильщик по-своему, по-шутовски, то есть мудро объясняет, почему Гамлета посылают в Англию: там все сумасшедшие, как он, и его безумие не будет заметно. Эта мысль, распространенная на весь мир, цитируется в девятом бдении: «Так и во всеобщем сумасшедшем доме, из окон которого выглядывает столько голов, частично или вполне безумных; и в нем построены уменьшенные сумасшедшие дома, потому что дураки бывают разные». Невозможно тут же не привести цитату из герценовского «Доктора Крупова» (1847 г.): «... и все остальные — юродивые, только на свой лад, и сердятся, что Лёвка глуп по-своему, а не по их».*

Полоний говорит о Гамлете: «Хотя это безумие, однако в нем имеется метод» (допустим перевод «система», акт 2, сцена 2). «Ночные бдения» буквально вращаются вокруг безумия, как единственно возможной философской системы: «В этой дурацкой камерке я лежал, замкнувшись, как сфинкс в пещере, с моей загадкой, и мне уже открывался счастливый путь к настоящему безумию, к единственной устойчивой системе, именно потому, что ежедневно у меня был повод сопоставить результаты этой всеобщей школы с достижениями отдельных лиц». В число таких достижений вписывается монолог безумного творца из девятого бдения, достойно предваренный бдением восьмым: «... а человек, в конце концов, должен будет возомнить себя Богом или, по меньшей мере, вместе с идеалистами и мировой историей творить подобную маску». Кажется, вот-вот прозвучит если не в прологе к трагедии «Человек», то в самой трагедии кирилловское «если нет Бога, то я Бог».**

Для автора «Ночных бдений» вполне естественно назвать Шекспира «вторым творцом» в четырнадцатом бдении, но и вся книга зиждется на вопросе, кто же первый: Творец истинный или творец безумный, вновь появившийся в конце четырнадцатого бдения, чтобы «со значением» приложить палец к губам над мертвой Офелией.

Проблематика «второго творца» вовлекает в наше исследование нашего старшего современника Хорхе Луиса Борхеса: «История добавляет, что накануне или после смерти он предстал перед Господом и обратился к Нему со словами: — Я, бывший всеу столькими людьми,

* А.И.Герцен, Соч., М, 1955, т.1, с 356-357

** Ф.М.Достоевский, Собр,соч., М, 1957, т.7, с.641.

хочу стать одним собой. — И глас Творца ответил ему из бури: — Я тоже не Я. Я выдумал этот мир, как ты свои создания, Шекспир мой, и один из призраков моего сна — ты, подобный Мне, который суть все и никто» *

Концовка борхесовского этюда опять уводит нас к истоку, то есть к Сервантесу.

На вопрос, кто самый счастливый человек в мире, лицензиат Видриера отвечает: «Нето (никто)».**

Двусмысленность латинской грамматической конструкции позволяет совместить два противоположных значения: «никто не счастлив», и «некто Никто счастливейший». Так у нового Бонавентуры «Ночных бдений» и у Борхеса «некто Никто (или Ничто)» — Творец. Для Борхеса, несомненно, знакомого с так называемым апофатическим богословием, как, вероятно, и для нового Бонавентуры, это не означает атеизма: Творец — Никто, ибо нельзя сказать, кто Он. Автор «Ночных бдений» проявляет своеобразную последовательность, распространяя свою художественно-философскую концепцию даже на свое авторство. И Бонавентура и Крейцганг — лишь маски, за которыми истинный творец. Никто или Ничто. Проблема авторства сохраняет при этом исторический интерес, но с точки зрения искусства книга навсегда останется анонимной, поскольку анонимность — действенная предпосылка ее художественного бытия.

Необъятная эрудиция, поднятая Борхесом до творческого метода, попросту обязывала его знать и «Ночные бдения», к тому же весьма популярные в двадцатом веке в интеллектуальных кругах. Тем не менее, именно парадоксальные идеи Борхеса, написавшего новеллу под многозначительным названием «Пьер Менар, автор Дон Кихота», приобретают особую актуальность в связи с «Ночными бдениями»: для Борхеса цитировать Бонавентуру все равно что для Бонавентуры цитировать Борхеса; несущественно, кто кого цитирует, существенна непрерывность фантазмагорической традиции, обретающей будущее в прошлом и прошлое в будущем.

В десятом бдении мы встречаем прямо-таки борхесовские формулировки: «... я мысль мысли, грёза грёзы...» Офелия в четырнадцатом бдении, тоскующая по собственному «я», вспоминает бога древних, по имени Сон: «Я готова предположить, что человек — тоже такой бог» Эта линия восходит к «Буре» Шекспира: «У грёзы и у нас один состав, и маленькая жизнь людская сном окружена» (акт 4, сцена 1)

Даже в житейском плане автор «Ночных бдений» предпочитает сны «...действия людей в высшей степени будничны, и разве что их сновидения представляют некоторый интерес».

В «Ночных бдениях» так рассуждают ночные сторожа и поэты. Мы уже не удивимся, когда прочтем у Андре Бретона в «Манифесте сюрреализма» (1924 г.): «Рассказывают, что перед тем, как заснуть, Сен-Поль-Ру заботился о том, чтобы на двери его дома в Камаре, вывешивать

* Хорхе Луис Борхес, Проза разных лет, М, 1984, с 232

** Мигель де Сервантес, Назидательные новеллы, М-Л, 1959, с 72

валось объявление, на котором можно было прочитать: «Поэт работает».*

Этому культу сна в «Ночных бдениях» противопоставлена явь, тоже шекспировская. Гамлет говорит: «Человек может поймать рыбу на червя, который поел короля, и поест рыбы, которая питалась этим червем» (акт 4, сцена 3, перевод М.Лозинского). Апология жизни в двенадцатом бдении проникнута этой мыслью, которая возвращается в шестнадцатом последнем бдении с прямой ссылкой на Гамлета: Явь и Сон совпадают в уничтожении.

Если, не боявшись некоторого метафорического схематизма мы устанавливаем, что исток «Ночных бдений» — новелла Сервантеса, что их фон — цитаты, аллюзии и реминисценции из Шекспира, то, продолжая наши изыскания, мы можем утверждать: перспектива «Ночных бдений» дантовская. Прямые ссылки на Данте в тексте относительно редки, но каждая из них не просто весома, она пронизывает всю книгу. При этом характерно, что речь идет только о дантовском аде. «Чистилище» и «Рай» демонстративно вынесены за скобки. Дантов «Ад» прорывается в первом же бдении. Пытаясь обратить умирающего вольнодумца, священник «живописует потустороннее... но не денницу прекрасного нового дня ... нет, это адский Брейгель, с пламенем, с безднами, со всей ужасающей дантовской преисподней». Едва ли не более знаменательно упоминание Дантова ада в девятом бдении. Сумасшедший удерживает в себе все жидкости, чтобы не вызвать всемирного потопа: «Радикально излечил бы его Дантов ад, через который я веду его теперь ежедневно и погасить который он вознамерился вполне серьезно». По-видимому, не случайно эта ссылка на Дантов ад имеет место в девятом бдении. В аду Данте девять кругов, и Бонавентура — Крейцганг уподобляется Вергилию, проводнику Данте в Преисподней и в Чистилище (рай для проводника закрыт). Так выявляется пародийная знаменательность обоих имен: *Vonaventura* («Благое Грядущее», или «Благая Участь») и Крейцганг («Перекресток») — имя найденыша, найденного на распутье, и в то же время в десятом бдении «крестовый ход», крытая галерея в монастыре: «Я прошел по могилам через крестовый ход» (так называемая непереводаемая игра слов: «*Kreuzgang ging... durch den Kreuzgang*») Благодаря взаимопроникновению этих смысловых нюансов, композиция книги, на первый взгляд, причудливо фрагментарная, обретает неожиданно стройность и строгость, почти ригористическую. Выстраивается архитектурная иерархия, в которой четко локализованы и шутливой страшной суд из шестого бдения, и зловещий аналог Чистилища, монастырь, где заживо замуровывают и рай, великий небесный пантеон, где должна царить «лишь красота да боги». Правда, в книге некому созерцать «Любовь, движущую солнцем и другими звездами»; в «Ночных бдениях» участвует лишь Данте-поэт, а не Данте-персонаж; перед новым Вергилием — Бонавентурой — Крейцгангом на пути в рай возникает преграда, несуществующая и тем более непреодо-

* *Ecrits sur l'art et manifestes des ecrivains francais* Antologie, Moscou, 1981, p.404

лимая. С помощью Данте композиция книги монументально очерчена в четвертом бдении: «...что такое жизнь, если не акт первый, то есть ад в Божественной Комедии, через которую человек проходит в поисках идеала». Интересно, что «Божественная Комедия» вопреки подлинному смыслу своего названия (произведение с благополучным концом) и здесь трактована театрально в духе книги, увенчивая период, в котором Шекспир сочетается с Аристофаном. В десятом бдении новый Уголино, самоубийца-поэт, противопоставляет себя слепому старому Уголино, топтавшемуся в своей тюрьме, так как «жизнь в нем еще яростно боролась, не давая ему отойти». Для поэта весь так называемый мир — величайшая голодная тюрьма, и он рад случаю добровольно покинуть ее «... я смело иду навстречу Тебе, Бог или Ничто». Ничто — ключевое слово книги. Идеал, ради которого человек проходит ад этой жизни, отождествляется с Ничто. Такова потусторонняя перспектива. Историческая перспектива человечества в глазах Крейцганга столь же безнаджна.

В своей филиппике против будущего Крейцганг дает сжатый конспект современных антиутопий, и ему нельзя отказать в проницательности. Он предвидит крайности моделирования и программирования, отталкиваясь от Фихте: «... желторотые ученики будут приобретать специальность «творец мира», как теперь они дотягивают пока всего лишь до творцов «я». Экологические опасности и освоение космоса не ускользают от его наблюдательного взора: «Обновителей природы разведется не меньше, чем у нас часовщиков, завяжется корреспонденция с луною, откуда мы уже сегодня получаем камни». Ничтоже сумняшеся, автор с ошеломляющей меткостью начинает цитировать уже не книги, не написанные в его время, а самую историю: «... сумасшедшие дома будут строиться только для разумных; врачи будут искореняться в государстве как вредители, которые изобрели средство, предотвращающее смерть; грозы и землетрясения будут организовываться с такой же легкостью, как нынешние фейерверки». Автор обнаруживает у себя полномочия пророка, но даже антиутопии, пародийные сами по себе, даже историю, пародирующую самое себя, он продолжает пародировать, подводя нас к нашей главной проблеме: как соотносится пророчество с пародией?

Эта проблема заставляет нас пристальнее вглядываться в историческую ситуацию, при которой писались «Ночные бдения». Распространялось разочарование в достижениях французской революции, в которой автор не без горечи усматривает механические ужимки марионеток: «...деревянное общество застучало внутри при ходьбе, как будто от нечего делать устраивало французскую революцию». Крупнейшим событием интеллектуальной жизни стало крушение рационалистического вольнодумства. Автор уделяет ему много внимания в первых бдениях, посвященных смерти вольнодумца, чьим прообразом прямо назван Вольтер. Очевидно сочувствие ночного сторожа к его немой стойкости, однако демонстративная немота умирающего настораживает. Остается открытым вопрос, молчит ли он от предсмертного бессилия или потому, что ему нечего сказать. Многое свидетельствует за второе предпо-

ложение. Сам ночной сторож, верный своему духу противоречия, проявляет характерный антискептический скептицизм, романтически интонированный: «В это мгновение я не сомневался в его вечности, ибо только для конечного существа невыносима мысль об уничтожении, тогда как бессмертный дух принимает его бестрепетно». Соблазнительно было перевести слово «Fortdauer», переведенное, как «вечность», доходчивости ради, архаическим «непреходимость». «Закон всеобщей непреходимости существ» упоминает Чаадаев.*

Во втором бдении ночной сторож допускает, что покойник во сне посмеивается над своими прежними чудачествами, опровергнутыми Потусторонним. А в шестом бдении уже без обиняков говорится:

«Свободомыслие в наши дни — синоним недомыслия». В двенадцатом бдении введен курьезный образ эпигона во плоти, у которого «нос Канта, глаза Гёте, лоб Лессинга, рот Шиллера и зад нескольких знаменитостей сразу». Соответственно, он обзаводится башмаками Канта, шляпой Гёте, париком Лессинга и ночным колпаком Шиллера. В этом перечне для нас особенно важны лоб Лессинга и парик, неизбежные атрибуты рационалистического просветительства, представителем которого Лессинг был, хотя его и нельзя назвать вольнодумцем. В четвертом бдении, где жизнь Крейцганга представлена в гравюрах, современники должны были сразу улавливать пародийный намек на Лессинга во фразе: «Какие бы соображения не возникли у кладоискателя по поводу его находки, гравюра отнюдь не показывает нам их, так как художник остался верен своему искусству, ни в чем не преступая его границ». Перу Лессинга принадлежал знаменитый труд «Лаокоон, или о границах поэзии и живописи». Пародия на Лессинга распространяется в «Ночных бдениях» на все упоминания Лаокоона, когда в тринадцатом бдении, где пародируется и Винкельман, с которым Лессинг полемизировал, и вообще культ античности, свойственный Веймарскому классицизму (Лаокоон сопоставляется о Калибаном), и когда Лаокооновой змеей именуется могильный червь. Лессинг написал еще один труд «Эрнст и Фальк. Беседы для вольных каменщиков», пытаясь внести ясность в гадательную, запутанную литературу о масонстве. Не исключено, что саркастические выпады против масонства в «Ночных бдениях» тоже восходят к Лессингу или даже метят в его легковерное просветительство. В шестнадцатом бдении Крейцганг отваживается высказаться о масонах так: «Чем надежнее владеет собой человек, тем нелепее представляется ему все таинственное и сверхъестественное от масонского ордена до мистерий иного мира». В десятом бдении вольными каменщиками названы те, кто замуровывает монахиню заживо. Антимасонские пассажи «Ночных бдений» достаточно остры по тем временам. Быть может, резонные опасения за их последствия были той личной причиной, которая побудила автора засекретить свое авторство. В обществе тогда ходили слухи о могуществе масонов и об их мстительности. С.Т. Аксаков вспоминал, как в молодости имел неосторожность позабыться невинной мистификацией в масонском стиле и как

* П.Я. Чаадаев, Статьи и письма, М, 1987, с 157

друг предостерегал его: «Мартинисты — те же масоны. Если они узнают твой обман — ты пропал».*

В пятом бдении есть еще одно схождение с Лессингом и не только с ним: «... на мраморной доске покоился тот самый бледный образ, недвижимый, в дремоте, подле каменного гения смерти, чей опрокинутый факел касался ее груди». Лессинг был автором проникновенного исследования «Как древние изображали смерть». Лессинговские веянья чувствуются в романтических «Гимнах к ночи» Новалиса: «Прекрасный отрок тушит лампу в срок». Гений смерти с опрокинутым факелом в «Ночных бдениях» — общий памятник просветительству и романтизму. Автор «Ночных бдений» принял за всеобщий прецедент крушение рационалистического просветительства, вероятно, много для него значившего. Пережив этот опыт, он уверился, что все духовные движения обречены. Не обольщается он и насчет романтизма, вошедшего ему в плоть и кровь. Со скрежетом зубовым он принимается пародировать романтизм, действительно, предугадывая «романтический закат» (Бодлер). Эпигон в лессинговском парике уже чихает, как Тик, этот корифей романтизма, но наиболее зловещую пародию на романтизм представляют собой «Ночные бдения» в целом. Даже своим заглавием они пародируют «Гимны к ночи» Новалиса. Новалисовская Ночь «Nacht» превращается у Бонавентуры в «nicht» или в «Nichts» (Ничто). Русское «Ночь — Ничто» лишь отчасти передает эту жуткую анаграмму. В «Ночных бдениях» она неотвязна, как звуковое наваждение. В слове «Nacht» слышится «nicht», в слове «Nichts» слышится «Nacht».

В гамлетовском «Sein oder Nichtsein» («Быть или не быть») слышится Nachtsein (ночное бытие), а вместо Nachtwachen в заглавии мерещится Nichtwachen («Бдения Ничто»). С той поры упоминания о сумерках или о закате в немецкой традиции вольно или невольно, сознательно или бессознательно окрашиваются агрессивной бесцветностью Ничто. Таковы «Сумерки кумиров» Ницше («Götzendämmerung») и «Закат Европы» Шпенглера («Untergang des Abendlandes»).

«Ничто» является истинным действующим лицом «Ночных бдений». Уже в первом бдении умирающий вольнодумец «смотрит спокойно в пустоту Ничто». В шестом бдении Ничто — единственный итог всемирной истории. В четырнадцатом бдении герой во сне подходит к Ничто вплотную. Ничто выступает в самых неожиданных комбинациях и сочетаниях. Среди них отчетливо прослеживается линия роли, маски, грима: «Жизнь — лишь наряд с бубенчиками, облекающий Ничто». Параллельно этой линии идет линия идеала. Когда в «Ночных бдениях» говорится об идеалистах, имеются в виду приверженцы идеала, а не философы, полагающие, что бытию предшествует сознание. Представлены в книге эстетические идеалы. Это, прежде всего, идеал античной красоты. Такова Коломбина в четвертом бдении, марионетка «на грани идеального художественного совершенства». Античная Минерва в тринадцатом бдении отделана «до высшей степени идеала». Антиутопия восьмого бдения предполагает ситуацию модернизма и даже его фран-

* С.Т. Аксаков, Собр. соч., М, 1955, т.2, с.265.

цузские корни: «... они срисовывают лишь корчи, приняв безобразное за идеал и взыскав его, когда красота давно уже разделила участь французской поэзии и объявлена пресной». Античный идеал затрагивает и безрукую Венеру, так что автор вынужден предостеречь маленького дилетанта: «Чего вы вообще хотите от каменной девы, которая в этот миг превратилась бы для вас в железную, будь у нее настоящие руки для объятия». Намек парадоксально совмещает «Ильскую Венеру» Мериме и очерк Глеба Успенского «Выпрямила». У Венеры нет рук, у Минервы нет головы, очередная модификация Ничто. В пятнадцатом бдении обронено замечание по поводу революционного террора: «Несправедливость в том, что приводятся в исполнение такие противоестественные приговоры, когда, например, настаивают на обезглавливании, а никакой головы нет, одна деревянная видимость». Короткое замыкание происходит, когда линия идеала пересекается с линией Ничто в точке самоубийства. Автор «Ночных бдений» довольно щедр на самоубийства. В пятнадцатом бдении директор конфискованного кукольного театра вешается на облаке из театрального реквизита. В шестом бдении «гениально пошутил только один юный насмешник, прежде уже решивший со скуки не переселяться в грядущее и застрелившийся теперь, в последний час прошлого, чтобы на опыте убедиться, можно ли еще умереть в это неопределенное мгновение между смертью и воскресением». И этот эксперимент вписывается в искания Кириллова, утверждавшего: «Время не предмет, а идея; погаснет в уме».*

Есть в книге и ложные самоубийства. Актер, умеренно буйствующий на кладбище, чтобы вжиться в характер самоубийцы, — комический предшественник Ипполита из «Идиота»: «пистолет не выстрелил» (двенадцатое бдение), «но выстрела не последовало».**

Не удастся самоубийство и Дону Хуану, брату, наделенному сердцем; он вечный узник Ничто, но он антипод гениально пошутившего насмешника и поэта-самоубийцы, который в свою очередь выступает как трагический двойник Бонавентуры-Крейцганга. Впрочем, самоубийство в «Ночных бдениях» нейтрализовано одним обстоятельством. «После пьесы выступает «я», — лепечет умирающая Офелия. «Это Ничто», — отвечает Гамлет-Крейцганг. В зеркале он видит Ничто вместо «я». Ставится еще один знак равенства: Ничто, совпавшее с Идеалом, совпадает и с «я». Самоубийца, его двойник и антипод равны, так как им нечего терять: нет смерти, так как нет жизни. «Свой же разум называю я ничто», — писал П.Я. Чаадаев.***

В таком совпадении для меня немаловажный аргумент в пользу шеллинговского авторства. Если Чаадаев и не читал «Ночных бдений», он внимательно читал другие работы Шеллинга, беседовал с ним, писал ему, проник в сокровенные глубины его мысли. В этом пункте формируется и существенное различие между «Лицензиатом Видриерой» и «Ночными бдениями». В новелле Сервантеса повествование ведется в

* Ф.М.Достоевский, Собр. соч., М, 1957, т.7, с.251.

** Ф.М.Достоевский, Собр. соч., М, 1957, т.6, с.477.

*** П.Я.Чаадаев, Статьи и письма, М, 1987, с.158.

третьем лице, «Ночные бдения» немислимы без первого авторского лица. В «Лиценциате Видриере» действительность проблематична, но не берется под сомнение как таковая. В «Ночных бдениях» проблематичность распространяется на самую действительность и авторское «я» необходимо, чтобы и его поставить под вопрос. В этом непосредственно предшествовал «Ночным бдениям» роман Лоуренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Просматривается некоторое родство с афоризмами Лихтенберга, которого сближает с автором «Ночных бдений» интерес к Хогарту, чья картина «Хвост» упоминается в «Ночных бдениях» неоднократно. Однако анонимность автора обязывает придерживаться текста в поисках параллелей и взаимосвязей, а они тянутся в другом направлении; «Ночные бдения», «Записки сумасшедшего» Гоголя, «Записки из подполья» Достоевского, наконец, булгаковские «Записки покойника». Все эти произведения объединяются первым лицом автора. Сюда же вписывается «Сон смешного человека» и «Бобок» Достоевского со своей кладбищенской мистерией.

В своем беспощадном осмеянии эпигонства «Ночные бдения» достигают головокружительного своеобразия. Автор обладает захватывающей, но и роковой для него самой способностью видеть зарождающееся и еще не зародившееся движение духовной жизни в его предельной потенции. Горькие уроки просветительства он переносит на романтизм, и его иронические прогнозы сбываются. Та же участь постигает экспрессионизм, сюрреализм, экзистенциализм. И дело тут не только в тщете литературных мод, всегда повторяющих друг друга хотя бы отчасти. Автор затрагивает самую суть культуры, так как он мастер высокой философской пародии, а пародия — это испытание действительности возможностями. С пародией в поэзию вторгается проза, не проза жизни, а проза художественная, вращающаяся вокруг вопроса, заданного еще Шекспиром: «Can such things be?» («Бывает ли такое?»)*

Амброз Бирс озаглавил так сборник своих фантастических новелл Вот откуда безраздельное господство прозы в «Ночных бдениях», где то и дело упоминаются стихи, но нет ничего похожего на стихотворную строку. С другой стороны, пародии всегда сопутствует некий идеал, предполагаемая сумма всех возможностей, аннулирующих друг друга в принципе, так что пародия распространяется и на идеал. Вырисовывается диапазон между Нечто и Ничто. В этот диапазон попадает все, хотя прощупываются, прежде всего, точки, характерные для диапазона в целом. Любое пророчество, особенно из тех, что сбываются, открывает свой диапазон между Нечто и Ничто, между возможным и невозможным, поэтому всякое пророчество соприкасается с пародией, что относится даже к Апокалипсису, чьи пародийные элементы ждут своего исследователя. «Ночные бдения» при всей своей мрачности не оказывают на нас угнетающего действия, так как у них свой трагикомический катарсис: преодоление непоправимого смехом, этим последним проявлением свободы.

* W Shakespeare, Macbeth, act 3, scene 4

Г.А. Гофман

ЭЛИКСИРЫ ДЬЯВОЛА

Гофман называл «Эликсиры дьявола» романом особого рода. Первая часть его вышла в свет отдельным изданием в сентябре 1815, вторая — в середине мая 1816 года. Гофману не без труда удалось найти издателей для нового сочинения, что объяснялось не просто стечением неблагоприятных обстоятельств, но и, в значительной степени, особенностями самого романа.

В «Эликсирах дьявола» сосредоточились и причудливо переплелись как раз те тенденции в творчестве Гофмана, которые настораживали и даже шокировали современников. О произведениях Гофмана, как известно, неодобрительно высказывались Гёте, Гегель, Людвиг Тик. Очевидно, это объяснялось не просто фантастическими мотивами, достаточно распространенными в тогдашней литературе, — с подобной точки зрения роман Гофмана не был из ряда вон выходящим явлением. Гофман откровенно использует здесь фабулу и сюжетные ходы романа «Амброзио, или Монах» английского писателя Мэтью Грегори Льюиса (Лондон, 1795). Немецкий перевод романа вышел в Лейпциге в 1797 году, и Гофман прямо-таки ссылается на него: в «Эликсирах дьявола» этот роман читает Аврелия. Нетрудно уловить у Гофмана также отголоски «Романса о розарии» (этот неоконченный стихотворный роман Клеменса Брентано называют католическим «Фаустом»). Встречаются и отчетливые переключки с «Учениками в Саисе» и «Генрихом фон Офтердингеном» Новалиса. Если бы Гофман написал просто страшную сказку или роман ужасов, у него, по всей вероятности, было бы меньше затруднений с изданием этого произведения. Видимо, издателей и последующих критиков настораживал и даже пугал именно своеобразный реализм романа.

Гофман всегда отличался вкусом к точной жизненной детали, выписанной нередко со скрупулезной, почти натуралистической выпуклостью. Княжеская резиденция в романе определенно напоминала современникам веймарский двор, имитирующий в миниатюре замашки просвещенного абсолютизма. Да и судьба Медардуса, при всех ее демонических перипетиях, остается судьбой одаренного, но безродного молодого человека, пытающегося любой ценой утвердить себя в аристократическом обществе. В этом смысле Медардус — прямой предшественник стендалевского Жюльена Сореля, также избирающего для себя церковную карьеру за невозможностью всякой другой; Медардус пред-

восхищает и некоторые черты бальзаковских героев, Люсьена Шардона и даже Растиньяка, не говоря уже о «Подростке» Достоевского. Вместе с тем было бы упрощением видеть в «Эликсирах дьявола» нравоописательный роман, лишь для интереса приправленный экскурсами в мистическое и сверхъестественное.

Прежде всего, сверхъестественное основывается на безупречно реалистических мотивировках. Психопатологическая линия в «Эликсирах дьявола» прослеживается с наблюдательностью, достойной психиатра. «Эликсиры дьявола» — это не только страшное родовое наследие, но и роковая наследственность, вторгающаяся в жизнь отдаленных потомков и помыкающая ими помимо их воли. Мотив генетического фатума найдет дальнейшую разработку в литературе, начиная от произведений Эмиля Золя до Уильяма Фолкнера. Именно зловещий натурализм привлекал к этому роману Гофмана широкого читателя и отвращал утонченных ценителей, не позволяя признать себя безобидной фантастикой и непреклонно обнажая то темное в человеческой душе, что веймарский классицизм старательно замалчивал. Однако Гофман, в отличие от своих последователей и продолжателей, не ограничивается устрашающей историей болезни, его поэтическая философия идет дальше. Гофман вводит в новейшую литературу тему двойника, подхваченную и тщательно разработанную Достоевским. Для Гофмана человек свят в своей уникальности, в своей неповторимости, даже если это неповторимость «преступления и наказания». Трагическая вина Медардуса и Викторина в том, что они непрерывно присваивают, узурпируют личность и судьбу друг друга. В этом они верны своему предку, художнику Франческо, попытавшемуся превратить святую Розалию в двойника богини Венеры и погрешившему тем самым и против богини, и против святой. Для Гофмана преступно и греховно подражание, дублирование, имитация, как в творчестве, так и в собственной судьбе. Череда хищнических раздвоенный виртуозно вплетена в художественную ткань романа, обнаруживаясь в лейтмотивах и зеркальных повторах. Перед нами двойник-лазутчик того безликого легиона, которым назвался бес, непрерывно раздваивающийся и, согласно Евангелию, увлекающий в бездну свиное стадо. Характерно, что искупительницей преступного рода выступает в романе Аврелия-Розалия, истинная красота, спасающая мир.

Под названием «Эликсир сатаны» роман впервые вышел на русском языке в 1897 году, в переводе В. Л. Ранцова. Затем, в 1984 году, «Эликсиры сатаны» вышли в серии «Литературные памятники» в переводе Н. А. Славятинского. В настоящем издании вниманию читателей предлагается третий перевод романа.

¹ ...в монастыре капуцинов близ Б... — Речь идет о Бамберге, в окрестностях которого находился монастырь капуцинов. Гофман посетил этот монастырь в 1812 г., и монашеская жизнь и католический ритуал произвели на него большое впечатление, во многом предопределив замысел романа. Гофман встретился там со старым монахом по имени

Кирилл, которого можно до известной степени рассматривать как прототип отца Кирилла в романе.

Монашеский орден капуцинов отделился от ордена францисканцев в 1528 г. Название происходит от длинного капюшона, пришитого к темно-коричневой рясе (облачение капуцинов). Другим отличительным признаком капуцина была окладистая борода. Подобно францисканцам, капуцины имели дело преимущественно с беднейшими слоями городского и сельского населения. Они занимались также дипломатической деятельностью, представляя интересы католической церкви и князей.

² Святая Липа — монастырь в Восточной Пруссии, вблизи Кенигсберга. Название происходит от липы, на которой держалось изваяние Девы Марии, считавшееся чудотворным. Около 1400 г. вокруг липы была возведена часовня, разрушенная во время Реформации и восстановленная в 1619 г. В XVIII в. часовня стала монастырской церковью, где имелось деревянное подобие старой липы со статуей Мадонны, а у наружной стены тоже была статуя Мадонны — на каменном стволе, увенчанном железной листвою. Гофман, вероятно, почерпнул сведения об этом монастыре из трагедии Захарии Вернера «Крест на Остзее» (1806), к которой он написал музыку.

Святой Бернард — Бернард из Клерво (1090 — 1153), богослов, один из отцов католической церкви. Призывал духовенство к отказу от мирских богатств, выступал против папских притязаний на светскую власть, что нашло отражение в романе.

³ Святое семейство — Дева Мария и ее супруг Иосиф с младенцем Христом.

...в монастыре цистерцианок... — Орден цистерцианцев (цистерцианок) выделился из ордена бенедиктинцев в 1118 г. Основоположителем ордена был Бернард из Клерво, бывший аббатом монастыря Цистерциум близ Дижона во Франции (отсюда название). Орден отличался строгой дисциплиной и установкой на мистический аскетизм.

В цистерцианских монастырях был особенно развит культ Девы Марии.

⁴ Праздник святого Бернарда — 20 августа, день смерти св. Бернарда из Клерво.

⁵ «Слава в вышних Богу!» — слова ангелов, возвещающих Рождество Христово (Лука, 2, 14). Включены в католическую мессу как песнопение.

⁶ ...настоятельница в митре и с серебряным пастырским посохом.

— Митра — высокий головной убор из белого шелка, усеянный драгоценными камнями, знак епископского достоинства, как и серебряный посох.

Этих знаков удостаивались также особо чтимые настоятели и настоятельницы монастырей.

⁷ Я принял иноческое имя Медардус... — День святого Медардуса празднуется католической церковью 8 июня; учрежден в память святого Медардуса, епископа Саленси, что в Пикардии. Имя «Медардус» в ро-

мане поэтически предопределяет особое отношение героя к святой Розалии, так как епископ Медард учредил праздник роз, которыми увенчивали достойнейшую девицу в епархии.

⁸ Житие святого Антония. — Святой Антоний (250 — 356) — отшельник из Египта, «отец монашества». По преданию, подвергался в пустыне многочисленным искушениям дьявола.

⁹ День святого Антония — 17 января.

¹⁰ ...сам король Неаполитанский... — Один из анахронизмов, допущенных в романе, действие которого происходит предположительно в XVIII в. Королем Неаполитанским по воле Наполеона в 1808 г. был провозглашен маршал Иоахим Мюрат. Он распорядился возобновить раскопки Помпей, погребенных извержением Везувия в 79 г. н.э. Во время раскопок, начатых в 1748г., были найдены также сосуды с вином, сохраняемые по древнеримскому обычаю примесью терпентина, однако за прошедшие века вино утратило свои качества.

¹¹ Алтарь святой Розалии. — Святая Розалия, покровительница города Палермо, — отшельница, а не мученица; умерла в 1160 г. В окрестностях Палермо сохранилась пещера святой Розалии.

¹² Цирцея (Кирка, греч. миф.) — волшебница, превратившая в стадо свиней спутников Одиссея, а его самого больше года удерживавшая на своем острове; коварная обольстительница.

¹³ Аргус (греч. миф.) — многоглазый великан, стерегущий по приказу богини Геры возлюбленную Зевса; бдительный страж.

¹⁴ ...под императора Тита... — В XVIII и в нач. XIX в. в моде были прически под великих людей. Тит Флавий Веспасиан (39 — 81) — римский император.

Пьетро Белькампо — итальянский перевод имени и фамилии цирюльника («Шёнфельд» по-немецки — «прекрасное поле»). Так же обстоит дело и с фамилией Пунто (Пунто, и т., Штих, нем. — укол). Именем Джованни (Джакомо) Пунто назвался музыкант Иоганн Венцель (Ян Вацлав) Штих (ок. 1750 — 1803). Штих был крепостным графа Туна в Чехии, бежал от него и прославился как валторнист, дирижер и композитор.

¹⁵ Каракалла — римский император Марк Аврелий Север Антоний Август (186 — 217). Прослыл «солдатским императором». Прозвище «Каракалла» происходит от названия галльского плаща с капюшоном; император одел своих солдат в такие плащи.

¹⁶ Абельяр Пьер (1079 — 1142) — французский богослов и философ.

В романе просматривается аналогия между вынужденным монашеством Абельяра и Медардуса.

¹⁷ Дамон, Орест — хрестоматийные примеры верной дружбы. Дружба Дамона и Финтия воспевается в балладе Шиллера «Порука». Орест и Пилад известны по трагедии Эсхила «Орестейя».

¹⁸ Агасфер — по средневековому сказанию, сапожник, не позволивший отдохнуть у своей двери Христу, когда Спаситель шел на Голгофу, изнемогая под тяжестью креста. Агасфер якобы сказал Христу: «Иди, иди!» С тех пор Агасфер обречен ходить без отдыха по земле до Страшного суда. В романе живописец Франческо-Старший до извест-

ной степени повторяет судьбу Агасфера. Бертран де Борн (ок. 1140 — ок. 1215) — провансальский трубадур, славившийся не только своим поэтическим талантом, но и строптивым нравом. Упоминание Мефистофеля подчеркивает родство Медардуса с Фаустом. Бенвенуто Челлини (1500 — 1571) — итальянский скульптор и золотых дел мастер, прославился автобиографией, переведенной Гёте на немецкий язык в 1803 г. В романе Гофмана встречаются переклички с этой автобиографией.

¹⁹ ...так называемые вольные стрелки... — Согласно народным поверьям, вольный стрелок — охотник, вступивший в союз с дьяволом. Дьявол дает ему пули, бьющие без промаха, и сам направляет каждую седьмую из них.

²⁰ Фараон — азартная карточная игра, запрещенная тогда во многих европейских государствах. В фараон втайне играло только избранное, главным образом, придворное общество.

²¹ ...знаком ли я с ирландцами... — Речь идет об анекдотах, распространенных в эпоху Гофмана. Писатель, вероятно, читал сборник анекдотов «Спутник весельчака». Ирландец — постоянный герой этих анекдотов.

²² Я сам если и подобен Фальстафу... — Далее Эвсон цитирует реплику Фальстафа из исторической хроники Шекспира «Король Генрих IV», II, 1, 2).

Хорнпайп — народный английский танец, популярный в XVIII в. Назван по музыкальному инструменту (hornpipe — вольтка, англ.).

²³ Шампанского подайте мне... — немецкий перевод реплики Фальстафа («Король Генрих IV» II, 4).

Камбиз — персидский царь (VI в. до н.э.). Слыл у древних греков пьяницей, развратником и деспотом.

Катон Старший Марк Порций (234 — 149 до н.э.) — римский политик и писатель, блюститель традиционных римских доблестей.

²⁴ ...Шекспир, в шлегелевском... переводе... — Август Вильгельм Шлегель (1767 — 1845) — немецкий писатель-романтик, историк искусства. Его переводы Шекспира на немецкий язык до сих пор считаются классическими. Шлегель переводил Шекспира размером подлинника, то есть пятистопным ямбом. В этом же размере комически изъясняются персонажи вставной новеллы лейб-медика. Анахронизм, допущенный Гофманом: действие романа разыгрывается до того, как были опубликованы переводы Шлегеля.

Принц Евгений Савойский (1663 — 1736) — австрийский фельдмаршал, известный полководец; прославился победами над турками.

²⁵ Ты Квинз... — См.: Шекспир, «Сон в летнюю ночь» (V, 1).

Пилад. — См. коммент. к сноске ¹⁷.

²⁶ ...у Медардуса на шее... есть метка... — Мотив крестообразной метки, как считают исследователи, заимствован из драмы Кальдерона «Поклонение кресту», высоко ценимой Гофманом. Драмы Кальдерона в переводе Августа Вильгельма Шлегеля вышли в 1803 — 1804 гг.

²⁷ Монах-доминиканец. — Ордену доминиканцев папа Григорий IX в 1232 г. препоручил инквизицию. В народной этимологии *Dominicanes* истолковывались как *Domini canes* (псы Господни, лат.). Орден доми-

никанцев беспощадно преследовал еретиков, фабрикуя при этом ложные обвинения и пытками вымогая у обвиняемых признание.

²⁸ ...полулакеи, полуприживальщики... — С этой фразой лейб-медика явно перекликается фраза аббата Пира из романа Стендаля «Красное и черное», относящаяся, правда, к духовенству католическому: «...мы люди духовного звания... и в качестве оных мы являемся для нее чем-то вроде лакеев, необходимых для спасенья ее души» (М., 1950, с. 268, пер. С. Боброва и М. Богословской. Речь идет о госпоже маркизе де ля Моль).

²⁹ Амадис Галльский — один из легендарных рыцарей Круглого стола, действующее лицо романов артуровского цикла, любимый герой Дон Кихота Ламанчского. Немецкая версия романа об Амадисе Галльском вышла в Германии в XVI в. в 24-х томах и пользовалась необычайной популярностью.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646 — 1716) — выдающийся немецкий математик и философ. В 1700 г. основал Берлинскую академию наук, побудил Петра I основать Петербургскую академию, что было осуществлено уже после смерти Лейбница (1724).

³⁰ ...переведенный с английского роман «Монах!» — См. с. 490.

³¹ Если я вообще существую лишь в моем сознании... — Шёнфельд в эксцентричной форме ссылается на философию Иоганна Готлиба Фихте (1762 — 1814), одного из основоположников немецкого классического идеализма, в особенности, на его труд «Наукоучение» (1794). Для Фихте источником бытия является абсолютное «я», чистое сознание. Эта теория оказала определенное влияние на романтиков, не исключая Гофмана.

³² Неверр Жан-Жорж (1717 — 1810) — знаменитый французский хореограф, реформировал классический балет. Вестрис Гаetano Аполлино Бальдассаре (1729 — 1808) — знаменитый итальянский танцовщик. Возможно, речь идет о его сыне: Мари-Жан-Августин Вестрис-Аллард (1760 — 1842) — также выдающийся солист балета, избретатель пируэта. Все три артиста танцевали на сцене парижской Большой Оперы и считались непревзойденными мастерами своего искусства.

³³ ...пудры a la Marechal, a la Pompadour, a la reine de Golconde .. — Речь идет о пудрах, модных в XVIII в. Первая названа в честь наполеоновских маршалов. Пудра «Помпадур» — по имени маркизы де Помпадур, фаворитки Людовика XIV. Королева Голконды — героиня популярной оперы «Алина, королева Голконды» Анри-Монтеня Бартона (1767 — 1844). Гофман дирижировал этой оперой 1 окт. 1808 г. в Бамбергском театре.

³⁴ ...скелет... змеи... — Гофман по-своему komponует здесь мотивы средневековой литературы и живописи, подхваченные впоследствии искусством барокко. Образ женщины, чье тело, с виду прекрасное, на самом деле уже разлагается, восходит к стихотворному эпосу Конрада Вюрцбургского «Цена жизни» (XIII в.).

³⁵ Его брат Альберт... — Ошибка Гофмана: далее молодой князь именуется Иоганн.

Франческо... был учеником Леонардо да Винчи... — Образ Леонардо

да Винчи играет существенную роль в романе Гофмана. См об этом подробнее ниже, с. 502 — 508.

³⁶ Почтим-ка Эскулапа и человеколюбивую Хигиэйю... — Эскулап — древнеримский бог врачевания, Хигиэя — древнегреческая богиня здоровья.

³⁷ ...он вообразил себя новым Пигмалионом... — Пигмалион, царь Кипра, непревзойденный ваятель, влюбился в сделанное им изваяние из слоновой кости, которому Афродита подарила жизнь, вняв его мольбам; Пигмалион взял свое творение в жены (см.: Публий Овидий Назон, «Метаморфозы», кн. 10).

³⁸ ...ваша корона, своим тройственным кругом обозначающая таинственное триединство Господа Вседержителя... — Медардус усматривает в трех кругах папской тиары образ христианской Троицы (ср.: Данте, «Рай», XXXIII, 114 — 117), но, согласно традиционному толкованию, три золотых обруча папской тиары символизируют Церковь гонимую, воинствующую и торжествующую.

³⁹ Пульчинелла — одна из масок в итальянской импровизированной комедии, комический слуга с заостренным носом, в остроконечной шляпе и в шароварах.

...вышел Давид со своей пращой и кульком... — Будущий библейский царь Давид в юности сразил из своей пращи могучего воина Голиафа, что стало излюбленным сюжетом кукольных представлений

⁴⁰ ...нынешний наместник Божий — суший агнец в сравнении с Александром Шестым... — Нынешний наместник Божий — вероятно, папа Климент XIV (1769 — 1774). Этот папа был не чужд обновленческих идей и навлек на себя ненависть иезуитов, упразднив их орден в 1773 г. Александр VI Борджиа (1431 — 1503) — римский папа с 1492 г., отличался развратной жизнью, беззастенчиво вмешивался в политические интриги своего времени.

Ионафан — сын библейского царя Саула, верный друг Давида.

⁴¹ Санкт-Гетрей — улица в Бамберге, где находилась психиатрическая лечебница, возглавлявшаяся другом Гофмана, доктором Адальбертом Фридрихом Маркусом.

⁴² Confutatis maledictis... — стихи из латинского гимна «Dies irae» («День гнева»), с XIV в. включенного в католическую заупокойную мессу.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В «ЭЛИКСИРАХ ДЬЯВОЛА»

Леонардо да Винчи (1452 — 1519), великий художник итальянского Ренессанса, упоминается в «Эликсирах дьявола» вскользь, отнюдь не являясь при этом эпизодической или периферийной фигурой. Напротив, проблематика и художественная ткань романа во многом определяются именем и образом Леонардо. Не случайно приор, духовный наставник Медардуса, носит имя «Леонардус», и беглый монах принимает имя «Леонард» якобы в честь своего приора, фактически же, сам того пока еще не подозревая, в память о своем истинном духовном предке. Приор Леонардус играет в жизни Медардуса роль, аналогичную роли престарелого Леонардо да Винчи в жизни князя-художника Франческо, от которого Медардус происходит по плоти. Леонардо да Винчи, подобно приору Леонардусу, выступает в романе как пример и символ благочестивого католичества, однако именно его искусством и духовным опытом предопределена роковая наследственность проклятого рода. Миф о Леонардо да Винчи присутствует в романе. Более того, Гофман становится одним из творцов так называемого ренессансного мифа, во многих отношениях предопределяя художественно-философские тенденции 2-й пол. XIX и нач. XX века.

В образе Леонардо да Винчи предание соединяет живописца и естествоиспытателя. Исторический Леонардо да Винчи действительно сочетал художественные и научные интересы, обуславливающие друг друга. Пожалуй, весь Леонардо в глаголе «изведать», «испытать».

Новые возможности искусства совпадают для него с новыми перспективами научного исследования, хотя в глазах современников натурфилософские эксперименты лишь отвлекают художника от его великих произведений, в совершенстве которых никто не сомневается. Современники упрекают Леонардо в том, что он разбрасывается и потому не может закончить своих художественных шедевров. Эти упреки находят отголосок в романе Гофмана, где Франческо никак не может написать лик святой Розалии и, переживая творческий кризис, прибегает к пресловутому дьявольскому эликсиру. Известно, что Леонардо очень долго писал Христа своей «Тайной вечери», и в кругу художника распространялись всевозможные кривотолки на этот счет. Естественнонаучные и художественные занятия Леонардо да Винчи объединяются неким таинственным любопытством, пафосом Фомы Неверного, стремящегося вложить персты в раны распятого Спасителя. Поэтому леген-

да недаром вовлекает Леонардо да Винчи в сферу эзотерической мистики, связывает его имя с христологическими ересями. Именно таким мистическим любопытством движимы и оба Франческо, старший и младший в романе, и особой интенсивности оно достигает как раз в личности Медардуса, которому сначала, откровенно говоря, просто хочется попробовать страшный эликсир.

Несомненно, отношение к христианству, историческому и мистическому, — одна из центральных проблем романа. Это особенно бросается в глаза потому, что Гофман явно не очень сведущ в проблематике, которая захватывает его, так что он вынужден трактовать ее исключительно как художник. Гофману явно далеко до изощренных религиозно-философских построений Новалиса, Шеллинга или Вакенродера, но именно артистическая пылкость профана, столь родственная жизненной позиции его героев, придает роману крайнюю насыщенность и жизненный интерес.

Исторически эпоха Ренессанса вызвала секуляризацию (обмирщение) искусства. В романе престарелый Леонардо удерживает своего своенравного ученика Франческо в лоне церковной традиции, но как раз гофмановский Франческо-старший привносит в искусство веяния и тенденции, характерные для исторического Леонардо. Живопись Ренессанса отказалась от обратной перспективы и перешла к прямой, создавая оптическую иллюзию трехмерного пространства, зримой дали. Также и цвет теряет свою символическую знаменательность, набирая земную красочность. И наконец, человек перестает быть иконописным образом, превращаясь в изображение, при котором соблюдаются анатомические пропорции человеческого тела. (Кстати, Леонардо был среди тех, кому легенда приписывала интерес к рассечению трупов, похищаемых для этой цели, и необъяснимое исчезновение самозванного Медардуса из монастырской покойницкой также прочитывается как отдаленная аллюзия на времена Ренессанса.) Живопись Леонардо поражала современников своей физиологической точностью. Вариациям на эту тему отдал дань Гоголь в своем «Портрете»: «Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда» (Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. III. М., 1984, с. 70). К такому искусству стремится Франческо-старший после смерти учителя, что не могло не означать разрыва с христианской традицией.

Отталкиваясь от христианства, Франческо обращается к античному язычеству не только в художественном, но и в религиозном плане. Это существенный момент ренессансного мифа. Возрождение в распространенном культурном сознании и означало возрождение языческих верований. Гофман вносит свой вклад в становление подобного мифа, и в этом пункте внутренние перипетии сюжета причудливо перекрещиваются с внешними параметрами романа, вписывающегося в духовную жизнь своего времени.

Гофман точно и тонко улавливает функцию изобразительного искусства в эпоху Ренессанса. Живопись и скульптура не ограничивались

тогда решением художественно-ремесленных задач; они образовывали мировоззрение, философию эпохи — в большей степени, чем собственно тогдашняя философия. Секуляризация искусства не могла не затрагивать религии, хотя вовсе не означала прямого или скрытого разрыва с христианством. Языческие пристрастия не выходили за пределы узких элитарных кружков, что видно и в романе Гофмана, да и внутри этих кружков они не шли дальше стилизованных игр, вовсе не предполагающих серьезную реставрацию языческих верований. Однако секуляризация все-таки посягала на функцию христианства в духовной жизни общества. Христианство оставалось как бы само собой разумеющимся, но оно выводилось за пределы культуры. Религиозные сюжеты трактовались наравне с мирскими в мирском духе, что вызывало негодование воинствующего благочестия, представляемого, к примеру, проповедником Савонаролой (1452 — 1498).

Вместе с тем само преклонение перед античностью не было чем-то новым для романско-готической культуры. На благоговейном изучении античности основывалась и средневековая схоластика, признанным вдохновителем которой был Аристотель. Как ни странно, и секуляризация культуры имела средневековые, схоластические корни, восходя к учению о так называемой «двойной истине». Согласно этому учению, признавалась истина Откровения и наряду с ней истина знания, причем обе эти истины могли друг с другом не совпадать, на что ссылалась натурфилософия, когда указывали на ее несоответствие Священному писанию. Секуляризация лишь возвела эту двойственность в мировоззренческий принцип, распространив ее на внутренний мир человека. Просветительство же зашло еще дальше, низводя христианство к привычной социально-исторической данности, одновременно вышучивая его и снисходительно защищая при условии полной его нейтрализации, когда христианство приравнивается к простой моральной норме, а его мистическая сущность затушевывается, так что становится дурным тоном говорить о ней. Таков диапазон европейского просветительства от Вольтера до Штрауса и Ренана. В «Эликсирах дьявола» такой точки зрения придерживается лейб-медик, но и Медардус, в бытность свою модным проповедником, склоняется к ней, усматривая в искушениях святого Антония лишь глубокомысленную аллегория.

При этом культура оставалась христианской по своим истокам и сути. Замалчивая мистическую сердцевину христианства, просветители изымали из культуры ее творческий стержень, выхолащивали ее энергетическую притягательность. За десять лет до «Эликсиров дьявола» в Германии появился роман «Ночные бдения». Его неизвестный автор, укрывшийся под псевдонимом «Бонавентура» (по некоторым предположениям это мог быть тот же Гофман), называл французскую поэзию пресной, имея в виду рационалистическое просветительство. Подобная пресность катастрофически распространялась на всю духовную жизнь, выражаясь в филистерском ханжестве и в пресыщенном сплине. Немецкие романтики, в их числе Гофман, увидели спасение в христианизации культуры. Собственно, попытки вовлечь христианство в сферу новейшего духовного творчества или вернуть культуру в лоно христиан-

ства не прекращались никогда. Достаточно в этой связи назвать имена Якоба Бёме, Мальбранша и де Местра. Но вопрос действительно ставился неоднозначно: возвращается ли культура в лоно христианства или, напротив, христианство вовлекается в новейшее культурное творчество. Этот вопрос мучил всех видных представителей романтической школы в Германии.

Романтизм развивался под знаком кьеркегоровского «или — или». «Эликсиры дьявола» всецело обусловлены этой двойственностью и ей посвящены.

Приор Леонардус не имеет себе равных в романе по интеллектуальной силе. Он прежде всего религиозный мыслитель, и для него культура невозможна вне христианства; поэтому сфера его деятельности — монашеская обитель. Но характерно, что противостоит ему римский папа, вульгарный просветитель в тиаре, цинично пытающийся совместить душевное спасение с мирскими радостями. И этот папа не в ком ином, как в Медардусе, облюбовывает духовника, подходящего для себя.

Личность Медардуса — сплошное «или — или». Медардус непрерывно колеблется между Богочеловеком и сверхчеловеком, идеалом которого соблазняет его Евфимия. Гофман не оставляет у читателя сомнений в том, что сверхчеловек — иллюзия. Дьявол — не в сверхчеловеке, дьявол — в уклонении от Богочеловека во имя мнимого сверхчеловека, дьявол — в самой колебании между истинной и ложной величиной, а эликсир дьявола только усугубляет это пьянящее колебание. Между истинным и мнимым человек теряет себя самого: «Я тот, за кого меня принимают, а принимают меня не за меня самого; непостижимая загадка: я — уже не я!»

В линии двойника роман Гофмана тесно соприкасается с русской литературой, причем не только с Гоголем и Достоевским. В 1897 г., когда появляется первый русский перевод «Эликсиров дьявола», Д. С. Мережковский работает над историческим романом «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи». Выход перевода как раз в это время — разумеется, простое, хотя и знаменательное совпадение. Мережковский не нуждался в переводе для того, чтобы ознакомиться с романом Гофмана. Следы его воздействия замечаются в русской литературе задолго до Мережковского.

Переключка Мережковского с Гофманом осуществляется не столько через образ Леонардо да Винчи, сколько через его влияние на окружающих. В романе Мережковского к Джiovанни Бельтраффио приходит ужасный двойник Леонардо да Винчи и толкует о зловещей механике мира. Самое страшное в том, что Джiovанни готов принять своего любимого учителя за его двойника. Но трагедия Джiovанни не исчерпывается этим: в гениальной живописи Леонардо Джiovанни находит двойников — одного Христа и другого: «Его мучило также другое видение — два лика Господня, противоположные и подобные, как двойники: один, полный человеческим страданием и немощью, — лик Того, Кто на вержении камня молился о чуде; другой лик страшного, чуждого, всемогущего и всезнающего, Слова, ставшего плотью, — Пер-

вого Двигателя» (Мережковский Д. С. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи. М., 1990, с. 304).

В этих словах Мережковского намек на старинную легенду. Говорят, будто на картине «Тайная вечеря» был изображен двойник Христа. В легенде угадывается апокрифическое представление о том, будто на кресте был распят не Иисус, а Его двойник. Леонардо да Винчи слыл приверженцем этой христологической ереси, хотя явных подтверждений и свидетельств такого рода не сохранилось. Сам подобный слух был навеян искусством Леонардо да Винчи, его своеобразной эзотерикой при всей оптической достоверности его рисунка. Уже в последнее время возникла версия, согласно которой знаменитая Мона Лиза Джоконда является автопортретом художника, то есть его двойником женского пола. Стремление Леонардо соперничать с природой не могло не порождать двойников. В духе своих религиозно-философских построений Мережковский истолковывает два лика Христа у Леонардо как Христа и Антихриста, причем Антихрист выступает не как противник, а как двойник Христа.

У гофмановского Медардуса тоже два лика, два существа. Он отпетый преступник, блудник, убийца, и он же святой. Он пришел в Рим каяться в смертных грехах, а его собираются канонизировать. Дьявол не прочь прельстить Медардуса и святостью, лишь бы это была сверхчеловеческая святость, сопряженная с гордыней в самом покаянии. Медардус мнил себя святым Антонием. Настоящий, так сказать, родовой двойник Медардуса, граф Викторин пытается узурпировать святость Медардуса, тогда как Медардус присваивает себе грехи Викторина. Однако не Викторин, а Медардус — избранник святой Розалии, чей совершенный земной двойник — Аврелия. Гофман превращает пустынь Розалию в мученицу, чтобы усугубить это праведное двойничество. Медардус покушается на убийство своей возлюбленной Аврелии, но убивает ее Лжемедардус, Викторин, чтобы Аврелия удостоилась мученического венца, искупив грех своего проклятого рода и грех Медардуса.

Однако двойником святой Розалии оказалась и госпожа Венера, языческая богиня, с которой пытается отождествить святую Розалию Франческо-старший. Мережковский в своем повествовании как бы придает археологическую конкретность романтическим эскизам Гофмана. Он мастерски фиксирует атмосферу раскопок, таинственных находок, в которой должен был формироваться художник, принадлежащий кругу Леонардо. Возлюбленная Франческо — «белая дьяволица» Мережковского. На этот образ наслаиваются средневековые немецкие сказания о любви госпожи Венеры к рыцарю Тангейзеру, вдохновившие Генриха Гейне и Рихарда Вагнера. Пещера, в которой Франческо-старший оставляет своего отпрыска от «белой дьяволицы», напоминает Венерин грот. В дьяволицу Франческо влюбляется не только потому, что она похожа на Венеру, но и потому, что она похожа на святую Розалию, хотя это сходство проистекает от его собственного художественного дерзновения.

На этом художественном дерзновении строится причудливый, но

безупречно мотивированный реализм романа. Девочка Аврелия тоже влюбляется в портрет, но Гермоген недалек от истины, когда он предостерегает сестру, что это дьявол. Дьявол в романе действует исключительно во внутреннем мире человека, но от этого он едва ли не более осязателен, чем князь мира сего, гетевский Мефистофель или булгаковский Воланд. В критические моменты своей жизни Медардус слышит в самом себе «некое постороннее шептание», что-то буркает в нем, глухо говорит пустота, и такая пустота граничит со сверхчеловеческой мощью. Эти симптомы в точности соответствуют святоотеческим преданиям о «демонских стреляниях», то есть о сатаническом искушении, но встречаются они и в трудах психиатров, уделивших, кстати, определенное внимание творчеству Гофмана. Строгие мотивировки, подчеркнуто избегающие сверхъестественного, действенное откровенной гофмановской фантастики, потому что они невероятно достоверны. Отношения Медардуса со своим двойником вполне объяснимы чисто житейскими обстоятельствами. Граф, отдававший дьявольского эликсира на глазах у болящего Медардуса, вполне мог быть Викториним. Сворачивает не столько вино, сколько легенда, ему сопутствующая: она-то и есть дьявольское искушение. В доме лесничего Медардус действительно встречает своего двойника, но по дороге из загородного замка его явно преследует галлюцинация. То же самое, по всей вероятности, происходит в тюрьме при попытке Медардуса к бегству, однако настоящий двойник вскакивает потом на закорки Медардусу, спасающемуся бегством. Любовь к портрету заставляет Аврелию бредить любовью к монаху. Так трансформируется в девичьей психике запретность: дьявол отождествляется с монахом в духе средневековых сказаний, и такое отождествление подтверждается действительностью. Отсюда крайняя интеллектуальная напряженность и композиционная действенность споров об искусстве в романе. Отвлеченный спор об искусстве едва не приводит к личной ссоре Медардуса и князя.

Князь, этот маленький провинциальный Медичи, — тоже действующее лицо ренессансного мифа, и он имеет все основания принять за оскорбление выпад Медардуса, своего духовного и кровного родича. Вообще вся генеалогия проклятого рода — это гротескно зловещая проекция ренессансного мифа в новейшую историю, грозное предостережение от интеллектуально-художественного флирта с идеей сверхчеловека задолго до того, как появятся незадачливые почитатели Фридриха Ницше. Ренессансной героиней мнит себя и Евфимия, не подозревающая, что в своих выперенных рассуждениях она лишь варьирует пассажи «белой дьяволицы». Белькампо — тоже пародийный провозвестник Ренессанса, низводящий героические поползновения на уровень грима и фарса. Недаром в конце романа обнаруживается некая таинственная связь между Белькампо и ученым Леонардусом. Леонардус предостерегает будущего Медардуса от эксцессов сексуальности пафосом пронизательной сублимации, а именно такой пафос приписывает Зигмунд Фрейд в своем психоаналитическом этюде загадочному гению Леонардо да Винчи.

В сущности, весь проклятый род в романе Гофмана происходит от

одного живописного образа, который одновременно отравляет наследственность и предоставляет одну-единственную возможность спастись. Трилогия Мережковского «Христос и Антихрист» основывается на художественно-философском анализе этой двойственности, реализованной Гофманом чисто поэтически. Неотъемлемая особенность романтического мироощущения заключается именно в навязчивом двоении каждого образа, приводящем к непрерывному оспариванию и опровержению действительности идеалом, причем у Гофмана такое опровержение не затушевывает, а подчеркивает и оттеняет действительность. Для поэта-романтика двоение образа — процесс непрерывный и потому динамичный. У Мережковского иначе: двоение идеологизируется и застывает в умозрительной статичности, не лишенной аналитической остроты, но бесперспективной: приравнять антихриста ко Христу не удастся. Гофман решительно возвращает культуру к ее христианским истокам, но у этих истоков возникает художник, Леонардо да Винчи, преобразующий двойничество природы и культуры творческой мистерией образа и подобия Божьего.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Микушевич. Пролог переводчика</i>	5
---	---

Новалис

ГЕНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН

Перевод с немецкого

В. Микушевича

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧАЯНИЕ	12
<i>Глава первая</i>	12
<i>Глава вторая</i>	18
<i>Глава третья</i>	25
<i>Глава четвертая</i>	38
<i>Глава пятая</i>	45
<i>Глава шестая</i>	66
<i>Глава седьмая</i>	76
<i>Глава восьмая</i>	81
<i>Глава девятая</i>	85
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБРЕТЕНИЕ. МОНАСТЫРЬ. (ИЛИ ПРЕДДВЕРИЕ)	107
<i>Людвиг Тик о продолжении романа</i>	121

Новалис

ГИМНЫ К НОЧИ

Перевод с немецкого

В. Микушевича

129

Новалис

ДУХОВНЫЕ ПЕСНИ

Перевод с немецкого

В. Микушевича

141

Бонавентура
НОЧНЫЕ БДЕНИЯ

*Перевод с немецкого
В. Микушевича*

<i>Первое бдение.</i> Умиравший вольнодумец.....	161
<i>Второе бдение.</i> Эпифания дьявола.....	164
<i>Третье бдение.</i> Речь каменной статуи Криспина относительно главы de adulteriis	167
<i>Четвертое бдение.</i> Гравюры на дереве вкупе с Житием безумца, излагаемым в форме пьесы для театра марионеток	173
<i>Пятое бдение.</i> Два брата	182
<i>Шестое бдение.</i> Страшный суд.....	187
<i>Седьмое бдение.</i> Автопортретирование — Погребальная речь в день рождения младенца — Стихоплет — Дело об оскорблении.....	192
<i>Восьмое бдение.</i> Вознесение поэта — Отречение от жизни — Пролог шута к трагедии «Человек».....	198
<i>Девятое бдение.</i> Бедлам — Монолог безумного творца — Разумный дурак.....	204
<i>Десятое бдение.</i> Зимняя ночь — Греза любви — Невеста белая, Невеста румяная — Погребение монахини — Бег по гаммам	210
<i>Одиннадцатое бдение.</i> Предошущения слепорожденного — Обет — Первый восход солнца.....	215
<i>Двенадцатое бдение.</i> Орел, возносящийся к солнцу — Бессмертный парик — Ложная косица — Апология жизни — Комедиант.....	217
<i>Тринадцатое бдение.</i> Дифирамб весне — Заглавие книги, Которой нет — Инвалидный дом богов — Кодекс Венеры	222
<i>Четырнадцатое бдение.</i> Любовь двух помешанных.....	226
<i>Пятнадцатое бдение.</i> Театр марионеток.....	233
<i>Шестнадцатое бдение.</i> Цыганка — Духовидец — Могила отца	237

Эрнст Теодор Амадей Гофман

ЭЛИКСИРЫ ДЬЯВОЛА

*Перевод с немецкого
В. Микушевича*

<i>Предисловие издателя</i>	247
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	249
<i>Раздел первый.</i> Годы детства. Монашество	249
<i>Раздел второй.</i> Первые шаги в миру.....	277
<i>Раздел третий.</i> Путешествие с приключениями.....	305
<i>Раздел четвертый.</i> Придворная жизнь	336
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	362
<i>Раздел первый.</i> Распутье	362

<i>Раздел второй. Искупление</i>	408
<i>Раздел третий. Возвращение в монастырь</i>	437

КОММЕНТАРИИ

В. Микушевича

НОВАЛИС. ГЕНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН	475
НОЧНЫЕ БДЕНИЯ БОНАВЕНТУРЫ	478
ПРОРОЧЕСТВО В ПАРОДИИ (Традиция ночных бдений).....	479
Г.А. ГОФМАН. ЭЛИКСИРЫ ДЬЯВОЛА	495
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В «ЭЛИКСИРАХ ДЬЯВОЛА».....	502

ГОЛУБОЙ ЦВЕТOK И ДЬЯВОЛ

Редактор

Н. Будур

Художественные редакторы

И. Лопатина, Т. Хрычёва

Корректор

Т. Иванова

Компьютерная верстка

Т. Дианова

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.

Подписано в печать 07.05.98 г.

Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Уч.-изд. л. 34,81. Цена 32 р. 90 к.

Цена для членов клуба 29 р. 90 к.

ТЕРРА—Книжный клуб.

113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.